

МАТИЛЬДА ЮФИТ

МАТИЛЬДА ЮФИТ
СЛЕВА, ГДЕ СЕРДЦЕ



1 р. 03 к.







МАТИЛЬДА ЮФИТ

**СЛЕВА,
ГДЕ СЕРДЦЕ**

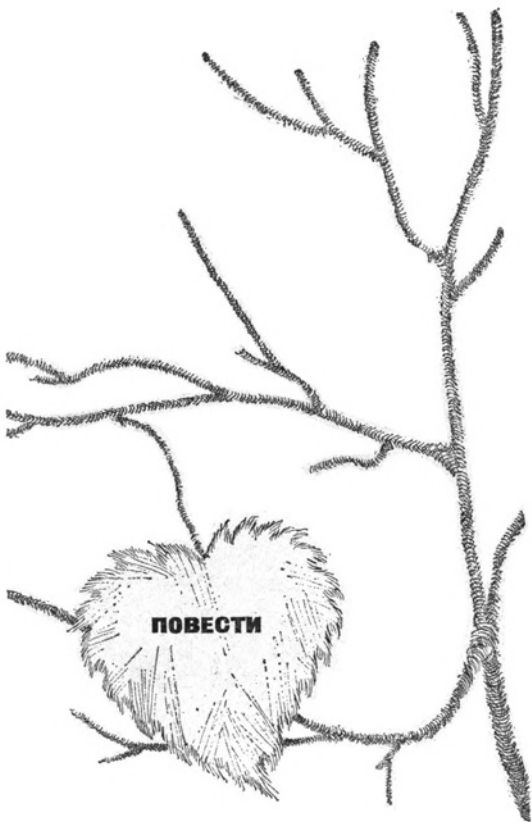
ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ

СОВЕТСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА
1975

В этой книге собраны лучшие произведения Матильды Юфит.

Герои книги — наши современники, люди разных профессий, разных жизненных интересов и судеб.

М. Юфит хорошо знает жизнь рабочего человека. Особенно выразительно повествует она о труде и быте большой рабочей семьи в повести «Мой дядя — изобретатель». Мудрость и душевный такт простого человека помогают городской девочке, не сумевшей найти себя, обрести в жизни свое достойное место. Своеобразен психологический портрет летчицы Марины Сергеевны в повести «Банка варенья». Четыре незнакомые женщины из рассказа «Четыре кофточки», оказавшись соседями по гостиничному номеру, рассказывают друг другу свои жизненные истории. Интересен своей неожиданностью сюжет рассказа «Маша», в котором за одним праздничным столом, после многих лет разлуки, встречаются старые друзья.





Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь...
Н. Заболоцкий



БАНКА ВАРЕНЬЯ

1

Она никогда не стучала, просто входила. Распахивала дверь. словно забывала, что в постели около сына лежит невестка, тоненькая девочка с длинными ногами и круглыми черными внимательными глазами. И сегодня не постучала, ввалилась, вломила, как ураган:

— Орленок...

Ресницы у Тамары дрогнули, она зашептала испуганно:

— Игорек, проснись, это Марина Сергеевна...

— Ну, не буди, не буди...

Столько было любви, ласки в этом «не буди», в этом шепоте, как будто яркий свет залил комнату, теплые лучи щекотнули крупные плечи широкогрудого Игорька, спавшего без рубашки. Он потянулся, напружинил сильное тело.

Мать, тяжело продавив матрац, села на край кровати, прильнула к сыну. Где-то там, за ее спиной, как за широким забором, осталась ненужная худенькая Тамара. О боже, не одна уже девчонка лежала в постели у Игоря, именовалась его женой! Но эта вроде задержалась подольше, прижилась. Ох, Игорь, Игорь...

— Орленок, хочешь пойти со мной на торжественный вечер?

— Я бы хотел, ма... только это же будет скучища... Соберутся твои старички в орденах, станут хвастать: «Мы, я...» — Он очень смешно менял голос. — Потом обратят внимание на меня: «А, молодое поколение!.. Ну как, идешь дорогой отцов, не срамишь фамилию?..»

Мать остановила его, хотя глаза ее смеялись!

— Не такие уж они дураки, а послушать добрый совет тебе полезно... Поужинаем там напоследок, ведь завтра я уезжаю...

— А Тамара, ма? Она сегодня не может...

— Ну что ж, придешь без Тамары...

— А что вы наденете на вечер? Мундир?— вдруг спросила невестка.

— Пожалуй, мундир...

Она все-таки повернула голову, пригляделась и будто впервые заметила это смуглое, выточенное тельце, плечики, узкие руки, нарядную ночную рубашку, черную головку. Нет, Игорек умел отыскивать смазливых девчонок.

Тамара с неожиданной твердостью попросила:

— Вы обязательно наденьте мундир, хорошо? Вас так уважают...

— А без мундира не станут уважать?

— Нет, нет,— запротестовала Тамара.— Но в платье совсем не то...

А Марина Сергеевна все-таки надела платье. Нет, не назло Тамаре, она и думать о той забыла. Хотя очень удивилась, когда вечером нашла в своей комнате тщательно выутюженные и разложенные на кровати форменный китель и черное свое выходное платье с пришитым кружевным воротником.

— Мама,— сказала Марина Сергеевна матери,— зачем вы себя утруждаете, мало вам дела, что ли... взяла бы сама...

— Это не я, это Тамарка.

— Да? С чего это она?

— Угождает Игорю.

Марина Сергеевна не любила несправедливости:

— Вы неправы, мама. При чем тут Игорь?

— Игорь такой простодушный, его опутает хоть кто.

— Нет, мне кажется, что эта Тамара всерьез, Орленок к ней привязался. Да и мне, если хотите знать, она начинает нравиться.

Мать поджала тонкие губы, неодобрительно помотала головой:

— Она, по-моему, не... словом, не пара Игорю...

— Ну что вам еще надо, мама? Какую принцессу?— Марина Сергеевна не сдержалась.— На вас не угодишь, мама. Иван еще обижался, что теще не угодишь.

— Вот уж чье мнение меня не интересует, так это мнение Ивана.— Старуха вдруг заглянула дочери в глаза:— Мариночка, доченька, неужели ты... сожалеешь?.. Но он не подходил тебе, кто ты и кто он? Только твоя доброта... Забыла, как он себя вел, как оскорблял тебя, меня! Он завидовал твоему положению...

— Ладно, мама,— оборвала Марина Сергеевна.— Решение было принято, и не в моих правилах собственные решения отменять...— Она не добавила, что об этом думать теперь поздно, сколько уж лет, как они развелись с Иваном. Он давно женат.

Мать как будто угадала ее мысли:

— Он-то бы вернулся еще с какой охотой. Что он, дурак или враг себе?! Да только нам-то он на что? Слава богу, что избавились...

— Мама...

Голос Марины Сергеевны прозвучал гневно, и мать сейчас же ретировалась, ушла на кухню. Когда дочь гневалась, мать пугалась, отступала. Правда, потом, выждав удобную минутку — дочь-то была отходчива,— не упускала свое. И сегодня с несчастным видом вздохнула, когда дочь собралась уходить.

— Я ведь тебе желала счастья, Марина. Да я ради тебя куда хочешь — в огонь и в воду. Конечно, я старая, больная. Может, умру скоро. Где уж мне тебя обслужить, как ты достойна, где уж мне угодить тебе...

Марина Сергеевна только и ответила:

— Я вас, мама, об одном прошу: следите за Игорем. Ведь у него экзамены. Никакого баловства, понятно? И Тамару смотрите не обижайте.

Не хотелось ей ссориться с матерью. Хотя и не такая та старая и больная, а все-таки годы берут свое, здоровье поизносилось. Доставалось старухе: Марина Сергеевна в хозяйство не вмешивалась, не помогала. Игорь тоже рос баловнем, белоручкой. Старуха их обоих пестовала, что правда, то правда...

Да и настроение Марине Сергеевне не хотелось себе портить. Она любила эти вечера, посвященные авиации. И блеск огней, и оркестр, и добрые слова, и поминание заслуг. Подшучивала сама над собой и над товарищами, говорила, что надоело, «копять двадцать пять», а все-таки любила... Конечно, это совсем не то, что чувствуешь, когда собираются однополчане на свою ежегодную встречу...

чу,— то святое, комок стоит в горле, так волнуешься,— но и здесь все-таки приятно. Знаешь, что тебя не забыли.

Уверенная в том, что ее помнят, чуть кокетничая своей скромностью, она надела платье, подосадовав только, что оно такое длинное, немодное. Мундир с орденами повесила обратно в шкаф. Все и так догадаются, кто она, к чему подчеркивать?

Но вышло не по-задуманному. Знакомых почти не было, ведь верно, болеет народ, умирает, выходит в тираж,— сидели в президиуме какие-то молодые знаменитости, космонавты, испытатели. Никто и не вспоминал про тот ее давний, еще довоенный перелет. Ей стало не по себе... Она поискала глазами Игоря в зале — хотелось, чтобы он пришел, пришел один, без жены,— и не нашла... Решила не ждать конца торжественного заседания, а занять место в ресторане. Столько потом народу набьется, что придется ждать.

Ей очень хотелось перед разлукой посидеть с Игорьком. «Ты мой свет, ты мое счастье, Игорь. Я твой друг, а не только мать, Игорь, ты несерьезно относишься к жизни, ты слышишь, Игорь? Это же позор, что ты так плохо сдаешь сессию, ведь у тебя жена, ты взрослый мужчина. Опять мне придется ехать к декану, просить, унижаться, ты понимаешь, Игорь?..»

В ресторане было еще пустовато, только неподалеку расположилась компания мужчин да у окна, поблескивая влюбленными глазами, перешептывалась парочка.

У входа официантки в белых кружевных наколках над бледными усталыми лицами увлеченно беседовали о своих делах.

— Что же вы не подходите,— обиженно крикнула Марина Сергеевна,— я есть хочу...

— Минуточку...

Мужчины, пившие коньяк, оглянулись на ее голос. Марина Сергеевна растерянно улыбнулась, уже сердясь не на официанток, а на Игоря. Но его все не было. Пришел бы: все-таки мужчина, кавалер. При нем эти боярышни небось забегали бы: что-что, а показать себя — это он умеет.

Марина Сергеевна продолжала томиться.

Вспомнила, как встречали когда-то в этом же клубе знаменитых летчиц, вернувшихся после перелета. С цветами. С шуточными стихами:

В нашем клубе мало денег,
преподносим этот веник.
Бросьте нам обратно в лица
этот веничек, орлицы.

Марина Сергеевна тогда только начинала летать. Пришла на встречу, радовалась, что достала приглашенный билет, слушала и завидовала. Слово себе дала, что и ее будут когда-нибудь так встречать. И сдержала слово. Всего добилась — цветов, наград, уважения, славы. Каждый год ее приглашают теперь в этот клуб. Приглашают как почетного гостя. Да и так, запросто, она сюда ходит...

И конечно, официантки прекрасно ее знают, должны знать. Марина Сергеевна постучала ножом по краю тарелки.

Официантка наконец подлетела:

— Ой, миленькая, дорогая, я вас слушаю...

Заказала ужин, съела второпях, в рассеянности то, что принесли, а Игоря все не было...

Необязательный он стал, несерьезный. Пообещает и тут же забудет. Знает ведь, что мать завтра уезжает на месяц, неужели нет желания провести вместе часок-другой?.. А как, бывало, плакал маленький, когда она уходила, как гордился ею, любил больше, чем отца, больше, чем бабушку, торжествовал, когда она брала его с собой на воздушные парады, на Красную площадь. «Ох, Игорь, Игорь...»

Она все медлила, не уходила, хотя и неловко было одной занимать целый стол. Хорошо еще, что не надела мундир, так незаметнее...

А все-таки ее узнал один журналист, старый уже, с большим отвислым животом, с отечными мешками под глазами. Подошел, остановился, опираясь на палочку:

— Что же это вы не в президиуме?

— Убежала... — улыбнулась она.

Он пошутил на правах давнего знакомого:

— Свидание?

— Сына жду. И есть захотелось, не обедала, прямо с работы... — почему-то выдумала она, хотя ведь заезжала после работы домой и обедала. Правда, наспех. Предложила: — Может, выпьете рюмочку?..

— Что вы, давно не пью, печень... А ваше здоровье как, Марина Сергеевна?

Они оба, поговорив немного о болезнях и лекарствах, засмеялись над тем, что разговаривают в ресторане в торжественный день на такие печальные темы.

— А помните Чкалова? Анатолия Серова? Осипенко, Раскову, Валентину Гризодубову? Вот были времена...

Она помнила. Конечно, она помнила.

Спросила из вежливости:

— А вы по-прежнему пишете об авиации?

Он развел руками:

— Век космоса! Надо уступать дорогу молодым...

— А что делать старым?

Он отшутился:

— Надо не стареть, это очень просто.

Она все-таки уговорила его выпить вина, вот именно за то, чтобы не стареть. Просто не стареть, и все...

2

Веточку, принесенную с прогулки, она поставила в стакан с водой, смутно надеясь, что почки на ветке набухнут и проклюнется зелень. Чего-то ей хотелось красивого, какие-то смутные ощущения, потребность в нежности воплотились для нее в этой ветке. Она принесла ее с горы как сокровище.

Смотрела на ветку, как только просыпалась, подвигала к свету, к солнцу, а то вдруг пугалась, что слишком жарко, что почки высохнут, и ставила стакан с веточкой в тень...

...Никогда раньше Марина Сергеевна не замечала, какой день длинный. С утра лечебные процедуры еще отнимали время, а после обеда начиналась тоска. Не могла же она все время читать. Ей советовали больше быть в движении, гулять, даже танцевать, если хочет, и ходить, обязательно ходить и ходить. А с кем? Одной?

Она не очень-то привыкла бывать одна.

В ее жизни было несколько периодов. Детство, когда она жила, как дикий цветок под дождем и солнцем, между матерью, готовой горло перегрызть всякому, кто обидит девочку, и взбалмошным отцом. Потом была юность, когда отбоя не было от друзей, такой она была веселой, смелой, яркой девушкой, затем пришла слава, когда ее фамилию знал любой пионер... В войну ее окружали однополчане, свои ребята, своя братва, и после войны

она еще долго была знаменита, имела влияние, вес и когда появлялась где-нибудь, то улавливала шелест: «Она, та самая?» — и горделивый ответ: «Ну конечно, это она». Знакомством с ней хвалились, именем ее пользовались, нуждались в ее помощи. Она привыкла, что всегда и всюду ее окружают люди, привыкла жаловаться на занятость, мол, «не продохнуть», — ее куда-то звали, умоляли приехать, где-то она заседала и присутствовала, знакомые вваливались к ней толпой, ели у нее, пили, ночевали. Она была широкой и гостеприимной — в отца. Только просила с улыбкой, шепотом: «Вы уж, пожалуйста, угодите маме. Мама у нас любит почести. Как же, мать героини...»

Гости старались подольститься к матери, хотя Марина Сергеевна и сама немножко любила лезть: просто привыкла к тому, что перед ней восторженно заискивают. Ей нравилось быть доброй, кому-то звонить, чем-то возмущаться, за кого-то просить. Приятно делать добро, ведь не для себя просила.

Ну а годы шли, и, как-то оглянувшись, она увидела, что шуму вокруг нее стало вроде поменьше. И народ вертится около нее какой-то пустой: чьи-то брошенные жены, генеральские вдовы, какие-то неудачливые, полные фанаберии очеркисты, немолодой певец, все еще ждущий удачи.

И лучший ее друг, служивший в войну под ее началом, даже отчитал ее как-то: «Кто это у вас бывает, Марина Сергеевна, шуты какие-то». — «Не гнать же... — беспечно отозвалась Марина Сергеевна. — Ходят, ну и пусть ходят...» — «И все они тут у вас накуривают черт знает как, пьют, едят...» — «Авось не обеднею, — уже более сердито ответила Марина Сергеевна. — Я гостей люблю. А ты, Николай, больно практичный стал...» — «Станешь, — жестко ответил Николай. — Когда я один работник на всю свою многочисленную семью». — «Я как была расточительная, такая и до сих пор. Вот мать ругается, что у всех дачи собственные», — пожаловалась Марина Сергеевна. Николай ответил хмуро: «Я не ваши деньги, хотя они у вас тоже трудовые, я время, душу вашу жалею». — «Ну, ты меня не жалей, я не из тех, кого приходится жалеть».

Она осталась недовольна тогда Николаем. Даже выговор ему сделала, что стал осмотрительным, а летчику

это не к лицу, летчик — это размах, щедрость, широко распластанные крылья. Последнее слово в споре вроде осталось, как всегда, за Мариной Сергеевной. Но что-то ее тогда насторожило. Очень уж она ценила Николая и уверена была, что она для него высший авторитет. И если уж Николай ее критикует...

Она пересмотрела круг своих знакомых, сразу же решительно вытряхнула кое-кого: церемониться она не умела. А потом так же строго, придирчиво посмотрела сама на себя. Батюшки, как она постарела, растолстела безобразно, нескладная какая-то стала. Глаза только молодые, зубы, смех. Вот все, что осталось от прежнего...

— Что-то вы меня раскормили, мама, — сказала она с упреком, — противно смотреть...

— Так как же, Мариночка, — засуетилась мать, — питание ведь требуется. Такой человек, как ты... И дом наш все-таки не простой...

— А какой?

— Сама знаешь, — недовольно сказала мать. — Все-таки у нас престиж...

— Ой, мама, мама, — только и вздохнула Марина Сергеевна, — совсем вы очумели!..

— Ну, спасибо, дождалась благодарности, Марина спохватилась:

— Извините, это я, мама, сгоряча...

Она кое с кем посоветовалась, и ей внушили, что надо поехать в санаторий, в горы, стряхнуть лишний вес, прийти в форму.

Марина Сергеевна согласно кивала головой, выслушивая советы. «Верно, верно. Надо вернуть форму. Надо поехать в горы. И не киснуть в санатории, не лежать, а бегать, ходить, двигаться. Играть в волейбол. Черт возьми, я ведь в школе играла. Отличная игра. Как это я забыла...»

Она ничего не умела делать наполовину: отдыхать так отдыхать, ловить за хвост уходящую молодость — так ловить энергично. Она все разведала в первое же утро, как приехала: какие тут порядки, где живописные места для прогулок, где гостиные и кинозал. И где волейбольная площадка.

Впрочем, это было единственное место, где она чувствовала себя свободно. Кино бывало не часто, в гостиной, где по вечерам танцевали, ей нечего было делать, зна-

комствами она еще не обзавелась. Да как-то и не стремилась...

То ли дело волейбол. Здесь шумно, весело, просто.

Правда, мяч не сразу стал слушаться ее, выскальзывал из рук, но навыки все-таки сказались — удар остался сильный, резкий и подачу она не теряла. Впрочем, и остальные игроки были не многим лучше, чем она.

«Ну и мазила я стала,— однажды добродушно сказала Марина Сергеевна, вытирая разгоряченное лицо, когда игра окончилась.— А ведь играла. Факт. Надо вернуть свой класс...»

Ей и самой смешно было, как тянет ее на эту площадку. Изнывала от нетерпения, как маленькая, пока длился после обеда мертвый час, еле дожидалась, пока выпьют в столовой чай, поторапливала: «Чай не водка, много не выпьешь, пошли, пошли...» Шутила, громко смеялась, запросто кричала на партнеров «орлы», «хлопцы», «ребята», сама себе казалась той, что была когда-то: задорной, компанейской, ловкой девахой. Хохотала вместе со всеми над своими промахами, горячилась, спорила с судьей, добросовестно дула в свисток, если приходилось судить самой. Ей не понравился мяч, не такой упругий, как требуется, она сходила в город, купила новый. Культурник спросил, взяла ли в магазине счет, тогда ей вернут деньги. Она руками замахала: «Не надо...» Зато распоряжалась мячом самовластно, не решала бить по нему ногами, сама уносила его после игры и клала на место. Это ее право молча признали все.

Так было и в тот, пятый или шестой после ее приезда день,— она созвала всех после чая на площадку, разбила игроков на команды. Так же с хохотом кидалась на мяч, пасовала, орала. Так же, смейсь, кинулась за мячом в кусты, куда отлетел он после чьего-то неосторожного удара. И вдруг что-то заставило ее оглянуться, как будто укололо что-то в спину. Реакция у нее была, слава богу, прежняя... Рыжая женщина с неприятным красным лицом, приставив согнутые в локтях руки к бокам, передразнивала ее походку, ее неуклюжесть, ее грузность. словно молния сверкнула. Марина Сергеевна увидела себя со стороны.

Наглая усмешка, нет, не усмешка, а ухмылка медленно угасала на лице, сразу ставшем ненавистным Марине Сергеевне. Она пошла прямо на рыжую. Нет, это невер-

но говорят «не помня себя», она все помнила — свою ярость, звон в ушах, растерянные лица вокруг.

— Жека, — завизжала рыжая, — Жека!

И молоденький военный выскочил вперед.

— Ну-ну! — крикнул он, заслоняя жену. — Прошу без эксцессов...

— Будь это не здесь, — сказала ему Марина Сергеевна негромко, — я бы тебя поставила по стойке «смирно». Ну какая сволочь... — Она повернулась, чтобы уйти, сразу стала старой, тяжелой, медлительной. Потом вспомнила и бросила мяч на площадку. — Отдадите культурнику...

Но никто, видимо, больше играть не хотел. Пожилой инженер из Харькова догнал Марину Сергеевну.

— Вы ведь умный человек, стоит ли...

— Не стоит, — машинально ответила Марина Сергеевна. И худенькой девушке с подкрашенными глазами, очень похожей на невестку Тамару, тоже кинувшейся с извинениями, сказала: — Да не обиделась я, подумаешь...

Но она обиделась. Нет, не на эту дуру. На себя. За то, что попала по своей же вине в смешное положение. Забылась. Увлеклась...

За ужином она ни с кем не разговаривала, в разговор не вмешивалась, сразу же ушла к себе. Никого не хотела видеть. Неохотно, даже сердито крикнула «да, кто там?», когда в дверь постучались.

Это явился Жека, очень сконфуженный.

— Я только сейчас узнал, кто вы. Навел справки. Простите ее...

Марина Сергеевна сумела засмеяться:

— А если бы не узнал? Не навел справки?

— Мы просто в отчаянии, поверьте.

Она резко отмахнулась.

А Жека все твердил:

— Для меня большая честь, что я познакомился с вами. Я еще школьником был... Вы правда не сердитесь?

— Нет, не сержусь...

Но это была неправда, хоть она и сознавала, что глупо придавать такое большое значение пустому инциденту. «Мало ли на свете пошлых баб. Ну их...»

Не станет она ходить на волейбол, не станет ходить смотреть на танцы, будет гулять, любоваться природой. Чудесные здесь места...

И вот бродит, нескладная, несуразная, растерянная,

по этим голым, еще не покрывшимся зеленью склонам, среди серых, мертвых стволов. Все как будто ищет чего-то, ждет, надеется увидеть что-то новое за этим вот поворотом или вон за тем...

А весна все настойчивее вторгается в голые пространства, шумит, низвергаясь откуда-то сверху, прыгая по камням, вода, перекликаются птицы, и даже сухие прошлогодние листья шуршат не уныло, как осенью, а с задором... Или это она выдумывает про листья? Может, и выдумывает. Но птицы поют и переговариваются все громче, это точно. А ей как было тоскливо в первый день приезда, так и теперь.

И вряд ли поможет веточка.

Но все-таки она ухаживает за ней, меняет воду в баночке, надеется...

3

Особенно тягостно было в воскресенье. Ни ванн, ни какого другого лечения — свободен с самого утра. Она смотрела со своего балкона, с третьего этажа, на расчерченную дорожками территорию перед санаторием и мучительно придумывала, чем бы заняться. Странное это чувство — одиночество, чувство, что никому нет до тебя дела, вокруг ни одной знакомой души... Она пошутила было с горничной, когда та убирала, поговорила с медицинской сестрой, со слесарем. Теперь смотрела с балкона, как молодые компаниями уходят на прогулку, бегут куда-то, торопятся, старшие тоже собираются кучками — кто играть в карты или домино, кто тоже идет гулять, но медленно, не спеша. А она одна. Музей сегодня закрыт, в картинной галерее она уже была, в кафе не протолкнешься...

Она лежала, лежала на кровати и вышла в холл. И вдруг в холле — просто чудо! — встретила Кириллова, Борю Кириллова, своего сокола, как она называла когда-то летчиков из подразделения, которым командовала. Все еще бравый, сухой, поджарый, правда, седой, он был ей очень мил. Она сказала растроганно:

— Где твоя пышная шевелюра, Борька? Побелел весь. А так хоть куда. На пенсии?

— Пока летаю. На Севере, на местной линии, но летаю...

— Ну, вот молодчага. А наши, кто жив, почти все уже приземлились. Николай вот еще летает, тоже в гражданском флоте, но он, ведь помнишь, какой упорный...

— А вы что делаете, Марина Сергеевна? На отдыхе?

— Что ты?! Я, брат, руковожу: тружусь в научно-исследовательском, по нашему же авиационному делу...

— О-о,— почтительно протянул Кириллов,— это штука нелегкая...

— Пока тяну...

Оба были рады, растроганны, Кириллов сказал, что такое событие надо бы отметить, отпраздновать. У него в чемодане есть бутылка грузинского коньячку и лимон. Как будто предчувствовал...

— Ну да,— недоверчиво засмеялась Марина Сергеевна.— Так уж и предчувствовал. Ты такой же трепач, как был...

Но все-таки зашла к нему в комнату, и они раскупорили коньяк.

Она все так же, как когда-то лейтенанту-мальчишке, говорила ему «Борис» и «ты», он звал ее по имени-отчеству.

— Женат?

— Овдовел.

— Чего не женишься?

— Неохота надевать хомут.

— Ой, Борька,— сказала Марина Сергеевна,— каким ты был, таким ты и остался. И тогда тебе девки на шею вешались, и теперь, как я вижу. Помню, когда формировались под Москвой, телефон в штабе обрывали, вызывали тебя...

Они уже выпили понемножечку, Борис из стакана, в котором стояла зубная щетка, Марина Сергеевна из питьевого. Борис повеселел:

— Если хотите знать правду, Марина Сергеевна, вам тогда только одно слово стоило сказать, и я бы всех прогнал к чертовой матери, вот только пальчиком бы шевельнули...

— Ну да!

— Слово чести!— Он стал горячо, даже пылко говорить ей, какая она была королева, как весь летный состав обожал ее, как преклонялись перед ней, как за нее боялись. Как будто не про нее, про какую-то другую женщину говорил, так он ее живописал, так восхвалял.—

В других частях, Марина Сергеевна, перенимали ваш опыт, несмотря на то, что вы женщина, пардон... Вашему подходу к людям учились...

— Да будет тебе...— отмахнулась Марина Сергеевна, хотя ей необыкновенно приятно было слушать все, что он говорил.

Перебивая друг друга, торопясь, они вспоминали свою часть, скорбно вздыхали, говоря о погибших.

— А на встречи наши не приезжаешь,— укорила Марина Сергеевна.— Николай — помнишь Николая?— искал тебя, писал...

— Рвался, но не мог. Все что-то мешало...

— Другие приезжают. Даже с Дальнего Востока... из Туркмении. А ты телеграммами отделялся. Мы же за твоё здоровье тост поднимали, не забывали тебя...

Кириллов расчувствовался.

— Клянусь, этой осенью, кровь из носу, приеду...— Он лукаво сощурился.— Вы говорите, девчонки. А ведь из-за вас, Марина Сергеевна, оборвался мой самый жгучий роман...

— Как это из-за меня?

— А так... Мне увольнительная вот как была нужна, решительное предстояло объяснение, я даже у одной старушки букет цветов купил из ее сада... Вы сказали: «Ладно». Спрашиваю: «А кто вместо меня полетит?» — «Полечу я сама, больше лететь некому». — «Тогда отставить увольнительную».

— Боялся за меня?

— Ну да, боялся...

— И зря...

— Вы же были удивительно храбрая, Марина Сергеевна, ну просто отчаянная...

— Из-за вас, чертей, и приходилось быть храброй, я же не могла быть хуже вас...

Они отпивали по глоточку и снова подливали. Марина Сергеевна раздумянилась. Даже чуть всплакнула, вспоминая прошлое. И так хорошо ей стало, так тепло на душе, как давно уже не было. Вот ему, а не бездушной березовой ветке сможет она рассказать все, что гложет ее, терзает и мучает.

— Не радует меня здесь ничто — все эти птички, и горы, и нарядная публика...

Он не понял. Недоумевая, поднял брови.

— Скучно мне, Борис,— сказала она.— Скучно и скучно. В жизни такого не знала, как теперь...

Он запротестовал:

— Это же замечательный санаторий!

— Замечательный-то замечательный... Да как-то я тут не пришибрилась.— Она опять сказала не то, не главное.— Я тут прямо запсиховала от тоски, ты бы не поверил. Пришла на ванны, сижу, сижу, является какая-то интуристка. «Ах, это иностранка, мол, пусть пройдет. Подождите». Как это подождите? Пусть фрау подождет.

— Из-за такой ерунды и расстраиваться, ой-ой-ой,— сказал Кириллов уже несколько покровительственно.

Ее покорило, но она уже не могла остановиться.

— Потеряла я себя как-то,— сказала она, щурясь и зачем-то заглядывая внутрь стакана, как будто там, на доньшке, чуть покрытом коньяком, могла себя найти.— Потеряла я свое место в жизни, что ли, Борис... Выходит, все уже было, все прошло — значит, надо мне завидовать тем, кто погиб? Так, что ли?

Кириллов оторопел:

— Побойтесь бога, Марина Сергеевна, что вы это такое говорите?

Она его не слушала:

— Я вот тут читала книжку про Жанну д'Арк, слышал, наверное, про Орлеанскую деву? Может, это лучше, что ее сожгли, осталась в памяти народа героиней, а не отжившей старухой...

На секундочку припомнилось ей, что Борька Кириллов — лихой, очень храбрый, но в общем поверхностный малый, и не перед ним бы ей исповедоваться. Но такой у него был добрый, полный сочувствия и недоумения взгляд, такая вроде боль за нее, что она все стала выкладывать, даже лишнее сгоряча наговорила. И Орленок, мол, вырос эгоистом, и мать стала очень уже спесива,— рассказала даже, как тяжело разводилась с мужем и как пусто идет теперь жизнь в ее доме. И как часто убегает она из этого дома, убегает сама от себя куда глаза глядят, хоть в тот же клуб... Как охотно задерживается — надо, не надо — на работе, то на месткоме посидит, то на партбюро, лишь бы не быть свободной...

— Но так ведь тоже нельзя, нельзя жить одной работой. Да и на работе тяжело становится. Техника ведь вон как шагает, не угонишься за ней. Пусть я админист-

ратор, мое дело — работать с людьми, но должна же я понимать... Прямо злость берет: хоть бросай, выходи на пенсию или какое дело полегче бери, но не могу, привыкла к этому институту, увлеклась... Знаешь ведь меня? А может, надо бросить, семьей заняться? Игоря в шоры взять железной рукой? Не нравится, не нравится мне то, что в доме у меня, и сама я себе, настроение мое мне не нравится...— она говорила сумбурно, горячо, но все не признавалась в том, что особенно мучило ее,— в одиночестве...

Кириллов поглядел на часы.

— У тебя процедура? Ванна? — перехватила его взгляд Марина Сергеевна.

— Сегодня выходной, забыли? Вам налить?

— Хватит,— сказала она, прикрывая ладонью стакан.— Я ведь не пью, это так, за дружбу, старую нашу боевую дружбу...— И с отчаянием, как очертя голову прыгают в воду, спросила: — Борис, ты помнишь Шевченко...— Она вся подалась вперед, и голос ее задрожал...

Но тут без стука вскочила на порог крепенькая бабенка, похожая на стройную веселую лошадку, и, блестя полным жизни глазом, играя всеми жилками упругого молодого тела, сказала капризно:

— Борис Степанович, мы ждем...

Она игнорировала присутствие Марины Сергеевны и в то же время каким-то неуловимым образом показывала, что недоумеваает, как будто в комнату к Кириллову вдвинули и так и оставили не на месте огромный несуразный шкаф, что ли...

Марина Сергеевна встала.

— Ну куда вы, вовсе мне не обязательно идти,— вяло запротестовал Кириллов, все еще не отводя взгляда от захлопнувшейся двери.

Марина Сергеевна взяла себя в руки.

— Обязательно, обязательно иди, раз условился,— бодро сказала она. И подмигнула: — Молодец, старик...

Кириллов повеселел:

— Отпуск-то раз в году...

— Ну и пользуйся... Иди, иди, Кириллов...

Она как бы подвела черту под их душевной близостью этим «Кириллов». Но постаралась улыбнуться, чтобы незаметно было, как жестоко она уязвлена.

Кириллов все-таки сказал, провожая ее в коридор:

— Конечно, я помню Шевченко. А что? — Он вдруг оживился.

Но Марина Сергеевна отозвалась равнодушно:

— Да ничего. Просто так... Как-нибудь в другой раз..

4

Шевченко...

Они вышли тогда с Шевченко после совещания у командующего армией. Постояли с другими командирами на крылечке деревенского дома, покурили. Рябины были усыпаны желтовато-красными глянцеви́тыми ягодами. Шевченко сломал ветку, помахивал ею, а когда стали разъезжаться, он пригласил Марину Сергеевну поехать вместе: мол, соседи. Она отпустила свою машину,

Шевченко сел за руль.

Кто-то крикнул им вслед:

— Смотрите, не заблудитесь...

— Помни, кого везешь...

Они отшутились.

И, как нарочно, ебались с пути, заплутали на лесных дорогах, а когда выехали к реке, то оказались у разобранного моста, где саперы меняли настил.

— Это — наше счастье, что на фронте затишье, — сдвинув брови, сказала в отчаянии Марина Сергеевна, — не то досталось бы нам на орехи...

А Шевченко не был огорчен.

Саперы пообещали, что мост к утру починят, они нашли на опушке леса полузаброшенную избушку не то паромщика, не то лесника, открыли окна, чтобы проветрилось, натащили свежего сена из небольшого сто́жка, сметанного на лужайке; Шевченко набрал пахучих цветов, похожих на колокольчики, отыскал ржавую банку из-под тушенки, тщательно вычистил ее песком и поставил букет в воду.

Они гуляли по лесу, пока не стало темнеть, потом вышли к реке. Там еще, догорая, закатывалось солнце, и вода казалась розовой. Мост, саперы, стук топоров — все это было где-то справа от них, за излучиной; здесь стояла тишина, только тюкал носом дятел на сухой, выгоревшей на солнце сосне.

— Сосна такая же рыжая, как ты... — сказала Марина Сергеевна и потрогала его голову, упрямый лоб, про-

вела даже рукой по щеке. И тут же пожала плечами.— Летаем на сотни километров над фронтом, в тыл, а тут застряли перед водной преградой... а преграда-то тьфу... речушка, а не река...

— Поплыли? — Шевченко стал расстегивать пуговицу на воротнике.

— Ну вот еще... — Она засмеялась. — А ты поплыл бы?

— С тобой бы поплыл...

Она насмешливо поклонилась, не понимая еще, что ее тревожит. Как будто что-то новое вступало в ее жизнь, а она не могла понять, что именно. Она знакома с Шевченко не первый месяц, воюют в одной армии, уверена, что на него можно положиться, но эти несколько часов в машине, в пути, и здесь совсем сблизили их, как будто она знала его всегда. Тогда отчего тревога? Это не было волнение за часть, нет, боевых действий пока не вели, а она терпеть не могла дни затишья, когда в части начиналось то, что мать в детстве у них дома называла «генеральной уборкой», когда выносили все проветривать, обметали стены, выбрасывали ненужную рухлядь. Штаб фронта требовал отчетность, приезжали проверяющие, лекторы, санитарные инспектора, морочили голову хозяйственники, понимали, что пришел их час. От этих дел Марина Сергеевна не уклонялась только в силу своей добросовестности, но раз не по ее вине — можно просто посидеть в лесу, побродить, может, даже искупаться в реке, — что ж тут такого?

Может, она боится Шевченко? Глушость...

Где-то она читала, что характеры должны дополнять один другой, может, его мягкость как-то дополняет ее резкость? Говорят еще и так: крайности сходятся. Нет, такого уж различия между ними не было, на многое их взгляды совпадали. Если затевался спор, они всегда были одного мнения. Она часто ссылалась: «Шевченко сказал... Шевченко со мной согласен», — но и у нее в части гордились тем, что Шевченко, сосед справа, всегда перенимает у них опыт, уважает их командира.

...Да, столько лет прошло, столько событий и передряг, а она и сейчас остро помнит тогдашнее свое смятение и болтливость, которой она старалась это смятение заглушить. Она болтала, а Шевченко все больше молчал, только смотрел на нее. Она даже спросила: «Ну что ты

смотришь так? Я глупости говорю? Просто я давно не была в лесу, вот так, свободно...»

А он все равно смотрел.

Когда потянуло холодом от воды, они перешли в дом, согрели на дымящей плите кипяток, напились чаю, поели...

И она вдруг спросила у него:

— Я ничего не знаю про твою личную жизнь, про семью...

— Я женат...

— Хорошая женщина?

— Я ее не люблю.

— Почему?

— Полюбил другую...

Она не стала спрашивать кого. А он поинтересовался:

— Но ты своего мужа любишь? Какое счастье, что в войну вы почти рядом и можете часто видеться!

Она ответила уклончиво:

— Иван приезжает ко мне...

— Ты рада?

Она задумалась.

— Я считаю неудобным эти его посещения. Пойми, война — это война, и все должны быть в одинаковом положении.

— Когда любят, с этим не считаются...

— А я считаюсь.

Шевченко собрал остатки еды со стола, крошки, просаленные бумажки от колбасы, ополоснул котелок и кружки, приласкал длинными пальцами цветы в банке. Его движения нравились Марине Сергеевне своей точностью, понравилась его аккуратность. В комнате было еще светло. Шевченко принес из машины шинели, одеяло, приготовил ей постель.

Десятки раз приходилось ей ночевать в одной комнате с мужчинами, особенно в войну, она давно отвыкла стесняться. А тут сказала:

— Отвернись или лучше выйди, я буду раздеваться.

Он вышел, мылся во дворе, плескался водой, потом долго курил около дома, она видела в окно огонек его папиросы. Уже взошла луна, переплет окошка отбросил на пол и на стены фантастический узор, она все не засыпала, хотя постаралась сделать вид, что спит, когда Шевченко вернулся.

Он подошел к ней, тихо коснулся ее лба, ее плеча, тихо позвал.

Она не ответила, но вся дрожала.

И сейчас она задрожала так, как тогда, когда вспомнила, как он сел на пол около ее кровати, положил свою рыжую голову на сено, сказал:

— Я люблю тебя, ты, наверно, давно догадалась...

Она понимала, что надо решительно оттолкнуть его от себя, призвать его к порядку, но не могла. Молчала. И тогда он стал целовать ее. И она поняла, что не будет, не хочет сопротивляться, что ее тянет к нему, как, вероятно, тянуло уже давно. Она не хотела обманывать ни его, ни себя. Будь что будет...

А потом он сказал торжественно, но без фальши, искренне, — она была очень чуткой к фальши, к красивым словам, а тут поверила:

— Это самый счастливый час моей жизни...

Она отозвалась шутливо:

— Ох, не узнали бы только политотдельцы про этот наш с тобой час!..

Шевченко поцеловал ее глаза:

— Ты плачешь?

— Не знаю...

Он опять сказал:

— Я люблю тебя...

— А война?

— Ну и что, что война...

Господи, что он ей говорил... «У тебя красивые ноги», «Я никого в жизни так не любил, как тебя». Он гладил ее коротко подстриженные, волнистые волосы, зарывал в них пальцы и радовался, что теперь они будут пахнуть ее волосами. Оказалось, он хранил записочку, которую она ему однажды прислала, что-то деловое, какие-то запасные части для мотора у него просила.

«Вся твоя душа в твоём почерке — прямая, порывистая, энергичная».

Она улыбалась слабо, почти испуганно.

— Орфографических ошибок хотя бы не было. Ведь все наспех писала, помню, подложив планшет. — Удивлялась только: — Но что же ты хранил, ведь там все про технику.

— А обращение? «Валька, если можешь, дай нам...» и так далее, и вообще это писала ты.

Она удивлялась:

— Я уже старая, я некрасивая, неприбранная, больше мужик, чем женщина.

— Ты для меня лучше всех.

Милый, рыжий, застенчивый Шевченко... И имя у него не мужественное, а нежное — Валентин, хотя сам он был и мужественным, и храбрым, и летал отлично. Она это знала...

Она вернулась в свою часть какая-то иная, совсем не такая, как уехала вчера на совещание, бледная, с сияющими глазами, счастливая и вместе с тем несчастная от того, что не знала, как будет дальше у них с Шевченко, потрясенная, задумчивая, как будто вслушивалась в самое себя. И шла по поросшей мелкой травкой земле осторожно, легко, как будто боялась уронить, расплескать то драгоценное, чем была наполнена до краев ее душа.

Она заговорила с начальником штаба, держа в руках полуувядшие лесные цветы из букета, которые они с Шевченко взяли себе на память, и только краем глаза следила, как исчезает вдаль за легкой дымкой пыли машина Шевченко. Особо важных новостей не было, она пошла к себе. И как только вошла в палатку, поняла, что муж здесь. Стояли его сапоги, валялся ремень.

Он лежал на койке, курил.

Ей не сразу удалось погасить блеск в глазах. И муж угадал ее потрясенность.

— Ну? — недобрым голосом протянул он.

Она машинально сказала:

— Не нукай.

Он стал всматриваться в нее, он, видимо, здорово помучился тут, пока ее не было, но она ни чуточки его не жалела и не чувствовала себя виноватой.

И тогда он ударил ее по щеке.

Она так удивилась, что не почувствовала ни боли, ни обиды. Он ударил ее еще раз, сильнее, жестче, и ей стало больно.

А он все снова и снова спрашивал:

— Ну? Ну?

Она, как могла спокойнее, крикнула ординарца. И когда тот вошел, чуть недоумевающий, что его позвали в такую минуту, распорядилась:

— Дядя Гриша, полковник уезжает, покорми его...

Она держала себя при ординарце как ни в чем не бы-

вало, сняла китель и осталась в белой блузочке, которая молодила ее. Но есть не стала. Впрочем, и муж ничего не ел. Выпил рюмку водки, хрустнул огурцом и уехал.

Уехал, даже не спросив, есть ли письма из дому, от ее матери, с которой оставался маленький Игорь.

Она села на койку, где совсем недавно лежал муж, на подушке еще оставалась вмятина от его головы, посмотрелась в зеркальце, на щеке темнел синяк. Мария Сергеевна громко заплакала. Она плакала долго, всхлипывала, как давно уже не плакала. И опомнилась, когда дядя Гриша, сочувственно вздыхая, тронул ее за локоть:

— Поела бы, Марина Сергеевна, не рвала бы себе душу.

Он подал ей умыться, вытащил чистое полотенце, сказал, как дочери:

— Что поделаешь-то? Муж, не чужой...— И сразу же, переменяв тон, заворчал:— Ежели не спать да не есть, так где нервы брать-то... Не бережете вы себя, Мария Сергеевна... Меня и так летчики ругают: «Смотри, мол, Григорий, оберегай...»

Он очень хотел успокоить ее, отвлечь, пересказал все новости, какие знал, а знал он всегда больше, чем кто-либо другой,— кто получил письмо, кто говорил комплименты девчатам в столовой, кто нагрубил фельдшеру. Вытащил даже из кармана, из бумажника семейные фотографии, показал себя в кругу семьи.

Марина Сергеевна поглядела, как сквозь туман:

— Это ты, что ли, дядя Гриша, вот этот бородатый?

— Ну да...

— Что это ты тут такой старый?

— Так заботы было много, смотри, сколько у меня детей.

— И худой.

— Известное дело, сушит не работа, а забота... А тут, на войне, я же вольный казак. У меня тут одна обязанность — службу исправно нести...

— Ты так считаешь...

Она поправила волосы, села к столу. Аппетита все равно не было. И радостное пламя все еще горело в ней, жгло,— слезы не загасили радости, хотя она сознавала, что надо этот огонь затоптать, пока не разгорелся слишком ярко.

Она пошла в штаб, сидела за столом, подпирав щеку

рукой, чтобы не замечен был синяк, отдавала приказанья, выслушивала людей, все делала, как обычно. И разговаривала, как обычно, и шутила. И поднялась в воздух с молодым летчиком, только что прибывшим в часть,— хотела знать, как он ведет себя в полете. Сверху, с самолета, увидела темную массу леса, прошитую блестящей ниткой реки. Может, это тот лес, где они ночевали с Шевченко, с милым рыжим Шевченко...

Когда она вернулась к себе, дядя Гриша спросил ворчливо:

— Тут ты сена, травы этой принесла, увяла она... Так надо ее вам или как?..

Это он говорил про цветы, про лесной букет.

— Выбрось...

Она пересилила себя, выбросила.

Шевченко приезжал, искал случая остаться с ней вдвоем, объяснить. Она и сама искала возможности съездить к нему в часть, увидеть его, встретиться. Но оставаться наедине не хотела. Боялась. Сказала ему:

— Это уже после войны, Валя. Понятно?

Он согласился:

— Понятно... Я буду ждать.

А вскоре его убили.

Она ездила его хоронить и плакала у гроба. Но плакала не только она, плакали и другие командиры. Шевченко любили все...

3

Тамара как-то сказала вскользь, что здесь, в этом курортном городе, живет сестра ее мачехи, старая чудачка, очень занятная особа. Массажистка. Но Игорь засмеялся: «Ну вот еще, ты думаешь, ма так вот сейчас и побегит искать твою старушенцию». — «А она очень образованная старушенция — иностранные языки знает. Ну что ты хохочешь, Игорь?» И мать Марины Сергеевны вмешалась: «Какая-нибудь, наверно, старая барыня на вате, очень Марине надо...» Марина Сергеевна пожалела тогда Тамару: «Не обещаю, конечно, но если будет время...»

Времени было предостаточно, но идти разыскивать Тамарину родственницу охоты не было. Марина Сергеевна вспомнила о ней, когда уже совсем заскучала.

Спустилась со своей горы в город, нашла крутую улочку, дом с крытой галерейкой, как принято на юге, постучала, назвалась. Коротко стриженная старуха вопрошающе посмотрела на нее, открыв дверь, попросила обождать, пока она отпустит клиентку. Марина Сергеевна села на клеенчатую холодную кушеточку.

За дверью слышались шлепки по голому телу, тихий разговор. За окнами вился виноград, какие-то коричнево-серые, перепутанные, как веревки, стебли. На подоконнике спала кошка. Кошку что-то тревожило, чуть поднималось острое ухо, и по шерсти, как волна, пробегала дрожь. Комната, мебель были самые обыкновенные, простые, стояло большое старинное кресло, крытое потертым бархатом, висела икона, но не в углу, а над диваном, как картина. Лампа стояла под зеленым абажуром, книги лежали. Скромная, в общем, комната, но чем-то симпатичная...

Да, в детстве, когда родители таскали за собой девочку по маленьким провинциальным городам, были такие комнаты, такие стулья с гнутыми спинками, их называли венскими, такие кушетки, такой тюль на окнах.

Как-то мать вздумала учить ее музыке, вымыла ей уши, повязала большой бант, повела к двум барышням, дочкам священника. Барышни, должно быть, скучали, томились. Они обрадовались Марине, играли для нее на рояле. Учить не стали: у девочки не оказалось музыкального слуха. Почему она перестала ходить к ним? То ли отец запретил, то ли сестры уехали? Марина совсем забыла об этом. А сейчас, точно картинку из ящика письменного стола, достала из памяти ту комнату, занавески на окнах, вазы, полные роз, пальцы, бегающие по клавишам...

И такое же кресло, как здесь, она видела. Это уже в другом городе, позже. Там, в доме напротив, жили у своей бабушки двое детей — Андрюша и Маня. Маня совсем выветрилась, не запомнилась, а Андрей... С Андреем они очень дружили. Марина всегда охотнее играла с мальчишками, воевала, скакала на длинных прутьях-лошадях. И доставалось ей в ту пору, как мальчишке, — мать иступленно ее лупила, хотя теперь стесняется этого и всячески отрицает. Но что правда, то правда — лупила... Отец Андрея и Мани был вдовцом, доктором, что ли, — угрюмый, замкнутый человек... И вдруг он стал сва-

таться к Наде, к дочери квартирных хозяев в том доме, где жила Марина... Огромный такой двор, хозяйский дом, два флигеля с квартирантами, колодезь, окруженный, как валом, насыпью, поросшей мелкой кудрявой гусиной травкой. Во дворе огороженный штaketником сад — там фруктовые деревья, кустарники, цветы. Между домами и за сараями таинственные тупики, закоулки, где можно прятаться. А в самой дали, у запасной калитки, выходящей в переулоч, трепещут белой своей изнанкой густо-зеленые листья серебристого тополя...

Родители Марины не жили подолгу на одном месте: отец, механик, долго нигде не задерживался, работы по душе не находил. Часто переезжали, кочевали из города в город, но этот двор, это жилье Марине врезались в душу. Завяжи-глаза, приведи на эту улицу, к этим воротам, она и теперь вбежит в калитку, смело пойдет по дороге детства, не ошибется... Так вот, когда Надя стала невестой, Маня стала приходить к ним во двор с очень важным видом, ласкалась к Наде, висла на ней, а Андрей заскучал: Надя стала заниматься с ним по арифметике, решать для практики задачи. А как-то в зимний день Надя взяла с собой Марину к жениху, километрах в десяти от города был у того собственный дом. Который уж это был год, Марина не помнит, почему не реквизи́ровали дом и лошадь, не знает, зачем понадобилась она сухохотой Наде, не понимает, но хорошо помнит, как посадили ее в санки, закутанную, даже лицо мать закрыла ей, как вуалью, розовой газовой косынкой, и они понеслись-понеслись по белым снегам, по дороге, обсаженной тополями, мимо вокзала, через переезд, туда, где жил в своем теплом доме угрюмый жених. Вот у него в кабинете стояло такое большое кресло, и Марина в нем сидела. Ей дали толстую книгу с картинками, она смотрела...

Надя вернула ее вечером матери сонную, счастливую, изыбшую, с холодными, несмотря на газовую косынку, щеками. Дня три Марина только и болтала про именование, про собственную лошадь, про жениха, про кресло, в котором умещаешься с ногами, вся-вся.

Андрюшка выпрашивал:

— Они целовались, ты видела?

Марина плохо понимала Андрюшку.

А он сказал:

— Пусть Маняшка подлизывается, а я убегу... Наша мама была очень добрая...

Тогда она не могла взять в толк, что ему надо, чего он злится, но позже, они жили тогда уже в другом городе, обо всем догадалась: это когда мать стала ее допрашивать: «О чем это отец с соседкой беседовал? Целовались они?» Матери она уже отвечала, как взрослая, умудренная опытом:

— Ну что ты, мама, он с ней вовсе не разговаривал...

А у самой сердце как мотор застучало, когда она вбежала в комнату: отец с трудом, как будто пуд веса в ней, снял свою руку с плеча этой самой соседки. И та вся запылала.

— Я зашла на минуточку к твоей маме. Вот тебе конфетка...

— Я не люблю...

— Конфеты не любишь?

— Мама не разрешает брать у чужих...

Отец засуетился:

— Я тебе разрешаю...

На него она и не взглянула. А он не посмел прикрикнуть на нее.

— Как знаешь, как знаешь...

...За дверью вдруг отчетливо сказали:

— Массаж — это только средство. Вы кладете сахар в чай и размешиваете ложечкой... Массаж — это ложечка, способствующая усилению обмена веществ в организме...

И снова стало тихо.

В этой комнате, где и за окнами было тихо, даже деревья ведь стояли еще без листвы, не шелестели, так хорошо вспоминалось; она подумала о Надином брате, студенте-медике, Колей его звали. Марина-то, понятно, Колей его не звала, называла по имени-отчеству. Так вот этот самый Коля сыграл немалую роль в ее жизни. Теперь вот в газете «Известия» часто пишут на тему «Главный человек вашей жизни». Позже были у нее другие такие вот главные люди — инструктор в авиационной школе, до некоторой степени отец, когда она, бывало, часами сидела и смотрела, как он строит и никак не может выстроить изобретенный им станок, немножечко муж Иван с его бесшабашной смелостью или, скажем, верный ее друг Николай, но первым, первым в те далекие време-

на, в пору детства, был тот студент, тоже Николай, Коля... он давал ей читать книги, он укорял: «Ну почему ты такая дикая, девочка? Что ты носишься как ошалелая по двору? Человек, даже маленький, даже ребенок, должен иметь цель...»

Она начала причесываться, потому что Коля велел, говорить «пожалуйста», перестала выть в голос, когда мать не пускала гулять...

Коля разрешил ей входить в сад, огороженный штакетником, и смотреть на розы. Он говорил задумчиво: «Как это красиво, видишь?» Она научилась видеть. Это ему она доверила, как тайну: «По тополию как будто вода льется, правда?» И когда он без улыбки посмотрел, как трепещет листва, и сказал: «Правда», — захохотала от восторга. «Я могу сто раз проскакать на одной ноге. Хотите?» Он согласился: «Скачи».

А однажды Коля наказал ее. Она прибежала за книгами. Поленилась причесать волосы, просто покрылась платком. А он догадался: «Сними платок, жарко. — И посоветовал: — А я приготовил тебе в подарок ленту, теперь уж в другой раз...»

Она обиделась, бурно заплакала, бросила книги. Ушла. Не вышла даже прощаться, когда Коля назавтра уехал на фронт. Не пожелала...

Было это все на Украине, там часто менялась в ту пору власть — то белые, то красные, то налетала банда Махно...

От белых они и уехали, Марина с матерью, уехали, побросав все вещи, зимние пальто, подушки, все-все. Марина хотела взять свою куклу, но мать вырвала из рук, отшвырнула: «Не до кукол». А платья куклины были уложены вместе с Мариниными, долго потом хранились.

Они добрались наконец до маминой сестры, тети Ани, поселились там. Мама стала тихая, любезная, все улыбалась и хвалила медовым голосом своих племянников. Сказала однажды: «Мариночка, ты большая, к чему тебе? Отдай платьица Таниной куклке...» И заставила отдать. Вот тогда Марина поняла, что не только кукла — детство, дом ушли уже навсегда. И сказала: «Когда я буду взрослая, я ни за что не буду жить в чужом доме, стану кочевой цыганкой...» Она писала письма отцу: «Нам плохо, возьми нас...» — но адреса, куда посылать письма, не было: отец воевал. Одно из ее писем подобрала тетка и

заорала: «Мне дурно, ой, мне обидно, что она такая неблагодарная, черствая...» И мать при всех, правда не больно, хлопнула Марину по рукам: «Не пиши, не пиши клеветы...» Марина поклялась тогда, как Андрей, что убежит от матери, уйдет... обязательно уйдет, но куда она могла уйти?.. Разве что в лазарет к Коле, где она могла бы вместе с ним перевязывать раненых красноармейцев, подавать воду, но где был этот лазарет, кто знает...

...Маленький Игорек очень удивлялся, когда она рассказывала ему, что хотела бежать на гражданскую войну. «Это же так давно было». — «Конечно, давно». — «Расскажи». Как только она являлась домой из аэроклуба, снимала комбинезон, ремень, сапоги, влезала в халат и брала Игорька на руки, он требовал: «Расскажи...» У него были любимые истории. Как самолет горел?.. Как ты нашла на войне собачку?.. Про партизан. Про куклу... Но рассказ про куклу не любила бабушка: «Лучше ты вспомни, Марина, как я всем жертвовала ради семьи, я все свои юбки на сало обменяла, но кормила вас питательно».

Конечно, конечно, жертвовала, кормила, кто это отрицает...

«Ну почему, почему ты считаешь, что этот Коля, буржуй, сын домовладельца, имел на тебя такое влияние? — удивлялась мать. — Можно подумать, что я тебя не воспитывала. Я сама очень любила природу, цветы. Просто не хватало на все это времени... Но это я, а не кто-нибудь, воспитала тебя как патриотку, вырастила верную дочь своей Родины. И ты, Игорек, — внушала она внуку, — должен расти патриотом...»

Ну как сказать, как понять, почему Коля имел влияние? Почему ей запомнилось каждое его слово, совет? Запомнилось, и все... Он действительно прав. Человек должен иметь цель...

Вот потому она теперь волнуется за Игорька, что временами ей кажется: у него нет никакой цели, живет, и все... Как трава.

Она подумала было, что зря сидит здесь, лучше бы вернуться в санаторий и написать письмо Игорю: так, мол, и так, Игорь, я очень волнуюсь... Но открылась дверь, вышла уже одетая клиентка, в которой Марина Сергеевна узнала отдыхающую из их санатория, и усталая хозяйка дома,

Отдыхающая сказала:

— Ах, это вы... тоже сюда? — и понимающе подняла брови.

Но Марина Сергеевна сразу же отмежевалась:

— Нет, я к Елене Петровне в гости...

Она уже освоилась в этом доме, пока сидела и думала о своем, пока ворошила прошлое, так что и сама Елена Петровна стада как бы частью ее воспоминаний, как будто она ее давно знала...

А Елена Петровна осторожно приглядывалась к госте, предложила кофе, спросила, не курит ли Марина Сергеевна. А может, проголодалась, так есть икра из синих баклажан, такой вы у себя в столице не поедите.

— Я ведь хозяйства не веду, так пришла фантазия вдруг сделать икру, и я в нее вложила все душевные силы...

Она засмеялась так весело, просто и естественно, что Марина Сергеевна тоже засмеялась.

— Я ведь счастливый человек, делаю, что хочу... — похвастала Елена Петровна.

— Как это?

— А так... честолубия у меня нет, наряды я никогда не любила... что заработала, то и истратила...

— А общество? А гражданский долг? — улыбнулась Марина Сергеевна.

— Ну, долг, конечно, я выполняю, работаю честно, никого не обманываю... — Она опять засмеялась. — Выписываю, конечно, газету...

Марине Сергеевне вдруг захотелось быть доброй, захотелось что-нибудь сделать для этой веселой старушки с натруженными руками, и она подумала, что пустит в ход все свое влияние ради нее. Но Елена Петровна, оказалось, всем была довольна.

— Потребности у меня скромные, много ли мне надо... — рассказывала она о себе. — Ни сестре, ни Тamarочке я теперь уже не должна помогать, помощь моя им больше не нужна. Главный мой расход — кофе, люблю хороший, крепкий кофе... Мяса я не ем, предпочитаю молочное... Хотелось бы одного — умереть во сне. Не болеть, не зависеть от других, не занимать койку в больнице. Уснуть и не проснуться... Но пока у меня еще много сил, я не жалею о здоровье... — Она вдруг переменила тему: — Тamarочка очень гордится, что попала в вашу,

семью, она славная девочка, такая искренняя... родственная... ведь я ей, в сущности, чужая, а она мне пишет...

Марине Сергеевне неловко было, что она так мало знает о Тамаре, о ее делах, планах, характере. Девочка находится в их семье, в их квартире, а живет, как чужая. Марина Сергеевна осторожно обо всем выпросила — об отце Тамары, о родной ее матери, о мачехе.

— Мы должны бы пригласить Тамарину родню приехать познакомиться, — сказала она, как бы оправдываясь. — Но я все занята, часто бываю в отъезде, а мама не совсем здорова...

— Я знаю, знаю, кто вы, и знаю, как вы заняты. Сестра на вас не в обиде... была бы только Тамара счастлива, только бы они любили с Игорем друг друга, больше сестре ничего не надо...

— Да, это главное, — согласилась Марина Сергеевна, — любовь — это, конечно, главное... — И не удержалась, спросила: — А вы? Вы были замужем?

— Замужем не была, а любить любила... — просто ответила Елена Петровна.

— Скучновато вам одной...

Не умела Марина Сергеевна вести такие разговоры — о скуке, о замужестве, о детях. Сама удивлялась своим вопросам. Но Елена Петровна отвечала как-то очень охотно, как будто не сомневалась в праве Марины Сергеевны задавать ей любые вопросы.

— Я человек обыкновенный, — сказала она. — На многое я не претендовала. Жила и жила. Не у всех такая судьба, как у вас...

— Человек сам — хозяин своей судьбы...

— Да?! — вдруг запальчиво возразила Елена Петровна. И Марина Сергеевна с удивлением увидела, какая страсть, какой темперамент и энергия кроются в этой женщине. — Нет, не всегда... Время прошлое, теперь можно не бояться этого. Но наш папа был дворянин. Бедный, но дворянин. И никуда мы с сестрой не могли уйти от своего дворянского происхождения. Жили тихо, как мыши. А по натуре мы энергичные, горячие. И не выучились, не получили образования и на службе всегда опасались, что вычислят... Сестра, если хотите знать, и замуж вышла не по любви, просто хотела иметь заслон, опору... А я... я на компромисс не пошла. Тёже мечтала когда-то, рвалась в какие-то дали... — Она засмеялась, но уже не так

весело, как раньше. Потухла, сжалась. Даже нижняя губа у нее немного отвисла, а может, просто почувствовалась усталость после тяжелого дня.— Одно могу сказать, жизнь свою прожила я честно, совесть не запятнала ничем. Здесь меня знают, многие меня уважают, даже во время войны помогала партизанам...

— Ну? Как же вы им помогали?

— Ко мне приходили как будто делать массаж... оставляли пакеты, потом эти пакеты забирали другие...

Провожая гостью, уже стоя на галерее, на ветру, Елена Петровна пригласила:

— Буду рада, если еще зайдете... Понимаю, вам не до меня. У вас там в санатории интересная публика, всякие заслуженные деятели, даже министры, возможно...

— Я все больше одна...— уклончиво ответила Марина Сергеевна.

— Ну, как это одна...— Ей, видно, очень не хотелось отпускать Марину Сергеевну, хотелось ее снова увидеть.— А может, массироваться хотите? Совершенно безвозмездно, по-родственному, конечно...— И добавила механически, заученно:— Массаж— это только средство, разумеется. Вот вы кладете сахар в чай и размешиваете ложечкой. Массаж— это ложечка, способствующая усилению обмена веществ в организме...

6

Конечно, нельзя сказать, чтобы Марина Сергеевна все время проводила одна. Были соседи по столу. На процедурах завязывались знакомства, но какие-то мимолетные, непрочные. А она привыкла к простым отношениям, бесцеремонным может быть, но зато сердечным.

Все-таки случай на волейбольной площадке жестоко ранил ее самолюбие. Она стала осторожной: «да», «нет», «спасибо», «какой сегодня теплый красивый день»— не более...

И когда к ней вдруг подошел седой мужчина в спортивной куртке, с ярким теплым шарфом на шее, которого она часто видела на горных тропинках с альбомом и карандашом в руках, и сказал, что хотел бы написать ее портрет, Марина Сергеевна даже оторопела:

— Портрет? Мой? Для чего это?

В былые годы ее часто фотографировали и рисовали,

но то было для газет или для клубов, тогда ее снимки довольно часто помещались в печати. Но теперь для чего?

— Как для чего? Я художник. Для себя, конечно... У вас очень энергичное лицо...

Ей казалось, что «для себя» рисуют только молодых и красивых. В памяти ее промелькнули портреты, какие она видела в музеях. Когда-то, она знала, богатые люди заказывали художникам свое изображение, но ведь это, наверно, очень дорого? Ну как она спросит, сколько? Она решительно замотала головой:

— Нет...

И ушла, почти испуганная.

Хотел ли он посмеяться над ней? Или узнал, кто она, уважает ее прошлое?

Она была так озадачена, что когда, пройдя дальше, встретила ту самую даму с длинными ресницами, которая была у Елены Петровны, то поздоровалась с ней очень приветливо, по контрасту, что ли? Та обрадовалась.

— Я такая же нелюдимая, как вы, гуляю одна...— заявила она.— Мне, как и вам, надоели люди...— И представилась: — Юлия, или Юлия Павловна, как хотите...

— А Елена Петровна считает, что тут у нас живет очень интересная публика...— Марина Сергеевна засмеялась.— Даже министры...

— Ну уж министры... Сейчас не сезон.

Юлия Павловна была неглупа, насмешлива, даже, пожалуй, беспощадна, деятельна. И Марина Сергеевна, не привыкшая иметь дело с такими женщинами, была несколько удивлена. Юлия всех знала и даже про художника объяснила, что он рисует неплохо, но без изюминки, так — середнячок... Она многое повидала в своей жизни, так как ездила, сопровождая мужа, знаменитого драматического актера, на зарубежные гастроли, и не столько была начитанна, как осведомлена, может быть с чужих слов — того же мужа-актера или его друзей, — о положении в литературе, в театре, в кино. Смешно рассказывала если не про самих писателей или режиссеров, то про их жен, их домашний уклад, их детей и причуды. Скромно, небрежно бросала: «мы соседи по даче», «мы вместе встречали Новый год», «мы шьем в одном ателье». И подчеркивала, что сама она проще, трудолюбивее, умнее, серьезнее. И хлопала своими густыми ресницами.

А когда Марина Сергеевна похвалила ее ресницы, призналась:

— Думаете, свои? Наклеенные. Знаете, сколько мне лет?

— Сорок?

— Гораздо больше...— В голосе у Юлии Павловны зазвучало торжество: — Мне никто не дает моих лет. Вот что значить уметь сохранять форму...

Несколько дней разговоры с Юлией Павловной занимали Марину Сергеевну, ей казалось, что Юлия Павловна знает тот секрет правильно устроенной женской жизни, какого не знает она сама. Они пошли вместе в магазин за покупками, и Юлия Павловна прямо-таки запретила покупать материю с золотой ниткой, потому что это дурной тон. Марина Сергеевна с интересом подмечала, какие духи предпочитает Юлия Павловна, какие туфли. Она помогла выбрать подарок для Тамары, точно определяла, что модно и что немодно. В этих вопросах Марина Сергеевна подчинялась Юлии Павловне полностью и была от души ей благодарна за советы. Они вместе пошли в кино, Юлия и там говорила с апломбом, удивилась, что Марине Сергеевне нравится.

— Мещанская мелодрама,— сказала она.

— А я даже плакала,— призналась Марина Сергеевна.— У меня всегда глаза на мокром месте, когда я прихожу в кино.

— Вот не ожидала, что вы сентиментальны,— удивилась Юлия Павловна. И Марина Сергеевна подтвердила:

— Я очень сентиментальная. А когда читаю приключенческое, все на свете могу забыть.

— В наш век надо уметь управлять своими эмоциями.— Юлия Павловна любила, чтобы последнее слово было за ней.

Ей, должно быть, льстило, что Марина Сергеевна так внимательно прислушивается к ее мнению. Марина Сергеевна понимала это и слегка даже досадовала на себя, что ищет общества Юлии Павловны, очень уж они разные. Она не умеет вот так праздно, остро и колюче болтать, не умеет ни осуждать, ни подмечать смешное в людях. Юлия Павловна делала это с блеском. Она высмеивала новые пьесы, где нет глубоких чувств, и старые за их патетику, эстрадных певиц за то, что поют все песни одина-

ково под Эдиту Пьеху, и классических за отсутствие школы, она спрашивала:

— Разве вы не заметили? Молодые писатели пишут про свое детство в деревне и про первую любовь, старые — про смерть и инфаркты. Они черпают свои наблюдения над жизнью в больницах, где часто лечатся. Я верно подметила? Ну, один ноль в мою пользу.

Серьезно Юлия Павловна говорила только о музыке. Но как раз музыки Марина Сергеевна совсем не знала. Признавалась с грустью:

— Люблю слушать, люблю воображать себе разные картины под музыку, но что играют, что исполняют — этого я не ведаю.

— Музыку знают немногие, единицы...— говорила Юлия Павловна.— Большинство ходит, лишь бы ходить... Вы заметили, как много на концертах стареющих женщин? У них нет никакого дела, нет любовников, мужьям они осточертели...

Марина Сергеевна не могла не улыбнуться. Верно, часто так и бывает. Однако заступалась:

— Лучше ходить на концерты, чем вязать или заниматься сплетнями.

— Да, но из-за них никогда нельзя достать билет на хороший концерт... Конечно, я этих трудностей не испытываю, я просто звоню администратору...

Эта уверенность Юлии Павловны в своем праве судить всех, звонить администраторам и тому подобное коробила Марину Сергеевну. Что, она не из того же теста сделана, что другие? Хотя сама Марина Сергеевна давно привыкла ко всяким удобствам и благам. Ей это полагалось просто. Многие даже огорчались, особенно мать, что она недостаточно пользуется своими правами, слишком скромна. Сама она как-то не задумывалась над этим... Когда человека освещает и греет солнце, он ведь наслаждается теплом, не задумываясь... Но что такого чрезвычайного совершила Юлия Павловна? Жена своего мужа, не больше... У Юлии Павловны было странное свойство угадывать, о чем думает собеседник.

— Пусть я только жена своего мужа,— вдруг сказала она.— Но быть женой такого мужа, как мой, немалая заслуга... и немалый талант...

Марина Сергеевна опешила. Ей, которая всего в жизни добилась сама, которая никогда не кокетничала и не

притворялась слабой, которая всегда полагалась на свои силы и за свои ошибки всегда готова была заплатить жизнью, такую она выбрала профессию, слова Юлии Павловны показались дикими. Она не возмутилась и не засмеялась только потому, что была по-настоящему озадачена. Может, она не поняла? Она уточнила:

— Талант? Какой талант? Для чего?

— Талант быть хорошей женой...

Они сидели на скамеечке и смотрели на далекие снежные вершины гор, сверкающие под холодным ярким солнцем. Тут внизу уже начинала явственно ощущаться весна, наверху еще была зима. А в городе днем ходили даже без пальто...

— Мы живем в нескольких плоскостях,— сказала Марина Сергеевна,— все время надо знать точку отсчета — то, что «внизу» по отношению к горам, то «верх», когда возвращаешься из города... И все эти ущелья, и склоны хребтов, и тропинки, по которым мы гуляем...

— Вы имеете в виду философский план, подтекст...

— Нет, элементарную топографию, рельеф местности...

— Ну, только не элементарную, вы правы, все очень сложно... Получила вот письмо от мужа. Всего несколько слов — жив, здоров. Отдыхай, лечись, набирайся сил — и все...

— Но это же главное...

— Возможно...

Юлия Павловна как будто боролась с собой, хотела рассказать что-то и боялась разоткровенничаться. Она вынула сигареты, маленькую, изящную зажигалку, закурила. И сигарету держала как-то изящно, не манерно, боже упаси, а изящно.

— Как вы красиво все делаете...

— Тренаж...— засмеялась Юлия Павловна.— Длительный многолетний тренаж...— Она все-таки решилась.— Многие думают, что жизнь жены знаменитого человека — это сплошные удовольствия. Нет. Это борьба... Настоящая борьба. Конечно, у меня большие возможности, больше, чем у других, квартира, дача, машина, вот я могу достать путевку сюда, а это не каждый может, но цена... Спросите моего мужа, где мы платим за квартиру? Он не знает. Где лежат носовые платки? Это ему неизвестно. Но если не окажется чистого платка, бог

мой... а белые рубашки для концертов? То, что я сама должна быть всегда одета и причесана, деятельна — это нормально. Но я еще обязана быть в хорошем настроении... у него может быть депрессия, апатия, раздражение, но я...

— А что, нельзя послать его к черту? — добродушно спросила Марина Сергеевна. — Разве вы не человек...

— Нет. Вот именно, что — нет. Он творец, он бог, он художник. На людях он сплошное обаяние, дома он может раскисать, ворчать, быть несправедливым, мелочным, искать ссоры и через мгновение забывать об этом... Но я должна улыбаться. Вы спросите, почему должна? — Юлия Павловна поторопилась предупредить возможный вопрос. — Во имя его успеха. Чаше он капризничает, когда не ладится роль. Впрочем, когда роль получается и он снова на коне, тогда он высокомерен, он важен... Но в минуты, когда он на сцене, а я смотрю на него из зала, я так счастлива: этот жест я подсказала, вот тут я похвалила его... Ах, это невозможно передать, я ведь и сама была актрисой, бросила, но профессиональный дух остался, живет во мне!..

— И все-таки вы недостаточно тверды, — сказала Марина Сергеевна, — надо быть построже...

— Ха! Над ним, как мошкара, кружат женщины, готовые все простить, согласиться на любые условия. Я вынуждена быть умнее их, остроумнее, практичнее, мечтательнее, деловитее, моложе, обольстительнее, щедрее, в общем, я должна, должна и должна... Вы помните, у протопопы Аввакума была жена, и когда в изгнании они шли однажды в метель, в буран, по льду, и она вдруг спросила в отчаянии: «Доколе жизнь сия?» — он ответил: «До самой смерти, Марковна». Но представляете, если бы за Марковной еще толпой шли соперницы и поджидали со злорадством, не споткнется ли она? — У Юлии Павловны хватило ума пошутить. — Правда, я не хожу по льду, чаще по паркету, но и на шпильках можно устать до чертиков... — Она опять вытащила сигарету. — Впрочем, они не так страшны мне, от соперниц я уж как-нибудь отобыюсь, мучают меня дневники...

Она перехватила недоумевающий взгляд Марины Сергеевны.

— Муж ведет дневник. И малейшую нашу ссору, малейшую мою оплошность описывает в этом дневнике, а я

не хочу входить в историю душой...— Марина Сергеевна была вконец удивлена.— Да, душой или истеричкой... Я не хочу быть сварливой в глазах потомков, поймите...

— Подумаешь, вам-то что...— пожала плечами Марина Сергеевна. И даже усмехнулась: — Потомки...

— Нет, не «что», не «что»,— обиделась Юлия Павловна.

— Но разве... ваш муж такой великий артист? Я думала, что дневники...

— Он играет главные роли... а у них в театре это традиция, они же преемники замечательных людей, основоположников, они все ведут дневники, пишут мемуары и письма с оглядкой на историю... Конечно, я тоже делаю кое-какие записи, но ведь всегда имя ценят больше, чем истину...

— Нет, я бы на все это плюнула. Вот взяла бы и плюнула...

— И что? Остаться одной? После того, как жизнь прожита? Он женится, я спокойна за это, за него любая молодая пойдет. А я? Я, с моими наклеенными ресницами, что должна делать? Если хотите знать, я его создала, без меня он бы не достиг того, чего достиг... Вам хорошо рассуждать, вы сами знаменитость, вы сами по себе представляете интерес. А я? Да у меня и знакомых не будет, меня и приглашать одну никуда не будут...

— Пусть не приглашают...

— Вам легко советовать, а я одиночества не перенесу...

Марина Сергеевна посмотрела на нее с сожалением. Все было, казалось, то же самое — прическа, рост, меховой жакет, темные очки, но как будто позолота сползла, слезла, Юлия Павловна потускнела. Марина Сергеевна сказала задумчиво:

— Ну и что — одиночество, одиночество можно освоить. Трудно, конечно, когда нету привычки быть одной, но ничего, освоить можно...

7

Раньше она не любила воспоминаний. Она вообще не любила ничего пассивного, предпочитала действовать. Но теперь... Воспоминания одолевали ее, обрушивались на нее, как камни во время обвала. Она пришла в горы

после того, что всю ночь бушевал ветер, и ахнула. Не бог весть какие горы были близ санатория, и дорожки здесь содержались в чистоте, чтобы отдыхающим было удобнее совершать свой терренкур, как загадочно назывались здесь прогулки; теперь эти дорожки, эти тропы были завалены камнями, сползшими с отвесных склонов, огромные, с корнями вывороченные деревья преграждали путь. Ветки были еще живые, трепещущие, мокрые, как от слез, от дождя, по мощным стволам встревоженно ползали муравьи, но деревья уже были обречены. Скрюченные, как пальцы в судороге, корни уже не цеплялись за каменную почву. И так же вот стоило подуть легкому ветру воспоминаний, и целые куски жизни обрушивались, стланивались, как обломки скал, стремительно летели вниз, рана давно забытой болью ее душу, разворачивая душу, которую она всегда называла «идеалистической выдумкой», как разворачивали почву эти вырванные с корнями деревья.

Она не могла понять, почему устояли под напором ветра тонкие и хилые стволы, а вот это ровное крепкое дерево погибло? Не умело гнуться, сломалось потому, что стояло прямо? Но ведь не одно такое гордое дерево было? И вообще глупо очеловечивать дерево, считать его гордым. Но ведь в литературе всегда так делают, особенно поэты. И с другой стороны, как же не сравнивать, когда сравнение напрашивается само собой? Разве их брак с Иваном не был таким же на вид сильным и крепким, как это дерево? И именно их брак рухнул. Почему? Потому что она, Марина, не умела гнуться и приспосабливаться, как Юлия Павловна, например? Или потому, что Иван оказался слишком упрямым и самолюбивым? А ведь верил, что будет любить ее вечно. В молодости она им восхищалась, даже гордилась его любовью. Но, конечно, не признавалась. Высмеивала его, вышучивала, сбивала с него спесь. Он не очень-то был находчивый. А ей нравилось в компании, когда ждали очереди на вылет или шли уже не строем, а так, вольным шагом с аэродрома, поднимать его на смех. Он сказал ей как-то угрожающе, когда остались вдвоем и стояли у большого, усыпанного красновато-лиловыми цветами куста сирени: «Смотри, Марина, поплачешь ты у меня. Я ведь самолюбивый...» Она, обмахиваясь шлемом — уже жарко было, — вскинула свою красу, свои гордые брови:

«Что ты воображаешь, кто ты такой... Что в тебе особенного? Таких, как ты, тринадцать на дюжину».

Нет, ей не пришлось у него «плакать», он очень ее любил и не часто видел ее слезы... В чем-то он был чувствительнее, чем она, уязвимее. Она понимала это, но не пользовалась тем, что понимала. Она и насмешки над ним, борьбу с ним прекратила, когда полюбила сама. Долго не сдавалась, не потому, что хотела набить себе цену, — боялась потерять свободу, боялась, что придется рожать и прекращать полеты, боялась, что надо будет рубашки ему стирать. «Ну, этого мне не надо, чтобы ты на меня работала. Я уважаю в тебе человека», — говорил он. Она возражала печально: «Ну да, наша русская женщина как полюбит, так сразу начинает обстирывать своего миленочка. А я хочу яркой судьбы...» Он согласился со вздохом: «Ты птица большого полета, это точно...»

Они дружно жили, не ссорились. По пальцам можно было пересчитать их размолвки и ссоры. Тогда, в молодости, ничего им не нужно было: ни хором, ни денег, лопали в столовой пшеничную кашу так, что за ушами трещало, а если отпускали в город и они попадали в кино, то покупали бутылку фруктовой воды, отмечая праздник. Это позже, когда стали жить своим домом, сделалось сложнее.

Конечно, ей было легче, чем ему, учиться в школе. Девчонок было немного, не все, кого зачисляли, оказывались способными летать, как только кончалась наземная подготовка и начинались самостоятельные вылеты, они терялись, когда оставались в кабине без инструктора. Отсев был большой. И тех, кто оставался, берегли. Инструкторы и преподаватели, даже начальник школы, низенький веселый человек в больших очках, — все были к курсанткам внимательны, помогали, чем могли. Да и ребята-курсанты служили им как рыцари. Иван был отличным курсантом, и, может, потому, что Марина никак не хотела от него отстать, из гордости, она не отступала... Теорией они занимались вместе, техникой, изучением материальной части тоже. Но успехам Ивана никто не удивлялся, а Марину всегда хвалили — и командование, и на комсомольских собраниях, и в газете. И если бывала районная конференция или парад, то будьте спокойны, Марина всегда произносила там приветствие от школы. В комбинезоне, в шлеме, затянутая ремнем. Голос у неа

был звучный, смелости хоть отбавляй — говорила пылко, четко, красиво...

То, что Ивана оставят при школе инструктором, понятно было давно, но и Марине предложили после окончания очень заманчивую штуку: задумали, оказывается, собрать группу лучших девушек-выпускниц, подготовить, оттренировать их как следует, с тем чтобы потом можно было создать в школе чисто женское подразделение с женским командным и инструкторским составом. Так вот во главе этой группы должна была стать Марина. «Ну как, согласна?» Она подумала и ответила: «Только я сама отберу, кого из девушек оставить». Начальник школы, подмигнув, ответил: «Хоп, как говорят узбеки. Согласен...»

Вот тогда и вспыхнула их первая очень серьезная ссора с Иваном. Из-за Лизы Гуськовой.

Это была подруга Марины, «доверенное лицо», как ее называли курсанты, остроносенькая, некрасивая, бессловесная, ходившая по пятам за Мариной, Лиза Гуськова. Трудно было понять, как попала она в авиашколу, трудно было поверить, что тихое это создание выбрало себе такую полную опасностей и мужества профессию. Но факт оставался фактом. Очень дисциплинированная, старательная, она была даже на неплохом счету, все, что можно было вызубрить по теории, знала назубок, все, что можно было отработать с упорством и терпением, выполняла хорошо. У нее не было таланта Марины, смелости Марины, отчаянности Марины, но, с другой стороны, ведь и не у всех остальных курсантов это было... Кроме всего, Лиза умела плакать. Она плакала так долго, так безысходно, что сердце любого, самого твердокаменного преподавателя не могло не дрогнуть... А сколько раз Марина спасала Лизу от отчисления, защищала ее, ручалась за нее, отстаивала. «Ты моя каменная стена, — говорила ей склонная к патетике Лиза. — Что бы я стала без тебя делать?..»

Нельзя сказать, чтобы Марина помыкала Лизой, нет. Она была для этого слишком справедлива. Но, конечно, Марине и самой приятно было быть такой щедрой на добро — если удача идет к тебе в руки, почему же не сделать еще кого-нибудь счастливым... Даже приятно было пробовать свою силу, заставить инструктора изменить оценку, поколебать решительного, но несколько

взбалмошного начальника школы. Она-то хорошо понимала, что начальник школы гордится ею, Мариной, ей не стоило труда упросить его.

Поначалу Лиза была немного влюблена в Ивана, но покорно отступилась, как только увидела, что Иван заинтересовался Мариной. С Мариной она, конечно, не могла соперничать. Потом Лиза влюбилась в другого курсанта и выплакала свою безнадежную любовь на сильном плече подруги. А перед самым выпуском, уже весной, за ней стал вроде приударять один парень, молчаливый белесый Сережка. «Ей-богу, если вы поженитесь, то станете плодить рыб, а не детей», — сердилась Марина. Ее раздражала кротость Лизы и нерешительность Сергея, все он прикидывал, как казалось Марине, стоит или не стоит жениться, связывать себя. «У нас же ни кола ни двора, вот закончу, получу назначение, встану на ноги...» «Не любит он тебя», — убеждала Марина подругу. «Привычка — вторая любовь», — заученно отвечала Лиза. «И некрасивый, белесый, как мукой посыпанный». — «Не в красоте счастье. Только бы мне не разлучаться с ним, и, поверь, он меня полюбит. Просто он скрытный. Скрытная глубокая натура». — «Скрытная мелкая натура», — возражала Марина. Сама она не умела ни рассчитывать, ни хитрить, ни строить дальние планы.

Когда стало известно, что Марина сама выберет, кого оставить, Лиза откровенно ликовала. «Мне просто повезло, мне адски повезло», — говорила она.

Марина отчетливо вспомнила теперь и почти пустую спальню, уставленную койками, и луну за окном, такую яркую на темном бездонном степном небе, и легкий запах дезинфекции, духов и полевых цветов, какими убирали курсантки свои тумбочки. Многие уже уехали, на стенах темнели прямоугольнички от снятых фотографий, матрацы на кроватях были скручены и связаны. А Марина тогда спросила: «В чем это тебе повезло?» — «Как в чем? Ведь Сергея обязательно оставят в школе, и я, я тоже... Да, я останусь?» Лиза произнесла всю фразу уверенно и только в самом конце, последнее «останусь» вдруг прозвучало не утвердительно, а жалобно и вопрошающе. «Это ты за меня решила? — жестко сказала Марина. — А кто тебе дал право на это?» — «Но я... ты же моя подруга». — «Но ты же знаешь, что не годишься в инструкторы». — «Ты так считаешь?» — «А ты как считаешь?» —

«Но ведь вся моя жизнь, счастье, моя судьба зависят...» — «Ох, не люблю красивых, но пустых слов, — сказала Марина искренне. — Ты не умерла, когда любила Ивана и этого второго, не помню, как его звали, а уж Сергей...»

Многие в школе говорили тогда о принципиальности Марины. Даже начальник ей сказал, что уважает ее за принципиальность. И на собрании так говорили. Даже жалели Марину, что ей трудно будет жить без любимой подруги.

Взбунтовался один Иван. Утащил ее в их любимое место, в заросли уже давно отцветшей сирени, и там выложил все, что думает. Так друзья не делают, она бесчувственная, она недобрая. «Ты еще скажешь, что я карьеристка». — «Предположим», — дерзко ответил Иван. «Ладно, будем считать, что сказал, а дальше?» — «Ты и от меня можешь отречься, в случае чего...» — «Могу, если поверю, что ты такой дурень, каким прикидываешься». — «Я не прикидываюсь. Неужели у тебя нет сердца?» — «А если она разобьется, твоя прекрасная Лиза?» — «А на линии, на линии разве она не может разбиться? Лучше потренировать ее как следует. Ты ей друг». — «Мне дан короткий срок, — сказала Марина, больше не улыбаясь. — Я не могу терять время на Лизу». — «Подумаешь, отрапортуешь о выполнении задания чуть позже... Ох, и тщеславная ты...» Он испугался того, как она сдвинула брови, и поправился: «Или скажем точнее — честолюбивая...» Она повернулась и ушла. И он не побежал за ней, как бежал обычно. Неделью она жила в тревоге, Иван не приходил, когда встречался — не заговаривал. Она сама остановила его и спросила: «Ну, член коллегии защитников, Сергей уехал на Северный Кавказ, и Лизка упросилась туда же, что ты теперь скажешь?»

Они помирились. Но первую эту серьезную ссору не совсем забыли.

То есть Марина забыла сразу же, а Иван любил порассуждать на эту тему, когда бывал за что-нибудь обижен на Марину. А ей, честно говоря, было не до Лизы... Жизнь открывала перед ней заманчивые перспективы, поглощала целиком все ее силы, все помыслы...

Они давно были женаты, давно получили комнату, взяли к себе мать Марины, а видели друг друга совсем мало — оба как черти работали, и так хорошо им было

в эти редкие часы встреч, что не до споров было, не до ссор... Характер у Ивана был ровный, теща не могла нахвалиться его покладистостью. А он так и говорил: «Мама, наша с вами священная обязанность создать Марине все условия...»

Да, Марина могла бы по пальцам пересчитать свои ссоры с мужем.

Это случилось позже, через несколько лет, когда имя Марины было довольно известно в авиации и жили они в большом городе, где Иван учился в академии, а Марина летала в аэроклубе. Она уже потихоньку готовилась тогда к перелету, так потом ее прославившему, изучала трассу, заводила знакомства с людьми, которые могли способствовать осуществлению перелета, усиленно тренировалась. Она летала, летала, летала в любую погоду, отрабатывала технику пилотирования, анализировала полетные карты, метеосводки на трассе будущего полета. Домой она являлась усталая, измученная и сразу же заваливалась спать, безучастная ко всему. Домашние события, занятия Ивана — ничто ее не интересовало. А бывали недели, когда она и вовсе не являлась, так и жила в гостинице при клубном аэродроме. Иван однажды стосковался до такой степени, что уехал к ней самовольно во время зачетной сессии, когда ему никак нельзя было отлучаться.

Они решили не идти в столовую, а поесть у нее в номере, чтобы никто не знал о приезде Ивана. Марина накрыла стол, сбегала за ужином, даже раздобыла бутылку вина, чтобы было торжественнее. Она растрогалась, стала мечтать о том, как они вместе закатятся в отпуск, будут купаться, плавать в море, качаться на волнах.

— И не воображай, пожалуйста, что ты там будешь заглядываться на каких-нибудь девок, черта с два. Я, и только я одна.

— Да разве ж... — Иван не успел закончить фразы, как в дверь постучали:

— Вы не спите, Марина? У меня для вас новости...

Черт, это был начальник аэроклуба, вот именно с ним Ивану никак нельзя было встречаться. Он засуетился, не зная, куда спрятаться. Марина втолкнула его в ванную комнату, накрыла полотенцем тарелки с едой и кинулась открывать.

— Привез для вас хорошие новости...

— Да ну? Неужели разрешили?

Марина нарочно говорила громко, чтобы Иван слышал, потом увлеклась и почти забыла о нем, так разволновалась. Она не раз и не два, много раз переспросила, может ли она надеяться, и что ответил человек, которому доложил начальник клуба, и скоро ли тот доложит о ее просьбе «наверх». Она налила гостю вина, и заставила его выпить за свой успех, и обиделась, что тот не хотел выпить, и обижалась до тех пор, пока тот не согласился. Сказала, что она суеверная, как все летчики, и что если он не выпьет, то сорвется весь их план... И когда наконец она повернула ключ в замке и распахнула дверь в ванную, то увидела Ивана, лежавшего на полу ничком. Он вцепился пальцами в губчатый коврик и молча рвал, выцарапывал ногтями куски.

— Что ты, Ваня? Что с тобой...

Она не сразу поняла, что привело его в такое бешенство, все еще была в счастливом угаре, хотела, чтобы и он радовался вместе с ней. Если бы он еще ругался, ворчал, злился, что долго пришлось ждать в темной клетушке, где и присесть не на что, она бы, может, и согласилась с ним. Но в этой слепой ярости было что-то новое для нее, пугающее, озадачивающее. Она стала его поднимать, он не сопротивлялся, встал, машинально, как на ватных ногах, пошел за ней в комнату, сел, уронил руки. Она опять спросила по-доброму, участливо:

— Ваня, что это с тобой, родной...

— А тебе не ясно?

Ей стало уже ясно, она уже обо всем догадалась, но не знала, как быть. Если она сразу покажет, что понимает, как унижительно было Ивану прятаться в ванной, не смея предстать перед начальником клуба, в то время как она, его жена, так смело и свободно себя держала, то она согласится тем самым, что действительно его положение унижительно, и, признав это, еще больше унижит Ивана. Она сказала уклончиво, хоть ей и было противно уклоняться от прямого разговора:

— Я знаю, ты устал. Ты злился, что долго... Но, Ваня, у нас здесь не очень-то соблюдают субординацию, не то что в академии. И, Ваня, ты пойми главное, он уже доложил о нашем проекте...

Иван взял в руки наполовину пустую бутылку, взболтал и, покачив головой, поставил на место:

— Хорошо, хоть на донышке оставили...

— Неудобно было не угостить. Как-никак человек зашел, чтобы рассказать.— Она вдруг вскинула голову.— Ты бы все-таки мог порадоваться за меня, не быть таким мелочным...

Он произнес устало:

— Это не мелочь... я твой муж, ты моя жена — разве это мелочь...

— Но я ведь не перестала быть твоей женой...

Она положила руки ему на плечи, поцеловала его, вдохнула родной, знакомый запах его тела, табака, одеколona, на мгновение поверила, что потребуй муж, и она легко откажется от всего, от этой кочевой жизни, наполненной полетами и разлуками, надеждами на перелет, на славу, на новые трудные задания. Но тут же без особой радости осознала, что никогда и ни за что не откажется от того пути, который сама выбрала.

Поздно ночью, когда Иван уезжал, она, обнимая его на прощание, попросила:

— Ну сознайся, что был неправ, что зря разыграл истерику?

— Ночная кукушка всегда перекукует дневную,— ответил он.— Только, ох, Марина, смотри...

Все-таки чувство их было еще очень горячо. И, желая смягчить впечатление от вчерашней сцены, он сказал, что когда поедут в отпуск, то запрутся в комнате и никуда он ее не выпустит — день-два-три, пока не-насытитсЯ...

Она насилу выпроводила его, они еле успели добежать до автобуса, чтобы он мог вовремя попасть в город.

Нет, тогда все еще у них было хорошо.

Труднее стало после перелета, когда она в один день сделалась знаменитостью. Иван насмеялся над ее известностью, над ее новыми знакомствами и связями, над гостями, заполонившими дом. Он даже несколько мешал, когда собиралась компания веселых благополучных людей, а он торчал тут же, как пень, высокий, мрачный, никому не известный, нелюбезный.

Марина втягивала его в разговор, он хмуро молчал. Просила спеть, расхваливая его голос, он отказывался. Тогда она сказала ему:

— Иван, только один выход, нажимай на учебу, понятно?

— Все равно того, что ты благодаря своему женскому полу достигнешь за год, я буду добиваться три...

— Что же ты предлагаешь: поменяться местами? Хочешь надеть мою юбку?

— Э, нет. Чего-нибудь я да стою и сам по себе...

— Ты же прекрасный летчик.— Марина обрадовалась.— Если хочешь знать, я всем обязана тебе...

— Ладно, лиса...

— То кукушка, то лиса...

— Ну ладно, орлица.— Он поомеялся, потом сказал ей на ухо, как по секрету: — А ты ведь и правда орлица!

— Ну, наконец-то переборол свое хохлацкое самолюбие!

Но он не переборол. Она видела, как он жестоко страдает. Стала осторожнее, не очень-то рассказывала о своих успехах, но разве скроешь: то ее звали на банкет, то на доклад, на встречу с комсомольцами или с пионерами. Мать как с цепи сорвалась, стала ею гордиться, хвастать, стала подчеркивать, кто у них в доме главный.

Марина посмеивалась, советовала не обращать внимания на старую женщину, которая, ты только пойми, всю жизнь билась, брошенная мужем, Марининым отцом, считала себя неудачницей, несчастной, нелюбимой, а теперь судьба как бы наградила ее за все обиды и лишения. Понимать-то он понимал, но все равно раздражался. И дома вечно была напряженная, насыщенная электрическими разрядами атмосфера, как перед грозой. Успокоение вносил только Игорек, Игорек примирял всех.

А в войну Иван бешено ревновал ее ко всем летчикам, боялся за нее, опасался, что если ее собьют над вражеской территорией, то будут пытаться.

Она уверяла, что не собьют, родилась под счастливой звездой, а ревность его высмеивала.

Он сразу учуял, когда она влюбилась в Шевченко. Потому и поднял на нее впервые в жизни руку. Она поняла это и даже пожалела его. Она ни за что не поставила бы его в ложное положение мужа, которому изменяют, в положение человека, над которым смеются у него за спиной, сплетничают или шушукаются. Она ведь сказала тогда Шевченко после их единственной, их первой и последней ночи: «Валя, во всем этом разберемся после войны...» Но Шевченко убили, и, когда кончилась война, она вернулась домой. И туда же вернулся Иван...

Может, она стала смотреть на него более холодно, более трезво, стала относиться требовательнее, потому что помнила Шевченко и тосковала о нем, может, она просто стала старше и опытнее в жизни, но маленькие трещинки, что пролегли в ее отношениях с мужем, стали расходиться, как лед в половодье, все шире и шире, и все громче плескалась между льдинами холодная темная вода равнодушия. А тут еще мать... Надоело разбирать их споры с Иваном, мирить, умиротворять, сглаживать, превращать все в шутку. Теперь, когда в их доме было довольство, когда они занимали три комнаты, а не одну, всем почему-то стало тесно, неудобно. То мать замечала, что Иван отослал слишком много денег своей сестре, выходявшей замуж, то Ивану мешала Маринина тетка, тетя Аня, та самая, у которой Марина с матерью жила когда-то в гражданскую войну, перед которой мать с особым наслаждением рисовалась общественным положением своей дочери. Мать ехидно говорила Ивану, что «Марина может себе позволить, при ее жалованье, пригласить не только тетку, а и всю родню». Забылись те времена, когда Иван хвалил тещин борщ и котлеты, а теща гордилась золотыми руками зятя. Иван стал выпивать. И теща подсчитывала выпитые им рюмки, как учетчик отмечает в колхозе выработанные трудодни. То она вдруг поднимала крик, что был коньяк, она хорошо знает, что был коньяк, где же он? То вдруг бестактно и назойливо начинала так хвастать Марининым положением перед гостями, что Иван свирепел и затевал скандал. Теща первая заметила, что Ивана часто зовет к телефону один и тот же женский голос. Она выслеживала, подслушивала, расспрашивала лифтерш, она нашла носовой платок в пятнах губной помады и «нечаянно» показала его дочери.

— Ты настоящий Яго,— сказала Марина матери, не зная, что сказать, но все-таки уязвленная.

А Иван буркнул:

— Не Яго, а Яга, типичная баба-яга...

Марина не засмеялась. Вдруг увидела, что злоба изменила красивое лицо Ивана, время сделало его грубым, располневшим, красным. И волосы, пышные волосы, поредели.

Дома стало немило, неуютно, если бы не Игорек, она бы и вовсе не являлась домой. Мать громко вздыхала, жалея Марину, вынужденную терпеть выходки мужа,

Иван грубил, желая унижить ее, показать, что будь она кем угодно, хоть генералом, хоть не знаю кем, а как женщина она его не интересуется, у него огромный выбор баб... Она знала, что это ложь, маска, бравада, что он все еще любит ее, но не нужно ей было это полное надрыва и уязвленного самолюбия чувство.

Надо было на что-то решаться, и она наконец решилась, сказала:

— Ты был прав когда-то, когда обещал, что я заплачу с тобой. Но я не стану плакать, нет... Нет у меня ни времени, ни охоты плакать. Давай разойдемся по-доброму. Если хочешь квартиру — бери, я получу другую...

Он ухмыльнулся, похвалил ее память, сказал, что и сам он тоже кое-что помнит:

— Как ты разделалась с Лизой Гуськовой, например. Со своей закадычной подругой. Теперь мой черед. Кого наметила на мой пост? Надеюсь, не прогадала? Мамаша не даст тебе прогадать, за это я спокоен...

— Ох, Иван, Иван! — только и сказала Марина.

Он стал звонить какой-то Машке и спрашивать, можно ли у нее временно пожить, и велел купить винца и закуски, он скоро приедет, а Марина уткнулась в подушку, чтобы не слышно было, как она плачет.

Иван топал по комнате, что-то искал, медлил, ждал ее зова. Но она не позвала.

Нет, она не умела делать что-либо наполовину.

А вот правильно ли она поступила, что не позвала Ивана, имела ли она право оттолкнуть его, понимая, что без нее, без семьи он может покатиться вниз, имела ли она право не окликнуть его, когда он уходил, кто знает...

Она смотрела на деревья, рухнувшие на дорогу, на мокрые ветки, обреченные на увядание, на смерть, на гибель, и думала про Ивана...

8

Все-таки Марина Сергеевна прохлопала, прозевала. Легкий, неясный изжелта-зеленоватый пушок, вылупившийся из клейкой тугой оболочки, как вылупляются цыплята из яичной скорлупы, увял, засох, почернел. Ветка стала некрасивой, и она выбросила ее без всякого сожаления, точно позабыв то почти детское ощущение нетерпения, с каким ей хотелось ускорить приход весны... Вес-

на пришла сама по себе, вспыхнула яркими красками, расцветила все вокруг, но Марина Сергеевна как-то не заметила этого, поглощенная собой.

Чем ближе был день отъезда из санатория, тем больше тревожилась Марина Сергеевна. Как будто именно здесь, в горах, она должна была все додумать и решить, понять, что с ней и что она будет делать дальше.

Она накинута на книги. Не то чтобы она читала намного больше обычного, — она и раньше увлекалась чтением, если не было других дел. В своей среде ее считали очень даже начитанной: входил в моду роман «Иван Иванович» Колтыевой, она его тотчас проглатывала, считалось, что «Жатва» Николаевой — прогрессивный роман, она покупала книгу. Любила стихи Есенина, даже многие знала наизусть. Увлекалась фантастикой, приключениями. Однажды — ее знакомые рассказывали это как анекдот — пришла на заседание антифашистского женского комитета, увидела у кого-то затрепанную книжку Шейнина, стала перелистывать, зачиталась, села в большое кресло, отвернулась к стене и опомнилась, когда стало тихо, заседание кончилось, все разошлись, сидела только на краешке стула владелица книги, не решавшаяся ее окликнуть, да стучала щеткой уборщица, подметавшая пол. «Ух, — с облегчением вздохнула Марина и захлопнула книгу. — Анна сильно ругалась?» — спросила она, имея в виду председательницу. Марина улыбалась, как нашаливший ребенок, в котором души не чают родители, тетки, бабушки, чьими грациозными шалостями все любят. Сама потом часто вспоминала этот случай: вот, мол, какая она непосредственная натура, беда...

Теперь она читала по-другому, задумывалась над прочитанным, следила не только за фабулой или за судьбами героев, а и за мыслями, за ходом рассуждений. И все примеряла, прикидывала на себя. Со страстью новичка она хотела делиться тем, что узнала, обсуждать, спорить, добираться до истины, до сути. Своими неожиданными вопросами она ставила Юлию Павловну в тупик. И та удивленно поднимала мохнатые, тяжелые от туши ресницы.

— Вы спрашиваете, кто это. Как это кто, критик...

— Хороший? Серьезный? — допытывалась Марина Сергеевна.

— Да на что он вам?

— Как на что? Мне надо знать... Он тут говорит, цитирует Толстого. Это про то, как внешние впечатления постепенно наслаиваются одно на другое, «вырезаются в свое значение», как говорит Толстой, и приводят к важным внутренним поворотам в духовной жизни человека. Вот так и я, я замечаю это на самой себе...

Юлия Павловна сказала с досадой:

— Я ведь читаю только детективы, хотя классику, понятно, перечитываю. Современной литературы не признаю... Все один и тот же мотив — я работаю, он работает, они работают... А форма? Человек куда-то поехал, и вдруг... В отпуск, в родной город, в родительский деревенский дом. Одно и то же...

— Но в жизни так и бывает.— Марина Сергеевна сказала это горячо.— Вот именно, поехал в отпуск, выбился из привычной колеи и увидел себя со стороны...

— Не знаю, со мной такого не бывает. Как это так — вдруг?

— А стихи вы читаете? — спросила Марина Сергеевна.

— Теперь мода на поэзию, Евтушенко и все такое прочее... — заметила Юлия Павловна, не отвечая на вопрос.

— А я вот тут прочитала стихотворение: «Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь». Как верно... Автор — Заболоцкий.

— Где-то я слышала такую фамилию... — Юлия Павловна помолчала, потом сказала с неожиданным ожесточением: — Ничего я толком не знаю, все понаслышке, все кое-как... — и вдруг заплакала. — Как надоело казаться образованной, всеведущей, веселой... надоело краситься, молодиться, клеить ресницы... Хочется настоящего, а чего — не знаю, не делаться же мне активисткой домоуправления на старости лет... — уже аккуратно вытирая слезы, чтобы не размылась тушь, сказала она.

— А почему бы не сделаться, — в тон ей ответила Марина Сергеевна.

И обе улыбнулись. Но не очень весело.

— Вот вам есть за что себя уважать, — сказала Юлия Павловна. — Такое прошлое...

— Прошлое, прошлое... В карете прошлого далеко не уедешь...

Марина Сергеевна теперь особенно сердилась, когда ей говорили о прошлом. Ну, хорошо — прошлое. Прошлым она может гордиться. Это верно. Ну, а настоящее, а будущее? Разве для нее уже все кончено? Разве она исчерпала все свои силы? Не рано ли ее хоронить?

Юлия Павловна уточнила:

— Карета и самолет — не одно и то же...

— В век космонавтики обычным самолетом никого не удивишь... — Все-таки она не утерпела, спросила еще раз: — Как вы это понимаете, хотела бы я знать, ну, эти слова? Душа обязана трудиться... Вот ваша душа, как вы считаете, трудиться?

— Увы, иногда я думаю, что душа моя заросла жиром и разленилась, но, с другой стороны, если я ощущаю недовольство собой, значит, она еще живая, моя бедная душа...

— Вот уж не думала, что когда-нибудь заинтересуюсь этим вопросом... — призналась Марина Сергеевна. — Я всегда жила поступками...

— Чего вы хотите, любви? — вдруг спросила Юлия Павловна.

— Ну, что вы... — не очень твердо ответила Марина Сергеевна.

— В нашем возрасте, как никогда, мы достойны любви, мы мудры, всепонимающи, глубоки, но увь... никому мы уже не нужны...

— Ну, почему это, у нас есть друзья, дети...

— Дети, да. Но у меня, к сожалению, нет детей...

— У меня сын, я его горячо люблю, я за него всю кровь отдам, но... — Досада, тоска, отчаяние слышались в голосе Марины Сергеевны.

Она не знала, что сказать.

Когда она вспомнила ту полноту жизни, которую ощущала, принимая мгновенные решения в полете или отдавая приказ на вылет, когда, не рассуждая, не думая об опасности, кинулась вытаскивать людей из горящего самолета, то все другие волнения теперь на земле казались ей мелкими. И она не знала, что делать с тем запасом душевных сил, которые все еще бушевали в ней, ища выхода.

Юлия Павловна вдруг взяла ее руку в свою и погладила. И переспросила:

— Как вы это сказали — «душа обязана трудиться»? — и повторила: — Душа обязана трудиться...

А Марина Сергеевна вдруг произнесла:

— Что-то, мне кажется, я пропустила в жизни, не удержала... Не уберегла... — Она опять вспомнила мужа, далекую, как сон, любовь Шевченко, все, о чем она так много думала в последние дни. И только теперь ей стало обидно, что она недосмотрела, дала увянуть зеленовatomу дымку распускающихся листьев на ветке, стоявшей у нее на столе, как будто эта ветка все-таки была чем-то бoльшим, более важным, чем просто веткой...

9

Так же, как медленно тянулись первые дни, так теперь стремительно полетело время. И Марине Сергеевне показалось, что она ничего не успела и уже ничего не успеет. И там не побывала, и здесь, и так и не съездила осмотреть развалины замка над пропастью, куда сбросил неверную красавицу какой-то не в меру ревнивый и самолюбивый хан. Она записалась на воскресенье на экскурсию.

Утром она почему-то вздумала проверить, нет ли ей писем. Писем она не ждала, потому что домой звонила по телефону и узнавала от матери все семейные новости, а кто еще мог бы ей написать? Деловую корреспонденцию она велела не пересылать, а складывать вместе с газетами. И вдруг оказалось, что ее дожидается несколько писем, одно от Николая, остальные от Тамары... Она испугалась, подумала, что-нибудь неладное с Игорем, Тамара жалуется на него. Но нет, она даже удивилась, — об Игоре невестка писала мало, просто беспокоилась о ней самой, мило и остроумно описывала их московское житье-бытье. Подумать только — умненькая девочка вошла в их дом, а никто и не подозревал.

Марина Сергеевна была так растрогана Таминым письмом, что меньше внимания обратила на коротенькое послание Николая: «Вы когда-то просили меня узнать, где в нашей системе работает Гуськова Елизавета, я навел справки у ребят: представьте себе, недалеко от вашего курорта, вот совпадение. Только она вроде уже не работает, живет у сына».

Марина Сергеевна даже вспомнить не могла, когда

это она просила. Ну что за обязательный человек! Она забыла, а он не забыл.

Николай опасался, что Марина Сергеевна не соблюдает санаторный режим, забывает, что она на отдыхе. Заботливость Николая ее не удивляла, к ней она привыкла. Только и подумала — верная душа. Но и к его верной душе она привыкла. Николай не был бы Николаем без этой верной души. Он инициатор ежегодных встреч однополчан, это он их затеял, всех разыскал, со всеми списался, это он устраивает ночлег иногородним, он заказывает ужин, в общем, держит в своих руках все «нити». А уж Марина Сергеевна всегда может на него положиться: Николай ругает Игорьку, когда надо поругать за очередное художество, выручает его из разных бед. Чуть что случается в доме, ну, например, когда переезжали и замучились с перевозкой, когда матери делали операцию, когда Игоря чуть не исключили из университета, Марина Сергеевна звонила Николаю: «Выручай...» Он, как в бою, выручал... Вот даже если бы она отсюда послала Николаю телеграмму: «Приезжай, пропадаю», — наверняка прилетел бы. Только она этого не делает, уж как-нибудь справится со своим настроением сама.

Письма Тамары напомнили ей, что надо зайти попрощаться с Еленой Петровной, все-таки старуха, надо уважить... Она ничего не умела откладывать в долгий ящик, сразу же и пошла...

Сегодня комната Елены Петровны выглядела повеселее, виноград за окном казался более живым, на столе стоял букетик подснежников, кошка не спала, умывалась, хорошилась, словно ради праздника. И даже холодная клеенчатая кушетка была накрыта ковриком с вышитыми крестом большими гарусными розами, — в детстве, во время скитаний по провинции, Марина Сергеевна уже видела такие коврики, такие огромные розы. И сама Елена Петровна не выглядела сегодня такой утомленной и хрупкой. И поспала сегодня попозже, и кофейку напилась, а кофе бодрит.

Полная добрых чувств, Марина Сергеевна опять заговорила о том, что пора уже Елене Петровне на покой. И комнату эту с печным отоплением надо бросать, ведь строится же для сотрудников курорта современный дом со всеми удобствами. Надо проситься туда.

— Не дадут, мне ни за что не дадут, — даже замахала

руками Елена Петровна.— Я ведь работник не перспективный...

— То есть?

— Старая, сколько еще проработаю, кто знает? Нет, в первую очередь дадут молодым... Да мне и здесь не плохо...

Марина Сергеевна часто помогала людям, любила помогать... Хвастала, что умеет пробивать бюрократические стены. Ей это было не трудно. Она свободно звонила, кому хотела, ее соединяли, смело приезжала на прием, смело проходила мимо очереди посетителей в кабинет, кто решился бы ее остановить? Смирение Елены Петровны, убежденность в том, что ее не примет директор курорта, не пустят ее к нему, а уж в горсовет тем более, просто раздражали Марину Сергеевну. «Какая чепуха! Надо уметь добиваться справедливости, если твое дело правое... Ведь у каждого человека только одна жизнь, свои потребности, а потому и своя, пусть даже малая правда».

Сама для себя она искала правды большой, искала больших дел, больших масштабов. Квартира, награды, бытовая и материальная устроенность, то, что составило бы счастье многих и многих других людей, ее не удовлетворяло...

— Это ничего, что зимой холодновато,— говорила между тем Елена Петровна,— зимы у нас короткие, к счастью. Летом я себе заработаю запас и зимой держусь, зимой-то работы мало...

— Чем же вы занимаетесь?

Елена Петровна залилась смехом и снова замахала руками:

— Даже неловко говорить. Перевожу старые французские романы. От мамы остался целый сундук. Любовные... У меня отбою от читательниц нету. Ведь всем хочется читать про необыкновенную красивую любовь.

— Так надо бы издавать...

— Ну, что вы. Это же совсем старье, ничего современного... да и какой я переводчик, просто так...

Марина Сергеевна только пожала плечами.

— Но как же можно заниматься такой бессмыслицей? — вырвалось у нее.

Старуха немного обиделась:

— А все-таки люди читают... Людям радость... Ну и за это спасибо, значит, не зря живу...

«Выходит, можно и так жить?! И ведь действительно приносит радость. Но какую? Кому? Кому может нравиться такая белиберда — графы, маркизы, князья?..» Марина Сергеевна все-таки полистала несколько тетрадей, исписанных крупным почерком.

— У вас красивый почерк, — похвалила она.

— О, на каллиграфию когда-то обращали много внимания.

Марина Сергеевна ушла, боялась опоздать к обеду, после которого надо было все же ехать на экскурсию, но долго еще думала про длинные зимние вечера, про то, как сидит и переводит эта одинокая Елена Петровна. Лучше бы детей учила языку. И верно говорила Тамара — чудаковатая старуха!

Нет, не могла бы она заполнить свою жизнь неумелым переводом никому не нужных старых книг. А ведь не за горами то время, когда придется оставить работу. Что за занятие найдет она себе тогда? Внуков будет нянчить? Но она и сына не нянчила. Вышивать не умеет, сплетнями и пересудами не занимается, притворяться, что любит музыку, не станет. Даже старичка, с которым коротают век; у нее нет. Выгнала она своего старичка, отдала другой, очень обыкновенной женщине. И очень обидно, что утихомирился, успокоился с этой обыкновенной ее Иван, пить бросил!.. Что бы там ни говорила мать — мол, он бы прибежал, он бы вернулся! — нет, не вернется. И не потому, что она утерjala свою красоту, свою женскую привлекательность, нет.

Мысли эти расстроили ее, она не любила вспоминать про Ивана, чувствовала себя виноватой перед ним в чем-то. Ей уж даже не хотелось никуда ехать, ни на какую экскурсию, в пору было завалиться на свою кровать и лежать, лежать, вороша прошлое. Но после обеда в столовой поднялась суматоха, культурник просил записавшихся «занимать места в автобусе согласно купленным билетам», и Юлия Павловна, кокетливо повязанная платочком от пыли и ветра, уже стояла у столика Марины Сергеевны.

— Ну, поехали, отдадим дань вселенскому мещанству...

— Почему мещанству?

— Как же, как же. Мещанин всегда осматривает все, что положено осмотреть.

— И то верно,— простодушно сказала Марина Сергеевна.— Быть на минеральных водах и не увидеть замка.

Автобус миновал асфальт и запрыгал по пыльной, как будто присыпанной лежалой мукой дороге. Тянулась какая-то скучная низменность, и непонятно было, где они поднимутся в горы. Попадались отары овец. Овцы глупо и испуганно смотрели на автобус, готовые ринуться в сторону. Их удерживал окрик ветхого деда в бурке и каракулевой папахе. Медькали мазанки, похожие на украинские. Пока не было ничего достопримечательного, но Марина Сергеевна упорно смотрела в окно, стараясь не видеть Кириллова с его шумной компанией. Кириллов был хмур, невесел, и Марина Сергеевна испытала некоторое злорадство оттого, что дама его, та самая, что забегала тогда к нему в комнату, откидывая голову и выпячивая бюст, хохочет, выслушивая шуточки мужчины, сидящего позади. Марина Сергеевна так и подумала «шуточки», а не шутки, очень уж фатоватый вид был у мужчины.

Дорога становилась круче, зеленее, проскальзывало что-то дикое в природе, в пейзаже, реже попадались деревья, и то исхлестанные ветром. На горизонте показались горы, больше похожие на скалы, только не каменные, а глиняные, что ли. Выветренные, иззубренные, словно они первыми принимали на себя порывы урагана.

— Кольцо, кольцо! — закричали в автобусе.

И Марина Сергеевна увидела ту причудливую шутку природы, которую уже не раз видела на снимках,— огромный круг пролома в горе, в котором синело небо.

Автобус остановился, все побежали фотографироваться, карабкались вверх, влезали в круг, кто не мог влезть, становился пониже, так, чтобы «кольцо» хотя бы попало в фон. Дама Кириллова, подсаженная своими кавалерами, конечно, очутилась в «кольце». И так и этак изгибала руки, то снимала, то надевала шарф.

Все-таки Кириллов закричал:

— Марина Сергеевна, прошу!

Она покачала головой:

— Нет, нет...

Вернулась в автобус, не дожидаясь Юлии Павловны, которая, иронически улыбаясь, стала в кадр,

Потом наконец поехали к замку, делали немыслимые повороты, кричали от страха, переключали передачи, так что мотор натужно ревел, любовались на красоты. А красоты уже были настоящие, так что все постепенно приумолкли, перестали болтать и шутить.

Замок был реставрирован, подновлен, от зубчатой башни и стен веяло стариной, подлинностью, а вывеска ресторана, к счастью, облиняла от дождя и снега. Все поахали, поохали, выслушали легенду про хана и его неверную жену, проглотили дежурную шутку культурника: «Так что мой совет женам — сохранять верность», — полюбовались простором... Кто пошел в ресторан, кто гулять. Сколотились компании, Юлия Павловна примкнула к тем, с кем фотографировалась у «кольца», отправилась есть шашлык. Марина Сергеевна идти вместе с ней отказалась.

Солнце уже заходило, в ущельях сгущалась тьма, надвигались сумерки. Какие-то новые оттенки, то розовые, то сиреневые, появились на небе.

Марина Сергеевна постояла у автобуса, критически посмотрела на покрышки со стертым протектором, сказала водителю:

— Слабоватая резина для таких крутых виражей.

Он вздохнул, но разговора не поддержал.

Она пошла прямо по молодой траве, уже чуть влажной от вечерней росы. Еще раз вспыхнуло солнце и вдруг осветило, выставило на обозрение сверкающие, укрытые снегом вершины, и тут же они скрылись в клубящихся облаках. Так бы и шла и шла, да нельзя было уходить далеко, скоро стемнеет, надо ехать обратно.

Марина Сергеевна вернулась. Все еще были в ресторане, она тоже решила зайти туда — попить нарзана.

Ее оглушил запах жареного шашлыка, табачный дым, взволнованные голоса. Она сразу же увидела Кириллова, с белыми от гнева глазами, с зажатой в руке бутылкой. Дама его, театрально плача, кричала:

— Вы меня компрометируете, я замужем, какое вы имеете право!

Мужчина, что шутил в автобусе, с красной, будто наруганной, щекой, вопил:

— Я вам этого так не оставляю!

Толстый человек в белой куртке, должно быть заведующий, твердил:

— Кушать хочешь шашлык — кушай, пить хочешь коньяк — пей, пожалуйста! Зачем оскорбляешь гостей, некрасиво поступаешь.

Официант, какие-то загорелые парни в цветастых рубашках пытались схватить Кириллова за руки.

— Гражданин, давайте выйдем, — просил официант.

Не понимая, что произошло, не рассуждая, сознавая только, что все против Кириллова, Марина Сергеевна бросилась вперед, резко отстранила заведующего, растолкала парней.

— Ну, разбушевался, — спокойно сказала Марина Сергеевна и взяла у Кириллова бутылку. — Ладно, ладно, идите себе, чего вам! Сами разберемся... — сказала она парням. И что-то в ее голосе было такое, что все повиновались. Дама Кириллова перестала плакать. — Встань, — сказала Марина Сергеевна. Кириллов встал. — Пошли, — скомандовала она. Он пошел за ней к выходу. — Засунь два пальца в рот, ах, какой дурак, — сказала она, когда они уже были снаружи.

Всю обратную дорогу Марина Сергеевна молчала. Юлия Павловна стала шептать ей, что, мол, зачем надо было вмешиваться, рисковать, ведь он мог ее ударить бутылкой, если смог дать ни с того ни с сего пощечину интеллигентному человеку.

— Надо таких сажать на пятнадцать суток, научился бы себя вести.

— Замолчите, — резко сказала Марина Сергеевна. — Жаль, даме своей морду не набил.

Юлия Павловна надулась, потом не выдержала:

— Что вы в нем нашли, не понимаю...

— И не поймете. Вам этого не понять, а мы вместе воевали...

Но самого Кириллова, когда он поздно вечером, протрезвевший, пришел к ней оправдываться, просто выгнала:

— Иди, иди, видеть тебя не хочу. Нашел с кем связываться! Позоришь меня, позоришь нашу часть, Кириллов. Иди...

И захлопнула резко дверь.

Он постучал еще раз. Сказал за дверью:

— Марина Сергеевна, нельзя же быть такой принципиальной, такой беспощадной...

— Можно, — ответила она. И дверь не открыла.

Это и муж, бывший ее муж, часто твердил: «Тебе принцип дороже всего. Сострадания ты не знаешь...»

Неправда это, знает она сострадание. Но только на сострадании ничего не построишь, ничего не добьешься. Она всегда считала именно так. Она и мужу не раз отвечала: «Сострадание унижает того, кому сострадаешь, разве ты этого не понимаешь?» — «Нет, не понимаю, — не соглашался Иван. — Красивые слова, а за ними можно спрятать что угодно». — «Что именно?» — «Все». — «Я слов зря не произношу и ничего никогда не таю». — «Уж будто бы...» Все-то он рвался ее критиковать, разоблачать, выводить на чистую воду. Бедный Иван! Видно, и сам того не знал, что придирчивость переходит во вражду, в мелочность, а ненависть иногда диктуется пристрастием, любовью. Мать на все это смотрела просто: он завидует. Но Марина Сергеевна-то знала — не завидует, вернее, не только завидует. Она разрубила тогда этот гордиев узел, так, кажется, это называется, потому что не могла тратить время и душевные силы на то, чтобы разбирать и анализировать каждое слово, каждый неожиданный поступок Ивана. Не по нутру ей такое занятие. Любишь — живи, как люди живут, не хочешь, ну, тогда как знаешь...

И все-таки она часто думала о том — вот именно здесь, в эти дни, — почему не сложилась их жизнь с Иваном. А о чем она никогда не думала, не позволяла себе думать — так это о том, что было бы с ней, со всеми с ними, если бы не погиб Шевченко. А что толку думать? Она и сама могла погибнуть не раз и не два — в такие переделки попадала, что чудом возвращалась на аэродром. И Иван всю войну летал. И потом еще долго летал.

Нет, она не хотела размышлять об этом, не хотела помнить об этом, хотя и не могла забыть. Хотела бы, но не могла. И Иван не мог забыть, хотя ничего толком не знал. Чувал, чувствовал, догадывался, а знать не знал.

Она все не могла уснуть, разволновавшись после идиотского инцидента с Кирилловым и его спутниками там, на горе, в этом душном духане, гордо именуемом рестораном; леглась и снова вставала, не зажигая света. А свет и не нужен был, напротив ее окон в небе висела, как пришипленная, яркая луна. Сколько уж раз смо-

трела она на пейзаж за окнами, как ни привыкла к нему за месяц, но сегодня все эти складки и изгибы горного хребта, поросшего лесами, освещенные луной, по-новому печалили ее, но как-то сладко, благодатно печалили.

Она стала вспоминать то, о чем не хотела вспоминать, потому что все еще не могла ясно определить свое отношение к той последней их встрече с Иваном, а она не терпела ничего неясного, ничего неопределенного.

Накануне отъезда сюда, вот в этот санаторий, пришли к ней попрощаться разные люди. Как это принято обычно, всем, кто звонил или встречался, она говорила беспечно: «Да, да, заходите прощаться, уезжаю отдыхать». И если кто спрашивал: «Даете отъездную?», бодро отвечала: «А как же? Как же без отъездной?» И даже после работы заехала в магазин и купила хорошего вина, не надеясь на мать, — та все норовила купить подешевле, портвейна или молдавского. А нынешний гость любит коньяк, или если уж вино, то не сладкое, а кисленькое, сухое...

И хотя она матери сказала, что, мол, ни к чему гости в последний вечер, укладываться надо, сама была не против шума, как-то приятнее уезжать, когда ты вроде кому-то нужен, кто-то хоть вид делает, что огорчен предстоящей разлукой.

Веселая, смеясь, она выбежала на очередной громкий звонок в переднюю, весело повернула ключ, крича:

— Ну, кто еще здесь, у нас все дома... — и увидела на пороге Ивана. Это он впервые после развода пришел к ней в дом.

— А-а, Иван, — несколько растеряннo сказала Марина Сергеевна. — Ну заходи. У нас как раз народ, гости...

— Может, нестати?..

— Нет, почему... — Чтобы скрыть растерянность, она отперла почтовый ящик, вынула письма и, держа их в руке, повела Ивана в столовую.

За столом замолчали. С любопытством и даже некоторым удивлением все уставились на Ивана, на его мешковатый костюм и обветренное лицо. Марина Сергеевна сразу поставила точки над «и»:

— Знакомьтесь, кто незнаком. Это — отец Игоря, мой бывший муж...

Все еще не выпуская писем из рук, Марина Сергеевна наблюдала, как Иван здоровается, целует и хлопает по

плечу Игорька, знакомится с Тамарой, представляется гостям. И только когда он подошел к теще, инстинктивно сделала шаг вперед, чтобы в случае чего вмешаться. Но Иван сказал без злобы, с усмешечкой:

— Ну, мамаша, здравствуйте. Как здоровье? Как нервы? Успокоились?

Старуха приняла вызов:

— Успокоились. Очень даже успокоились...

Марина Сергеевна вмешалась:

— Почему супругу не привел?

— Куда ее в такой дом? Она женщина простая...

Все-таки Марина Сергеевна хотела увести Ивана от гостей, от общего стола. Не выкинул бы чего. Ей это было бы неприятно. Вернее, неудобно. И Тамара тут же.

Всюду — не только за столом, но и на диване, и в комнате у Игоря — были люди, всюду сидели, болтали и курили. Марина Сергеевна замечала, как внимательно разглядывают Ивана и как он сам внимательно приглядывается ко всем, оглядывает стены, фотографии в рамках, оценивает мебель.

— Все как и было, — заметил Иван.

— А я ничего не меняла, надо бы кое-что подновить, да времени нету... Может, после отпуска...

Марина Сергеевна повела Ивана в свою комнату, но и там, болтая, сидели под высокой лампой мужчина в черной бабочке и очень накрашенная рыжая женщина.

— А ну вытряхивайтесь, — пошутила Марина Сергеевна. — Ко мне человек пришел, дайте поговорить...

— Я вообще исчезаю, — сказал мужчина в бабочке. — Я страшно огорчен, что вас не будет на премьере. Я просто убит... Но, может, вы заедете утром на генеральную репетицию?..

— Вот уж не знаю, столько дел.

Мужчина в бабочке долго целовал, прощаясь, руку у Марины Сергеевны, а рыжая пообещала:

— Я напомню завтра Мариночке Сергеевне. Я ее обязательно привезу, да, Мариночка Сергеевна?..

— Но, — мужчина сделал серьезное лицо, — критиковать строго, мне важно знать ваше впечатление, ваши замечания...

— Я всегда говорю все в лицо...

— Это кто же? — спросил Иван, когда мужчина с дамой вышли.

— Певец.

— А женщина кто?

— А бог ее знает,— засмеялась Марина Сергеевна.— Приблудилась к дому, какого-то генерала пассия... Она у нас почти каждый день...

— Так,— сказал Иван.— Широко живете...

— И не говори, родня зачастила, спасу нет. Иногда вернешься домой с заседания — всюду постелено: и на диванах, и на раскладушках...

— Игорь как учится?

— Тянет. Вернее, я его тяну.— Она не хотела жаловаться.— Беда с нынешней молодежью...

— А жена у него вроде ничего...

— Да разве это первая?.. Ты бы с ним поговорил, Иван...— Может, в первый раз за этот вечер они встретились глазами. Ну что ж, Игорь-то у них общий, одно только общее и осталось у них — Игорь. А Иван все смотрел и смотрел на нее.— Но Тамара, я надеюсь, окажет на него хорошее влияние, она девочка серьезная,— поспешно сказала Марина Сергеевна, почему-то испугавшись.

Иван протянул руку, но только взял у нее пачку с письмами, посмотрел на конверты, бросил на стол, где и так уже лежала груда писем.

— Кто ж это тебе пишет?

— Приглашения все,— сказала Марина Сергеевна.— Вот пионеры просят выступить, техникум, работницы с фабрики...

— Ну и как? Все еще ходишь, когда зовут?

Марина Сергеевна пожала плечами:

— Приходится.

— Не нравится мне все это,— резко сказал Иван.

— Что это?

— Ну все. Суэта эта, и гости эти. Не надоело?

Марина Сергеевна хотела все обратить в шутку:

— А что? Я люблю людей. Я им одно говорю: «Вы только угодите моей маме, она любит почет...» — Она вспомнила, что шутка эта была в ходу еще при Иване, когда Иван жил в этом доме.— Не гнать же, ходят и пусть ходят... Раньше больше ходили...

— Как в ресторан ходят...

— Авось не обеднею,— уже более сердито сказала Марина Сергеевна.— Я как была расточительная, так и

осталась. Вот мать ругается, что у всех дачи собственные. А на что она мне?.. И ты туда же...

— Тебя жалею...

— Меня не жалеи, я не из тех, кого приходится жалеть...— Она вдруг спохватилась, что говорит запальчиво.— Ну, а ты как?

— Нормально...

— Счастлив в личной жизни?

— Представь себе — счастлив...

— Пьешь?

— Так это только кучер на Большом театре не пьет, и то потому, что лошадей не на кого оставить.

— Я имею в виду — пьянствуешь?

— А тебе бы приятнее, чтобы я до самого-самого докатился, до дна? Нет, порадовать, совесть твою успокоить не могу, — не пьянствую. С того самого денька, как ты меня коленкой под зад наладила, прекратил...

— А где служишь?

— Баранку кручу. В такси. Штурвал умел держать, так уж с баранкой справлюсь...

— Что ж ко мне не обратился, я бы позвонила кому...— упрекнула Марина Сергеевна.

— Нет уж, спасибо...

— Мы ведь старые товарищи, Иван...— мягко сказала Марина Сергеевна.

Что-то дрогнуло в лице у Ивана, чуть смягчилась складка у рта, но тут на пороге появилась мать Марины Сергеевны. Она с испугом смотрела то на дочь, то на бывшего зятя. Иван заговорил как-то слишком весело, боялась Марина Сергеевна этой его веселости:

— Вот, слышите, мамаша, Маринка говорит, что мы с ней вроде товарищи. Какие ж мы товарищи — верно, мамаша? — когда она вонкто, вон где, — он показал вверх, — а я — вон... — он опустил ладонь чуть ли не до пола.

— Я не знаю, не знаю, вы уж сами, — с несчастным лицом сказала мать. — Но гости обижаются, что хозяйки нету. Горячее пора подавать...

Когда она вышла, Иван снова сказал:

— Раньше у тебя народ познатнее собирался. Или из моды вышла?

— Как это — из моды?

— Ну, пардон, из славы?

— Пока не замечала...

Она из всех сил держалась, чтобы не разозлиться. А Иван все дразнил ее:

— Работаешь?

— Работаю.

— Работаешь или числишься?

— Работаю, Иван, работаю.

— Замуж что не выходишь? А то вон моя кровать пустует...— Он подошел к кроватям, стоявшим рядом, привычным жестом поправил подушку.— Или мамаша никак новую кандидатуру не утвердит?..

— Ты что элишься, Иван? Ты что все воюешь со мной? — спросила Марина Сергеевна.

А Иван вдруг сказал:

— Очень я тебя когда-то любил. Не думал, не гадал, что так получится. Да, раньше ты была совсем иная...

— Я какая была, такая и осталась...

— Не сказал бы...

— Старая стала?

— Не то чтобы старая...

— Вот поеду, отдохну, помолодею...

Иван все стоял около кровати, рассматривал фотографии на ночном столике. Тут и она, и Иван, и Шевченко, и еще много других военных летчиков. Кажется, даже Кириллов был на выцветшем любительском снимке, — кто-то из ребят щелкнул у самолета.

— Не забыла?

— Кого?

Иван ткнул пальцем:

— Меня хотя бы. И его вот. Шевченко, кажется?

— Не помню, — сказала Марина Сергеевна.

— А тогда много болтали про вас...

— Не знаю. Мне не докладывали, что кто болтает...—

И твердо сказала: — Пора к гостям, неудобно...

И вышла в столовую. Остановилась у стула Игоря, облокотилась, погладила его мягкие волосы. А Иван — он вышел вслед за ней — почему-то задержался у выключателя, потом сказал Игорю:

— На ниточке висит. Хозяин, ты что же за домом не смотришь?

— Да я...— замялся Игорь.

— Он у нас учится, занят, когда ему? — заступилась бабушка.

А Марина Сергеевна засмеялась:

— У нас бабушка всегда за Игоря горой стоит. Меня она держала строго, лупила, не жалела, а Игоря...

Мать очень обиделась.

— Что люди подумают? — сказала она. — Когда же я тебя пальцем трогала? Правда, я тебя воспитывала и Игоря воспитала...

— Только меня одного не сумели воспитать, — сказал Иван.

Но никто его не услышал. Кто-то предложил тост за мать Марины Сергеевны, сумевшую вырастить такую замечательную дочь.

Иван снова сказал:

— У вас, я вижу, все как было, так и осталось...

— Это и хорошо, что все так же, как было, — как будто не поняла Марина Сергеевна. — На этом мы и стоим...

Она нарочно смеялась и шутила со всеми, снова рассказывала, как устала и как рада, что едет отдыхать, вспомнила что-то забавное и первая хохотала, как будто хотела заглушить то, что ее тревожило. А Иван молчал. Молча сидел за столом, не отвлекая соседок, не отвечая на их вопросы, не слыша. Потом встал, перебив кого-то на полуслове, собрался уходить. Поцеловал Игоря и Тamarу поцеловал. Игорь ткнулся ему в плечо:

— Пап, ты приходи, а пап...

— Часто не обещаю, когда еще в Москву соберусь...

Теща фальшиво пригласила:

— Заходите, заходите, милости просим... всегда рады...

— Гуманная у тебя бабушка, — сказал Иван сыну. И, уже уходя, попросил тихо у Марины Сергеевны, чтобы подарила ему на память какую-нибудь фотографию, где они молодые, не то он чувствует себя как голый человек на голой земле, как будто не было у него ни молодости, ни прошлого. Ему хотелось, чтобы она отдала ту военную фотографию, но она не смогла, ни на какой другой Шевченко не было.

— Военная-то у меня только одна...

— Понятно... — перебил Иван.

Марина Сергеевна не стала вслушиваться в интонацию, с какой он это произнес.

— Я тебе дам другую, не менее для меня дорогую. Это самое начало нашего жизненного пути. Я тебе отдам ту, что в школе, там и ты, и Сережка, и Лиза Гуськова...

— О, иметь фотографию молодой Лизы Гуськовой для меня очень важно.

И снова Марина Сергеевна приняла его слова за чистую монету:

— Ты всегда уважал Лизу Гуськову...

— Вот именно...

— Что ж, я и сама любила Лизу...

Иван повторил:

— Вот именно...

...Стоя у окна и глядя на далекие горы, Марина Сергеевна подумала, что и правда была бы рада увидеть Лизу. Ту самую Лизу Гуськову, рядом с которой начинался ее жизненный путь, как она тогда сказала Ивану...

11

Уже в темноте, промокшая от дождя, ослепленная молниями, ошалевшая от раскатов грома, она достучалась до Лизы Гуськовой. Хохотала, стоя в передней, оставляя следы на чистом половичке. Лиза никак не могла поверить, что это она.

— Я и не мечтала встретиться... Кто тебе дал адрес? Как ты шла в такую грозу, без плаща? Надо было переждать...— восклицала Лиза, прикладывая руки то к груди, то к щекам.

— Московский поезд через три часа. Я прикатила на электричке.

— А вещи?

— Положат на мою полку, я договорилась. Представляешь, выхожу из вагона — ливень, ну что делать? Я все-таки пошла...

— Внука укладывала и сама задремала, вдруг — стук...

— Все кулаки отшибла, так грохотала... Ставни закрыты...— сказала Марина Сергеевна.— Что ты тут прячешь, какие сокровища?

— Мое единственное сокровище — внук. Какая досада, ни сына, ни невестки нет дома...

— Ну и хорошо, хорошо, что мы одни...

— Им бы так было интересно, они себе не простят...

Лиза совсем растерялась. Доставала из буфета падающую посуду, извинялась, что нечем угостить, все такое простое, обычное — она не ждала гостей, кидалась ста-

вить на огонь чайник. Набила бумагой Маринины туфли, чтобы просохли, заставила ее натереть водкой ноги. Вытащила семейные фотографии.

— Мне даже неловко говорить тебе «ты», как когда-то...

— Это ты, Лизка, брось...

В первую минуту Марину Сергеевну поразило желтоватое, похожее на увядшее яблоко-падалицу лицо Лизы и ее морщинистая шея, но потом она сразу забыла про это, привыкла, воспоминания взяли верх над действительностью, и перед ней снова была та самая Лиза, с которой она училась вместе в авиационной школе.

Боже мой, какая у нее память на мелочи, у Лизы! Она все помнила. Какие блузки были когда-то у Марины, и какое у нее самой было платье в белый горошек, и кто за кем ухаживал, и какая была жена у начальника школы... Она рассказала, как хорошо жила с Сергеем вот в этом самом домике его родителей, какие они были, в общем, покладистые старики, ни в чем ей не перечили, и Сергей был довольно покладистый муж. Тут за ним очень охотилась одна женщина, которая будто бы ждала его с юных лет, но Лиза ей сказала: «Все течет, все изменяется, он когда-то любил вас, а теперь он любит меня». И заявила Сергею, что обратится в парторганизацию в случае чего. А Сергей очень дорожил своей репутацией... В войну ей пришлось тяжело с маленьким ребенком и стариками. Нет, после родов она больше не летала, работала в аэропорту диспетчером. Лиза уточнила:

— У меня не было ни твоих возможностей...— Она натолкнулась на взгляд Марины Сергеевны и поправила: — Ни твоих способностей...

— И характера у тебя не было, воли...

Лиза вздохнула, не то согласилась, не то нет. Но это, видимо, уже не имело для нее значения. И Марине Сергеевне смешно стало, что в их отношениях с Иваном такую большую, прямо-таки символическую роль сыграла та давняя история с Лизой.

А Лиза все рассказывала, как в войну увезла семью в эвакуацию, там получила «похоронку» на Сергея, чуть с ума не сошла от горя.

Вдруг она вспомнила:

— А чемодан-то хоть заперт? У тебя, наверно, дорогие вещи...

Утерев слезы, она открыла шкаф и похвастала своим гардеробом — там висели платья, костюм, новое демисезонное пальто, тщательно укутанное простыней.

— Справляю, пока работаю... Как видишь, я всем обеспечена...

Марина Сергеевна не стала разглядывать пальто, спросила:

— Тебя так страшит старость?

— Нет, почему? Я получу пенсию...

— Пенсия ничего еще не определяет.

— Как это не определяет? Именно определяет, — возразила Лиза. — Понятно, надо уметь жить. Я умею. Я учитываю каждую копейку... — Она оглянулась, как будто ее мог кто-то услышать. — Невестка думает, что без меня они бы прожили на свою зарплату. Ну нет, без меня они бы не дотянули от получки до получки. У меня ничего не пропадает, и питаемся хорошо.

— Ты такая же аккуратная, Лизка, как была...

— А как же, — с гордостью подтвердила Лиза. — Поэтому мы и живем не хуже людей...

Марина Сергеевна махнула рукой.

Она ведь не затем приехала, чтобы выслушивать Лизины «премудрости», не затем шла под дождем по вязкой южной грязи, чтобы напиться у Лизы чаю, посмотреть карточки Лизиногo внука — совсем голенюго, с погребушкой, с медведем, в шапочке с помпоном, в общем, так, как обычно снимают детей, — или на Лизиногo сына и невестку, сфотографированных голова к голове, рука в руке. А сын, между прочим, оказался похожим на Сергея, такой же белесый.

А зачем же она тогда пришла? Сказать Лизе, что не очень счастлива? Нуждается в помощи? Хотела проверить, правильно ли поступила тогда, когда только начала свой путь в жизни? Но с первой же секунды их встречи она невольно приняла тот покровительственный по отношению к Лизе тон, каким разговаривала когда-то и на какой так охотно, с покорностью и безропотным восторгом откликнулась Лиза, потому что Лиза не стала иной. Та же. Такая же, как когда-то. Марина Сергеевна понимала, что Лиза при ее памяти не могла забыть, как они расстались, нет, она сознательно отбросила все плохое, оставила только то, что было ей приятно.

А Лиза, как бы подтверждая это, говорила:

— Я всем-всем рассказываю про тебя, про наши отношения. У меня из газет все про тебя вырезано, я храню. Если сама чего не прочитаю — несут знакомые, вот, мол, опять упоминают вашу подругу.

— А с Иваном мы разошлись, — перебила ее Марина Сергеевна. — Иван женился, а я вот так никого не нашла себе... — усмехнулась она. — Ты ведь знаешь — Иван упрямый, и я упрямая...

— Ты никогда не умела идти на уступки, а жизнь сложна...

— С Иваном, думаешь, было бы проще?

— Ну, все-таки... Я очень хотела во второй раз выйти замуж, — призналась Лиза. — Но за кого? С ребенком на руках... Кто бы меня взял, когда столько незамужних молодых девушек. Ты — другое дело...

— Мне и одной неплохо...

— Ты и без мужа всего достигла...

— Ну, завела... — уже с досадой сказала Марина Сергеевна.

— Ты ярко прожила свою жизнь. — Марине Сергеевне вспомнилось, как Лиза декламировала когда-то в школе стихи, чуть откинув голову и закатывая глаза, с пафосом, с чувством. — Твоя жизнь — пример для молодежи... И теперь ты на большой работе...

— Я не жалею, — отрезала Марина Сергеевна и стала надевать еще влажные туфли.

— Еще бы, твое имя...

— Ну и что, мое имя?

Заворочался ребенок в соседней комнате, Лизино лицо осветилось, она кинулась туда, забормотала что-то там ласково-нежное. Марина Сергеевна не вслушивалась. «Да, я на интересной работе, — думала она. — Ну и что? Скажешь, за прошлые заслуги? Нет, совесть моя чиста. Отстаиваю, если верю, беру на себя ответственность, если приходится отвечать. Ни в трусости, ни в карьеризме никто еще не упрекал... А то, что трудно... А когда было легко? В перелетах? Или на войне? Разве бралась когда за легкое?»

Лиза вернулась все еще сияющая, похвастала:

— Не потому, что мой внук, — действительно прекрасный ребенок. Ты еще не бабушка?

— Нет.

Лиза опять засуетилась, стала предлагать на дорогу

варенья, сама варила из местной айвы, такой крупной в Москве, пожалуй, и не купишь. И чтобы не обидеть ее, Марина Сергеевна взяла банку.

Они вышли на крыльцо. Гроза прошла. Небо еще не совсем очистилось, но хоть видно стало, куда идти, ярче стали светиться окна. С деревьев срывались тяжелые, пахнущие свежим листом капли.

— Так ты говоришь, надо смиряться?

Лиза не поняла.

— А я не хочу смиряться,— весело сказала Марина Сергеевна.

Лиза опять не поняла, но на всякий случай предостерегла:

— Конечно, конечно, только ты не рискуй, ты всегда любила риск...

Она стала целовать подругу и плакать. И слезы ее, как капли с дерева, падали на грудь Марины Сергеевны.

— Мы не переписывались, но все равно... я так гордилась...

Марина Сергеевна терпеть не могла целоваться при встречах и прощаниях, но тут она все стерпела. Да и как было не терпеть, если уж она примчалась сюда после стольких лет разлуки. Зачем? Разве что за банкой варенья...



Ночью поплакать не удавалось. Лида плакала днем. Когда все уходили.

У дяди было странное жилье: одна-единственная огромная комната в старинном барском доме, с высокими окнами, с большими, как в клубе, дверями, с нарядным потолком. И семья какая-то странная. Сам дядя, тетя Надя, дочери, сын — все они лепились друг к дружке, не выносили одиночества. Тетя Надя на кухне — все около нее, перейдет кто-нибудь в комнату, почему-то называемую залой, хотя вся она разгорожена шкафами, — остальные тянутся вслед. И никогда не выключается радио, только разве вечером, когда смотрят телевизор. Приходят на минуточку соседи, к девочкам прибегают подруги, к Петьке товарищи, их встречают с восторгом, зазывают: милости просим, пожалуйста, в компании веселей, вот наша московская гостья, знакомьтесь, боимся, что она заскучает...

С ума можно сойти...

Редко-редко когда она оставалась одна. Вот тогда и плакала!..

Мать придумала эту поездку, чтобы развлечь ее. Даже уверяла: тебе это будет полезно, дядя такой умный, изобретает что-то, его там очень уважают... вот посмотришь сама...

Посмотрела. Грузный немолодой мужчина, затурканый женой и дочерьми. Когда смотрит на Лиду, слабо улыбается, находит в ней сходство со своей сестрой, ее мать, и вздыхает: только, мол, вчера было оно, дет-

ство, и молодость была, я ведь с твоей мамой очень дружил...

Дальше этой фразы он не идет, тут же вмешивается тетя Надя, влезают дочери, стараясь перекрычать радио. Нет, Лида не хочет быть несправедливой: все три девочки неглупые, работают, учатся, поют, одеваются вполне по моде, у всех сапоги, юбки выше колен, чулки толстой вязки с узорами, но они, как бы это объяснить, они никогда не произносят ничего неожиданного. Лида всегда может угадать, что каждая из них скажет. Как будто заранее в их головы кто-то вложил готовые фразы, поговорки, строки из песенок.

Лиде в этой семейке больше всех нравится тетя Надя. Разумная, решительная женщина. Но и ее Лида, похоже, уже видела в кино. И не в одном фильме, а во многих — мудрую народной мудростью, прямую, чуть смешную, то, что называется «жизнеутверждающий характер». Будь она чужая, будь всё как в фильме, именно у нее Лида должна бы искать утешения. Но Лиде почему-то кажется, что у тети Нади и у мамы свои старые счеты, какие-то давние взаимные обиды. Тетя Надя бросила как-то: «Ну как там твоя мама? Не укатала ее жизнь? Все еще такая же принцесса, как была?» Лида сопоставила это с маминими вздохами, туманными намеками. Все ясно... С тетей Надей контакта не получится. Оставался еще двоюродный братец Петька. Но уж он-то совсем был Лиде не по душе. Руки длинные, шея длинная, держится неестественно, то молчит, то вдруг затопчет ногами, хочет показать Лиде, как здорово танцует. Тетка говорит добродушно: «Пусть его разминается, пока сила есть». Лида вежливо соглашается: «Конечно, конечно»... «Мы все такие, — говорит тетка, будто бросает кому-то упрек. — Вся душа наружу. А что нам таиться! Вот мы, все тут...»

Может быть, она вызывает Лиду на откровенность, хочет подбодрить ее, утешить? Но Лида не может быть с ней откровенной. Ни с кем не может быть откровенной. На сердце у нее камень, и только когда она поплачет, становится легче.

Но не может ведь она плакать на глазах у всех!

И все-таки, бог знает как это получилось, дядя застал ее плачущей. Она не слышала, как он вошел, только почувствовала на плече горячую ладонь. Потом он сгреб ее своими ручищами, пропахшими машинным маслом и та-

баком, поднял, посадил, прижал к себе. И она рыдала, привалившись к нему, уже не таясь.

— Вся в маму,— говорил ласково дядя,— ну вся как есть... Мать тоже была плаксивая. Чуть что — я ревет...

И Лида все ему рассказала. Про экзамены, и как она до последней минуты надеялась, верила, что поступит, и как потом тупо, как на могильную плиту, смотрела на список принятых и не могла найти своей фамилии. Мама объясняет ее провал тем, что у Лиды нет производственного стажа...

— Да ведь весь наш род, все мы, и твой отец покойный, связаны с производством. Можно бы это учесть...

— Ах, дело не в стаже, просто они не увидели во мне таланта...

Она хочет произнести это жестко, непреложно, как судья, читающий приговор, но слезы душат, голос дрожит.

— Ты молодая, все впереди, нашла чего горевать,— говорит дядя.— А то, еще лучше, иди на медицинский...

— Нет... я не мыслю себе жизни вне творчества...

Дядя сочувственно кивает головой, задумывается. Лида смотрит на него с тайной надеждой, так долго он думает. Но дядя говорит:

— Тогда добивайся...

— Буду добиваться...— Лида слегка разочарована.

— К нам на производство часто ходят корреспонденты...— снова говорит дядя.— Бывает, даже из Москвы приезжают... Тетя Надя все вырезки бережет, где про меня упоминают, наклеивает в альбом...— Он делает вид, что смеется над тщеславием жены.— Значит, и ты мечтаешь работать в прессе... Ну что ж...

— Газету я рассматриваю только как первый этап, как начало... я... у меня... мне хочется писать, ну, как бы это вам объяснить, ну, в общем, прозу...

Ей кажется, что дядя не поймет ее, но он удивляется:

— О, смотри-ка... будет у нас в семье... своя Ольга Форш.

— Ой, почему именно Ольга Форш? — смеется Лида.

Дядя рад, что она больше не плачет. Он просит:

— Ты поживи у нас, отвлекись, подкормись, ты же совсем тощенькая, косточки можно пересчитать. Хорошо тебе у нас? Нравится? Подружилась с сестрами?

— Мне так нравится тетя Надя,— уклончиво, не совсем искренне говорит Лида.

Дядя удовлетворенно кивает.

— Только почему вы никогда не выключаете радио? — вдруг спрашивает она.

— Радио? — Дядя озадачен. — Я было с ними воевал-воевал, да бросил... Надя говорит, что это полезно для детей, не мешай, говорит, им культурно развиваться. И верно, радио дает большое развитие.

— А мы с мамой любим тишину...

В рыжеватых глазах дяди опять загорается свет, как всегда, когда он говорит о сестре:

— Я ведь с твоей мамой, со своей сестренкой, очень дружил. Замечательный она человек. Это точно, она не любила шум...

Так получилось, что больше всего времени Лида проводила с дядей. Сестры звали ее поначалу в свои компании, но она отказывалась. «По-моему, ты выламываешься,— рассердилась Надя-младшая.— Ну и что ж, что ты из Москвы? Так я и поверила, что ты не увлекаешься мальчишками. Знаешь, какие у нас мальчишки? Во! С филологического. Интеллектуалы». — «Я не выламываюсь, просто мне не хочется...» — «Выламываешься», — твердо заявила Надя. «И мама у нее была такая же,— вспомнила тетя Надя добродушно.— Самая была ломучая из всех девчат. Ей, правда, можно было ломаться, братец ее прекрасный так и ходил за ней по пятам, только что шлейф не носил».

Тетя Надя тоже считала своим долгом развлекать Лиду, звать ее с собой, когда шла в магазины или на рынок, но это было малоинтересно. И уж совсем неинтересно было ходить осматривать город с Петькой, так ненатурально, без всякого повода он хохотал, такой был красный, людей стыдно... И все норовил идти с ней под руку. Нет, лучше всего было с дядей, хотя она и его дичилась. И предпочла бы ходить одна, если бы не противились родственники.

— Родная племянница — и будет шататься одна, как неприкаянная, нет, на это я не согласен,— говорил дядя. И косился на жену. — И тетя Надя несогласная...

— Мне, правда, нравится, что она такая самостоя-

тельная, я и сама самостоятельная уже была в ее возрасте, да только соседи нас оговорят: мол, совсем одичали, что ли, гостю не умеете приветить...

Дядя надевал белую нейлоновую рубашку, парадный костюм, шелковое кашне, пальто с меховым воротником. Шел рядом с ней, важный, торжественный. Ему было жарко, он наливался румянцем. Разговаривал медленно, научно, старался показать все достопримечательности, все исторические места. Советовал:

— Ты это запиши, законспектируй, поскольку желаешь стать корреспондентом. Наш кремль исторический... И башни эти старинные, исторические... А вот тут, в этом здании, был первый Революционный исполнительный комитет.. Записала?

— Я больше дорожу непосредственными впечатлениями,— робко сказала Лида.— Как четко выделяются черные птицы на белом снегу...

— Птицы? — удивился дядя.— Так это ж вороны...

Лида смахнула варежкой снег с гранитного парапета, долго смотрела в серую, тусклую даль. Машины внизу, бегущие по сиреневому асфальту дорог, казались маленькими, как игрушечные. А дядя говорил с сожалением, что жаль, она так поздно приехала, уже вот и снежок выпал, рано что-то в этом году. Летом приволье, дух захватывает — такая ширь. Каждая былинка, каждая травка цветет, ярко зеленеет, дышит.

— Поехали бы с тобой за Волгу, вот аромат, вот запах! Особенно когда сено косят и трава чуть-чуть привянет. Мама твоя очень любила. С ночевкой можно бы поехать, костер бы развели. Я и сам давно не был. Разве тетю Надю уговоришь? У ней все дела: то в ночную работает, днем отсыпается, то по магазинам надо, то в огороде копается: семья... Девчонок тоже не соберешь. Один Петька всегда готов, тот как пионер...

Дядя и в университет ее водил, и в исторический музей, и памятник ей показал в честь земляка, замученного в фашистском плену.

— Сила какая, погляди,— восторгался дядя.— А плечи, а руки, рвет цепи...

— А вы его знали живого? — спросила Лида.

— Может, и знал, не ручаюсь... — виновато, с сожалением проговорил дядя.— Только кто ж мог угадать, каким он окажется. Я тут многих знал в лицо. Город-то те-

перь, после войны, вон как вырос, а то был не так чтобы очень большой. Многих я в лицо знал...

Лида вздохнула:

— Мама тоже говорит, что надо верить в человека, в возможности, в нем заложенные. Мне кажется, что если будет случай, то и я... Я вам кажусь глупенькой, плаксой, но, поверьте, дядя, я на самом деле не такая... просто я не умею выразить...

Дядя покачал головой:

— Я-то тебе верю, но если желаешь, чтобы другие люди верили, надо действовать, добиваться...

— Валентин Петрович, мамин муж, считает, что надо желаемого достигать постепенно, методично, не перескакивать через ступеньки... А мы с мамой верим в рывок, в судьбу...

Дядя сказал рассудительно:

— Мне, я честно скажу, одно подозрительно: тебе все хочется, чтобы жар-птица на хвосте принесла. А за что? Чем ты доказала, что имеешь право?

— Пока ничем...

— А за что тебе тогда счастье будет? Ты же не стараешься, не завоевываешь...

Лида поджала губы:

— Я ни у кого ничего не прошу...

— Да если бы от меня зависело...— Дядя снова вздохнул.— Ты вот и губы так же поджимаешь, как мама твоя. Вылитая мама... Ну ничего, перемелется, мука будет...

— Не надо меня утешать...

Лиду удивляло, что грузный, похожий на медведя, простоватый дядя такой чуткий. Только уловил, что Лиде неприятно, сразу же переменял разговор, стал прикидывать и соображать, куда еще ее повести, что ей будет интересно в их городе.

Сам он, хоть и не в первый раз все видел, достопримечательности осматривал с удовольствием, а если они с Лидой сталкивались с группой туристов, охотно слушал экскурсовода, поддакивал, согласно кивал головой.

Его общительности Лида завидовала. Она вот не могла бы так, ни с того ни с сего спросить у толстой женщины с красной клетчатой сумкой, полной пакетов, местная она или приезжая.

Нотта не удивилась, охотно ответила:

— Мы тут в доме отдыха. Записались на экскурсию, с

утра ходим. Устала, прямо ноги горят. Но хочется по-полнить свое развитие, мужу и детям рассказать, где была...

Дядя покосился на ее ношу.

— Это в универмаг забежала, взяла местные национальные тапочки для подарка. Еще кое-что. Хочется же привезти...

— Домой да без подарков вернуться...— отозвался дядя. А Лиде сказал нравоучительно:— Весь народ теперь стремится к культуре...

— Ха, все-таки она раньше забежала в универмаг...

— А как же,— сказал дядя.— Дело житейское...

Обычно он заводил ее в кафе, угощал пирожными, сам пирожных не ел, зато выпивал два стакана кофе. Расплачивался аккуратно, сдачу брал полностью, чаевых не оставлял.

Лида смущалась. Стеснялась официанток.

Однажды предложила:

— Позвольте, дядя, я заплачу. Вы не думайте, мама дала мне с собой денег, я богатая...

— Не обижает тебя отчим?— спросил дядя.

— Нет,— коротко ответила Лида. Стала ложечкой собирать крошки от пирожного, тщательно целилась ложечкой, подцепляла, потом снова рассыпала по блюду.

— С папой твоим мы были дружки, настоящие, можно сказать, друзья, за него я твою маму с легким сердцем отдал. А этого нового не знаю, что за человек. Да и сестра не торопится знакомить, к себе не зовет и его сюда не везет, он другого поля ягода, кандидат наук...

— Он славный,— заторопилась Лида.— Он совсем не плохой, вы не думайте... Просто немножко педант, ну, сухарь, понимаете?— Она взмахнула ресницами, деланно засмеялась:— Признаюсь вам честно, я немножко неряха, но для мамы я стараюсь теперь за собой прибирать, только бы он не придирался...

— Это еще не беда,— сказал дядя.— Порядок необходим.

— Конечно, необходим,— не очень охотно согласилась Лида.— Я уж ему уступаю, не хочу подводить маму...

— Душа б у него только не мелочная была,— задумчиво сказал дядя.— Душа — это все...

— А у папы какая была душа?— спросила Лида.

— О, папа был орел...

— Как жаль, что я не похожа на папу, я так хотела бы походить на папу...

— Совсем забыла отца? Ты ж маленькая была, когда он умер...

— Я знаете что помню? Утром проснулась на даче, мама говорит: «Отец приехал, спит». Я вбежала в комнату, ставни закрыты, а в щели солнечный свет пробивается, на всем полу золотые полооски. Он проснулся, засмеялся: «Я тебе мяч привез»... И еще помню, это давно-давно было: широкая просека в лесу, и желуди лежат...

— Это тебя к деду с бабушкой возили, у нас там дубрава, желуди навалом...

— Я и лошадь помню,— расхрабрилась Лида.— Такая решетчатая дверь, и за ней между перекладинками карий огромный глаз блестит, как мокрый...

— Верно. Это наш Красавчик, неужели помнишь?

— Помню,— горделиво сказала Лида.— Но вообще все находят, что у меня очень богатая фантазия, я ярко себе все представляю, даже если сама и не видела...

— Ишь ты,— сказал дядя. И Лида не поняла, осуждает он ее или одобряет. Потом дядя сказал: — Это у нас семейное, все мы, Поликарповы, фантазеры. Тетя Надя говорит, что я через то и сердцем болею,— всегда куда-то рвусь, не даю нервам покоя.

— У меня это профессиональная черта,— небрежно ответила Лида, слегка задетая тем, что дядя как бы принизил это одной ей свойственное, исключительное качество.— Профессия литератора требует богатого воображения.

Но дядя ее не понял:

— Ни одна работа без воображения не мыслима. Что же это за работа, если работник лишен фантазии? Это тогда ремесло, а не работа...

Лида задумалась.

— Все-таки работа работе рознь,— упрямо сказала она.

Дядя спорить не стал.

Он вообще обращался с Лидой очень осторожно, как будто она из другого теста сделана, чем его дочери. Лида видела, что тетя Надя замечает это и сердится на мужа. И ей было неловко. Она даже нарочно пошла с тетей Надей в магазин, несла сумку, рассказала, что дома, в

Москве, часто бегают за покупками и в очередях стоит, надо же выручать маму. И двоюродных сестер очень хвалила, такие, мол, они умные и работающие.

— Это верно, что работающие,— согласилась тетя Надя.— Насчет ума не скажу, но свои обязанности знают, на земле крепко стоят, я за их судьбу не страдаю. Устроят свою жизнь — хорошо, но и одни, незамужние, не пропадут, нет...

— Не в замужестве ведь счастье,— возмутилась Лида.— Я так и вовсе не собираюсь замуж. Ни за что...

— Не зарекайся,— коротко ответила тетка.— Не зарекайся. А что хорошего одной свой век вековать. Не дай бог...— Она придиричиво осмотрела со всех сторон большую замороженную треску, которую ей только что взвесил продавец, даже зачем-то подергала красные жесткие жабры, укололась, чертыхнулась и сказала: — Нет, я твою маму не осуждаю, что за второго вышла. Она еще не старая была, когда овдовела.

Лида обиделась:

— Мама и теперь не старая. Нас все принимают за сестер.

— Худошавые молодо выглядят,— сказала тетя Надя.— Я вот полная, так совсем старой выгляжу, да и смотреть за собой некогда. А мама небось еще и губки подмазывает...

— Конечно...

— А глаза?

— Совсем немножечко, чуть-чуть,— неохотно подтвердила Лида.

— Конечно, она должна теперь стараться, раз ты ее мужу неродная, раз он с дочерью взял...— И добавила с оттенком превосходства, больно уколовшим Лиду: — Когда своих родных четверо, у мужчины совсем другое отношение, другой взгляд...

— Тетя Надя, за что вы не любите мою маму?

— Я не люблю? — Тетя Надя даже остановилась. На ее румянном лице отразилось удивление. Она захохотала.— Это как смолоду я Петю к ней ревновала, так и до сих пор осталось. Уж больно надоело: «Моя сестра, моя сестра». А что твоя сестра? Такая же, как все мы,— женщина и женщина.

Лида все-таки сказала, вспоминая свою милую уставшую маму с ее большими, чуть подрисованными глазами:

— Нет, мама все-таки не совсем обыкновенная женщина...

— Чем же это? — усмехнулась тетя Надя. Но спохватилась: — Всякая мать своему ребенку дороже всех. Это верно. Петенька еще в третьем классе сочинение писал «Моя мама», так когда учительница зачитала, все матери на собрании в голос ревели, ты не поверишь, как расписал...

— И мы тоже писали такое сочинение, — чуть растерянно сказала Лида. — Наша учительница уже тогда сказала, что у меня литературные способности...

— Может, и у Петьки есть, когда так, — предположила тетя Надя. — Только он шалавый, неусидчивый, где ему, сто дырок на стуле провертит, пока что напишет...

— Талант дан не каждому...

Тетя Надя не обиделась за сына.

— Ну, это само собой, — согласилась она. — У него зато руки золотые, все починит, все разберет и наладит. Золото, а не парень...

Лида побоялась, что тетка заметит ее усмешку, и поспешно объяснила:

— Я потому смеюсь, что мама однажды попросила Валентина Петровича починить утюг, а он вынул рубль и говорит: «Прошу тебя, дорогая, в таких случаях звать монтера...»

— Тыфу, — только и сказала тетя Надя. — Так пробросяешься, если на каждый пустяк рублевки бросать. Взял бы да и починил сам, тем более кандидат наук...

— Экономических...

— Раз экономических, то и экономы!

И тетя Надя долго говорила, что это Лидина мама распустила своего муженька, она и всегда деликатная, ненастойчивая была и теперь, выходит, такой же осталась. Подумаешь, дал рублевку. Да она бы и сама ему могла рублевку дать, слава богу, зарабатывает. Хорошо зарабатывает. Выучилась. Что ей было не учиться, когда ей брат помогал...

Тетя Надя никак не могла успокоиться. Когда пришла домой, она всем дочерям по отдельности рассказала про случай с утюгом, и Петьке, и мужа еле дождалась с работы, и ему рассказала. Лида уже не рада была, что как будто с умыслом выставила Валентина Петровича на смех. Дядя почувствовал это.

— Не наше дело,— холодно сказал он.— Рубль не наш, пусть как хотят...

— Не в рубле дело,— поправила его тетя Надя.— А значит, не считает дом своим. Мол, ваш уют, сами и беспокойтесь. Что деньги? Деньги—это бумажки. Ты приложи руки, ты душу выложи, так я понимаю... Мол, ваше—теперь мое, а мое—ваше... Будут ли в согласии жить, вот о чем моя забота...

— Они хорошо живут, Валентин Петрович к маме очень хорошо относится, зачем вы так истолковали?..— обиделась Лида.

Почему-то ей не хотелось при Петьке, при девочках обсуждать мамины дела. «Да кто они такие, эти девочки, этот Петька, чтобы осуждать маму?!»

Тетя Надя сказала:

— Я ведь по-простому, как родная... У нас всего и осталось в живых родни что вы с матерью, всех война положила... И у матери твоей только один брат-заступник...

— Надя, не наше дело,— снова сказал дядя.

Тетя Надя торопливо заметила:

— А я что говорю? Я то и говорю, что пусть только согласно, мирно живут, а остальное нас не касается...

Девчонки и Петька истомились от скучного им разговора, включили телевизор.

— А ты что не садишься глядеть?— спросил дядя и положил свою тяжелую теплую руку на Лидино плечо, приласкал ее.

— Я не люблю...

— Московская передача, ты не думай...— сказал Петька, глядя на нее сбоку и заливаясь краской.

— Я все равно не люблю...

И села подальше, на свою кушеточку за шкафом, где спала, где тихонько плакала.

Дядя подошел, сказал ей вполголоса:

— Я знаешь что надумал? Пойдем с тобой картины смотреть, раз ты красоту ценишь...

Но дочери услышали.

— Очень ей надо... У них в Москве картин нету, что ли! Да у них Третьяковка.

— И у нас хорошие картины есть, пусть посмотрит,— твердо сказал дядя.— А то, Лида, я тебя на нашу фабрику овою. Хочешь на фабрику?

— Очень,— ответила Лида.

И дядя снова погладил ее по плечу. А она на секунду, на одно мгновение только положила свою щеку на его шершавую руку.

Тетя Надя звала нетерпеливо:

— Иди уж, отец, выключай свет, очень интересная передача...

Надя-младшая подтвердила:

— Жуть как интересно! Про шпионов...— Она великодушно предложила: — Иди, Лида, посмотреть, ведь про шпионов...

— Я не люблю, — опять отказалась Лида.

— Фасон давишь...

Тетя Надя звонко шлепнула дочь по руке. Все засмеялись, Петька даже зашелся от хохота.

Дядя сказал миролюбиво:

— Одни любят, другие не любят, что ж такого...— Но все-таки не решился остаться с племянницей, пошел к телевизору, сел, уставился на экран.

Она лежала и не плакала. Плакать не хотелось, хотя снова и снова думала о том, что жизнь не удалась. Ей казалось, что если бы она что-нибудь толковое ответила, если бы попросила секретаря приемной комиссии, горячо, страстно попросила, может, ее и зачислили бы... И теперь она была бы студенткой, училась, может, даже получала бы стипендию, поселилась в общежитии.

Мама, конечно, возражала бы, но все же испытывала бы облегчение, если б она ушла. Валентин Петрович нашел бы какую-нибудь подходящую сентенцию, оправдывающую ее уход...

Но все сорвалось.

Она опять и опять вспоминала. Как будто что-то могло измениться в ее воспоминаниях. Еще тогда, когда она была ребенком, у нее была эта глупая привычка. Она любила читать одни и те же книжки. Мама сердилась: как тебе не надоест, что за ограниченность такая... А она перечитывала, смутно надеясь, что книжка чудом изменилась — волк не съест Красную Шапочку, девочка не останется сиротой. Она так хотела, чтобы все были счастливы.

Теперь она забыла даже название одной такой книжки — в твердом красном узорчатом переплете, из серии

«Золотая библиотека», которая издавалась еще до революции. В книжке еще были «ять» и «твердый знак». Мамина подруга считала, что эта книжка не нужна Лиде, не полезна. «Глупая, сентиментальная чушь, вредная советскому ребенку». — «Но она будит чувства», — неуверенно возражала мама. «Какие? — сердилась подруга. — Абстрактной доброты? Даже доброта — классовое понятие». Лида тогда ничего этого не понимала. Просто читала и перечитывала историю маленькой американской девочки, живущей в пансионе для богатых. Умирает отец девочки, некому платить за нее в пансион, и вот она уже на чердаке, а не в своей роскошной комнате, она служанка, она несчастна, ее все обижают. Ой, как жалела Лида эту маленькую гордую девочку, как горько плакала!..

А когда стала старше, то рыдала над «Оводом». Это была самая ее любимая книга. Но и ее перечитывала, надеясь, что не будет на этот раз у Овода таких жестоких испытаний.

Они были тогда очень близки с мамой — мама тоже лила слезы над «Оводом», как и Лида, и просила:

— Детка, милая моя, нельзя жить иллюзиями! Жизнь не книга.

А она, Лида, все равно цеплялась за иллюзии, даже теперь... Лежа на кушеточке, здесь, в чужом доме, среди малознакомых людей, несчастная, почти раздавленная своим провалом на экзаменах, не знающая, что делать дальше, она снова и снова восстанавливала в своем воображении разговор с секретарем приемной комиссии. Как будто что-то могло еще измениться.

Она стоит перед письменным столом, то бледнея, то краснея, со своей коротенькой стрижкой, с челочкой, в простеньких чулках, в маминых туфлях, в клетчатой кофточке с карманами, в узкой юбке, и сбивчиво, путано говорит. Да, она оспаривает решение комиссии.

В руках у нее рекомендация из литературной консультации, которую ей достал Валентин Петрович. Секретарь небрежно кладет это письмо в папку, где находится ее дело. Он спрашивает, листая бумаги:

— Ваш отец умер? Вы живете с отчимом?

Она кивает.

— У вас слабоватая оценка по профилирующему предмету, — говорит секретарь не столько ей, сколько себе. — Остальные отметки хорошие... Может, после пер-

вого семестра будет отсев. Но предупреждаю, надежды почти никакой, я вам ничего не обещаю. Понятно?

Надо бы просить, умолять, а она просто стояла. Не уходила.

— К нам мало кто попадает прямо после десятилетки,— сказал секретарь. Его уже раздражала эта глупая молчаливая девочка.— У вас нет жизненного опыта...

Он смотрел на нее, скучая, как ей казалось, и говорил медленно, цедя слова и трогая брезгливо листки, на которых была ее письменная работа, как будто чернила не просохли и он мог испачкать пальцы.

— Ну-с,— продолжал он, скользя глазами по написанному,— ни знания жизни, ни опыта, как я и предполагал. Правда,— прибавил он нехотя,— есть свежие образы...— он усмехнулся,— но претенциозно. У кого вы учитесь, кому подражаете? Где это вы видели розовое солнце? А?

Лида молчала. Теперь ей казалось, что работа ее ужасна, позорна.

— Вам надо окунуться в нашу действительность, прочувствовать ее...

Нужно было ответить как-то умно, показать себя, а она, сгорая от стыда, от неловкости, схватила свои листки и бросилась к двери.

Секретарь сухо сказал ей вслед:

— Письменную надо оставить.

И тут она сделала то, о чем даже маме побоялась рассказать. Взяла и разорвала листки, чтобы никто больше не читал их и не смеялся над ней, над ее розовым солнцем, над всем тем, что казалось ей красивым и новым, оригинальным, свежим, а теперь выглядело так ужасно, так жалко...

Уже взявшись за ручку двери, она, пересилив себя, спросила:

— Значит, мне не приходить больше?

Секретарь сказал:

— Нет, почему... Приходите. Но я вам ничего не обещаю...

Она даже не сказала ему «спасибо».

Просто ушла. Она и теперь еще чувствовала на ладони холод дверной ручки.

Лида призналась дяде:

— Я даже маме не говорила, а вам скажу. Не хочу казаться перед вами лучше, чем я есть...

Он задумался, покачал головой. Она ждала, что он, как всегда, положит руку ей на плечо. Ей так хотелось коснуться щекой его шершавой руки! Но он руки не положил. Только задумался, покачал головой, сказал медленно:

— Ну, что ж... писатель должен быть гордым...

Она потом ломала себе голову, почему дядя не приласкал ее, как делал все время: рассердился на ее глупость? Стал уважать за решительность? Просто устал быть с ней нежным и внимательным?

Он вообще изменился.

Приходил с работы усталый, нервный, потирал грудь. Тетя Надя подавала ему капли, он морщился, но пил.

Лида охотно уехала бы домой, боялась, может, она здесь в тягость, но мама настойчиво просила ее побыть в гостях недели три, месяц, отдохнуть, и потом они будут решать, что ей делать дальше. До будущих экзаменов год: не может ведь она слоняться без дела.

Лида спросила у тети Нади, что это с дядей, та, махнув рукой, ответила: мол, что-то у него не ладится на фабрике, какое-то там усовершенствование, которое он придумал и теперь внедряет. Внедрить труднее, чем придумать, вот он и мается...

— Почему? — спросила Лида.

— Зависти много...

— А бросить нельзя?

— Как это бросить? — удивилась тетя Надя. — А премия? Я с этой премии, а когда она еще будет-то, пальто девочкам хочу справить. С ихней полочки много не отложишь... — Она засмеялась. — У меня, детка, бухгалтерия, как в министерстве, все на учет беру... Ни одну обидеть не хочется... чтобы все по справедливости.

Они сидели вдвоем на кухне и чистили картошку к обеду. Лида старалась всем, чем могла, помогать тетке.

— Семья, — сказала тетя Надя, как будто одно это слово могло объяснить все. — Видишь, сколько нам одной картошки-то на обед надо?! А они носом крутят, девки мои: мол, от картошки фигура портится... Деточка моя, — сказала она Лиде нежно, — мать для детей все бы сдела-

ла, да не все может. Дядя твой повадился было в шахматы играть. Так играл, так играл, первый разряд имел, ты не поверишь... Только я вижу, все он, как свободная минутка, за доской сидит: то играет, то задачки решает, то думает, комбинации свои продумывает. Я говорю: «Петушок,— это я, когда молодая была, Петушком его прозвала,— Петр, говорю, что же это получается: ты над доской сидишь, фигуры двигаешь, а изобретательство твое как?» Он отвечает: «Надюшка, я совмещать не могу... Я шахматами очень увлеченный». — «То, что ты увлеченный, это я вижу, но, скажи, будут ли тебе платить за это твое увлечение?» Он отвечает: «Глупый вопрос! Кто же мне будет платить за мое же удовольствие?» — «А за изобретательство?» — «Изобретательство — совсем другое дело: от него предприятию польза, экономия, от сэкономленных средств мы имеем отчисление». — «Ну, так вот, Петр,— говорю я ему,— давай, поскольку у нас дети, делай так, чтобы предприятию была польза и нам не во вред. Понятно?» Вижу, насулился он, помрачнел, что я так грубо сказала, вроде такая у меня грубая натура. А только шахматы бросил и на дело стал налегать. Гляжу, ему дают звание заслуженного рационализатора. «Ну, говорю, Петр, кто был правый: ты или я?» — «Ты, говорит, Надюшка, ты у меня всегда правая оказываешься...» Что ж делать! Семья. Ты небось тоже думаешь, что я грубая? А только выйдешь замуж, обзаведешься птенцами, поймешь. Для их пользы приходится грубой быть. Думаешь, это легко?.. Да я б тоже завилась, села на диван и стишки читала. Ах, Петечка, какие интересные стишки! — тоненьким, ненатуральным голосом произнесла она. — Ты думаешь, что у тети Нади души нет, мужа не жалеет? Ох, детка, есть у тети Нади душа, да только возможности нету, времени свободного нету. Придешь со смены, там наломаешься, потом тут... Пока приберешься, пока сготовишь, сядешь смотреть телевизор, а тебя в сон ударяет... Девки взрослые, у каждой свои амуры, свои секреты, за каждой надо смотреть в оба, умное слово сказать... — Она пристально посмотрела на Лиду. — Я вот на тебя гляжу, и тоже мне беспокойно: не для того ведь ты приехала, чтобы со мной на кухне картошку чистить! Ну, не поступила и что? Не вешаться ведь... Ты моего совета послушай, ты около дяди держись: он умнее меня, он придумает тебе идею. На производство к нему сходи,

погляди. Увидишь, как люди работают, как живут. Нет, ты дяди не чурайся, дядя тебе как отец...

— А мне кажется, что дядя во мне разочаровался,— печально сказала Лида.— Он и не глядит на меня в последние дни...

— Дурочка! — закричала тетя Надя.— Как это дядя может разочароваться в тебе... Ты же ему не чужая. Болеет он. Отпустит его болезнь, уладит дела на фабрике — снова улыбаться начнет. Эх, ты!..

— Я вас очень люблю,— сказала Лида.— Я и вас и дядю очень люблю...

Видимо, дядя рассказал что-то тете Наде. Та не удержалась и проболталась девочкам. Лиде стало казаться, что очень уж часто с тайным значением они повторяют слово «розовое», лепят это слово кстати и некстати и смеются. Даже дядя как будто заметил, спросил:

— Не пойму, над чем вы это смеетесь.

— Смех без причины — признак дурачины! — выкрикнул Петька.

А девочки ответили не моргнув глазом:

— Просто у нас такое розовое настроение. А ты, Петька, заткнись...

— Ну и хорошо, что хорошее настроение,— миролюбиво решила тетя Надя.— Значит, здоровые, не болеете. А то отец у нас еле-еле переболевает. Взял бы ты бюллетень, отец, что ли, полежал бы денек-другой...

— Я и то думаю,— сказал дядя.

— Будешь не один, не заскучаешь — Лида за тобой присмотрит. Верно, Лида?

— Конечно, я с удовольствием. Я умею.

Она хотела было сказать, что Валентин Петрович часто хворает и тоже сердцем, но боялась, что тетя Надя опять станет выставлять отчима на смех. Ей этого не хотелось. Пусть Валентин Петрович ворчливый, немножко нудный, пусть боится за свое здоровье и очень себя бережет, но он человек все-таки хороший. И никогда Лиду не обижал намеренно. «Просто у него иначе устроены глаза, чем у нас с тобой, пойми это и не обижайся», — просила ее мама. Она не обижалась, старалась понять. А если ей так хотелось поскорее уйти из дому, то это не вина Валентина Петровича. И не ее, Лиды, вина. Скорее это ее

беда — неуживчивость. Она бы и здесь на всю жизнь ни за что не осталась, а ведь какая дружная, хорошая, трудовая семья.

Дядя спросил ее:

— Ты что это такая скучная? По дому скучаешь?

— Нет. — Лида содрогнулась, едва на мгновение представила, как ВеПе (они с мамой называли его между собой ВеПе) анализирует черты ее характера, ее поступки, которые привели к провалу на экзаменах. А ведь он не знает главного — как она разорвала на куски свою письменную работу.

— Хм, — хмыкнул дядя. — Может, у нас останешься? Я тебя на работу в два счета устрою, всюду грамотные люди нужны. У нас же перспективный город, с большим строительством, с промышленностью. Оставайся, а? — Он пошутил: — Разведка моя мне докладывает, что старшая наша, Галка, вроде замуж собирается, вот ее койку и займешь...

— Ой, нет, — вырвалось у Лиды.

Дядя внимательно взглянул на нее:

— Ну нет так нет. Как говорится, на нет и суда нет...

А все-таки это его задело.

Про то, что Галка собирается замуж, тетя Надя уже говорила Лиде. И жениха хвалила: хороший парень, телевизионный техник, учится.

— Только бы не начал водку пить, — боялась тетя Надя. — У нас ведь какой дикий обычай. Ну, хочешь ты мастера от себя наградить, дай, околько не жаль. Так нет же, наливают рюмочку: «Не обижайте нас, выпейте». В одном месте рюмочку, в другом полстакана, и привык человек. Вот чего я боюсь... Сроду в нашей семье алкоголиков не было...

— Так уж и алкоголик, — фыркнула Лида. — Теперь, если хотите знать, тетя Надя, все выпивают. Даже на выпускном вечере в школе было вино, мальчишки требовали...

— Вот то-то и беда, что пьют, — огорчилась тетя Надя. — Я уж Петьке сказала: смотри, уши оторву... Большая это беда для народа, для государства, если пьют. Ваш кандидат наук не зашибает? — спросила она.

— Нет, что вы...

— Ну слава богу, — успокоилась тетя Надя. — А то не надо его ученого жалованья, если пьет...

— Он у нас... аккуратный,— засмеялась Лида.— Что вы! Он не будет делать то, что во вред здоровью или положению в обществе...

— Это и хорошо, что он сам своим характером управляет, а то бывают люди, что у них характер над умом верх берет... Боюсь, Галкин парень послабее вашего будет, наплачется тогда она с ним...

— Но ведь он Галю любит...

— Любовь еще не все...

Нет, в такое трезвое суждение Лида не верила. «Как это любовь не все? Истинная, большая любовь — это все».

Видимо, и Галка так думала.

Она как-то улучила момент и попросила Лиду:

— Я тут одному парню письмо написала. Посмотри как москвичка. Ничего написано?

— Ничего, но сухо...

Галка надменно двинула плечом:

— С какой это радости я буду ему не сухо писать. Ничего, и такому письму будет рад. Надо иметь девичью гордость...

— Я за искренность,— ответила Лида.— Я за честность...

— Может, у вас в Москве девушки такие негордые, а у нас...— заговорила было Галка.— А что, думаешь, он обидится?

— Не знаю,— тоже передернула плечами Лида.— Но мне неинтересно было бы получить такое письмо.

Галка помолчала.

— Лида,— спросила она шепотом,— а у тебя есть мальчик? Встречаешься с кем-нибудь?

— У меня есть товарищ,— ответила Лида, помедлив.— Он на год старше меня. Он в армии...

— Будешь его ждать?

— Между нами ничего такого не было... наш класс с их классом не дружил... но мы живем в одном доме, часто из школы возвращались вместе. И вдруг перед армией он у меня спрашивает: ты не забудешь обо мне? Я сказала, нет...

— Ах, вот почему ты от вечеринок отказывалась...

— Нет, мне просто не хотелось...

— Ну да, так и сказала бы нам, что ты кого-то ждешь...

— Не знаю, жду или не жду...— Лида призналась: — Неинтересно ждать человека, с которым ты в одной школе училась, давно знакома. Ведь в мире так много неизвестных интересных людей... А кроме того... У меня есть цель в жизни, и я не знаю, останутся ли у меня душевные силы на личную жизнь...

— Дурочка,— сказала Галка как старшая.— Еще как останутся силы... Ты это что, писанину свою считаешь целью?

— Да.— Лида даже не обиделась за слово «писанина».

Галка попросила:

— Давай знаешь что,— напиши ты вместо меня письмо, а я перепишу. Побалуем моего кавалера.

— Ладно,— охотно согласилась Лида.

Все-таки ей хотелось сойтись поближе с сестрами. Теперь ей уже не казалось, что они — на одно лицо. Нет, они были разные и, в общем, неплохие девушки. И конечно, ей хотелось показать им, чего она стоит. Она написала письмо в меру веселое и остроумное, в меру нежное. Галка даже прослезилась, когда читала черновик. И матери показала и сестрам. И все говорила: «Ай да Лида!» — и смотрела на нее с уважением.

А Надя-младшая предложила:

— Ты бы нам почитала, что ты там пишешь для себя. Ты под кого пишешь — под Хемингуэя или под Аксенова?

— Ни под кого,— обиделась Лида.— В том-то и дело, что пишу, как сама понимаю.

— Подумаешь,— огрызнулась Надя.

А тетя Надя тут же попыталась всех примирить:

— Ну и хорошо, что Лидочка хочет иметь свое мнение. Зачем ей с чужого голоса петь...

Лида не стала чиниться:

— У меня написано два рассказика, очерк, но я ничего с собой не взяла. Я решила сжечь все корабли...

— Не падай духом, сестренка,— сказала Галка.

И Надя сказала, переломив себя:

— Мы еще будем гордиться тобой...— Она посмотрела в окно — день был солнечный, ясный, веселый — и проговорила, как бы признавая свое поражение и полную победу Лиды: — А ведь и правда солнце сегодня розовое...

Все-таки это была удивительная семья. Не только секреты в ней не держались, но обязательно каждый член семьи должен был знать, что случилось с другими. Не успел дядя с бюллетенем вернуться домой, как ему тут же доложили, какое замечательное письмо написала Лида вместо Галки.

Лида надеялась, что дядя очень обрадуется, и была уязвлена его холодностью. И зачем только она ему рассказала, как ходила в приемную комиссию! Ох, она уже много раз платилась в жизни за свою искренность. Еще в пионерском отряде... Она училась тогда на «четверки», «пятерки» бывали не очень часто, еще реже «тройки». И вдруг ее вызвали на совет дружины, где обсуждали успеваемость. Мама спросила: «Ты не утаила от меня ничего? Может, у тебя «двойки»? Нет? А почему же тебя обсуждают?» Лида и сама не знала.

На совете дружины упорствовала, говорила, что ни в чем не виновата, учиться на одни «пятерки» не может, у нее много домашней работы. Она по хозяйству много помогает, мама готовит диссертацию.

Ребята закричали:

— Не задерживай, Молчанова! Скажи, что обещаешь повысить успеваемость...

— Но я не смогу,— упорствовала Лида.— Я же не могу, ребята.

А они опять закричали:

— Не показывай свое «я», все обещают, и ты обещай! И даже пионервожатая сказала сухо:

— Давай, давай, Молчанова, не задерживай. На совете еще много вопросов.

А она стояла понутив голову. Тогда представитель райкома комсомола, живой такой паренек, подмигнул ей весело:

— Ну что язык проглотила? Говори, обещаешь?

Она кивнула.

А после пионервожатая сказала ей:

— Ты совсем не политик, Лида. Мы же именно хотели показать представителям, что боремся уже не за то, чтобы «двоек» не было, это пройденный этап. Мы боремся за «пятерки», поняла? Вникла? А ты упрямая...

— Но я же не смогу на одни «пятерки»,— почти заплакала Лида.— А раз я обещала...

Она рассказывала потом это маме, и возмущалась, и

горевала. Мама тоже огорчалась и обсуждала это со своей приятельницей Фаиной. Та посоветовала Лиде:

— Учись жить среди людей, мой тебе завет. Подчиняйся большинству... Не бери пример с мамы, она все оригинальничает. Другие давно защитились, а она жует мочало...

— Но я взяла трудную тему.— Мама оправдывалась.

— А кто тебе велел брать трудную?

— Мне неинтересно брать легкую,— ответила мама.

Редко, правда, но иногда мама говорила таким непреложным тоном, что никто не смел ей возражать. Это позже и Валентин Петрович понял, сразу отступал, когда мама говорила твердо. А тогда ВеПе еще не было, в ту чудную пору.

Фаина закричала:

— Вот потому, что тебе нужна трудная тема, я тебя и обожаю! Уважай мать, Лидия, мама у тебя что надо...

Лидя, конечно, уважала. И любила. Поэтому и от ВеПе все терпела: самодовольный его тон, нотации, то, что в доме он все переделал на свой лад. Мебель купил, лаком ее протирал, следил, чтобы Лидя не делала пятен на полировке. Одеваться они стали красиво. Он хотел, чтобы все было по справедливости: маме меховую шубку и Лиде. Соседка даже усомнилась, не рано ли, мол, Лиде такую дорогую шубу. А отчим ответил тихо, но так, чтобы Лидя все же услышала: «Не хочу, чтобы она чувствовала себя сиротой». — «Да не чувствую я себя сиротой,— хотела закричать Лидя.— И не надо, не надо мне шубы». Для чего ей эта шубка, когда ее надо аккуратно вешать на плечики, беречь, не валять в снегу. Лидя охотнее надевала свое старенькое пальтишко. ВеПе похвалил: «Ценю твою разумную бережливость». Это она-то бережливая...

Мать иногда хватала ее голову двумя руками, заглядывала в глаза:

— Лидок, только правду... ну как, стерпишь?

Лидя старалась не моргать:

— Что стерплю? Все хорошо, мамочка, о чем ты?

— Ну ладно...— Мама отпускала ее голову.— Он хочет тебе пользы, Лидя. Мы и верно с тобой очень безалаберные, это моя вина...

«Ах, мама, мама!..

Трудно даже поверить, что дядя Петр и мама — брат

и сестра, росли и воспитывались вместе, такие они разные... А может, и не разные, просто мама более одаренная...»

Конечно, ей не надо было с дядей Петей откровенничать: то, что она ему доверила, выше его понимания. Ох, Лида, Лида, сколько раз ты уж обжигалась! Школьнице одной рассказала свои секреты, та выболтала, Лиду дразнил весь класс. В дневник свой написала что-то непочтительное о ВеПе, дневник оставила на столе, он прочитал... Улегся на диван, на сердце положил холодный компресс, валидол стал глотать. Ах, ах, она меня не любит, я оскорблен, мне лучше уйти из этого дома. В общем, устроил грандиозный скандал. Он хотел заменить девочке отца, он купил ей шубку за сто пятьдесят шесть, письменный столик, чтобы у девочки было рабочее место, за шестьдесят три рубля, туфли за двадцать пять. ВеПе, как в лото, выкрикивал цифры, Лида в ужас пришла, как точно он запомнил цены. Но что правда, то правда — он покупал. И духи, и книги, и конфеты «Белочка» всегда приносил. Почему же она его не любит?

Она накапывала ему капли, меняла компресс. Молчала. А что она могла сказать, когда факты против нее?

Но пришла мама. И спросила своим непреложным голосом:

— Как ты мог взять ее дневник, не понимаю...

И ВеПе притих. Растерялся.

— Я считал ее ребенком, — сказал он.

— Даже ребенок имеет право на тайны, а она уже не ребенок, — ответила мама.

Лида все-таки стала осторожнее, не разбрасывала свои бумаги, ящик стола запирала. И в разговорах стала осмотрительнее.

А тут вдруг почувствовала потребность исповедаться перед дядей. Почему она все-таки так дорожит его отношением? Она уже с раздражением, с пристрастием смотрела на него: обыкновенный, простоватый пожилой человек. И глаза какие-то рыжие. И что за манера растегнуть рубашку и гладить жирную грудь! И вздыхать. Почему она рассчитывала, что он ее поймет, даже похвалит за то, что порвала сочинение? Зря она ждала такой тонкости чувств.

Дядя лежал на своей широкой кровати в пижамных штанах, старенькой, линиялой ковбойке, вздыхал, что-то чертил на листке, снова вздыхал.

Лида тихо сидела за шкафом, читала. Иногда спрашивала, не надо ли чего — воды, капель?

Часы шли. Скоро должны были вернуться с работы тетя и девочки, Петька должен был прийти из своего ремесленного. Лида накрыла на стол. Всем очень нравилось, как она накрывает, даже цветок в вазочке ставит в центре стола, а хлеб режет тонко.

Вдруг дядя позвал ее:

— Лида! — И спросил, как будто они только что прервали разговор: — Ты мне вот что скажи, ты сочинение-то свое разорвала от стыда или от гордости?

— Я не могла видеть, как он держит его... как будто оно грязное, испачканное...

— От гордости, значит...

— И от стыда. Значит, не получилось, как хотела.

— А про что работа-то твоя была? Содержание какое?

— Это неважно, — сказала Лида. — Важно, как написать...

— То есть что значит «как»? — удивился дядя. — А что ты хочешь мне сказать? Имеешь ли, что мне сказать? Ты меня чему-то научить хочешь?

Лида даже руки к груди приложила от ужаса:

— Вот это и плохо, что многие так, как вы, рассуждают. Сила искусства в другом...

— В чем же?

— В том, чтобы так сказать, так изобразить, чтобы читатель плакал, смеялся, становился лучше, чем был...

— Это я не против, это я понимаю, — дядя поднял, как щит, свою огромную ладонь. — А все-таки ты должна меня чему-то научить: мол, так живи, а не этак. Это очень важная миссия писателя или там корреспондента. Ты же меня учишь. А имеешь ты, что мне сказать?

Лида ответила твердо:

— Мне кажется, я так чувствую, что я найду, что сказать...

— Тогда говори, — как будто обрадовался дядя. — Тогда говори, раз уверена. И не отступайся, добивайся своего...

Лида неожиданно для себя опять пустилась в откровенности.

— Может, я еще не знаю, что сказать, но я хорошо знаю, чего говорить не надо...

— Ой,— сморщился дядя,— вот это у вас, молодых, общая беда. Вы все отрицаете, все отрицаете. А что вы предлагаете? — Он строго посмотрел на Лиду. — У нас на производстве та же песня. Все молодым не нравится: то не так, это не так, мастера плохие, порядки плохие. А ты мне скажи, какой должен быть порядок, я тебе в ноги поклонюсь. — Он как будто забыл про Лиду. — До того дошло, молодые инженеры никаких рационализаторских предложений не вносят. А почему? В теории он знает, а сделать своими руками, смастерить не умеет. Ты с ним поговори: и тот виноват, и другой, и условий для творчества нету. Нельзя так,— сказал дядя. И вдруг, повеселев, схватил листки с какими-то простенькими, непонятными Лиде чертежиками. — А я вот нашел ошибку... И очень доволен. Рад... — Он засмеялся. — Никого не виню и никого не благодарю. Три дня бился и сам свою ошибку нашел. Рад...

Дядю зашли навестить приятели. Щеголеватый техник Селиванов в пальто с шалевым воротником, в шапке пирожком и худой, задерганный, с лицом, изрезанным глубокими морщинами, слесарь Егоров.

— Жора Селиванов,— представился техник, когда дядя познакомил их с Лидой.

— Какой же ты Жора! — усмехнулся дядя. — У тебя трое детей...

— От двух жен,— уточнил Жора. — А не хотите — Жора, зовите Георгий Иванович, откликнусь...

Егоров молча кивнул Лиде и тут же забыл про нее, что-то забубнил, что-то стал выкрикивать, кого-то ругать — Лида ничего не поняла.

А Жора был веселый, учтиво расспрашивал дядю про здоровье, про детей, как, мол, учатся, и хвастал своими. Он, мол, за музыкальную школу, а жена помешалась на фигурном катании.

— Это теперь мода,— сказал дядя.

Егорова эта тема не интересовала. Он сидел на кончике стула, как будто сейчас вскочит и побежит куда-то.

Лида исподтишка наблюдала, очень ей интересно было наблюдать. Кроме того, она считала, что ей очень полезно наблюдать за людьми, угадывать, кто они и какие они, пытаться запоминать их наружность.

То, что они, как и дядя, изобретатели, хотя работают совсем на других предприятиях, она поняла сразу, угадывать не пришлось, это ясно было из разговора.

Дядя подозвал ее, попросил:

— Собери нам, детка, какую-нибудь закусочку. Нет ли там у нас в холодильнике чего? Должна быть поллитровочка...

— Дядя, вам нельзя, — испугалась Лида.

— В такой день, как сегодня, можно, — весело сказал дядя.

Вмешался Жора:

— Даже врачи считают, что немножко не только можно, а даже полезно. Расширяет сосуды...

— Тебе как, Егоров, можно расширять сосуды? — шуточно поинтересовался дядя.

Но Егоров, видно, шуток не понимал и не любил, он как будто горел все время незримым, мрачным, тайным пламенем.

— Они у меня и так хорошо расширенные, — угрюмо отозвался он.

Лида тихо спросила:

— Дядя, я сделаю салат?

— Это долго, — сказал дядя. — Нам бы поскорее. Почисть селедочку, картошки нет ли горячей...

— Вас понял...

Лиде очень было приятно хозяйничать у дяди, принимать его гостей. Пока вскипела вода, она начистила картошку, взялась за селедку. Мигом принесла хлеб, масло, посуду. Нашла запотевшую от холода бутылку водки. Стопки подала. А селедку дядя раскритиковал. Мельком взглянул и сказал укоризненно:

— Не выучила тебя мать, кто же так разделяет селедку?..

— А как?

— Лук надо нарезать колечками, кости вынуть. Эх ты! Ты попроси тетю Надю тебя научить. Это первое дело для хозяйки — уметь подать селедку.

Дядя как будто шутил, но недоволен был серьезно.

Лида обиделась. Им с мамой не нравилось пригото-

лять селедку так, как говорил дядя. Считали это мещанским. Лида пожала плечиками.

— Ладно, я попрошу тетю Надю показать мне...

Жора галантно поддержал ее:

— Не опасайтесь, Лидочка, съедим и эту, не побрезгуем...

— Сядешь с нами, Лида? — Дядя спросил только из вежливости.

Нет, конечно нет.

Она ушла к себе за шкаф, вроде взяла книжку, но не читала, а слушала. Звякнули тоненьким звоном рюмки. Жора сказал:

— Ну поехали.

— Со свиданьем.

Это, очевидно, Егоров.

Дядя и им, но подробнее, чем племяннице, стал рассказывать, как маялся эти дни, чертил и перечеркивал, изводил бумагу, но никак не мог найти ошибку в чертеже.

— Вышла у меня такая история,— говорил он.— Предложил я оригинальные зажимы для меховой шкурки. Ее же, раньше чем пускать на раскрой, мы увлажняем, расправляем, натягиваем. При царе Горохе просто приколачивали гвоздями. А на испорченных краях мы много теряем... Позже стали делать зажимы, но и они оставляли вмятины на меху. Мех дорогой. Мои зажимы таких вмятин не оставляют. Это же экономия, а когда мех дорогой — значительная. Как будто все пошло полным ходом. Все довольны...

— Знакомое дело! — закричал Седиванов. — Как всегда. Все приветствуют... И... ничего не делают.

— Так что же получилось!.. — продолжал дядя. — Ведь каждая фабрика заказала эти зажимы в другом месте. И что же? Там, где их изготовили точно, все прекрасно... Где плохо — эффекта нет. И стали винить мою конструкцию. Я запротестовал. Но что бы вы думали? Давай, Жора, наливай. Твое здоровье, Егоров. Критика изобретения возбуждает фантазию. Я решил усовершенствовать свой зажим. Маялся, маялся... Лежу, на сердце мокрая тряпка, смотрю в окно, скучаю, занавеска колышется, тополь чернеет своими сучьями за стеклом. А я про зажим думаю. Понял! Додумался! Начертил, проверил. Надеюсь на успех... — Дядя засмеялся. — Не знаю,

как вы, а я отношусь к неудачам так: торможение, препятствие не убивают меня, я не останавливаюсь. Раньше мне казалось, что если удалось напасть на тему, так эта тема одна-единственная...

— Точно.— Жоре трудно было долго молчать.— Точно вы говорите...

Но дядя не дал себя сбить:

— А теперь тем у меня много. Но...

— Много зависти,— опять перебил Жора.— Вот эта зависть и мешает работать. Когда работаешь и страдаешь, никто не видит, а когда идешь получать премиальные, прямо лопаются от зависти...

Егоров тоже завелся:

— Слышь, когда мой наконечник приняли, так директор меня даже обнял: «Ну,— говорит,— Егоров, честь тебе и хвала, Егоров, прославил завод». А теперь, когда я оплаты жду, так он, понимаешь, проходит мимо Егорова стороной, не видит Егорова. А главный инженер — так это же мой враг номер один...

Лиде казалось странным, что они больше ни о чем не говорят, только о своих изобретениях и предложениях. Ну, о политике бы заговорили, если их их искусство, ни литература не интересуют. Какие-то формы для шапок, зажимы, наконечники. Тоска!

Она попыталась читать, отвлечься, но все-таки понимала, что нигде не услышит такого разговора, как здесь. Сидят люди за столом и откровенно между собой разговаривают. Жора ей нравился, такой жизнерадостный, предприимчивый, Егоров меньше: злой какой-то, вернее, изозленный, ничего в мире, кроме своего злосчастного наконечника,— что за наконечник, к чему этот наконечник? — не видит. Нет, она будет вникать и слушать, книга никуда от нее не денется.

— На каждом предприятии, пусть оно даже самое передовое из передовых, есть колоссальные нескрытые резервы. Но все занято планом, текучкой, и никто не занимается резервами,— уже серьезно говорил Жора.— Предпочитают показуху, над которой рабочие смеются,— альбомы, стенды, технические якобы конференции. Теперь есть еще такое красивое название...

— Симпозиум,— подсказал дядя.

— Да хоть груздем назови, только не ешь! — желчно, порывисто сказал Егоров.

Дядя опять внес поправку:

— Нет, я все-таки наш бриз не ругаю. Есть препятствия, безусловно, особенно пока сделаешь опытный образец, и препятствия вроде мелкие, но их десятки — от нехватки металла до косности руководителей. Но у нас начальник бриза — очень серьезная женщина, и она очень старается помочь, посодействовать.

— Женщины вообще более честные, более возвышенные существа, корыстолюбия у них меньше...

Это, конечно, Жора.

Егоров опять забубнил: «бу-бу-бу». Лида не расслышала, но по тому, как засмеялись дядя с Жорой, понятно было, что он не разделяет столь восторженного взгляда на женщин.

Жора уже довольно громко говорил:

— Мой оклад — сто тридцать, за рационализацию я имею в год рублей пятьсот, на круг... При моей семье на окладе не проживешь...

Лиду удивляло, что человек так просто и открыто говорит о деньгах, о заработках. Ее даже возмущало, что можно изобретать ради денег. Но дядя поддержал его, тоже сказал, что премии — большой плюс к его бюджету. Так и выразился: «Это большой плюс к моему бюджету».

А Егоров обижался, что ему не платят, — «бюрократы проклятые».

Дядя и Жора сочувствовали, советовали, куда писать, куда жаловаться, возмущались.

А потом Жора рассказал, что его друг хочет внести на рассмотрение вышестоящих организаций проект положения об инженере, работающем на самоокупаемости.

— А в скобках он поставил — думающем инженере. Звучит? Понятно, куда гнет? Предположим, я беру на разработку тему. Моя задача — дать экономический эффект при минимальных затратах. Сам составляю план, смету. Но ты мне дай права, я сам распоряжаюсь кредитами, я хозяин. В конце года — подсчет. Если есть экономия от внедренных мероприятий — пожалуйста, доплати мне, если нет, увы, вычти из зарплаты... И тут выяснится, кто думает, а кто просто протирает штаны...

— Ты потише... — предупредил дядя.

— А я ничего... — сказал Жора.

А Егоров засмеялся:

— Завалят такой проект. Никому он не интересен,

лодырей много сидит на инженерных должностях, рисковать не захотят...

— А я бы рискнул,— лихо сказал Жора.— Я вообще очень люблю рисковать. Я, когда вернулся из армии, поехал по мобилизации в колхоз председателем. Это был совершенно задохнувшийся колхоз — весь в долгах, банк все счета закрыл, ни копейки денег. Я стал вникать, вижу, нас съедает МТС. Я крутился, крутился, немножко дела наладил и покупаю для колхоза трактор. А это было еще до постановления о том, чтобы колхозы имели свою технику. Меня за то, что опередил события, конечно, поперли... Так до сих пор еще колхозники ко мне оттуда приезжают за советом и просто так, забыть меня не могут, тоскуют обо мне. Да, я люблю риск. Я за проект...

— Не пройдет, нереально,— сказал дядя.

Лиде нравилось, как твердо высказывает свои мнения дядя. Он не терпит напраслины, мудро отбрасывает лишнее, выхватывает главное. И видно, что его слово весомо. И Жора и Егоров обращаются к дяде почтительно.

Гости посидели недолго. Когда они ушли, Лида кинулась к дяде за объяснениями: что? кто? почему?

— Ну, все тебе надо знать,— сказал дядя вроде ворчливо, но Лида видела, что ему приятен ее интерес.— Любопытная... Эх, детка, одно я тебе скажу... Образования мне не хватает, трудно мне. Я когда учился? Я школу-десятилетку вечернюю окончил в тридцать лет. Уже женатый был, уже отцом был... Потом окончил вечерний техникум, но тут мне, конечно, уважение как хорошему практику оказывали. Егоров тоже со мной учился, какой из него ученый? Но хотя и самоучка, можно сказать, но имеет талант, большой талант. Жора Селиванов, ну, он помоложе нас, побойчее будет. Так ведь и он не полноценный инженер, он только должность инженерную благодаря своим способностям занимает. Живой ум у него, быстрый...

— Он тоже талантливый? — спросила Лида.

— Способный он... — не ответил прямо на ее вопрос дядя.— Живой. Не шустрый, а живой — это большая разница... Денежки любит. А как их не любить? Жизнь заставляет. Деньги — это большой стимул. Но он молодец, не кичливый, попроси его приемник починить — починит, телевизор — пожалуйста. Франтить любит, и жена

у него франтиха. Но способный, этого не отнимешь. И в журналчики заглядывает, иностранной техникой интересуется. Экономия от его предложений большущая. Ум не косный, вот что главное...

— А я думала, что Жора-то как раз талантливый, а Егоров просто так,— призналась Лида.

— У Жоры есть подход, любезность, а Егоров из-за своего характера страдает. Он ужас какой злой... Он прямо в глаза режет. За это его и не любят. Сами заведут его, а когда нагрубиянничает, то этим же его и корят... Характер большое значение имеет...

А Лида задумалась.

— Мне кажется, что талант — это когда что-то очень крупное...— нерешительно сказала она, боясь обидеть дядю.

В рыжих его глазах вспыхнули огоньки. Он все-таки немного обиделся:

— Не всем же талантами быть... Это товар редкий. Талант — это переворот в технике, за это Ленинские премии дают, золотую медаль. Но ведь совершенствовать можно многое: и станок, и деталь для станка, и инструмент, и приспособление, и каждую самую маленькую гаечку, так сказать. Лишь бы производству польза. И чтобы человек все свои способности, какие у него есть, напряг...

— Вас понял,— опять сказала Лида. И пояснила: — Это после космонавтов все стали так говорить. Помните: «Вас понял» и «Перехожу на прием». — Она обняла дядю за шею. — Очень даже вас понял, товарищ изобретатель...

— Ты тут хотела взглянуть, что про меня писали,— сказал дядя как будто небрежно, но и не без самодовольства. — Вот, взгляни, тетка все собрала, все вырезала, наклеила...

Лида с любопытством потянулась к «Альбому для рисования», где были приклеены вырезки. Кто-то, видимо Петька, обвел все аккуратными толстыми цветными линиями, получилось внушительно.

— Интересно, что чувствует человек, про которого написано в газете. Страшно, правда?

— Что ж тут страшного? Это когда фельетон, когда критикуют, вот тогда, я так считаю, страшно...

— Я бы с ума сошла от страха...— сказала Лида.— Как будто я всему миру что-то обещаю, а вдруг я не смогу...

Дядя усмехнулся снисходительно:

— Страшно, а сама собираешься про других писать...

— И про других страшно. Еще страшнее, я думаю.

Она читала про дядю и вроде не узнавала его, хотя факты были те же самые: как он изобретал, какую пользу принес государству, какие трудности встречал, как с ними боролся. А живой, теплый дядя стоял над ней, жарко дышал ей в ухо и с удовольствием тыкал указательным пальцем в чуть пожелтевшую бумагу:

— Вот это наша городская газета. И это... А вот это из Москвы приезжали, из профсоюзного журнала, толковый такой молодой человек приезжал, Илья Сергеевич. А это центральная наша, рабочая газета «Труд». А эти все заметки и фото, это уж из нашей многотиражки, это я даже не считаю... Чего усмехаешься? — недовольно спросил он, перехватив лукавый Лидин взгляд.

— Вы тут такой важный, такой необыкновенный, герой прямо...

— А чем же он, по-твоему, не герой? — вмешалась тетя Надя. Она пришла из кухни и на секундочку остановилась возле стола.— Он и есть герой труда. Не пьет, не курит, а инфаркт имел с чего ж это, если не с труда...

— Я шучу,— сказала Лида.— Но, правда, трудно в этих очерках узнать дядю — и он и как будто не он. Помните, дядя, вы спрашивали, как я хочу писать. Мне хочется писать так, чтобы человек был как живой. С достоинствами и недостатками...

Дядя недоуменно переглянулся с женой. Тетя Надя сказала:

— А кому нужны его недостатки? Кто это захочет брать с них пример?

Поддержка жены ободрила дядю.

— Вот все вы, молодые, такие,— сказал он с досадой.— Сами еще и так не умеете, а других критикуете...

— Я не критикую, что вы... Этот Илья Сергеевич очень даже хорошо написал. Я не о том... Ведь вы все изобретатели — и вы, дядя, и Егоров, и Жора, ну, Георгий Иванович. Но нельзя же про вас писать одинаково.

А если писать вот так,—она показала на вырезки,—то все будет написано одними и теми же словами: любит технику, самоотверженная работа и так далее...

— Для того и фотографию печатают рядом, чтобы отличать,— наивно сказала тетя Надя.

А дядя понял:

— Это справедливо ты заметила. Ты желаешь, выходит, чтобы у каждого корреспондента был свой подход.

— Вот именно, именно! — обрадовалась Лида. — Я буду стремиться писать по-своему, мы это называем стилем, и буду писать правду, без прикрас...

Дядя вздохнул:

— С прикрасами или без прикрас, а ведь еще не всегда получается... — Тетя Надя опять ушла на кухню, а дядя, почему-то снизив голос, как будто не хотел, чтобы жена его услышала, стал торопливо говорить: — Вот какой случай был... Приезжала тут одна, неплохая такая женщина, немолодая, солидной комплекции. Принципиальная. И на фабрику приходила и меня к себе в гостиницу вызывала. Из Совета изобретателей ее ко мне направили. Я все ей про себя рассказал, отчитался, она мне серьезные вопросы ставила. Ждите, говорит, я про вас напишу. В журнале. И название журнала сказала. Почти год прошел, я журнал покупаю, ничего нету. Мне перед тетей Надей неловко. «Что,— спрашивает,— ты к журналам пристрастился?» Я с киоскершей договорился. Она мне и журнал оставляла. Подхожу покупать, вроде меня в краску бросает, будто все знают, зачем прихожу. Поехал я в командировку в центр — вы как раз тогда все на курорте были, не застал я вас,— и что бы ты подумала? Захожу в кафетерий, покушать захотел, смотрю, она еще с одной дамой заходит, торт покупают. Я улыбаюсь, а она меня как бы не узнает. Называюсь, она говорит: «Ох, теперь узнала, здравствуйте». Спрашиваю: «Что ж вы не написали?» — «Я,— говорит,— целую зиму проболела, не работала, время вроде упустила». Вижу, не врет, бледная очень стала. Я все-таки спросил: «А будете писать?» Она честно говорит: «Нет, уже не буду, поздно... — А потом так как-то метнулась ко мне и говорит: — Извините меня, товарищ Поликарпов, я действительно болела, но не в этом дело. Не получился у меня этот материал, не нашла изюминки...» Я, понятно, виду не показал, но задело это меня за живое. Это в квас, когда ставят, изюминку кладут,

чтоб бродило крепче, но я ведь не квас, я человек. Живая душа... Так вот, если сама понимаешь, объясни мне это, как же такой опытный сотрудник, не девчонка, а не вышло. То есть не интересный я для нее был, что ли? Мелкий я для нее человек, выходит? Недостойный ее пера...

— Нет, дядя, совсем не так... что вы... — Лида понимала, что он неправ, но не знала, как объяснить. — Просто, может, у нее не было вдохновения, — сказала она. — Ой, как я это понимаю, как понимаю! Я мало еще написала, вам смешно, но я понимаю. Знаешь, что хочешь написать, о чем писать есть, а оно не пишется. Но ведь у вас, когда вы изобретаете, когда вы ставите себе творческую задачу, ведь, наверно, тоже иногда так бывает... — Лида обрадовалась. — Вот вы сами с этим зажимом как мучились. Как туча ходили. Я даже обиделась, хотела домой уезжать. Думала — из-за меня. Так и она...

Дядя отрицательно покачал головой:

— Я самолюбивый, я, если взялся, расшибусь, а сделаю, найду ответ... Мне то обидно, — сказал он, — что очень уж она уважительная была, вдумчивая. Я ей одну правду говорил, не умалчивал... И про производство, и про семью, а она...

Лида не знала, как его отвлечь:

— А почему вы считаете, что она принципиальная...

— Имею доказательства, — загадочно сказал дядя. — Вроде бы и пустяк, а мне понравилось. У нас ведь мех, меховые изделия выпускаем, знаменитые на весь Союз, на международных ярмарках призы берем, она и спрашивает: «Вот вы дамские шапочки выпускаете, а в продаже они есть?» Я замялся. «Когда, — говорю, — есть в продаже, наши местные дамы только что витрину не высаживают, нравятся очень...» — «Мех, правда, красивый». — «А вам что, шапка нужна?» — «И нужна и не нужна, — она отвечает, — просто так спрашиваю...» Но я же понимаю, что это за «просто так». Насилу для тети Нади сам достал, с большим трудом, с хитростями, так девчонки все по очереди у нее берут, ей самой и поносить никогда не удастся, я уж велел спрятать. Они все с нее готовы содрать, пусть голая ходит... Я и советую этой корреспондентке: «Когда придем в цех, вы шапки похвалите и попросите. У них бывает с небольшим брачком, его и незаметно, но на экспорт не идет и могут списать.

А стоимость вы оплатите. Я начальнику цеха намекну...» Пришли в цех, показывают ей. Она говорит: «Прекрасные шапки...» И дальше идет. Я подмигиваю, отхожу, может, меня стесняется, опять подхожу — она ни в какую... Начальник цеха на меня удивленно смотрит: чего, мол, ты мне голову морочил? Так и ушла, словом про шапку не обмолвилась...

— Правильно, молодец, не может ведь она из-за какой-то шапки...

— Посмотрел бы я на тебя, как бы ты от такой шапочки отказалась. Это же белек — детеныш тюленя. И не даром ведь, а за деньги...

Лида после паузы спросила, вздохнув:

— Дядя, как вы думаете, мне бы пошел такой мех? Она дорого стоит? Неужели никак-никак нельзя купить?

Дядя нахмурился:

— Для чужого человека я попросил, для своего неудобно... Меня, правда, уважают, меня на предприятии знают, но не хочется свой авторитет на мелочь разменивать. Ты уж меня извини...

Лида закрыла альбом, сказала задумчиво:

— Как бы я хотела написать про вас, дядя, хватило бы у меня только умения. Я попробую, дядя, да?

— Ну тебя, тоже скажешь: нет изюминки...

— Не скажу...

В комнату вошла тетя Надя.

— О чем это вы? — спросила она, зевая. — Что-то Петьки нет, и девки мои сегодня задерживаются, домой не являются. Сегодня ведь ни собрания, ничего такого...

— Выйди к парадному, — посоветовал дядя. — Небось с кавалерами стоят. А тебя, Лида, провожают кавалеры, разрешает мама?

Лида не слышала. Она ластилась к тете Наде, просила:

— Можно мне померить вашу меховую шапочку, да?

Лида стояла у проходной, испуганная и несчастная. Ей все не нравилось. Пока трамвай шел через город, она вела себя очень храбро, бойко смотрела по сторонам, отмечая «детали» для своего очерка, — вот как много построено новых домов и как они все похожи один на другой и на новые московские дома тоже похожи. Теперь

дома почему-то не строили рядами вдоль улиц, а вразброс, и потому казалось, что все они на пустырях, необжитые, и там сквозняки от продувающих ветров. Они сами в Москве переехали в такой дом из огромной коммунальной квартиры с широким, как темное шоссе, коридором, по которому, гремя звонками, носились на трехколесных велосипедах дети. Мама и ВеПе радовались новой квартире, а она, Лида, скучала по старому жилью. В старом доме, на этаже выше жил Димка. А когда его провожали в армию и высыпали на лестницу жильцы с обоих этажей, образовалась огромная толпа. Лида шла в сторонке с подругами, а Диму вела под руку его мать. Димкин отец, совсем еще молодой, играл на аккордеоне. Дима растерянно, стараясь держаться молодцом, раскланивался со всеми. И только когда подошли к сборному пункту, куда пустили уже не всех, только близкую родню, он вдруг перестал улыбаться и храбриться, заскучал, подошел к Лиде и, белый, глядя на нее своими прекрасными серыми глазами, спросил: «Ты меня не забудешь, Лида?» Она схватила обеими руками его холодную ладонь: «Нет, нет, Дима, нет, не забуду...» Он что-то еще хотел сказать, ее бросило в жар, он наклонился так близко, как будто хотел сейчас на глазах у всех ее поцеловать. Но Дима взял себя в руки, слабо улыбнулся, нашел в себе силы пошутить: «Желаю тебе стать отличницей учебы, мы тоже будем стойко стоять на рубежах. Жду писем, смотри, чтоб без ошибок...» И совсем тихо-нько прибавил: «Я надеюсь, Лида».

Она тогда еще училась в девятом классе.

Вот уже второй год, как они переписываются, и ей все труднее становится писать ему: не так уж много событий в ее жизни. Чувства? Но она даже не знает, испытывает ли она какие-нибудь чувства к Диме и какие именно. Но знает одно: Димка — в армии, далеко от дома, от друзей, от девочек, с которыми учился, одинок, и она должна скрашивать его одиночество...

Ей нравится быть верной, доброй, отзывчивой. Когда Димка вернется и они будут в равном положении, тогда будет видно... Пока надо держать слово.

Как странно, что, живя здесь, у дяди с тетей, она писала нежные письма за Галку, за Таню, даже строптивая Надя попросила ее как-то помочь «оформить» курсовую работу для вечернего института, где училась. Но сама

она мучилась, не зная, что писать Диме. Посылала ему скорее отчеты о том, что видела в кино и читала в книгах, скорее отрывки из своих дневников, чем письма.

Димка, видимо, чувствовал это и тревожился. И особенно его тревожило, что она переехала, как будто изменилась оттого, что не живет больше в их старом доме, не выходит вечером во двор под тополя, где стоит стол со скамейками...

Трамвай, гремя и стуча, переехал по мосту через озеро.

Улица стала очень широкой, домишки — маленькими, вросшими в землю, с резными наличниками, со скамеечками у ворот, с глухими заборами, с палисадниками, заваленными снегом.

День выдался хмурый, снег потемнел, закоптился, утратил свою пухлую, сверкающую белизну. Все вокруг казалось ей жалким, убогим, будничным. Она все больше и больше волновалась, боясь, что не сумеет слова вымолвить, не найдет, о чем спрашивать. Ей уже хотелось, чтобы дядя не получил для нее пропуск на фабрику и она могла бы сразу уехать обратно. Она терла варежкой стекло, хотя стекло было чистое, прозрачное.

Металось на веревке белье, повешенное для просушки, рукава мужской ярко-синей рубашки взлетали вверх, словно чьи-то руки молили о помощи. Рвалась сидевшая на цепи собака, лая не было слышно, только натягивалась тяжелая цепь.

Лиде становилось все тоскливее.

Последняя остановка была у самой фабрики. Как обреченная, Лида вылезла, пошла к невысокому зданию, поразившему ее своей неприглядностью. Ей казалось, что фабрика будет вся сверкать множеством ярко освещенных окон, будет содрогаться от шума, от грохота моторов.

В проходной стоял дядя, совсем не такой, как дома, в старом пальто, в старой ушанке, почему-то замурзанный.

— У вас запачкана щека, — сказала Лида, с трудом разжимая губы.

— Замерзла?

— Нет, тепло.

— А чего дрожишь? — Дядя торопился. — Ты вот что, ты иди в брыз, я предупредил... Там управисься, придешь

ко мне, спросишь экспериментальную мастерскую. Не забудешь?

— Нет,—сказала Лида. И в отчаянии спросила:— Я пойду в бриз одна?

— Ну да, мне же некогда. Опосля я уже пойду с тобой, покажу производство...

Лида никогда не слышала, чтобы дядя говорил «опосля». Он подогнал ее:

— Ну, давай, давай, иди...

На заводе Лида бывала, даже работала, когда в школе ввели политехническое обучение. Над школой шествовал большой производственный комбинат, школьники не раз ходили туда на экскурсию. И в учреждении у мамы она не раз бывала, даже в институт к ВеПе отвозила как-то в бухгалтерию бюллетень.

Но сейчас ее трясло от страха, от неуверенности в себе. Сейчас вся затея казалась ей глупой. Все же сразу увидят, что никакой она не корреспондент, хотя дядя взял ей какую-то бумажку в Обществе изобретателей. Мол, она студентка факультета журналистики, на практике. То есть то лицо, каким она была бы, если бы не провалилась на экзаменах.

— Обман небольшой, грех нестрашный, беру его на себя, а тебе большая польза. Ты много чего почерпнешь,—сказал дядя.— Кто знает, а может, справишься, пойдешь потом в свой институт, к тому человеку, что велел тебе наведаться...

— Он-то меня не примет,—сказала Лида.— Уж кто-то, а он мне не простит...

— Как так не простит? Ты же не в гости к нему идешь, не на именины. Тут дело государственное. Подготовка кадров.

— Рабочая тема, правда, это очень важно,—заколебалась Лида.

— Что значит рабочая? Ты и сама от нашего семейного рабочего корня веточка...

В комнате было очень жарко, стояло множество письменных столов, и над каждым столом склонилась женщина. У Лиды в глазах зарябило от ярких кофточек.

А начальник бриза Агния Николаевна сидела в сторонке, у окна.

Лида чуть освоилась, огляделась. На подоконнике — горшки с зелеными растениями. Скосив глаза, Лида разглядела под стеклом на одном из столов вырезанный из «Огонька» снимок ребенка с кошкой, она помнила этот снимок. Солнце на минуту вдруг ударило в окно, луч скользнул по графину с водой, и на гранях пробки заиграли, задробились сиреневые и розовые блики. И Лида вдруг успокоилась.

Начальник бриза, худенькая, беленькая, с увядшим нежным лицом, хлопотливо перекладывая в папке какие-то бумаги, приветливо заговорила:

— Пожалуйста, пожалуйста, очень приятно. Нам звонили... приятно, такая молоденькая корреспондентка. Мы придаем выступлениям печати большое значение, радуемся за наших изобретателей. Это же такие труженики! Вам нужны цифры? По фабрике? По цехам? Можно за год, поквартально. Ах, только Поликарпов. Петр Степанович очень уважаемый человек, очень, очень уважаемый. Что я могу о нем сказать?— Она задумалась, бумага перестала шелестеть.— Работает не из-за денег, а с душой, чтобы облегчить труд. Начал с простого рабочего, был токарем, мастером, начальником механического цеха. Теперь возглавляет экспериментальную мастерскую. Семьянин хороший. Предложил зажим для правки меха, предложил способ для маркировки изделий. В республиканском ВОИРе его очень уважают как рационализатора. Вы знаете, что он заслуженный рационализатор республики? Что ж еще? Раечка, ты как думаешь, он с душой работает?

Женщина в красной кофточке, озабоченно крутившая арифмометр, подняла голову:

— Конечно, с душой.

И снова погрузилась в подсчеты.

— Ну вот, слышите, с душой. Сейчас мы с вами пойдем на производство.

— Агния Николаевна, трудно вам работать?— вдруг спросила Лида шепотом.

Агния Николаевна, надевая пальто с черным воротничком и клетчатый шарф, становилась все больше похожей на маму.

— Конечно, трудности есть.. Все хотят призвания, но я ведь не всегда могу... Я должна соблюдать интересы предприятия. И я между двух огней...— Когда они вы-

шли из здания, то Агния Николаевна, как будто теперь официальная часть закончилась и Лида была просто ее знакомая, сказала: — Мой сын мечтает о факультете журналистики, просто бредит. А я бы предпочла, чтобы он стал доктором, инженером, ну, пусть учителем, кем угодно... Правда, у него хороший слог...

Они пересекли огромный фабричный двор, покрытый почерневшим снегом с продавленными грузовиками глубокими колеями, с порыжевшими, выглядывавшими из-под снега железными полосами, чугунными чушками, какими-то круглыми, как колеса, частями.

— Хоть бы зима легла, — сказала Агния Николаевна. — Это самая гадкая для пожилых людей пора — такая промозглая погода.

Они вошли в мастерскую, где была дядина группа, и опять Лида удивилась, так все было просто, так все походило на огромный гараж — цементный затоптанный пол, верстаки, всякие там тиски и тисочки, обрезки металла, сизая, отливающая тусклым золотом стружка, свернувшаяся причудливыми клубками.

Дядя пошел им навстречу.

— А-а, Агния Николаевна...

Лида все еще не понимала, знает Агния Николаевна, что она племянница дядина, или не знает. Видимо, не знает, очень уж серьезно ко всему относится. А дядя все-таки конфузится. Какая-то робость, скованность в нем появились. Может, он за нее боится?

Дядя стал водить их по мастерской, показывать, над чем они работают. А Агния Николаевна, как любезная хозяйка, поясняла:

— Здесь масса заказов со стороны. Так что, к сожалению, приходится нашим изобретателям со своим тесниться. А в идеале мы хотели бы, чтобы экспериментальная группа занималась исключительно экспериментами, была базой для изобретателей...

Она вдруг остановилась и удивленно, даже испуганно вскинула глаза. Как будто нарочно прерывая этот, как хорошо поставленный спектакль, удачный показ мастерской, один из рабочих, в спецовке, в заломленной шапке, шел к ним, неся в руках какие-то металлические штучки. Вид у него был недобрый, вызывающий.

— Вы что? — Агния Николаевна метнулась к нему. — Вы видите, что я занята. С корреспондентом...

— Вот и хорошо, что с корреспондентом... Так и думаете мариновать?

— Что мариновать? Что?

Лида видела, как Агния Николаевна огорчена. Все шло так складно, так гладко. Ей, должно быть, ужасно огорчительно было, что при корреспонденте ее обвинили в том, что она маринует рабочие предложения.

— Я вам сто раз говорила, товарищ Игнатюк, что ваше предложение несерьезно. Такие штампики уже есть... ничего принципиально нового...

Дядя мрачно смотрел в сторону.

— Товарищ Поликарпов,— воззвала к нему Агния Николаевна,— скажите вы...

— Я говорил, я по линии бюро уже высказывал свое мнение...

— Отрицательное?

— А какое же еще...

Игнатюк демонстративно вздохнул, развел руками и, всем своим видом показывая, что справедливости все равно не добьешься, повернулся и ушел на свое место.

Дядя сказал:

— Ох, нахал!

— Ужасный, ужасный нахал!

А Лида была совсем убита. Она понимала, что настоящий газетчик сейчас же стал бы расспрашивать обиженного рабочего. Может быть, этот Игнатюк вовсе не такой нахал? Настоящий газетчик опирается только на факты, он не имеет права доверять эмоциям. Факты, факты и факты...

Уже как во сне, без радости и интереса, она вслед за дядей и Агнией Николаевной ходила по корпусам, поднималась на этажи, входила в цехи. Ей показывали, как удобно стало надевать шапку на новую — дядину — форму и снимать ее, как натягивают и закрепляют дядиными зажимами белый ласковый мех детеныша тюленя, как ставят с помощью его штампика сорт, размер и еще разные данные на готовые изделия, и она уже понимала, что вовсе это не такие пустяки, как ей мерещилось. А радости не было, радость не приходила. Даже когда ее повели через цех, где изготовлялись на экспорт шапки, где глаза разбегались, столько лежало прекрасных образцов всех цветов и фасонов, она оставалась равнодушной.

И если что-нибудь и утешало ее, так это то, что она

всюду видела, какие знаки уважения оказывают ее дяде. Добрые улыбки, добрые слова. А в одном месте его попросили посмотреть новую машину. Налаживают машину, которая прибыла в счет импортного оборудования, и не могут наладить. Он сказал, что зайдет. Позже... И показал глазами на Лиду. Мол, освобожусь и зайду...

Мужчин работало мало — мастера, наладчики. За длинными узкими столами сидели женщины и девушки, простые, домашние, в байковых цветастых платьях, в тапочках.

— Как здесь уютно, — сказала Лида раньше, чем подумала, удобно ли ей это говорить.

— У нас большой процент вовлечения женского труда, — сказала Агния Николаевна.

Она все еще была расстроена.

И когда они вышли за ворота — дядя довел их только до проходной, — Агния Николаевна сказала со вздохом:

— Все-таки я Игнатиюка не убила. А надо было убедить...

Лида хотела попрощаться и идти к трамваю, но Агния Николаевна сказала:

— Так приятно пройти по воздуху. С работы едешь, торопишься: надо ведь еще успеть в магазины... — Она спросила: — А как у вас в Москве с продуктами? У нас в этом году хорошо — масло, молоко берем в магазине, бидон вожу с собой... С мясом хуже...

Она была такая милая, такая хорошая, что Лиду подмывало открыться ей во всем. Она только боялась подвести дядю. Сказала:

— Вы так ко мне добры, а я ведь еще никто...

Агния Николаевна отозвалась:

— Пожалуйста, пожалуйста, всегда рады помочь молодому специалисту.

— Ох, я даже еще не специалист...

— Я сочувствую молодежи, — сказала Агния Николаевна ласково. — Я очень сочувствую молодым женщинам. Им труднее строить свою жизнь, чем мужчинам.

— Чем же это? — Лида воинственно подняла плечико.

— А дети? — напомнила Агния Николаевна. — Они отнимают столько сил.

Самое большее, что могла сделать Лида, это промолчать. Она ведь сама еще была «ребенком», который от-

нимает время у мамы и портит ее личную жизнь, ее отношения с ВеПе, она и у ВеПе отнимала время и вот теперь у дяди. Ох, могла ли она объяснить, что не так-то легко и просто быть «ребенком» и выполнять все ЦУ — ценные указания и РУ — руководящие указания, которые так охотно дают взрослые.

Но Агния Николаевна, видимо, считала Лиду уже сложившимся человеком, перед которым ясная цель и прямая дорога.

— Говорю своему сыну: «Не надо тебе свободной профессии, она хороша, когда есть способности. А вдруг нет?» Но разве кто-нибудь слушает в наше время родителей?.. — Тут подошел трамвай. Агния Николаевна вспомнила, для чего Лида приезжала. — Насчет Петра Степановича не сомневайтесь! — закричала она Лиде, уже стоявшей на площадке. — Это очень уважаемый в нашем городе человек, очень, очень уважаемый...

Дядя развеял Лидины сомнения. Про Игнатюка сказал резко:

— Вздорный мужичонка. На Агнию Николаевну кинуться не опасно, она отпора не даст. Что ж он не кидается, когда кто постарше, посильнее ее приходит? А то, что ты сомневаешься, это тоже хорошо, не сомневаться нельзя, все надо проверять... Если ты хочешь за такое дело взяться, — поучал он Лиду, когда они медленно, среди толпы шли по улице, — то ты уж думай, вникай. Если поверила — не отступай. Пресса — это очень большая сила, большую власть на себя берешь...

— Но почему же власть? — не поняла Лида.

— А потому власть, что должна сама решить — карать или миловать человека. Ты о нем напишешь со знаком плюс, а он прохвост, пролаза, заминуешь его, а он-то и есть порядочный. Нет, это много на себя взять надо, чтобы работать в прессе... Ты же видела, какое тебе вчера, как работнику прессы, оказали уважение. Агния Николаевна сама с тобой, заместительницу не послала, и начальники цехов забегали... Ты про это помни и не забывай...

— Духи есть такие рижские «Не забывай»...

— Дурочка еще, — засмеялся дядя. — Я все с тобой как со взрослой, а ты дитя...

— Нет,— опомнилась Лида,— я уже не дитя. Я потому дурачусь, что страх мой прошел, я вчера очень боялась...

— А держалась ничего, солидно и вопросы толковые задавала...

Они решили сегодня с дядей все-таки пойти в музей, дядя только сказал, что на минуточку зайдет в ОИР, как раз когда он болел, заседал совет, интересно, какие вопросы рассматривали.

— Я у них непереманный член уж не знаю с какого года,— горделиво сказал дядя.— Прошу: «Не выбирайте вы меня, надоело»,— нет, не соглашаются, выбирают...

Город довольно круто поднимался в гору. Лиде нравилась эта нагорная старая часть — особняки красивые с садами, с красивыми чугунными решетками. Они пересекли парк. Дядя не удержался, опять стал говорить, что надо ей непременно приехать летом, когда все в зелени, и не ждать, пока наступит зной — выжженное, желтое тоже неинтересно. А Лида задумчиво сказала, что обязательно приедет, теперь этот город стал для нее родным. Дядя сказал, что хорошо, если бы и мама со своим мужем приехали, вот было бы хорошо. Она, мол, и не узнает города, столько нового. Не сравнить с тем, что было. Вот только квартира у них неудобная, тесно покажется после Москвы.

— А вам не обещают квартиру?

— Вот именно что обещают. На очереди мы. Если считать на метры, то метров у нас немало. А удобства нету. Нам с тетей Надей беспокойно, и им, молодежи, неудобно. Ведь неудобно, правда?

— Первые дни казалось, что очень неудобно, теперь привыкла,— честно сказала Лида. И засмеялась.— Но вам хоть сто комнат дай, вы все равно будете все вместе.

— Ну все-таки...

— Я только не понимаю,— горячо сказала Лида,— такой человек, как вы, и не могут вам дать хорошую квартиру...

— А какой я такой человек? Человек, как все. Другие, значит, похуже еще живут.

— Мы получили квартиру только благодаря ВеПе, ну, благодаря Валентину Петровичу. Мама ведь очень неэнергичная...

— Она для себя просить не любит, точно,— подтвер-

дил дядя.— Она и маленькая была, а конфетку, бывало, не попросит, пока не спросишь: «Хочешь конфетку?» Я все у нее по глазам читал, что ей надо...

— А писем друг другу почти никогда и не пишете,— упрекнула Лида.

— А что писать? — как-то грустно проговорил дядя.— В письме того не выскажешь, что на душе... Это ты у нас, я слышал, мастерица писать письма...

— Какая уж там мастерица...

— У тебя, говорят, парень в армии...

«О черт, все разболтали!»

— Что вы вкладываете в это понятие «парень»?

— Ну, товарищ или, как раньше говорили, жених...

— Только не жених. Мы просто учились в одной школе..

Дядя облегченно вздохнул:

— Не торопись, Лида, брак — дело серьезное. Выучись раньше, приобрети специальность, чтобы ты от него не зависела.

— Я никогда ни от кого не буду зависеть...

— Самостоятельность — это хорошо...

— Я хочу быть совершенно свободной...

— Не бывает человек совершенно свободным. Нет. Я все думал, маму твою, сестренку свою, выучу и буду свободный. Взял женился. Опять не свободный. Дети пошли. Теперь, думаю, ну, я их вырастил, на ноги поставил, все. А тетя Надя уже планирует, как мы внуков будем растить, воспитывать. А если и не внуки — старость пришла, учиться поздно. В Средней Азии хотел побывать — жарко, климат неподходящий при слабом сердце. Нет, пока человек живой, у него всегда есть долг...

Лида недоумевала. Как будто дядя говорил самые простые, житейские вещи, а ей очень интересно, все интереснее становилось его слушать. Начал бы ВеПе говорить, как в нем развито чувство долга. Она бы сразу, скисла, заскучала. А тут каждое дядино слово в память свою, в душу свою, как в копилку, кладет. И небо это, сверкающее на морозе, и вот это низко наклонившееся корявое дерево, на котором каждую веточку залушил снег, и круглую толстую тумбу, заклеенную афишами,— все-все клала в копилку. И все, что видела вчера на фабрике, что вызвало у нее столько противоречивых чувств и ощущений, тоже осело в ее памяти. Она еще не разо-

бралась во всем, не все обдумала, но обязательно обдумает, разберется...

Хотя дядя и успокоил ее насчет Игнатюка, а все-таки этот случай — предостережение: надо много учиться, много знать, не быть верхо...глядом? Верхо...глядкой? Ей опять стало весело.

Так приятно шагать рядом с этим грузным мужчиной! Не раз уже в кафе она видела, как поглядывают официантки, как будто спрашивают: кто они? Отец с дочерью или старик, полюбивший молодую? Она нарочно, чтобы они слышали, говорила ему «дядя». Глупые, это же мой дядя, он вырастил мою маму, это старший брат моей мамы, друг моего папы, это мой дядя... Все-таки смешно, что дядя такой наивный, такой несовременный, ему и в голову не приходит, что он мог бы пойти в кафе с чужой молодой женщиной.

Она спросила:

— Дядя, а вы влюблялись в кого-нибудь, когда уже были женаты?

Он не возмутился, а засмеялся:

— Много будешь знать, скоро состаришься...

Они пришли. Это был большой двухэтажный дом. Хотя он не был похож на дворец, назывался он Дворцом труда. Тут помещались все профсоюзные организации, и здесь же был ОИР.

Скромно потупив глаза, Лида вошла вслед за дядей вначале в первую комнату, где сидело много сотрудников, потом в кабинет.

В первую минуту Лида была разочарована. Ей казалось, что изобретателями должен руководить человек необыкновенный.

А почему? С чего она это взяла? Ох, Лида, Лида! Сколько раз она сгоряча так думала про людей, обманутая их будничным видом, потом убеждалась, что люди эти как люди и неплохо знают свое дело.

Видимо, не надо требовать слишком много, надо смотреть на все более трезво. Ибо, как выразился бы ВеПе, «се ля ви, как говорят французы», то есть такова жизнь.

Она вдруг поймала себя на том, что думает о ВеПе без раздражения и даже немножко скучает о нем. Наверняка он приготовил для нее какие-нибудь новые хорошие книги и будет чуть нараспев читать ей стихи из новых журналов. А вкус у него хороший, и, если бы ВеПе

мог допустить, что у кого-нибудь еще, кроме него самого, может быть литературный вкус, с ним можно было бы вполне ладить...

Лида внимательно посмотрела на Ивана Владимировича, к которому они с дядей пришли. Лицо у него было невыразительное. Лида стала думать, что никогда она не сумеет описать такое лицо, не за что здесь зацепиться: глаза, нос, лоб — все самое обыкновенное. Это именно глаза, а не хитрые глаза, не красивые глаза, не грустные глаза. И лоб обыкновенный. Волосы довольно редкие, аккуратно расчесанные. Костюм дешевый, немодный, уже старый, но очень наглаженный. Говорит Иван Владимирович хорошо, отлично, журчит, а не говорит. Видно, что он любит говорить, привык и умеет выступать.

Иван Владимирович оживленно рассказывал дяде, что приезжал председатель какого-то центрального совета. Дядя, видимо, знал какого, так как лицо отражало живейший интерес.

— Я в ужасе думал, что он застал нас врасплох: конец месяца, тридцатое число, на предприятиях заняты планом, всем будет не до нас. Скрепя сердце повез его на заводы. И что же? Я сам был удивлен. В бризах все в порядке, все нам показали. Он говорит: «Мне не к чему придаться.— Иван Владимирович с чувством произвел, как он ответил.— И я приятно удивлен...»

— Молодцы, не подкачали, не подвели вас,— сказал дядя.

А потом дядя так ловко повел дело, что незаметно для себя Иван Владимирович стал объяснять Лиде, в чем сущность их работы и чего они достигли на сегодняшний день.

— Наше очередное мероприятие — это университет изобретателя. Из рационализаторов будем готовить изобретателей, учить методике творческого мышления. Жаль, вы опоздали. У нас тут из всей республики были люди, занимались патентоведением. Лекции и семинар. Я сам проводил некоторые занятия...

— А разве изобретательству можно учить? — удивилась Лида.

— А как же. Мы учим. Человек не умел спичечную коробку изобразить в трех измерениях.— Иван Владимирович взял со стола и повертел перед Лидой спичеч-

ный коробок.— Через год этот человек чертит, становится бригадиром, прекрасно оформляет изобретения. Не учить, не помогать нельзя... Может быть, вам назвать имена? — любезно спросил Иван Владимирович.— Вот, пожалуйста, пример. В тресте строймеханизации был некий Обушаев Исхат. Он татарин, кажется, недавно совсем был малограмотным. Наш активист. Учился. И что же? Теперь он уже заведующий курсами повышения квалификации. Это наша заслуга. Я могу назвать многих... Или...— Он поднял указательный палец. Палец был длинный, узкий.— Мы в большой дружбе с заводами. Поскольку мы способствуем росту технического вооружения кадров, директора готовы для нас на все, идут нам навстречу. Представляете?

Лида кивнула, хотя представляла не очень ясно. И на всякий случай произнесла:

— О-о...

Ей вдруг очень захотелось поговорить с Иваном Владимировичем просто так, а не по делу, неловко стало, что он тратит на нее такой пыл, когда она никто. Она сказала:

— А мы сейчас с дядей идем в музей. Потом кофе пить. Пойдемте с нами...

От неожиданности Иван Владимирович растерялся.

— А что? — вдруг обрадовался он.— Ведь так и не выберешься, не пойдешь. Пойду... Рабочий день уже кончается.

— Пойдемте,— снова сказала Лида.— А потом в кафе «Елочка», там вкусные пирожные...

Но порыв Ивана Владимировича уже угас.

— Нет,— твердо сказал он.— У меня завтра доклад, буду готовиться...

— Вы так все хорошо помните: и имена и факты...— простодушно сказала Лида.

— Нет, что вы! Надо еще кое-что подработать...

На улице дядя сказал:

— Я-то знаю, чего он отказался. Секрет нехитрый. Получка давно была, денег у него нету, а чтобы я угустил, боится, как бы не подумали, что взятка...

— Какая глупость! — закричала Лида.

— Нет, не глупость. Вот увидит такой Игнатюк, что он в кафе со мной, и пустит слух, что мы не в кафе, а в ресторане сидели и не кофе, а водку пили... Нет, у нас

этого делать нельзя, это тебе не Москва, здесь каждый шаг на виду...

— Все равно глупо... я бы с этим не считалась...

— Можно не считаться, а морда в крови все равно будет,— сказал дядя строго

Лида притихла.

Но в музее они поменялись ролями. Тут дядя держал себя робко, а Лида как рыба в воде плавала. Знала картины, знала художников, смело обо всем судила. Вкусы у них разошлись совершенно.

— Дядечка, миленький,— просила она,— ну не хвалите вы эту глупую жанровую картину, это же фотография...

— Ну и что? Смотри, как верно, ну как изображено, как живое...

— Вы отстали на сто лет, дядя...

А у него даже слезы умиления на глазах были — так ему нравилось.

Здание музея было прекрасное, с колоннами, с широкой мраморной лестницей, с лепными орнаментами на потолках и на стенах, с огромными каминами, над которыми на мраморных досках стояли вазы и старинные часы. А окна большие, с зеркальными стеклами.

— Ну, нравится?— Дядя так хотел, чтобы Лиде здесь понравилось.

— Конечно.

— А что больше всего?

— Вы, дядя...

— Не дури...

Но она не дурила. Она всегда отзывчива была на чужой восторг, ей так радостно было, что можно восторгаться вместе, а оттого, что музей был намного лучше и богаче, чем она рассчитывала, было еще радостнее. Дядя уже сказал ей, что музей новый, отделился от краевого благодаря энергии заведующей — молодая да настойчивая,— и вот когда развесили то, что хранилось в запасниках, все просто ахнули.

— Я прямо-таки ахнул, когда сюда пришел,— сказал дядя.— Такое богатство. А я патриот своего города...

— Вот уж не думала, что вы любите живопись,— призналась Лида.

— Люблю,— дядя чуть стеснялся своих слабостей.— Я все красивое, возвышенное люблю...

— А иконы вам не понравились,— упрекнула Лида.

— Я атеист, безбожник...— Дядя задумался.— Тебе оттого, может, нравится, что ты на своей шкуре не испытала, что такое поповский обман и хитрость....

— Но это же настоящее искусство...

— Я сам воевал с попами, делал антирелигиозные выступления, нет, мне себя не переломить...

— Неужели вы не понимаете, что это отсталый взгляд?

— Это вы теперь так считаете...— Дядя усмехнулся.— Диалектика.

Он все время поражал Лиду такими доводами и словами, каких она от него не ждала. Только наступала минута, когда ей казалось, что она все уже знает о его натуре, о характере, как он снова удивлял ее. «Ну почему ему нравятся плохие картины? Почему он с таким умилением смотрит на них? Почему не понимает, какое высокое искусство — эти иконы древнего письма?»

Она сказала грустно:

— Вы рассуждаете так, как будто никогда не было импрессионистов.

Он обезоружил ее ответом:

— А кто это — импрессионисты?

— Дядя!— воскликнула Лида возмущенно.

— Эти вот современные, которых ругают?

— Да что вы, импрессионизм возник больше ста лет назад...— И, чтобы не продолжать этот бесполезный разговор, она перешла в соседний зал. Дядя пошел за ней.

— А вот того художника я не знаю,— сказала Лида потрясенно.— Это прекрасно... Это очень хорошо...

Дядя весь просветлел, просиял, можно было подумать, что это он сам организовал и открыл этот музей, нарисовал картины, которые так понравились Лиде. Потеплели его рыжие глаза, по лицу расплылась улыбка, он поднял руку, поросшую золотистыми волосками.

— А ведь это наш, местный художник, наш земляк... Николай Иванович Фешин.

В зал вошли двое мужчин и женщина, они ходили от картины к картине и о чем-то деловито разговаривали,

а дядя, весь превратившись в слух, держался к ним поближе, чтобы слышать, о чем они говорят. Лида сделала независимый вид, но тоже слушала.

— Честь вам и любовь, Галина Аркадьевна. Это превосходно — сделать такую экспозицию на родине художника.

Женщина умоляюще сложила руки:

— Так помогите же нам собрать и вернуть его картины, которые рассеяны по всему нашему краю...

— Культурные запросы есть всюду...

— Если мы соберем хорошее собрание здесь, то к нам будут ездить специально смотреть и изучать художника. Культурное значение будет больше,— ответила женщина твердо.

А дядя — откуда у него только смелость взялась — вдруг сказал:

— Извините, вмешиваюсь в разговор. Но товарищ, — он кивнул на женщину, — права... Именно у нас, на родине, где каждый гордится своим земляком, должны быть картины...

— Простите, вы искусствовед? Преподаватель рисования?

— Я рабочий, — сказал дядя.

— О, и такой интерес к искусству?

Дядя чуть пококетничал:

— Разве у рабочего нет души? Каждый, у кого есть душа, любит и уважает искусство...

— Вы меня не поняли, я просто подумал, что вы специалист...

— Когда он уезжал, художник... — дядя как будто ждал этого момента, — когда он уезжал в Америку, потому что в Поволжье был голод, а он болел туберкулезом, то один мой знакомый провожал его на вокзал, помогал вынести вещи на подводу... — Он обратился к женщине: — Вы же знаете, с какой улицы, из какого дома он уезжал?

— Да, да, — сказала она с такой живостью, как будто это было вчера, а художник их личный друг, близкий им человек. — Там, в соседнем флигеле, жила Маша Евлампиева, его ученица. Маша закричала: «Николай Иванович, куда вы?» Он ответил: «В Америку. Не забывайте меня». Маша ответила: «Мы вас никогда не забудем...»

Женщина добавила:

— Он всегда хотел вернуться на родину, но не пришлось.... В этом и наша вина есть. Он писал, ему не ответили...

Мужчины пожали плечами, но ничего не сказали.

Дядя, ужасно гордый и довольный собой, не отходил от этой группы, пока они, вежливо попрощавшись, не ушли. И только потом вспомнил про Лиду. И рассказал ей все, что знал про художника. Ведь тот родился и жил в этом городе, «и даже нас в одной церкви крестили, представляешь, в Евдокиинской церкви, только он гораздо, понятно, старше меня». Учился тут, потом уехал в Петербург, в Академию художеств, за границей бывал, медаль получил. А работать приехал обратно сюда. Преподавал в художественной школе, женился на местной. Здоровья был с детства слабого, в двадцатых годах начался голод, он и уехал в Америку. Там его знали, чтити. Мой знакомый рассказывал, что у него, как у художника, был очень большой авторитет. Хотел вернуться, но туберкулез его мучил, связи оборвались, так и не вернулся...

— Но ведь другие возвращались...

— А это как у кого сложилась судьба. Один вернулся, и все его у нас уважают, другой не вернулся. И... забыли его. А он все равно русский, наш, и картины у него русские. И мы, земляки, гордимся им. Теперь хорошо, вот картины его вывесили в музее с почетом, целый зал, а выставка когда была, отовсюду тогда свезли, так это было грандиозное зрелище... Он и письма писал и рвался сюда, а не судьба была... Мне передавали,— дядя понизил голос,— тут его брат остался, так он такие письма брату писал, от всей души — мне родина дороже всего, художник не должен покидать своей родины... Ты уважай родину,— вдруг без всякого перехода сказал дядя.— Уважай родное, уважай свой корень, люби маму... Это я еще потому тебе говорю, деточка, что ты считаешь, талант — это все... Нет, деточка, не все. Еще надо, чтобы судьба сложилась, большое это дело, какая кому выпадет судьба. Но опускать крылья нельзя. Надо как-то судьбу брать в свои руки, Лидочка. Помни, что тебе говорит дядя. Дядя, можно сказать, жизнь прожил, он знает, что говорит...

Так бывает осенью, когда облетают листья. Похоже, что им не будет конца. Лежат на дорожке прекрасные листья клена, а дерево еще живет, колышет крону, пламенеет. Потом все резче дует ветер, и листья летят и летят, обнажая дрожащие от холода сучья. И вот листьев уже совсем мало, два-три...

Не бог весть какой оригинальный образ, но Лида не могла придумать другого. Как только стало ясно, что пора уезжать, дни полетели быстро. Ну пусть не как листья, покатились, как камешки с горы, все быстрее и быстрее.

Даже мама написала, что пора домой. И Димке Лида велела адресовать конвертики со штампом «солдатское» на домашний адрес.

Ничего, в общем, не изменилось, она уезжала такая же неустроенная, не зная, что будет делать завтра, но успокоенная: что-нибудь да будет делать, не пропадет... Не это сейчас главное, главное, что она стала... а какой же она стала: умнее, что ли? Опытнее? Глубже? Пожалуй, она стала глубже воспринимать жизнь, эту самую «ви», как говорят французы.

Удивительнее всего было то, что она не очень хотела уезжать, как будто приросла здесь и отрываться от этой почвы придется с кровью.

Ну, не странно ли? То дичилась, пряталась, плакала втихомолку.

Она совсем запуталась в противоречиях, очень хотела оказаться дома, пооткровенничать с мамой, перекинуться шуткой с ВеПе, повидать своих школьных товарищей — узнать, как говорится, кто, что и как. Ведь тогда она была так убита горем, так унижена, что не подходила к телефону, уклонялась от встреч. Ну как же, она, гордость и надежда класса, и не поступила...

Очерк или рассказ о дяде, с которым она собиралась зайти на факультет, она все еще не начала писать. Так только, обдумывала, подбиралась к теме. Не могла решить: сказать, что написала про своего дядю, или лучше промолчать. «Ах, вы написали про своего родственника?» — «Ну и что? Я горжусь, что это мой дядя». — «Все-таки неэтично». — «Позвольте, а кто чужой захочет таять на меня время, это ведь не для печати, просто так...»

Ох, обо всем этом она будет думать позже, сейчас главное — написать, написать так, чтобы в нее повери-

ли... Как только приедет домой, так и засядет за стол. А может, все же искать работу? Мама, конечно, скажет, что не нужен им ее заработок, и ВеПе будет великодушно предлагать свою помощь, но ей так этого не хочется... И думать сейчас об этом не хочется, жизнь покажет...

Эти два дня, что остались до отъезда, она будет просто жить, не терзая себя. Как пишут в газетах, «в заключение визита» она попытается вместо мамы обегать еще раз весь город, посмотреть на него мамиными глазами. представить себе, какими они были когда-то, мама, отец, тетя Надя, дядя. Мама тоже просила: «Посмотри на все моими глазами».

Она пошла туда, где была раньше художественная школа, пошла на ту улицу, которую назвал дядя тогда в музее. День был морозный, все искрилось и горело на солнце, и так удивительно было, что по этой улице, которая так необычно и неожиданно поворачивает под углом, мимо вот этих домов с резьбой, с витыми колонками, поддерживающими балконы, проехала когда-то телега с вещами художника. А они что же, сам художник, жена его, ребенок, — они что, тоже сели на эту телегу или шли рядом?

И еще дядя вспоминал, как этот художник написал большой портрет Маркса, портрет носили с собрания на собрание, с митинга на митинг, а однажды на площади, во время демонстрации, просто прибили к трибуне гвоздями, чтобы держался...

Она не догадалась спросить, как называлась площадь, да и площади перестроились, ведь не могло это новое, все из стекла здание консерватории существовать раньше! Просто ходила и воображала, припоминая кадры из революционных фильмов, как это было...

Она села в троллейбус и поехала посмотреть пристань и Волгу, обошла местные Черемушки, чтобы рассказать маме, какие они. Ходила по улицам, читала мемориальные доски на домах.

Остался только один день.

Тетя Надя поставила тесто, сказала, что пироги в дорогу — это принято у людей и нечего Лиде модничать и отказываться. Как у людей, так и она, тетя Надя, делает.

Петька совсем приуныл. Он шастал, как дикий кот, по комнате, обваливал груды книг, грохотал, вскакивал

и куда-то убегал, а то замирал и смотрел на Лиду не мигая. И глаза у него правда становились по-кошачьи узкими.

Лида уже уложила свои вещи в маленький чемоданчик, но часто открывала его, будто бы проверяя, не забыла ли чего, а на самом деле для того, чтобы развернуть и полюбоваться отрезом шерсти, который ей подарили на платье.

— Что вы, не надо,— твердила Лида, когда тетя дала ей подарок.— Но у нас, в Москве, такой не достанешь. Это ведь прелесть, просто прелесть!..

— У нас выбор есть,— говорила тетка.— Может, народ не такой денежный, как москвичи...

А дядя поправлял:

— Индустриальный город, вот и хорошее снабжение...

— У тебя все политика на уме,— сказала тетя Надя.

— А как же?

— Неужели не мог для родной племянницы расстаться, достать ей шапочку меховую. Я бы свою отдала, да как же я ношеную отдам...

Девочки пришли к ней за шкафом, торжественные, серьезные, как делегация. Лида насторожилась, подняла на них вопросительно глаза.

Галка сказала:

— Лид, а Лид, мы тут хотели сказать тебе кое-что...

— Ты только не обижайся,— это Таня сказала. А Надя-младшая решительно тряхнула головой:

— Лида, мы тебе вот что скажем, ты, Лида, учись, ты пиши, Лида. А если не хочешь от отчима помощь брать, так мы... мы же тебе сестры, у нас три зарплаты, мы тебе каждый месяц можем подкинуть, ладно, Лидок?..

— Что вы! — закричала Лида.— Зачем? Ни в коем случае...

— Это брось,— строго остановила ее Галка.— Ты нам дай клятву, если что — черкнешь... два слова...

— Или одно,— сказала Таня.— Просто телеграфируй — SOS.

— Спасибо, огромное вам спасибо,— растрогалась Лида.— Но мне пока не надо. Нам правда не надо, и мама не позволит.

— Ну, как знаешь, только ты свои рассказы пиши, не бросай...

— Мы в тебя верим...

— Девочки, я так рада, такое вам большое спасибо!..— Лида бросалась то к одной, то к другой.— Я рада, что мы подружились!

— Если я и распишусь с Виктором,— деловито уточнила Галка,— то ты все равно не сомневайся, он не мелочный, он не будет против... Но я тебе дам совет, Лида: ты эту манеру держаться около стариков оставь... Ты же тут месяц с нашим отцом и матерью просидела, как прижитая...

— Не отрывайся, Лида, от современников, одним словом.

— Я не отрываюсь...

— Держи нос кверху,— энергично сказала Надя-младшая и потрясла Лидину руку.— Мы еще будем гордиться тобой...

— Виктор тоже считает, что у тебя есть дар.— И Галка пожала Лиде руку.

— Неужели ты Виктору сказала, что это Лидка писала, а не ты? — удивилась Таня.

Галка вскинула голову:

— А что? Не буду же я обманывать, конечно, сказала...

За шкафом было тесно — они обнимались, и визжали, и шумели, и топали, пока не прибежала испуганная тетя Надя посмотреть, что тут происходит.

— Ну и хорошо, ну и славно,— умилялась она.— Ну и хорошо, что дружно. Не чужие ведь, сестры...

И велела всем им идти лепить пирожки, тесто уже подошло.

Лида лепила со всеми пирожки и вечером вышла со всеми к телевизору, но больше шепталась с дядей, чем смотрела.

— Дядь,— тихо спрашивала она,— но как вы поняли, что это настоящий художник, как же вы поняли?

Дядя пожал плечами:

— Не хочется мне от его картин уходить, вот и понял...

— Но он ведь совсем по-другому рисует, не так, как те...— она не стала объяснять, какие это «те»,— не гладко, не так, как на фотографии, рисует, а вам нравилось...

Она все хотела допытаться, но дядя твердил свое:

— Не знаю, не знаю... А отходить от его картин не хочу. Отойду, а они меня обратно зовут...

— Значит, когда по-настоящему хорошо, тогда и вам и мне нравится,— подвела итог Лида.

Последняя ночь прошла, последнее утро началось, день. А она все прощалась с городом. Когда явилась домой, там уже бушевала буря. Дядя считал, что надо скорее обедать и ехать на вокзал.

— Рано,— удивилась Лида.

— Он и в театр начинает с утра собираться. Умора,— смеялись девочки.

— Он на вокзал за час до отхода поезда является, сам за машинистом в депо бежит...

Дядя стоял на своем — пора. Оделись, вышли. Петька потащил чемодан и авоську, за ним бежала тетя Надя, боялась, чтоб Петька не растерял пирожки. Девочки в сапогах, в клетчатых чулках, в платочках поверх высоких причесок шагали рядом, держась под руку.

Лида шла с дядей.

— Где ж ты была? — спросил он.

— Хотела еще раз взглянуть на памятник. Вы правы, дядя, замечательный памятник...

— Не жалеешь ты меня,— сказал дядя.— Ведь мне волноваться нельзя. Ты в дороге аккуратней, на станциях не выходи. Хоть у нас и не воруют теперь в поездах, но за чемоданом присматривай.

— Хорошо, дядя...— Она сказала это мило, как милая, послушная девочка.

Сели в трамвай, поехали, приехали на вокзал, до отхода поезда было еще сорок минут. Девочки опять стали подшучивать над отцом, у Лиды тоже язычок чесался, но она смолчала.

Петька стоял мрачный.

Подали состав, поставили Лидин чемодан и авоську на место, тетя сказала проводнику заискивающе:

— Племянницу провожаем, так вы уж пожалуйста...

Проводник высокомерно ответил:

— У нас культурное обслуживание, фирменный поезд...

Все топтались около вагона растерянные.

Пришло время прощаться. Лида поцеловалась с девочками, с тетей Надей, повисла на шее у дяди.

— Матери привет передай, скажи, пусть приезжает,— наказывал дядя.

— И отчиму кланяйся,—добавила тетя Надя.— Петька, что ж ты не поцелуешь сестричку?

Петька вспыхнул; несмотря на то что фонарь на перроне горел тускло, видны стали его красные уши.

— Взрослый уже, кавалер, стесняется,—мягко заметил дядя.

Лида сделала шаг вперед и поцеловала Петьку в щеку.

Он задергался, заулыбался и, сунув ей что-то в руку, тоже поцеловал ее. Он как будто обжег ее своим поцелуем, словно горячий сургуч к щеке приштемпелевал. Она даже голову отдернула. Но Петька уже отвернулся, смотрел в сторону, на киоск, где продавали фруктовые воды, как будто чувствовал неодолимую потребность выпить чего-нибудь прохладительного.

На дядю больно было смотреть — так он был расстроен. Держал Лиду за руку, как женщина, вздыхал и кстати и некстати просил:

— Ты уж скажи сестре, скажи своей маме. Очень, мол, дядя по тебе скучает. И слушайся маму, не огорчай ее, не печаль...

Лида тоже расстроилась.

Стояла уже на площадке, все еще держа в руке комочек, что ей дал Петька, думала: конфета. А другой рукой махала на прощание родне. Слезы как туман застлали глаза. Она махала и махала. Поезд тронулся, потом пошел быстрее. Девочки побежали за поездом. Галка с Таней отстали, а Надя все еще бежала. Потом и Надя остановилась. И Лида видела только красное, полное отчаяния лицо Петьки.

Она вошла в вагон, плюхнулась на свою скамью. Оказалось, что в руке не конфета, а записка. Петька писал: «Если тебе нужна будет моя жизнь, то приди и возьми ее. Из сочинений А. П. Чехова».

«Ну вот,—подумала она,—ну вот...»

А соседка, полная старуха с седой короткой стрижкой, должно быть бывшая учительница или общественница, говорила ей:

— Какая у вас дружная семья, как мило! Это был ваш отец?

Лида смахнула слезы.

— Это мой дядя,—сказала Лида с гордостью.— Он изобретатель...

СТАРАЯ ТЕТРАДЬ В КЛЕТКУ



Телефонная трубка сказала, что это Тихонов, что я его, безусловно, не помню, но это именно тот летчик, который лежал, раненый, в госпитале в Т. Неужели я забыла те времена?.. А он в Москве проездом и вот позвонил, хотя бывал уже не раз после войны в столице и давно мог разыскать меня. Но вот не искал, а тут подвернулся случай, узнал телефон. Очень уж ему хочется кое о чем меня расспросить, просьба у него. И сколько теперь лет его тезке, маленькому Саше? Взрослый уже, да ну? Женатый? Ох, идет, идет время. В общем, если можно, он бы хотел повидаться...

Мы условились о часе, и тут же я кинулась к своим папкам с бумагами. И среди пожухлых тетрадок в клетку нашла одну с надписью: «Екатерина Великая, Тихонов, Дуся». И тут же все вспомнила.

Как будто это было вчера. Я представила себе военный госпиталь, Среднюю Азию, комнату старшей сестры, прозванной Екатериной Великой.

Величественная, седая, нудная в своей чопорности, так не идущей к искореженному войной быту, она настаивала, неодобрительно поднимая брови:

— Нет, нет, именно вы... Тихонов — очень целеустремленный больной, профессор любит таких... и профессор хочет...

— Но, Екатерина Александровна, мы можем прикрепить к нему кого-нибудь помоложе, повеселее...

— Вы плохой психолог, — с сердцем сказала старшая сестра. — Тихонов не переносит шума... он удручен... у него утрачен интерес к жизни...

— Так считает профессор?

Она остановила меня повелительным жестом.

— Так я считаю... а я работала в лучших клиниках Ленинграда, а не в школьном помещении, приспособленном под госпиталь... и где не приходилось самой тереть картофель для крахмала... простите, но я не могу войти в кабинет к профессору в мятом халате...

— Какое это теперь имеет значение? — не выдержала я.

— Милая, — с укором сказала Екатерина Александровна, — человек должен сам установить предел, ниже которого опускаться нельзя...

Когда на общем собрании сотрудников редакции и типографии решили, что женщины возьмут шефство над госпиталем, мне доверили организовать эту работу. Мы были полны планов и энтузиазма. Но комиссар госпиталя, худой, угрюмый, высокий человек с залысынами на лбу, несколько охладил мой пыл:

— Все это хорошо и прекрасно, все эти порывы. Но конкретно, что ваши женщины собираются делать?

— Как что? Будем помогать писать письма, читать вслух, ну, беседовать...

Комиссар поморщился:

— Это у нас школьницы делают... и хорошо делают. Читают с чувством, с выражением. А вот если бы санитаркам помочь, нянечкам, белье починить... конкретно, одним словом...

Здорово поразмыслив, я поняла, что комиссар прав. И работницам из типографии предложение помогать «конкретно» тоже очень понравилось.

«И верно, — говорили они. — Что зря-то языками чесать! Мы лучше трудом поможем — обштопаем, обстираем. Им небось не до наших лекций, да и какие мы лекторы! Нет, это уж пусть редакционные лекции читают...» И они охотно мыли полы в «своих» палатах, прибирались, вышивали салфетки на тумбочки, клали заплатки на белье, пришивали пуговицы и тесемки, следили, чтобы не завелись клопы. Даже ходили на базар за табаком для раненых, кому не хватало, или, наоборот, меняли табак на виноград, а иногда и на водку. Но это, конечно, тайно...

Что до меня, то я тоже предпочла бы помогать «трудом».

Всякий раз, собираясь в подшефную палату, я надеялась, что смело войду и скажу: «Здравствуйте, товарищи, а сводка сегодня неплохая» или: «А на улице почти весна». И сразу же завяжется беседа. Живая, непринужденная... Я нарочно отбирала интересные газеты и журналы, стихи о мужестве. Я готовилась к посещению, как к серьезной работе, да что-то выходило это у меня плохо. Начинала стесняться, терялась... И часто мне казалось, что всему виной раненый хмурый белокурый летчик, лежавший у окна. Он ни разу не улыбнулся, не отозвался на шутку, а иногда смотрел на меня с нескрываемым раздражением или отворачивался к стене, натягивал по-выше одеяло и делал вид, что спит...

Правда, и другие жаловались, что «Тихонов сумрачный» и, как говорила одна из работниц типографии, «чересчур гордый... другие раненые смеются или даже за руку хватают, если подойдешь поближе, а этот, ну его... ни здравствуй, ни прощай...».

И вдруг старшая сестра просит меня обратить на Тихонова особое внимание, взять над ним индивидуальное шефство. Надо было что-то придумать. Но что?

Впервые искорка интереса промелькнула в глазах у Тихонова, когда кто-то из раненых спросил у меня, где же теперь находятся прославленные летчики, первые Герои Советского Союза, летавшие на Северный полюс. Отвечая, я упомянула про Спирина, с семьей которого дружила, того самого Спирина, что был главным штурманом экспедиции на полюс, и сказала, что он теперь тоже в Средней Азии, недалеко, командует военной школой, готовит кадры.

— Интересно, откуда это вы можете знать Спирина? — спросил Тихонов с таким видом, будто хотел уличить меня во лжи. — Вы что... имеете отношение к авиации?

— Я работала в авиационном журнале...

Тихонов пытливо посмотрел на меня и больше ничего не сказал. Но что-то в наших отношениях переменялось.

Как-то, когда в госпитале показывали кино и больные, все, кто мог доковылять до зала, ушли из палаты, я сказала Тихонову:

— А почему вы не в кино? Говорят, хорошая картина...

Он пожал плечами:

— Неинтересно...

— Почему вы такой? — спросила я напрямик. — Так нельзя... Что с вами?

Он резко ответил:

— Вам-то какая разница? Не все ли вам равно...

— Нет, мне не все равно... совсем не все равно...

И тут я, волнуясь и сердясь, все выложила: что мне обидно то странное предубеждение, с каким он ко мне относится. А за что, собственно говоря? Что я сделала плохого? Вся палата дружит со мной, один он... А я, наоборот, испытываю к нему уважение, знаю, какого мужества требует его профессия, мне очень хочется расспросить его о войне, о боевых эпизодах. Ведь он первый летчик-фронтовик, с которым мне довелось встретиться...

— Вам это для газеты нужно?

Я не знала, как ответить.

— Скорее для себя, — неопределенно сказала я. — Чтобы понять...

— Тогда другое дело... Для газеты нужно что-нибудь героическое. А я... меня же сбили на третий день войны... — Он сразу потянулся за папиросой и, хотя ему неловко было зажигать спичку, нетерпеливо отвел мою руку, когда я попыталась помочь. — Я со Спириным не служил, — задумчиво сказал он, сделав несколько затяжек и тщательно загасив окурки, так как в палате курить строго запрещалось, — но я учился у человека, который Спирина хорошо знал... и вообще много слышал о нем.

Он как бы давал понять, что если и согласился признать меня, так только во имя Спирина.

В палату вошла старшая сестра, чуть ревниво взглянула на меня, на раскрасневшегося Тихонова и сказала своим скрипучим голосом, впрочем очень сердечно:

— Ну вот, больной, наконец-то... Беседа для вас очень и очень полезна... Что же все время молчать? — Она поправила салфетку на тумбочке, выдвинула ящик, подозрительно потянула носом, учуяв табачный запах, и, уже уходя, как будто ценным подарком наградила: — Профессор считает слово прекрасным терапевтическим средством.

Тихонов мучительно усмехнулся. «Терапевтическое» средство давалось ему с трудом.

...В рассказах Тихонова нет и не будет строгой последовательности. Да и не могло ее быть. Я приходила в госпиталь не так уж часто: не всегда были подходящие условия для разговора. И не всегда я знала, о чем спрашивать. Просто мне было его жаль. И хотелось помочь.

И все-таки я начинала понемногу понимать, каким был Тихонов до войны.

Доверчивый, старательный, веселый, почти что мальчик, честный в отношениях к людям, с душой, открытой для добра, вероятно немного простодушный... Он любил стихи, но легко мог обходиться без них, хотя знал наизусть множество стихотворений Некрасова, Шевченко и Лермонтова. Любил песни, и чувствительные, и трогательные, и военные. Очень любил жену. Хотел иметь сына. Не прочь был получить воинское звание постарше, но и в младших чинах не горевал. О будущем не очень-то задумывался.

Теперь это мрачный, ожесточенный человек, кривит в усмешке рот, часами смотрит в окно на проплывающие облака... Не слушает, как стонут в палате другие раненые, как они смеются, рассказывают анекдоты, бахвалятся, заигрывают с сестрами. Как будто какое-то кольцо — узкий круг — замкнулось вокруг его жизни, стиснуло его болью так сильно, что ничто уже не может проникнуть внутрь этого круга, этого кольца.

Я испытывала к Тихонову все большую симпатию.

...Так появилась тетрадь с множеством вложенных в нее отдельных бумажек, густо исписанных со всех сторон, помеченных 1942 и 1943 годами.

Теперь мне досадно, что я не придерживалась определенного замысла, а просто записывала урывками, записывала наши разговоры по памяти, иногда дома, а чаще в редакции, в ночные часы, если дежурила по номеру.

Хотя и нелегко было уходить на всю ночь и оставлять сына, но я очень любила дежурить в редакции, любила читать грязноватые от краски оттиски газетных полос. Любила слушать по радио и записывать сообщения Совинформбюро, которые тут же набирались и ставились в номер, после того как я по справочникам тщательно выверяла названия занятых или оставленных населенных пунктов. Тебе интересно было ходить ночью в типографию, перебегая в накинутах пальто через темный, сы-

рой, холодный двор, потом стоять у наборных касс и слушать, как тихонько, под нос, поругивается метранпаж, сдвинув на лоб очки с тоненькими дужками, обмотанными нитками, держа в почерневших руках верстатку и выбирая шрифт для заголовков.

Так вот, в такие ночи, уже под утро, выпадали свободные минуты, когда ждешь оттиски всего номера, чтобы подписать его в печать. И в это время обычно я приводила в порядок свои тетради.

Теперь-то мне видно, что кое-что записано до обидного кратко, кое-что чересчур подробно. Все сосредоточено на самом Тихонове, на его переживаниях, почти нет общей картины жизни полка. Но это не удивительно. Повторяю, я не рассматривала историю жизни Тихонова как литературный материал.

Так что, пожалуй, не стоит приводить все записи полностью, кое-что теперь, когда так много написано о войне, выглядит наивным и даже устарелым... А исправлять я ничего не хочу...

Первый мой вопрос покажется и вовсе банальным: как Тихонов узнал, что началась война?

Он ответил, что накануне был как раз день рождения его жены, что они с Марией надеялись отметить этот день торжественно, но не получилось: работали без выходных, так как поступила новая материальная часть, летчики изучали и осваивали новые машины. Тихонов и не надеялся попасть в ту субботу домой, даже послал жене поздравительную записку и несколько цветков, сорванных на лугу, но вдруг к вечеру их отпустили.

— Я прямо бегом побежал. Шлем нес в руках, приятно было, что обвевает ветерок. Где это было? В самой живописной местности. Там ведь долина, виноградники. Как раз рыхлили почву. Пели. Голоса доносились из-за кустов на холме, и с долины, как со дна зеленого озера, тоже звучали голоса. Песня такая красивая. Настроение у меня было самое отличное, только досадовал, что иду без подарка. Главное, обидно, что подарок присмотрел, выбрал, деньги потихоньку от Марии отложил, а съездить в райцентр не было возможности: работали как черти... Так что пришлось извиняться. Мы быстрехонько собрали угощение, вина в Молдавии много, гуся, оказалось, Ма-

рия на всякий случай приготовила. Стол накрыли на свежем воздухе, товарищи пришли...— Я не торопила Тихонова, не подгоняла, только иногда по привычке уточняла: «Как же это было? В сумерки? В саду? А на столе что?»

Вот и выяснилось, что стол стоял под старой грушей с низко свисавшими ветвями, что на шнуре висела электрическая лампочка, о стекло которой бились ночные бабочки, такие серенькие, как будто запыленные, ну да, похожие на путников в пыльных балахонах, и яркий свет вырывал из темноты зеленый кружок травы и большие бутылки красного вина.

Про гостей Тихонов сказал, что были все свои ребята с женами, один только Кутасов, хотя и старше их всех, неженатый, вдовец, жена умерла. Ребята, как пришли, стали требовать скорее гуся, голодные все были, а он уговаривал, чтоб подождали Кутасова, неудобно без него садиться за стол. Больше всех шумел Яшка Синицкий: «Я протестую. Из-за одного Кутасова целое звено молодых, красивых летчиков не допускается к еде и напиткам». Его поддержали: «Тем более гусь может пересохнуть в печке». А Яшкина жена прибавила: «И тем более, что Яшенька Кутасова не очень любит». Ну, а Яшка сказал, что он к нему безразличен. «А я,— как-то странно улыбнулся Тихонов,— я сказал Синицкому: «Ты его мало знаешь. Кутасов — замечательный человек... когда я у него учился в авиационном училище, это был... можно сказать, что это был мой идеал».

Так вставала передо мной нарядная, праздничная картина: раннее лето, накрытый стол, летчики, молодые женщины, их жены, шутки и остроты, споры, смех, обычный день, потрясающий именно своей обыденностью, удивительный только потому, что это был последний мирный день и никто из присутствующих этого не знал...

— Вы спрашиваете, что за человек Кутасов? — говорил Тихонов в один из вечеров. — Я знал его еще в авиационном училище. Правда, я был тогда совсем мальчишкой, курсантом, а он — инструктором. Я ему поклонялся. Почему? Как это почему? Да ведь он замечательно летал, это главное. И он был справедливый. Да что говорить, мы все из кожи лезли, чтобы завоевать не то что расположение, а улыбку, взгляд Кутасова.

Но он не был добреньким. Он был, как бы это сказать... личностью. Самим собой. А характер у него неуживчивый. И командование его не очень любило. Не любили некоторые смелый стиль его преподавания, его резкость. Он был гордый. Ни к кому не подлаживался.

А тут случилась беда: у Кутасова жена утонула. Когда ее похоронили, я всю ночь просидел под его окнами, не хотелось мне, чтоб он был один. Хотя он и не знал, что я там сижу, на лавочке... Окно было открыто, и я слышал, как он ходит по комнате, чиркает спичками. Огонек от папиросы все время метался в темноте...

А назавтра он пришел на аэродром, приказал вывести из ангара машину и взлетел. И хотя самолет был учебный, ничтожный, видели бы вы, какой класс пилотажа он показал... Прямо со смертью играл. Мы, курсанты, смотрели, конечно, на это с восхищением. Но тут прибежал командир эскадрильи, прибежал начальник школы, врач прибежал... Нас немедленно построили и увели с поля. Все-таки мы успели увидеть, как Кутасов посадил машину, вылез, усталый и вроде успокоенный, постоял немного, безразлично посмотрел на всех и ушел, как ходил всегда, легко и быстро. Он замечательно красиво ходил, как пантера по клетке ходит, многие старались перенять у него эту стремительную походку.

Ну, а через несколько дней стало известно, что его от нас переводят. По отрядам провели собрания. Фамилии не называли, просто говорили о вреде лихачества, о жесткой дисциплине. Но курсанты все равно считали Кутасова «богом».

Да, я и тогда преклонялся перед Кутасовым и позже, когда мы встретились в этой части,—повторил Тихонов. В его тоне звучала горечь.—Я считал его богом своего дела и жене внушал. Она поверила, что это «бог»...

— А оказался черт? — шутливо спросила я. И сразу же испугалась: так Тихонова передернуло.

Когда теперь, много лет спустя, мне попались на глаза эти записи, я долго не могла понять, почему мы с Тихоновым так подробно останавливались на описании дня рождения его жены, то есть на последнем дне перед войной. Что мне там было непонятно? Неясно? Я нашла еще одну запись про этот день рождения, но почему-то

уже не веселую, а полную чего-то смутного, недоговоренного, даже печального.

— ...Нет, почему вы думаете, что не было веселья? Веселье было. Но, вы угадали, и неловкость была. Когда пришел Кутасов, Яшка уже был злой, сердился, что пришлось его ждать. Ну, не сердился, конечно, а дулся.

Очень уж он был самолюбивый... Сдержанность Кутасова он принимал за сухость, за проявление гордыни, считал, что Кутасов чванится. Конечно, существовала громадная дистанция между нами. Кутасов был старше, его знали в авиационных кругах, на таких верхах, какие нам даже и не снились. Он разговаривал на «ты», дружил с людьми, которые были на виду у всей страны, и дружил не потому, что лез к ним в приятели, просто они понимали, какого он класса летчик. Если бы не его характер, о, он и сам был бы на большой высоте. Мы все это отлично знали, а Синицкого раздражало, что и Кутасов это знает и, как ему казалось, любит свою позу, позу человека, которого не интересуют ни слава, ни звания, ни награды. С Синицким мы чуть ли не в один день приехали в часть и отлично ладили, он был превосходный парень. А о своем отношении к Кутасову я уже говорил. Так что, сами понимаете, мне, как хозяину дома, приходилось нелегко...

Потом зашел спор... Я пожаловался на невезение: «В тридцать девятом на формировании два месяца просидел, так освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии и закончилось. В сороковом, в финскую, то же самое, нашу часть не ввели...» Кутасов сказал, что еще, мол, увижу войну, успею... «Ну, уж теперь вряд ли...» — «Как это вряд ли? Ты что же, веришь в вечный мир?» Тут одна из женщин простодушно спросила: «А с кем же сейчас воевать? С Германией у нас договор...» — «Разве договор — это гарантия?» — сказал Кутасов. А ему ответили шуткой: «Надо будет воевать, получим приказ. Наше, мол, дело выполнять, пусть думает командование, пусть у него голова болит...»

Синицкий бы ввязался немедленно в драку, это был его конек, что нас недостаточно приучают к самостоятельному мышлению, но он промолчал, не хотел быть в споре заодно с Кутасовым. Тут заговорили о загранице. Где какая техника, какие товары. Мол, мы только на индустриализацию упираем, а у них ширпотреб умопо-

мрачительный. Это к тому, что жена Синицкого глаз не сводила с флакона заграничных духов, который Кутасов преподнес Марии. И правда, такой квадратный желтый флакон, я и не видал таких... Ну, ребята сказали, что надо отдать справедливость, продукция за границей хорошая... умеют...

— Что умеют? Пудреницы умеют делать?— вскипел Синицкий.— Плевал я на эти пудреницы...

— Яшенька, но ведь пудреницы людям тоже нужны...— серьезно сказала Ирина.

Под взглядом жены Синицкий всегда добрел. Очень уж она была хорошенькая. Ломаная, но хорошенькая, этого отнять нельзя. Яшка с ней познакомился в Сочи, отогнал от нее всех поклонников, влюбил в себя и женился. В гарнизоне у нас ей было, понятно, скучновато: керосинки, ведра с водой и прочая чепуха. Особенно зимой, на зимних квартирах. Но Яшке она была предана, что правда, то правда.

Яшка засмеялся.

— Если прислушаться к такой философии, то выпускать надо не станки и не машины, а шелк и чулки... красивые пудреницы...

А Кутасов высказался в том смысле, что станки и машины, конечно, главное, но хорошо бы и красивые пудреницы иметь, и не только пудреницы... Надо знать, что и как делают в других странах... Взять хотя бы технику: много ли мы знаем о немецкой, скажем, авиации?

— Ни черта не знаем,— согласился я.— Я вот выпиываю журнал, так редко-редко промелькнет какая-нибудь интересная информация...

Сбоку приписано моей рукой: «Это верно. Когда я работала в «Гражданской авиации», мы очень скупно давали информацию о зарубежной технике. Считали, что не к чему ее «рекламировать».

Тут, видно, я опять стала просить Тихонова рассказывать подробнее.

— Рассказывать подробнее? Да я уж и не помню, что еще было, какие еще подробности. Гуся съели, подали миску с варениками, залитыми сметаной. Сметана вся розовая была от вишневого сока, нужна вам такая подробность? Конечно, я ухаживал за гостями, угощал, подливал вина...

— А жена?
— Что жена?
— Ну, вы ничего о ней не рассказываете.
— Она всегда была молчаливая, а в тот день...
— Может, обиделась, что вы ничего ей не подарили?
— Нет, подарок тут был ни при чем...— И повторил:— Ни при чем...

Я заинтересовалась:

— А Кутасов?

— Ну, он, как обычно, сдержанный, я ведь вам говорил про это... А тут еще Ирина Синицкая позволила себе бестактность. Уставилась на Кутасова, а глаза у нее большие, дерзкие, и прямо спросила, правда ли, мол, что будто он дал слово быть верным памяти покойной жены и никого другого не любить?

— Никто у меня такого слова не брал,— сухо отрезал Кутасов.

— И не скучно жить одному?

Он не ответил. Вроде как не услышал.

Но, конечно, наступило замешательство. Веселье вдруг упало, разговор стал вялым. Там у нас рос душистый табак, очень хорошо пахло и очень красиво белело в темноте. Все вылезли из-за стола, разбрелись, разошлись по саду, то уходили, то возвращались, присоединялись к нам с Яшкой, к нашему разговору. Нас тогда волновала техника. Интересно, когда начнут отгонять старые машины и какими окажутся в воздухе новые? Другой потолок, другие скорости, другая маневренность.

Теперь уже все, кажется, рассказал об этом дне. Не было больше ничего особенного, не помню я... Вот, правда, еще один спор был. Лёня Кириллов, он был очень хороший летчик, уравновешенный такой, выдержанный. Мы его всегда в партбюро выбирали. Так он вдруг говорит: да, мол, забыл вам замечательный факт сообщить... И так многозначительно палец кверху поднял:

— Туренков прислал телеграмму. Вот черт!.. Желает товарищам успехов в освоении материальной части... Молодчага, не отрывается от коллектива, хотя и в отпуску... Надо будет эту телеграммку передать в редколлегия для опубликования...

Синицкий сразу же, как у нас говорят, «завелся с пол-оборота»:

— Так-таки прямо и в редколлегню? А при чем тут стенгазета? Он ведь, кажется, и в прошлом году присылал такое послание?

— Ну и что?

— А то, что не поумнел он за этот год ни на вот столечко, был дураком и остался...

— Ну и что?— упрямо повторил Кириллов.— Человек обращается к коллективу, значит, надо опубликовать...

— Да для чего, ты мне скажи? Меня, что ли, ты этой телеграммой воспитывать хочешь? Думаешь, я лучше материальную часть освою с помощью этой телеграммы?

— А чем она тебе помешает?— опять спокойно спросил Кириллов. Он, в противоположность Синицкому, любил порядок, любил чисто переписанные протоколы, когда вел собрание, аккуратно составлял план мероприятий партийной работы и учебы и вообще был «службист», как его называл Яшка. Я уже знал, что будет за разговор, знал, что, дразня Леонида, Яшка договорится до того, что станет вообще отрицать все стенгазеты, общие собрания, а Кириллов, не возмущаясь, а только огорчаясь, будет внушать ему, что все это необходимо, полезно и должно быть.

— Туренков все-таки симпатичный,— сказала Тапя, жена Кириллова.— Вежливый. Нельзя так строго, ребята. Он одинокий, ему и написать некому.

— А пусть заведет друзей,— горячился Синицкий.— Пусть имеет врагов! А то со всеми одинаков, со всеми хорош. А кое-кому лестно!

Кириллов обиженно засопел.

— Ну, ты всех ругаешь. То Туренкова, то вот Кутасова...

— Ты их не вали в одну кучу.— Синицкий перешел на свистящий шепот.— Кутасов — это не Туренков. Один полет Кутасова мне дает больше, чем три телеграммы твоего Туренкова...

Я старался его успокоить:

— Ну что ты горячишься, что горячишься?.. Я, правда, такой телеграммы не послал бы, ну, кто я такой, чтобы телеграммы с дороги слать? Но что здесь плохого?

— Вот именно, что плохого?— Кириллов даже обрадовался такому простому доводу.

— Мелко это,— стоял на своем Синицкий.— И формально... То-то и беда, что все мы стрижемся под одну гребенку, под средний уровень, под средние чувства. У нас пока не вынесут постановление, до тех пор ничего не меняется. Больше самостоятельности надо.— Он не замечал, что повторяет Кутасова.— Больше страстей, больше прямоты...

— Демагогия!— Кириллов уже заикался от возмущения.— Вредная болтовня и демагогия. Удивляюсь, как это член партии...

— А я против линии партии говорю, что ли? Я как человек говорю, как военный. Мне в бою некогда будет к Туренкову за советом обращаться, я сам буду драться до победы. И думать буду сам! Финская война доказала, что командир должен уметь думать, воевать. А мы нет да нет смотрим, кто у человека дедушка, кто бабушка, а вот есть ли у него мозги, есть ли душа — на это мало обращаем внимания...

· Я вмешался категорически:

— Ребята, я тут все-таки хозяин дома... Выражаю свое недовольство. Приказываю лечь на другой курс, угол — сто восемьдесят градусов...

Запись на отдельном листке

— Ну, а Мария?

— Она оставалась в саду, и Кутасов там был,

— Интересно, о чем они говорили?

Тихонов ответил резко:

— Не знаю, я не подслушивал..

— ...Когда я проводил гостей, стало светать. Я побродил по лугу, по мокрой траве. Не хотелось заходить в дом. В саду еще горел свет, никто не погасил, но уже занимался восход, и вся моя праздничная иллюминация выглядела тусклой и неуместной. Я присел к столу, налил себе вина. Тут, смотрю, бежит дежурный с аэродрома, кричит еще от калитки: «Тревога! На аэродром! Война!»

Я сразу побежал. Из домов выскакивали летчики, радисты, механики. Женщина какая-то громко плакала.

Я и не оглянулся и не посмотрел кто. Где уж... Я не знал, не спрашивал даже, с кем война.— Тихонов поднял на меня глаза.— Вот так все закрутилось...

Я только удивленно спросила:

— А жена? Разве вы с ней не простились?

Он ответил как-то странно:

— Нет, не успел...

— А связь была?

— Связь-то была, но толком никто ничего не знал. Чувствовалось только, что противник где-то близко.

— Что же вы делали?

— Как что? Ждали приказа.

— А о чем говорили?

— Говорили-то, в общем, мало: Синицкий сказал что-то вроде того, что в детстве, бывало, поссоришься с мальчишкой, чувствуешь, пора начинать драку. Руки чешутся. А все прыгаешь, как петух, ждешь, вот-вот он замахнется, и тогда уж схватишься... Ну и я отозвался, что, верно, вот эта последняя минута ожидания самая противная... А Кутасов поднял голову и спросил, почему мы не спим. «Не спится».—«Надо беречь силы».—«Ну, сил у нас хватит»,—отозвался Синицкий. Он считал, что война продлится недолго, что подтянутся на подмогу пограничникам полевые части... А Кутасов, тот сказал, что война будет долгая и трудная. И Яшка крикнул что-то, вроде, мол, вот повоюем и узнаем, и выразительно посмотрел на меня, как бы хотел сказать: что ж это твой «бог» впал в уныние...

— И вы стали его защищать?

На это Тихонов не ответил, сказал задумчиво:

— У Марии, жены моей, на столике около зеркала стоял тяжелый, тусклый индийский божок — будда, что ли!— с толстым животом, с улыбкой до ушей, очень важный. Она купила его на базаре у женщины, которая уверяла, что статуэтка вывезена из Индии и приносит счастье. Мы хоть и подшучивали над божком, а все-таки относились к статуэтке с бережностью. Потом соседская кошка прыгнула на столик, столкнула божка, и он разбился на мелкие кусочки...

— Почему вы про это вспомнили?

— Сам не знаю, так просто...— Он пожал плечами.—

Все кажется, что проснусь, встану, а вокруг наша комната, наши стены, вещи... — Он махнул рукой. — В общем, мы тогда лежали и ждали. И молчали. И не знали, где наши семьи... И Синицкий сказал, что, мол, подумать только, ведь вчера мы преспокойно пили вино. И у него вырвалось: «Все-таки не могу понять, как это все внезапно случилось...» Я тоже думал о том же, но мысли эти были так мучительны, так перемешались и сбились в один плотный ком, что слова застревали в горле, я не мог говорить. Да и не знал, что отвечать. Обрадовался, когда позвали на вылет. Все-таки не сидеть, не мучиться, а действовать...

— Какое же было задание?

— Мы должны были сопровождать бомбардировочный полк. Им приказано было разбомбить переправу через реку. А мы прикрывали...

— По ночам над нами летал разведчик, — противник, видимо, имел сведения о нашем аэродроме. А новые истребители мы еще не успели подготовить как следует. Летчики сидели на траве, чертыхались, яростно курили.

«Разве это современная машина? — чуть не плакал Синицкий, кляня свой старый истребитель. — Сашка, я на своем сердце летаю, даю слово...»

И в бою мы старались держаться поближе друг к другу. И в короткие минуты передышки сидели рядом.

Радио приносило неутешительные вести. Страшная громада перла через границу на грузовиках, на мотоциклах, на танках. В небе пока что преимущество вражеской авиации было очевидным. Нет, силы пока были неравны. Оставалось одно — яросто драться, как можно больше истреблять вражеских самолетов.

Когда я сказала Тихонову, что в моих записях многого не хватает, он удивился:

— Вы записываете? Зачем? — Потом просмотрел тетрадку и задумался. — В общем, конечно, записано правильно, но в бою... Там не столько думаешь, сколько всем телом чувствуешь, там секунда вечностью кажется... Словами это не передать... И вот цветок, вряд ли из кабины

его заметишь, а вы написали, что, взлетая, я видел цветок... Это переально.

— А мне казалось, что был цветок,— смутилась я.— Я так живо себе это представила: серая предутренняя мгла и красный, как маленький маяк, цветок...

— Ну что ж.— Он как будто пожалел меня.— Пусть будет цветок, с цветком даже приятнее...

— Думал ли я о смерти?— почему-то шептал он, отвернувшись от меня.— Не знаю. О жизни я не думал, но жить хотел, очень хотел. Может, потому и спасся, что очень хотел жить...

Рассказать? Ну, хорошо, я расскажу.

Немцы очень уж наседали в тот день. Бомбардировщики волнами шли. Истребители хитрили, старались оттянуть наших летчиков, отвести... Но мы разгадали этот маневр. В разгар боя я увидел, как повалилась набок машина Синицкого, она то выравнивалась, то снова падала. А прямо на меня шел «мессершмитт». Злой я был прямо-таки до бешенства, решил, что ни за что не сверну. Мы сближались лоб в лоб! Мгновение — и все... И что же? Немец не выдержал, отвалил в сторону. Тут я нажал на гашетку, и он задымил, повалил вниз...

— Отомстили за Синицкого,— сказала я.

— За Яшку надо сотню таких. Он был такой парень, такой парень...— Тихонов не стал подыскивать слово, не хотел подыскивать. Продолжал:— Я остался один против четверых. Они разлетелись по парам. Я сделал боевой разворот, приготовился. Злость не утихала. И тут в мотор попала пуля. Мотор зачихал, потянул было через секунду и совсем заглух. А «мессершмитты» не отстают, идут по два, справа и слева, как стража...

Тут стало мне, понятно, жарко. И вдруг надвинулся «фонарь», которым закрывается кабина, заклинил, что ли... Я дернул ручку — не помогает. Представляете? Попал в ловушку. Смерть прямо совсем рядом со мной. Я попытался выровнять машину, стал выжимать буквально каждый метр. Меня поливали пулями, пробили бак, взметнулось пламя.

Надо прыгать. Но как прыгать, если я в западне? Как поднять самолет повыше? Каким образом? Мотор не работает, самолет в огне. Я уже чувствовал жар пламени.

Но продолжал бороться: если уж погибнуть, то все-таки не в темноте, не под колпаком, хоть землю увидеть в последний раз!

И поставил машину почти вертикально. На мое счастье «фонарь» упал. Но ветром раздуло огонь, сильнее забушевало пламя. Выбрасываться надо было немедленно. Я подобрал ноги, ударил по ручке управления. Самолет повалился, меня сорвало с сиденья. Парашют раскрылся. Вижу землю, речушку, балку. А пули так и пошвистывают...

Я упал на траву, отстегнул парашют и пополз в виноградник. Сунулся в карман за папиросами, папиросы в крови. Глянул на руки, руки тоже в крови, но живые, теплые...

Когда самолеты улетели, вы не поверите, стало слышно, как гудят шмели. Они вились над моим лицом, тяжелые, пьяные от сытости, от жары. Трава уже была скошена, подвинулась на солнце и прекрасно пахла. И листва надо мной колыхалась, узорчатая, и гроздьи... Но как бы это выразить? В моей душе все молчало.

А думы в те минуты были у меня особенно тяжелые. Я не мог примириться с тем, что фашисты бьют нас количеством и качеством своей техники, не мог примириться с тем, что их пехота топчет нашу землю и вклинилась глубоко вперед, так что мы воюем как бы не лицом к лицу, а позади линии фронта. Я не мог простить, что женщины наши и дети остались без помощи, брошенные нами — мужьями и отцами. Я не мог забыть, что Яшка уже сбит, погиб, и что самого меня спасло скорее чудо, и я валяюсь здесь, в винограднике, потеряв свой самолет. А это, может, самая тяжелая минута в жизни летчика — потерять самолет. Но я ведь не себя спасал, поймите, не свою шкуру. Я хотел воевать. Я любил землю, на которой лежал. И любил свою жизнь, какой она была еще недавно...

Мои опаленные щеки зудели, во рту горело от жажды... Я сорвал кисть неспелого винограда и стал сосать ягоды. Растрескавшимися губами ловил я кислый сок. Подняться, сесть не было сил. Я вспомнил, какими некрасивыми казались мне ранней весной эти лозы — коричневые, сухие, как будто мертвые. Неужели это те корневища поят меня сейчас живительной влагой, овевают листвою? Мне в ту минуту казалось, что мое сердце всегда

останется мертвым, гнев и ярость всегда будут сушить и испепелять его...

— А жена?

— Когда я добрался до своего аэродрома, то ко мне бросилась Мария. Я был весь в пыли, в ссадинах, в запекшейся крови, усталый, даже не сразу поверил, что это она, думал: чудится. Только спросил: «Ты не уехала? Надо тебе уезжать. Поскорее уезжать». Свалился и заснул. Во сне чувствовал, что держу ее за руку. Потом мне показалось, что она выдернула руку, я проснулся. Была уже ночь. Над аэродромом стоял гул. Я не сразу понял, где я.

Потом кто-то рядом со мной сказал: «Гости пожаловали». Над полем показалась черная тень, ну, я сразу же определил высоту, тип самолета. А на земле ни звука, ни движения, лишь ветер шелестел в ветках, кинутых для маскировки на плоскости, да в долине беспечно щелкали соловьи.

От самолета отделилась светящаяся точка, на парашюте медленно спустилась ракета, осветила поле, людей. Самолет опустился совсем низко и прошелся короткой очередью. Все кинулись кто куда.

Не знаю, что на меня напало, может, обессилел от потери крови, но я как ошалел. Не мог я после того, что было со мной вчера, не мог бежать, не мог убегать, как заяц, перед сволочью, что летала там, наверху. Встал, пошатываясь, выпрямился во весь рост, стал выкрикивать угрозы и ругательства. Тут кто-то с силой обхватил меня двумя руками, повалил. Смотрю: Кутасов. Кричу, как бешеный: «Не буду кланяться врагу. Не буду!» Вырываюсь, пытаюсь встать. Но Кутасов сказал строго: «Без истерики, Саша, лежи!»

А у меня в горле клокочет, собой не владею, так и вцепился в землю. Кровь просочилась сквозь повязки, чувствую — течет по щеке.

Немыслимо было сознавать, что они безнаказанно бомбят аэродром. Летчики, у кого еще были машины, находились в полете. А у ракет этих такой яркий, безжизненный свет, с ума сводит... В кустах стонет техник, ранило его... Думаю, кажется мне или не кажется, вроде заводят мотор. И верно, по самому краю взлетной площадки, как в узком коридоре, ползет, стараясь взлететь,

истребитель. Машина оторвалась от земли у самого края огромной воронки. Кто же это взлетел?

Наступило затишье. Бомбардировщик, видно, израсходовал свои запасы и ушел за бомбами. И тут заговорили о том, что Кутасов взлетел. Взлетел ночью, на новой машине...

Не выдержал... Не стерпел...

Мало было надежды, что он вернется.

А тут снова раздался гул. Бомбардировщик вывалился из облаков, на него ринулся истребитель Кутасова. И сбил. И взрыв ухнул где-то далеко, в поле. Когда Кутасов пошел на посадку, все кинулись к нему. И я поковылял. Колеса коснулись земли. Замолчал мотор. Небо посветлело, и внезапно, как всегда бывает летом, начался рассвет. Кутасов вышел из кабины и стоит, — жадно дышит. Товарищи жмут ему руку, обнимают... Только я...

— Что вы? — не поняла я.

Тихонов посмотрел на меня исподлобья.

— Меня как раз заметил командир части, спросил: «Ну как, можешь держаться на ногах? Тогда поедешь в тыл за новой материальной частью. Немедленно иди в штаб за предписанием».

Как-то я пришла в госпиталь днем, у меня был отгул, всюду было полно: и в палате и в коридоре, — так что мы пошли с Тихоновым в красный уголок, бывшую пионерскую комнату, где застали моего московского знакомого, художника Михаила Александровича Нусинова, — он подписывал свои работы — Ман, — рыжеволосого, насмешливого, худого человека в очках, похожего на англичанина. Он что-то рисовал на большом куске оберточной бумаги.

Я спросила, не помешаем ли мы, и Ман, не без подтрунивания над самим собой, ответил, что его занятия не требуют большого вдохновения, разговаривайте, пожалуйста...

Пока мы беседовали с Тихоновым, Ман и не смотрел на нас, погруженный в работу. Потом вошел комиссар со стопкой газет, стал раскладывать их на столе, крытом красным ветхим кумачом, прислушался к тому, о чем мы говорили, и посоветовал Тихонову:

— Новую технику давай тодько в общих чертах, понятно?

Тихонов удивился. Даже обиделся за меня: тут все свои... Это же из редакции, корреспондент...

— Свои не свои,— довольно сухо заметил комиссар,— а время военное.— И отвернулся от нас к художнику. Из-под гимнастерки, нескладно лежавшей на сутулой спине, выпирали лопатки.— Скупое даешь,— недовольно сказал он Ману, вглядываясь в его работу.— Очень скупое. Не зажигает.

Ман покраснел, засуетился и стал тихо и поспешно объяснять, что он намерен сделать еще орнамент, можно даже в восточном стиле, но комиссар недовольно щелкнул языком.

— Орнамент само собой, но надо политическое что-то дать... Злобы мало, не пробуждает ненависти к врагу. А мы всю наглядную агитацию должны нацеливать на это.

— Я постараюсь,— буркнул Ман. Его лицо и шея в веснушках запылали.

— Ну, старайся, старайся,— с некоторым сомнением сказал комиссар.— Старайся. Все-таки мы для тебя от раненых отрываем обед, это надо учитывать...

И комиссар ушел.

Ман нервно хохотнул.

Мне стало неловко. И Тихонов тоже смутился.

Когда Ман эвакуировался из Москвы, то стал захаживать к нам в редакцию, приносил какие-то карикатуры, где был нарисован хищный и жалкий Гитлер, попавший в клетку, но мы карикатуры печатали редко, а если и печатали, то гонорар платили крошечный... Ни редактору нашему, ни ответственному секретарю рисунки Мана не нравились. Так что мы, сотрудники, были очень довольны, когда художник устроился на работу в госпиталь.

Я мало раньше знала Мана. И очень его стеснялась, так как слышала, что он человек умный, язвительный и крайне насмешливый. Он был старым, заядлым холостяком, как про него рассказывали, эгоистом и сибаритом. До войны выходило много разных сборников и альманахов, он иллюстрировал их по договорам, зарабатывал сразу на несколько месяцев жизни и эти месяцы проводил у себя дома, читал, рисовал, валялся на диване. У него был брат, знаменитый скрипач, и благодаря брату он был вхож во многие дома Москвы, в клубы художнической интеллигенции, где его все знали. И хотя брат умер,

знаменитые люди по старой привычке оставались с Маном накоротке и звали его по имени — Мишей.

И вот, когда наша «Гражданская авиация» подготовила сборник, посвященный гражданским летчикам, Ман приглашали его оформить. Тогда мы и познакомились.

Он был молчалив, скуп на слова, скептически, хотя и не зло, улыбался. И весь маленький коллектив «Гражданской авиации» как бы стеснялся, что Ману приходится снисходить до такой скучной работы, как подбор иллюстративного материала, и сотрудники относились к художнику подчеркнуто почтительно.

И когда он появился в войну в Т., в нашей газете, я тоже поторопилась всем внушить, что к нему надо относиться с уважением.

В войну, в эвакуации, люди вообще радовались знакомым. И я не удивилась, что Ман мне почти обрадовался. Он даже зашел раз или два к нам в гости домой. Старухи мои приняли его благосклонно, он был учтив.

Тогда у нас еще были какие-то запасы продуктов, сахар, кофе, и мы приняли его по тем временам пристойно. Я немножко волновалась, что у нас совсем плохая посуда и длинный садовый стол на перекрещивающихся ножках, без скатерти.

Разговаривать с Маном было интересно. Он много и многих знал, остро и неожиданно судил об искусстве, кое-что, о чем он говорил, казалось мне в ту пору откровением. Тем более что страх мой перед ним пропал, ни язвительности, ни насмешливости я не замечала. Так славно было вспоминать довоенную московскую жизнь, знакомых нам обоим людей, московские редакции. Ман знал моего мужа, уважал его, и это было мне очень приятно.

А когда он с такой неожиданной на его сухом лице неловкой усмешкой похвалил мои рассказы, я и вовсе была тронута. Вот уж не думала, что они могут ему понравиться: простые рассказы про простых людей. Мне казалось, что они совсем не в его вкусе.

Но больше в гости я его не звала: нечем было угощать...

Когда я уходила в этот день из госпиталя, Ман пошел со мной. Настроение у него было прескверное, но он старался этого не показать, бодрился, посмеивался над ко-

миссаром и его художественными идеалами и неожиданно очень заинтересовался Тихоновым.

— Симпатичный парень этот летчик, — сказал он. И спросил: — А он что, умен? Умеет мыслить? Да? Такое красивое лицо, типичное для плаката...

На перекрестке, где мы должны были расстаться, он все порывался мне что-то сказать, но, видимо, стеснялся, потом все-таки сказал резко:

— Слушайте, нет ли у вас пары мужского белья? Я совсем оборвался.

Я на мгновение представила себе, что подумали бы мои старухи, если бы я понесла из дому мужское белье, и, обрадованная тем, что не лгу, сконфуженная и растерянная, сказала:

— Мужского белья мы с собой не брали.

— Жаль...

Он перешагнул через арку своими длинными ногами. И пошел по мостовой не оглядываясь. А я поплелась своей дорогой, успокаивая себя тем, что у него здесь много знакомых и без меня кто-нибудь выручит...

Тихонов тоже очень заинтересовался Маном. Как, такой человек, художник из Москвы, и малюет афишки? «Конечно, картины теперь не очень нужны, — рассуждал он. — Ни красок, ни холста, ни мастерской. Но все-таки...»

Несколько раз, когда я приходила, Тихонов говорил, что Ман был у него в палате, беседовал, даже разок они сыграли в шахматы. «У такого можно кое-чему научиться, — сказал он. — Разбирается в теории. И вообще интеллигент. Только... только он какой-то чудак...»

Потом случилось, что мы разговаривали втроем. Меня даже удивляло, с каким интересом вглядывался Ман в Тихонова, вслушивался в каждое его слово. Вообще что-то с ним происходило, с художником. Он заметно изменился, стал менее замкнутым, менее отчужденным. И не потому, так мне казалось, что обстоятельства вынуждают его держаться проще. Нет. На то были другие, более весомые, более глубокие причины. Что-то по-детски милое, беспомощное и взволнованное мелькало в глазах у Мана, когда он, протирая очки, смотрел на Тихонова и слушал, как тот рассказывал, что вовсе не безразлично, с кем в паре летаешь, что есть летчики, на которых можно положиться, как на самого себя, и вообще у летчиков есть правило неписаное: сам погибай, но товарища выручай.

Ман неожиданно спросил у меня:

— А вы? Вы делали кому-нибудь добро в жизни?

— Вероятно, делала. — Я несколько растерялась.

— А я, должно быть, никому никогда не делал добра. Я даже не задумывался об этом, и теперь я самый одинокий человек...

— Но как же так? — стал подсказывать Тихонов. — У вас были ученики, товарищи...

— Приятели, не товарищи, видите ли... — Ман опять протер очки. — Я предпочитал не связывать себя...

— А любовь? — спросила я.

Он пожал плечами:

— Любовь проходит. Я боялся каких-либо уз...

Когда он отошел от нас, Тихонов сказал задумчиво:

— Черт, я даже никогда не жил один в комнате! В училище — в общежитии, потом, в полку, тоже с ребятами-холостяками, потом женился...

— Вы разные люди...

— Что значит «разные»? Человек, он ведь царь природы, он должен уметь переделывать себя. — Он всполошился. — Но все-таки почему же Ман так одинок, где его родственники, семья брата?

— Всех разметало по белу свету... А потом, вы, может, не представляете себе, какая теперь трудная жизнь. Мужчины на фронте, у женщин на руках дети, старики. Вы этого не знаете, как трясутся над каждым куском хлеба, вы не видели...

— Нет, почему, это я как раз знаю, видел. Когда ездил за материальной частью...

Он пересаживался из эшелона в эшелон, ехал на попутных машинах, подолгу шел пешком. На него смотрели с удивлением, а одна старуха на станции прямо спросила:

— Что, отвоевался, фронтовичок?

И долго донимала его попреками, как будто именно Тихонов виновен в том, что немцы отнимают у нас города. Тихонов покорно слушал, не возражал. И в самом деле чувствовал себя виноватым.

Как камень, упавший с горы, катясь вниз, набирает все большую скорость, так, чем дальше он удалялся от границы, росло в нем смятение. Он шел не на фронт, а с фронта, как и эти эвакуированные женщины, старики,

дети. С ними во время налетов он отлеживался в канавах и балках, помогал раненым, пытался остановить проезжающие грузовики. В вагоне, в купе, куда он наконец попал, было битком набито. Но из мужчин только два старика и он, летчик! Он лежал наверху, накрывшись с головой шинелью, и думал.

Женщина, сидевшая на узле, говорила монотонно, чуть раскачиваясь из стороны в сторону:

— Мы только что купили буфет. Начали переносить посуду и вот...— Ее мясистые щеки, складки на шее начинали трястись.— Я как ополоумела, говорю мужу: «Стой, куда же ты, надо убрать посуду». А он мне: «Опомнись!» И смотрит дикими глазами. Так и не попрощались! А я, вы представьте, сижу на полу, то выну чашки, то опять поставлю, как помешанная...

Ее никто не слушал, только один из стариков заметил:

— Это был нервный шок. Все-таки свое добро, жалко...

— Нет,— живо сказала женщина.— Нет, ничуть не жалко. Я никогда не дорожила вещами, но дочь меня укоряла, что живем как цыгане. Я и купила. Мы ведь никогда долго на одном месте не задерживались, все на раскладушках, да на раскладушках, да с примусом.— Ее опять затрясло.— Так и не попрощалась с мужем, вот что страшно, а мы тридцать лет вместе кочуем: он строитель.

Она спрятала голову куда-то под пальто и задержалась, забилась, должно быть, плакала. Но никто не утешал ее, не уговаривал.

И Тихонов не стал уговаривать.

На насыпь надвинулся густой сосновый лес с опушками, усыпанными рыжими иголками. Вот знакомый поворот, мост. Поезд приближался к станции, где он учился. Отсюда до их городка рукой подать. Казалось, сердце выскочит. Он кинулся в тамбур, надеясь увидеть на станции кого-нибудь из знакомых, спросить о родителях. Может, даже успеет за время остановки добежать до депо, где раньше работал отец. Он схватился за поручни, высунулся за дверь и почти повис над ступеньками.

На перроне, у репродуктора, стояла большая толпа. И Тихонов сразу же узнал дядю Колю, лысую его голову, худое лицо. Он был в спецовке, с промасленной тряпкой в руках,— видимо, прибежал со смены.

— Дядя Коля, а дядя Коля!..— окликнул Тихонов, проталкиваясь поближе.— Кто это говорит?

— Сталин. Москва передает...

На мгновение Тихонов забыл про родителей и про дядю Колю забыл: сейчас он услышит то, что хотел услышать все эти дни, получит ответ на свои вопросы. На станции было очень тихо, даже под колесами не шипел пар. И машинист, и проводники, и начальник поезда, и все дежурные по станции столпились тут, у репродуктора. Голос призывал страну к мужеству. И всем своим существом Тихонов понял: война будет долгая, кровопролитная...

Дядя Коля, жарко дыша и недоуменно покачивая головой, сказал тихо:

— На народ надеется, братьями величает...— Он как будто только сейчас узнал и заметил племянника и встревоженно, со страхом спросил: — Ты что ж это, а? Ты что же?

— За материальной частью еду. По служебному делу...

Вся поездная бригада как будто опомнилась, проснулась, все забегали и засуетились, стали перекликаться, застучали молотками, проверяя колеса, оси. В вагоны полезли пассажиры с тюками, проводники не пускали, кричали, что некуда.

— Дядя Коля, как же мои старики?

Они разговаривали торопливо, боясь, что не успеют,— поезд вот-вот должен отойти. Дядя Коля, не очень-то стараясь скрыть свое разочарование, показал на небо:

— Мы-то думали, ты там, летаешь...

— Я летал. Я просто раненый, понимаешь? Но я одного сбил.

— Не врешь?

— Дядя Коля, пусть старики все-таки эвакуируются: в случае чего, плохо им тут будет...

— А старикам везде плохо,— философски заметил дядя Коля.— Что уж тут мудрить?

Поезд уже тронулся, а они все еще не договорили. Тихонов, перегнувшись, кричал:

— Маме передай... Пусть помнит... Маму поцелуй!

А глуховатый дядя Коля, приставив ладонь к уху, шел за поездом.

— Жинка твоя где? А? Где, спрашиваю, твоя жинка?

И когда он побежал, ярко освещенный солнцем, Тихонов увидел, какой дядя Коля стал старенький, как плохо гнутся у него коленки, какие мелкие делает он шажки. А ведь отец старше дяди Коли... Тихонов представил себе мать с ее больными ногами, строптивного отца и не мог поверить, что и их вышвырнет из родного гнезда, понесет по дорогам неведомо куда.

...Жена строителя подняла глаза и вдруг спросила не то его, не то себя:

— Куда же я еду? Ни родных, ни знакомых. Без денег, без документов.

Тихонов дал ей деньги, которые так и не догадался отдать дяде Коле для своих стариков.

Она попросила:

— Вы мне оставьте адрес. Муж вам вернет...

Тихонов отмахнулся. Он снова ушел в тамбур и сел на ступеньку.

Из-за леса показался самолет. Он покружился над поездом и свернул.

Тихонов сжал кулаки и поклялся, как мальчик, в ярости:

— Ну, подожди, ну, подожди, я вернусь еще!..

И прилетел, вернулся, но пока это случилось, долгие дни жил в горестном напряжении. Он мотался по Москве, незаметный упрямый лейтенант. И всюду, подписывая ему очередное требование, говорили: «Давайте, давайте, лейтенант, жмите». И он жал, только бы поскорее выполнить задание, вернуться к себе в часть и воевать. Теперь-то он чувствовал себя обстрелянным, опытным летчиком.

А Красная Армия отступала. Каждый день авиация сбивала самолеты противника, артиллеристы и пехота истребляли вражеских солдат. Каждый день радио передавало героические эпизоды всенародной борьбы, и все же мы отходили на новые и новые рубежи.

Многие города, через которые Тихонов проезжал недавно, были уже заняты врагом. В его родном городе — оккупанты. Куда девались старики, где дядя Коля с семейством, он не знал.

— А про жену что-нибудь знали? — спросила я.

— Нет, точно не знал. Но я надеялся, что она уехала к родителям. К своим...

...Было уже прохладно. Нежная седая дымка стояла над посадочной площадкой, забрызганной утренней росой. Летчики лежали на поблекшей траве под деревьями, кто на спине, кто ничком, казалось, в тех же позах, как их оставил Тихонов, уезжая за много километров отсюда. Тихонов шел, почти бежал к ним. Товарищи вскочили, окружили его.

— Ну как?— Они спрашивали сразу обо всем.

Он, пожимая руки, обнимаясь, хлопая товарищей по плечам, сам спрашивал:

— Ну, а вы как?

— Да ничего вроде, порядок...

Тихонов достал коробку московских папирос, всю дорогу берег ее, как драгоценность. Товарищи потянулись, дружно сказали, что, мол, да, совсем другое дело — столичный табак. Он тоже лег на траву и буднично объяснял, что терпеть не может дорогих папирос, кашель от них, и дешевые «гвоздики» тоже терпеть не может, лучше всего вот этот самый «Казбек». Только где его теперь брать? Похоже было, что он ни с кем не расставался, никуда не уезжал. Так же сладко пахла трава и так же приятно было лежать среди своих дружков на теплой земле, как лежал сотни раз, дожидаясь вылета. Потом уж он стал присматриваться, оглядываться, замечать перемены. Было много новых, незнакомых ему лиц, очевидно, часть пополнилась. И многих своих он недосчитывался.

Спросил осторожно:

— В полете есть кто-нибудь?

— Есть кое-кто...

— А вообще вылетов много?

— А как же! Казенный спирт пьем не зря...

Ему стало удивительно хорошо: теперь он у дела, на своем месте, среди своих. Как и все, ждет приказа...

Запись на отдельном листке

— Тут только мне сказали, что Мария, жена моя, никуда не уехала, осталась в санчасти.

— Представляю, как вы обрадовались, как побежали к ней,— сказала я.

Тихонов несколько растерялся,

— Побегать сразу я не мог: санчасть ведь не тут же, не рядом была. Но, одним словом, в том, что она хороший работник, я не сомневался...

Конечно, мне очень хотелось поскорее узнать, как встретился Тихонов с женой. Я все еще не могла понять ни что она была за человек, ни какие у них отношения. Чего-то он недоговаривал...

Однако не все получается, как хочется.

Раньше я делила свое внимание между всеми ранеными поровну. Теперь же, когда старшая сестра прикрепила меня к Тихонову персонально, я испытывала некоторые муки совести. Как будто оставила себе «чистую» работу, а изнурительную, трудную возложила на других. Но разве я могла теперь бросить Тихонова? Привязалась, привыкла. И, конечно, лестно было думать, что я действительно помогаю ему выздороветь, как утверждала Екатерина Великая.

Мне приходилось поэтому бывать в госпитале чаще, чем другим, чтобы и дежурства вести и с Тихоновым беседовать. Но время? Где взять время?

Я много работала в редакции; работала дома по хозяйству, раздобывала топливо, продукты, лекарства, необходимые справки, конверты для писем, керосин, спички и тому подобное. Часами выстаивала в очередях, вышагивала километры. Все было сложно, трудно, недоступно. Как согреть воду для стирки, где взять мыло? Пайкового мыла не хватало. В бане выдавали для мытья крошечный, как печенье, кусочек мягкого мыла. Но в бане были очереди. Иногда мы собирались втроем — три подруги — и шли в баню поздно вечером, вернее ночью. Это было для нас и «санитарным» и «культурным» мероприятием — посмеяться, поболтать втроем. Однажды за два куска стирального мыла я отдала новенькую кружевную кофточку. А глажка? На нашу семью полагался лимит электричества шесть киловатт в месяц. Строжайше было запрещено включать электрические утюги и плитки. Но иногда мы потихоньку включали... И вот, вернувшись из редакции, я хотела наспех собраться и пойти в госпиталь. На следующий день предстояло общее дежурство всех шефов: уборка палат, потом я должна была ехать в командировку. А мне хотелось послушать про Марию...

Я съела тарелку супа из муки, у него было невкусное название «затируха», и, веселая, довольная тем, что в тот день меня похвалили в редакции на летучке, стала собираться. Надо было погладить платье. Я лихо сказала: «Ну, была не была». И включила утюг.

Хозяин дома, к которому нас вселили по ордеру, тощий и ехидный человек, только что ушел, вроде можно было не бояться. Но раздался звонок, и когда я беспечно открыла дверь, на пороге оказалась маленькая непреклонная женщина, инспектор из «Горэнерго». Она переступила порог и увидела включенный утюг. Это была такая же эвакуированная, как и мы, трудно, как и мы, живущая, но почему-то со злорадством и необычайной быстрой она вытащила из кармана ножницы и кинулась перерезать провода. Не узнавая себя, слепая от ярости, понимая только то, что мы останемся вечером в темноте, я схватила ее за руки. Моя старухи замерли от удивления, мой маленький Саша заплакал, соседка, сидевшая у нас, стала клясться, что утюг включили только на одну секунду, ну буквально на одну секунду. И уверяла, что мы очень, очень, очень хорошие люди...

Я не попала в тот день к Тихонову, и назавтра пришлось в недоглаженном платье идти в «Горэнерго» и долго, глотая слезы, выслушивать упреки и выговоры, пока я сама не поверила, что совершила почти что преступление. Оттуда я вышла умученная, погасшая. Надо было еще найти монтера и восстановить проводку. К счастью, у нас был в запасе табак.

Во время уборки в госпитале я подошла к Тихонову и, уже смеясь, в юмористических тонах рассказала, какая была накануне баталия.

Он очень удивился:

— Может, вы правы, я не совсем себе представляю гражданскую жизнь здесь, в глубоком тылу. Как живут, как с едой...

— Мы в Средней Азии,— напомнила я.— Здесь все наоборот. Виноград и помидоры, когда сезон, дешевы, а картошка всегда в цене. И с топливом трудно...— Но мне не хотелось разговаривать на будничные темы, хотя я не могла не заметить, что это впервые Тихонов проявил интерес к моей жизни. Я поспешно спросила:

— Вот вы не успели рассказать в тот раз... как же вы встретились с женой?

Он — это была его обычная манера — пожал плечом.

— Встретились. И все...

И враз как будто ключ в замке повернулся.

Я предупредила, что не скоро появлюсь, уезжаю в командировку. Он опять удивился:

— И в командировки теперь ездят?

— А как же...

— И перед бухгалтерней отчитываются и отмечают?

— Ну да... — И вдруг я спросила как можно беспечнее: — А Мария красивая?

Он уклончиво кивнул.

— Высокая? Маленькая?

— Мне по плечо, если на каблуках...

— Но какая все-таки? Как Женя? — Это была самая эффектная сестра в госпитале. — Как Таня? — Таня была тоже красивая, но другой, менее броской красотой.

— Если бы вы видели Марию хоть раз, то... не задавали бы таких вопросов. — Тихонов сказал: — Про это лучше когда-нибудь в другой раз...

И снова я увидела, как скривился в горькой усмешке его рот и помрачнело лицо. Видимо, не каждое мое слово было полезным терапевтическим средством...

Я не стала рассказывать Тихонову, что видела Мана. Да и не очень хотелось вспоминать об этом.

Комиссар его все-таки уволил, и он исчез с нашего горизонта. В редакции он тоже не появлялся... У нас были с ним общие знакомые, я могла бы разузнать о нем, но почему, собственно говоря, я должна была так о нем заботиться? Он одинокий человек, а у меня на руках ребенок и две бабушки. И, кроме всего, мы ведь были мало знакомы...

Поэтому я удивилась, когда Ман вдруг пришел к нам домой. Все-таки, несмотря на трудный быт, еще существовали какие-то условности, и мне было неприятно, что он застал меня во время уборки, непричесанную, в домашнем платье. Он стал играть с Сашей. Ман разговаривал неумело, но заинтересованно, и Саша, не любивший чужих, отнесся к нему доверчиво, сидел тихо, не капризничал.

Уже пора было предлагать гостю чай, но я не знала, как вскипятить чайник, на чем. И к чаю ничего не было.

Я тянула время, рассуждала об искусстве, о послед-

них сводках, надеясь, что одна из бабушек поднимется с места и пойдет во двор разжигать мангал. Но они не поднимались. А потом ушли обе, но вовсе не к мангалу.

Ман повернул ко мне лицо с синими губами и вдруг тихо произнес:

— Нет ли у вас чего-нибудь поссть?

Сердце мое сжалось.

— Ничего, кроме супа, нет, но я не знаю, как согреть...

— Не надо греть, я съем холодный...

И он не очень жадно, но торопливо стал есть холодный суп, как будто обжигаясь. И сразу же, съев суп, ушел. Стоя на крыльце, я смотрела, как исчезает в сумерках его сутулая фигура, как он уходит по нашей широкой, тихой улочке, вдоль которой под тополями поблескивала в арыках вода. И почему-то подумала, что больше он к нам не придет.

А бабушки сказали:

— Ты не зови его. Смотри, какой он запущенный. Как бы он еще не нанес насекомых...— И рассердились, что я заплакала.— Тыг всех готова жалеть. Ты не смотришь на жизнь реально. У него такие влиятельные знакомые, пусть они ему помогают... При чем тут ты?

Уже сильно пригревало солнце, окна в палате были широко распахнуты, а за ними, в просторе неба, буйствовали листочки. Проступала сквозь дымку зыбкая, извилистая линия горных вершин, еще покрытых снегом. Ветер загонял в палату горький запах тополиных почек, смешивал его с махоркой, которую все же тайком от старшей сестры курили раненые, с назойливой кислотой борща, мазью Вишневского, с запахами дезинфекционных средств, которыми густо припахивает во всех больницах. И все-таки тополиный весенний дух одолевал... Ноздри у Тихонова подрагивали, руки беспокойно перебирали край одеяла.

Когда я вошла, по его лицу скользнула тень не то удивления, не то удовольствия, как будто пролетела птица и тень от распластанного крыла легла на щеку. А может, не как будто, может, действительно за окном пролетела птица.

— Я думал, вы уже больше никогда не появитесь,—

сказал он почти насмешливо. — Вы уже по горло сыты моей болтовней...

— Но почему?.. Я ведь сказала, что еду в командировку...

— Но вы уже три дня как вернулись... Куда же вы ездили?

— Была в авиационной школе.

— О-о... Значит, будете писать про гордых соколов?

Ему почему-то хотелось вывести меня из себя. А ведь сделать это было очень легко. Не такое уж хорошее было у меня настроение: и сводки не очень радовали, и дома обстояло не так уж хорошо — почему-то задерживался ордер на дрова и нечем было разжигать мангал. Керосина тоже осталось на донышке бидона. А ведь мы доставали его просто чудом. Директор учреждения, ведавшего распределением топлива, милый, бескорыстный человек, с необычайной сердечностью относился к эвакуированным литераторам. Когда к нему обращались, он с готовностью подписывал разрешение на десять — пятнадцать литров керосина, но сотрудники, которые должны были это разрешение оформить, сразу же бесцеремонно уменьшали почти вдвое это количество. На складе, где надо было получить керосин, тоже сильно недоливали. Так вот, как только я вернулась из командировки, в приподнятом настроении, взбодораженная, и должна была как можно скорее «отписаться», все эти домашние невзгоды навалились на меня. И вместо того, чтобы работать над статьей, или пойти в магазин отovarить талоны, или попытаться купить на базаре у чайханщика хоть ведро угля, я торчу в палате и выслушиваю кислые слова...

Видимо, на лице у меня отразилась обида. Тихонов смягчился:

— Ладно, не сердитесь. Не такая уж я свинья, просто тоска страшная...

— Почему это?

— Не понимаете? Хочу летать, это понятно? — опять со злобой сказал он. — Летать... Сколько же можно... — Он с отвращением посмотрел на койку, на шершавое одеяло, на блеклые стены.

Тут подошла сестра, не старшая, не «императрица», а обыкновенная, курносенькая, молоденькая Шурочка, и, сразу же заметив волнение Тихонова, стала его утешать:

— Нельзя быть таким несдержанным. Ну что вы та-

кой нервный... Рука у вас будет работать, доктор говорит, нужно терпение...

Я с завистью слушала ее болтовню. Как легко она произносит слова утешения, и как охотно Тихонов ей отвечает.

Болтая, Шурочка переложила Тихонову подушки и сделала укол, а я поглядывала в окно, откуда врывалась в палату весна. Все-таки я очень устала от этой горячей, сумасшедшей по напряженности работы командировки. Задания, которое мы получили в редакции, хватило бы на гораздо больший срок, кроме того, нам надо было выгадать лишний день для себя...

Мы возвращались с майором из нашей редакции в медленном поезде, составленном из смешных маленьких вагончиков, с длинной ступенькой вдоль всего вагона, так что всю ночь мимо незапертых дверей ходили суматошливые люди. Поезд шел через Каракумы. Нежная, как вышитая шелком, трава еще только рождалась для короткой весны в пустыне. Вдоль железнодорожного полотна паслись стада. На нас таращили глаза ягнята, похожие на комок шерсти. Маленькие сосунки-жеребята на точеных, еще не окрепших, стройных ножках, желтенькие телята, похожие на мягкие плюшевые игрушки, какие мы покупали до войны сыну, — все они только появились на свет, не знали зла, смотрели доверчиво, безмятежно. И небо, еще не опаленное солнцем, еще бледно-голубое, и эти стада, щиплющие молодую траву, казалось, говорили, что нет в мире ни войны, ни смерти, ни горя. А ночью луна плавно катилась за поездом, поезд бежал, иногда обгоняя луну, все залито золотым светом, и если бы в вагоне не храпели и не дышали со свистом усталые люди, можно было бы поверить, что счастье вот оно, рядом... Но потом наступил следующий день, уже более жаркий, и мы с майором по заранее составленному хитрому плану отстали от поезда в каком-то селении, где, как нам рассказывали, дешево мука и рис. У майора была там знакомая, вернее, он вез ей письмо, этой Дусе. И вот мы у Дуси, в глиняном доме, душном, с вышитыми «ришелье», насиненными занавесками. Майор и Дуся сразу стали пересмеиваться и переглядываться. Они живо обсуждали, как и что мы будем обменивать и покупать. Конечно, я чертовски им мешала своей непрактичностью, расспросами о крае и отвлеченными представле-

ниями о рыночной конъюнктуре. Но майор «благородно» не отшивал меня и даже сказал, что на базар мне с ними ехать незачем, он сам обменяет мои вещи на рис и сделает это гораздо лучше... Я могу-де испортить всю музыку... Они сразу же уехали на ишаках на базар, а я осталась.

Селение маленькое, бесцветное. В пыли играют кудрявые полуголые дети. Женщины в полосатых засаленных ярких платьях не замечают меня, они уже вдосталь нагляделись на эвакуированных горожан и не обращают внимания на новые лица... В доме ни единой книги, хоть бы учебник какой-нибудь, старая газета, календарь! Пойти некуда, делать нечего. Да, пожалуй, это был самый длинный, тягучий, бессмысленный день в моей жизни. Около дома текла мутная, желтая речка. Как обреченная глядела я на эту пеннистую реку, на грязный поселок, на пустыню за поселком...

Тихонова мой рассказ неожиданно заинтересовал.

— Ну, и потом что? — поторапливал он.

— Дуся с майором вернулись и, представьте, действительно привезли рис. И муку. Дуся нажарила целую сковородку котлет, поставила на стол бутылку водки...

— И вы пили?

— Конечно...

Тихонов посмотрел на меня с уважением.

— Очень рад слышать. Ну, а потом?

— Потом легли спать... а потом встали и пошли на поезд... Потом Дуся плакала, прощаясь с нами...

— С майором?

— И с ним и со мной...

— А у самой, наверное, муж на фронте... — обронил Тихонов.

— Но ведь и майор женат! Впрочем, я уверена, между ними ничего не было. Просто коммерческий союз плюс человеческая симпатия... а хоть бы и было, какое мне дело...

— Все бабы одинаковые, — сказал Тихонов. И мне неприятно было, как он это сказал. — У них любовь недолгая...

— Как вам не к лицу этот тон! Дуся очень сердечная и славная...

Конечно, я не стала рассказывать, как мы спали с Дусей на одной кровати, и она, устроиваясь поудобнее и толкая меня своим тугим, как волейбольный мяч, плечом,

шептала, стараясь, чтобы ее не услышал майор, спавший в кухне на раскладушке:

— Неужели ты всю войну никого не имела?— Я не по-няла.— Ну, неужели ты всю войну никем не увлеклась, не влюбилась? Ведь у вас в редакции небось есть мужчины! Не то что у нас — одно старье...— Мои ответы Дусю совсем не интересовали, просто ей хотелось высказаться, открыться, выговориться.— Ты любишь мужа? Счастли-вая. Есть же счастливые, которые уважают своих мужей. А мне не повезло. Что может быть у меня за интерес, когда я уже все про него знаю, его вкус, его натуру, всю его мелкую амбицию...— Она подложила руки под голо-ву.— Когда я училась в школе, я здорово на сцене игра-ла, мечтательная была. Понимаешь мою мысль?.. Отно-шения должны быть красивые. Терпеть не могу, когда меня хлопают...— Она замялась:— Моя тетя называет это место «мадам Сижу». Остроумно, правда?

Уже под утро, когда я то задремывала под ее жаркий шепот, то просыпалась, она сказала:

— А все-таки мне невыносимо стоять в стороне. С ка-кой стати? Ведь я окончила краткосрочные медицинские курсы, имею справку. Так в чем дело? Неужели админи-страция госпиталя мне откажет, как вы считаете?

Она опять перешла на «вы».

— Не сомневаюсь, что вас охотно возьмут. Сестер не хватает...

— И насчет поведения не беспокойтесь. Болтать на работе, склочничать или лениться не в моем вкусе... мо-жете не сомневаться...

Я и не сомневалась. И мне досадно было, что Тихонов сомневается. Хотя я понимала, что дело вовсе не в Дусе, которую он не знал, а в чем-то другом, мне неизвестном...

И все же я не давала в обиду Дусю, а тем более на-шего майора, которого обожала вся редакция. Он был ранен в боях за Москву, получил орден Ленина и из гос-питаля, после излечения, был направлен на работу к нам в газету, как человек с боевым опытом. Худощавый, с острым носиком, немногословный, практичный, весьма и весьма разумный, он очень быстро овладел газетной «спе-цификой», прибрал к рукам свой отдел боевой подготов-ки и стал главной фигурой в редакции, так как имел у нас у всех огромный личный авторитет. Недавно к нему приехала семья — жена и трое детишек. Конечно, пайка

не хватало, тем более что семья изголодалась, и тот рис, мука и изюм, что он наменял и купил, послужат большой подмогой.

Тут я догадалась, как отвлечь Тихонова:

— А знаете, кто командует школой? Спирин.

— Правда, и вы его видели?— Тихонов даже сел на кровати.

— А почему вас так интересует Спирин?

Он посмотрел на меня как на ребенка.

— Для меня бог — Кутасов. А Спирин даже для Кутасова главный бог...

— Да, он очень талантлив...

Тихонов задумался, как будто взвешивал, не обидно ли для Спирина такое неопределенное слово — талантлив. И переспросил ворчливо:

— Он большой мастер. В чем же вы видите его талант?

— Да во всем, во всей жизни... Как же!.. Пошел добровольцем в Красную Армию, в лаптях пошел, сапог даже не было. Потом поступил на рабфак, стал штурманом. Создал на голом месте штурманскую науку, проложил трассу на Северный полюс...

— Да знаю я его биографию,— почти обрвал меня Тихонов.— Я даже про лапти от одного человека слышал... Вы мне его характер определите. Вот что для меня важно...

Я рассказала все, что знала о знаменитом штурмане, вспомнила дни, что провела в командировке в его школе. Мне казалось, что он совсем не спал: то я встречала его на дневных полетах, то на ночных... И еще предложил, когда я уезжала: «Останьтесь до воскресенья, в субботу мы заканчиваем ночные полеты, в воскресенье я вам покажу горы. Красотища необыкновенная...» А жена, когда я похвалила сад у дома, где они жили, сказала: «Знаете, какие у Ивана Тимофеевича руки? Он ткнет в землю прутик — прутик начинает расти и цвести».

— Спирин из тех людей, на мой взгляд, которые изменяют жизнь, оставляют свой след на земле...— И я вспомнила, как сказала мне про него одна американская коммунистка: «О, когда говорят другие люди, я думаю: я это знаю, я это читала в книгах, а что говорит Иван Тимофеевич,— она выговаривала «Эван Тимофейтш»,— это я никогда не читала, это я слышу в первый раз...»

Тихопов вдруг притих.

— Черт...— сказал он затем, сказал растерянно и нежно.— Для меня Спирин почти легенда, а вы были у него на полетах и дома были, может, даже чаем они вас там угощали...

— Угощали,— подтвердила я.

Чувство юмора вернулось к нему:

— С вареньем?

И, не дожидаясь, что я отвечу, стал жадно расспрашивать: что же это за школа штурманов и как их там готовят, для авиации дальнего действия, что ли? Он сразу перевел все на военный язык.

— Но раз готовят авиацию дальнего действия, значит, бои будут на территории противника? А я? А я, значит, буду лежать и лежать? Так?..

И, не слушая моих доводов, как мне казалось, очень разумных, во всяком случае, не глупее тех, что приводила сестра Шурочка, он отвернулся к окну, где все еще летали ласточки, и стал с жадностью разглядывать далекие горные хребты.

— Вот видите, тактике боя теперь уже обучают в школах, уже освоили поведение врага, а мы? Мы наживали фронтовой опыт на своей шкуре, на своих ошибках. Думаете, приятно было докладывать, что ты вел себя в воздухе как дурак? Немец обманул, камнем пошел к земле, притворяясь сбитым. И пока я торжествовал победу, ликовал и пыжился, он меня обстрелял, да так, что пробilo плоскость, поцарапало левую руку.

— Надо изучать тактику врага,— сказал Кутасов, как будто я сам этого не понимал.— Пора расстаться с непужным простодушием...

— Я признаю честный бой: чье искусство выше, тот и победил.

— С такими взглядами воевать нельзя.

А майор Редько, наш начальник штаба, тот просто сформулировал:

— Так у тебя морда вечно в крови будет...

Товарищи мне сразу напомнили про вечер в цирке, когда выступали боксеры. Это еще до войны... Огромный цирк ревел от восторга — мы целой компанией тогда в город ездили,— а я с отвращением смотрел на разбитый

нос боксера, на то, что противник старался еще раз ударить по носу, в больное место.

Товарищи тогда потешались надо мной: мол, что за Иисус Христосик! Ведь в этом смысл борьбы — нащупать слабое место.

А мне было противно. Ну, понятно, что и хитрые повадки врага тоже мне противны. Немецкие летчики часто уклонялись от равного боя, зато охотно нападали на подбитую или оторвавшуюся от строя машину.

Хвалиться не буду, но я стремился в бою взять инициативу в свои руки. Я не мог простить себе, что однажды был сбит. Ну, тогда, над виноградниками... И за то щемящее, доходящее до тошноты чувство безнадежности, что я испытал, когда сидел как в клетке, а четыре вражеских истребителя расстреливали в упор мою старенькую, потрепанную машину, мне хотелось им отплатить, сбить десятки самолетов.

Говорили, что я стал довольно опытным и искусным летчиком. Не знаю. Но я ожесточился, это факт. Меня уважали. И вдруг поймался на удочку, попал впросак.

Я в столовой при всех сказал: «Даю слово, ребята, я с ним рассчитаюсь...»

Вы спросите: с кем с ним? Видите ли, машина была приметная, и водил ее первоклассный пилот, очень расчетливый и хладнокровный. У нас даже создалась легенда, что это бронированная машина и летает на ней племянник немецкого министра авиации. Будто так говорил кто-то из пленных.

С этого дня пошло. Только я вернусь из полета, все ко мне. Подначивают: «Ну, повидались? Где же твой приятель? Крестного не встретил?» Я думаю: ну ладно, черти! Погодите! Настроение у меня было отчаянное, жизнью я не дорожил. И что же? Опять встретились в воздухе. Немецкий летчик повторил свой маневр, притворился сбитым, падает и падает, — дескать, я убит... Но я не поверил, падаю за ним. Он хотел было выровнять машину, а я не дал, прижал его к земле. Вижу голубоватые вспышки вокруг хвоста, вижу, полыхнуло пламя, повалил дым. По вытоптанному полю бегут к горящему немецкому самолету красноармейцы. Как говорится, полный порядок...

Продолжение этой истории Тихонов рассказал очень неохотно. Все боялся, что я не поверю.

— Да почему, когда это я вам не верила?— недоумевала я.

— История уж больно фантастическая, это с одной стороны. А с другой — я потом в газетах читал, подобное и на других фронтах было...

Оказалось, немецкий ас захотел увидеть летчика, который его сбил. Почему командование уважило эту просьбу, Тихонов не знал. Он смущен был обстановкой штаба, там ходили генералы, полковники, удивленно поглядывали на смущенного летчика. Тихонов шепотом попросил у дневального щетку, смахнул пыль с сапог.

Его ввели в комнату, где сидел ас, переводчик, работники особого отдела. Пленный, быстро оглядев Тихонова, что-то надменно сказал. Переводчик перевел:

— Я хотел увидеть, кто есть человек, сбивший меня.— И пояснил Тихонову: его, значит...

Ас спросил, сколько Тихонову лет, где учился. Тихонов отвечал, недоуменно поглядывая на капитана из особого отдела. Но тот сидел со строгим, непроницаемым лицом.

Немец неожиданно вынул из кармана бумажник, вытащил оттуда свое фото, достал вечное перо, подписал свою фамилию.

— Это вам... сувенир...

Переводчик добавил от себя:

— Подарок. На память.

— Сбить такого аса, как я,— блестящий шанс в карьере молодого летчика. И ручку возьмите...— Ас добавил уже не так надменно:— Если мне не оставят жизнь, ручка не понадобится.

Тихонов снова посмотрел на капитана. Капитан чуть заметно кивнул.

Тихонов нерешительно взял фотографию и ручку. Тут, в мирных стенах избы, наскоро переоборудованной под военное учреждение, с горшками полуувядшей герани на маленьких окошках, у Тихонова потерялось ощущение, что перед ним сидит враг, за которым он яростно гонялся в воздухе. В нем даже шевельнулось слабое чувство жалости к этому человеку. Но чувство это он подавил. Спросил:

— Зачем ваши летчики расстреливают из пулеметов женщин и детей на дорогах?

— Фюрер считает, что это сорная трава...

— А ваши дети не трава?

Ас невесело усмехнулся:

— Война идет здесь.

Тихонов схватил переводчика за рукав, закричал:

— Переведи ему!.. Я найду его дом в Берлине, я найду!.. — Ему казалось, что переводчик говорит слишком медленно, и он кричал немцу: — Берлин, понимаешь, Берлин... Буду там! — И показал рукой на запад так выразительно и смотрел такими глазами, что ас понял бы все и без перевода.

Все еще держа фотографию и ручку, Тихонов выскочил на крыльцо.

Яркий закат стоял над соломенными крышами. Рыжая корова чесала бок о сломанную изгородь.

Выбежал адъютант и позвал Тихонова к генералу, про которого в армии говорили, что он старается походить на Суворова чудачествами.

— Это большой мастер своего дела, — сказал генерал назидательно, взглянув на фото. — Ты учти это. — Тихонов насупился. — Учиться даже у врага можно, — заученным тоном говорил генерал. — И не зазнаваться, не воображать о себе... — Он покраснел, и похоже было, что он продолжает давний спор. Потом вдруг спросил по-домашнему просто: — Выпьешь?

— Выпил бы...

Генерал достал из шкафчика и налил полстакана водки, потом посмотрел на Тихонова, что-то мысленно взвесил и прибавил еще немного. Тихонов выпил.

Ему вдруг стало горячо и весело. Он сказал, смелая:

— А все-таки мы его сбили, товарищ генерал, и он у нас в плену... — Он хотел еще добавить: «Их тактика — это нахальство и игра на нервах», — но не решился.

Генерал пригласил Тихонова остаться поужинать. Заходили штабисты взглянуть на летчика, все уважительно брали у него из рук фотографию и ручку и так же уважительно возвращали, и к концу вечера Тихонов почувствовал себя знаменитостью. От вина и успеха приятно кружилась голова.

Адъютант отвез его в часть на легковой машине. Они лихо мчались через опустелые, притихшие деревни, через луга и леса, и адъютант, с которым они уже незаметно перешли на «ты», красивый, с красивой смуглой кожей и

большими глазами, жаловался на свою жизнь, на вздорный характер генерала, его сумасбродства и фокусы.

Тихонов покачал головой и задумался. Потом решительно сказал:

— Я бы на твою холуйскую жизнь никогда не согласился.

— Почему же холуйскую?— обиделся адъютант.— Ничего холуйского в моей жизни нет... Дисциплина! Зато я вижу весь фронт в целом, понял? Это такая школа, что будь здоров...

Когда приехали в часть, Тихонов был уже совершенно трезвый, хотя ощущение праздничности не покидало его. Он подробно рассказал окружившим его летчикам, что с ним сегодня произошло.

— Теперь будешь на виду,— завистливо сказал Туренков. Он долго рассматривал автоматическую ручку и даже зачем-то приложил ее к своему нагрудному карману.— Полезная вещь... Давай обменяем на трофейный ножик.

— Возьми так,— ответил Тихонов.— Не хочу я ее вовсе...

— Ну зачем это так!— запротестовал для виду Туренков. Но ручку взял. И вздохнул.— Значит, тебя, Сашка, даже немецкий ас признал. Приятно...

— А по плечуку он тебя не похлопал?— насмешливо спросил Кутасов. До этого он все время молчал.

— Я бы его похлопал...— вскинулся Тихонов и вдруг понял, что мучило его все время. Покровительственное — сверху вниз — отношение немца.

— Ты помнишь наш разговор о пудреницах и зажигалках в тот последний вечер у вас?..— спросил Кутасов вполголоса.— Вот в том-то и дело... Мы жили слишком изолированно от заграницы все годы после революции. Для нас иностранец стал чудом, редкостью. Мы этого аса сбили, сбил его ты, молодой пилот, таких у нас тысячи, он тебе свой портрет жалует, а мы смотрим на этот портрет. И на ручку любимся, не писали такими, и башмаков на толстых подошвах, как он, не носили, и пищи такой не ели... Наш пехотинец видит консервы, какие ест немецкий солдат, и в восторг приходит: что за упаковка! Он эту размалеванную коробочку консервную как чудо разглядывает! Мол, если у них даже для такой коробочки всяко-

го украшательского добра хватает, то какие же у них, мол, пушки, самолеты, ружья?!

— Я об этом тоже думал,— поспешно сказал Тихонов.— И даже генералу хотел сказать, что тактика немцев — это нахальство, и игра на нервах, а на самом деле ас дрожит за свою поганую шкуру... Жаль, не сказал... И подарки не надо было брать, кинуть надо было ему в морду, но постеснялся...

И, досадуя на себя, Тихонов поскорее ушел спать, но не спал, а думал, что Кутасов прав: не так страшна немецкая армия, как это кажется, и танки их, и самолеты тоже не так уж страшны. Впечатляет их дисциплина и организация. Но ничего, мы еще посмотрим, у кого будет лучше...

— Туренков...— сказала я потом неуверенно.— Это тот Туренков, что присылал из отпуска телеграммы?

— Ну да...

— А я как-то забыла о нем. Ведь, верно, был еще Туренков. Вы все перессорились из-за него в день рождения вашей жены...

— Вроде этого,— сказал Тихонов.— Нет, Туренков не тот человек, которого можно забыть. Он сам о себе напомнит...

— Ну что же? Он оказался трусом?

— Трусом? Нет, в авиации это исключено. Но... истребитель сам навязывает бой, понимаете? Туренков боя не навязывал никогда, хотя... справедливость требует признать, от боя никогда не уклонялся. Однако орденов у него больше, чем у любого из нас.

Я удивилась.

— Аккуратный очень, считать умеет,— засмеялся Тихонов.— Сколько сбил, сколько пробоев, сколько израсходовал горючего...

Тут в палату вошла Дуся.

Я уже давно замечала, что медицинская профессия облагораживает человека. Простоватая румяная Дуся, с ее челкой, ямочками на щеках и большими сережками, теперь, в белом халате и белой косынке, выглядела строгой и даже одухотворенной. Как только она получила мое письмо, что начальник госпиталя возьмет ее на работу, так тут же все бросила и приехала.

В общежитии для сестер Дусе дали койку, она приби-

ла к стенке коврик с лебедем и поселилась там, полная готовности все силы отдать работе. И как-то сразу она заняла прочное место среди сестер, и даже старшая, Екатерина Александровна, стала относиться к ней одобрительно.

Но Тихонову Дуся не понравилась. Вернее, он заранее решил, что она ему не может понравиться, придирался к ней, опасался, что она может перепутать назначения врача, дать не те лекарства.

И сейчас, когда она появилась со шприцем в руках, он спросил недовольно:

— А Шурочка где?

Дуся не удостоила Тихонова ответом.

— Больной,— сказала она строго,— засучите рукав. Сделаем внутривенное... Ай, какая у вас нехорошая, глубокая веночка!.. Но ничего... Вот так... Не больно?

Только после этого она объяснила, что Шурочка дежурит в операционной, а меня обняла за плечи и спросила тихонько, может ли она ко мне прийти. И опять, серьезная, официальная, удалилась из палаты.

Тихонов пожал плечами:

— Что между вами общего?

Я не поняла.

— Вы женщина серьезная, культурная, а она... обыкновенная бабенка.

— А почему она должна быть необыкновенная?..

— Не люблю таких... искательниц приключений...

— Разве вы ее знаете?— рассердилась я.— Зачем вы так говорите?

— А затем,— ответил он,— что Ирину Синицкую — она тоже все что-то искала, воображала, манерничала,— говорят, видели потом с немецкими офицерами...

— Кто же это вам мог сказать?

— Люди сказали...

— Кто-то ее видел, кто-то каким-то образом передал вам...— удивилась я.— Как-то это невероятно...

— А вы знаете, что бывает самое невероятное?!— вдруг вспыхнул Тихонов.— Так вот представьте себе... Я даже рассказывать не хотел, боялся, вы подумаете, ложь... а я всегда говорю правду...

И он рассказал мне, как повстречался с Яшкой Синицким, которого все считали погибшим.

— После того как я побывал в штабе армии, генерал меня запомнил. Видимо, потому с заданием к партизанам послали меня. Потом уже с партизанами наладили постоянную связь и летали грузоподъемные машины: туда — боеприпасы, а оттуда вывозили раненых, но в тот раз... В общем, адъютант генерала вручил мне пакет.

Адъютант теперь был не такой гладкий, не такой красивый, генерал его загонял и задергал. А все-таки, странное дело, он и не помышлял о том, чтобы словчить и уйти.

— Место все-таки видное и довольно-таки безопасное, — предположила я.

— Нет, — не согласился Тихонов. — Совсем не так... Генерал его гонял в самые опасные места, это раз, и он сам лез, боялся, чтоб его не заподозрили в трусости... Да и сам генерал был безумной отваги. Нет, он его просто любил, своего генерала, этот адъютант, он им любовался, он восхищался им... — Тихонов передернул плечами. — Вот как я Кутасовым... — Лицо его исказилось, стало некрасивым.

Тихонов прибег к верному средству, чтобы успокоиться, — закурил, затянулся и стал рассказывать, как перелетел линию фронта, углубился в тыл, благополучно сел в лесу, на расчищенной площадке, где горели костры. Молодые ребята с обветренными лицами, с винтовками через плечо долго бежали рядом с машиной, пока он выруливал. И сразу же, как только Тихонов вылез, спросили, есть ли табачок, а то им надоели немецкие сигареты, один дым, один пшик...

— И повели меня в глубь леса, в партизанский лагерь. Была уже осень, сырой, слежавшийся лист чавкал под ногами, туман стлался. А они все извинялись, эти ребята, что путь длинный, что грязно, что ветки хлещут по лицу. Даже спросили вежливо: «Страшно небось летать?» Мне стало смешно. «А партизанить?» — «Так ведь мы на земле». И один даже притопнул ногой, чтобы показать, какая земля прочная, твердая.

Я все озирался по сторонам, смотрел на этот редкий, печальный лес. Стали попадаться люди: дневальный — старик с винтовкой, как сторож на бахче, прошла с ведром в руках пожилая женщина, поклонилась мне, как в деревне у колодца. Девушки пробежали. Потом вышли на полянку, там сидело несколько человек круж-

ком. И один... Спина, поза, белокурый затылок показались мне знакомыми. Ну, одним словом, это и был Синицкий!

Обнялись, оторваться друг от друга не можем. Он даже прослезился. Ну, и я... Бормочем всякую ерунду. «У меня было предчувствие... В штабе армии говорили, что тут командует летчик. Сердце мне подсказало, что это ты...» — «Не ври, не ври». — «Да не вру я».

Партизаны обступили нас... Ведь я прилетел оттуда, с Большой советской земли. О чем только не спрашивали меня! Убирают ли урожай, как в Москве, какой дух в армии, даже есть ли новые анекдоты. Я удивился. Считал, по наивности, что партизаны, как сибирские охотники, молчаливые, суровые, с длинными бородами...

Показали мне их гордость — красавца капитана Шевченко. Он пробился с группой кавалеристов от самой границы. Шевченко сразу же потребовал для меня чаю или спирту, но ни того, ни другого, сказали, нет. Шевченко, ласково поглядывая мальчишескими голубыми глазами и подмигивая мне, шумел:

— Позор... Это же позор... Прилетел гость, и нет угощения... Придется самому, что ли, пойти на поиски...

Завхоз, как вспугнутая куропатка, заметался около капитана. У него серая кацавейка была накинута на плечи, так рукава захлопали, как крылья.

— Договариваемся полюбовно, — предложил капитан. — Я твои склады не трогаю, ты сам добровольно выдаешь всем по двести граммов...

— Не хватит на всех, — уныло клялся завхоз.

И капитан снова упрекал, играя глазами:

— Позор! Как это не хватит?.. Да я тебе из следующей операции сколько желаешь принесу. Слово чести!..

Партизаны хохотали.

— Отчаянный человек, — сказал мне про него Синицкий. — Народ за ним в огонь и в воду... — Он повел меня в землянку, где лежали больные и раненые, показать ту женщину, что спасла его, взвалила на телегу, запрягла коня и повезла. Даже на свой дом не оглянулась. — Медикаментов мало. Вот наша беда... — Яшка наклонился к настилу из сосновых веток и сена и спросил у лежавшей там старухи: — Ну как вы, мамаша?

Но она не узнала его. Бредила. Меня приняла за сына, всю душу разворотила своим «деточка, деточка...».

Я прямо вне себя из землянки выскочил: где же моя мама, думаю, может, вот так одна лежит, хрипит, умирает. И отец...

И вот тогда, когда мы бродили с Яшкой меж деревьями и я с болью смотрел, как Яшка хромает, как мучительно ему ступать на искаленную ногу, он сказал мне вдруг среди разговора, что жену его Ирину видели в городе с немецким офицером.

— Может, не она, ошибка?

— Нет, не ошибка,— твердо сказал Яшка.— Но больше ее там нет. И вообще больше нигде нет...— И как только он это сказал, так повернулся и ушел. Он должен был подготовить донесение, которое мне надо было увезти.

А у костра, неподалеку, шла своя жизнь. Там сидела высокая строгая девушка с гранатой за поясом и штопала чулок. Я спросил:

— Не опасно с оружием-то?

— Мы привыкли.

Капитан Шевченко выглянул из-за ее плеча:

— Я к ней и подходить боюсь... Катя, а Катя, правда, боюсь.

Она засмеялась. Трещали смолистые коряги, то ярко вспыхивая, то рассыпаясь на сотни мелких, пышущих жаром угольков. Когда-то я не раз сидел у пионерского костра, пел песню про картошку, слушал выступления и стихи. И в каждой песне, в каждом стихотворении нам внушали уверенность в том, что мы хозяева земли. Мы и росли в этой уверенности, терпели лишения, нехватки, твердо веруя в свое будущее... И меня поразила и порадовала мысль, что и сегодня, здесь, загнанные в лес, усталые, в тылу врага, мы не потеряли этого чувства уверенности.

Под соснами, собравшись в кружок, тихо пели молодые ребята, у костра перешептывались Катя с капитаном. Жизнь не остановилась...

Потом Катя встала, затянула ремень на ватной стеганке. Капитан сказал с ворчливой нежностью:

— Ты смотри, береги себя. Не лезь, куда не надо...

— Ну вот еще, стану я себя беречь...

— Куда это она?— спросил я, когда Катя ушла.

— Как куда? К немцам в тыл...— Шевченко сказал задумчиво:— Замуж ее прошу, не хочет и так тоже не

соглашается. Да и то, что я за муж? С моим характером до конца войны не дожить...

Тут подошли мои провожатые. Синицкий принес пакет. И мы молча пошли меж белыми, дымчатыми от тумана стволами берез. Он снова повторил:

— Медикаменты нас режут. Отобьем у немца, а там все по-латыни, прочитает никто не в состоянии...

Он как будто умышленно не вспоминал о своей прошлой жизни в части, ни про кого не спрашивал. Видно, не хотел трогать наболевшее. Я понимал, немыслимо, невмоготу такому классному летчику, как Яшка, сидеть на земле. И все-таки не выдержал, спросил:

— Яшка, а к нам, в часть, не тянет?

Он ответил хрипло:

— Как не тянет? Но хромому-то летать нельзя...

Как-то вечером ко мне явилась Дуся. Мы взяли маленького Сашу и ушли в парк имени Тельмана. В будний день гуляющих в парке почти не было, а все равно Дуся держалась очень напряженно, нарочито небрежно играла сумочкой, на скамье сидела прямо, красиво расположив складки на юбке. На ней была нарядная кофточка, брошка, в ушах сережки. Она была бы очень хорошенькая, Дуся, если б не выщипанные брови. Они придавали лицу что-то искусственное.

Саша бегал по дорожке и, когда ветер гнал на него сухие листья и трепал волосы на голове, искренне хохотал и радовался, думая, что ветер с ним играет. Именно с ним!

Дуся задумчиво на него смотрела. С той минуты что она пришла, ее томило желание о чем-то поговорить со мной, но, видимо, хотелось сделать это как будто бы нечаянно. Наконец она сказала, прищурившись:

— Этот ваш любимец, ну, Тихонов, он вовсе не такой бесчувственный, как вы считаете...

— Бесчувственный?— удивилась я.— Разве я считаю его бесчувственным? С чего вы взяли?

Как ни старалась я припомнить, но я, кажется, никогда и не разговаривала с Дусей о нем. Просто, когда она нанялась на работу в госпиталь, я их познакомила и сказала что-то вроде: «Дуся, вы не обижайте этого больного, это мой знакомый». И все...

— Скорее он даже добрый,— сказала Дуся.— Шурка, она ведь учится в школе, в десятом классе и, конечно, хромает по арифметике. Так он велел ей принести задачник и вчера целый час объяснял...

— Молодец,— похвалила я. И не стала поправлять ее — в десятом классе, конечно, проходили алгебру и геометрию, а не арифметику.

Дуся саркастически засмеялась.

— Мне кажется, я бы и без посторонней помощи сообразила...

— Да, в жизни приходится решать задачи посложнее,— согласилась я, думая о своем.

Дуся напряглась, надеясь, что я расскажу что-нибудь до жгучести интересное. Потом она еще раз сказала:

— То ли Шура правда глупая, то ли притворяется? Неужели она сама не может решить...

— Нужны математические способности.

Дуся фыркнула. Я чувствовала, что она хочет привлечь мое внимание к тому, что Шура не одна решает свои задачи, но мне в ту минуту, признаться, было все это глубоко безразлично.

Я с любовью смотрела на своего мальчика, игравшего охапкой желтеющих платановых листьев, на его крепкие, загорелые ножки.

— Он, кажется, женат?— спросила Дуся.— Ну, этот, ваш Тихонов...

— Да, кажется, женат...

— Разве вы не знаете наверняка?— Дуся удивилась.— Вы же с ним часами сидите...

— Похоже, что у него какая-то личная трагедия.

— Трагедия?— Ноздри у Дуси раздулись.

Я испугалась, что сболтнула лишнее, и стала просить ее быть с Тихоновым очень тактичной, чтобы он не догадался о нашем разговоре. Он такой ранимый.

Дуся успокаивала меня. Но я не очень-то ей поверила. И, боясь, чтобы она не стала у него допытываться, объяснила, как было дело, как старшая сестра попросила уделить побольше внимания Тихонову, и вернула насчет того, что слово бывает великолепным терапевтическим средством.

Но Дуся сморщила нос.

— Нет, все это слишком деликатно,— сказала она.—

Поручили бы мне это дело, я бы его растормошила. Он ведь не маленький...

Я молча пожала плечами. Возможно, Дуся права.

Как бы там ни было, но мне захотелось поскорее узнать историю Тихонова до конца. Нельзя ведь так тянуть, на самом-то деле.

Когда я пришла в следующий раз, мне показалось, что Тихонов ждет меня. Он нетерпеливо поглядывал, пока я разговаривала с другими больными, а когда я подошла и села у его кровати, сразу же сказал, как будто продолжая тот, оборванный разговор:

— Я вам не совсем точно передал тогда свои чувства в партизанском лагере.— Он, как всегда, поглядывал не на меня, а в окно, на горы.— Да, я понял, что жизнь всегда и во всем побеждает, но это не значит, что на душе у меня стало легко. Нет. На душе было черт знает как тяжело...

Радость от встречи с Синицким была отравлена тем, что я оставлял его в лесу, искалеченного, среди слабо обученных людей, без боеприпасов, без медикаментов, в тылу врага... Моя собственная жизнь в части казалась мне теперь роскошной, чуть ли не барской. А ведь редко проходил день, чтобы кого-нибудь не ранили или не сбили в бою... Жизнь летчика, если он воюет, коротка...

И, главное, я не представлял, сколько мы еще будем отступать. Ведь мы деремся отчаянно, смело. И люди, оставшиеся в тылу, дерутся, не вешают головы. Так в чем же дело?

Когда я прилетел к себе на аэродром, как раз шло партийное собрание. Обычное собрание, с кружкой воды для ораторов, с президиумом, с докладчиком. Только сидели мы под открытым небом на бревнах и пеньках, накинув на плечи кожаные. Воду для выступающих, чуть тронутую ледком, брали тут же, в ручье.

Я хорошо запомнил, как заходило солнце. Низкий кустарник как будто охватило пламенем, в красных и золотых листьях сухо шуршал ветер.

Докладчик был из политотдела дивизии. И всем ребятам казалось, что он должен знать о войне больше, чем знаем мы. Ну, что мы? Воюем на своем участке — и только... Мы закидали его вопросами: «Доколе же будем

отступать?», «Сил у нас не хватает, что ли?», «Где же союзники?».

— Союзники нам кое в чем помогают,— ответил докладчик,— но мало, очень мало.

— Расскажите про Ленинград, про Севастополь...

Нам казалось, что там, на тех участках, подлинный героизм, настоящая борьба, не то что у нас... Особенно мы завидовали летавшим на бомбежку Берлина.

Тут попросил слова механик Моисеев и зачем-то сообщи:

— Я до войны был шофером у генерал-майора Спирина.

— Ну и что?— не понял председательствующий.

А собрание вел Леня Кириллов, я вам о нем рассказывал, он был нашим гостем в день рождения Марии, помните? Так вот, Моисеев рассказал то, что и вы недавно говорили про Спирина: когда в девятнадцатом году он добровольно вступил в Красную Армию, то ему выдали там одну рубашку нательную, одни, извиняюсь, подштанники и одну пару лаптей. Спирин показывал Моисееву сохранившуюся у него справку и сказал при этом:

— Моисеев, видишь разницу, я в лаптях начинал, а ты в чем? В сапогах... И разве можно сравнивать технику?

Конечно, Моисеев говорил от чистого сердца, и все это звучало... ну, симпатично, что ли... но мне в ту минуту было этого мало. Ведь я пролетел над территорией, занятой врагом, над своим родным городом пролетел, с его улицами, кинотеатром «Модерн» и кладбищем, куда все влюбленные ребята ходили за фиалками... Я был у партизан. И я хотел знать, когда же начнется наше наступление.

Я не выдержал, вскочил.

Леня остановил меня:

— Тебе что, слово? Подожди, в порядке очереди...

Он вел собрание педантично, как будто не было войны. И выступающие говорили, как мне казалось, по трафарету. Гладкую речь произнес Туренков, призывал нас не щадить жизнь в борьбе за Родину.

И самое удивительное, что никто не удивлялся, так все привыкли к подобным выступлениям. А потом Кутасов попросил слова. Но он заговорил о сбережении материальной части, о горючем, о подготовке машин к вы-

лету, ругал механиков и настаивал на том, что надо применять новую тактику воздушного боя.

Я опять не выдержал, вскочил.

Кириллов строго постучал карандашом о кружку, но я сказал все, что думал: мол, мы здесь все коммунисты, так поговорим начистоту. Вот выступил Кутасов, и я услышал от него почти то, что и год назад, в мирной обстановке. Все правильно — экономить бензин надо, новая тактика нужна. Но не это я хотел бы услышать сегодня. Пусть он скажет слово, которое жаждут услышать все. Когда?

Я заметил, как наклонился Кириллов к докладчику из политотдела, стал ему что-то объяснять. Это меня разозлило.

— Ты чего испугался? — спросил я у Лени. — Бойсься, я лишнее скажу? А что я могу сказать страшнее правды? Горше того, что есть?

— Ай-ай-ай! — покачал головой докладчик. — Такой боевой летчик, как мне сказали, и вдруг демагог...

Сразу стало шумно. Но, перебивая этот шум, Кутасов, все еще стоявший рядом с председателем, позвал меня:

— Саша...

Я подошел к нему ближе, и мы разговаривали вдвоем.

— Ты помнишь второй день войны?

— Помню.

— Ты помнишь разговор о том, скоро ли закончится война?

— Помню.

Кутасов спросил громко:

— Что, если бы я тогда сказал тебе, что немцы займут Киев, окружат Ленинград... А заняты и Киев, и Харьков, и Вязьма. Немцы стоят у стен Ленинграда. Обложили Севастополь, рвутся к Москве. Тяжело нам, но это еще не катастрофа. Нет, не погибла Россия! Пусть враг займет еще несколько городов, он не сможет победить главного — нашей воли к победе. Будет день, скоро, когда мы перейдем в наступление, слышишь, Саша! Но я не хочу отдавать врагу эти несколько городов. В этих городах живут наши люди. Да, я хочу сберечь каждую бомбу, каждый самолет. Борьба идет не на жизнь, а на смерть. Я не боюсь тарана, ты знаешь... Но я рискну своим самолетом только тогда, когда это будет необходимо. Побе-

дит тот, у кого выдержки больше... Ты требуешь у меня ответа? Этот ответ — выдержка...

Тихонов умолк, долго молчал, потом сказал, щурясь, как от яркого света:

— Между прочим, собрание тогда пришлось прервать, нас подняли по воздушной тревоге... Леня Кириллов не вернулся с того вылета, погиб. И дрался геройски, он ведь был очень искусный летчик...

Не знаю, что осенило меня, какая догадка, но я сказала:

— Саша, вы все время недоговариваете. Что произошло между вами, Марией и Кутасовым в тот последний вечер перед войной?

— Откуда вы узнали?

— Почувствовала...

— Произошло то, что в саду, когда они вдвоем отошли от стола, Мария призналась, что любит его... А он... Я пошел их звать и услышал... Он стал уверять ее, что это ошибка, что она вообразила себе эту любовь, что она просто жалеет его, а я его друг, его ученик и тому подобное... стал расписывать мои качества... А она остановила его и сказала так горько: «Я отлично знаю, что за человек мой Саша, но я сказала вам правду...» Кутасов стал возражать: «Нет, это неправда, вам померещилось, вы меня жалеете... я старше вас, и я лучше вас понимаю, чем вы сами...»

Этот разговор Тихонов передавал очень быстро, без всякого выражения, не глядя на меня, боясь остановиться, стараясь скорее миновать в рассказе эту самую страшную, самую мучительную для него минуту жизни.

— Что же, я должен был так-таки и стоять, как болван? Подслушивать? Я пошел через кусты, сам не знаю куда. В ушах звенело. Очнулся — это на болоте кричали лягушки. Трава была мокрая, она и отрезвила меня.

Луна взошла, разлился ясный, спокойный свет. Я чуть с ума не сошел. Убить ее? А за что? Его? Он тоже не виноват. Я, поверите, зубами скрипел — как она унижалась перед ним, как он ее спокойно увещевал, отстранял от себя... Ходил я по росе не знаю сколько, потом решил: зайду за комбинезоном — и прямо на аэродром, домой

больше не вернусь, подам рапорт, переведусь в другую часть.

В саду еще горел свет, никто не погасил, но уже занимался восход, и вся моя праздничная иллюминация выглядела тусклой и неуместной. Посуду не убрали, скатерть, залитую вином, не сняли. Я стукнул в окно хозяйке, послал за комбинезоном. Не хотел знать, где Мария. Может, она все-таки умолила Кутасова, убедила, что любит его, а не меня. Ну что ж... Я присел к столу, налил себе вина. стакан невымытый, мутный. Не люблю, когда после гостей остается грязная посуда. Обычно сам помогал мыть.

Теперь мне не было дела до этой посуды. И стол уже не мой, и дом не мой. И не моя жена...

А рассвет такой был нежный, чуть щебечут птицы, роса блестит на траве. Я старался собраться с мыслями. Хозяйка, сонная и злая, принесла комбинезон и кружку воды. Я припал к воде, будто сто лет не пил, поднял голову, а по двору бежит дежурный с аэродрома, кричит еще от калитки: «Тревога!.. На аэродром!.. Война!»

— Ну, а дальше как было?

— Что дальше? Я ведь вам говорил: то прилетал, то улетал. Потом узнал, что она в санчасти. Я ей сказал, что раз обстоятельства так сложились и мы вместе, в одном полку, то не надо друг другу мешать. Она молча согласилась — и все.

— И вы никогда не разговаривали с ней!

— Ну как это не разговаривали! Вы подумайте, люди несколько лет живут вместе, каждую спичку считают общей, как я мог ни о чем не разговаривать! Тем более она так похудела, осунулась. Но я не хотел, поймите меня, я не хотел ей мешать. Чтобы она из жалости, раз война... — Он не договорил. — Встреч я избегал. Время было такое, что никому не казались странными наши отношения. А с Кутасовым... что там говорить, все равно дорожил его мнением. И от этого еще больше злился.

Я даже не пытался узнать, видятся ли они с Марией. Внушал себе, что забыл жену, что она мне чужая... Я не прислушивался к своим чувствам, к своему сердцу, наглухо закрыл прошлое на все замки... Но вот когда мне пришлось пойти перевязать руку, я... Она промывала сса-

дину, прижигала и перевязывала, а я чувствовал со страхом, как волнует меня ее присутствие. Это было так странно: Мария стоит рядом, держит мою лапу своими руками, и она — чужая... И я должен держаться как чужой...

Я не стерпел, не хватило у меня силы воли.

— Какая ты бледная! Устаешь, верно?

— Нет, я не устаю...

Но я-то видел, что она еле держится на ногах. Достал из сумки, из своего аварийного запаса, плитку шоколада.

Она шоколад взяла.

— Попролам, да?

Спросила это совсем как когда-то, как раньше. И мне стало так больно, что я рванулся уходить, зацепился перевязанной рукой и застонал от боли.

А она, как нарочно стала поправлять бинт и почему-то зубами, а не ножницами стала отрывать лишние нитки от марли. И пока она это делала, ее щека лежала на моей руке, и мне даже показалось, что она губами дотронулась до перевязанной ладони.

Я поскорее ушел.

Шел по траве, как слепой, спотыкался среди бела дня, бесился. Пришел к своей машине и набросился на механиков: они постукивали инструментами, как будто дятлы долбили дерево, проверяли все крепления.

Я напомнил механикам их старые грехи и требовал, чтобы они все сделали «на ять», превратили машину в игрушку.

Я понимал, что все равно люблю Марию, люблю, как и прежде.

— На вашем месте,— сказала я,— я бы начистоту поговорила с Кутасовым. С таким человеком, как он, можно разговаривать начистоту...

— А я так и сделал. Спросил у него, мы как-то снова сблизились после того собрания: «Что у вас с Марией? Я тогда... дома еще... слышал ваш разговор». — «Ты ложно истолковал». — «Ты ее на самом деле не любишь?» — «Нет. И она меня не любит... это блажь, фантазия, не больше...» — Голос у Кутасова звучал твердо, ровно. — Ты слишком много говорил ей обо мне...» — «Я тобой восторгался... это точно... я внушил ей». — «Вот видишь...» — В руках у меня была ветка рябины. Он почему-то взял ее у

меня из рук.— А ты черт знает что вообразил... и себя измотал и ее».

...Тихонов отвернулся от окна, в упор посмотрел на меня и сказал:

— Можете считать меня дураком, но я ему поверил...

Куда девалась моя деликатность? Я спрашивала прямо, настойчиво, и все равно Тихонов почти ничего не рассказал, не смог.

— Но вы сразу же после того, что сказал Кутасов,— вы сразу пошли к Марии, правда?

— Нет, у меня вылеты были. Я пошел к ней, когда уже было темно... Она была одна в своей палатке, спала... Я взял ее за руку, она вздохнула, пошевелинулась. И вдруг узнала меня, испугалась, стала выдергивать руку, натягивать на себя шинель. Я спросил: «Ты не меня ждала? Ты думала, что это кто-то другой...» В общем...— Тихонов замялся, но все-таки сказал правду,— в общем, я ее ударил. И она не закричала, не оттолкнула меня, и мне стало так стыдно и страшно, что я забормотал что-то вроде: «Прости, я застрелюсь! Прости!..» И стал отстегивать кобуру, ища револьвер, но она уцепилась за меня: «Саша, Саша, не смей... глупый». И знаете, что она сказала: «Ты меня ненавидишь, я знаю... ты стал совсем чужой, неужели ты не можешь простить?»

Тихонов исподлобья смотрел на меня.

— Кажется, я никогда в жизни не плакал, а тут мы оба заплакали... И знаете, о чем я тогда мечтал, в ту ночь? Чтобы у нас родился сын... я просто бредил этим...

Я рассказал Марии, как у меня было сухо и пусто на сердце, рассказал ей про утро, когда я лежал под лозами и все во мне тогда горело, все перегорало, как на костре. «Так нельзя,— это она мне сказала,— так нельзя. Воюют не мертвые, а живые...» Я много думал об этом и тогда и теперь часто думаю, как это верно!.. Если хотите знать, Мария вся в этих словах...

Я призналась Тихонову, что никак не могу представить себе, какая она, Мария. Всех себе представляю: и Синицкого, и Кутасова, и Ирину Синицкую, даже Туренкова,— но портрет Марии ему, Тихонову, решительно не удается.

Он задумался.

— Как бы это объяснить?.. Это все равно что рассказывать про самого себя: вот, я такой-то и такой-то пре-

красный человек. Нет, этого я не смогу... Это как кислород, понимаете, как озон. Это в вас, это вокруг вас, без этого невозможно...— Он смотрел в потолок, не на меня, но все-таки угадал.— Вытрите глаза, неудобно... еще подумают...

— Что подумают?

— Ну откуда я знаю что!

И все-таки я сказала ему прямо:

— Как же вы могли так мучить и себя и ее? Ведь достаточно было одного разговора — и все бы выяснилось. Неужели самолюбие было вам дороже любви? Почему женщины никогда не бывают такими жестокими? Нужно быть добрым...

Он передернул плечами.

— Добрым? В войну?

— Да!— сказала я горячо.— Да, даже в войну!..

— Не знаю,— задумался Тихонов.— Не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова стать добрым...— И вдруг взорвался: — И вообще, какого черта вас это интересует, добрый я или злой!

Я пришла к выводу, что вела себя неправильно: вовсе не было необходимости так срывать, укорять. Какое я имею на это право?

Узнай Екатерина Великая про этот разговор, мне бы не поздоровилось.

Поэтому в следующий раз я пришла к Тихонову ровная и бесстрастная, как воспитательница из детского сада, отлично изучившая педагогические труды Ушинского, Фребеля и Песталоцци, спросила, как его здоровье, похвалила погоду. Он рассердился:

— Похоже, что вы считаете меня дурачком. Лучше в прошлый раз было дать мне в морду, чем удаляться с таким благородным и оскорбленным видом.

Мне стало смешно.

— Но я не умею давать в морду.

— Когда-то и я не умел.

— Все-таки я не понимаю, что вызвало у вас такой гнев.

— Чувствительность ваша,— ответил Тихонов с ехидством.— Слезы... Женщины, даже образованные, не могут спокойно слышать о любви.

— Может, потому, что любовь — это самое прекрасное на свете...

Но Тихонов не засмеялся, не фыркнул, не скривил в усмешке рот. Я прибрала его тумбочку, выложила принесенные из редакции московские газеты, переменяла воду в баночке, где стоял пестрый горный тюльпан с узкими лепестками.

— Кто это вам носит цветы?

— Это Шура поставила.

— Сестра?

— А кто же еще? Конечно, сестра...— Тихонов помедлил, как будто ждал, что меня удивит, почему это Шура носит ему цветы, потом снова стал атаковать меня: — Вы такая чувствительная, что, наверно, и в кино плачете?

— Плачу. Но я редко бываю в кино. И до войны редко бывала.

— Ну да? Почему?

— Не знаю. Не всегда делаешь все, что хочется.

— А Мария очень любила ходить в кино...

Я поняла, что его задела мои слова о том, что я плохо представляю себе Марию. Видно, он думал об этом и вспоминал, что бы еще рассказать о ней, какими штрихами дорисовать ее облик. Но почему-то спрашивал меня обо мне, как будто мне легче будет так понять. По закону контраста, что ли?

Было чуть забавно, как впервые за всю историю нашего знакомства мы поменялись ролями. Он спрашивал, а я отвечала. Но спрашивал он не мягко, не исподволь, а строго, как судья. Вернее, как следователь на допросе. И, кажется, сердился, что я отвечаю не очень серьезно.

— Вот вы сказали, что не всегда делаешь то, что хочется. А что вам хочется делать? Вернее, что хотелось в мирное время? Что вам нравилось? Что теперь нравится?..

Я засмеялась.

— Ну, теперь я не та, что была. И пожалуй, такой уже больше не буду. Что нравилось? Ну, скажем, читать. Разговаривать, но не в компании, а с одним интересным человеком, с глазу на глаз. Работать. Заботиться о других. Что я еще люблю? Люблю, чтобы меня любили... Кошек люблю...

— Конфеты? — почему-то подсказал Тихонов.

— Нет, не очень.

Тихонов сказал негромко, с вызовом:

— Мария любила. Шоколад особенно. А платья?

— Нет, и платья не очень люблю.

— И Мария тоже не увлекалась нарядами. Разве ее можно сравнить с Ириной Синицкой? Та душу была готова отдать за красивую тряпку...— Он, должно быть, вспомнил, что Ирина и на самом деле отдала, продала или предала душу за тряпки.— Ах, черт! — вдруг сказал он и болезненно сморщился.— Ах, черт! — Потом вдруг с подозрением посмотрел на меня: — Почему вы ничего не сказали про своего сына?

— Потому что про это просто словами не скажешь...— И, чтобы уклониться от дальнейших расспросов, я сказала, посмеиваясь: — Зато теперь я больше всего люблю спать. Во сне так хорошо! И больше всего мне хочется как следует выспаться, но, увы, это недостижимо.

Шутка моя успеха не имела. Тихонов отнесся к ней равнодушно, безразлично. Но зато сказал:

— Мария жить не могла без книг. Она ведь тоже немножко... немножко была чудачка...

— Добрым? Легко сказать, будь добрым! Как я могу быть добрым, если с меня, с живого, содрана кожа? Если у меня сухо на сердце? Как бы вам это объяснить, не знаю... Одним словом, сухо на сердце. И сейчас сухо.

Я, как щенок, понимаете, тыкался из стороны в сторону и в кровь разбивался.

А вы хотите, чтобы я был справедливым? Вежливым? Всепрощающим? Нет, таким я быть не мог.

Думаете, я просто ревновал? Вы говорите, что достаточно было одного разговора — и все бы разъяснилось? Но я стал другим в первый день войны, не тем, кто бесился ночью от ревности и бегал, как безумный, по росистому лугу, вы понимаете? Совсем иное качество, да неужели вам не ясно?

Я был беззаботный, безмятежный дурак до первого боя. Я верил, что я хозяин неба, хозяин своей жизни, своего счастья. Но если я не умел защитить небо, если я не умел выполнить дело своей жизни, то, за что народ кормил, одевал и обувал меня, так какое право я имел тратить силы на то, чтобы защищать свою жену?

Но я любил ее и знал, что люблю. И конечно, мне было тяжелее, чем ей, от нашей размолвки. И вы не дол-

жны думать, будто я нарочно мучил ее. Да я... я сделал бы для ее счастья что угодно!

Но я плохо знал тогда, что делать с собой.

...Никогда я не видела еще Тихонова таким неистовым, таким беспокойным. Сама не знаю, отчего мне стало страшно.

Он сказал ровным, металлическим голосом:

— Тогда я еще не знал, какие меня ждут испытания...

Я побоялась спросить прямо. Только посмотрела на него и зачем-то сказала:

— А как Кутасов отнесся к тому, что вы с женой помирились?

— В сущности, это уже не имело значения. Мы недолго были вместе... через месяц Марию ранило глупой, шальной пулей, она умерла на моих руках.

Как-то вечером, провожая меня до ворот госпиталя, прислушиваясь, как звенит за глиняными домиками узких, кривых улочек старого города трамвай, Тихонов сказал в ту минуту, когда я меньше всего этого ожидала:

— Когда Марию похоронили, я сказал Кутасову, я же видел его глаза у могилы: «Не надо было меня обманывать. Я ведь не слепой, ты всегда ее любил...» А он ответил: «Есть закон дружбы. Долг. Да и что толку! Она-то любила тебя...» А по мне, поверьте, лучше бы она была с ним, лучше они оба были бы счастливы, только бы жила...

Теперь я реже бывала в госпитале. Просто не хватало сил.

Часто приходила Дуся и рассказывала, что с кем случилось. Она ненавидела Шуру за то, что Тихонов помогает ей заниматься. Она и сказала мне, что Тихонов задумал уезжать, хочет досрочно выписаться.

— Вы должны на него повлиять...— И еще она сказала:— Знаете, после войны я не буду жить со своим мужем. Я с ним сошлась потому, что у меня не было идеала...

Может, ей показалось, что я догадываюсь о буре, пылающей в ее душе. Гордо закинув голову, она остановила меня:

— Только поймите, я не тешу себя никакими надеждами. Просто я стала верить в любовь. Но и Шурке он не достанется, он должен быть верен покойной жене..

— А откуда вы знаете про его жену?— удивилась я. Дуся покраснела, потом опять вскинула голову.

— Двери такие тонкие, а у меня очень хороший слух...

— Но я вас прошу, Дуся, никому об этом ни слова.

Она не сказала ни «да», ни «нет», и я поняла, что историю Тихонова знает уже весь госпиталь.

Когда я пришла туда, то застала Тихонова в очень возбужденном состоянии. Его навестил знакомый из части, приехавший в командировку, и Тихонов хотел лететь с ним на фронт.

— Мне надо, понимаете, надо... у Кутасова неприятности...

— Какие?

— Этого вы не поймете.— Он уклонился от ответа.— Одним словом, командует нами Туренков, и он пришивает Кутасову дело... Похлопочите за меня...

Пришлось разговаривать с заместителем главного врача. Тот был утомлен, измучен операциями, не понимал, что я хочу, вернее, чего добивается Тихонов.

— Да успеет он умереть, передайте ему. Войны для него хватит, чего он торопится?

Я так и передала Тихонову в точности эти слова. Но он не испугался.

— А я уже умирал, мне не страшно.

И вспомнил свой последний перед ранением бой.

Ведущим был Кутасов, а с Кутасовым они никогда не уклонялись от встречи с противником, они навязывали бой, даже если численный перевес немцев был очевиден.

— Мы сбили уже два «мессершмитта», когда я понял, что машина моя повреждена. А тут из-за облаков выскочило вражеское звено. Я видел, как рванул туда Кутасов, он хотел отвлечь внимание на себя, принять бой, прикрыть своим истребителем меня, дать мне дотянуть на посадку.

Я не знаю летчика более благородного в бою, чем Кутасов. Но я не мог оставить его одного... Я поднял самолет повыше, горячее было уже на исходе, собрал все

силы и волю и ударил винтом в плоскость чужого истребителя.

Кровь застучала в висках, я не сразу понял, что падаю. Мне даже казалось, что это хорошо, что я падаю, лечу вниз.

А очнулся я уже в полевом госпитале. Слышу, красноармеец с соседней койки рассказывает летчику из нашей части: «Один из ваших ребят дрался против пяти, погиб, наверно, или сам сгорел в самолете. Самолет мы в снегу нашли, но человека там не было». Я хотел им сказать, что это, очевидно, я, что это как раз моя смерть, ведь он правильно назвал местность, над которой я дрался, но не мог вспомнить и понять, как я оказался в госпитале. Потом уже выяснилось, что из самолета меня выбросило, я упал далеко в стороне... Меня подняли солдаты из другой части. Они колебались даже, стоит ли меня поднимать. Один сказал: «Да он уже весь...» — но другие возразили, что все равно надо передать в часть, чтобы похоронили с почестями. А я был жив... Только долго не приходил в сознание...

...Я не очень удивилась, когда в редакцию позвонила Дуся и со слезами в голосе заявила, что Тихонов какой-то хитростью выманил у комиссара свои партийные документы и тайком улетел.

Время шло. Тихонов стал забываться, как забывается все на свете.

Осенью сорок второго года мне удалось слетать в Москву по своим личным делам. Москва поразила меня безлюдьем на улицах, тишиной. У подъезда грелись на солнышке бледные старики и старухи. Мало было детей, а когда встречались, то тоже поражали бледными своими личиками. Зато удивило меня, что на Арбате в магазине торгуют игрушками, а неподалеку в книжном магазине работает та же продавщица, что и до войны. Она узнала меня и слабо улыбнулась:

— Вы же были наша постоянная покупательница.

Эти дни в Москве я прожила со смешанным чувством. Я была дома, в своей комнате, с широким, во всю стену, окном, за которым по крутому тротуару переулочка мелькали ноги прохожих, трогала свои книги, свои вещи, спала на своей подушке, пила из своей чашки. И одновре-

менно все это уже было не мое, чужое, и все мои помыслы были там, где осталась работа, где остался под присмотром двух бабушек мой сын. С завистью я встречала товарищей в военной форме, с большими планшетами, — они приезжали с фронта и уезжали на фронт. Но все это было для меня пока недоступно, недостижимо. А раз недостижимо, то нечего было и горевать...

Обратно я ехала поездом и везла для домашних целую кучу вещей, даже игрушки для Саши, купленные на Арбате. Билет достался в мягкий вагон, и так не похоже было это удобное путешествие на то, когда мы ехали по этому же маршруту в эвакуацию! В первую ночь еще чувствовалось какое-то напряжение, еще проводник занавешивал окна, остерегаясь налета, а потом все успокоилось.

Вначале я была еще подавлена расставанием с Москвой, с домом. Как будто во второй раз отрезала от себя то, чем жила до войны. Потом стала присматриваться к спутникам.

Ехал какой-то хозяйственник-казах, очень молчаливый и щедрый. Он вез с собой банку икры и всех нас угощал. Ехала молоденькая, скромная и безличная девушка Оля. А наверху спал без просыпу какой-то военный. Товарищи погрузили его в вагон мертвецки пьяным.

На следующие сутки он отоспался и спустился вниз — лихой, красивый, в голубой майке, из-под которой выступала отличная мускулатура, и стал довольно бесцеремонно разглядывать и Олю, и меня, и казаха.

— Супруги? — неопределенно показывая пальцем то на Олю с казахом, то на меня, спросил он. — Нет? Тем лучше... — Он разговаривал ласково, весело, сказал, что его фамилия — Шевченко, обрадовался, что я родом с Украины, что знаю украинский язык, заявил, что уважает газетчиков, потом пригорюнился: — Плохо, это плохо, что вы моя землячка. Принципиально не ухаживаю за землячками.

От всего, что Шевченко говорил, слегка отдавало пошлостью, но, странное дело, он не выглядел пошляком, просто веселый, легкий человек. Таких любят и мужчины, и женщины, и дети.

Проводники добровольно превратились в его рабов, соседи по вагону тащили его к себе поиграть в домино и выпить. Нам он рассказывал интереснейшие истории из

своей фронтовой жизни, и мало-помалу выяснилось из его туманных намеков, что он кадровик, но попал к партизанам, а теперь едет в тыл, в военную академию. Но ни разу ему не удалось довести до конца ни один из своих рассказов, его, как шлюпку волнами, уносило в сторону — то к соседям, то останавливался поезд и его звали пойти разведать, что за станция, нельзя ли чего получить по продаттестату.

Мы с казахом и особенно Оля немножко ревновали и сердились, что нашего капитана опять увели. И вдруг мне пришло в голову, а не тот ли это Шевченко, о котором мне рассказывал в госпитале Тихонов. Тот ведь тоже был веселый и шумный...

В этот день долго не удавалось залучить Шевченко «домой», он едва не отстал от поезда, вскочил на ходу в другой вагон и, конечно, застрял там.

Проводник два раза ходил посмотреть и оба раза с восторгом сообщал, что капитан «гуляет» в большой компании, где есть аккордеон. Но Шевченко вернулся довольным трезвым и серьезным.

Оля смотрела в окно, я читала.

— Целоваться будем? — деловито спросил Шевченко у Оли. — Нет? И вообще ничего не будем?

— Конечно нет, — пролепетала испуганная Оля.

— Тогда хоть нарзану выпьем, — сказал Шевченко. Он ловко о край стола открыл бутылку. — Жаль, газу мало, выдохся... — Потом его внимание привлекла книга, которую я читала. — Толстенная, — сказал он со вздохом. — Отгуляю в дороге, отшумлю и возьмусь за такие вот книжки... Кошмар!..

Я стала расспрашивать его про партизанский отряд, не у них ли был командиром Синицкий, не у них ли была разведчица Катя.

— Это военная тайна, — сказал Шевченко.

— Какая же здесь тайна? — Я выложила все, что знала от Тихонова, и вдруг Шевченко увлекла эта история, он стал вдохновенно говорить, желая доставить мне удовольствие, что да, был у них такой командир, верно, бывший летчик, орел, а не командир, только очень строгий. Да, и Катя была, это тоже верно, красавица Катя...

Даже слезы выступили на глазах у капитана, он хлопнул рукой по колену вернувшегося в купе казаха, и изли-

вался перед ним, и жаловался ему. А тот сочувственно вздыхал и цокал языком.

— Да, это была женщина, амазонка!— говорил Шевченко, чуть не плача.— У тебя есть выпить?— И наливал и казаху и себе.— Ты знаешь, знаешь, какая у нас была любовь!.. Ну, как море...

Кончилось тем, что Шевченко напоил серьезного казаха, и тот тоже всхлипывал и жаловался:

— Тебя полюбит другая. А я? Я рябой...

— Рябой, ха! А душа?

— Я хочу, чтобы меня любила русская.

— Чудак! Ну и что? Сколько угодно!

— Нет, я рябой.

И опять начиналось:

— А душа? А дружба народов? Выпьем за Катю, за мою единственную привязанность, как я ее любил!..

Капитан врал, врал самозабвенно, но он сам поверил в свое вранье, так что и я за то время, что мы ехали вместе, почти привыкла к мысли, что это тот самый Шевченко. И невольно это напомнило мне о Тихонове, о миллом Тихонове, прятавшем от чужих глаз свою беду...

Конечно, мне казалось, что я никогда больше не увижу, не встречу Тихонова. Какими судьбами? И вдруг через несколько месяцев мне позвонила по телефону Дуся и, ужасно волнуясь, сообщила, что он приехал.

Слышимость была плохая, она кричала громко, как человек, который не часто пользуется телефонным аппаратом, и я поняла только одно — что нужна моя помощь.

Я ломала голову: какая помощь? Чем и как я могу помочь? Оказалось, что Тихонова не принимают на лечение, как самовольно уехавшего. Весь госпиталь пришел в движение, вернее, все молодые сестры. Они бегали, шушукались, шептались с врачами, умоляли. Романтический ореол, окружавший Тихонова, не потускнел.

А Тихонов, присмиривший и кроткий, но загорелый, обветренный и окрепший, сидел в общежитии сестер, на койке у Дуси, под лебедем, плывшим по коврику, и смиренно ждал.

Он не стал оправдываться, что уехал не попрощавшись, встретился, точно мы вчера только виделись, и кратко объяснил, что ему теперь еще важнее, чем рань-

ше, ну просто позарез надо восстановить подвижность суставов руки.

— Вы меня поймите правильно, вы не сердитесь,— сказал он.— Но я не мог больше лежать на койке и читать романы... Это же было дело случая, что меня здесь разыскал человек из нашей части. С ним я мог долететь без всяких формальностей. Это же—чудо, как я мог упустить такой шанс!.. Тем более я узнал, что Туренков клюет Кутасова...— Тихонов оживился, порозовел. И, как мальчик, подмигнул мне:— А меня там орденком дожидался, я-то думал, что он затерялся...— И тут же, позабыв об ордене, поспешно стал объяснять, как тяжело было, когда самолеты уходили в воздух, а он оставался на земле, томился без дела.—Начальник штаба сказал: «При твоих знаниях и опыте смешно так околачиваться и скучать. Командуй подразделением с земли». И все же это было не то,—признался Тихонов.— Видите ли, командир должен быть со своими питомцами в воздухе, в центре боя. Так я понимаю роль командира... так меня учил Кутасов. Из-за этого у них и были трения с Туренковым. Туренков предпочитал оставаться на земле.

Я перебила Тихонова и спросила, а как же Кутасов, какие между ними отношения, разговаривали ли про Марию.

— Нет, про это у нас разговора не было.— И, как будто не желая больше касаться этого вопроса, продолжал свое:— Однажды я, конечно, взлетел. Воспользовался, что начальства поблизости не было. Машина повиновалась мне с трудом, летное дело не терпит перерыва, потом ничего, освоился. Но все-таки это был не мой прежний полет, как говорится, не мой почерк...

Все время, что мы разговаривали с Тихоновым, в комнату заглядывала Дуся, подмигивала нам, как заговорщица, и снова уходила. В глазах у Тихонова загоралась надежда, но Дуся делала отрицательный жест — и глаза его потухали.

— Ну, когда приземлился, то тут оказался разгневанный Туренков, долго ругал меня, говорил грозные слова про дисциплину, про неподчинение начальству, про мальчишество, я даже взмок... А начальник штаба потом сказал мне: «Ну что ты такой нетерпеливый и несдержанный! Это дураком надо быть, чтобы удрать из госпиталя, от профессуры».

И он предложил мне выправить документы. Может, я и не вернулся бы долечиваться, не согласился бы, но Кутасов как раз стал носиться с идеей воспитания советских асов, и мне было бы очень обидно не участвовать в этом. Времена переменялись,— сказал Тихонов твердо.— Они уже не господствуют в воздухе, как это было раньше...

Тут опять заглянула Дуся и позвала нас:

— Идите к Екатерине Великой. Профессор вернулся из операционной.

Я так и не поняла, зачем мне надо было приходить в госпиталь. У Тихонова и без меня было предостаточно защитников и покровителей. Даже Екатерина Александровна не ругала его, а только слегка пожурила:

— Какое легкомыслие, как вы могли?! Это же мальчишество!.. Я даже не знала, как доложить о вас профессору, у него сегодня такой день...

Старшая сестра грустно покивала головой, поправила косынку и ушла в кабинет. Ее долго не было. Потом она вернулась и сделала Тихонову знак войти.

Дуся схватила меня за руку:

— Профессор такой строгий. Я так переживаю!..

Екатерина Великая прищурилась.

— Разве вы не на дежурстве?— строго спросила она у Дуси.— Разве у вас нет дел в палатах?

— Но это же наш больной! Он же как раз в моей палате и лежал...

— Он пока не наш больной, и вам нет до него никакого дела.

Дуся сердито вышла.

— Профессор резок, но у него доброе сердце. Я на то и рассчитываю, что голос сердца победит.

Она изрекала это так торжественно, что я и сама стала волноваться: а вдруг Тихонова не оставят... Но он вышел вскоре из кабинета такой счастливый, такой довольный, что можно было больше о нем не тревожиться.

Он поднял большой палец.

— Вот человек! Вот что значит, когда у человека хорошее настроение! Сразу сговорились, не то что в прошлый раз...

— Хорошее настроение?— удивилась старшая сестра.— Голубчик, что вы? У профессора погиб на фронте сын, только вчера пришло извещение...

Тихонов совсем растерялся.

— Неужели я так и останусь ослом, не научусь понимать людей!— сокрушался он, когда мы вышли в коридор.— Мне показалось, что он в отличном настроении, такой мягкий...

Я воспользовалась случаем:

— Вы и Дусю не понимаете. Смотрите, как она о вас беспокоится, как она...

Тихонов жестом остановил меня:

— Я понимаю, но я не хочу понимать. Прошу вас, скажите ей, что я ее уважаю как товарища, как веселого человека...

Я поняла его.

— Она это знает.

Тихонов объяснял мне, чего добивается Кутасов:

— Как бы вам это элементарно разъяснить? Летчик-истребитель выделяется среди других летчиков исключительно высокими боевыми качествами, это понятно. Техник пилотирования он владеет безупречно, поражает противника и мгновенно и точно. У него хватка, хитрость, инициатива действий, особая страсть к воздушному бою. На чем настаивает Кутасов? На инициативе, творчестве. Обнаружил противника — навязывай ему бой. Вот такая постоянная жажда боя плюс высокая техника и отличают аса. Не на словах, конечно. На земле многие держат себя уверенно и даже развязно. А в воздухе, в бою, теряются, переходят к обороне.

Так вот, Кутасов требовал такой свободы действия не только для себя, а хотел оттренировать группы таких истребителей, состоящие из слетанных пар. А наш Туренков боялся, что это онизит его роль как командира, подорвет его авторитет. И он копал под Кутасова. Он даже этот случай, когда я таранил, пытался поставить в вину Кутасову как ведущему в том бою.— Тихонов засмеялся.— Его мое возвращение в часть не очень обрадовало!..

— Как же так, как же так?— твердил Тихонов.— Как же это могло случиться? На фронте мы теряем людей, так это неизбежно, а здесь...

Я молчала.

Он вдруг вспомнил про Мана, и мне пришлось рассказать ему правду. Ман умер. Умер в больнице, как официально считалось, от авитаминоза, а попросту — от недоедания, от голода, считайте как хотите... Умер потому, что был одинок, несчастлив и никто не знал, что он так плох...

— Но он ведь художник, — сказал Тихонов. — Была же организация.

— Он не член Союза художников, и Союз не мог ему помогать. У них же фонды только на своих.

— А разве он не мог работать?

— Вероятно, в его возрасте и с его привычками уже не перестроиться, не приспособиться.

— Так что ж, выходит, он сам виноват?

— Возможно, он пожал плоды, ядовитые плоды собственного эгоизма.

Тихонов никак не мог примириться:

— А как вы думаете, он был счастлив когда-нибудь?

— Нет, — твердо сказала я, — я думаю, что весь его цинизм — защитная форма, а по существу он был несчастный, одинокий, даже добрый человек. Ему было трудно.

— Трудно? Почему?

— Вероятно, трудно быть только чьим-то братом, когда ты хотел стать художником. Когда ты был старше, уже рисовал и мечтал о славе, а около тебя вертелся мальчишка и обожал тебя, и ты снисходительно смотрел на то, как он пикирует на скрипочке, и радовался его первым успехам, и поощрял его, вывез его из провинции в Москву. А потом ты стал всего лишь его братом. Что же тебе тогда остается, кроме чудачеств, кроме того, чтобы внушать себе и другим, что, мол, на все наплевать... между тобой и миром лежит пропасть...

Тихонов долго молчал.

— Вот вы говорите, что он совсем один, — вдруг сказал он, — но я ведь тоже совсем один на всем белом свете: ни жены, ни родных...

— Вокруг вас всегда будут люди! — горячо отозвалась я. — И большое вам за это спасибо...

Я почти не видела Тихонова во время его вторичного пребывания в госпитале: очень была занята. Да и он не так нуждался во внимании, как раньше. Стал общитель-

нее, больше бывал с людьми. Дуся жаловалась, что в него влюблены все сестры, не только молоденькая Шурочка, и это ее очень тревожило.

— Женя уж на что гордячка, а и та... Куда только ее принципиальность девалась! Вчера так волновалась, когда делала ему укол, что чуть не сломала иглу. Я с нее три шкуры сняла на пятиминутке за это,— безжалостно сказала Дуся.— Она у меня и краснела и бледнела...

— Ну, ну!..— только и сказала я.

Но Дуся вознегодовала:

— Вы не думайте, что я ревную! То есть не к ней его ревную. Я не хочу, чтобы он так легко забыл жену.

— А с чего вы взяли, что он ее легко забудет?

— Такой же мужчина, как все. А хочется, чтобы он был идеальный...

Ей почему-то казалось, что моя власть над Тихоновым неограниченна,

— Но какое я имею право лезть в его личные дела?

— Печать. Пресса,—говорила Дуся.—Это великая сила...—И старалась раззадорить меня:—Шурка теперь ни одного урока без него не готовит.

Я ловила себя на том, что и мне не хочется, чтобы Тихонов увлекся Шурой: слишком много сочувствия взяла и у меня и у нас всех грустная история его любви. Эта любовь как бы облагородила всех, кто соприкасался с Тихоновым. Сестры и санитарки мечтали о такой любви...

Это я знала из сообщений Дуси. Она приходила иногда ко мне домой, звонила в редакцию. И о чем бы ни шел разговор, переводила его на Тихонова, за которым следила, как сыщик.

— Бывают же такие счастливые...—И спрашивала:—От чего это зависит, вы мне скажите? Когда я встрети-лась со своим, я немногим старше Шурки была... скромная, стихи любила. А разве он оценил? Нисколько... Вот вы в газетах пишете, скажите мне, от чего это зависит...

Я только пожимала плечами. Что я могла Дусе сказать? Кто знает, «от чего» это зависит.

Когда Тихонов пришел в редакцию накануне отъезда проститься со мной, мы долго стояли с ним на улице, около входа, под тенистым тополем. Я все-таки поинтере-совалась:

— А Шура?

— Что Шура?— не понял он.— Славная девочка, совсем еще дитя...

Дуся могла не беспокоиться.

Потом меня срочно позвали к редактору, и Тихонов пошел со мной. Я хотела их познакомиться.

У редактора сидел молоденький посетитель, весь, до корней волос, покрывшийся от смущения красными пятнами, как это бывает у рыжеватых подростков с еще не огрубевшей, прозрачной кожей.

Я сразу догадалась, кто это.

В феврале наши войска одержали великолепную победу под Сталинградом, завершили разгром немецкой группировки. Ох, что это был за праздник! Мы ходили счастливые, понимая, что теперь меняется весь ход войны, по многу раз смотрели кинохронику — белый снег, черные развалины домов и колонну пленных немцев, скорчившихся от холода, закутанных в какие-то платки и теплые тряпки.

Но война есть война, и победа добывается кровью. Весной, когда у нас в Средней Азии уже зацвел урюк, забрызгавший белой пеной сады, мы узнали о подвиге и героической гибели под Сталинградом девушки-связистки из Т., сестры этого самого рыженького мальчика, что сидел на краешке стула в кабинете редактора.

У какого-то хутора немцам, отчаянно цеплявшимся за каждый населенный пункт, удалось потеснить наше небольшое подразделение. До последней минуты поддерживая связь и вызывая огонь артиллерии, радистка оставалась на своем посту.

Захватив девушку с радиоаппаратурой, немцы зверски отсекли ей обе руки...

Девушка эта родилась и выросла в Т., здесь же в войну обучалась в школе связистов. Мы печатали в газете ее снимок перед отправкой на фронт: славное открытое личико, большие глаза, сбита набекрень пилоточка.

Это был, что называется, наш материал. Нам мерещилась хотя бы посмертная слава, ордена, что-то родственное известности Зои Космодемьянской.

Но смерть, как и жизнь, не всегда справедлива. И не всегда воздаст полной мерой...

Мальчик-брат — ему только исполнилось шестнадцать

лет — хотел пойти в армию добровольцем, отомстить за сестру, и просил содействия у нашего редактора.

— Поговорите с ним обстоятельно о детстве героини и напишите в номер, — сказал мне редактор.

Надо было расставаться с Тихоновым.

Все-таки я довела его до порога. Он посмотрел на улицу, обсаженную тополями, и сказал:

— Славный парнишка. Подумать только, что совсем недавно он, может, прогуливался с сестрой под этими деревьями, и сестра, вполне возможно, еще вела его за руку...

Вероятно, Тихонову хотелось что-то важное сказать мне, может, поблагодарить за внимание, за дружбу, но он так ничего и не сказал. Просто кивнул.

А потом вернулся и вдруг спросил доверчиво, как маленький:

— Вы и правда думаете, что Мария любила меня?

— Конечно, убеждена, что за вопрос!

Он внимательно посмотрел мне в лицо, внимательно и пытливо. Но я на самом деле так думала.

— Домой, в Москву, еще не собираетесь? — Он просто тянул время.

— Подумываю.

— Да, война покатила на запад. Теперь медлить нельзя... Ну, бывайте, надо идти... — решительно сказал он. — Два раза встретились, может, и еще повстречаемся...

Но больше в войну нас судьба не свела. Дусе он изредка писал, главным образом поздравления к праздникам, мне передавал приветы.

Потом и Дуся ушла из моей жизни. Остались только записи. Их я сохранила до сегодняшнего дня...

Встреча была и радостная, и печальная, и трудная. Не люблю я встречаться с людьми после стольких лет разлуки. Тихонова почему-то удивило, что я седая, но он вежливо утешил:

— Разве что седина. А так мало переменились.

— Когда-то вы отличались честностью, — засмеялась я.

И он засмеялся.

Мы перебрали людей, каких знавали в госпитале, сби-

вчидо ответили друг другу на какие-то общие, почти анкетные вопросы,— кто где был в каком году, кто где теперь работает. Тихонов перечислил свои награды, фронты, где воевал. Он очень поразился, что мой младший сын уже сержант-пограничник. Вспомнил Спирина: вот, мол, проходил по улице Горького, видел на стене дома мемориальную доску. Я рассказала, что знала, как жил он в последние годы, как, уже больной, выходил в гараж, заводил машину и слушал, как гудит мотор. Подолгу сидел так один, пока не приходила жена и не уводила в дом... Я все ждала, что Тихонов скажет что-нибудь о своей личной жизни, но он молчал.

Потом я вспомнила:

— А какая у вас просьба, вы говорили?

Он несколько сконфузился.

— Не то чтобы просьба, но не можете ли вы подсказать... где можно увидеть картины покойного Мана?

— По-моему, его никогда не выставляли... да и были ли законченные картины...

— Может быть, то, что он рисовал для себя, наброски...— нетерпеливо сказал Тихонов.— Хочется посмотреть, узнать, ну, был ли он талантлив, как вы в те годы любили говорить... Из-за этого я вас и беспокоил.

— А меня вы не хотели видеть? Ну, спасибо...

— Я думал, вы меня забыли, столько воды утекло...— И Тихонов снова стал спрашивать:— Талантливый человек не может быть одиноким, у него есть работа, дело... Вот и хотелось посмотреть. Понять...

— Я тоже спрашивала про его рисунки. Но никто не знает...

Тихонов огорчился, почти обиделся.

— Как же так? Ну как же так? — твердил он.— Ведь человек не может уйти из жизни, не оставив никакого следа. Правда, не может?

Я решила проводить своего гостя, был такой чудный весенний день. Мы миновали набережную, посмотрели, как бежит по воде мелкая, посеребренная, торопливая волна. Над высоким домом слева, на сиреновом фоне сумеречного неба, семья фанерных пингвинов рекламировала мороженое. Мы миновали широкий мост. Негр с фотоаппаратом, привалившись на парапет, смотрел на

громадный прямоугольник новой гостиницы «Россия». У кино «Ударник» стояла очередь за билетами на Неделю французского фильма. Мы пошли вдоль Кремля. За чугунной решеткой глянцевито блестела плотная листва Александровского сада, ярко пылали тюльпаны. Около памятника Неизвестному солдату, около огня вечной славы толпились люди.

Тихонова в его штатском пиджаке и плаще толкали и отталкивали так же, как толкали и отталкивали, протискиваясь ближе, других. Но и он работал локтями.

— Вот, думали ли мы... тогда, в сорок втором, что все вот так будет...— сказал он мне. И, кивнув, подбородком показал на гранитные плиты, на огонь.

...Теперь, когда он стоял, задумавшись, взволнованный, и ветер развеивал его волосы, мне казалось, что он почти совсем не изменился. Все тот же, все такой же. Мужественный, честный, такой обыкновенный и такой удивительный человек.

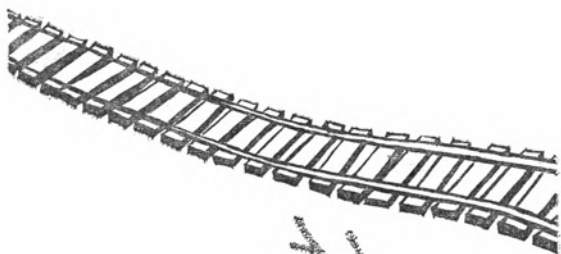
Мне хотелось сказать ему, что это он... ну, не он один, конечно... но он один из тех, кто своими подвигами, храбростью, героизмом добился нашей победы. Но как-то не говорят такие слова вслух...

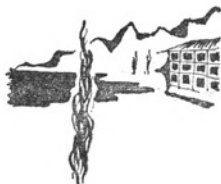
Надо было прощаться. Тихонов в тот же вечер уезжал.

Я понимала, что потом буду ругать себя, если не выясню, женился он или все еще верен своей Марии, что было маловероятно. И все-таки не стала спрашивать. Пусть в моей памяти все останется таким, как записано в старой, пожелтевшей тетради в клетку, пухлой от вложенных в нее листков и клочков, которую я только что заново перечитала...



РАССКАЗЫ





Первоцветы росли у самой дороги. Из-под холодных камней выбивались короткие стебли и желтые, как языки пламени, лепестки. Далеко на склоне горы, на круче, нарисованные тонкой кистью по бледно-голубому фону неба, стояли кипарисы. Как будто выбежали откуда-то и застыли в восторге.

Леонид Семенович прошел мимо развалившейся ограды, неизвестно для чего сложенной в этом глухом месте. Теперь уже кипарисы были под ним, и вовсе они не стояли неподвижно, а гнулись и качали вершинами под напором горного ветра. Он поднялся выше, постоял на скалистом уступе. И наконец ему открылось море. Отсюда, с высоты, оно казалось гладким, выпуклым, как серое шелковое, туго вздутое полотнище.

До чего же вокруг красиво! Леонид Семенович отметил это бесстрастно, почти машинально. Его не трогала и не веселила красота гор и моря. Неужели на него еще давит груз бессонных ночей, все эти утомительные заседания, суета, сотни выкуренных папирос? А ведь он на юге, в отпуске. Ему на законном основании дозволено не думать о служебных делах, можно читать художественную литературу, играть на бильярде. Он много гуляет, принимает морские соленые ванны. Однако усталость, даже не усталость, а вялость, не проходит. Ноги ватные, голова несвежая. Холодная весна? Ерунда, он северянин. Да и разве это холод, когда ярко светит солнце, цветет миндаль?

Леонид Семенович распахнул пальто, расстегнул верхнюю пуговицу на пиджаке. Скучновато одному? Но нет

же, он рад, что не встретил приятелей, — сразу же пойдут разговоры о делах, сослуживцах, перестройках, перемещениях. Нет, это он решил твердо, отдыхать так отдыхать... Врачи предписали полный покой.

Все это, конечно, так, все разумно, но Леонида Семеновича угнетает вынужденное безделье, томит беспокойство, одиночество. Он как рыба, выброшенная в бурю на берег...

Дорожка, обсаженная молодыми беспомощными деревьями, огибает гору, на вершине белеет колоннада облупившейся, полуразрушенной беседки. Виноградники остаются ниже. Как-то не верится, что скоро эти скрюченные стволы дадут зеленые побеги, покроются затейливо вырезанными листьями, напоят сладким соком гроздьев ягод. Черт побери, жизнь таинственна и прекрасна! Подумать только, мертвые стволы — и вдруг живой, пьянящий виноградный сок...

Леонид Семенович поднимался все выше и выше. Он дойдет до выступа, нависшего над пропастью, и все. Хватит. Отдохнет и повернет обратно. Там есть такой плоский камень, можно посидеть...

Но на камне уже кто-то сидит. Как досадно!..

Подойдя ближе, Леонид Семенович узнал женщину, жившую в том же доме отдыха, что и он сам. Молодая, худенькая, хорошенькая женщина. Впрочем, хорошенькая ли? Леонид Семенович как-то не разглядел ее как следует, хотя заметил, что носит она пестрые бусы поверх черного свитера, пышно причесывает волосы и часто меняет туфли: то надевает плоские, то на высоких каблуках, то обувается в сандалеты — какие-то красные полоски кожи, стянутые у щиколотки пряжкой.

Туфлями он интересовался потому, что несколько лет назад имел по работе касательство к легкой промышленности и теперь следил, по старой памяти, за достижениями в этой области. Как раз в те годы разрабатывались и утверждались образцы новой нарядной обуви. Помнится, он даже выступал по этому вопросу. В продаже такие сандалеты долго не появлялись, образцы показывали только на выставках, и знакомые женщины, жены товарищей, измучили его просьбами достать им такие сандалеты. Прошло несколько лет — и пожалуйста, заходи в любой магазин и покупай...

Леонид Семенович чуть замедлил шаги, хотел отды-

шатся, да и не знал — то ли пройти мимо, то ли остановиться. Он и Катерина (отчества он не знал) обедали за одним столом, но разговаривали редко. Эта самая Катерина (Петровна, что ли?) часто опаздывала, быстро, не подымая глаз, проглатывала свою еду, произносила какие-нибудь незначительные фразы о погоде или о том, что как хорошо — на третье сегодня мороженое, и уходила, мало интересуясь соседями.

Старичок, сидевший с ними, даже поддразнивал Леонида Семеновича:

— Ну, мы, пенсионеры, само собой... В нас что за толк? Но вы-то? Вы? Вами почему пренебрегают, а, дорогой москвич?

Леонид Семенович отшучивался:

— Не умею ухаживать...

— И вы не умеете, и она особа застенчивая...

И вот Леонид Семенович не только разговаривает с застенчивой Катериной, он гуляет с ней в горах, среди зарослей барбариса и шиповника. Она встала с камня ему навстречу, румяная, с подсвеченными солнцем пушистыми волосами, с гордо посаженной головой. Встретила его — как будто это предначертано судьбой. Не удивляется, не смущается, а просто идет рядом, раздвигает кусты, озабоченно трогает пальцем молодые травинки. И спрашивает, хмуря брови:

— Почему первоцветы растут на дороге?.. Ведь их могут затоптать...

— Не знаю, право...

— На редкость упрямые цветы. Ну почему бы им не расти на обочине! Вы любите цветы?

— Цветы? За что же их не любить?.. — Леониду Семеновичу как-то неловко. — А вы?

— Я собак люблю... — смеется Катерина и вдруг хватается Леонида Семеновича за руку: — Осторожнее, здесь колючки...

Леониду Семеновичу приятно, что Катерина держит его за руку, но в её заботливости есть что-то обидное для мужского самолюбия. Он пожимает ее пальцы, осторожным движением сгибает локоть и теперь сам ведет спутницу, как настоящий кавалер.

— Я заметил, что вы всегда одна. Почему это?

— Просто так...

— А вам не скучно?

— Мне так редко удается побыть одной...

— Поклонники?..

— Нет, что вы! Днем на работе, на людях, а дома у нас на всех одна комната...

— Да, жилищный вопрос полностью еще не разрешен...— чуть скучнее Леонид Семенович. Почему-то ему хочется говорить сейчас только о веселом, о радостном.

Катерина приходит ему на помощь.

— Но нам твердо обещали, мы надеемся...— горячо говорит она.

Леонид Семенович гнет свою линию:

— Но здесь? В доме отдыха? Почему вы в доме отдыха одна? И гуляете одна...— Леонид Семенович и сам толком не знает, что ему хочется выспросить у Катерины. Но она отвечает просто—его даже удивляет, как просто и прямо она отвечает:

— Болтливых, самоуверенных молодых людей я не люблю, женщины, как назло, подобрались малоинтересные. Лучше одной.

— Ну и ну... Не знаю даже, как и рискнуть предложить вам свое общество. Еще соскучитесь. Правда, я не болтлив... и не самоуверен...

— А вы почему один?— в свою очередь спрашивает Катерина.— Вы ведь тоже всегда один?

— Я?— мнется Леонид Семенович.— Да, я несколько тоже устал от людей... особые обстоятельства... надо кое-что продумать...

— Я так и предполагала.

Леонид Семенович польщен:

— Значит, вы все-таки замечали меня?

— А как же? Мне так хотелось знать, чем заняты ваши мысли...

— А вдруг не чем, а кем?— храбрится Леонид Семенович. Катерина пожимает плечами:

— Мне это не приходило в голову.

Леониду Семеновичу становится весело, легко, он оживленно болтает, смеется, делится своими наблюдениями над виноградными лозами, кипарисами, похожими на восклицательные знаки. Они понимают друг друга с полуслова. Кажется, что даже Катерина первая заметила, как похож далекий кипарис на восклицательный знак.

— В деловых бумагах этот знак препинания попадает редко,— шутит Леонид Семенович.— Но в любов-

ных записках, а? Катерина...— Он ждет, что ему подскажут отчество, но Катерина предлагает:

— Лучше просто Катя.

И с усмешкой отвергает предположение, будто она пишет записочки. Леониду Семеновичу это очень нравится. Теперь и он абсолютно убежден, что кипарисы — восклицательные знаки, а те хилые деревца, посаженные вдоль тропинки, — нестриженные, худые мальчишки. Долговязые, голенастые. Оказывается, у них общие вкусы, наклонности. Оба они считают, что «Член правительства» — хотя и старый, но замечательный фильм.

Они продолжают выяснять, кто что любит, и оказывается, что обоим нравятся старинные русские песни, только не разухабистые, а печальные, протяжные.

— Только не смейтесь надо мной, — признается Катя, — я люблю гитару...

— Да ну? Я тоже...

— Вы? Гитару?

— В сущности... это же народный инструмент.

Им так хорошо обоим, что Катя спрашивает:

— Мы будем дружить, да?

Леонид Семенович пожимает ей руку и просит:

— Зовите меня Леонидом. Не надо отчества.

— Ну что вы? Нет, нет и нет...

Он не настаивает. Только обиженно спрашивает:

— Разве я так стар?

Катя молча отрицательно трясет головой.

Не хочет, не надо: действительно как-то неудобно, она права. А все-таки, черт побери, хорошо бы обнять за плечики такую девушку и идти рядом с ней, прижавшись, и знать, что она твоя, а ты лихой молодой парень, у которого все еще впереди.

Катя наклонилась и сорвала два первоцвета:

— Один мне, другой вам...

— Желтый цвет к разлуке... — заметил Леонид Семенович, неумело вдевая цветок в петлицу.

— Предрассудки... — ответила Катя, но все же бросила первоцвет.

Минутами Леониду Семеновичу казалось, что все обстоятельства сложились как нарочно, чтобы они с Катей встретились. И в самом деле, никогда еще он не от-

дышал в такое время года — ранней весной, фактически даже в конце зимы. Обычно он ездил осенью, когда поспевали фрукты и можно еще было купаться в море. Ездил в ведомственные санатории, где молодежи почти не бывало, где в холлах висели картины и стояла новенькая мебель. Чаше он ездил в отпуск вместе с женой, иногда один. Но и один он не скучал, всегда находилось много знакомых, с которыми он или работал раньше, или встречался на заседаниях, или, во всяком случае, знал, кто они такие. Одно, как говорится, поколение, один, как говорится, круг «ответственных и руководящих».

Конечно, никого из этих людей он не мог встретить в доме отдыха общего типа. Поневоле должны были завязаться новые знакомства.

Теперь женщины...

В тех санаториях, где он обычно отдыхал, женщин бывало мало. Разве что приезжали с мужьями, но на чужих жен он, как правило, не заглядывался. Или появлялись женщины немолодые, сами занимающие ответственные посты. С ними Леонид Семенович играл по вечерам в домино и вел те же деловые разговоры, что и с мужчинами. Товарищи его, кто полегкомысленнее, совершали набеги на соседние дома отдыха, где знакомились с молоденькими текстильщицами и связистками. Леонид Семенович участия в этих набегах не принимал, стеснялся, хотя вообще к женской красоте был очень чувствителен. Только ему всегда хотелось чего-то большего, чем только внешняя красота... А тут молодая, умная, симпатичная женщина сама сделала шаг ему навстречу. Именно в ту минуту, в ту пору его жизни, когда он был уязвлен, растерян, даже несколько несчастен. И на интерес, проявленный Катей, он отозвался с горячностью, с большей горячностью, чем отозвался бы в другое время. Он так страдал от одиночества, от неурядиц на работе. Он изъят, искусственно выдернут из привычной среды...

Впервые за многие годы напряженной работы Леонид Семенович оказался совершенно свободным. В стране шла перестройка управления промышленностью, и учреждение, в котором он служил, реорганизовалось, слилось с другим, функции учреждения изменились, стали конкретнее, деловитее, практичнее. Был назначен новый начальник, намечены первый и второй заместители, оба специалисты с дипломами, с научными трудами, а с

назначением Леонида Семеновича произошла некоторая заминка. Не могли же в его возрасте, при его опыте, при его безупречном личном деле, назначить его третьим заместителем. Это ему даже не решались предложить. Все-таки он всегда работал первым замом, редко-редко вторым...

Уже давно кончилась работа, связанная с реорганизацией, и чего там окромничать — почти всю ее провел Леонид Семенович, всю эту волокиту с приемом и сдачей дел и материальных ценностей, с увольнением ненужных служащих и набором нужных, с выдачей характеристик и рекомендаций, с утверждением штатов. В кабинетах уже прочно освоились новые люди, в новом учреждении все стало входить в колею, а Леонид Семенович так и не получил никакого назначения...

Ему еще начислялась зарплата, новый «первый» еще уступал ему свое кресло и письменный стол, но с каждым днем неловкость положения становилась все более очевидной. Леонид Семенович захандрил.

Он совершенно не знал, куда девать себя.

Интересная штука: когда нет времени, то хочется и читать, и ходить в гости, тянет на природу, в лес. Но какое тут чтение, какой лес, когда голову ломит от невеселых мыслей. Да и в гости тоже не пойдешь в таком настроении. Леонид Семенович заскучал. Заскучал так, что от скуки даже пошел попариться в баню, где не был много лет, пошел в надежде на то, что, как в прежние годы, попарится — и повеселеет. Пошел, несмотря на насмешки жены, недоумевавшей, как это можно променять свою чистую, обложенную кафелем ванную комнату на жаркую, душную баню. Давно не испытывал он подобного удовольствия. Пластом лежал на скользкой каменной скамье, а старый банщик с могучими, узловатыми, как корни дерева, руками мyal и мыл его и вел с ним неторопливый научный разговор о том, что крови требуется доступ чистого воздуха. А откуда же воздух, если поры забиты? Вот и выходит, что надо распарить тело, открыть поры. Глуховатый голос банщика звучал убедительно, и Леонид Семенович поверил, что выйдет из бани поздоровевшим и бодрым.

Распаренный и красный, одевался он в предбаннике, около него на лавке стояла бутылка морсу. Рядом на скамье одевались русский веселый мужчина и мальчик лет

шести-семи, курносый, розовый, с бойким взглядом. Дети были слабостью Леонида Семеновича, именно вот такие, здоровенькие, лобастенькие мальчишки. Леониду Семеновичу вспомнилось собственное детство и тот торжественный миг, когда отец, хмурясь, сказал: «И не стыдно тебе, Ленька, с бабами в баню ходить? Ай-яй-яй! Ходи, сынок, со мной». Ощущение гордости, что стал наконец взрослым, стал мужчиной, вспомнилось так остро, что он заулыбался и заговорил с мальчиком, угостил его морсом и, как все взрослые, не имеющие сноровки в обхождении с детьми, стал задавать надоевшие мальчику вопросы: кого тот больше любит — маму или папу, кем желает быть — космонавтом или радистом, спросил, сколько лет. Мальчик отвечал без стеснения, но и не развязно. Сообщил, что скоро у него будет день рождения. Любит ли он свои дни рождения? Не любит? Почему это? А-а, понятно, не хочет подрастать, ленится ходить в школу? Нет, не ленится. А просто лучше, когда меньше лет... лучше, потому что не так скоро умрешь... У них во дворе умерла тетенька, все говорили: «Ну, ей уже много лет...»

«Ох, дурачок,— не без восхищения сказал отец мальчика.— Чем ты себе мозги забиваешь? Не смей думать про такие глупости...»

Леонид Семенович посмеялся, но вечером, ложась спать, вдруг подумал, что это действительно не так уж приятно, когда «много лет». Живешь, живешь — и все ближе к смерти. Ему под пятьдесят, он давно уже не любит ходить пешком, тем более что врачи находят у него расширение сердца. Незаметно подкрадывается старость, а он мало что выполнил из той большой программы, которую наметил когда-то... Не занимался по утрам гимнастикой, как много раз собирался, не научился говорить по-английски, не только не написал работы по экономике промышленности, которую задумал в институте, но позабыл все теоретические премудрости, которым обучался. У него нет сыновей. Он мало прочитал книг. Не был на Дальнем Востоке и в Средней Азии. Не работал в деревне, как мечтал в молодости. Раньше ему казалось, что все придет в свое время, все еще успеется. А теперь он понял, что перевалил через высшую точку своего жизненного пути.

И Леонид Семенович пожалел себя, Обидно стало,

что исчезнет его большое тело со следами ранений, исчезнут руки, которые теперь сделались мягкими и белыми, а когда-то ловко орудовали топором. Облетит и увянет «куст золотистых волос!». Рабфаковцы шутили когда-то, что у него «есенинская голова».

Он и правда, когда учился, был золотоволосый, стройный, только очень уж худущий. Со временем поправился, даже чуть потолстел. А волосы, русые, с золотистым отливом, поредели, и на высоком лбу прорезались еле видные морщинки.

Нельзя сказать, что Леонид Семенович раньше никогда не задумывался о своей жизни. Задумывался. И еще как. И замечал, что годы проходят. Даже шутил иногда: «Заедает работа, будь она неладна...— Или говорил: — Одним словом, еду уже назад с ярмарки».

Но когда-то он произносил это весело, лихо, понимая, что его реплика может только посмешить собеседников. А потом и на самом деле он стал ощущать легкое беспокойство, смутное недовольство собой. Внешне он этого, конечно, не проявлял — наоборот, становился даже увереннее в себе, научился управлять своими чувствами, сидеть на заседаниях с непроницаемым лицом, не улыбался и не аплодировал в театре. Но в душе его шла тайная работа, как начинается она на реке перед ледоходом. Что-то шуршит, трескается, ломается, и в эти почти незаметные трещинки просачивается вода.

Леонид Семенович не был самодовольным, самовлюбленным человеком.

Он не обижался, если ему указывали на ошибки или недостатки. Он и сам замечал их за собой, и когда замечал, то исправлял без всякой фанатерии и давал себе слово не сдаваться, засесть за книги, «подковаться». Но всегда что-нибудь мешало — то его перебрасывали на новую работу, то посылали уполномоченным или назначали членом какой-нибудь комиссии или юбилейного комитета. Он часто представлял в разных комиссиях. Вначале сердился на то, что отрывают от основного дела, потом смирился и привык. И где только он не заседал — и в профсоюзе, и в приемных комиссиях институтов, и здания принимал, и проекты памятников утверждал. Наедине с товарищами посмеивался над собой: «Токарь-универсал...» И те шутили: «Красота. И занят вроде, и не надрываешься...»

Опомнившись, Леонид Семенович вздыхал: «Но и свой-то воз тащить надо... Основные обязанности выполнять надо, с меня ведь спрашивают».

Работать он любил. Любил сложное хозяйство своего управления, доцесения, поступающие с заводов, любил директоров трестов и заводов, которые вечно чего-то требовали — то дефицитного сырья, то оборудования. Он любил переписку с другими ведомствами, особенно когда их можно было «подловить» на каких-то нарушениях, любил тяжбы с Министерством путей сообщения — это был мир его интересов и дел, где он чувствовал себя уверенно. То, что он мог легко решить сам, он решал, а в остальных случаях говорил: «Зайдемте-ка мы с вами к хозяину. Пусть Петр Ильич скажет свое слово...» Докладывал он объективно, подробно, со знанием предмета, но все-таки «да» или «нет» говорил Петр Ильич. И если Петр Ильич говорил «нет», Леонид Семенович, выходя с директором завода из кабинета, сочувственно разводил руками: мол, ничего не поделаешь... И директора говорили между собой про Леонида Семеновича: «Мужик золотой. Но не лев. Драться не будет...» — «Зато и пакости никому не сделает. А помочь рад. Нет, неплохой мужик...»

Да, его все любили, он легко уживался и с начальством и с подчиненными. С начальством устанавливал ровные, хорошие отношения. Без лишнего панибратства, но и без подхалимства.

И люди подчиненные любили Леонида Семеновича. Впрочем, у него и раньше никогда не было врагов. Еще в институте он слыл свойским, хорошим парнем, не отлынивал от дежурств, делился последним рублем и «пускал по кругу» ящик с посылкой, полученной от тетки из провинции. И позже, на работе, он был добрым товарищем, не критиковал резко, не нападал, уважал старых сослуживцев и помнил, как кого зовут.

Он всегда приходил на октябрьские и первомайские вечера в свое учреждение и не уходил после торжественной части, а оставался на концерт и даже танцевал, если были танцы. И под одобрительный гул всего зала он приглашал на вальсы самых пожилых, скромных сотрудниц. И они, эти скромные сотрудницы, перегрызли бы горло всякому, кто сказал бы плохое слово об их начальнике. Одной выхлопотал путевку, другой дал машину

привезти мужа из больницы, третьей ласково улыбнулся и спросил, вернулся ли из армии сын.

Да и с работой он вроде справлялся. Во всяком случае, ни разу не был снят. А повышения получал, перемещался все выше по служебной лестнице.

И ничего, потихоньку осваивал новое дело.

Даже года три работал в сфере, связанной с искусством. Ничего, он и там прижился, хотя и не нравилось ему. Узнал директоров театров, художественных руководителей. Люди как люди, в общем, со своими слабостями. И хотя душа никак не лежала к новой должности, но все же ляпсусов не наделал, глупостей не напорол.

Когда смог уйти обратно на хозяйственную работу, ушел, конечно, но пока надо было работать — работал...

В общем, все в его жизни шло ладно, шло гладко.

И если бы не реорганизация, он продолжал бы считать, что все у него идет хорошо. Ну, бывают шероховатости, заминки, так ведь без этого нельзя... Но чтобы он зимой, в самый рабочий сезон, маялся без дела? Два месяца ждал назначения? Он, который привык, что ему не хватает суток? И главное, никто его не подсидел, никто не желал ему зла, не интриговал против него... Просто ему как-то не находилось применения...

Чтобы ускорить, форсировать решение своего вопроса, он заговорил об отпуске, о расшалившихся нервах. Надеялся, что будут отговаривать, просить подождать. Но едва он заикнулся, как все будто обрадовались: да, прекрасно, великолепная идея, в Москве слякоть, стужа, а на юге уже весна... Жена, та просто пришла в восторг: «Ты поезжай, я тут без тебя проверну ремонт в квартире, не будешь путаться под ногами...»

И, лукавя немного сам с собой, он поверил, что да, устал. И до смерти захотел поскорее уехать. Непонятно было только, где брать путевку в хороший санаторий, он уже не числился ни по какому ведомству.

Конечно, достаточно было поднять телефонную трубку и звякнуть кому-нибудь из знакомых, но именно этого-то он и не хотел делать.

Ведь это факт: пока у тебя все хорошо, ты всем лужен, у всех за столом желанный гость... Но как только твое положение пошатнулось, сразу же наталкиваешься на кислые физиономии.

Старых друзей Леонида Семеновича, с которыми он

когда-то делил и горе и радость, разметало жизнью во все стороны. Кто скатился вниз, бесследно исчез, кое-кто, наоборот, поднялся слишком высоко. Осталось немного приятелей, которые держались на том же примерно уровне, что и Леонид Семенович. Но то ли все они очерствели с возрастом, то ли слишком все были заняты, а редко встречались для душевного разговора с глазу на глаз. Разве на вечеринках, в гостях, по праздничным дням, а какой уж тут душевный разговор? Выпивка, еда, анекдоты или пение хором. Ну, иногда легкий невинный флирт. Те же шутки, те же неуклюжие ухаживания, что и двадцать лет назад, хотя и женщины и мужчины на те же два десятка лет стали старше.

Леонид Семенович пошел в свой местком, где его все любили, и, как «простой смертный», взял обыкновенную профсоюзную путевку. На юг, к морю.

На юге, у моря, он и встретил Катю.

Леонид Семенович с Катей почти не разлучались — вместе ходили гулять в горы, вместе спускались на набережную смотреть, какого нынче цвета море — зеленое, черное или голубое. Танцевали, играли в волейбол, грелись на солнышке, сидя в плетеных креслах. Разговаривали мало. Катина молчаливость, так неожиданно сочетавшаяся с порывистостью, и нравилась Леониду Семеновичу, и немножко озадачивала. Она вдруг заявляла, думая о чем-то своем:

— Нужно быть добрым.

Или:

— Человек должен быть справедливым и делать все по справедливости.

И Леониду Семеновичу хотелось сказать Кате, что она роняет слова, как рассвет роняет на траву капли росы, сама не замечая, как прекрасно и верно то, что она говорит. Так же как цветок не понимает, как он дивно пахнет. Но он не мог вспомнить, где встречал подобное сравнение, побоялся показаться слишком чувствительным... И только умиленно вздыхал и кивал головой и тревожился — неужели она думает, что он несправедлив на работе или делает кому-нибудь зло...

Ему так хорошо было рядом с Катей. Так приятно, когда, подняв глаза, он наталкивался на ее открытый доверчивый взгляд. Это спокойное доверие трогало Леонида Семеновича. Умиляло его. В волнении он думал, что

Катя как спелое румяное яблоко с холодной гладкой кожицей, до краев налитое сладким соком молодости. Сейчас он протянет ладонь — и коснется этого яблока, прохладного и сладкого, такого дорогого его сердцу, желанного...

Однажды он спросил с беспокойством:

— Вам не скучно со мной?

Катя никогда не лукавила:

— Мне очень хорошо с вами...

— Чем же это? — Ему хотелось доказательств, аргументов.

Но Катя только сказала, и то не на него глядя, а куда-то вбок:

— Вы очень славный...

Леонид Семенович предпочел бы более точный, более обстоятельный разбор достоинств, которые в нем находила Катя, но он не решался настаивать и, стараясь приглушить свою радость, покачал головой и пробормотал:

— Бездоказательно... Все-таки между нами большая разница в возрасте...

Он тревожился, боялся, что выглядит слишком солидным, слишком скучным рядом с ней, слишком обыкновенным. А ведь все вокруг было так великолепно — зеленовато-серые горы, с которых еще не сошел снег, глубокая синева неба, навещающая размышления о вечности, нарядный розовый миндаль, море, для которого они с Катей уже исчерпали весь свой запас восторгов и сравнений, удобные кресла, фонтан, крупные звезды, запахи цветов и фиолетовые тени на дорожках. Все на этом замечательном фоне выглядело превосходно. Леонид Семенович всегда любил природу, всегда был внимателен к людям, а уж тут он размяк, растаял, потонул, погиб. Он влюблялся в Катю с каждой минутой все более отчаянно, но не знал, как сказать ей об этом. Он никогда не объяснялся в любви. Попасть в глупое, смешное положение отвергнутого ухажера было бы для него хуже смерти. А на что другое он мог надеяться? Все же через несколько дней, решившись, он увел Катю с волейбольной площадки к ручью, пересекавшему парк, и сказал почти сердито:

— Это не может дольше так продолжаться... надо положить предел... я не мальчик... Вы мне нравитесь... —

Он долго не мог выговорить: — Я вас люблю... — И с тем же сердитым и недоуменным выражением лица, как будто сам не мог понять, что с ним происходит, и злится на себя за непонятливость, он притянул Катю к себе и поцеловал. Сырая земля глухо чавкнула под его ногами. — Ах, черт! — сказал Леонид Семенович и перевел Катю на сухое место.

Катя блаженно улыбалась.

— Я не сплю по ночам... — все так же сердито, как будто перечисляя претензии, выговаривал Леонид Семенович. — Я как сошел с ума... Сам не знаю, что со мной происходит... Почему вы молчите... надо внести ясность... Скажите, ну, скажи же что-нибудь...

Катя полузакрыла глаза.

— А вы говорили, что желтый цвет к разлуке...

— Желтый цвет? Какой?

— Тогда, на горе... первоцвет...

Леонид Семенович не помнил. Он не понимал, что говорит Катя. Он пробормотал:

— Бог с ним, с первоцветом. Какой? Зачем первоцвет?

Он сознавал одно — сейчас он поцеловал Катю. А она не отвернулась. Торжественным движением, как чашу под благодатный дождь, подставила она розовые, холодные, веселые губы. Значит, и он ей нравится? Он радостно засмеялся. И обнял Катю. Их тени отразились в ручье.

— До самой смерти, слышите? До самой смерти... — сказала Катя и сильно стиснула горячими ладонями его руки.

— Да, Катя, до самой смерти, навсегда... клянусь...

Торжественность клятвы не смутила Леонида Семеновича. Ему важно было сейчас одно — знать, что Катя его любит. Волнуясь, он говорил, как он счастлив и благодарен, она вернула ему молодость, в их союзе он видит символ чего-то очень важного и значительного для него, любовь придает ему силу и уверенность в себе.

Испуганная Катя сказала:

— Я тебя не стою... мне так страшно... ну, что я рядом с тобой. Женщина, каких тысячи...

Стемнело.

В темноту аллеи, как корабль в гавань, всплыла большая луна.

— Посмотри, какая... прямо луница... — удивился

Леонид Семенович, готовый поверить, что луна светит сегодня исключительно для них двоих. Он задумался. Давно, ох как давно не приходилось ему смотреть на луну. Не обращал внимания. Пожалуй, с детства, с тех пор как перестал ездить в ночное. Он стал вспоминать те ночи, и друзей детства, и своих сестер, умерших от тифа в гражданскую войну. Катя слушала его, и с каждой минутой убеждалась, что Леонид Семенович замечательный человек. Она гордилась его биографией, его жизнью, тем, что он учился на рабфаке, был бригадиром плотников на Магнитке.

— Леонид! Леня! — произнесла она неожиданно, пораженная тем, что имеет право называть его по имени. Она долго повторяла нараспев, слушая, как музыку: — Леня! Леня! Леня!.. Потом она спохватилась: — Поздно, надо идти...

Они пошли к дому отдыха, смутно белевшему среди деревьев. В окнах уже не было света, и только фонарь у входа освещал массивные двери и кусок стены с наклеенным метеорологическим бюллетенем. Катя всплеснула руками, побежала, взлетела на ступени и скрылась в подъезде.

Спать Леониду Семеновичу не хотелось. Он обошел вокруг дома и посмотрел на темное окно Катиной комнаты. Очевидно, она легла, не зажигая лампы, чтобы не будить соседок.

На скамейке, зажимая меж колен допотопное ружье, сидел сторож Володя. Из-под теплого тулупа торчали его длинные ноги в белых туфлях. Собаки Цезарь и Машка лежали у скамьи, постукивая хвостами о землю.

Леонид Семенович щедро протянул раскрытый портсигар и спросил, лишь бы что-нибудь спросить:

— Всегда у вас такая холодная весна?

— А мы не здешние... — ответил Володя. — Переселенцы... мы сами только вторую весну живем... Хиба это холод? Ни снегу, ни морозу, на деревьях цвет...

— А ты сам откуда?

— С-под Киева...

— Тогда мы с тобой земляки. — Леонид Семенович постоял рядом с Володей, потом, изнемогая от избытка добрых чувств, спросил: — Ты что себе такую бесперспективную профессию выбрал? Молодой парень — и вдруг ночной сторож.

— Так нам же в армию скоро идти...— неторопливо пояснил Володя.— Придем с армии, тогда будем себе настоящее дело шукать...

— То-то...— уже рассеянно сказал Леонид Семенович и, поманив собак, пошел по дорожке. Собаки шли неохотно, лениво, но все же шли, как будто и им внушили, что желания отдыхающих, «больных», как их здесь называли, надо выполнять. Зачуяв запах чужого пса, они кубарем скатились в кусты и помчались куда-то с громким лаем. Потом вернулись и снова чинно пошли за Леонидом Семеновичем.

Ночь тянулась бесконечно.

Леонид Семенович выходил на залитые лунным светом полянки и смотрел на часы. До утра оставалось много времени. Он не выдержал, снова вернулся к дому и, подойдя под Катино открытое окно, тихонько позвал:

— Катя, а Катюша...

Она стремительно, как будто ее волной выплеснуло, появилась в окне.

«Не спала,—умиленно подумал Леонид Семенович.— Не может уснуть, как я...»

Катя сошла вниз, и, теперь уже вдвоем, они ходили по дорожкам. Цезарь и Машка плелись за ними.

— Я обожаю собак, Щенков...

— Я тебе подарю. В Москве,—пообещал Леонид Семенович.— Щенка от замечательной собаки подарю... у меня есть...

— Вы милый...— Катя берет руку Леонида Семеновича и прикладывает к своей щеке.— Вы славный, хороший человек...

— А кто обещал говорить мне «ты»?

— Я обещала...

— Но не говоришь,—обижается Леонид Семенович.— Ты просто считаешь меня стариком...

— Какая глупость. Я не девочка, увы. Мне под тридцать...

— Под тридцать! — смеется Леонид Семенович.— Тебе двадцать восемь...

— Откуда вы... откуда ты знаешь? — удивляется Катя.

— Когда мы шли в библиотеку, ты дала мне поддержать свой паспорт,—признается Леонид Семенович.— А я хотел узнать, замужем ли ты...

— Что можно узнать из паспорта? — задумчиво произносит Катя. — Ровным счетом ничего...

— Все-таки документ...

— Этого мало, — упрямится Катя. — Очень и очень мало...

Леонид Семенович спрашивает:

— Катя, а у тебя были раньше увлечения?

— Конечно...

— Почему же ты не вышла замуж?

Катя хмурит брови и мнет свой платок:

— Я не очень рвусь замуж, это во-первых, а во-вторых... у меня больная, раздражительная мать, истеричная сестра... кому охота связываться с такой семейкой, как наша... — Она пытается засмеяться.

— Странное рассуждение, — удивляется Леонид Семенович. — Если человек тебя полюбит, неужели его остановит, что у тебя семья... не вижу причины...

— Да?! — спрашивает Катя рассеянно. — Может быть... конечно, может быть...

Они садятся на скамью у фонтана. Голый каменный мальчик, как будто посиневший от холода, все вынимает из пятки занозу. Лунный свет не согревает его. Струйка воды лениво взлетает над головой и, журча, стекает с камней в бассейн.

Катя решается:

— Скажи, ведь ты женат, да?

— Женат. А что?

— Ты ее очень любишь? — уже ревнуя, спрашивает Катя. — Она красивая, да?

— Кто?

— Твоя жена.

— Ей-богу, я не знаю, — жалобно произносит Леонид Семенович. Ему неприятен сейчас разговор о жене. — Жена и жена. Ну что ты ко мне пристала, рыбка, с женой...

— Действительно, — не совсем уверенно говорит Катя. — Какое мне дело? Я люблю тебя, и мне совершенно безразлично, какая у тебя жена...

Катя могла бы подумать, что жена Леонида Семеновича тихая, незаметная женщина, каких множество. С такой женой живут не очень любя, не очень даже уважая. Живут по привычке.

Но это было не так...

Правда, Леонид Семенович давно уже не задумывался над тем, любит ли он жену. Ему и в голову не приходили подобные мысли. Жену он уважал, считался с ее мнением, даже втайне гордился ею. Еще студентом он женился на скромной табачнице с подшефной фабрики, а теперь она работала в редакции большой газеты. Не журналисткой, нет, ее работа носила скорее административный характер, что-то связанное с кадрами корреспондентов,— Леонид Семенович представлял это себе очень туманно, знал только, что ее постоянно выбирают в местком и в партбюро. Женщина она была неглупая, живая, цепкая.

Она и до сих пор посмеивалась, вспоминая, каким робким недотепой был когда-то Леонид Семенович. Как он краснел и млел, поглядывая на ее подругу Наташку, а Наташка тоже в свою очередь заливалась краской и млела. «Мне на эту канитель стало тошно смотреть, я прямо заявила подружке: имей в виду, отобью... И отбила... Если бы не я, они бы до сих пор канителились... Но я, если чего захочу, сворачивай лучше с дороги, все равно я своего добьюсь...»

Как будто она обожгла, опалила его в тот вечер у костра, когда поехали на массовку. Как пела, как плясала, как припадала к нему плечом, когда они вытаскивали из горячих угольев печеную картошку, круто носыпали солью и ели...

Наташка как-то полиняла, растворилась в вечерних тенях. И вообще растворилась и исчезла из его жизни. Как будто никогда и не существовала...

Леонид Семенович и не опомнился, а уже был женат, уже отдавал зарплату жене, уже хлопотал о новой комнате. Жена умела добиваться своего...

Леонид Семенович с удивлением отмечал, как она энергично шагает по жизни, как продвигается на работе, никогда не отстает от событий, знает все политические новости, в то время как он, говоря по совести, не всегда успевал толком просмотреть газеты. Леонид Семенович и не отрицал того, что сам он несколько тяжелодум. Он не умел торопиться. Жена всегда опережала его, всегда у нее было готовое мнение. Теряясь, не зная, что сказать, как ответить, Леонид Семенович как будто шутя адресовался к жене: «Ну что там у вас в редакции гово-

рят? Какая линия?» И жена смело выносила приговор новой пьесе, книге или поступку кого-нибудь из товарищей. Леонид Семенович в раздумье только покачивал головой. Иногда на следующий день или через неделю он вдруг находил нужные аргументы, чтобы поспорить с ней, но спорить было уже поздно. В конце концов, они виделись так мало — во время обеда или поздно ночью.

Честно говоря, жена даже помогала ему работать. Вдруг звонила и спрашивала: «Слушай, как там у тебя с новаторами? Это очень злободневный вопрос!» Или: «Слушай, вы проверяете кадры в своей системе? Чистоте кадров придается сейчас большое значение...» Она всегда была «в курсе». И Леонид Семенович невольно привык прислушиваться к ее советам.

Иногда он с грустью думал, что заработался, обрюзг, а жена вот помоложе, сильнее подкована теоретически. Она не признавала никаких компромиссов, а правду рубила сплеча...

Когда его назначили на работу, связанную с искусством, он несколько испугался. Боялся, что Маня, с ее резкостью, придется там не ко двору. Умолял ее помнить, что люди искусства как дети или, скажем, как растения, с ними надо поделикатнее.

Но, к его удивлению, Маня приняла перемену в жизни, близость к миру искусства весьма благосклонно. Охотно ходила с мужем на просмотры, знакомилась со знаменитостями, ввязывалась в споры. «Вы прямо-таки отгородились от народа, — смело говорила она. — А это, если хотите знать, уже давно не модно...»

Вообще она любила говорить про себя: «мы — простые люди», «народ считает», «народу это непонятно».

Вначале Леонид Семенович пугался, старался ее удерживать. Его удивляло, что образованные, искусственные в своем деле люди слушают Маню не только без раздражения, но даже громко восторгаются ее умом и вкусом. Постепенно он привык к этому и перестал удивляться.

Он даже не удивлялся больше переменам в их квартире. Появилась полированная мебель на дурацких тонких ножках, хрустальные вазы, к обеду ставился боржом. Маня стала подкрашивать губы, причесываться у парикмахера и шить себе модные платья.

Леонид Семенович не возражал.

И чего бы он стал возражать? Денег им вполне хва-

тало, у него запросы были самые скромные — на папиросы, на завтраки в буфете, и все. Детей у них не было. Помогать родственникам Маня не разрешала, она принципиально была против «помощи», против «подачек».

Леониду Семеновичу нравилось, что Маня красиво одета. С годами она даже расцвела, похорошела. Знакомые Леонида Семеновича иногда говорили ему:

— Ну и огневая у тебя жинка! На пять с плюсом.

И он скромно отзывался:

— Да, культурная женщина, ничего не скажешь...

А один старый приятель, знавший их с институтских лет, приехав в командировку в Москву, даже удивился:

— Смотри, как Мария обтесалась. Вот не ожидал... Ну, поздравляю, поздравляю... Рад за тебя... Моя уже совсем старуха стала, помнишь ее? Конечно, живем в провинции, в районе. Она и в холод и в дождь по больным ездит. Врач, профессия такая. Правда, депутат райсовета, авторитет имеет большой...

Конечно, Леонид Семенович промолчал, но его несколько покорибил такой отзыв о Мане. Они даже посмеялись потом с женой — можно ли сравнивать деятельность и «авторитет» районной докторши с деятельностью, авторитетом и кругом интересов Мани, уже довольно заметной общественной деятельницы...

Иногда Леонид Семенович досадовал, когда приезжал с работы и не заставал жены дома — все-таки скучновато одному в пустой квартире, но протестовать не смел...

А она действительно была много занята: работала, горячо участвовала в общественной жизни, поддерживала знакомства с интересными людьми, интересными не столько для нее самой, сколько для Леонида Семеновича. Когда они «соприкоснулись с искусством», стала часто ходить в театры и на диспуты, на выставки, узнала закулисную жизнь театров так, как никогда бы не узнать Леониду Семеновичу. Он перед актерами преклонялся. И то, что ему рассказывала и подсказывала Маня, очень помогало...

У нее появились приятельницы актрисы, критики, театроведы. С ними она ездила за город на дачи, слегка покровительствовала молодым талантам, подчеркивая при этом независимость своих взглядов от взглядов мужа. Она полюбила живопись. И когда приходила с мужем на открытие выставки, то выглядела потрясенной, взволно-

ванной. Шептала подавленно: «Какие краски, как оригинально... Ты только взгляни, как это впечатляет... Жуть».

Леониду Семеновичу не очень-то нравилось, когда на Маню находила этакая задумчивость и подавленность. Все казалось ему, что она кому-то подражает, рядится в чужие одежды. К счастью, томной, задумчивой она бывала недолго. Чаше шумно смеялась, бойко шутила и громогласно заявляла, что верх берет ее «натура табачницы».

Но именно эта ее «натура табачницы» казалась Леониду Семеновичу более симпатичной, более естественной. На его вкус, пусть бы всегда была такой... но разве Маня спрашивала у него совета, как себя держать? Держалась как хотела. И, надо сказать, все получалось у нее ловко. Леонида Семеновича, правда, корбила иногда ее бесцеремонность, но он смирался...

Ему самому больше по душе была бы простая жизнь и общение с хозяйственными или административными работниками. Здесь он больше был в своей сфере. Но ничего не поделаешь — он стоял на том посту, на который его поставили...

Иногда на него нападала, как он это называл, «тоска по родине», и он звонил в «свою систему», расспрашивал про перемены. А когда читал в газете сводку выполнения квартального или годового плана, то всегда тоже звонил: поздравлял или журил, смотря по обстоятельствам.

Маню эта его привязанность к бывшим сослуживцам просто возмущала:

— Ну для чего тебе знать про их проценты?

Леонид Семенович смущался:

— По старой памяти...

— Ну что за человек! Какая может быть старая память? Что за мелкобуржуазные взгляды?.. То старые товарищи, то жены старых товарищей, то сослуживцы... ты все бы им из дому отдал, если бы не я, ты бы пять выговоров имел за притупление бдительности, если бы не я...

И все-таки Леонид Семенович снова вырвался в промышленность. Вырвался и, казалось, облегченно вздохнул. Тут все для него ясно, просто, знакомо. Жена как будто поняла его. И не осудила. Только сказала:

— Чудак, Леонид. Что мне с тобой делать, с недотепой?

— Я там как по проволоке ходил, со всеми этими та-

лантами, вдохновениями, обидами, леший с ними... Надоело,— пожаловался Леонид Семенович.— Хочу ходить по земле.

— А там что — небо? — покачала головой Маня.

И всем стала говорить про него:

— Мой скромник опять начудил. Идеалист... Но, знаете, пожалуй, за это-то я его и уважаю. И даже оправдываю во многом. Надо работать там, где призвание...

И Леонид Семенович был признателен жене. Все-таки она всегда его поддерживает, во всем помогает... Не ее вина, что работа в промышленности оказалась для него на нынешнем этапе не такой простой и знакомой, как он ожидал. И когда обнаружилось, что и тут у него не очень-то ладятся дела, она ни разу не упрекнула его, не сказала, что, мол, зря ты возвращался на хозяйственную работу, я ведь тебя отговаривала, я тебе не советовала и тому подобное, как любят говорить жены мужьям, желая доказать свою правоту.

Нет, мнением жены Леонид Семенович очень дорожил. И растерялся бы, как ребенок в лесу, без ее советов. Так, по крайней мере, при каждом удобном случае говорила она сама. И Леонид Семенович вынужден был соглашаться. От правды-то не уйдешь...

И совсем не простые отношения связывали его с женой. И вовсе она не была заурядной женщиной, как подумала Катя.

Опять они пошли с Катей гулять по дорожке в горы. Как и каждое утро, как каждый день. Больше никто из отдыхающих в доме отдыха не подшучивал над ними, не называл «бедными влюбленными», не подмигивал многозначительно. Как будто все поняли, что тут не над чем подшучивать. А директор завода из Москвы, приехавший недавно, спросил вполголоса, когда Леонид Семенович остановился, чтобы поздороваться:

— Ты что это, друг, всерьез задумал?

— Что задумал? — переспросил Леонид Семенович, как будто не понимая.

— Ну... — директор затруднился. — Любовь-то крутить всерьез задумал?

— Ничего я не задумывал... — ответил Леонид Семенович.

нович.— Разве такое можно планировать или задумывать заранее...

— Очень уж женщина привлекательная,— сказал директор и посмотрел куда-то в сторону затуманенными глазами. И потом почему-то спросил: — У тебя ведь, Леонид Семенович, детишек нет?.. А то не глядят по голове нашего брата за любовные истории, особенно если детиски есть... Раз — и выговорок запишут...

— Ну, мне выговорок-то пока записывать не за что...

— Тогда извиняюсь...

И Леонид Семенович и директор преувеличенно бодро, шумно засмеялись, похлопали друг друга по плечу, неловко потоптались на месте и разошлись.

Леонид Семенович догнал Катю.

— О чем это он у тебя спрашивал? — с деланной беспечностью сказала она.

— Так, московские дела...

Катя засмеялась. Скомкала стебелек, который крутила в руках, отшвырнула его, откинула со лба волосы.

— Тебе тяжело со мной приходится, признавайся, ведь я такая эгоистка... Но мне каждую минуту хочется знать, о чем думаешь, с кем говоришь. Не хочу, чтобы ты на море один смотрел, не хочу, чтобы ты улыбался один, без меня...

Он ответил покорно:

— А я не буду. Зачем это я пойду к морю один? Не пойду я один к морю. Честное слово.— И прибавил беспомощно, как будто не умел говорить нежные слова: — Деточка ты моя дорогая...

Он не знал, как выразить свою нежность, свое волнение, свое восхищение этими пронизанными солнцем волосами над тонкой белой шеей. Завитки над шеей сводили его с ума. Руки с беспокойными длинными пальцами сводили с ума. Тонкие каблукки. И как только заметил, что один каблукочек вот-вот сломается, даже обрадовался, что нашлось дело. Как будто это давало выход накопившимся чувствам.

— Я почию. Приколочу камнем...

— Ну что ты, мне неловко... Лучше я потом отнесу сапожнику...

— Что же ты, не доверяешь мне свой каблук?..

— Не доверяю? Тебе?

Катя скинула с ноги туфлю, как будто жизнь свою вручала ему, свою безопасность.

Он удивился:

— Какие у тебя узенькие ступни...

Она сидела на валуне, поджав под себя ногу, пока он орудовал камнем и перочинным ножом, и, подставляя себя солнцу, жмурилась:

— Люблю тепло, как ящерица... Я не люблю холодов, вот ты увидишь, как зимой...

Что-то в ее лице сразу потухло, она осеклась, как будто пожалела, что заговорила о зиме, испугалась, что навязывается, — ведь сейчас еще весна, будет лето, осень, потом лишь зима, а она уже бесцеремонно распоряжается им и всеми его четырьмя временами года, так, мол, уверена в своих правах. Леонид Семенович вопросительно поднял брови, заинтересовался, есть ли у нее шуба или там жакетка меховая — так, что ли, называется? — и заявил, что не позволит ей щеголять в легком пальтеце...

Заявил и смутился. Что это он наперед загадывает?

Но она и не спросила, по какому же это праву он будет позволять или не позволять ей, она как будто не заметила, что он уже сейчас, весной, говорит об их отношениях зимой, и Леонид Семенович с благодарностью — как будто опасный риф обошел! — вздохнул.

— Мне совсем не холодно в моем пальто. Я очень быстро хожу... — сказала Катя.

— Ребенок ты, ну просто дитя...

Он присел на корточки, надевая ей на ногу починенный башмак. Пошутил:

— Меньше рублевки за работу не возьму, и не надейтесь, гражданинка...

Катя ответила без улыбки:

— Ты все со мной как с маленькой...

Ему показалось, что в голосе ее прорывается досада.

Что ж, он и сам понимал, что пришла пора прояснить их отношения. Время беспечных шуток и смеха прошло. И Катя, видимо, мучается, хотя из гордости молчит. И ему не по себе...

Он отшутился, отбился, когда отвечал утром знакомому директору, но сам понимал всю шаткость своей позиции.

Да, пора наконец разобраться во всей этой истории с Катей.

Одно было ясно ему: он не представлял, что может наступить день, час, минута, когда он останется один, без нее.

Он огляделся вокруг: первоцветы уже отцвели, увядали. Их яркая желтизна потускнела. Обгорелые лепестки незаметно умирали в пышно разросшейся траве. Горные склоны были теперь усыпаны красноватыми мелкими цветочками на жестких стебельках и большими узорчатыми листьями тоже жесткого папоротника.

Весна капризничала, часто менялась погода, по утрам из ущелий наползал молочный туман, раздираемый потом, к полудню, на прозрачные клочья ветром. Но все же лето неотвратимо наступало.

Леонид Семенович с грустью отметил, как изменился пейзаж, как погустели краски, какой плотной стала листва. Черт знает, как быстро идет время...

Скоро уезжать, расставаться... На лице Леонида Семеновича отразилась такая тревога, что Катя спросила испуганно:

— Что ты?

— Тебе не холодно?

— Нет, спасибо...

— Надень все-таки кофточку, простудишься... Или, хочешь, мой пиджак на плечи...

— Милый ты мой, не надо...

В этот день Леонид Семенович не шутил, как обычно, не рассказывал длинных историй из своей жизни. А все смотрел с жадным беспокойством на Катю, гладил ее руку. И даже спросил:

— Неужели ты правда никогда по-настоящему не любила до меня? Не может быть! Такая красивая...

— У меня такое чувство,— печально сказала Катя,— что я и не жила раньше, до встречи с тобой...

— Но почему, за что ты могла меня так полюбить?

Катя пожала плечами:

— Я не знаю...

— Как это — не знаю? — недоверчиво покачал головой Леонид Семенович. — Ты должна знать...

Катя не спорила.

— Откуда мне знать! — И прижалась к нему.

Им трудно было не соглашаться друг с другом. О чем бы они ни разговаривали — о фильмах, которые показывали в доме отдыха по вечерам, о картинах художников,

выставленных в клубе на набережной, о статьях в газетах,— настоящий, серьезный спор не получался. В эту начальную пору их любви убедительнее логических доводов был поцелуй, пожатие руки, волнение, когда плечо касалось плеча.

Споры возникали и гасли. Каждый из них охотно поступался своим мнением, то, что соединяло их, было для обоих гораздо важнее и нужнее...

То, что соединяло их...

Но что, что их соединяло?

Леонид Семенович должен был ответить себе на этот вопрос.

Чего он только не передумал в ночные часы... То решилась ему «Дама с собачкой» Чехова, которую он давно не перечитывал, но зато два раза видел в кино, когда принимали и обсуждали фильм, и он воображал себя Гуровым, которого преобразила и переродила любовь. Но ему очень мешало то, что артист Баталов, игравший Гурова, был красив и молод так, что ему приходилось прятать свою молодость, прикрывать ее отпущенной бородкой, степенной походкой, толстым обручальным кольцом на пальце. Оба они, и Баталов, и Ия Саввина, игравшая «даму», были молоды и трогательны, особенно Саввина; казалось, будто двое детей затерялись со своей любовью в мире взрослых, грубых, жестоких, равнодушных людей, запрещающих им любить друг друга и быть счастливыми.

Леониду Семеновичу никто не мог ничего запретить. Кроме себя самого...

Конечно, ему, увы, не надо было, как Баталову, прибавлять себе возраст. Но проблема была и не в возрасте. Здесь не было шаблонной ситуации — старик и молодая, отнюдь. Леонида Семеновича мучило то, что кроме «Дамы с собачкой» ему лезли в голову еще десятки анекдотов о курортных связях, десятки историй о том, как в доме отдыха заводят шашни. Это унижало и опошляло его отношения с Катей.

И он уклонялся от решительного объяснения.

Но только ли поэтому?

Когда Катя спросила утром, о чем это они разговаривали с директором завода, Леонид Семенович, не запнувшись, солгал, что о «московских делах». Они все время вертелись у него в голове, эти московские дела, о

которых он как будто совсем позабыл, но, оказывается, не забыл, и хотел бы забыть, да не мог, как ни старался...

Он уже не отделял Катю от своей настоящей жизни, но ведь здесь, у моря, все-таки была не жизнь, а отдых... Жизнь начнется, когда кончится отпуск. Кончится Крым, дом отдыха, безделье, горы. А Катя?

Он стал мечтать, что все как-то само собой устроится, утрясется, встанет на свои места. Теперь он чувствовал себя помолодевшим, способным на большие дела. Как только вернется, поставит вопрос круто, пора браться за работенку, запрягаться...

Положа руку на сердце он мог сказать, что работал всегда честно, всего себя отдавал работе. И по ночам сидел, когда бывало обыкновение работать ночами, и отпуска не брал, если нельзя было. Никогда не хитрил, не искал личной выгоды, не злоупотреблял положением.

И не его вина, что кому-то взбрело в голову, будто учреждение должны возглавлять инженеры-специалисты. В принципе, может, это и верно, но и он ведь экономист, если верить диплому. Правда, подготовка у него несколько слишком расплывчатая, слишком общая.

Ну, а опыт? А практика? Он утешался, вспоминая свои награды и благодарности в приказах. За что-то ведь его благодарили, за что-то награждали?..

Что же, он не понимает новые задачи? Не знает, что работать надо более гибко, конкретно? Прекрасно знает. Да, он предпочел бы иметь точную профессию — металлург, химик, строитель. Но ведь не боги горшки обжигают. Он ведь еще не вышел в тираж! Он полон жизни, полон энергии, он еще нравится молодым, прекрасным женщинам, если на то пошло...

Ему казалось, что Катя, с ее чуткой проницательностью и доброй душой, подсмотрела и увидела в нем самое лучшее, то, о чем и сам он стал с годами забывать, — его деликатность и честность, его нежную привязчивую натуру, его горячую преданность делу. Разве ему оклады или высокие посты нужны? Была бы работа по душе... Приносить бы только пользу народу.

Ну ладно, он отбросит свою гордость и обидчивость и, как только вернется домой, переговорит с Алексеевым. Может, Алексеев поможет ему, «повлияет» на Пархоменко, который, как по дружбе рассказали Леониду Семеновичу, не считает его инициативным работником,

да еще напомнит о нем на заседании комитета — и все пойдет как по маслу... Не надо только теряться и вешать нос...

Никто не поверит в человека, если человек сам в себя не верит. Но, конечно, работать придется по-новому, не сидеть на месте, а больше бывать на предприятиях, брать на себя ответственность, заимствовать опыт и тому подобное...

Леонид Семенович вдруг спохватился, что давно уже идет рядом с Катей и молчит, занятый своими думами. Он обнял Катю за плечи.

А она опять спросила, жалко усмехнувшись:

— Но ты любишь свою жену? Очень любишь?

— Да нет, не очень... — Он поправился: — Вовсе я ее не люблю...

Губы у Кати задрожали, как будто она хотела заплакать.

— Нет, ты скажи мне правду, ты ее очень любишь?

Леонид Семенович неосторожно сказал:

— Я люблю тебя, Катенька, я люблю тебя, и следовательно — ты моя жена..

Погода испортилась.

Дождь. Холодно. Неуютно. А в тесной комнатке, где жил Леонид Семенович, топился камин. Катя сидела у самого огня, на коврике. Леонид Семенович подремал бы, монотонный шум дождя за опущенными шторами нагонял сон, но он стеснялся. Полулежал на кровати и слушал. А Катя нараспев читала стихи.

Прощай, мое лето,
пора мне,
на даче стучат топорами,
мой дом забивают дощатый,
прощайте...

Она потянулась, помешала кочергой дрова. Пламя осветило подбородок, выхватило из темноты красную воздушную косыночку, повязанную вокруг шеи.

...спасибо, что в рощах осенних
ты встретилась, что-то спросила,
и пса волокла за ошейник,
а он упирался,
спасибо...

— Я не забыл про щенка, я подарю...— сказал Леонид Семенович.

А Катя продолжала:

Но вот ты уходишь, уходишь,
как поезд отходит, уходишь,
из пор моих полых уходишь,
мы врозь друг из друга уходим,
чем нам этот дом негоден?..¹

И замолчала.

До Катиного отъезда оставалось всего два дня. Два коротких утра, полудня, вечера. Два раза еще будут сумерки, закат, луна — и все. Как не хотелось Леониду Семеновичу отпускать от себя Катю, каким бессмысленным станет его пребывание здесь без нее. Что он будет с собой делать?

Он сказал жалобно:

— Катюш, ну неужели ты не останешься? Пойми, я не могу без тебя..

Катя молчала. Сидела, положив подбородок на согнутые колени, и смотрела в огонь.

— Катя,— позвал Леонид Семенович.— Катя, ты что? А ну, посмотри на меня...

— Зачем?

— Ты плачешь? А ну, покажи глаза...

Леонид Семенович соскочил с кровати, подошел, поднял Катину голову.

Серые глаза были полны слез.

— Ты из-за стихов плачешь?

— Да...

Леонид Семенович не поверил:

— Неужели из-за стихов?..

Он положил руку на теплые Катины волосы, согретые отблесками пламени.

— Ты совсем как ребенок, даю слово...

Катя усмехнулась:

— А ты... ты немножечко все-таки чиновник... Да, я плачу из-за стихов...

Леонид Семенович обиделся. И сказал, доставая папиросу и закуривая:

¹ Андрей Вознесенский, «Осень в Сигулде».

— В бюрократизме меня еще никто никогда не обвинял...

— Я не сказала бюрократ, я сказала чиновник...

— А что же, по-твоему, чиновник?

Катя, как она часто делала, пожала плечами:

— Чиновник и чиновник, откуда я знаю?.. — И опять вспомнила строчки:

Но вот ты уходишь, уходишь,
как поезд отходит, уходишь...

— Никуда я не уйду, — тихо сказал Леонид Семенович. — И ты не должна от меня уходить...

...мы врозь друг из друга уходим,
чем нам этот дом неугоден?.. —

сказала Катя. И откровенно, не таясь, заплакала. Но тут же вытерла слезы, засмеялась, встряхнула головой, успокоила растерявшегося Леонида Семеновича: — Это все дождь виноват. Вообще-то я никогда не плачу...

Леонид Семенович недоверчиво покачал головой. Он сидел теперь на краю кровати, а Катя на ковре, прижавшись затылком к его колену.

— А все-таки ты могла бы остаться еще на несколько дней, — задумчиво сказал Леонид Семенович. — Ну, пошли телеграмму, попроси за свой счет. Не съедят же тебя...

Катя замахала головой: ты не представляешь, какое у меня строгое начальство...

— А ты начальства боишься?..

Она нахмурилась:

— Нет, не то что боюсь, а...

И стала рассказывать, что у нее заведующая женщина, «самая обыкновенная... даже не очень умная, не талантливая. Но она у нас главнее всех, ты понимаешь?.. Не только я, все ее побаиваются, честное слово... Все прислушиваются к ее мнению...». А она без Кати как без рук, она вообще всю работу сваливает на сотрудников. А сама бегаёт по заседаниям...

— Глупости какие... — возразил Леонид Семенович. — Что же она за цаца такая, чтобы ее боялись?

— Да не цаца она вовсе, — сказала Катя, морща брови. — Но у нее муж очень важный... поэтому и она в силе...

— В какой это такой силе? У вас что, демократии нет, в вашем учреждении?— несколько строго остановил ее Леонид Семенович.— Не верится, чтобы какая-то старая ведьма...

— А она не старая,— сказала Катя,— очень даже молодая... И вовсе она не ведьма. Красивая... и не очень злая... Но ей все можно, как бы это объяснить? Как будто она — это и есть народ, а мы... не знаю, как объяснить... она на всех смотрит с подозрением, и все невольно начинают оправдываться... Еще за что я ее не люблю? Она мне рассказала, что терпеть не может животных. Когда муж уезжает, то она собаку привязывает на веревке во дворе... Рассказывает и хохочет... А я считаю, что человек, который не жалеет животных...

— Гм...— покачал головой Леонид Семенович.— Здорово, видно, тебе насолила начальница...

— Мне? Насолила?— возмутилась Катя.— Как это она мне может насолить? Но я не хочу ее просить, вот и все... не хочу у нее одалживаться...

— Очень уж вы нынче избалованные, амбициозные стали, молодые люди,— с упреком сказал Леонид Семенович.— Все вам не так, все вам не то... «одалживаться не хочу»... Ты не обижайся, я не лично про тебя... Но это факт. Вы не знали в жизни трудностей, ваше поколение...

— А почему ты считаешь, что я не знала трудностей?— вдруг обиделась Катя.— Ты просто никогда не спрашивал, как я живу...

— Я спрашивал.— Леониду Семеновичу стало неловко.— Я знаю, у вас кто-то болен. Сестра нервная...— старался он припомнить.— Отец погиб на войне.

— Я жила как все,— сказал Катя.— Но из-за того, что мама болела, а сестра такая раздражительная...— она замялась.— У нее была неудачная любовь, неудачное замужество, у нас в доме очень тяжелая обстановка... а ты не представляешь, как трудно жить среди обиженных судьбой людей. Сестре всюду чудился обман, она и меня всегда предостерегала, ссорилась со знакомыми. Мать ее во всем оправдывала, жалела. Я по натуре жизнерадостная, и меня столько раз этим попрекали...

Леонид Семенович крикнул. Ему неловко было слушать Катин рассказ развалившись, он сел, застегнул воротничок. И спросил смущенно:

— Вы и материально плохо жили?

— Очень,— сказала Катя,— очень плохо. Но это не так важно... В нашей квартире весь народ был, как на подбор, не очень имущий, зато веселый... Кроме нашей комнаты...

— Но ты-то была веселая?— с надеждой в голосе спросил Леонид Семенович, как будто он был виноват в том, что Кате жилось не сладко, и если окажется, что она не очень от своей жизни страдала, то и вина его не так будет велика.

Катя засмеялась:

— Я долго не сдавалась... А потом они меня запилили, мама с сестрой. И я сдалась... Тоже стала замкнутой, полюбила одиночество. Никому не стала навязываться...

— Навязываться?

— Ну да... я дружила с одним мальчиком... еще в школе. Мы на каток ходили, он за меня платил, уроки готовили... но нет, не будем лучше об этом вспоминать...

— Как хочешь,— натянуто ответил Леонид Семенович.— Но я не понимаю, при чем тут мальчик...

— Просто его родители не пожелали, чтобы мы дружили... вот и все...

— А я уж подумал...— Леонид Семенович с облегчением вздохнул.

Он обнял Катю. Она молча прильнула к нему.

— Славная моя девочка,— шептал он.— Никому не дам тебя в обиду... я все понимаю...

Катя стала горячо говорить, что она полюбила его за то, что он все понимает. В ту минуту, как увидела, подумала: «Этот человек способен все понять». Как странно, как будто она ждала его все эти годы... Подруги смеялись над ней, что фантазерка, ненормальная... Но она придумала давно уже, что встретит такого человека...

Она не ходила на вечеринки, когда звали, и на танцы не ходила. Не интересовалась. Работала, училась. Много читала. Да и какие там вечеринки или танцы — как придешь домой, так начинаешь вертеться как белка в колесе,— то мать лежит с сердечным припадком, то у сестры дурное настроение...

— Не надо вспоминать об этом,— просил Леонид Семенович.— Теперь все изменится...— И многозначительно обещал: — Ты будешь счастлива, я обещаю...

— Я могу быть счастлива только с тобой,— грустно сказала Катя.— А это невозможно...

— Почему?

И оба сразу вспомнили, что им осталось быть вместе только два дня. Ветер отворил раму, и из-под толстой коричневой шторы поползла в комнату сырость. Дрова в камине перегорели, рассыпались угольями.

Леонид Семенович встал, чтобы притворить окно.

Но нет, ты уходишь, уходишь,
как поезд отходит, уходишь...—

с отчаянием сказала Катя.— А я уже не могу без тебя жить... не могу... не могу...

— А я, думаешь, могу? — твердил Леонид Семенович, прижимая Катю к себе.— Бедная моя. Какие у тебя тоненькие руки!.. Холодные... Почему ты, рыбка, дрожишь? Успокойся...

Он растирал ей пальцы. Он целовал ее. Он снял с Катиных ног туфельки — несколько красных полосок, стянутых у щиколотки пряжкой, — и откуда только берутся такие узкие, милые, холодные как лед ноги в тонких шелковых чулках... Катины темные волосы лежали на его подушке, щекотали щеку. Леониду Семеновичу хотелось защищать Катю, драться за нее, отстаивать ее в борьбе, жертвовать собой для нее.

— Я тебя люблю, — бормотал он, — я тебя люблю, люблю...

Катя молчала.

— Какие у тебя красивые ресницы, — сказал Леонид Семенович. — Не надо, не плачь... ну, не плачь же... Скажи, ты меня любишь? — Катя кивнула. — Никуда ты от меня не уйдешь, слышишь? И зря ты эти стихи читала про то, как уходит поезд. Ты думаешь, я не понял символику? Никуда я не ушел, не ушел и не уйду. Не уйду, не уйду, понятно? Зачем я буду уходить от своего счастья? И тебя никуда не отпущу...

И запер дверь.

Леонид Семенович пришел в столовую. Катя уже сидела на своем месте. У нее был растерянный, потрясенный вид. Темное платье, которого Леонид Семенович еще не видел, делало ее незнакомой. Он неловко придвинул свой стул, сел. Около прибора лежало письмо. Леонид Семенович вскрыл конверт и сразу окунулся в привыч-

ную атмосферу своей жизни. Жена писала, что опять на работе принимали иностранную делегацию, сообщала, что к ним приезжал товарищ с Дальнего Востока, а его кабинет она велела окрасить в густо-синий цвет. Столовая — желтая, а кабинет синий. «Разве делают столовую желтую? — почти вслух спросил он. — Ерунда какая. В кабинете будет темно...» Он читал письмо, погруженный сразу в другой, привычный мир, и удивился, когда, подняв глаза, натолкнулся на ревнивый взгляд Кати. Она сидела бледная, не сводя глаз с письма, которое он так долго читал.

Леонид Семенович спрятал письмо в карман. И сказал:..

— Жена пишет, что стены в кабинете покрасили в синий... — Он спохватился: — Впрочем, это теперь все равно...

После завтрака они пошли гулять на набережную. Море было веселое, блестящее, все в солнечных пятнах.

На волнах покачивались белые чайки. Катя купила хлеба, отламывала по кусочкам и бросала в воду. Птицы ловили хлеб на лету.

— Обожаю, когда корка хрустит, — сказала Катя и надкусила горбушку.

— Ты совсем еще дурочка, — заметил Леонид Семенович.

Он был по уши влюблен. Веселился. Смеялся. А вечером Катя снова была в его комнате, и снова он был счастлив, обнимая ее. Он без конца повторял, что не может без нее жить.

— Ты говоришь так, будто я ухожу от тебя, — сказала Катя. — Милый... Пока ты здесь, я буду писать тебе письма — утром, днем и вечером... Только бы не заметило начальство, нельзя в служебное время думать о любви... — Катя засмеялась и поймала губами ухо Леонида Семеновича. — Леня, — сказала она, — Леня, ты такой... такой большой, сильный... Я и правда чувствую себя дурочкой рядом с тобой...

Такого Катиного самоуничижения Леонид Семенович стерпеть не смог.

— Я не встречал девушки умнее тебя... И с таким вкусом. — И почему-то вспомнил: — Желтая столовая? Скажи, разве ты видела где-нибудь желтую столовую...

Катя пожала плечами:

— Мы живем в старом доме, не знаю...

— Столько строим, а все еще с жильем туговато...— как бы извинился Леонид Семенович.

— Представляешь, я еще никогда в жизни не жила одна в комнате...

— Теперь-то я никогда тем более не оставлю тебя одну,— сказал Леонид Семенович.— Поцелуй меня, рыбка. Ведь завтра ты уезжаешь...

Все-таки Катя сказала:

— Подумать только, что ты ехал сюда и я ехала. И мы даже не подозревали о существовании друг друга. Удивительно, правда?

— Удивительно не это,— возразил растроганный Леонид Семенович.— Это нормально... Удивительно — два родных человека ходят по земле и не находят один другого...

Катя вздрогнула:

— Неужели и мы с тобой могли прожить свою жизнь и не встретиться?.. Ужасно...

Она вышла в сад и нарвала цветов, сказав, что так надо,— где счастье, там должны быть цветы. Сентиментальность Кати трогала Леонида Семеновича, и он восторженно думал о том, что как это хорошо придавать любви столько значения...

А днем Катя уехала. Сидела с распухшими от слез глазами в автобусе, силилась улыбаться, прижимала к себе уже вянущие цветы. Она стеснялась взять за руку Леонида Семеновича. И он, тоже очень сконфуженный и расстроенный, топтался около окошка автобуса и просил Катю бережся в дороге, не простужаться. И поклялся, что будет скучать.

И правда, без Кати ему стало пусто и скучно. Когда неуклюжий автобус покатился по шоссе, показалось, что от сердца что-то оторвалось. Он не знал, куда себя девать. Пошел гулять, но гулять не хотелось. Спотыкался, вдруг заметил, что на дороге много камней. Больно ногам. И он поплелся в прокуренную бильярдную, где мужчины встретили его как блудного сына, вернувшегося в отчий дом...

Какая в его душе шла борьба! Титаническая!

По ночам Леонид Семенович тосковал и звал Катю, но днем он все чаще подумывал о том, что это немости-

мо — разойтись с женой. Может ли он нанести такой удар верному, преданному другу? Ему совестно было перед женой за свою измену. Вот как он отплатил за многолетнюю совместную жизнь: уехал на курорт, встретил другую женщину и сразу же поклялся: «Теперь моя жена — ты». Ведь Катя даже не спрашивала его об этом, не требовала клятв.

Он мычал от боли, от досады на самого себя. И посоветоваться не с кем. Не к жене ведь обращаться за советом, не у нее ведь просить поддержки. Еще ни разу ему не приходилось одному решать такой важный вопрос.

Он хандрил, нервничал.

Все его раздражало, все выводило из себя. Он даже пошел к директору дома отдыха, пожаловался на неудобства, на то, что плохо кормят. Директор уныло соглашался, разводил руками и все объяснял урезанной сметой. Он с надрывом распахивал дверцу облупившегося шкафа, доставал папки со сметами, с денежными документами, с копиями ходатайств. И даже предложил:

— Конечно, вам у нас не может нравиться. Не поговорить ли где надо? Тут есть поблизости дача нашего областного начальства, вы могли бы питаться там. Со всем другой коленкор.

Леонид Семенович возмущенно ответил, что хлопочет не о себе лично и не о своих удобствах печется — его беспокоит судьба всех отдыхающих, таких же трудящихся, как и он сам.

— Что верно, то верно, — опять соглашаясь, кивал директор, но видно было, что он сразу успокоился. — К сожалению, не все вопросы решаю я... я человек маленький...

И опять Леонид Семенович возмутился и сказал, что у нас нет деления людей на больших и маленьких, — все равно, все одинаково отвечают за свой участок работы... Просто нет, видно, желания решать вопросы самостоятельно.

— Работаете по-старому, без огонька...

Директор вдруг встрепенулся, рассердился и сердито, смело сказал:

— Так ведь работать с огоньком опасно — сгореть можно...

— А вы что, горели уже, судя по вашему стилю работы?

— Горел,— спокойно подтвердил директор. И как-то незаметно вышел из своей роли сонного, со скучающе-безразличным взглядом унылого человека. Он нервно затянул узел мятого галстука, потом стал теребить шнурки на папке с бумагами.— Было время, пылал, проявлял инициативу, боролся, писал докладные, с каждой должности уходил с треском. И вот — докатился до этого болота.

Что-то изменилось в течении разговора, сломалось, непонятно стало, кто нападает, кто защищается.

— Странно, что вы называете болотом этот красивейший уголок земли... где люди, советские наши люди, набираются сил для новых трудовых подвигов...

— Именно так и написано в нашей стенной газете «За здоровый отдых»,— сказал директор.— В передовой. А автор — я...

Чувство юмора взяло верх. Леонид Семенович засмеялся. И директор усмехнулся.

— Был на большой работе, на интересной работе. В областных городах. Потом покатился как шар... В настоящий момент руковожу тремя официантками, двумя уборщицами и одним поваром. Книжки и газеты больным выдаю сам...— Он горько усмехнулся: — Недавно на вечере самодеятельности разошелся, исполнил под гитару романс «Ах, дамы, дамы, дамы, сколько мук и сколько драмы...». Пошлятина какая-то... Теперь жду последствий...— Он опять усмехнулся, досадуя на себя, что разговаривался, разоткровенничался, но уже не мог остановиться.— А бродяжить надоело, переезжать с места на место надоело, хочется собрать комплекты журналов хотя бы за один год полностью...

— Выпиваешь?— почти дружески спросил Леонид Семенович, переходя на «ты».

— Выпиваю, но никогда не закусываю ворованным. И пью на свои...

— И этим гордитесь?..

— Хотя бы этим...

Горький осадок после случайного разговора долго не проходил у Леонида Семеновича. Не то чтобы он расчувствовался. Нет. Не любил он таких людей. Но понимал, как человек может стать жертвой обстоятельств и пойдет, пойдет грохотать по ступеням вниз...

В этот день ему везло на директоров, вернее, на от-

кровенные разговоры, которые как-то задевали его самого. Он пошел гулять после обеда и встретил того московского директора завода, что расспрашивал его о Кате. Они шли медленно, два пожилых человека, подолгу отдыхали на поворотах и равнодушно скользили глазами по раскрывающимся перед ними красотам природы.

Московский директор не обиделся, что Леонид Семенович запомнил его фамилию.

— Фамилия обыкновенная — Петров, потому и забывается, что обыкновенная. Недавно читал в справочнике, что есть такой абонент телефонной сети: Петров-Петров. Это, конечно, не забудется. Это не то что просто Петров. Хотя на нас, да на Ивановых, да на Кузьминых, в общем, земля держится.

Разговор с Петровым тоже не прошел бесследно для Леонида Семеновича. Хотя Петров был много старше и его суждения на судьбу не имели как будто никакого касательства к судьбе Леонида Семеновича, они нагоняли неясный страх. Петров огорчился, что пора выходить на пенсию, и будущее казалось ему бесцветным и неинтересным.

— Водкой я не увлекаюсь, в шахматы не играю, с бабами давно покончено. Чем же мне заниматься, позвольте спросить? Мужем я был неважным, отцом и того хуже, все занят, занят, черт меня дери совсем... Присмотрелся, в семье я чужой. У них какие-то свои интересы, свои дела, они друг друга — жена и дети — понимают с полуслова. Хохочут, а я — как баран на новые ворота, дурак дураком. Жена говорит: «Леша, ты ведь этого хотел, ты добивался свободы, теперь не обижайся... Мы тебя видали по праздникам, и то не надолго, и то не смели тебе портить настроение. А жизнь семьи окладывается в будни, а не в праздник...» В общем, рассуждает толково, возражать нечего, да мне не легче...

— Отдыхать будешь, книжки читать... — посоветовал Леонид Семенович, чтобы хоть что-нибудь посоветовать.

— Поздновато мне к книжкам приучаться, — покачал головой Петров. — Самые основные — Горького, Толстых Льва и Алексея, Шолохова, Островского Николая — я уже давно освоил, а второстепенные... — Он затруднился. — Подпирают, подпирают меня новые кадры...

— Что ж, они на других дрожжах всхожены, из другого теста замешены...

— Они? — Петров остановился, отдышался, вытер платком шею. — В работе я с кем хочешь потягаюсь, я против их образованности выдержку поставлю. Как бы-
валый солдат среди новичков... Но только они лучше меня дух времени чувствуют, смелее мыслят, вот что я скажу... У меня шкура битая-латаная, личное дело все в выговорах. А почему? При культе-то мне самостоятельности не давали. Пуганый я, понимаешь? А нынче что от хозяйственника требуется? Широта. Требуется мыслить смело...

Леонид Семенович отшутился, сказав, пусть не при-
бедняется. Он ведь его помнит по работе, знает, что за характерец. Не очень-то его было легко запугать, сам кого хочешь мог запугать... да и вообще незря народ говорит, что старый конь борозды не портит. Петров приободрился, был польщен, что его помнят. Прогулка прошла в общем весело, хотя у Леонида Семеновича чуть щемило сердце — так ему знаком был и дорог здесь каждый кустик, каждый валун. Все напоминало о Кате...

Вот здесь он встретил ее, отсюда, от этого камня, пошли они дальше вместе. И как далеко зашли...

Он постеснялся, не спросил даже, нужны ли ей деньги. И подарка не сделал, боялся, чтобы не подумала, будто хочет откупиться от нее флаконом духов.

— Все прошло, как с белых яблонь дым, — печально сказал он. — Стишок такой есть у Есенина. Очень метко сказано...

— Проводил? — сочувственно спросил Петров. — Славная, славная девушка... Ничего не скажешь — хороша...

Леонид Семенович только кивнул: конечно, хороша, очень хороша собой.

Петров, ничуть не желая его обидеть, сказал неудачно:

— Я дочке своей советую — не лети ты, как бабочка, на огонь... Так нет же, не верит... — Он засмеялся. — Вот выйду на пенсию, буду по вечерам с палкой ходить, кавалеров от дочки отгонять... Девчонка умная, смазливая, жалко... — Леонид Семенович почувствовал осуждение в словах Петрова, невысказанный упрек. — Я тебе одно скажу, — продолжал Петров. — Разводятся или совсем легкие, легкомысленные люди, или очень волевые. А наш брат, середняк, пасует перед трудностями. У меня у самого

был в жизни эпизод. Чуть не рехнулся: жена плачет, дети волчатами смотрят, партийная организация предупреждает, начальство косится. Обложили, как волка, куда ни метнешься — флажки. К ней придешь — и там не сахар. «Решайся: семья или я...» Домой отправишься — и там тебя укоры ждут... и опять же слезы. Хоть сам включайся в эту канитель и вой в голос. Нет, я не выдержал, бросил. Ушел с головой в работу, думаю, ну вас ко всем чертям с вашими сказками про любовь. Обойдусь... Хотя года три, не меньше, переживал, на работе в сейфе фотографию прятал...

— Ну, а она как же? — спросил Леонид Семенович. Петров молча пожал плечами.

Грузный, немолодой, с редкими, тщательно причесанными волосами, в длинном широком немодном пальто, с задумчиво-мечтательным выражением маленьких умных глазок, Петров был трогателен и немного смешон.

— Не затаскала она тебя по инстанциям? — со смешком спросил Леонид Семенович, как бы желая показать, что любовная история Петрова не сравнима и не сопоставима с тем сложным и большим чувством, что связало его и Катю.

Петров ответил с горечью, не обратив внимания на смешок:

— Гордая очень была, не стала навязываться...

Леонид Семенович подумал, что и Катя ничего у него не просила, никаких обещаний с него не брала — только молча смотрела в глаза... В глаза? В душу-она ему заглядывала. Как будто хотела узнать, есть ли в его душе то, что примерещилось ей, молодой и доверчивой...

И ему горячо захотелось доказать Кате, что она не ошиблась в нем, что на него можно положиться.

А жена?

Разве не понадеялась она когда-то на его верность и честность, когда он был еще студентом, клал на ночь под матрац свои единственные брюки, сохраняя складку, и только-только купил тогда свои первые желтые кожаные модные полуботинки. Ни пижамы у него тогда не было, ни галстуков он тогда не признавал. Жил веселый и легкий, как птица, все барахлишко мог унести в одном узелке...

И он великодушно решил, что все оставит жене, ничего с собой не возьмет... Не станет же он делить имущест-

во и ссориться с женой из-за каждого стула, как это делают некоторые. А все-таки жаль оставлять свой дом. Все у него в комнатах продумано, учтено, полки висят на месте, из окон не дует, двери не хлопают. Немало забот было у них с квартирой, зато теперь, особенно после ремонта, все будет отделано до блеска.

С признательностью он подумал о жене: старается, бедная, сделать жизнь еще более уютной, более красивой. И так захотелось ему поспать на своей кровати, подсунув под ухо удобную «думочку», так захотелось всунуть ноги в удобные шлепанцы, протянуть руку и, не открывая глаз, так все привычно, взять с тумбочки книгу, спички, сигареты.

Надо переломить себя, надо кончать с этими мещанскими настроениями, тоской о комнатных туфлях.

Да, но куда он пойдет? Где будет жить? Просить комнату неудобно, да и не дадут ему в общем порядке. Добывать через знакомых? Неловко, стыдно... Менять квартиру на две? Но ведь это свинство — отнимать что-либо у жены. Вот если на новой работе будет жилищное строительство, может, тогда...

На новой работе! А какой она будет, эта новая работа?!

И снова к нему вернулись тревоги, которые он глушил и давил, влюбившись в Катю. Если даже недалекий Петров понимает, что фигура руководителя уже не та, что раньше, то как не понять этого ему, Леониду Семеновичу? У него, слава богу, должность-то была покрупнее, чем у Петрова, обзор, как говорят летчики, шире. Ему-то виднее, что происходит в стране...

И когда он стал думать о работе, о будущем, стал пересматривать свое отношение к жизни, ему показалось, что среди трудностей, которые ему придется преодолеть и разрешить, нет места для новой любви, новой семьи...

Где уж ему, старому мужику, обзаводиться молодой женой, смешить людей?..

Маня молчать не будет, будет жаловаться, партийные организации, безусловно, возьмут ее сторону. Конечно, о большой работе после такого скандала ему мечтать не приходится...

Да и хватит ли у него душевных сил на новую любовь? На то, чтобы отогреть Катю, заставить забыть трудное детство? И семья у нее трудная — нервная сест-

ра, желчная мать... Катя начиталась книг, бредит принципиальностью и честным отношением к людям, к народу, как ей кажется, а сама совершенно не знает жизни, не смыслит в политике. Поставила его, Леонида Семеновича, на пьедестал, но на пьедестале стоят ведь статуи, а не живые люди...

Его с такой силой потянуло домой, что он уехал до срока. Сказал всем, что вызвали телеграммой. Петров позавидовал:

— Из отпуска вызывают, вот, значит, как нужны... А если выпадешь из коляски, тогда...

Но об этом Леонид Семенович и думать не желал. Скорее домой, скорее за дела, как можно скорее... Иначе обломаешь бока о ступеньки, когда покатишься по лестнице вниз...

Он стал сочинять письмо Кате. «Прощай, моя молодость, прощай, моя рыбка». Расстроился, разнервничался, даже прослезился. И разорвал начатое письмо на клочки...

Полный надежд и покаянных мыслей, подъезжал Леонид Семенович к дому. Он вышел из такси, неумело держа в руке сухие желтые мимозы, завернутые в бумагу. В Москве начиналась весна. В высоком небе торопливо проплывали облака. Дворники очищали последний снег. Леонид Семенович, волнуясь, открыл калитку. Лай оглушил его. Джим рвался навстречу, его не пускала веревка, привязанная к дереву. «В чем дело?» — подумал Леонид Семенович, сердясь. Он запрещал привязывать собаку. Джим визжал от счастья. Леонид Семенович отвязал собаку и пошел в дом, забыв подобрать цветы. Жена открыла ему дверь и сказала со странным смехом:

— Я не знала, что ты приедешь... И не отвязала его...

С растерянным, поглупевшим от растерянности выражением лица, в новой, незнакомой прическе с кудерьками, уложенными над самым лбом, с тоненькими ножками в туфлях на высоких каблуках, она показалась ему похожей на овцу. Но миг — и в глазах ее мелькнул недобрый огонек, сходство с кроткой овцой исчезло.

Они прошли в комнаты. В желтую столовую.

Леонид Семенович молча смотрел на жену и видел то, чего никогда не видел. Эта женщина со злыми глазами

была ему чужая. Все в ней было чужое — мысли, платье, прическа. Даже эти желтые красивые стены она принесла чужие, из какого-то другого дома.

И вдруг он понял, что и успехи жены, которыми он так гордился, принадлежали не ей: она только пользовалась всюду его именем. Давила этим именем на людей, пугала их, как умела давить на него. И ничего не упускала, все брала, что положено...

На мгновение встали перед ним серые заплаканные глаза Кати.

Он прошел к себе в кабинет, через всю холодную, не согретую детским смехом квартиру, которую они занимали не потому, что она была им нужна, а потому, что они имели на нее право. Он сел в скользкое холодное кресло, посмотрел на письменный пустой стол, за которым никогда не работал, посмотрел на этажерку, с которой никогда не снимались книги в ярких новеньких переплетах, и почувствовал, что все его мечты о счастливой жизни в этом доме — бред. Он долго сидел так, положив руки на сукно стола, вертел в пальцах карандаш и думал, что всю свою жизнь он провел как страус, спрятав голову под крыло...

А вокруг него сверкали густой маслянистой синевой только что окрашенные стены...

ЧЕТЫРЕ КОФТОЧКИ



Я даже нахожу своеобразную прелесть в этой старой гостинице, называвшейся когда-то подворьем, с ее темными, затхлыми коридорами, неожиданными ступеньками и тупичками, с плохо прикрытыми дверьми, за которыми, убирая, громко переговариваются по-татарски и гремят ведрами уборщицы в темных платках. Официально они именуются горничными.

В номере стоят четыре кровати. На спинках четырех стульев висят четыре вязаные кофточка. По цвету кофточек, как войдешь, сразу можно узнать, сменились ли жильцы. Они все время меняются. Только вот в последние сутки никто не уезжает и не приезжает...

Я этому особенно рада, потому что ушибла ногу и отсиживаюсь в номере. И у меня появилось нечто вроде иллюзии, будто мы какой-то небольшой коллектив, родня, мне говорят, кто куда ушел и когда вернется, показывают покупки, поручают, что кому ответить. Я на роли не то диспетчера, не то одинокой общительной старухи-бабки в коммунальной квартире.

Уже изучены все шумы, весь распорядок жизни в гостинице, я различаю звуки и голоса. Закончился семинар прокуроров, вчера прокуроры «гуляли», сегодня разъезжаются по домам. А вместо них приехали на инструктаж по патентоведению изобретатели, теперь они хлопают дверьми, грохочут чемоданами, громко спрашивают, где душ. Как прибой на берег, так накатываются по утрам на порог нашей комнаты бурные волны гостиничной жизни.

ни. Слышно, как опирают буфет, гремят ящиками с кефиром. Потом наступает тишина, все разошлись, разбежались. Днем в ресторане начинает играть джаз...

А ведь было столько волнений!

Я взяла с собой в поездку срочную работу, надеясь на длинные, свободные от командировочных дел вечера. А досталось мне место в гостинице в общем номере. Какая уж там работа!.. И так с возрастом все труднее становится засыпать под чужой крышей. Шорохи кажутся нестерпимым грохотом, треск пружин — горным обвалом. Все немило, все неудобно!.. А тут четыре чужие женщины в одной комнате! Есть от чего прийти в уныние...

Я попыталась объяснить это директору гостиницы, когда приехала, но директор едва скользнул по мне равнодушным взглядом. Я постояла немного у огромного письменного стола с его холодной, как ледяное поле катка, поверхностью и ушла. Не стала очень уж унижаться. И вот живу, привыкла, освоилась...

Итак, нас четверо в номере, не считая радио и телефона. Радио и телефон живут своей самостоятельной жизнью. Радио поет, читает лекции, оповещает о погоде. Телефон вдруг звонит, и чей-то вкрадчивый голос спрашивает:

— Девушка, а вам не скучно?

— Кто это? Вам кого?..

— А мне одному скучно...

Я отвечаю вежливо, учительница из райцентра — резко и непримиримо, Марина Алексеевна из Горького, финансовый работник, — назидательно:

— И вам не стыдно, аморальный вы тип!..

Если же трубку берет наша прекрасная Лариса, телефонный разговор тут же превращается в поединок. Серые ее глаза начинают блестеть, ноздри вздрагивают.

— Какой нахал! — говорит она, досыта наругавшись. И швыряет на рычаг трубку.

Наступает покой. И потом вдруг через час, через два опять бодро звучит:

— Девушка, а вам не скучно?

За окном капает, капли ударяются о крышу какой-то низенькой пристройки во дворе, по покатою настилу ходит голубь и одним глазом косит на нашу комнату. Потом сумерки сгущаются, темнеет, а когда зажигается фонарь, тускло освещающий угол унылого двора с глубокими, черными провалами в рыхлом от капли снегу, голубь исчезает, уходит ночевать.

В декабре день короткий. Еще только шестой час, впереди длинный вечер, потом еще более длинная ночь. Как скучно! Я опять смотрю на стены, на кровати, на спинки стульев, где висят кофточки. У меня и у учительницы — темно-зеленые, у Марины Алексеевны — серая, а у Ларисы — розовая, пушистая, с начесом.

Лариса озабоченно смотрит в зеркало на свои брови, а примостившаяся около нее худенькая, совсем еще юная Галка, пришедшая с визитом из другого номера, говорит очень серьезно:

— Я намерена еще укоротить свои юбки. Я тебя, Лариса, совершенно не понимаю. У тебя дивные вещи, но длина...

— Я против крайностей, — чуть свысока отзывается Лариса. И смотрит на нас, ища поддержки.

Зеленая кофточка, учительница, молчит, а серая, финансовый работник, говорит твердо:

— Мне нынешние фасоны выше колен определенно не нравятся...

И я соглашаюсь...

— Юбки еще куда ни шло. А платья... как будто сняли с младшей сестры и надели на старшую...

Галка захлебывается от возмущения:

— Это же создает прекрасный силуэт... — Она отворачивается к Ларисе: — Ну, Лариса, пойдем пройдемся, а вдруг...

— Никого мы не встретим...

Лариса сегодня плохо настроена. С утра она уходила, потом вернулась мрачная, вызвала по телефону Ленинград и пожаловалась своему начальнику, что какой-то Петрищев уехал в Москву в министерство, а без него никто ничего по их вопросу решить не может. Возвращаться домой не солоно хлебавши или ждать Петрищева? «Ждать? Ой, я домой хочу! Ну, тогда шлите деньги, я без

копейки...» А мне Лариса сказала, что присмотрела себе шерсть на платье.

— Такая неудачная поездка! — пожаловалась она. — Понадеялись на мое умение, а тут народ тертый...

Половину дня она пролежала на кровати, читала, вздыхала, отказывалась идти обедать и, только получив внизу в почтовом отделении телеграфный денежный перевод, немного воспрянула духом, сбегала в блинную поест и даже пригласила к себе Галку.

И теперь Галка канючит:

— Ты эгоистка, как все замужние. Вы не сочувствуете...

— Не надо было ссориться...

— А что, с самого начала признать, что со мной можно не считаться? Так, что ли? Спасибо...

— Но раз ты влюблена...

— В том-то и дело, что я к нему больше ничего не чувствую...

— Тогда и печалиться не о чем. Брось!..

— Я же его три года ждала. «Брось!» Такими мальчиками не бросаются. Конечно, умная женщина ссориться бы не стала, — печалится Галка.

— То-то и оно, птенчик ты еще!..

Мы невольно прислушиваемся. Галка спрашивает скороговоркой, с завистью. Глаза ее, как у куклы, смотрят на Ларису не мигая:

— Но ты, Лариса, ты, конечно, счастлива? Ты мужа безумно любишь, да?

— У меня ведь другой подход, — лениво говорит Лариса, адресуясь скорее к нам, чем к Галке. Ей как-то неловко держаться с ней наравне. — Я материалистка. Жизнь свою я устроила неплохо, у нас квартира...

— А вдруг он обиделся и порвал со мной навсегда? — почти плачет Галка.

Лариса хохочет. Галка смахивает крошечные, как бисер, слезинки и тоже начинает смеяться сама над собой. Они объясняют нам наконец, что случилось. Галка три года переписывалась с «мальчиком», который был в армии. Приехала сюда в командировку и вдруг — вы только представьте себе! — встретила на главной улице своего Сашу. Он демобилизовался и по пути домой заехал навестить двоюродную сестру. Вчера Галка целый вечер ждала его звонка, но он так и не позвонил, а сегодня она

не пожелала слушать его объяснения и даже нарочно ушла из своего номера к Ларисе. А теперь дико переживает. Во-первых, Саша очень переменился за эти три года, и она даже не понимает, нравится ли он ей, во-вторых, она все равно не может от него отказаться вот просто так, раз они целых три года переписывались, а в-третьих... Галка этого не говорит, но это и так видно: ей ужасно хочется, чтобы ее любили, чтобы добивались ее любви...

А тут еще беспощадная Лариса:

— Будь у него характер, он бы просто сюда пришел...

— Да, да,— покорно соглашается Галка.— Я не должна за ним бегать, у меня должно быть самолюбие...

— Парень, может, стесняется, отвык от гражданки, а его обухом по голове,— вмешивается Марина Алексеевна.

Галка и с ней солидарна:

— Верно, верно, надо быть чуткой!

Тогда они у меня спрашивают:

— А как вы думаете?

Я отвечаю, замечая, как иронически усмехается учительница, слушая мои слова:

— Главное — это искренность... Надо поступать, как чувствуешь...

Лариса все-таки уступает. Сбрасывает халатик, натягивает чулки на свои шоколадные ноги, надевает сапоги.

— Глупенькие еще, ветреные,— вслед им говорит Марина Алексеевна.— Ну что они знают о жизни...— И достаёт из шкафа чайник, собираясь идти за кипятком.

В каждом номере есть такой блестящий металлический чайник и маленький фаянсовый, кипятилок можно взять в титане, пачку чая для заварки мы купили еще вчера. У учительницы есть конфеты.

Сколько лет Марине Алексеевне, с первого взгляда не определишь. Может, мало, да жизнь укатала, может, и много... Она очень деятельна, энергична, оживленна, ни на что не жалуется. По утрам за ней заходит их главный инженер, степенный, аккуратный человек, и они отправляются на предприятие, куда приехали,— кажется, это стройка. Приходит она в сумерки, немножко отдыхает, как сегодня, и снова уходит. Жизнь в гостинице ей нравится, похоже, что она стряхнула с себя домашние будничные заботы, и это ее веселит и молодит. Мне она да-

вала вчера поручение, если позвонит с периферии бухгалтер Дуся, наказать строго-настрого скорее везти отчетность, сказать: «Это же, Дуся, в ваших интересах, мы поможем вам разобраться, не приедете, пеняйте на себя...» Дело в том, что Дуся недавно вышла замуж и молодой муж никак не разрешает ей ехать. «Комедия!» — решительно осудила его Марина Алексеевна.

Она приносит кипяток, заваривает чай и деловито поглядывает на часы:

— Ужинать я буду сегодня в ресторане, вот как... Договорились с главным инженером... такой культурный человек, у него многому можно поучиться!.. Какое отношение к людям!..

Мы пьем чай с конфетами. И опять обсуждаем Ларису с Галкой.

— Ну, та хоть постарше, посolidнее, а эту пичужку, ну что ее посылать в командировку, что она понимает! — недовольна Марина Алексеевна.

Учительница не соглашается:

— Даже мои старшеклассники — это уже вполне взрослые, мыслящие люди...

— Я не обвиняю огульно, я ценю молодые кадры, — задумчиво прихлебывает чай Марина Алексеевна. — Но мы не бережем командировочные, это факт, ведь это все равно что отправить в командировку моего Мишку, тот же самый результат...

Учительница с интересом расспрашивает, какие у Марины Алексеевны дети: старшему уже шестнадцать, Мишеньке одиннадцать, ребята серьезные, неизбалованные, а все-таки беспокойно, что они одни. Вся надежда на соседку, она женщина неплохая, хороший товарищ, за детьми всегда приглядит, накормит их...

— Купили подарки? — спрашиваю я.

Марина Алексеевна отрицательно машет головой и прищелкивает языком.

— Ох, мои финансы поют романсы! — смеется она. — Но полкило конфет возьму... А что еще брать? Они у меня всем необходимым обеспечены...

— Лучше всего книги, — советует учительница. — Лично я предпочитаю, чтобы мне дарили книги...

— Книги ребята в библиотеке берут, — поясняет Марина Алексеевна. И, боясь, чтобы мы не сочли ее плохой

матерью, оправдывается: — Трудно мне, ой как трудно!.. Рашу ведь их без отца...

Она ждет нашего вопроса, и нам приходится спросить, что с отцом: умер, разошлись?

— Я ведь его посадила...

На мгновение мы замолкаем, и в тишине слышно, как за открытой форточкой все еще срываюся, ударяясь по крыше пристройки, струйки талой воды.

— Что за погода, и не зима, и не осень,— говорит учительница, повернувшись к форточке.

Марина Алексеевна отходит к своей кровати, присаживается. Вынув из сумки носовой платочек, тщательно то складывает его, приглаживая пальцем линии сгиба, то снова разнимает:

— Был человек как человек, лет шесть жили нормально, потом зазнался, завоображал, совсем потерял себя, спился...

— Ужасное несчастье, но все-таки...— вырвалось у учительницы.— Неужели вы не могли найти к нему подход?

— Нет, не могла. А ведь у меня есть опыт работы с людьми. Я ведь и председателем месткома была и вот теперь в инспекции. А от родного человека ничего не смогла добиться... И плакала, и просила, и ссорилась... Тоже ведь неохота в синяках ходить, правда? Вы думаете, это так сразу я решилась? Думаете, легко решиться было на такой позор? — скорбно спрашивает она.— Уж как я страдала!.. Идешь с работы усталая, тащишь сумки с продуктами, придешь, а он пьяный, грязный. Маленького он, правда, не трогал, а уж нас со старшим!.. Все будто бы ревновал меня, не ревновал, понятно, а распалил себя, распускал свою фантазию... Всю ночь скандалит, утром мне снова на работу. Это же каторга была! Старший мальчик домой боялся приходить, такое у нас с ним условие выработалось: пока отец не заснул, я дверь не отворяю. Он уж знает, если на звонок не отворю, значит, нельзя. Потом выйду его искать — или на чердаке около отопления сидит, или в парадном. И вдруг говорит: «Мам, я его убью!» Я ему: «Что ты, ты свою жизнь загубишь, лучше я сама на него управу найду!» Муж мне и угрожал, и в драку лез. Он бы меня убил, если бы не соседка, я у нее всегда укрывалась...

— И что же он?.. Что же теперь?..— спрашивает в страхе учительница.

Звонит телефон. Марина Алексеевна вскакивает.

— Гражданин, постыдились бы!..— Она бросила трубку.— Вот так и мой муженек думал, что если женщина самостоятельная, то у нее одни романы на уме... Попробовал бы в женской шкуре побыть: сготовить надо, обстираться надо! На работе тоже не хочется хуже людей быть, за троих ворочаешь...— Она опять присела на кровать.— Подошел день суда, а он весь пропился, стал у соседки три рубля займа просить, мол, если заберут сразу после суда, так он хоть папирос купит. Я уж ей шепнула: «Дайте ему, я верну...» А он опять пошел в магазин, взял пол-литра, в суд пришел окончательно пьяный...

— А вам не жалко его было? — все-таки не выдерживает учительница.

— Ничуть. Если он себя не пожалел, семьи нашей не пожалел, то почему я его должна жалеть? У нас теперь тишина, у нас нормальная жизнь. Вы представляете, я с суда вернулась, плачу, а мальчик спрашивает: «Ну что? Ну что?» — «Дали папке три года». А он, ребенок, как закричит: «Ой, как хорошо!» Разве я могу это забыть? Материально, конечно, труднее. Муж на это-то и бил,— с горячностью сказала она,— он на это и рассчитывал. Мол, зачем она будет меня сажать, это же ей невыгодно. А что значит невыгодно, если надо спасать детей...

— И что же дальше будет? — спрашиваю я.— Он ведь вернется...

— В том-то и дело, что вернется. То писал, знать тебя не желаю. Теперь пишет, мол, вернись, вам будет легче...— Она задумалась.— Ну, легче уже не будет, не нужен он мне!.. Но закон на его стороне, раз был прописан, значит, имеет право вернуться...— Она подошла, налила себе остывшего чаю и залпом, как водку, выпила.— Девчонки, что они понимают? Они, кроме поцелуев, и знать ничего не хотят... Мол, любовь... а любовь эта вот как может обернуться...— Она стала собирать папочку с бумагами, попудрилась.— Говорю ребятам, что отцу скоро срок, молчат. Ни «за», ни «против» не высказываются. Что у них на душе, не знаю...

Зазвонил телефон, и, видно, все тот же скучающий командировочный опять настаивал, что тут живет его знакомая Валя.

— Такой нет, вы ошиблись,— уверяла учительница. Но он не отставал, все спрашивал:

— А вас как зовут?

— А что,— сказала потом учительница,— может, это и неплохо... Позвонить наудачу, вдруг откликнется настоящий человек...— Я неуверенно помотала головой.— Но я так не умею,— посмеялась сама над собой учительница,— поэтому и хожу в старых девах, как выражается моя мама... И вот от мужа отказаться не могла бы, как она...— Она метнула взгляд на кровать, на стул, где висела серая кофточка.— Может, она и правда ему изменяла?

— Не похоже,— не согласилась я.

— Сколько же она хлебнула горя, ой-ой-ой! — сказала учительница.— Вот так подумаешь и радуешься иногда, что одна... меньше разочарований... Но завидую такому твердому характеру, я пропала бы, погибла, а такой твердости проявить бы не смогла...

— Да, это завидная твердость...

На шкафу тихонько мурлыкало радио. Учительница прошла по комнате, внимательно посмотрела в окно, как будто что-то могло измениться в этом захламленном, зажатом строениями дворе, выросли там вдруг деревья, что ли... И прибавила звук.

В номере загремела музыка. В концертном зале консерватории выступала польская пианистка. Учительница, оказывается, очень хотела пойти ее послушать, но не смогла достать билет. А она так стремилась в этот новый, почти сплошь состоящий из стекла прямоугольник, что недавно выстроили на главной площади города.

— Я уже привыкла, что праздничное всегда почему-то проходит мимо меня,— сказала учительница со вздохом,— привыкла, вроде примирилась, а все-таки... Надо было сразу же мчаться за билетами, но я добросовестно зашла сначала в облоно, потом в коллектор за книгами, и, пока рабочий день кончился, билеты расхватали...

Она стояла у шкафа, аккуратненькая, стройная, молодцеватая в своих сапожках и темном костюмчике, под-

няв лицо к динамике, а я почему-то вспоминала свои веселые студенческие годы, молодость и думала, что, вероятно, у этой учительницы и раньше не было поклонников, кавалеров, как это называется, и теперь нет. Слишком она организованная, что ли, слишком серьезная? Нет, не то. Чего-то в ней недостает... Нету в ней кокетства? Огонька? Изюминки! Сережек, как у Ларисы?

Тут влетела разбурявшаяся на ветру Лариса, которой бог дал все: и глубокие, выразительные глаза, и крутой лоб, и сильные красивые ноги.

— Ну как Галка? Встретила своего солдатика?

— Представьте, встретила. Ничего мальчик, славенький, симпатичный.

— Помирились?

— Я не вникала.— Лариса презрительно поводит плечами.— У меня заказана Москва, не вызывали еще? Мы взяли билеты в кино, они ждут меня внизу, объясняются...

Лариса задумчива, она садится около телефона, погруженная в свои размышления, подперев лицо руками.

— Вы думаете, она его любит? Это у нее серьезно? — спрашивает учительница.

— Кто? Кого? — Лариса вздрагивает. И смеется: — Все это еще детское, и он еще совсем мальчик, неустроенный. Представляете, потерял в поезде шапку...— Она говорит о своем: — Я думаю, что метр восемьдесят мне достаточно на прямое платье. На метр восемьдесят мне хватит денег, чудное будет платье к Новому году...

— Должно хватить.— Я спрашиваю: — А рукава какие? Длинные?

Учительница демонстративно молчит. И тут снова подает свой голос телефон.

Лариса берет трубку.

— Девушка, девушка, у меня Москва заказана, очень вас прошу. Да, да! Бабуля, ты? Это Лариса. Бабуля, как твоё здоровье? Я на днях буду проезжать, я заеду! Бабуля!..— Она воркует, она ластится к бабушке, как маленькая девочка. И потом горделиво рассказывает, какая у нее боевая бабушка, была много лет председателем колхоза, теперь, состарившись, переехала к младшему сыну, а сын на дипломатической работе, он с семьей за границей, и бабушка совсем одна...

Тут Лариса спохватывается, что пора идти. У нее снова скупающее лицо, всем своим видом Лариса показы-

вает, как трудно ей снисходить к этой смешной Галке с ее солдатом. Она поправляет вязаную шапочку перед зеркалом и уходит. Только говорит нам:

— Терпеть не могу ездить в командировки. Скучно. Хотя однажды мне повезло, подписалась на Паустовского, мне высылают наложенным платежом. У нас в Ленинграде разве подпишешься?

Учительница снова включает радио, но в концертном зале, видимо, объявлен антракт, как раз стихает лавина аплодисментов.

— Когда я жила в деревне, мне районный центр казался большим городом, теперь я переехала в район, увидела, что все равно глушь. Сюда приедешь — тут и театры и музеи, а уж там Москва или Ленинград — об этом только мечтать можно!..

Что-то она размякла сегодня, моя соседка. Обычно она не участвует в нашей болтовне, отмалчивается, роется в своем портфельчике, сверяется со своим списком, что еще надо сделать. Тут у нее перечень книг, какие надо достать, нот для пения, пластинок, учебных пособий. А сегодня, я это точно ощущаю, хочет пооткровенничать. Я помогаю, как умею: спрашиваю, расспрашиваю.

Она ведет русский язык и литературу. Счастлива ли она? Пожалуй, да, счастлива. Точнее, удовлетворена. Конечно, бывают минуты упадка, почти отчаяния, это когда в личном разговоре с ребятами копнешь поглубже и вдруг покажется, что семена, так щедро посеянные тобой, не проросли, лежат где-то на поверхности.

— Тут ведь нужно терпение и терпение, — поясняет она. — И нельзя торопиться с выводами... Зато бывают минуты, когда ощущаешь, что живешь не зря...

Каждый год, а то и дважды она возит своих ребят в путешествия.

— А средства?

— Ох, тут помогают все — и родители, и шефы, и ребята зарабатывают... Едем в бесплакартных вагонах, считаем, как крохоборы, каждую копейку... ночуем в школах, списываемся заранее...

Учительница оживает, смеется, вспоминает, как всю ночь в качающемся вагоне по дороге в Болдино читали пушкинские стихи. А в Москве, в Третьяковке...

— Я ведь, знаете, по совести вам скажу, много лет никак не могла уйти от передвижников. А они, мои дети,

они все новое восприняли сразу как естественное... Это меня поразило. Я не люблю громких фраз, не терплю. А тут, может, это самая прекрасная минута была в моей жизни... Наш самый отпетый мальчик, в каждом классе бывает такой балагур, что всем мешает... Родительский комитет даже был против, чтобы он ехал, и я немножко побаивалась, что заплачусь с ним... И вдруг я вижу, как он весь побелел и прислонился к стене, так ошеломлен тем, что увидел... Знаете, такая минута дорогого стоит!.. — Она разгорелась, глаза заблестели. Подсела ближе ко мне, оживилась. Даже руку положила мне на колено. — Конечно, поездки — это праздник, но до них ведь целая зима труда: долбежки, повторения, одно и то же, одно и то же. Выходишь иногда из школы с такой головной болью, что свет не мил... Конечно, вспоминать наши поездки легко, но это ведь ужас, когда едешь с ребятами: пересадки ночью, билеты, автобусы. В райком партии обращаешься, к начальнику станции, даже в милицию. Ну, что правда, то правда: нам всегда помогают. Трясешься ночью в вагоне и думаешь про учеников: хоть кусочек красоты в их душах должен остаться, правда?

Мы снова послушали музыку. И снова учительница потосковала, что не попала в концертный зал, — совсем другое дело слушать музыку там, видеть руки пианиста, ощущать, что рядом сидят и слушают другие. По радио, пластинки — это все не то. Но даже по радио ей не удалось дослушать. Пришла Марина Алексеевна, чтобы оставить пальто, вымыть руки, поправить волосы перед ужином.

— И как это можно? — Она не смогла не поделиться с нами. — Начальник строительства, с виду положительный, солидный человек, анкета прекрасная, а такие допустил безобразия... Буквально для «Крокодила» материал. Мы говорим бухгалтеру: «Дуся, вы едете с нами в Москву, везете всю документацию, он ведь вас запутает в свои злоупотребления...» А муж ее — как приехали вместе, так и сидит, дурак, около нее в конторе, — нет, нет, ни в какую, я не могу ее отпустить одну!.. И смех и грех! Я говорю: ладно, возьму к себе твою Дусю, под свое крыло, у меня квартира позволяет... — И вдруг всплеснула руками: — Неужели кончится мое приволье?.. Вот могу пригласить к себе человека, не боясь скандалов...

Я сказала:

— Может, ваш муж исправился, понял, что так, как он, жить нельзя...

— Не верю я в его исправление...

Приход Марины Алексеевны что-то нарушил в нашем настроении, что-то разбил. Мы слишком все-таки мало все знали одна другую, чтобы вслух, без оглядки высказывать свое суждение, ведь в этой комнате с ее духотой, скрипучими кроватями, столом, на котором стояли графин с тепловатой водой, телефон и тяжелая, некрасивая лампа с цветным абажуром, нас свела чистая случайность. Обeim нам — и мне и учительнице — стало отчего-то тяжело, мы не стали выяснять, отчего это. Учительница взялась за книгу, я — за журнал с новой пьесой Веры Пановой. И пьеса, как нарочно, называлась «Верность».

Это и учительницу удивило, когда она спросила, что я читаю.

— Гм, верность!.. — пробормотала она.

— Да, жизнь действительно сложная, сложная, сложная штука... — отозвалась я. На большую высоту философской мысли мне подняться не удалось.

Потом пришла Лариса, очень молчаливая, задумчивая, намазала на ночь лицо кремом, надела пижаму — коротенькие, как трусики, темные штанишки, пеструю длинную курточку — и тоже улеглась читать.

И снова зашуршали страницы, пока не вернулась после ужина Марина Алексеевна.

— Выходит, что я позже всех, — сказала она виновато.

— Еще не поздно, — не сразу ответила я.

— Очень долго не подавали... — Она как будто оправдывалась.

Мне видно было, как она пытливо смотрит то на меня, то на погруженную в чтение учительницу. На Ларису она не обращала внимания. И вдруг она сказала:

— Я понимаю, что вы меня осуждаете, вы думаете, что он за решеткой и ел на ужин какую-то баланду, а она, мол, ушла в ресторан... — Я вздохнула, стараясь этим вздохом выразить хоть немного сочувствия, но вздох мой прозвучал вяло. — Нет, я чувствую, вы меня осуждаете. А вы меня спросили, беру ли я в столовой хоть когда-нибудь компот или кисель на третье? Нет, не беру. А уж в ресторане я и не была никогда, мне не по карману... Только вот тут, в командировке, и пошла, так хотелось

посидеть в приятной компании, джаз послушать, пошутить... — Она как будто боялась, что наступит тягостное молчание, и говорила, говорила.

Сердце мое дрогнуло.

— Мы и не думали вас осуждать. Да и по какому, собственно говоря, праву...

— Ну, меня все женщины во дворе осуждают. Сначала сами научали: «Не терпи, не терпи, обратись в милицию...» А теперь, как иду по двору, так слышу шепот: «Мужа своего посадила...» — Она всхлипнула. — Я первые ночи без него не знала, куда деваться... я себе места не находила. Как погляжу, что его подушка пустая, так и плачу... Это уж со временем я более принципиальная стала...

— Если вы поступили так, как вам казалось правильным, то и стойте на своем, — сказала я. — И нечего вам расстраиваться...

— Это верно. — Марина Алексеевна села и уронила руки с большими, некрасивыми пальцами. — Если бы не дети, — все-таки сказала она, — я бы, может, и терпела. Только из-за детей, их спасая... А теперь, как заговорю про отца, а они молчат, у меня сердце сжимается — неужели ж они его теперь больше, чем меня, жалеют!..

Кажется, мы все испытали чувство облегчения, когда звякнул телефон и зарокотал знакомый дурашливый голос:

— Можно Валю?

— Вы ошиблись, у нас такой нет...

Лариса вырвала у меня из рук трубку:

— Никого здесь нет, понятно? И не звоните...

Марина Алексеевна как будто опомнилась, разделась, отвернулась к стене.

— Вы читайте, мне свет не мешает, — сказала она. И, чтобы показать, как она спокойна, вспомнила: — Лариса, а Лариса, девочка эта, твоя подруга, помирилась со своим парнем?..

— Помирилась. Вполне. — Лариса почему-то рассердилась. — Но только какая же она мне подруга, мы только здесь познакомились...

— Ну и что, что здесь, ходите ведь вместе...

Учительница отбросила книгу, встала, опять уставилась в окно, как в темную воду. Что она видела в этой темной воде?

Я сказала негромко:

— Хоть бы окна на улицу, так хотелось поглядеть на город, так стремилась сюда, и надо же — сидеть в гостинице... и даже окна выходят в какой-то мрачный тупик...

Она подошла ближе:

— Когда я впервые сюда приехала, то испытывала священный трепет перед всеми памятными местами. Здесь учился Толстой, Лобачевский, Ленин. Бродила по университетскому двору и воображала: вот здесь они ходили, в этих аудиториях бывали. Фантастично, правда? Потом сама стала на себя злиться за свою восторженность. Ну и что? Они-то гении, а ты всё равно песчинка...

Я стала протестовать, но она не дала мне говорить:

— Только прошу вас, не объясняйте мне то, что я сама знаю... Нет маленьких людей, каждый на своем месте, пусть только работает в полную меру своих сил... Вы это хотели мне сказать?

Я пожала плечами:

— И это и не совсем это...— И спросила: — Что с вами случилось сегодня? Хорошее или плохое?

Она задумалась.

— И не хорошее и не плохое. Просто встретила одного человека, очень уверенного в себе, очень благополучного. Неглупого, правда, даже способного. И эта встреча пробудила воспоминания... Нас было две подруги, он ухаживал за мной, я его отвергла, и позже он женился на ней. Очень хвастал сегодня ее успехами.— Она усмехнулась.— И своими, понятно...

— И вы пожалели...— Я не договорила.

— Не то чтобы пожалела, он мне не нравился и теперь не понравился бы, хотя я теперь не так придирчиво, что ли, отношусь к людям, как тогда... Но как-то я острее почувствовала однообразие своего существования. Каждый день одно и то же, и ничего со мной уже не может случиться неожиданного... Начинаю уставать без радостей...— Она оглянулась, не слушают ли нас.— Я испытываю неловкость из-за своего имени — родители назвали меня Эра, то есть эпоха революции. Представляете, каково это носить такое имя? Они надеялись, что я буду бойцом, а я всего-навсего учительница русского языка и литературы...

— Не так уж мало...

Она возразила:

— Но и не так уж много...— И опять заслонила ладонями.— И, пожалуйста, не утешайте меня, я вполне довольна своей судьбой...

На пороге возникла Галка.

Она стояла потрясенная, блаженно улыбаясь, в своем дешевеньком модном коротком, выше коленок, пальто, в сбившемся шарфе. На милом личике отражалась сумятица чувств: страха, нежности, волнения, горделивости, потрясенности.

— Ты сошла с ума, в такой час!..— накинулась на нее Лариса.

Она откликнулась механически, не понимая смысла слов:

— Да, я сошла с ума...

Галка больше не казалась ни смешной, ни забавной, и мы все, несмотря на разные характеры, на разный возраст, поняли, что сама любовь прошествовала сейчас по обмерзшим тротуарам, беспрепятственно прошла в двери гостиницы мимо швейцара, строго окликающего всех посетителей, особенно женского пола, проскользнула мимо несимпатичной, неулыбчивой дежурной на нашем этаже, обмотанной шалью, свернула мимо закрытого на большой висячий замок буфета, быстро пробежала по неширокому коридору и по скрипучим ступенькам поднялась в наш тупичок. Теперь она стояла в нашем номере у порога. И нам было не до шуток, не до смешков. Даже Марина Алексеевна перестала делать вид, что спит, села на кровати.

— Он говорит, что любит,— почему-то жалобно сказала Галка,— хочет, чтобы мы поженились...

— Он же нестроенный! — удивилась Лариса.

Но Марина Алексеевна неожиданно взяла сторону Галки:

— Ну и что? Галина работает, он, как демобилизованный, сразу же хорошо устроится, учиться будет...

— Ой, я даже не знаю! — все так же жалобно сказала Галка, но глаза ее сияли. И вся она была преображенная, как будто даже не такая щупленькая, не такой несмышлениш, как несколько часов назад.

— Вот так история! — опять насмешливо сказала Лариса.— Что же это: большая любовь?

Галка ответила надменно:

— А ты считаешь, что я не могу внушить большую любовь?

Она вскоре ушла к себе, а мы вчетвером еще долго, с азартом, перебивая одна другую, волнуясь, обсуждали, будет ли счастлива Галка, и возможно ли быть счастливой в браке, заключенном столь поспешно и несерьезно, и вообще попытались понять, когда и отчего человек бывает счастлив. Мы были так озабочены, что когда зазвонил телефон, то вопрос, не скучно ли нам, прозвучал столь нелепо, что Лариса даже не стала отвечать, а тихо-тихо опустила трубку, как будто это был не настоящий аппарат, а игрушечный, елочный, хрупкий.

И вдруг сказала:

— А может, так и надо: не рассчитывать, не прикидывать, а бросаться очертя голову!.. Мне всегда мешала моя...— она хотела сказать «красота», но постеснялась,— моя наружность. Боялась продешевить...

Когда мы уже улеглись, умолкли, остыли, мне стало немного смешно. Я-то чего так горячилась? Но мне не спалось, и я продолжала думать о своих соседках, как это, правда, странно: вот нас четверо и пятая Галка, встретились мы случайно и потом разведемся в разные стороны, а пока откровенничаем, исповедуемся. Хорошо это или плохо? От одиночества эти разговоры по душам с чужими людьми или от общительности, которую вырабатывает весь уклад нашей жизни?..

Кто знает...

Хоть электричество и было погашено, комната довольно ярко освещалась: сбоку со двора падал косой луч от фонаря, через стекло в двери ударял мне прямо в глаза свет из коридора.

Я тихонько стала ворочаться на своей кровати, пряча глаза, но пружины так заскрипели, что я замерла, боясь разбудить остальных.

Что еще мне оставалось делать, как не фантазировать? Я придумала всем хорошие судьбы — Галке с ее мальчиком-солдатом, Марине Алексеевне с ее раскаявшимся мужем. Я выдала замуж Эру за научного работника, который придет в их район собирать материал для докторской диссертации и заведет с ней жгучий роман с

ревностью, длинными письмами и объяснениями. Он разбудит в Эре чувство юмора, легкость, кокетство... Я не сразу нашла, чего недостает прекрасной Ларисе, потом решила, что ребенка. Даже двух...

О своей командировке, о том, как я теперь наверстаю упущенные дни, о работе, о бумагах своих, так и не вынутых из чемодана, я старалась вспоминать поменьше.

А крепкий сон все не приходил. Я подарила уже отличную домашнюю библиотеку бухгалтеру Дусе с ее глупым мужем, прихватила их к чтению, и в середине ночи очередь дошла до директора гостиницы. Я и его надела-ла очас-тьем, он исправился, изменился. Я представила себе, как он вдруг тихонько, на цыпочках, входит — тихий, учтивый... Тут я, видимо, задремала, потому что стало светать, отчетливо вырисовывались наши кровати, спинки стульев с висящими на них четырьмя кофточками, окно, уже вылез на крышу пристройки голубь, стал отряхиваться, расправлять крылья, ворковать, стонать, а я, все еще сонная, не знала, не могла решить, как же мне откликнуться на уговоры директора перейти в отдельный номер, где можно без помехи работать...

ЧТО ВЫ ОН ДАВНО УМЕР!



Самое трудное, когда едешь куда-нибудь, угадать, что надевать, какая будет погода. Женщины инстинктивно решают этот вопрос так — берут с собой то, что получше. Хороши теплые вещи, они позволяют себя уговорить — а вдруг холодно? Эффектные легкие платья — говорят: нет, все-таки уже лето...

И Тася поступила так. Ей очень шел шерстяной вязаный костюм с белой каемкой на воротнике — она в нем и поехала, — и теперь ей приходилось каждое утро надеяться, что, может, день будет прохладный. И сегодня было так же... А день выдался жаркий, даже необычно жаркий для Ленинграда, как говорили ленинградцы. И она очень устала от жары...

Их было двенадцать педагогов из одного города, приехавших на экскурсию, и добрая Наталья Алексеевна, преподавательница литературы, все время обмахивала Тасю газетой. А ее муж, математик, несмотря на свою рассеянность и чудаковатость, которыми славился и немножко гордился, тоже замечал, как изнемогает от зноя Тася, и несколько раз угощал ее мороженым. Она сама бы постеснялась остановиться у киоска на улице, а он не стеснялся, кричал: «Стоп, да здравствует холод!»

Вся группа очень сдружилась за эти дни, сплотилась, все стали друг другу ближе, чем были дома, и вели себя шумно, немножко как дети, а скорее даже как студенты, словно вспомнили те времена, когда еще жили в общежитии или ездили на практику с пустыми кошельками и фанерными чемоданчиками.

Теперь уже все, за исключением, пожалуй, Тася, были, увы, немолоды и полюбили удобства. И поэтому, когда

вечером, закончив свою до предела уплотненную программу, побывали в Русском музее, в Летнем саду и в Исаакиевском соборе и стали думать, куда пойти поужинать, то все в один голос сказали: только не в сосисочную, не в закусочную, не в пирожковую, не в «самообслуживание», где надо, поставив на гнущийся пластмассовый поднос тарелки с едой, лавировать между столами, ища место и боясь опрокинуть на кого-нибудь еду,— пойдем в хорошее кафе, все-таки это наш последний, можно сказать, прощальный ужин. Пойдем в хорошее кафе, где музыка, яркие огни...

— ...И прекрасные женщины,— добавил математик Александр Михайлович.

Жена весело хлопнула его сложенной газетой, которой раньше обмахивала Тасю. Теперь уже обмахивать не надо было — жара спала.

Александр Михайлович сделал вид, что приуныл, как школьник, которому в дневник записали жестокое замечание, поплелся в самом хвосте, потом исчез и появился с букетиками ландышей, которые преподнес женщинам.

— А моей Наточке два букетика, чтоб не сердилась,— сказал он и поцеловал у жены руку.

Жена закричала:

— Саша, ты у меня прелесты! — и чмокнула его в щеку.

— На Невском? — засмеялась географичка. — Посмотрели бы на вас, Наталья Алексеевна, ваши ученики.

Так они шли, и дурачились, и смеялись. И Тася, вдыхая нежный лесной аромат влажных ландышей, чуть грустно думая о том, что ей давно-давно никто не дарил цветов, если не считать традиционные букеты от учеников в первый день занятий, смеялась вместе со всеми.

— Попасть в Ленинград, вот именно сюда, на Невский, всегда было моей мечтой,— призналась она. — И чтоб были белые ночи...

— Как удачно, что мы приехали именно в белые ночи,— подхватила географичка.

А Мелентьев, тоже математик, обиделся:

— Как это — удачно? Так было запланировано... Местком знал...

И вдруг они увидели вывеску кафе. Она была такая красивая, эта вывеска, так ярко горели на фоне бледного неба составленные из электрических лампочек буквы, та-

кой импозантный, похожий на адмирала швейцар возвышался на ступеньках, как на капитанском мостике, и задумчиво смотрел на уходящий вдаль проспект, что все разом остановились:

— Судьба...

— Сюда, только сюда... Это то, что надо...

— А вдруг очень дорого?

— Один разик — можно.

Тася сказала умоляюще:

— Я никогда не бывала в таком кафе...

Они вошли.

Народу было много, казалось, ни одного свободного места нет, но ловкий Мелентьев куда-то метнулся и вернулся с полной женщиной — администратором. Несмотря на полноту, она плыла по паркету, как плывут по сцене танцовщицы из ансамбля «Врезка», любезно улыбалась розовым ртом — в моде была помада розового оттенка — и говорила какие-то любезные слова. Официантки сдвинули два столика, и вот они уже сидят, женщины трогают руками волосы, не слишком ли растрепались, и оглядывают зал.

Как нарядно, как красиво!

Наталья Алексеевна взяла Тасю за локоть:

— Какая вы сегодня славенькая, Тася. Товарищи, Мелентьев, правда, Тася — вы не обижаетесь, что я зову вас Тасей? — сегодня чудно выглядит?..

Александр Михайлович чудит:

— С тех пор как я женился, для меня существует только одна женщина, моя жена, и она, конечно, самая красивая. Но вы, Тася, вторая...

Все болтают глупости, подшучивают над Мелентьевым, что при всем, мол, уважении к Наталье Алексеевне он вряд ли согласится отдать первое место ей, а не Тасе. Тася густо краснеет. Мелентьев принужденно смеется, напоминает всем, что он женат. Тася опускает глаза и нюхает свои ландыши.

— Это мои любимые цветы, спасибо вам, Александр Михайлович. — Географичка тоже подносит к носу ландыши, но нюхает как-то неумело, слишком деловито и тут же небрежно откладывает свой букетик.

— Вы посмотрите на ту пару, вот слева, — ядовито шепчет она, — как будто они одни в зале.

Тася смотрит на молодого моряка, как он держит за

руку свою девушку. Лица у них серьезные, взволнованные: то ли ссорятся, то ли прощаются перед разлукой.

— Все это влияние итальянского кино,— говорит географичка.

Тася подхватывает невпопад:

— Я очень люблю итальянское кино.

Они долго и бестолково составляют заказ, смеются над тем, что два математика никак не могут подсчитать, сколько надо бифштексов, а сколько куриных котлет. В зале очень шумно, громко играет радиолка. Зал радиофицирован — музыка гремит со всех сторон. И наконец на эстраду выходит певец. Его встречают бурными аплодисментами.

Певец низко кланяется, прикладывает руки к груди.

Это уже немолодой мужчина в светло-сиреновом костюме, с жгучими волосами. Он извиваясь, но с изяществом берет в руки микрофон, вслушивается в названия песен, которые неистово выкрикивают из зала, посмеивается, подмигивает аккомпаниатору блестящим огненным глазом и низким голосом поет что-то страстное о любовных муках, чуть смягчая насмешливой улыбкой пошловатый, полный красоты текст песни.

— Ну, братцы, ну и ну...— шепотом говорит Мелентьев.

Географичка просто вне себя.

— Это же цыганщина,— твердит она.— Разве это разрешено? Я бы запретила...

— Это уж слишком — запрещать,— спорит Мелентьев,— как это так — запрещать? Многим нравится...

— Я бы запретила, это черт знает что такое...— не соглашается географичка.

— Молодежи нравится,— дразнит ее Мелентьев.

— Какой молодежи? Вы хотите сказать, определенной части молодежи?..

— Тут молодежь разная...

— Тася, он смотрит на вас,— вдруг говорит Наталья Алексеевна.— Что с вами, Тася, вы такая красная?

— Очень жарко.

Мелентьев наливает ей боржому.

А певец все поет и поет, играя глазами, посылая в зал улыбки, и притопывает для ритма левой ногой.

За столом продолжается болтовня. Наталья Алексеевна говорит, что вообще-то она не против эстрады, но ей

не по вкусу эти песни, она за классикой, так уж воспитана; географичка решительно утверждает, что такое пение развращает молодежь.

— Неужели вам нравится, Тася?

— Очень нравится,— со странной настойчивостью отвечает Тася.

— Вы только оглянитесь,— уже просто в негодовании шипит географичка,— эти юбки, эти выставленные колени, эти голые руки. Какая гадость! И как сидят, как держатся. Репертуар рассчитан на них...

Александр Михайлович демонстративно объявляет, что он любит джаз. Он не лицемер.

Пока идет горячий спор, Наталья Алексеевна опять спрашивает совсем тихо:

— Что с вами, Тася? Вы побледнели...

— Холодно,— Тася едва шевелит губами. Она плохо понимает, что у нее спрашивает добрая Наталья Алексеевна.

Певец убегает, возвращается, кланяется. Действительно, похоже, что он смотрит на Тасю. Впрочем, она и сама на него уставилась.

— Нет, все-таки в нем что-то есть,— задумчиво говорит Наталья Алексеевна.— Не знаю, что именно, но что-то есть...

— А что в нем может быть? — энергично возражает географичка.— Что в нем может быть? — Она пожимает плечами.— Пустота...

— Пустота? — Наталья Алексеевна удивляется.— Почему же пустота? Поет весело, а глаза печальные, нет, это не пустота...

— Вы сегодня лирически настроены, милая Наталья Алексеевна,— замечает Мелентьев.

— Да, я размякла,— соглашается Наталья Алексеевна,— я совсем размякла, я обалдела, как говорят наши школьники, обалдела от той красоты, что мы сегодня видели...

Муж тревожится:

— Надо тебе отдохнуть, ты, Наточка, устала, пора, деточка, нам в гостиницу, на покой... Все-таки мы старые люди...

Все согласны с ним, ужин подходит к концу, все торопятся, все ужасно устали и теперь, когда поели, мечтают только об одном — добраться до гостиницы и лечь спать.

Завтра они уезжают.

Тася неожиданно говорит:

— Извините меня, но я еще немножко посижу...

— Одна? — вырывается у географички.

— Одна? — обиженно спрашивает Мелентьев.

Чуткая Наталья Алексеевна горячо поддерживает Тасю:

— И прекрасно, оставайтесь, дружок. Вы — молодая, чего это вы должны из-за нас, стариков, так рано уходить...

И уводит за собой всю компанию, несколько ошеломленную.

А Тася остается.

Она долго пишет записку, напряженно обдумывая слова, привязывает записку к ландышам и просит официантку отнести. Она боится услышать в ответ на свою просьбу насмешку или грубость, бормочет какие-то объяснения, но официантка говорит вполне равнодушно:

— Ладно... передам... в чем дело...

И уходит с запиской.

А Тася сидит за столом, бледная, как сидит подсудимый, когда суд удаляется на совещание.

Она не знает, куда они идут. Вероятно, к нему, к Николаю. И не спрашивает. Потрясение, которое она пережила, когда встретила и узнала его, все еще не проходит, не уменьшается. Она как немая.

Это хорошо, что Николай говорит без умолку. Тася отвечает: «нет», «да», «возможно».

— Я привык к взглядам, извини, к женским взглядам, — говорит Николай. — Но что-то толкнуло меня в сердце. Я не поверил... А когда принесли записку... Нам налево.

Она послушно поворачивает налево. Тихая, обсаженная деревьями улица. Пусто. Дома невысокие. Улица похожа на ту, в их городе, где они ходили когда-то. Как тихо — ни звонков трамваев, ни грохота автобусов, ни голосов прохожих. И даже деревья не шевелят листвою...

— Помнишь, ты любил говорить, — вдруг прерывает свое молчание Тася: — «Такой глубокой тишины не слышал никогда».

— Нет, — Николай не может вспомнить.

— Это из Блока...

— А-а... Да, я любил Блока...

— Ты выступаешь под своей фамилией?

— Конечно. Николай Рашевский. Ник. Рашевский...

Ты сразу меня узнала?

— Нет, не сразу, — почти резко отвечает Тася.

— Еще бы... вдруг увидеть меня — этот блёск, огни... в таком большом городе...

— Я не ожидала встретить тебя в кафе...

Он смеется очень весело:

— Ты предпочла бы увидеть меня на подмостках оперы? Но боже, это так скучно! Эти отжившие ритмы, эти фальшивые переживания. Нет, детка, это не для меня, я слишком современен...

Николай говорит долго, остроумно, приводит веские доводы — она все равно не слушает.

Вот идет она по улице, под деревьями, а рядом идет Николай, тот Николай, которого она любила пятнадцать лет назад, десять, два года назад, вчера, сегодня днем... отец ее мальчика, ее горе и счастье, ее незадачливая судьба. Чего угодно могла она ожидать, только не того, что встретит Николая. Он почти не писал ей после того как уехал, он даже не знает, что у нее ребенок.

— Кончила институт?

— Да.

— Учительствуешь?

— Да.

— Сеешь разумное, доброе, вечное?

Она невпопад спрашивает:

— Почему ты выступаешь в сиреневом костюме?

— Это очень элегантно, — объясняет Николай. — Тебе понравилось?

Он не сомневается, что понравилось, он уверен, что понравилось.

Он хвастает, рассказывает, как ездит по городам, исколесил всю страну. Он козыряет названиями гостиниц, неизвестными Тасе фамилиями, он выступал как-то в Заполярье в одной программе с Ларисой Мондрус.

— Ты, конечно, знаешь Ларису Мондрус?

— Нет.

— Она первая исполнительница шлягера... — Он напевает мотив. — Ты знаешь этот шлягер?

- Нет...
- Можешь ты на какой-нибудь вопрос ответить «да»?
- Могу.
- На какой же?
- «Ты обо мне вспоминала»?
- Ох, женщины, женщины... — Он почти искренен. Во

всяком случае, голос его звучит почти искренне: — Ты думаешь, мне было легко? Я так любил тебя. Но искусство... Мои взгляды на жизнь ты знаешь, на первом плане у меня искусство, творчество... Личное счастье — на втором...

Все то, что она хотела бы и могла бы ему сказать, упрекая, Николай говорит сам: как страшно ему было оставлять ее, такую незащищенную, неискушенную, преданную, доверчивую, тонкую. Но он и не собирался оставлять ее навсегда, он только хотел добиться успеха. А жизнь как река, как горная быстрая река, — она уносит своим течением, швыряет человека на камни, разбивает в кровь, наставляет синяков. Он хотел дожидаться успеха, а тогда уже, тогда...

Он не договаривает, что «тогда».

Как фокусник вдруг достает из пустой шляпы голубя, так и он внезапно достает со дна своей памяти строчку из забытого им Блока: «Была ты всех ярче, верней и прелестней». Но во имя искусства он должен был ее покинуть.

Он горячо напоминает ей о тех днях их молодой любви, когда она училась на педагогическом, на втором курсе, а он — на третьем и у него открылся голос. Он пел в студенческой самодеятельности, его заметили. Тася, подружка моя дорогая, девочка моя, ты помнишь наш городок сад? Помнишь кладбище вблизи от института, где росли темные, почти черные фиалки? А помнишь нашу мелкую, как болото, речку и горбатый деревянный мост? Мы так часто стояли на том мосту, слушали лягушек. А помнишь, как жарили картошку?

Она впервые смеется. Забыть, как жарили картошку, действительно нельзя. Это случалось, когда Николай приходил к ней в общежитие, сам он жил на частной квартире. Их было четыре девушки в комнате с разных факультетов, и они вечно были голодные, и Коля тоже чаще всего приходил голодный. Если хватало денег, покупали булки и пили чай, если денег совсем ни у кого не

было, решали: идея, давайте жарить картошку! И все четыре девушки отправлялись в путешествие по общежитию. В одной комнате, где жили «семейные», как они презрительно называли женатых и замужних студентов и студенток, просили взаймы подсолнечное масло, в другой — примус, в третьей — картошку, в четвертой — соль... Своего у них ничего не было.

Николай как будто угадывает, в каком состоянии она была после его отъезда, как лежала часами на своей койке, твердила: «Я хочу умереть, я не хочу больше жить, не могу жить...», ходила с потухшим взглядом, ни во что больше не верила, проваливала экзамены...

— Я понимаю, что тебе пришлось нелегко. Но и мне было трудно...

«Разве он отчаивался, как я? — думает Тася. — Разве он бился и мучился, как я, страдал, как я? Заставлял себя жить, жить ради сына?..»

Ей не хочется говорить ему о сыне. Ведь они встретились случайно. И Николай какой-то совсем другой, не тот, что был раньше. Или он казался ей другим все эти годы, когда ее жгла боль, когда не было минуты, чтобы она не ждала его возвращения, вестей о нем, писем, не думала о том, как и когда они встретятся, верила, что он вот-вот приедет, как он обещал в прощальном письме. Или позовет ее к себе. Он не звал и сам не ехал. Потом и письма перестали приходить. Она долго верила, что он разыщет ее, ведь он знал адрес матери... Она надеялась, что найдет его имя на афише, читала, глупая, театральные журналы, рецензии... Боялась, может, он болен, нуждается в ней, несчастен...

Все-таки она сказала:

— Помнишь свои слова — ты всегда хотел иметь ребенка, ну что ж, может, у тебя и будет ребенок...

— Я не мог быть таким жестоким... Я шутил...

— Да?

— Конечно, шутил...

Они еще несколько раз поворачивали то направо, то налево, вошли в подворотню. Она была длинная и темная, как туннель, а где-то в конце двора светилося на чердаке круглое окошко, похожее на луну, запертую среди мрачных стен. И стояли огромные баки с гниющим мусором. Сверху прыгнула и метнулась в сторону вспугнутая их шагами тощая кошка.

- Какой странный двор,— поеживаясь, сказала Тася.— Как в романах Достоевского...
- Ты преподаешь литературу? — спросил Николай.
- Нет, физику...

И лестница была старая, грязная, и дверь какая-то обшарпанная, но внутри, в передней, было неожиданно светло, просторно и чисто, лежали половики.

Комната тоже была большая, но запущенная, затхлая, с претензией на уют. Как-то наюкосок, не как у всех, стояла тахта, на тахте лежали подушки в полосатых шершавых наволочках. На маленьком столике теснились глиняные кувшинчики, фигурки зверей, горшок с полузасохшим растением.

— Где же твои книги? — спросила Тася.— Ты раньше так любил читать...

— Я редко живу дома... На гастролях куплю журналчик, читаю и брошу... Но у меня хороший транзистор...

— Радио не заменяет книг...

Он засмеялся:

— Сразу видно, что учительница...

Николай был деятелен, оживлен, ушел за занавеску, оменял свой нарядный костюм на пижаму, поставил в кухне на газ чайник:

— В память прошлого мы с тобой сварим картошку, не изжарим только, а сварим. Я устал от ресторанной пищи, от изжоги...— пожаловался Николай.

Вид у него был утомленный, взбудораженный. Тасе стало почему-то жаль его. Она хотела сказать: «Как у тебя много морщин, это от грима, да?», но не сказала, спросила почти машинально:

— А где мы возьмем картошку?

— Есть, все есть: и кастрюлька, и картошка — полное хозяйство...

Николай пошел на кухню, Тася тоже пошла, она смотрела, как он достает из шкафчика тусклую помятую кастрюльку, нож с деревянной ручкой, как привычно чистит картошку, но все-таки предложила:

— Давай лучше я...

Хлопнула дверь, это соседка выглянула из своей комнаты. И тут же исчезла. Николай крикнул:

- Добрый вечер, Марья Ивановна, а у меня гости...
— Ох! — сказали за дверью.

Потом Николай принес кастрюлю с картошкой и горячий чайник в комнату, надел на чайник бабу в толстой ватной юбке, поставил на стол тарелки, разложил приборы. Тася призналась, что почти ничего не ела в кафе за ужином и теперь, оказывается, голодна. Было так удивительно, что они с Николаем вместе варили картошку и вот вместе сидят за столом, друг против друга. И картошка эта, и то, что она, Тася, пришла сюда вот так просто, как будто именно сюда и должна была прийти, и эта запущенная комната, и этот немолодой усталый человек, сидящий по-домашнему, в пижаме, — все было как-то нереально.

Пижамы была не новая, не очень чистая, с обтрепанными рукавами.

Она сказала против воли, как будто это кто-то другой вместо нее сказал:

— Хочешь, я постираю тебе пижаму. И рукава подожью...

— Ни за что... Я все стираю себе сам...

Он стал рассказывать, какой он забывчивый, — дивную пижаму оставил в отеле в Харькове, рубашку — в Донецке. А носки... Если носки, которые он посеял в разных гостиницах и в поездах, дадут всходы, урожай будет очень велик... А носовые платки, перчатки... Что поделаешь, он рассеянный человек, он не умеет сосредоточиваться на мелочах, непрактичный он... У него другие цели... Его пение, его успех. Он много работает над репертуаром, над новыми номерами. Не станет же он повторяться, жить вчерашним днем, как делают другие... Он очень требователен к себе. При такой огромной популярности он обязан быть требовательным к себе...

Николай и не спрашивал, как живет Тася, как будто знал заранее, что жизнь ее малоинтересна и не может не быть бледной, скучной, будничной.

— Ты вышла замуж?

— Нет...

— Не за кого? — Он оценивающе посмотрел на Тасю. — Но ты очень мила...

— Не могу ведь я выходить замуж потому, что я мила. Мне надо, чтобы он был мне мил...

Николай протянул руку через стол и пожал Тасины пальцы.

— И никто не был тебе мил?

— Нет...

— Не верю...

Раздался резкий звонок. Марья Ивановна как будто только и ожидала, сразу же протопала через переднюю. В дверь забарабанили.

— Входите, открыто! — крикнул Николай.

Вошла дворничиха, здоровенная большущая женщина в фартуке, с бляхой.

Стоя на пороге, она оглядывала стол, и на лице ее было обманутое недоумевающее выражение, как будто она не понимала, куда это так быстро убрали поллитровку.

— Управдом ругается, что не представили справку, — сказала она, глядя не на Николая, а на Тасю.

— Какую еще справку? — Николай держался надменно.

— С места работы...

— Я ведь представил справку, я — шансонье...

— Чего-чего?

— Шансонье, ну, певец... — Николай вынул из кармана рублевку и протянул дворничихе. Та взяла бумажку опытной рукой, как будто даже не заметила, что взяла. А Николай произнес: — Скажите лучше управдому, что мусор убирать надо. Вонь в подворотне невыносимая...

Тася понимала, что сюда часто ходят женщины, но чувствуют, живут без прописки. И дворничиха привыкла взимать за это мзду.

Она должна бы почувствовать себя оскорбленной, но встреча с Николаем была слишком важным для нее событием. И она тут же забыла про дворничиху.

Жалость, смешанная с легким презрением, нежелание верить, что она может испытывать чувство презрения к Николаю, желание заплакать, закричать, как будто кто-то умер или что-то умерло, радость, что сбылось то, чего она так долго ждала, любовь, нелюбовь, ощущение, что она просыпается после долгого сна или выздоравливает после тяжелой болезни, — все это перемешалось, перепуталось, переслоилось, все было слишком серьезно, сложно, и ей не было дела ни до бдительной, подозрительной

дворничихи, ни до соседки, которая все время бегала по коридору, стучала дверью, гремела посудой.

— Марья Ивановна женщина с характером, — как-то жалко усмехнулся Николай, когда Тася вздрогнула при очередном стуке.

— Она что же... — начала было Тася.

Но Николай заверил ее:

— Зависимость чисто бытовая...

— Хорошо, что не духовная... — Тася сделала попытку пошутить.

Николай ответил гордо, чуть-чуть с горечью:

— Душевно я независим. Будь я зависим, не сохраняя свою индивидуальность, все устроилось бы по-иному, может, даже и опера была бы, хотя лично я оперные партии петь не люблю...

— А ты пел? Скажи, ты пел?

Николай промолчал. Пожал плечами.

— Ты расскажи мне, ты расскажи мне все о себе... — просила Тася.

— А что рассказывать? В молодости все мы самоуверенны, а время вносит свои коррективы. Идти на уступки я не хотел, ладить с людьми не умел, замахнулся слишком на многое...

— У тебя ведь такой замечательный голос...

— Голос голосом, а школа, а культура? В сущности, я был совсем неотесанный малый, с амбицией, с гонором... Но я многого достиг...

Тася спросила:

— Почему ты тогда так внезапно уехал? Я вернулась с практики, а тебя уже не было...

— Я не мог упустить случай. Удача как жар-птица, выпустил из рук — и все...

— Ты всегда торопил события...

— Зато ты была трудолюбивой, работающей пчелкой... — Он погладил ее волосы: — Пчелка, но без жала, кусаться ты не умела. А теперь?

— Теперь выучилась, — сказала Тася. — Жизнь ожесточает и учит...

— Но меня ведь ты не захочешь ужалить? — пошутил он.

Она тоже в ответ пошутила:

— Не забывай, вонзив жало, пчела сама погибает... слишком дорогая плата за укусы...

— Милая моя, золотая, строгая пчелка,— сказал Николай и снова погладил ее волосы.— Какие у тебя мягкие легкие волосы,— он потерся жесткой щекой об ее волосы,— как они славно пахнут...— Он искал сравнение.— Они пахнут нашей молодостью.

Николай встал, потянулся, пересел на тахту и позвал Тасю:

— Ну, иди, иди ко мне... сколько лет мы не сидели рядом...

Она до последней секунды не знала, что подойдет к нему, сядет рядом, не знала, что будет плакать у него на плече, поцелует то местечко за ухом, что целовала когда-то. Горел только цветной фонарик, и при свете этого фонарика Николай больше походил на того — ее Колю...

— Коля,— говорила она, задыхаясь от слез,— Коля, дорогой, родной...

А он как-то заученно шептал:

— У тебя такие худенькие плечики, такие славные тоненькие руки...— Он расчувствовался: — Никого я так не любил, как тебя. Вот именно — была ты всех ярче, верней и прелестней. Ах, Блок! Какой замечательный поэт!.. Какие стихи!..

— Как же ты мог?..— упрекнула Тася.— Как ты мог?..

— Зато мы теперь снова нашли друг друга...

— Ты веришь в то, что говоришь?— спросила Тася.

— Я?

— А я не верю. Ты теперь совсем другой...

— Еще бы...

Он так был уверен в том, что теперь он лучше, значимее и значительнее, чем тот молодой парень в черной косоворотке и дешевом пиджаке, что Тася умолкла. Он все теснее прижимал ее, дрожащую, к себе, все горячее целовал. Она не отодвигалась, не сопротивлялась,— ведь это был ее Николай, его руки, его запах, она столько лет считала, что пошла бы на любую муку ради него, на любое испытание и страдание.

— Неужели у тебя никого не было после меня, а? Ты меня потрясаяешь, удивляешь, ты же красивая женщина... Можешь поклясться?

— Клясться? Я не стану.

— Ага, потому что неправда.

— Нет, не потому...— Она не договорила.

Что она могла сказать? Разве можно класть на чашу

весов ее одиночество и любовь, скучные длинные вечера, особенно осенью и зимой, когда так тихо в квартире, что слышен даже ветер на улице, слышно, как скрипит снег, слышны шаги на тротуаре, и все мимо-мимо... но нужно брать себя в руки и заниматься, перечитывать одно и то же, пока не поймешь, не усвоишь... Разве можно класть на одну чашу весов эти вечера, тоску, обиду, гнев, томление, горечь, а на вторую глупое, одно-единственное слово «клянусь»?

— Почему ты ни с кем не сошлась?

— У меня были свои причины.

— А, понимаю, твоя провинциальная мещанка-мать. Я угадал?

«Да если бы не мама... Что бы я делала, если бы не мать? Разве справилась бы одна с ребенком, разве кончила бы институт?»

— Брр! — передернул плечами Николай, как будто ему плеснули за шиворот холодной воды. — Я терпеть не мог ее осуждающего взгляда. Помнишь, она приехала к тебе в общежитие, а я зашел... эти поджатые губы. Она, кажется, врач?

— Санитарка, — поправила Тася.

— Нет, это из-за нее ты ни с кем не сошлась, не вышла замуж. Я угадал?

Что она могла на это ответить? С кем она могла встречаться? Где? На глазах у ребенка?

Она ответила кратко:

— Да, угадал.

— Ну, обними же меня...

Она обняла.

Рано утром она постирала ему пижаму, два носовых платка, пестрые протертые носки. Когда она стирала в ванной комнате, вошла Марья Ивановна и, зевая, добродушно сказала:

— Удивляюсь. Мне на мужа стирать надоело, а вы на чужого...

— Он мне не чужой, — ответила Тася.

— Вы хотите остаться? А прописка? Знаете, как трудно в Ленинграде прописаться...

— Нет, я здесь не останусь...

Марья Ивановна успокоилась.

— Человек он хороший, непутевый только,— сказала она.— Девочке моей помогает заниматься, и задачи решает, и русский проверяет. Человек культурный, этого у него не отнимешь... И не мелочится, деньги есть, так он не считает...

Тася слушала ее молча, вопросов не задавала.

Когда Николай проснулся, она вымыла пол в комнате, вытряхнула пыль, погладила то, что постирала. Опять сварили картошку.

— Я сейчас до некоторой степени стеснен в деньгах,— пояснил Николай.

— Возьми у меня... У меня еще есть немного...

— Что ты! Это исключено. Я никогда не возьму у женщины деньги...

Тася все-таки выбежала за угол в магазин и купила колбасы и масла.

Двор не казался ей сегодня таким мрачным, как вчера, мусор уже убрали. И даже кошка не пугалась и не убегала, сидела, греясь на солнышке, и охорашивалась.

Было что-то приятное, пожалуй, даже очень приятное в том, чтобы хлопотать по хозяйству, как в своем доме, кормить завтраком своего мужчину. Николай был весел, целовал ей руки, уверял, что она, как солнечный лучик, вот именно как солнечный лучик, осветила его мрачное жилье. Он предложил, не очень, впрочем, серьезно:

— А хочешь, оставайся со мной, а, Тася? Многого не обещаю, сытого мещанского благополучия не обещаю, зато... вырвешься из своего городка...

— Нет, у меня ведь там свое дело,— тихо и твердо сказала Тася.

Николай не спорил.

Стал суетиться, показывать ей старые афиши, какие-то пожелтевшие программы, грамоты за шефские концерты, пригласительные билеты. Он словно хотел этими бумажками что-то такое утвердить и в ее сознании, и в своем.

Она перебирала, перечитывала, послушно кивала головой, а потом вдруг спросила:

— А для чего ты притопываешь ногой? Так надо? Вам велят так делать?

— Глупенькая, жанр имеет свои особенности...

Она только и произнесла:

— О-о,— потом тряхнула головой,— но я бы ни за что не могла...

Он удивился:

— Чего не могла?

— Ну, притопывать...

— Я работал над этим движением с режиссером...

— Ну, а что ты делаешь, когда не поешь, когда ты не в поездках, не на гастролях, а дома?..

— Ну, я собираю марки,— ответил Николай несколько растерянно.— У меня чудные экземпляры.

Он достал альбомы, пинцет, стал показывать, осторожно подхватывая марки пинцетом.

Ей захотелось уйти, ей вдруг показалось, что сейчас она закричит, завоет. Она попросила странным сдавленным голосом:

— У меня есть знакомый мальчик, Толик. Ты не можешь подарить ему красивую марку? Но только скорее, я тороплюсь, мне пора... Меня ждут...

— Я тебя провожу...

Утро было солнечное, но прохладное. Тасю бил озноб, несмотря на шерстяной костюм. Николай надел плащ, горло обернул клетчатым шарфом.

— Надо отдать твой плащ в чистку,— сказала Тася.

— Да, да, все забываю...

Николай предложил отвезти ее в гостиницу на такси.

— У тебя ведь нет денег...

Он засмеялся:

— А Марья Ивановна на что? Нет, даму надо отвезти домой на такси...

— Это ритуал?

— А может быть, это любовь?

Чем ближе они подъезжали к гостинице, тем больше нервничали оба. Николай вдруг, кривя в усмешке рот, сказал:

— Хочешь, я перееду к тебе. Мне страшно тебя снова терять...

— Нет, что ты! Не надо...

Увлекаясь, он стал строить планы, как они начнут жизнь сначала. Есть, вероятно, своя прелесть в том, чтобы жить в провинции, жить тихо и размеренно. Он будет преподавать пение, не забыл еще, что такое сольфеджио, контрапункт и вся прочая премудрость. Он будет учить деток петь «В лесу родилась елочка» или что там еще

поют дети. Они будут с Тасей гулять вечерами по лугам. Если ему все-таки чего-то недостает, так это тишины деревенских лугов, природы.

Тася почти крикнула:

— Какие луга, Коля? У нас асфальт...

— Но где-то асфальт кончается...

Чем больше он пыжился, тем больше она ощущала, что рядом с ней одинокий задержанный человек.

— Думаешь, мне не надоели отели, вечерний шум? Утром проснешься, особенно если выпьешь накануне, не сразу вспомнишь, где ты, кто ты. В голове муть. Потом только вспомнишь, что ты Ник. Рашевский.

Он говорил с печалью и тут же смеялся, стараясь, чтобы Тася верила его смеху. И, рисуясь, спросил:

— Так как — приезжать? Рада будешь?

— Не надо, — опять вырвалось у Таси. — У нас ведь все иначе, чем у тебя. У нас обыкновенная трудная жизнь... — Она не знала, как еще объяснить ему, что именно это за жизнь.

Ну а что, если Николаю придется по душе их жизнь? Если он поладит там, у них? Сойдется с учителями, с Мелентьевым, с Александром Михайловичем, с Натальей Алексеевной, ведь она добрая, чуткая... Может, они и с Толиком поладят, вот у них даже общий интерес есть — марки. Но нет, не поладят... Толик такой нервный, такой гордый мальчик...

Она рванулась к Николаю, обвинила его шею руками. От плаща пахло затхлостью, а шарф был новый, красный, кричащий.

— Только если тебе будет совсем плохо, тогда приезжай, а так не надо...

— Я живу прекрасно, — обиделся Николай. — Мне дают хорошие сценические площадки. У меня мое искусство, поклонники, моя филателия... Ты ведь видела, как меня принимают. Я даю радость людям. Напрасно ты считаешь меня неудачником...

Едва Тася вошла в холл в назначенный час, когда все должны были встретиться, к ней бросилась Наталья Алексеевна:

— Дорогая, я так тревожилась, я вся извелась! Это

он? Это отец вашего мальчика? Я всегда замечала, что в Толике что-то цыганистое.

Тася заколебалась.

— Нет, что вы! — твердо сказала она. — Отец моего мальчика, я ведь вам говорила... Он давно умер... — А все-таки взяла руку Натальи Алексеевны в свою, положила ее к своей горячей щеке и проговорила совсем тихо: — Ой, как мне тяжело, Наталья Алексеевна, ой, Наталья Алексеевна, милая, как мне тяжело...

А та, не спрашивая, не удивляясь, заговорила поспешно о том, что скоро пора будет ехать на вокзал, что надо укладываться и торопиться, чтобы не опоздать к поезду. Но они успеют, не беда, все обойдется, все будет хорошо. Мало ли что случается в жизни! Жизнь мудрее нас, она сама распутывает все узлы. Надо только быть мужественной.

— А ведь вы мужественная, Тася, я всегда любовалась вами... И все будет хорошо, все, что ни происходит, все к лучшему, вы уж поверьте мне, Тася, я старше вас...



Еще за неделю неизвестно было, как сложится: кто придет, кто откажется от приглашения. Да что там за неделю, еще накануне, еще в пятницу, было много неясного. Ведь все явления жизни сцеплены между собой. Одно дело, если будет Богданов, совсем другое — если он не придет. А согласится приехать Богданов, то и другие приглашенные прибегут, как говорится, живые или мертвые. Всем хочется с ним повидаться. Но не всех тогда можно позвать. Даже Елена Дмитриевна это хорошо понимала. И не удивлялась. Кто она и кто Богданов? Земля и небо. Она так и сказала Нине, главной устроительнице вечера.

— Конечно, Нина, я понимаю. Кто он и кто я? Но, с другой стороны, я его не касаюсь, а он не касается меня. И время теперь другое, и политика...

— Политика-то другая, и никакой вы теперь не враждебный элемент, но вдруг ему будет неприятно...

— А может, мне будет неприятно,— воинственно вскинула голову Елена Дмитриевна, и ее желтые, как у птицы, чуть хищные глаза загорелись гневом.— У меня больше оснований помнить прошлое...

И Нина, понимая свою зависимость, так как одной, без Елены Дмитриевны, ей никак не управиться со столом и с пирогами, воскликнула:

— О боже, я сама еще ничего не знаю...

Как раз тогда вошло не то в моду, не то в традицию устраивать вечера воспоминаний, встречи однополчан, выпускников школ или институтов, даже просто земля-

ков. Поколение двадцатых годов как бы хотело заглянуть в свое прошлое, прикоснуться к истокам, к началу начал, поразмышлять о своей судьбе, о судьбе страны. Хотя для некоторых, вероятно, такие встречи были просто идеей, подсказанной газетами.

И у Нины возникла мысль устроить вечеринку, собрать всех уроженцев их сибирского городка, осевших в Москве. Все они учились когда-то в одной школе, хотя и в разных классах, многие были комсомольцами или просто посещали комсомольский клуб. Он размещался тогда в особняке с белыми колоннами, принадлежавшем до революции отцу Елены Дмитриевны, директору банка. Старший брат Миши Богданова, бывшего в ту пору еще совсем мальчиком, вожак городских комсомольцев Сергей как раз и явился с орденом освобождать этот дом для клуба. Дом и тогда уже мало напоминал тот роскошный, с тяжелыми креслами, весь в кадках с цветами особняк, где родилась и провела веселое детство Елена Дмитриевна: кресла давно уже вывезли в райисполком, цветы замерзли, когда из-за нехватки дров перестали отапливать парадные комнаты, а на стенах темнели пятна и висели клочья оборванных обоев — тут стояли на постое колчаковские солдаты. Но все-таки это был дом. Лена, как звали тогда Елену Дмитриевну, сверкая медово-янтарными глазами, раскидывая в стороны тонкие, цепкие руки, синевя от негодования, закричала и на Сергея Богданова и на маленького Мишу, стоявшего поодаль:

— Сережа! Мишка, скажи ему... Не смейте, это папин дом... это наше... Сережа, я не буду разговаривать с вами, вы слышите, только посмейте!..

Но он посмел.

Семья переселилась во флигель, в доме стали собираться комсомольцы, и Лена, изнемогая от любопытства и интереса, вертелась с независимым видом под окнами клуба, как будто просто гуляла во дворе, и даже подпевала, когда там пели комсомольские песни. А голос у Лены был прекрасный. И когда однажды руководитель хорового кружка, перегнувшись через подоконник, позвал ее: «Заходи, девочка, просим», — она зашла. И стала петь в кружке. И перетащила для клубной библиотеки все приложения к журналу «Нива», полное собрание сочинений Пушкина, Фета и Ростана. И быстро стала

осваиваться и привыкать, пока Сергей Богданов не сказал ей строго:

— Эй, Лена, тут тебе не место. Ты больше сюда не ходи...

— Ну и не надо... — дрожащими губами ответила Лена.

Назло ему Лена затеяла устраивать спевки у себя дома, во флигеле, где было пианино и ноты — старинные романсы. Девочки и мальчики из младших классов, та же Нина, тот же Миша Богданов, с охотой ходили к ней попеть и поболтать, но, когда Сергей узнал про это, он тут же запретил ей «брать под свое влияние подростков, еще не охваченных комсомолом».

Лена была уже сиротой в то время и служила курьером, школу посещала нерегулярно, только в свободное от службы время. Так и являлась на уроки с разносной книгой и сумкой. Она училась плохо, дерзила учителям, всех вымеивала, сплетничала, так как знала все, что делается в их городе: ведь носилась по целым дням с бумажками из учреждения в учреждение, стуча и грохоча деревянными подметками. Она озлобилась, ни во что больше не верила — ни в бога, ни в черта, ни в добрые чувства, ни в справедливость. То, что еще оставалось от имущества родителей, растащили родственники, раньше чем девочка поняла, что отныне она может полагаться только на себя. В родном городе ей не было ходу, все знали, чья она дочь, и слишком хорошо еще помнили нрав ее отца, и как только Лене оровнялось семнадцать, она уехала из городка. Но никогда не переставала тосковать по родным местам. Поэтому и к землякам ее тянуло, даже через много лет. И она очень волновалась, не зная, сможет ли присутствовать, не зная, позовет ли ее Нина. Все-таки это Нина решила устроить вечеринку. Да и какая она Нина! Это только близкие знакомые зовут ее по старой памяти Ниной, а на работе она уже давно не Нина и даже не Нина Павловна, а товарищ Свиридова. В учреждении, где она работает, не принят фамильный тон, тем более что Нина стояла на довольно высокой ступеньке служебной лестницы, той самой лестницы, где уж совсем высоко, на самом верху, находился Миша Богданов. Вот он, иногда, очень редко, сталкиваясь с ней в коридоре или в лифте, называл ее по имени:

— Ну как поживаешь, Нина? Замуж не вышла?

Раньше она отвечала кокетливо, с нарочитой грубоватостью:

— Нашел дуру, жди... Очень надо...

Потом в ее ответе уже звучала легкая грусть:

— Где уж, теперь поздно...

Но встречи их были такими редкими, что Богданов уже не помнил, замужем ли она, а вежливо осведомлялся:

— Как семья? В порядке?

Не решаясь долго его задерживать, счастливая его вниманием, тронутая его простотой, она говорила кратко:

— Спасибо, живу одна...

И вот теперь ей пришло в голову желание пригласить на вечеринку Богданова. Он несколько растерялся, но потом даже обрадовался. Искренне обрадовался.

— А что? Это идея. Повидать своих ребят...— И подмигнул, как весело подмигивал когда-то, погом вопросительно взглянул на своего секретаря, не скажет ли тот, что как раз на это число и час назначено совещание. Но секретарь молчал.

— Сделаем сибирские пельмени,— сказала Нина.

— Да ну?

— Пироги с черемухой, шаньги, все по-сибирски. То, что вы... что ты любил когда-то...

Богданов снова неуверенно глянул на секретаря.

— Это, надо полагать, складчина? — И нерешительно, непривычно полез в карман за деньгами.— Черт, денег-то с собой не взял...

Секретарь стал доставать бумажник, но Нина поспешно сказала:

— А у нас, как при полном коммунизме, без денег. Я получила посылку из Сибири...

Ей почему-то показалось неудобно брать с Богданова пай.

Однако возможное присутствие Богданова на вечеринке очень все удорожало и осложняло. И водку уже надо было покупать «Столичную», а не простую, и закуску делать подороже. Елена Дмитриевна, которую Нина попросила помочь, сказала, что шампанское покупать обязательно. Она три раза в неделю ходила помогать по хозяйству к одной актрисе и точно знала, когда, как и что положено..

— Телятину купим на рынке, огурчики ты достань в вашем буфете, а крабы я беру на себя...

— Колбаски надо, сыру...

— Ну кто же теперь угощает колбасой? — фыркнула, торжествуя, Елена Дмитриевна. — Теперь это не принято. Нужны салаты, что-нибудь домашнее, пикантное... Нет, Нина, ты уж положишься на меня...

— А все-таки вы сохранили свои старые замашки, — колюче, хотя и со смешком, сказала Нина, задетая тем, что Елена Дмитриевна учит ее, Свиридову, как надо принимать гостей.

— От всяких замашек я отучилась, положим, давно и не без помощи богдановского братца. — Елена Дмитриевна вдруг спохватилась: — Да что теперь про это вспоминать, смешно, — было сто лет назад. Ты ведь не будешь отрицать, что уровень жизни в последние годы очень повысился... — Ей так хотелось быть на этой вечеринке! — Миша Богданов давно забыл о моем существовании. Небось и не узнает меня, ведь он намного меня моложе...

— Боюсь я вашего языка, Елена Дмитриевна, вдруг еще ляпнете что-нибудь, — покачала головой Нина. — Даже меня, — а я вам столько добра делаю, — вы и то поровите подкусить...

— Да я совсем безвредная, необразованная старуха, — смиренно сказала Елена Дмитриевна. Но Нина усмехнулась:

— Не такая уж безвредная...

Елена Дмитриевна, как будто не расслышав, пропустила упрек мимо ушей. Заговорила, залопотала о салате, о приемах, какие задает ее привередливая актриса, особенно когда приезжают из-за границы театральные деятели. Актриса постоянно зовет на помощь Елену Дмитриевну, чтобы утостить их настоящим русским обедом.

— И вы идете?

— Еще бы! Выпью коньячку, икры налопаюсь. И еще заработаю. О, я каждому рублику рада... Не беспокойся, я и тебе такой устрою стол — лучше, чем в любом ресторане.

Но Нина все же беспокоилась.

Жила она одиноко, скучно, гости бывали редко, и то, что теперь соберется сразу так много людей, само по себе уже являлось событием. Ей приятно было, что она смо-

жет постелить ту большую скатерть, что лежала без употребления много лет, и сервиз поставить, который годами не вынимается из серванта, и хорошенькие рюмочки, купленные в Чехословакии, где она лечилась на курорте, тоже пойдут в дело. Но предстоящие хлопоты все же немного пугали. Она представляла себе, как залиют красным вином скатерть, разобьют хрусталь или испачкают паркет. А все же приятно было думать, что тихая ее квартира огласится голосами. Может, даже потанцуют под радиолу, которой ее премировали на Восьмое марта. Она позвонила Розе, та работала в оперетте администратором, и попросила захватить с собой пластинки повеселее.

— Фокстроты или что там теперь танцуют... У меня только народное и революционные песни. Есть что-то Чайковского, но кто же в такой вечер будет слушать классику?

— Пластинки принесу что надо. Он что, приедет с женой?

— Сомневаюсь,— сказала Нина, не уверенная в том, что и сам-то Богданов сдержит слово.— Только, Роза, имей в виду, не разводи никакой модерняги...

— Ну с кем ты имеешь дело? С идиоткой?

— В ваших кругах это принято...

— Мы что же, не читаем газет? Вы так полагаете, товарищ Свиридова?

— Не дурачась, Роза. И умоляю тебя, не кокетничай с ним, не забывайся...

— Я бы с удовольствием забылась,— вздохнула Роза.— Но никто не захочет забываться с такой старой, замордованной лошадью. Ты слышала анекдот...

— Ох, я уже не рада, что взялась,— перебила Нина.— Мне легче было бы подготовить профсоюзный пленум, чем такое мероприятие... Все должно быть на очень высоком уровне... Так я на тебя надеюсь...

Да, на Розу она, в общем, надеялась, Роза не подведет, да никто и не привык принимать всерьез то, что может брякнуть легкомысленная Роза. Но остальные? Как будут держать себя остальные? Она опять и опять взвешивала, кого можно позвать. Не полезли бы с критиканством или, еще того хуже с подхалимством. Богданов терпеть этого не может. Она мысленно перебрала всех, кого позвала,— нет, вроде никто не подведет. Вот разве

только жены... Но вряд ли... Пожалуй, Богданову действительно будет приятно — соберутся инженеры, заслуженная учительница, экономисты, партийные работники. Все люди с дипломами, башковитые. Нет, за друзей их молодости краснеть не придется. Более удачливые, менее удачливые, но все же люди как люди...

Как-то так вышло, что Нина больше, чем кто-либо другой, сохранила прежние связи, была душой землячества, средоточием всех отношений между старыми знакомыми. Виделись, правда, не часто, но всегда они поздравляли ее с праздниками — с Первым мая, с Октябрем, с Восьмым марта и с Новым годом. И она писала им к праздникам открытки, звонила, а то и ходила на дни рождения. И подарки носила. Все-таки она была одинока, ее не так отвлекали заботы о семье, как других. И материально она была обеспечена. И оклад приличный, и, главное, работала в системе, где свои дома отдыха, и поликлиника, и буфет, и стол заказов, и первоклассные ателье. Знакомые нередко обхаживали Нину: тот просил путевку, другому надо было сшить себе что-нибудь...

Она терпеть этого не могла, и если уступала просьбам, то весьма неохотно.

— Я против всякого блата, мне это претит, — огорчалась она.

Чаще других умела ее уговорить Роза:

— А, Ниночка, не будь такой принципиальной...

— Мне? Не быть принципиальной?

И все-таки она уступала. Зато когда Нина что-нибудь шила себе, Роза ходила с ней на примерки. И помогала выбирать материал, так как считалось, что у Розы есть вкус, поскольку она работает в театре. И вообще с годами Нина сделалась уступчивее и добрее, «стала человеком», как выражалась Роза.

Так она и Елену Дмитриевну стала допускать к себе в дом, а раньше и слышать об этом не хотела. Правда, и теперь называла ее на «вы», на дружеское «ты» никак не переходила, объясняя это тем, что Елена Дмитриевна намного старше ее. Но у Елены Дмитриевны было другое объяснение.

— Просто хочет этим показать, что гусь свинье не товарищ, — говорила Елена Дмитриевна. — Но этим она ничего не добьется. Я не гусь и уж давно не свинья. Такой же советский человек, как и она... И доказала это

в войну. Я Нину помню еще сопливой девочкой, и мне наплевать, что она работает инструктором. Мое кредо такое — важно не то, кто любит меня, а кого люблю я...

И все-таки Елена Дмитриевна не знала, будет она допущена к столу или только поможет все устроить и удалится домой. И Нина еще этого не решила, хотя прекрасно понимала, что для Елены Дмитриевны присутствие на такой вечеринке будет как бы кульминацией, высшей точкой всей ее жизни — вот, мол, несмотря ни на что, она не пропала, выжила, прожила свою жизнь не хуже, чем другие, и присутствует среди земляков, как равная, на равных началах.

Нет, пока еще Нине было не до Елены Дмитриевны, не это ее тревожило. Ей бы только знать наверняка, будет ли Богданов, и если будет, то какой возьмет тон — вот что хотелось угадать. И сумеют ли остальные, не фальшивя, подхватить, поддержать взятый Богдановым тон? Больше всего она беспокоилась за Костю Семянского, горячего, несдержанного, вечно ищущего проблем и склонного к ненужным обобщениям. Но не звать Костю она не могла, ей самой хотелось его увидеть, блеснуть перед ним. Володю Кузнецова она уже прямо предупредила, чтобы он ничего не кланчил для своего завода, не то она уши ему оторвет. Роза обещала не кокетничать, не «хохмить» и не рассказывать анекдоты про армянское радио. Учительница Лида дала клятвенное обещание не читать лекций по педагогике и не упоминать фамилию Макаренко больше чем три раза за весь вечер, а Шурка обещала не жаловаться на свою невестку.

В общем, каждому Нина по телефону сказала, что ей легче подготовить профсоюзный пленум, чем такое собрание. И все смеялись над этой шуткой. И самой Нине ее шутка так понравилась, что каждому гостю, когда он пришел, она повторила ее еще раз, и все еще раз сообща посмеялись.

Как бы там ни было, но все оказались растроганы и довольны, все хвалили Нину за ее благородную инициативу. И если в первую секунду у каждого слегка щемило сердце при виде располневших, тронутых сединой и морщинами товарищей молодости, то через минуту эта боль потонула в гаме, шуме и восклицаниях.

— Ребята, товарищи, — говорила почти со слезами раскрасневшаяся Нина, — а ведь мы все неплохо выгля-

дим, а? Вы мне определенно нравитесь. Не зря, нет, не зря прожили мы с вами жизнь...

— Почему прожили? Я только начинаю жить,— «хохмила» Роза.

Все стоя хватили по рюмочке вина, которое принес с собой Володя Кузнецов, и все стали кричать, перебивая друг друга, всем стало весело, поуспокоились даже жены, несколько скованно чувствующие себя, так как женская часть землячества большей частью состояла из одиночек — вдов, разведенных или вовсе не выходявших замуж, как Нина.

— Ребята, споем! — кричала Роза.

— Рано еще...

— Ой, рыжий, у тебя лысина...

— Обман зрения. Лысины нет...

— А кто бывал в родной Сибири в последние годы?

— Я. В командировке...

— Валька, ты кто — кандидат?

— Бери выше — доктор.

— На арбитраж, директор, не надейся. Не поможет...

— Не пугай, не страшно.

— Ребята, споем?

— Рано...

— Шура, сынок еще не женился? Уже? А внуки?

— Лучше моей внучки на свете нет, вы не думайте, что я пристрастна...

— Ребята, я рада, что мы не растеряли свой молодой, комсомольский задор! — кричала Нина.

На какие-то мгновения все даже забыли, что ждут Богданова, так расчувствовались. И Нина, когда Елена Дмитриевна, скромно улыбаясь, показалась на пороге, великодушно сказала:

— Ребята, может быть, вы помните, это тоже наша сибирячка, Елена Дмитриевна. Елена Дмитриевна, расскажите им про свою артистку...

И Елена Дмитриевна, не заставляя себя упрашивать, смешно и метко изобразила, как она беседует по телефону со своей актрисой. И похвалилась, что та, вернувшись из-за рубежа, с гастролей, привезла ей в подарок вот эту парижскую кофточку.

Кофточку с интересом пощупали, похвалили шерсть, цвет и особенно металлические пуговицы.

— Вот какая она у нас модница,— сказала Нина со-

всем мягко, как бы желая этой мягкостью снять все прошлые обиды.

Она любовалась столом, своими гостями, комнатой, ставшей сразу нарядной и уютной. И ей казалось в эту минуту, что она всем вполне довольна в жизни, что жизнь ее прекрасна и наполнена до краев и так же, как тридцать лет назад, ее переполняет чувство радостного ожидания. Она как бы стряхнула с себя тот налет деловитой настороженности, какой наложили на нее время и ответственная работа, сбросила скорлупу официозности, за которую ее побаивались на службе, и стала прежней Ниной, пусть не особенно умной, но доброй, доброжелательной и приветливой. Директор завода Володя Кузнецов, «рыжий с лысиной», тоже стряхнул с себя усталость и озабоченность и требовал скорее шахматную доску, чтобы сразиться с Костей Семиным.

— Бюрократ, ты же разучился играть, — отвечал ему Костя. — Играет каждый за себя, а ты привык опираться на коллектив, на треугольник...

— Все-таки я в треугольнике не самый тупой угол. — Володя отшучивался, нес милую чепуху, которая понятна была только им, друзьям молодости, и совсем не смешна и не понятна была вежливо улыбающимся женам и молчаливому пенсионеру с бородкой, мужу учительницы Лиды.

— Дорогие мои девочки, — отчетливо, как будто она рассчитывала, что слушатели будут конспектировать ее слова, говорила Лида, — дорогие девочки, я безумно рада тому, что мы встретились.

И толстые «девочки», принаряженные, завитые, в отличных вязаных костюмах джерси с белой полоской, точно таких, какой носила первая женщина-космонавт Терешкова, сбившись в кучку, не слушая одна другую, болтали:

— Роза, ты помнишь нашу березовую рощу?..

— Интересно, почему Костя пришел без жены? Нина, это ты так устроила?

— Мама моя давно умерла...

— Был прекрасный мальчик, способный физик, комсомолец. Давно мог стать молодым коммунистом. Но попал в руки какой-то Петровой, даже имя ее произносить не хочу...

— Да, у меня есть друг, а что — жить одной лучше?

- Я верна памяти мужа...
- Как это не пьет,— пьет...
- Нет, нет, нет!..
- Не нет, а да...
- У тебя прекрасная комната, Нина.
- Нина, что я вижу? Новый сервант? Польский?
- Представь, наш, отечественный...
- Смотри, как научились делать...

Жена Володи Кузнецова поспешно вставила:

— Вы думаете, мы не умеем? Мы все умеем. Вот у нас на швейной фабрике, если бы нам давали хорошую фурнитуру, пуговицы, например...

И вдруг Костя Семинский посмотрел на часы:

— Видимо, Богданов не придет...

— Он хотел прийти,— грустно спохватилась Нина,— но, ребята, ведь это же очень занятой человек!

— Что же, мы не понимаем, что ли.— Володя Кузнецов сделал серьезное лицо.

Одна из жен заметила, разочарованная:

— Ради такого случая можно бы отложить дела...

— Не все можно откладывать, есть же и дела государственной важности,— чуть сухо остановила ее Нина.— Ну, товарищи, прошу за стол.

— Но первый тост мы все-таки провозгласим за нашу гордость, за нашего Мишу Богданова,— предложила Роза,— хоть он и не приехал...

И все-таки Богданов приехал.

Приехал, когда его уже никто не ждал, когда все разгорячились и стремительный Костя Семинский в азарте спора смахнул-таки локтем со стола хрустальную рюмку, а неловкий муж Лиды уронил на новый пиджак промасленный пирожок, за что получил нагоняй от жены; когда уже спели «По долинам и по взгорьям» и Роза, охотно показывая свои еще стройные ноги, хотела научить всех танцевать шейк.

— Безумие,— сказала Лида,— мои старшеклассники изуродовали пол в актовом зале этим самым шейком...

— Вы разрешаете им танцевать? Это можно? — ахнула Елена Дмитриевна.

— А что? — сказала одна из жен.— Дети хотят идти в ногу с веком.

— Как мне нравился когда-то вальс...— вздохнула

Елена Дмитриевна.— И так никогда и не пришлось мне потанцевать, не было случая...

Кудрявая жена Володи Кузнецова, та, что жаловалась на плохую фурнитуру, удивилась:

— Как это не было случая? За всю-то жизнь?

Никто не стал рассказывать ей историю жизни Елены Дмитриевны, она поахала и умолкла.

Каким чудом Нина расслышала звонок — непонятно, она метнулась в переднюю, и, раньше чем кто-либо понял, зачем она туда побежала, вошел широкоплечий, со знакомой по газетным портретам улыбкой, открытый, добродушный Богданов в сопровождении высокого, тоже очень широкоплечего молодого человека. Богданов распахнул руки, как будто хотел сразу всех обнять, и сказал с укоризной:

— Мне-то хоть оставили что-нибудь, черти? Я голодный, как волк.

Володя Кузнецов хотел было сесть рядом с Богдановым, но молодой человек не заметил этого и сел сам, а с другой стороны от именитого гостя поместилась хозяйка дома. Богданов представил:

— Это мой племянник. Нам еще надо с ним сегодня попасть за город. На дачу... А сам я машину не вожу.

Все без интереса кивнули молодому человеку, и только Шуручка стала вглядываться в его лицо.

— Что-то я не пойму, чей же это — сестры сын, что ли? Разве у нее был сын?.. Или это Сергея сын?

— Это племянник со стороны жены, — пояснил Богданов и ласково продолжал, следя краем карего глаза, как Нина, волнуясь, накладывает ему на тарелку кушанья, и жестом останавливая ее, чтобы не клала слишком много. — Черти вы мои! Милые вы мои, сколько же мы не виделись...

Володя Кузнецов вытер салфеткой мясистые губы.

— Со мной, например, лет шесть... мы же встретились на совещании хозяйственников...

— Да, да... — вспомнил Богданов. Взгляд его блуждал по лицам, и Нина, следя за его взглядом, подсказывала, кто это и где работает.

Роза не стала ждать своей очереди.

— Миша, — бойко сказала она, — не мучайся, не напрягай память. Просто я выкрасилась в другой цвет. Надеюсь, ты не забыл Розу?

- Ну да! Ты же была черная!
- Немодно, теперь я блондинка.
- Стала певицей?
- Увы, работаю в театре, но... администратором.
- Все-таки в театре, — утешил ее Богданов.

После того как Роза так смело назвала его на «ты» и «Миша», все как будто сбросили с себя броню, перестали стесняться. Кричали: «Богданов», «Миша», «Михаил» и даже «Мишка». Богданову все это нравилось. Он сам с удовольствием выговаривал имена, вспоминал старые прозвища. Тут Нина решилась:

— Миша, а это Елена... Лена Михайлова...

— Очень рад, — равнодушно сказал Богданов. — Ты в какой же ячейке была? Что-то я не очень помню...

— Я... — Елена Дмитриевна изогнулась, как пантера, готовая к прыжку. Даже блеснули пуговицы на кофточке.

Но Нина не дала ей сказать ни слова, перебила, заслонила ее, стала предлагать гостям выпить шампанского за их молодость, за их дружбу. Ах, она так счастлива, что сейчас все они сидят за одним столом, «комсомольцы двадцатого года».

И Нина даже вытерла слезы.

— Ты все такая же плакса, как была, — сказал Богданов, тронутый ее чувствительностью. — Хлопцы, девчата, вы помните, какая она была плакса?

Перебивая друг друга, гости кричали: а это помните? А помните, как Костя?.. А Володя?.. Шурочка, что же ты молчишь, ты же была свидетелем?.. Лида, а ты?.. Споем, ребята?.. Ах, посидеть бы еще разок у костра... В войну? Как, ты был на Юго-Западном? И я на Юго-Западном. Лейтенантом? А ты, Миша? Я, я — в штабе армии. Кем? Ну, скажем, членом Военного совета... А-а!.. Скромность, она украшает... Миша, ну неужели мы будем терпеть с Вьетнамом?.. Ребята, без политики... Отдых, отдых, отдых. Спеть?.. Ну, еще споем, успеем... За нашу дружбу! Да здравствует молодость! Что — колхозы? С сельским хозяйством у нас неплохо... Потанцевать? Стоит ли? Ты «за», Миша? С тобой?

Нина растерянно развела руками:

— Я эти современные танцы не знаю... А ты разве танцуешь?

— Почему же! — возразил Богданов. — Бываю на приемах с иностранцами, танцую, когда надо... на практи-

ковался дома с дочкой и освоил эту премудрость... Нет таких крепостей...

Шурочка не выдержала, сказала громким шепотом:

— Мой сын такой способный, такой талантливый мальчик. Как танцует... Давно стал бы молодым коммунистом, продвинулся, устроил бы судьбу. Так надо же, попал в лапы Петровой. А ей бы только деньги, только деньги...

Ее никто не понял, никто не слушал.

Загремела пластинка на радиоле, и, смеясь над своей бестолковостью и неумелостью, танцующие пары затоптались в тесной комнате. Лида с Богдановым, Роза с Кузнецовым, Нина с Костей.

Весь вечер Нина поглядывала на Костю с нежностью. Не будь горьких складок у рта, можно бы сказать, что он совсем не переменялся. То же пламя в глазах, те же мягкие волосы, та же манера встряхивать головой. И курточка, пожалуй, та же, ну не та, так похожая, спортивная, с карманами. В те годы застежек «молния» еще не было. А из кармана торчала тогда не автоматическая ручка, а карандаш.

Нина немножко боялась за Костю, тревожилась, как бы он не попал впросак, в глубине души надеялась, что Богданов заинтересуется Костей, обратит внимание на него, может, примет участие в его судьбе.

Но Костя держался в сторонке, фыркал, сверкая своими мрачными глазищами. Не то что Володька Кузнецов. Тот блистал остроумием, болтал, очень удачно и к месту рассказал, какие у него на заводе прекрасные кадры молодых рабочих. И Богданов переспросил даже, как называется его завод.

— А что вы выпускаете? Все ту же допотоптную продукцию?

Володька Кузнецов побагровел и не удостоил Костю ответом. Не заметил и не услышал. И Нина, боясь, что Костя «заведется», стала его угощать и отвлекать. Очень уж шальной этот Костя, ничуть с возрастом не изменился...

Как странно, сколько лет прошло, оба почти старики, а душа все полна нежности, как прежде, когда оба очень нравились друг другу, очень стеснялись один другого. Вспомнилась ей березовая роща в их городе, солнце, гибкие, струящиеся с берез ветки, пронизанные и обли-

тые золотом ранней осени, когда Костя, хмурясь, сказал ей, что она, в своей белой блузке, гибкая, похожа на березу. И ткнулся горячими, влажными, как у жеребенка, губами ей в висок.

Как и когда она потеряла Костю, как их пути разошлись, Нина и сама этого не знала. Когда Костя уехал учиться, она ни о чем не спрашивала и никакого слова с него не брала. Слишком молодые были оба, неопытные. Жажда жизни была в них тогда сильнее, чем жажда любви. Костя немного пугал Нину своей стремительностью, мрачностью. Она была такая ясная, такая спокойная. Костя со всеми ссорился, спорил, даже против Сергея Богданова выступал. Она очень осуждала его за это...

Конечно, она плакала, когда Костя уехал, но так, чтобы никто не знал, не подозревал. Костина мама спросила у нее:

— Что тебе пишет Костик?

Нина повела плечиком:

— Почему он должен писать мне? Он прислал письмо в нашу ячейку.

Она соврала. Костя писал. Это были странные, пугающие письма, полные намеков, недосказанного. Она совсем растерялась, хотела ясности, определенности, чтоб письмо начиналось: «Дорогая Нина» — и кончалось: «Твой Костя». Но разве можно было добиться у Кости определенности? Он измучил ее. Нина даже обрадовалась, когда ее послали на работу в область, — надеялась отвлечься, забыть Костю. Может, и не забыла, но отвлечься — отвлеклась, работа была сложная, интересная. С Костей они встретились уже через много лет в Москве, он был женат. И у Нины чувство поутихло, угасло за это время. Костя несколько раз приходил, заговаривал о прошлом, упрекал, что она во всем виновата. Она спрашивала: «Почему я?» — «Ну, не ты, а жизнь». — «И жизнь не виновата, никто не виноват». — «Вот и теперь любишь, чтобы все гладко, без углов, чтобы никто не виноват...» — «Это ведь не я вышла замуж, а ты женился...» И прервала эту бессмысленную канитель, сказала, что уезжает в длительную командировку, на год.

Нину тогда только что взяли в центральный аппарат, она даже подозревала, что какую-то роль в ее выдвижении сыграл Миша Богданов, — ну как она могла начать свою деятельность с какой-то скандальной личной исто-

рии? Не хватало только, чтобы Костина жена пошла на нее жаловаться...

А Костя поверил, что она уезжает. Исчез из ее жизни. Когда встретились, он уже успокоился, держался как друг. Нет, она всегда знала, что он ненадежный. Интересный, талантливый, может, даже необыкновенный человек, но ненадежный. Из тех, что и свою и твою жизнь исковеркает и не заметит даже... Костя поступал не как все и чувствовал не как все.

Может быть, если б Костя был более настойчив... Но как он мог быть настойчивым? Все еще неустроенный, неуживчивый. То его выгоняли с работы, то он сам уходил. Заводской квартиры лишился, жил на окраине в развалюхе. Нет, не до личной жизни ему было, не до любви. И очень уж они не подходили друг к другу. Сдержанная и умеренная Нина и порывистый Костя. Кроме того, очень уж самоотверженно несла свое бремя Костина жена.

Все, все, что было когда-то, давно забылось, но замуж Нина так и не вышла, хороший человек не попался, плохой ей ненадобен. Она и одна прекрасно жила, вся ее жизнь в работе. А нежность к Косте все-таки осталась, тайная, скрытая даже от нее самой...

И сейчас, танцуя, она мягко, с какой-то жалостью смотрела на Костю.

— Как твоё изобретение?

Костя дернулся, лицо его исказилось, и Нина поспешила предупредить события:

— Ну ладно, ладно, об этом в другой раз, хорошо? Какой ты бледный сегодня... Ты чем-то недоволен?

— Не сказал бы...

— Заметил, как поседел Богданов?

— Не обратил внимания...

— А на что ты обращаешь внимание? — уже с укором, с досадой сказала Нина. — Почему ты такой худой? Ты отдыхал в этом году?

Костя только отрицательно замотал головой.

— Помнишь березовую рощу? — вдруг сказала Нина. — Я-то помню... — И, уже не владея собой, спросила: — Как твоя семейная жизнь? Ты счастлив?

— Зачем ты спрашиваешь?

— А разве старый товарищ не может про это спросить?

Костя задумчиво, наступая ей на ноги, танцевал.

— Как славно, что ты нас сегодня собрала...

Нина ответила механически:

— Легче подготовить профсоюзный пленум, чем всех вас собрать...

Музыка уже отзвучала, а они все еще двигались, думая каждый о своем, пока их не заставили очнуться аплодисменты.

— Э, это неспроста, — лукаво сказал Богданов, — э, это, кажется, неспроста...

— Старая любовь не ржавеет, — подхватил Кузнецов, не подозревая, что бьет по больному месту. — Я не забыл ваши прогулочки... Маня, отвернись и не слушай, — крикнул он жене, — теперь можно признаться — я ревновал, как Отелло...

— Да ну? — притворилась веселой Нина. — Ой, как жалко, а я не знала... Володька, противный, почему ты скрывал?

— Что-что, а скрывать он умеет, — ехидно сообщила жена Володи.

— От тебя скроешься, как же! Домашний ОБХСС.

— Знаете анекдот, — не вытерпела Роза. — С мужем надо обращаться, как с собакой, — кормить, мыть и выпускать вечером погулять...

— Хол — загрохотал Кузнецов. — Погулять? Вечером? Вот именно...

Даже тихий пенсионер, муж Лиды, залился смешком, забулькал, как будто молоком захлебнулся.

— Какая ты циничная, Роза! — кокетливо возмущалась Лида. И отчеканила: — Ци-нич-на-я.

— Почему циничная? И при чем тут я?.. Анекдот — это же народная мудрость... — наивно оправдывалась Роза.

— О, Роза, Роза, неувядаемая ты роза, — сказал Богданов.

Не смеялся только Костя. Он опять налил себе вина, выпил и мрачно уставился на Розу.

— Что? — спросила та натянуто. — Хороший анекдот? Тебя-то погулять выпускают?

— Пошлость, — Костя передернул плечами.

— У нас такой изысканный вкус? — Роза снова стала балаганить. — Вот не подозревала...

Нина поспешно принялась вспоминать их родной го-

род, попыталась даже втянуть в беседу Елену Дмитриевну, но та в это время очень смешно показывала режиссеров и певцов, которых встречала у своей актрисы. Мужчины предпочитали политику. Они тормозили Богданова, он-то все знает из самых, как говорится, верных источников. Вхож небось в очень высокие круги, так пусть объяснит... Женщины успели перебрать все острые темы, поспорили о воспитании детей, о модах, переворошили романические истории своих знакомых. Шурочка уже в который раз жаловалась на свою невестку. Только Роза помрачнела. От жирной пищи у нее заныла печень, ей вдруг стало тошно и трудно выглядеть игривой, веселить всех двусмысленными шутками; женская болтовня ее раздражала, и, ища разрядку этому своему настроению, она вдруг крикнула через всю комнату:

— Костя, а почему твоя жена не пришла?

— И верно, Костя,— любезно спросила Нина,— почему она не пришла?

— Не захотела,— резко ответил Костя.

— Почему так? Чем это она так занята?— настаивала Роза.— Сторожит твои великие изобретения, чтобы не украли?

— Ты такая же дура, как была,— сказал Костя.

— Это же шутка,— взволновалась Нина.— Роза, ну скажи, что это шутка. Костя, извинись...

Поднялся галдеж, смеялись над Розой, над Костей, вспоминали, как он сделал себе зажигалку и как зажигалка взорвалась. Роза смеялась, пожалуй, громче всех. Она уже опомнилась, опять стала компанейской, немножко беспутной, бесшабашной Розой.

— Костя,— кричала она,— помнишь, как ты мне чинил примус? Ты и тогда уже был гением в технике...

— У тебя и тогда уже была дырка в голове,— Володя Кузнецов повертел пальцем около лба, показывая, какая дырка была у Кости в голове.

Все хохотали.

Только племянник Богданова сидел безучастно, белокурый, гладкий. Так сидит и дремлет на солнышке молодой здоровый кот.

— Вам скучно с нами, с пожилыми,— пожалела его сердобольная Шурочка.— Вы не женаты?

Будто стальная пружина развернулась в молодом,

сильном парне, он выпрямился. Так кот кидается на беспечную птицу.

— Нет.

— Видно, что вы занимаетесь спортом,— не отставала Шурочка, любуясь его плечами и здоровым видом.— Да, до женитьбы мой сын тоже увлекался спортом.

— Угу.— Молодой человек, не дослушав, встал, потому что поднялся с места Богданов. Нина показывала ему альбом с любительскими желтыми фотографиями.

Богданов вдруг тихо спросил, взглядываясь в блеклый снимок:

— Маша? А где она теперь?

— В Москве,— ответила Нина.

Богданов прикрыл глаза, потом открыл и снова стал смотреть на фотографию.

— Хотелось бы ее повидать...

— Да?— немного растерялась Нина.

Когда она составляла список гостей, то долго, очень долго размышляла над каждой фамилией. По привычке поставила синим карандашом птички над безусловными кандидатурами, красные вопросительные знаки — там, где сомневалась. Машу она сразу же, без колебаний, вычеркнула, уверенная, что Богданову эта встреча будет крайне неприятна. Ведь Маша почти что считалась его женой, ну, скажем, невестой, если бы тогда так выражались... Ой, как же она тосковала, бедняжка, когда Богданов уехал, хотела утопиться, подруги прямо охраняли ее, чтобы не опозорила организацию. Сумасшедшая была девушка эта Маша.

— Ты встречаешься с ней?— спросил Богданов.

— Да... нет... как-то не получается... Она куда-то переехала, звонила, дала свой адрес...

— Поедем за ней!— вдруг решил Богданов.— Сейчас же поедем, я хочу повидать Машу. Машина внизу, мы мигом сможем туда и обратно и привезем Машу. Одевайся, Нина!

— Поздно, тетя не спит, ждет нас,— тихо сказал племянник.

И Нина взмолилась:

— А гости?

— Подождут,— твердо сказал Богданов, как человек, умеющий и хотеть и подчинять других своим жела-

ниям.— Кузнецов, оставайся за главного, руководи, мы вернемся... Жорж, пошли...

Уже в передней, оглянувшись, Нина заметила, что Костя ищет свою шляпу, собираясь уходить, но не могла задержаться. Богданов торопил:

— Едем...

Она еще раз оглянулась, уже сидя в машине. Костя, ссутулясь, вышел из ее подъезда.

Было около полуночи, когда они разыскивали деревянный, похожий на барак, домишко, притулившийся среди новых строений нового квартала. Всю дорогу, пока их приятно покачивало на гладком асфальте, Богданов, разомлев, зачем-то рассказывал Нине, как он уважает свою жену, которая его еще никогда и ни в чем не подвела, жаловался на свою загруженность и занятость, но тут же говорил, что радуется и гордится тем, что так загружен и занят. Он считает, что их работа,— он слегка похлопал по руке Нину,— очень важна и нужна государству. Пусть маленькую, но свою лепту они вносят, помогают, фигурально выражаясь, тем, кто вершит судьбы истории. Нина расхрабрилась и сказала, что напрасно Миша так скромничает. Не только помогает — он среди тех, кто держит в своих руках судьбы истории.

— Не перехватывай,— засмеялся Богданов.— Я тебе как на духу говорю: я человек простой. Разве я не имею права посидеть с друзьями молодости, с земляками, повидаться с любимой девушкой? Жена упрекнет: зачем пил? Ты подтвердишь, Нина, что я выпил совсем немного...

— Конечно... я...— Нина была смущена. Она не знакома была, да и не очень хотела знакомиться с женой Богданова. К чему ей лезть в его семью?

А он как будто читал ее мысли:

— Я тебя познакомлю с женой, с сыном, с дочерью, умная такая, современная штучка. Ты не согласишься, ставит меня в тупик своими вопросами... Нет, не спорь,— продолжал он, хотя Нина не спорила,— я имею право повидать Машу. Я сказал на работе: «Товарищи, у меня сегодня встреча с моими земляками, с моей молодостью». Имею я на это право?

— Ну, конечно,— печально подтвердила Нина.

Все-таки ей жалко было, что Костя ушел обиженный. А может, даже не обиженный. Костя ведь такой —

скучно стало или неинтересно, он и ушел. Быть гибким, приспособливаться к обстановке — это он не умеет и не умел никогда.

— Костя Семинский уже много лет продвигает свое изобретение, — почему-то сказала она.

— Что-нибудь толковое? — поинтересовался Богданов.

— Не знаю, — честно ответила Нина. — Но если толковое, так неужели этого никто не видит?..

— Бывает и так, что не видят. Мало, думаешь, у нас еще консерваторов и бюрократов?

Машина остановилась у деревянного домика.

Нина вошла первая, за ней Богданов, потом недовольный Жорж.

— Ты не согласишься, как я волнуюсь. Пульс, наверное, двести, — признался Богданов.

Нина смело нажала на кнопку звонка.

Дверь распахнулась, старая женщина с растрепанными волосами испуганно спросила:

— Вам кого? Вы из «неотложки»? Но я сегодня не вызывала. Ой, это ты, Нина?

Легкий хмель, взбудораженность, возбуждение разом выскочили у Нины из головы, как пробка из бутылки. Она заулыбалась и сказала, быстро сообразив, что истинную цель визита необходимо скрыть:

— Мы оказались рядом, совершенно случайно. И зашли. Ничего, что так поздно?

— Я рада...

— Видишь, кто со мной? Это же Миша Богданов!

— Миша? Богданов? — Маша вскинула руки к волосам, стала поправлять шпильки. — Ой, я такая... Как ты сюда попал, Миша? Ну, заходи! Заходите же...

Она беспомощно оглянулась на переднюю, заставленную сундуками и старыми велосипедами, на дверь соседей. Дверь в ее комнату была широко распахнута, на кровати, в трусах, готовый ко сну, неподвижно сидел пожилой мужчина.

— Кто там? Маша, кто это? С кем ты говоришь? — тревожно спрашивал он.

— Он почти не видит, — чуть не плача, пояснила Маша. И крикнула в комнату: — Я сейчас, успокойся...

— Как же ты живешь, Маша? — с огорчением огля-

дывая хлам в передней и слепого мужчину в комнате, спрашивал Богданов.

— Так и живу... А ты, Миша? Впрочем, что я спрашиваю, ты извини... Но зайдите же,— растерянно твердила она.— Ты совсем меня позабыла, Нина. Неудобно, что я держу вас в передней... Соседи... Мы уже собирались спать...

Та же милая беспомощность, что и когда-то была в Маше, тот же милый голос, те же опущенные руки. И если бы не морщины, не седые волосы, не стоптанные шлепанцы на ногах...

— Мы на одну секундочку,— четко сказала Нина, понимая, что надо как-то выходить из положения.— Мы ведь совершенно случайно. Были рядом...

— Но как же? Неужели вы так и уйдете? Все как во сне... Миша?— Казалось, что Маша сейчас протянет к ним обоим руки, уцепится за них, не станет отпускать.

— Ты запиши мой телефон,— предложил Богданов.— Ты мне позвони... Извини, Машенька...

— Но за что?.. Я так рада, я опомниться не могу...— Она и правда как во сне смотрела на этих хорошо одетых, уверенных в себе людей, чудом очутившихся ночью в ее квартире.— Я вас провожу...

Она спустилась за ними по лестнице, с удивлением посмотрела на огромную черную машину.

Жорж уже распахнул дверцу и всем своим видом показывал, что надо ехать.

— Я не думала, что встречу тебя когда-нибудь, Миша, спасибо, что вспомнил обо мне. Спасибо тебе большое...

— Ты позвони...

— Иди, Маша, простудишься,— вмешалась Нина.

— Неважно...

Но Богданов уже сел в машину, за ним Нина, Жорж захлопнул дверцу, и машина плавно тронулась.

Богданов помахал рукой, но вряд ли Маша разглядела этот жест, хотя так и осталась стоять на месте, на ветру, трепавшем и так растрепанные ее волосы, озаренные тусклым светом лампочки в матовом колпаке, неясно горевшей у входа в дом.

— Ну и история, вот влипли!— воскликнул Жорж.

— Ты что это?— строго спросил Богданов.

— А то, что было куда ехать, время терять...

— Не твоего ума дело!—прикрикнул Богданов.— Балбес ты, балбес, ничего ты не понимаешь. Ох, Нина, Нина,—застонал он,—не очень-то ловко у нас вышло. Как она постарела, бедная...

— Жизнь у Маши тяжелая.—Нина как бы извинялась за то, что Маша так плохо выглядит.—Натерпелась она... Сын попал под машину, муж ослеп...—И, помолчав, добавила:—Она никогда его не любила...

Богданов разговора не поддержал. Сказал только:

— Сейчас мы тебя завезем домой. Все-таки ты молодец, что всех нас собрала. Надо практиковать такие встречи...—Но о том, что друзья молодости ждут и его тоже, он больше не вспомнил. И Нина не решилась напомнить. Когда машина остановилась у ее дома, она поскорее вылезла.

— Ну пока...—неопределенно сказал Богданов.

Елена Дмитриевна не стала ждать, когда разойдутся гости, и, пока Нина и Роза провожали их в переднюю, пошла на кухню мыть посуду. Шурочка отправилась ей помогать. Она бережно снимала с блюд остатки закусок и прятала в холодильник.

— А я не экономная, нет. Жизнь меня не выучила,—говорила Елена Дмитриевна, искоса поглядывая на то, что делает Шура.—Живу на пенсию плюс скромный приработок, но на питание не жалею. Питание—это основа...

Шура не слушала. Ее томила мысль, что муж, умерший два года назад, был когда-то, когда они еще учились в школе, способнее Миши Богданова, особенно по математике, и вот надо же, так и оставался до самой смерти всего лишь экономистом.

— Я так и оказала Нине: «Кто я и кто Богданов? Земля и небо!»—продолжала Елена Дмитриевна.—Но, как видишь, в грязь лицом не ударила, держать себя в обществе я умею...

— Что значит—небо и земля?—возразила Шура.—Люди есть люди. Для того чтобы занять положение, еще нужно, чтобы повезло...—Она все-таки поправилась:—Конечно, я не говорю, Богданов достоин... правда, девочки?—спросила она у Нины и Розы, когда те вошли в кухню.

Роза сказала, что останется ночевать, ей далеко ехать. А завтра воскресенье, не нужно торопиться, наговорятся всласть.

Елена Дмитриевна обрадовалась:

— Позавтракаем отлично. И в бутылочках еще осталось...— Она изнемогала от довольства собой.— Ну, Нина, не опозорила я тебя? Как прекрасно прошел вечер!

Нина восторженно похвалила:

— Богданов держал себя прекрасно, он чудный человек, я всегда знала...

— Да, сразу видно, что большой человек,— согласилась Шура.— Жаль, что его не видела моя невестка, пусть бы поучилась скромности.

— Интересно, какие физиономии будут у моих сослуживцев, когда я ошарашу их тем, что ужинала за одним столом с Богдановым,— сказала Роза.

Нина хотела сделать ей приятное:

— Ты ему очень понравилась, он так смеялся...

Но Роза вдруг разом скисла, заплакала и, всхлипывая, сказала:

— Думаете, девочки, мне легко быть веселой? Я старая женщина с больной печенью. Но на работе я должна быть жизнерадостной и остроумной. Будь они прокляты, эти анекдоты, я так плохо запоминаю... Но разве на такой службе, как у меня, можно сидеть с постной мордой? Вылетишь в два счета...

— Все-таки какого ты года?— не выдержала Шура.— Ты еще интересная женщина, а я вот вся седая...

— Надо иметь парикмахера,— деловито посоветовала Роза. И опять всхлипнула:— Нет, что-то я раскисла, что-то мне жалко стало той Розы, какой я была когда-то...

— Посмотрела бы, как выглядит Маша, не говорила бы так про себя,— успокаивала ее Нина.— Мне даже жалко стало Богданова. У него, очевидно, была иллюзия, что он увидит прежнюю Машу. А она, как нарочно, растрепанная, не одетая...

— Между нами говоря, Маша всегда была неряхой...— У Розы блеснули глаза.

— Неправда, неправда, никогда не была!— возмутилась Шура.

— Женщина должна следить за собой...

— Как ни следи, а возраст свое берет...

— Я так и сказала своей актрисе в присутствии ее поклонника: «Мне шестьдесят лет с хвостиком, а вам пятьдесят пять. Пять лет, мол, это большая разница: вот у вас еще мужчины на уме...» Она чуть не лопнула.

Отсмеявшись, Нина заметила:

— Ну и злая вы, Елена Дмитриевна...

— А почему я должна быть доброй? Не так уж много я видела доброго в жизни.

— А я, к сожалению, осталась доброй, хотя не раз расплачивалась за свою же доброту,— заявила Нина.

Роза поддержала ее:

— Ты действительно добрая. Как ты всех собрала сегодня. Так демократично. Так просто... Даже сумасшедшего Костю позвала! Пардон, я не задела твои чувства?

И, к общему удивлению, Нина заступилась:

— Он не сумасшедший, Костя. Вовсе нет! Он просто не такой, как все.

Тарелки были уже вымыты, составлены высокими стопками. Блестел, сверкал протертый хрусталь. Елена Дмитриевна бросала в мусоропровод осколки рюмки, разбитой Костей. Нина проводила их взглядом. И опять сказала:

— Костя такой славный. И чего ты накинулась на него, Роза, я так и не поняла.

— А того, что все мы изменились, а он, видите ли, такой, как был, он, мол, лучше всех нас. Просто неудачник — и все...

Нина покачала головой:

— Я так не считаю.

А Шура спросила тихонько, как будто это был секрет:

— Нина, ты что... ты его любила?

— Какой смысл теперь это выяснять? А впрочем... Да, он был мне дорог...— Она повторила:— Он был мне дорог, мы дружили... но не больше, конечно.

Они не были до конца искренни и откровенны, эти четыре женщины, а все-таки с них словно опала шелуха, и сквозь напластование лет, оквозь наслоение времени пробивалось наружу глубоко спрятанное истинное их существо. И они все больше становились похожи на тех славных худеньких девочек, какими были когда-то: честных, открытых, прямодушных. Все это было хрупким, не-

прочным, как непрочной оказалась хрустальная рюмочка на тонкой ножке, разбитая за ужином, но женщины еще долго сидели на кухне и разговаривали по душам, осторожно обходя то, что каждая из них хотела скрыть.

И заснули уже на рассвете.

А утром их разбудил телефонный звонок. Маша говорила так громко, что не только Нина, державшая трубку, но и остальные слышали.

Нина отвечала сдержанно:

— Ну, неудивительно, что ты так взволнована. Целое событие в твоей жизни, праздник. Да, я понимаю... Просто мы были рядом, и я предложила зайти. Твоему мужу незачем волноваться, заверь его... Ну, просто зашли...— Роза, как вчера Володя Кузнецов, повертела пальцем у лба, как бы показывая, что у Маши тоже дырка в голове. Нина, соглашаясь с ней, возвела очи к небу, пожала плечами.— Позвонить ему? Богданову? Ну, не знаю, что тебе посоветовать, он вообще-то очень занят...

— Он так сердечно дал мне свой телефон. Все, все у меня всколыхнулось, все чувства...— говорила Маша. И просила совета:— Что, если я обращаюсь к Мише, как к старому другу? Он поймет, он ведь знает меня, он поймет... жить с больным человеком в коммунальной квартире...

— Ты что? Ты хочешь просить Богданова помочь с квартирой?.. Я понимаю, что однокомнатную, а не особняк, я понимаю, как ты мучаешься, но... На твоём месте я бы этого не сделала...

Нина положила трубку.

— Ну?— выкрикнула Роза.

— Так оскорбить Мишу в его лучших чувствах!— нервничала Нина.— Не знаю, как уберечь его...

— Такая меркантильность!— возмущалась Шура.— Во всем искать выгоду для себя...

И только Елена Дмитриевна сказала:

— А вы знаете, что значит жить в коммунальной квартире? Я-то знаю, у нас восемь семей в квартире. Кошмар!

— И все-таки я бы так не поступила,— раздражилась Роза.— Думаете, у меня бы не нашлось о чем его попросить? Ого! Но нельзя же так откровенно, с первого раза...

— Миша очень дружил когда-то с моим Петей, но я ведь себе не позволила...

Упрямая Елена Дмитриевна пошла наперекор:

— А что такое? Почему не помочь старой знакомой? Тем более он ее так растревожил... Разве у нее будет другой такой случай? Правильно. Лови момент...

На нее зашикали.

Сварили кофе, сели завтракать, а Нина все не могла успокоиться. И каждому из знакомых, кто звонил, чтобы поблагодарить за удовольствие, полученное вчера, она с возмущением говорила о Маше. Нет, она и подозревать не могла, что Маша так изменилась.

Позвонили все, кроме Кости. А Нина так ждала его звонка...

Прошел день, и другой, и третий. В квартире у Нины уже натерли полы, сдвинули стол, убрали в глубину серванта лишнюю посуду.

А потом как-то случилось, что она, пробегая с бумагами по коридору, встретила Богданова. Он спросил у нее тихо, подмигивая, как мальчишка:

— Ты не слышала, какой я телефон дал Маше? Прямой или через секретаря?

Нина успокоила его: она хорошо помнила — нет, не прямой...

И когда он добавил, что сам не знает, какой лукавый попутал его понестись ночью искать Машу, неуверенно сказала:

— Ну и что? Она так радовалась, Маша. Для нее это был праздник...

— В чем же праздник? — сердито сказал Богданов, почему-то обидевшись за Машу. — Что за счастье такое, что мы ввалились к ней ночью...

— Я не знаю, но она была рада...

— Маша, как никто, умеет прощать. — Богданов сказал это с горечью, все так же сердито, но в то же время гордясь Машей, и Нине стало не по себе, ей подумалось, что Богданов никогда ей не простит того, что она была свидетелем и участником этой нелепой, жестокой, бессмысленной встречи.

— Миша, — сказала она, хотя никогда не называла его Мишей в стенах учреждения, — ты не виноват, что молодость не возвращается...

Но он уже пришел в себя, ответил сухо:

— Да, нельзя дважды войти в одну реку, это закон диалектики...

Они разошлись в разные стороны.

Маша звонила по телефону почти каждый день и все тем же негромким, трогательным, раздражающим Нину голосом говорила, что открыла в себе источник новых сил, теперь ей стало легче жить. Может быть, Нина права, ей не нужно обращаться с просьбами к Мише, пусть останется незамутненным этот чистый родник радости. Но у нее теперь прибавилось бодрости и веры в себя, она будет хлопотать. Спасибо, спасибо Нине, что она привела Мишу.

— Как будто мое прошлое, мое счастье снова постучалось ко мне...

— Неужели ты все еще его любишь?

— Люблю,— просто ответила Маша,— конечно, люблю... Но ты извини, что надоедаю тебе, что я так часто звоню.

Нина покривила душой:

— Звони, я рада...



За окнами машины уже смутно белели поля, а город все не отступал. То мелькала бензоколонка, то, оттеснив низенькие домишки окраины, возникали высокие дома с красными и синими балконами, то среди груд кирпича и тяжелых бетонных плит торчали башенные краны. Сверкнул стеклом, как на рекламной картинке, мотель. А снег все падал и падал. Белый. Медленный. Невесомый. Чистый. Навстречу потоком шли грузовики, автобусы, набитые пассажирами, на крышах легковых машин, как притороченные к седлу пленники со скрученными руками, были привязаны обмотанные веревкой елки. Все устремлялись к городу, торопились, мчались. И только она, Марина, уезжала...

Куда ты, Марина? Не знаю. В такую ночь? Ну и что, зато впереди неизвестность... Как странно, а мы-то считали тебя уравновешенной. Меня? Это ошибка, заблуждение. Я люблю неожиданное.

А ведь еще утром все было так буднично. До перерыва спокойно работала, немножко только поругалась с мастером: боялась, что не хватит деталей; потом вымыла руки, сняла белую накрахмаленную косыночку, собралась идти в буфет. Тут в цехе появился Скворцов, председатель завкома. Расстроенный, озабоченный. Мямлил:

— Прямо неудобно, Марина, злоупотреблять... Однако, зная твою безотказность... Ты... твоя кандидатура...

Оказалось, в подшефном колхозе открытие клуба. А разве легко уговорить кого-нибудь уехать в новогодний вечер, да и не каждого пошлешь.

— А у тебя авторитет, монтажница, понимаешь, ведущая профессия на сборке ламп... тем более — за границу ездила, набралась впечатлений... — уговаривал Сковорцов. — Отправим тебя на директорском ЗИЛе, красота!

Марина не стала очень уж ломаться, даже немножко обрадовалась, что отпадает необходимость отвечать на проклятый вопрос: «Где ты встречаешь Новый год?» — «Так, в одной компании...» А компании-то никакой, будет сидеть дома с матерью и смотреть телевизор, притворяться веселой... А то еще хуже — явится из Загорска их дальняя родственница Ева.

— Значит, согласна, а, Маринка? Поедешь, не подведешь? — Сковорцов тут же подавил в себе легкие укоры совести. — Ну ничего, девка ты молодая, у тебя еще все впереди, и встречи, и проводы... Так вот, — уже деловито распорядился он, — доклад сделаешь коротенько — все-таки у людей праздник. Приветствую, мол, и желаю, годовая программа на заводе выполнена... Поделишься воспоминаниями о своей поездке, подчеркнешь контрасты. Только учти — не сухо, на мрачное не налегай, опять же из-за праздника... — Сковорцов подставил под ее узкую ладонь свою широкую, горячую, как лежанка у печки, левую руку, сверху прилепнул правой, скрепил уговор: — Завком на тебя надеется. Ну, бывай!

После смены Марина побежала домой предупредить мать и переодеться.

Так и есть. Ева уже явилась, разглагольствует, мать поддакивает, тетя Дуся, их соседка по квартире, недовольно восклицает:

— Ну уж, вы скажете!

И пока Марина снимала за перегородкой пальто и теплые ботинки, она слышала, как жалуется мать:

— Сколько надежд возлагала на эту границу...

— И что? — Ева уточняет: — Хоть познакомилась с кем-нибудь? Завела роман?

— Нет, стала еще более замкнутой.

— Мой покойный папа говорил, что лошадь едет за границу и возвращается обратно лошадь. Чего ты ждала от Марины иного?

— Но все-таки... — Видно, матери неприятно. — Она ведь не дурнушка какая-то, просто слишком скромна.

— Зато на производстве первый человек,— встревает тетя Дуся.

Мать снова говорит, расстроенная:

— Я ничего такого не имела в виду, что ты, Ева? Ах, Ева, я даже поверить не могу, что Марина когда-нибудь уйдет от меня.

Щеки у Марины горят, глаза щиплет. Если бы не спешка, она бы ни за что не вошла в комнату. Но надо... Мать сразу же накидывается на нее с неподдельной тревогой:

— Ты такая красная! Опять простудилась? Я же говорила, надо вырезать гланды.

Очень сухо, стараясь выглядеть высокомерной и холодной, Марина объявила, что уезжает. И начала, торопясь, собираться, искать свои дневники.

— Пообедай.

— Нет, нет, я еще должна согласовать тезисы.

— Ну, теперь я спокойна за наше сельское хозяйство,— насмешливо говорит Ева.— Марина прочтет им лекцию, и урожай будет обеспечен.

Марина сказала только:

— Вовсе не лекцию...

— А на чем ты поедешь?— волновалась мать.— Такой мороз...

— На директорском ЗИЛе.

— Вот как дело-то пошло!— обрадовалась тетя Дуся.— Смотри, Маринка, не загордись...

— Вот именно,— в тон ей ответила Марина. И побежала.

А потом, как водится, никакого директорского ЗИЛа на месте, в гараже, не оказалось. Диспетчер, ворча, высвободил для нее старенькую «Победу». Шофер попался чудной, угрюмый. Когда диспетчер пошутил:

— Смотри не растрясси нашу Мариночку. Все-таки знаменитость, вокруг всех стран объехала,— шофер, сердито пинкая носком валенка колеса и пробуя крепость покрышек, пробормотал:

— Ни грамма не растрясусь.

Марина не стала садиться рядом с ним — ну его! Плотнее завернувшись в большой тулуп, лежавший в машине, она примостилась на заднем сиденье. Ноги подбрала под себя. Трясло, мотало из стороны в сторону, но зато было тепло. Рядом зябла, упакованная в рогожу,

гипсовая Венера Милосская — подарок завкома колхозному клубу.

«Почему именно Венера? Смешно, право!»

А впрочем, все хорошо.

И дорога, и этот чудный, праздничный снег, и гул мотора, и горький запах махорки. Светятся приборы, дрожат маленькие стрелочки, бегут и бегут цифры на ленте спидометра.

Дорога предстоит длинная.

Она все-таки спросила:

— Мы не опоздаем?

— Ни грамма.

— Что ни грамма?

— Не опоздаем ни грамма, — повторил шофер.

— А-а... — Марине неловко стало, что она так откровенно удивилась. — Но... Но разве не могут спустить баллоны?

— Спустить? Ни грамма.

— Ну, ни грамма так ни грамма, — Марина под тулупом пожала плечом. И даже засмеялась, уткнувшись в мех.

Фары неутомимо расстилают перед машиной желтую дорожку. Поля скрываются во мгле, исчезают, мимо бегут лесные опушки. Сосны стоят заиндевелые, не могут шевельнуть ветками. Иногда деревья расступаются, машина въезжает в селение. Горят окна в домах, громко лают собаки. Мелькнет площадь, колодезь, одинокий фонарь, сельмаг — и снова лес, снова белые поля...

Марина пытается думать о своем выступлении. Она шутливо спрашивает у Венеры: «Что же мы им скажем?» — потом становится серьезнее. Как она выйдет на трибуну, под взгляды десятков людей, какие произнесет первые слова?

Легко сказать — авторитет, была за границей. Ну и что? Теперь многие увлекаются туризмом.

Конечно, лично для нее эта поездка была огромным событием: сколько волнений, сборов, колебаний! Путевка все-таки безумно дорогая. Хотя завком и дал ей скидку, все равно пришлось прихватить денег и у тетки и у соседей. Она купила себе новый плащ, босоножки, не ехать же в старых... Девчонки из цеха навязывали свои бусы,

клипсы, разные прозрачные шарфики, но она наотрез отказалась. Лида, первая модница в их бригаде, высмеяла ее: «Принципиально, но не очень умно... Если бы я поехала, то оделась бы не хуже ихних капиталисток».

А зачем мне нужны капиталистки? Разве я для этого еду? Хочу знать, как всюду живут народы... Изучить...

Жаль только, что такой короткий срок: поездка в ее сознании осталась как пестрый сон. Краски, пятна, запахи... А море! Милое, атласное, беспокойное море, то жемчужно-серое, то фиолетовое, как чернила, то лазурно-голубое...

Но разве об этом расскажешь?

Или о том, как она обрадовалась, когда увидела, что в Турции цветут ромашки, самые обыкновенные, наши, русские ромашки, с белыми длинными лепестками, желтыми серединками... Ей показалось, что это очень важно — ромашки! Или, например, турецкие простые старухи... Очень уж они напоминали наших замоскворецких теток, — такие же морщины на лицах, такие же натруженные руки. Только турецкие женщины почему-то ходят в черном и держатся робко.

Скворцов советовал рассказывать живо, помнить про праздник, на мрачное не напирать. Но она ведь совсем не умеет рассказывать с трибуны. Никогда не пробовала. Листочек с тезисами, которые она набросала, лежит в кармане. Там все какие-то общие слова — роль туризма, достоинство советского человека за рубежами нашей Родины. Все это не то...

Вспомнить, как поразили ее кафе! Сидят целый день за столиками мужчины, тянут какую-то воду, равнодушно смотрят на прохожих. И никуда не торопятся. Почему? Оказывается, все равно почти невозможно получить работу.

С таким Марина столкнулась впервые. И полицейского она впервые в жизни увидела...

Но ведь людям постарше это не интересно. Они это знают. Про что же тогда рассказывать?

Про шумный базар в Пирее, в порту, где высокие мясники с длинными острыми ножами, как будто танец исполняют, насккивают на толпу, зазывая покупателей. Про дворцы, про сады, про набережные? Или про смуглых пареньков с острова Родос, которые бережно приня-

ли и спрятали значки с портретом Ленина? Казахская девушка-студентка им подарила...

Нет, лучше про то, что в Афинах, в Акрополе, она стояла на тех же камнях, где во времена немецкой оккупации Манолис Глезос сорвал фашистский флаг... Она спросила громко, где это место, а гид ответил тихо, шепотом: «Здесь, где вы стоите». У нее сердце застучало от волнения.

Нет, нет, она не сумеет это передать!

Марина даже привстала на сиденье, распахнув тулуп. Какая досада! Зачем же ее послали на открытие клуба, когда она никакой не оратор?! Скворцов великолепно знает, что у нее нетвердый характер, нет в ней ни самоуверенности, ни таланта. А насчет авторитета он сказал, чтобы задобрить... Просто догадался, что ей не с кем встречать Новый год и она согласится уехать.

С кем же ей встречать, позвольте спросить, когда у нее совсем нет знакомых? Ведь мама не отпускает от себя ни на шаг. «Куда это ты идешь? В кино? Хорошо, пойдем вместе. В гости?.. Пусть лучше приходят к тебе, разве я мешаю?» Но когда однажды девочки из цеха собрались на вечеринку у нее, мама всем помешала. Она только и твердила весь вечер, что хочет идти в ногу с веком, и если молодежь предпочитает танцевать твист — пожалуйста, но она предлагает конкурс — кто лучше читает стихи? Или литературную викторину... Она проводила у себя в библиотеке, очень было интересно.

— Но если вы хотите твист...

А сама была такая жалкая, такая растерянная, что никому и в голову не пришло ей поверить. Тем более что твист уже вышел из моды.

Девушки сразу скисли, кавалеры, которых они привели с собой, откровенно посмеивались. А рюмки мать поставила на стол с таким несчастным видом и такие это были крошечные рюмки, что смотреть было тошно.

Ну и напустились потом подруги на Марину:

— Что она у тебя — религиозная?.. Это же богомолье, а не вечеринка... А еще говорили, что у тебя мать культурная.

После этого случая Марина больше никого к себе не звала. И ее тоже не приглашали, поскольку у нее не было молодого человека, с которым она будет танцевать и который потом проводит ее домой.

— Тебе ж никто не подходит, — сердились девчонки

из цеха.— Тебе никто не нравится. Ну, мечтай, мечтай, смотри только, не промечтайся...

А все-таки, хотя подруги и посмеивались над непрактичностью и чувствительностью Марины, они от души любили ее и счастливы были, что она накопила денег на туристскую путевку. Когда она вернулась после заграничной поездки в цех, то ее затормошили, зацеловали. Всплескивали ладонями, вскрикивали:

— Ой, здорово, ой, интересно! Неужели, Маринка, правду рассказываешь? Полицейский? А ты? Ты мимо прошла? А он что, ничего?

Но потом кто-то спросил:

— Маринка, а что носят? Какая мода?

Она растерялась:

— Ой, я не знаю, девочки!

— Но как же, Марина, как же ты не посмотрела? И ничего себе не купила?

Марина широко распахнула руки, показывая новую желтую бархатистую кофточку:

— Я как канарейка, да?

Все замолчали, дожидаясь, что скажет Лида. А Лида бросила жестко, как будто острым куском льда швырнула:

— Ты с ума сошла? Теперь такие не носят.

Марина как будто с неба на землю плюхнулась, растерялась, покорно выслушала упрек:

— Ты прямо не от мира сего. Купила старомодную кофту! Надо же!

Вот именно — надо же! Надо же было ввязаться и в эту поездку, взяться делать доклад... Ведь она уже не раз в жизни обжигалась из-за своей доверчивости. Не раз давала себе слово стать другой, перемениться. И ничуть не переменялась, «ни грамма» не переменялась, осталась какой была.

Марина высунула руку из-под тулупа, потрогала статую. Рогожа сбилась. Бедная озябшая Венера! Марина погладила богиню, как куклу.

Да, надо крепко подумать о своем характере. Надо, в конце концов, сделаться тверже. Мать упрекает, говорит, что она не умеет постоять за себя. Как ни горько, но это правда.

Даже за границей она чувствовала это. Ее донимал парень из их группы. Веселый, рыжеволосый, живой. За что-то он ее невзлюбил. Дразнил, прозвал «учительницей истории». Если бы ее так называл кто-нибудь другой, не Володя, она, конечно, не сердилась бы. Даже наоборот... Но у него это звучало насмешкой, видимо, он считал ее сухарем, ханжой, бесцветной личностью. Ей это было неприятно.

Едва она появлялась утром с блокнотом, как Володя кричал:

— О, учительница истории, привет! Скажите, какие мечети мы посетим сегодня и в каком веке они выстроены?

Его громкий смех преследовал Марину. Стоило ей задать вопрос экскурсоводу, как рыжий оказывался тут как тут. Так и ходил за ней по пятам. Она сказала однажды:

— Какое вам до меня дело, Володя? Да, я хочу про все знать. Каждый живет по-своему. Я веду записи, я... я люблю историю... Ну и что?— Тут у нее задрожал голос.

— Ребята, в каком году женщины изобрели свое главное оружие—слезы?— Она на самом деле заплакала. Но Володя ничуть не смутился и при общем восторге предложил:— Давайте мириться, Мариночка. Приношу свои извинения и обещаю подарить полное собрание сочинений Ключевского. Мировой историк!

Она через силу улыбнулась. Что-то было привлекательное в Володе, хотя она толком не знала что. Интересным его нельзя было назвать—рыжий, с облупленным носом... Он объяснял это тем, что агроному много приходится бывать на солнце, на ветру, на морозе.

Марине казалось, что Володя так паясничает, стараясь завоевать внимание Инги, самой молоденькой, самой хорошенькой и, пожалуй, самой надменной из их группы. Как-то они задержались на сутки в маленьком городке. Стояла осень. Сады и леса, окаймлявшие лежащие в низине улицы, были разубраны с таким щедрым золотым великолепием, что сердце замирало, как от боли... В городе каждый камень дышал стариной, Марина не расставалась с блокнотом. И Володя преследовал ее своими насмешками. Он был особенно невыносимым—острил, шумел, пел. Он изображал медведя, а Инга в

своих серьгах и пестрой юбке — цыганку. Конец шелковой косынки она обмотала вокруг Володиного запястья и так и водила его, будто на цепи. Марине противно было смотреть на эти представления. Как только можно было, она уединялась. Даже не пошла вечером гулять, осталась в гостинице, сказала, что хочет набело переписать свои черновики.

Когда соседки по номеру вернулись с прогулки, пожилая докторша Елизавета Ивановна упрекнула ее:

— Опять корпите над бумагой? Писатель вы, что ли? Инга — та не теряется, вовсю флиртует с Володей.

Марина не подняла глаз. Небрежно прищурясь, как будто не могла разобрать написанное, протянула:

— Володю она покорила уже давно. Давно и прочно.

— Почему прочно? Просто вы растяпа, а Инга...

— Инга хорошенькая. И... веселая. — Марина не позволила себе быть несправедливой.

— Уж во всяком случае не такая постная размазня, как вы, — рассердилась Елизавета Ивановна.

Энергично расхаживая по комнате, она стала доказывать, что излишняя скромность — не характерная для нашего общества черта. Надо уметь себя показать, одним словом... Отбиваясь, Марина сказала, что настойчивость дана не каждому, а кричать самому о своих достоинствах не так уж красиво.

— Как это не красиво? Ого, если бы я не кричала, то никогда бы не стала самостоятельно оперировать... Нет, в жизни нужна смелость. Борьба.

Марине в ту ночь не спалось. Чуть свет вскочила и еще до завтрака ушла. Дежурная в гостинице сказала ей, что здесь интересное старое кладбище. Марине захотелось пойти туда одной. Она долго бродила среди семейных склепов, читала стершиеся, выведенные острым готическим шрифтом надписи.

Тяжелая, холодная роса лежала на поблекших цветах, на жухлой траве. Воздух был очень прозрачный, свежий. Далеко-далеко, как на наброске, сделанном пастелью, виднелись голубоватые горы. По небу плыли чистенькие, белые, с синими заплатками облака. Дорожки между могилами были прибраны, плиты тщательно протерты, ограды начищены, а все-таки Марину утомило ощущение, что все здесь очень старое, дряхлое, всюду ей виделись следы тления и увядания. На обветшавшие па-

мятники с каменными ангелами, девами и венками она смотрела без печали, как на картинки старой книги.

Высокая дама, вся в черном, даже в черных чулках на худых, как палки, ногах, убирала холмик, полола траву, складывая ее в аккуратные кучки. Рядом лежали, высунув розовые дрожащие языки, две лохматые собачки.

— Какие симпатичные, — сказала Марина вежливо. — Хунд. Дог. — Потом порылась в памяти: как собака по-французски? — Шьен...

Но дама не поняла, только вежливо, незаинтересованно улыбнулась.

Марина смутилась, поскорее свернула на другую аллею и тут увидела Володю. Она вспыхнула, подумала, что опять он будет мучить ее, хотела метнуться в сторону, но не успела. Володя уже шел к ней:

— Разведка донесла, что вы здесь.

— А зачем я вам?

— Скучаю. Где это вы прятались вчера вечером?

Марина незаметно несколько раз оглянулась. Инги нигде не было. Они пошли дальше. Володя держался дружелюбно.

Марину поразила надпись на могильном камне, она остановилась, стараясь разобрать слова, и Володя тоже остановился, подождал.

Это был склеп семейства Михль. На огромной каменной отполированной плите были высечены имена почтенных бабушек и дедушек, а может, даже прабабушек и прадедушек, детей, внуков, правнуков. А отдельно стоял серый кусок гранита с вырезанной на нем каской, дубовой веткой и надписью: «Памяти незабвенного Курта. Родился 2. XI. 1919 г., погиб в России. Похоронен в Рошино». Володя спросил без всякой насмешки:

— Где ваш блокнот? Этот факт надо записать. Вот это действительно живой урок истории.

Марина не без тайного торжества переписала надпись и даже зарисовала каску и листья.

— Вот такую историю я понимаю, такая история меня волнует, а не древние мертвые камни, — рассуждал Володя.

Как настоящие друзья, которые отлично понимают друг друга, ходили они по кладбищу. То молчали, то перебрасывались незначительными замечаниями. Потом вы-

шли к могилам советских людей, похороненных на чужой земле в годы войны.

Простодушный поэт написал на обелиске:

Вас бурной войной,
Как морскою волной,
В край далекий — сюда —
Привело навсегда.

— Хотелось бы знать, что это за люди? Кто они? — призналась Марина.

И Володя откликнулся:

— Прямо за душу берет... Люди пролили кровь, погибли, завоевали мир. И мы вот приехали уже как туристы...

— Как мы одинаково чувствуем, — Марина посмотрела Володе в глаза. Карие горячие глаза его были серьезны. — Но подумайте, Володя... Эта красивая природа или архитектура, памятники искусства... Вы называете их мертвыми камнями, но они ведь не мертвые, они... Они объединяют, связывают воедино всех людей. Это замечательно, что народы могут дружить, жить мирно.

— Простым людям война не нужна.

Держась за руки, они пошли вдоль кирпичной стены, огибавшей кладбище. И тут тоже стояли в нишах обветшалые памятники. Ангел с отбитым крылом, Христос в терновом венце, спящий ребенок с толстыми ручками, поверженный ниц юноша, снова ангел, снова Христос... Не сговариваясь, они вернулись к фамильному склепу Михлей.

Марина внезапно сказала, ошеломленная:

— А вдруг сюда приедет, ну вот как мы с вами, девушка из этой самой русской деревни? Может, она видела этого Курта, когда была война... Может, он ей когда-то кусок сахара дал или конфету...

— Ну, вряд ли, — не поверил Володя, — вряд ли он был такой добрый на нашей земле. Не верю я в чудеса. — И повторил с досадой: — В чудеса я не верю.

— А разве чудес не бывает?

— Не нравится мне ваша восторженность, — вдруг поморщился Володя, — сентиментальная вы... Ах, камушек, ах, цветочек... Конфетку, видите ли, Курт дал девочке.

— А может, он коммунист?

— При этих предках?— кивнул на плиту с прабабушками Володя.— Ой, не нравится...

Вся горечь, терзавшая в эти дни Марину, хлынула наружу. И она почти крикнула:

— А мне совершенно безразлично, нравится вам или не нравится. Пусть об этом беспокоится Инга.

И, как будто вызванная злым духом, на а также появилась Инга, остальные туристы, экскурсовод. Володя, как верная собачонка, помчался навстречу. Инга взяла его под руку, прильнула к нему.

А машина все шла и шла. Гудел мотор. За окнами мелькали поля, дубравы, перелески, деревни...

«А как называется та, куда мы едем? В какой деревне подшефный колхоз? Вдруг это окажется Рощино, где погиб Курт? Ведь это вполне возможно. В ноябре сорок первого года военные действия были именно в этих местах».

Она ясно, как будто видела это когда-то в кино, представила себе худенькую, большеглазую деревенскую девочку. Девочка до войны учила в школе иностранные слова и географию, мечтала о поездках в чужие края. И может быть, когда-то немецкий школьник Курт Михль тоже мечтал о том же. Но фашисты затеяли войну...

Не об этом ли надо ей рассказать, связать колхозную деревню Рощино с тем маленьким городком за границей, показать, как живая история врывается в жизнь каждого... И вывод сделать: «Вот почему, товарищи колхозники, наша страна, наше правительство так много делают для мира во всем мире».

И она крикнула шоферу с волнением:

— Скоро Рощино?

— Что это еще за Рощино?

— Ну, деревня, где колхоз. Ведь она называется Рощино?

— Ни грамма не Рощино. Жуковка!

— Вы уверены?

У Марины упал голос. Теперь она почувствовала, что ноги затекли и заломило спину. Володя прав — чудес не бывает!

В то утро на кладбище Марина поверила, что в их отношениях наступил перелом. Но явилась Инга... И в

тот же день, когда осматривали старинный католический храм, Володя как ни в чем не бывало попросил:

— Товарищ гид, пожалуйста, не торопитесь. Здесь есть учительница истории, она записывает даты.

Марина и не взглянула на него, промолчала. Но даже теперь, через несколько месяцев, неприятный холод пробегал по спине, когда она вспомнила этот возглас и серебряный, звонкий хохоток Инги.

Больше Марина ни разу не подошла к Володе, не заговорила с ним, а если он сам подходил, торопливо отворачивалась, убегала. Как-то он хотел ей подарить цветок, она не взяла. И в поезде, когда возвращались, лежала на верхней полке в своем купе, не выходила в коридор. И с вокзала в Москве ушла не попрощавшись. Ее встречали мама и соседка тетя Дуся, она им очень обрадовалась... Ей и оглядываться неохота было,— наверное, Володя, как ишак, тащит Ингины чемоданы.

Леденящие струйки воздуха пробрались даже сквозь толстую броню тулупа. Марина спросила, чтобы хоть что-нибудь сказать, чтобы разжать застывшие губы:

— Вы не замерзли?

— Ни грамма.

— Устали, наверное, держать баранку?

— Я?

Все-таки он подобрел за дорогу, шофер. Привык, что ли? Спросил у Марины почти сердечно:

— Я что? Я человек бывалый. Вы вот небось устали?

— Я? Ни грамма...— Марина хотела сказать это весело, но голос звучал печально.

И зачем только она так нелепо оделась? Конечно, околечнеешь, если на тебе шелковое платье с короткими рукавами.

Мать и Ева настаивали, чтобы она надела под платье теплое белье. Соседка тетя Дуся, дымя папиросой, отмахиваясь не то от дыма, не то от Евиного жужжания, заступилась:

— Ты что это, Марковна, разве молодежь теперь носит теплое белье? Да еще в праздник.

Марина все-таки уступила, надела. А теперь и это обидным показалось — в новогоднюю ночь, одна, без

друзей, в теплом белье, которое все равно не греет. И едет в неведомую даль...

Как будто подслушав ее мысли, шофер сказал:

— А счастья ни на грамм. Как праздник, так дежурю.

Когда подъехали к клубу, Марина уже совсем окончила, еле вылезла на скрипящий снег, размяла негнущиеся ноги и поволокла свою Венеру. В фойе было жарко, светло, накурено. Завклубом, толстый, запарившийся, в черном костюме, глядя поверх Марины, как будто кто-то прятался за ее спиной, спросил поспешно:

— Ну, где представители? Приехали? Кто будет приветствовать? Ах, вы? Давайте, давайте скорее, скоро двенадцать.

Зал был набит до тесноты, стояли столы с закуской. Пахло капустой и свежим хлебом.

Как только ослепленная светом Марина с богиней в руках вышла на подмостки, шум прекратился, все головы повернулись к сцене. Она растерялась. Деревянно, как будто читала по записке, сказала:

— Разрешите от имени рабочих, инженеров и молодежи нашего завода приветствовать вас и пожелать вам в наступающем году новых трудовых успехов...

Загрохотали аплодисменты, и тут — радио было включено — забили куранты на Красной площади в Москве. Шум вспыхнул, как фейерверк, раздались крики: «С Новым годом! Ура! С Новым годом!».

Марина отодвинулась за кулисы и стояла, не зная, куда девать статую. И вдруг услышала знакомый голос:

— О, вы не скажете, в каком году и где именно создана эта античная красавица?

— Володя!

Марина взяла себя в руки и, глядя куда-то вбок, на красную плюшевую портьеру, стала через силу говорить, что как-то встретила на улице докторшу Елизавету Ивановну и та долго расспрашивала, не знает ли она чего-нибудь про Володю и вообще про всех туристов. Но Володя твердил:

— Нет, я определенно начинаю верить в чудеса...

Волосы его пылали, как пламя.

Марина, прижимая к себе Венеру, храбро спросила:

— Что же вы считаете чудом?

— Нашу встречу,—ничуть не смутился Володя.— Ушла, гордячка, с вокзала, даже не попрощалась и адреса не сказала. Разве так воспитанные девушки поступают?

Марина не смогла бы точно рассказать, что было потом. Они примостились у самого краешка стола, в тесноте, ели чуть припахивающую тмином, волшебню вкусно пахнущую капусту и пили пиво. Володя налил ей немного водки, чтобы она согрелась, она выпила водку. Володя шутил, она смеялась. Председатель колхоза наставлял ее, что и как передать на заводе директору. Она смело бралась все передать, как будто каждый день общалась с директором. Девушки из самодеятельности пели песни, она аплодировала. Володя позвал их с шофером ночевать к себе, она сразу же согласилась.

Втроем шли они по промороженной, скрипучей улице, мимо засыпанных снегом огородов и садов с их четкими черными контурами деревьев и кустов, отбрасывающих синеватые тени, под неестественно красивой луной, озарявшей далекие, чуть печальные окрестности.

Все, что было вокруг,—круто поднимающийся белый простор за селом и высокая колокольня старой церкви, тихое мычание коров на ферме, даже звезды на небе — казалось Марине необыкновенным. И она призналась, удивленная:

— В городе никогда не замечаешь, светит ли луна.

Володя не стал высмеивать ее. Он тоже притих. А шофер заметил:

— А кому в городе нужна луна?

— Ни грамма не нужна?—пошутила Марина.

Они вошли во двор, обычный крестьянский двор, прошли по тропке, толкнулись в дверь и тихонько, чтобы не разбудить хозяев, пробрались на Володину половину.

Узкая койка была застлана клетчатым одеялом, наволочка на подушке была ситцевая — мелкие цветочки по серому полю. Стол, вешалка, полка с книгами.

Володя суетился, подмигивая, ободрял. Разговаривали негромко, с трудом подавляя смех. Володе и шоферу постелили на полу, на тулупе, Марине досталась кровать.

Шофер деликатно сказал, что сон у него крепкий, пусть болтают сколько хотят, он и не услышит, и повернулся спиной. Марина даже не удивилась, она как на крыльях летела. Все было ей нипочем — тесная чужая

комната и подушка, пахнувшая табаком, и то, что она лежит на чужой кровати, укрытая чужим одеялом, а Володя сидит на полу, сбросив пиджак и расстегнув ворот рубашки, как свой, как близкий ей человек, и горячо, пылко рассказывает про свою жизнь здесь, в этом селе, про дела колхоза. Глаза его сверкают почти на уровне ее глаз, и она, иногда теряя нить разговора, видит только его цыганские глаза и пытается понять, откуда это у него при рыжих волосах такие дивные, темные, блестящие глаза. Потом она спохватывается и рассудительно говорит:

— Ах как это все интересно, генетика и тому подобное... А вы не скучаете здесь?

— Как это не скучаю, понятно, скучаю. Но мне интересно.

— Я тоже люблю свою работу,— говорит Марина.— Многим она кажется монотонной, а я люблю.— И усмеется:— А вдруг вот в этом вашем приемнике лампы, которые собирала я, вот было бы здорово...

— Мечтаю купить транзистор.

— Ах, вы не хотите, чтобы вам служили мои лампы?— Она делает то, что не раз хотела сделать в поездке, треплет Володю за рыжий чуб.

Он оправдывается:

— Вы меня не поняли. Знаете что? Давайте перейдем на «ты».

Марина согласно кивает.

Интересно, что подумала бы Ева из Загорска, если бы увидела Марину в эту минуту. С бедняжкой наверняка случился бы удар. Марина сама себя не узнает — так легко и грациозно звучат ее шуточные вопросы и ответы, так легко ведет она разговор. Она даже не вспоминает, какими напряженными, странными и трудными для нее были их отношения с Володией раньше. Пожалуй, и она смогла бы теперь привязать Володю косынкой и потащить его за собой...

— А где же...— Ей очень хочется спросить, а где же Инга, но она не решается. Не будет она спрашивать — и все. Ей нет никакого дела до Инги.— Где же моя Венера?— говорит она.— Ночует в холодном клубе?

— Кстати, для чего вы привезли Венеру?

— Тайна завкома.

Оба хохочут. Шофер подает голос:

— Не раскулачили бы ваши ребята мою машину, а, друг, как ты считаешь?

— Посовестятся раскулачивать шефа,— успокаивает его Володя.

— Ни грамма они не посовестятся, у меня вся надежда на хитрый замок.— Шофер закуривает, откашливается и говорит:— Было нас пятеро братьев, одна сестра. И весь наш крестьянский род разлетелся кто куда... Я, например, в столице нашей Родины оказался...— Володя и Марина выжидательно молчат.— Думал, уже ни грамма не тянет в деревню, забыл всю эту серость, а нет... тянет.— Он гасит окурки и сердито укрывается тулупом.

— Зов сердца,— говорит шепотом Володя и берет Маринину руку. Он внимательно, насколько позволят затененная абажуром неяркая лампочка, разглядывает ее ладонь и пальцы, и ей приятно, что они у нее такие гибкие, такие ухоженные. Чтобы монтировать мелкие детали, пальцы должны быть гладенькие, не шероховатые, и все монтажницы обязаны смазывать их кремом, делать маникюр. Ей хочется, чтобы Володя поцеловал руку, но он только, как Скворцов утром, кладет на ее узенькую ладонь свою, широкую и сильную. Сердце у Марины замирает от счастья. Позови Володя—и она навсегда осталась бы с ним в этой маленькой прохладной комнате среди засыпанных снегом полей.

— Скажите. Скажи...— поправляется она.— Вы думали, что мы когда-нибудь встретимся?

— Конечно.

— Но как же мы могли встретиться? Разве только случайно...

— Почему? Я мог бы разыскать адрес через «Интурист». И я ведь знал, на каком ты работаешь заводе.

— Но...— Марина хочет спросить: «Но почему же тогда ты этого не сделал?»— и стесняется. Так радостно, так хочется верить, что он все равно нашел бы ее. Она хочет скрыть эту радость и опять повторяет, что докторша Елизавета Ивановна часто вспоминала про него.

— Это которая? Старуха?

— Почему старуха? Она недавно сделала операцию на сердце, даже в газетах писали,

— Ну? Жаль, не читал.

На дворе зима, мороз, новогодняя ночь, а Володя,

перебирая ее пальцы, увлеченно говорит, как красиво в Жуковке весной, как он ждет посевную, которая все-все изменит, такие он составил планы. Он чертит ее пальцами на одеяле какие-то квадраты и клинья и рассказывает, что и где будет посеяно, и где будут копать пруд, и на каких лугах вырастут роскошные изумрудные травы. Он безудержно хвастает, хвалится, и она заражается его энтузиазмом и завидует, что так много зависит от него одного в преуспевании колхоза. А уж там, осенью, говорит Володя, можно будет подумать об отпуске, о личной жизни, о себе.

Марина опустила ресницы, как занавеской прикрыла глаза.

— А у тебя когда отпуск?— спрашивает Володя.

— Тоже, пожалуй, осенью. У нас еще не распределяли... А где живет твоя мама, ну, твои родители?

— В Калуге. Там у меня полный комплект родственников.

— В Калуге? Это там, где жил Циолковский? Вот ты счастливый...

— Еще бы!— смеется Володя.

И Марина смеется. Ей очень весело. Ей весело. И весело, и легко, и жутко, потому что она в полной Володиной власти. Скажет — иди босиком по снегу, — надо идти. Скажет — обними меня, — руки сами обовьются вокруг его шеи. Где твоя гордость, где твоя скромность, Марина, куда подевались они в эту шальную ночь? И вообще, который теперь час? а месяц? а год? Володя как будто читает ее мысли, потягивается, расправляет плечи, бормочет стихи:

В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь фортку крикну детворе:
Какое, милые, у нас
Тысячелетие на дворе?

— Это кто?

— Пастернак.

— А правда, какое же тысячелетие, я позабыла...

— Ладно, пора спать, — с усилием выговаривает Володя. — Спи, маленькая, и да привидятся тебе волшебные сны.

Он помедлил, как будто хотел обнять ее, но отошел. Не обнял. Погасил свет, зашуршал одеждой, стукнул ботинками, лег.

— И много ты знаешь стихов?— все-таки спросила Марина.

— Все подряд,— отшучивался Володя.— Как выучил когда-то: «Идет бычок, качается, кивает на ходу. Ой, доска кончается, сейчас я упаду»,— так все подряд и заучивал. Я очень развитый ребенок, разве ты не заметила? У меня поэтическая душа.

— Заметила,— с нежностью сказала Марина.— Я все, все заметила...

— Спи...

— Сплю.

А сон не приходил. Она все ворочалась и ворочалась.

— Ты что вздыхаешь? — спросил, задремывая, Володя.— У тебя болит что-нибудь?

— Болит,— ответила Марина.

Он обеспокоился:

— Болит? Что? Где?

Она ответила не то в шутку, не то всерьез:

— Слева, где сердце...

— Может, разбудить хозяйку, спросить капель?..

— Не надо. Пройдет. Спи... Я...

И чтобы заставить себя молчать, уткнулась в подушку, где рассыпались по выцветшей ситцевой наволочке бледные незабудки.

Володя и шофер ушли умываться, а Марина поскорее встала, оделась,правила постель. Она взглянула в окно на большие пухлые сугробы, и сердце сжалось у нее от жалости, что они уедут, а Володя останется здесь, в этих плохо побеленных стенах, в этой тишине. За ночь печь остыла, слышно было, как за перегородкой грохочет дровами и чугунами хозяйка. Машинально Марина стала перекладывать на столе книги и газеты, папки с бумагами, как будто хотела каждому предмету отдать тепло своих рук. И вздрогнула... Скрытое книгами, ей улыбалось надменное лицо Инги. Она взяла фотографию в руки. Тут вошел Володя. Марина заставила себя сказать:

— Какая Инга красивая...

— Ее красота не для деревни.

Володя взял портрет и сунул его в ящик стола, и по тому, с какой осторожностью он это сделал, стараясь не измять уголки, Марина все поняла.

— Мне кажется, что если любят, то уж все равно — деревня или город.

— Если любят, то тогда, конечно, все равно.

И Володя сразу стал угрюмый, серьезный, постаревший.

Марина заторопилась уезжать, он задерживал ее, но не очень энергично. А шофер — тот, напротив, обрадовался:

— Хоть кусочек праздника захвачу, а я уж думал, дома не побуду.

Он с некоторым удивлением смотрел то на Марину, то на Володю, как будто недоумевал, и спросил по дороге в гараж:

— Вы что, поругались?

— Нет, не поругались.

Она пыталась шутить, выглядеть браво, но ей это плохо удавалось. Пришел попрощаться председатель, мелькнул и исчез завклубом, и опять появился Володя. Марина, не глядя на него, разговаривала с шофером, и Володя тоже обращался только к шоферу, давал советы, предлагал закурить. А шофер молчал, не помогал никому из них, никого не выручал. Ходил вокруг машины, пинал валенком колеса, слушал, как гудит мотор, прогревал. А Марина все говорила ему, как хочет научиться управлять машиной, как будто не могла это сделать вчера или как будто им не предстоит долгий путь вдвоем. Она хочет быть гордой, безразличной, холодной, как эти прозрачные ледяные сосульки, нависающие над входом в гараж, но у Володи такой потерянный вид, что она все-таки предлагает:

— Если вам... если тебе нужна моя дружеская помощь, то я... — горло перехватывает от волнения. — Может, книги нужны для занятий, у нас на заводе чудный киоск.

— Я выписываю через «Книга — почтой».

— Ну что ж... — Ей больше нечего предложить ему. Она стоит, опустив руки, не пряча их в карманы своего дешевого, отделанного искусственным мехом пальтеца.

— Ты славная девушка, Марина.

— Ну, чем это? — ненатурально смеется Марина. — Самая обыкновенная.

— Пора ехать, — напоминает шофер, — не запуржило бы.

Они смотрят на яркий, холодный диск солнца, на белый сверкающий снег. Гараж стоит в стороне от дороги, прохожих мало.

— Первый день нового года,— задумчиво говорит Марина.

— Какого же тысячелетия? — Володя как будто хочет связать, восстановить ту тонкую ниточку, что протянулась ночью между ними, но Марина не ловит, не подхватывает свой конец.

И все-таки он спрашивает:

— Я приеду на совещание в Москву, можно, я зайду?

— Заходи.

— Но ты будешь рада?

— Я всегда рада гостям.

Володя вдруг сердито бросает горящую папиросу на снег, яростно затапывает ее каблуком и так же яростно говорит:

— Ну, я пошел.

И все-таки стоит, не уходит.

Шофер садится за баранку.

— Так я пошел,— снова говорит Володя.

Марина садится рядом с шофером, Володя укутывает ее тулупом, сердится, что она приехала без валенок, потом вдруг трется щекой об ее щеку и быстро уходит.

— Он что, чокнутый? — спрашивает шофер.

— Да нет, ни грамма...

И, стараясь скрыть слезы, пытается улыбнуться.

Марина спрашивает. Рассказывает. Любуется зимней дорогой. Даже острит. И только слева, где сердце, что-то у нее ноет и ноет...



Маша обожала мужа. Коля был худой и некрасивый, но Маше нравились его легкая походка, тонкая талия, перетянутая кавказским ремешком, озорные глаза. Она ревновала его. Ей чудилось, что на какой-нибудь железнодорожной станции — как это было когда-то с ней самой — он увидит хорошенькую стрелочницу, крикнет ей: «Здорово, любка-голубка», увлечется и останется там на день, на два, а может быть, и навсегда. Все не могла она забыть то туманное утро, когда он промчался мимо нее по путям на маневровом паровозе, сверкнул очами, выкрикнул вещие слова.

Коля гордился молодой женой, гордился ее любовью, смеялся и хвастал, что она отчаянно ревнует его ко всем, даже к соседской рябой собаке. На семейных вечеринках у Машиного брата это обычно служило предметом насмешек и шуток. Жена Машиного брата говорила с тайной болью: «А вот перестанет она вас любить, Николай, и ревность пройдет. Тогда вспомните, пожалеете...» — «Маша не перестанет любить мужа. У нас семья не такая...» — на что-то намекая, вмешивалась Машина мать. «Уж будто бы?» — переспрашивала невестка и трясла головой так, что трепетали огромные круглые, как у цыганки, серьги.

Маше приятны были эти разговоры о любви и ревности, эти семейные встречи, на которых она присутствовала теперь как равная, а не как девчонка. Она сидела с семейными женщинами за одним столом, пила сладкую наливку, покрикивала на Колю, бесцеремонно отбирала у него зеленую стопочку с водкой. Она была молодая и

хорошенькая, она смела распоряжаться своим мужем. Ни невестка, ни старшая сестра уже не смели. И Маша думала, что, наверное, они сами как-то недоглядели, не заметили, как кончилась их власть над мужьями, а с ней этого никогда не случится. Ради нее Коля всегда будет готов на что угодно... «Вот только если его никто не отобьет».

Поводов для ревности Коля не давал, но Маша знала, что люди всегда завидуют чужому счастью,— как же не позариться на ее Колю. Особенно теперь, когда она беременна.

Коля просил ее и даже грозил пальцем!

— Маша, я тебя прошу как человека. Эти глупости могут отразиться на ребенке. Я у доктора спрашивал. Женщина должна быть спокойна. Понятно? Разве я на кого-нибудь смотрю или гуляю с кем? Хожу на работу и обратно.

«Если бы ты работал на моих глазах,— печально думала Маша,— а то машинист, уезжаешь в другие города, встречаешь людей. Не может быть, чтоб он никого лучше меня не встретил. Что я такое? Простая, малограмотная».

Когда ее звали на собрания, на курсы, на кружок, она отнекивалась и спешила домой, чтобы там сидеть, поджидать своего Колечку и думать свои надоедливые мысли. Старший стрелочник знал, что кого-кого, а Куликову не уговоришь поработать сверхурочно.

— Она у нас исключительно упрямая,— говорил старший стрелочник про Куликову.— Деньгами не интересуется. У нее муж хорошо получает. А сознательности никакой...

— Таким, конечно, легко работать,— отзывались слушатели.— Нет, ты попробуй поработать, когда на твоей семье. Когда ты семью должен обеспечить.

Куликову часто корили несознательностью и на работе и в общежитии. Родные подшучивали, что она стала «глухая и слепая». Даже Коля говорил, что «получилась неожиданность. У людей муж жену отрывает от общественных дел. А здесь наоборот — жена мужа заставила дома сидеть...»

— Значит, надоело тебе со мной? — огрызнулась Маша, но подумала, что хватит ей действительно дома сидеть. «Схожу разик-другой на собрание, пусть только мне в глаза не тычут...»

Она пришла на собрание, когда стоял вопрос об аварийщиках. Коля был в поездке. Маша пришла одна, села у самой двери, на краю скамьи. Но ее заметили. Из сизого дыма выплыл старший стрелочник и долго кашлял, прочищая глотку. Маша полагала, что стрелочник скажет что-нибудь насмешливое. Но стрелочник только сказал:

— Подвинься, я сяду.

— Садитесь, дядя Вася.

Маше стало стыдно, что подумала так о дяде Васе, но она все еще сердито поглядывала на всех из-под платка, как будто спрашивала, зачем ее позвали в эту темную, прокуренную комнату из ее чистенькой и светлой, с белыми занавесками.

В самом конце зала, у председательского стола, незнакомый мужчина из районного отделения говорил об аварийщиках. Маше казалось, что на путях кричит Колин паровоз. Потом она взяла себя в руки и стала слушать. Становилось интереснее. Выступавшие называли фамилии машинистов, которых Маша знала.

— Он и вчера стрелку на восьмом пути погнул,— сказала Маша дяде Васе, когда заговорили про рыжего Остапчука, который всегда подмигивал, когда проезжал мимо Маши.— Такой отчаянный. Его предупреждай не предупреждай — ему все равно.

Про Остапчука говорили долго, так что слушать даже надоело, как будто он один был во всем виноват. А потом еще дядя Вася закричал:

— Наша женщина-стрелочница имеет сообщить факт про Остапчука. Дайте слово.

Остапчук, до того молчавший и поплеывающий на пол, взвизгнул:

— Недостойное оружие применяешь... Подчиненных настраиваешь!

Председатель зазвонил в колокольчик.

— Встань, Куликова, и выйди сюда,— сказал он строго.

Маша стала оправдываться, что она ничего не знает, она только сказала дяде Васе, как своему бригадиру, что Остапчук на маневровом паровозе погнул стрелку, не замедлил ход. А она дежурила около этой стрелки и хорошо все видела. Потом Маша распалилась и стала кричать, по-бабьи подпершись руками, что она не каменная,

она все видит, она все стрелки на память знает, хоть ночью ее разбуди, у нее сердце изныло, глядя на машинистов.

Куликова в упор смотрела на незнакомого из районного отделения, как будто ему одному рассказывала, какие безобразия творятся на станции. Да и что рассказывать остальным? Знают. Все знают.

— Вы с нас спрашиваете за стрелочное хозяйство. Хорошо. Но надо и с них спрашивать, да поостроже,— и Маша кивнула в ту сторону, где один подле другого особняком сидели машинисты.

Вернувшись на свое место, она сказала укоризненно:

— И как только вам, дядя Вася, не стыдно меня подбивать! Сами бы и сказали. А то некрасиво: Остапчук моему Коле знакомый... Он нам сосед.

После собрания Машу подозвали к столу и что-то говорили ей. Она поняла одно: незнакомый выговаривал председателю, что они все жалуются на отсутствие людей,— а вот они, люди, вот золотые самородки, умеи только их подобрать. Председатель был недоволен, как будто Маша подвела его, но бормотал что-то такое: «действительно», «со стороны виднее», «на ошибках мы учимся».

Маша вышла с собрания позже всех и пошла одна домой, в темноте. Она так привыкла к местности, что ни летнее небо, ни деревья над вокзалом, ни зеленые огни на путях не казались ей интересными. Интересным казалось другое, то, что через несколько месяцев у нее будет ребенок. Только она, да Коля, да докторша из поликлиники знают этот секрет. Сколько людей было сегодня на собрании, все они слушали, что кричала им Маша, все смотрели на нее, выбирали ее за чем-то в комиссию, а всем невдомек было, что у нее совершенно особенная, никому не известная жизнь.

Нарочно пошла она дальней дорогой, чтоб подольше думать о себе и ребенке. «Если он и бросит меня,— думала она про мужа,— я теперь буду не одна. Только он меня не бросит...» Маша уверена была в Колиной любви. У себя на службе она могла померяться силами с любой женщиной. Но она знала, что в больших городах живут такие красавицы артистки, против которых никто устоять не может. Коля водил свои товарные поезда на

дальние расстояния. И кто знает... с кем разговаривает сейчас ее Коля, небрежно играя кавказским пояском.

Чтобы не думать больше, Маша тихо запела. Но песня на ум пришла невеселая.

Она вошла в общежитие, прошла по длинному коридору, где бегали дети и пахло шами, и отперла свою дверь.

Закусив, она легла и сразу уснула, утомленная необычными впечатлениями.

Утром она долго не выходила из своей комнаты. Коли все не было. Маша знала, что как только она выйдет на кухню, так встретит там жену Остапчука. Соседки не любили Машу за то, что она гордая и так дружно живет со своим мужем. «Теперь они меня вовсе загрызут...— Но она не жалела, что выступила против Остапчука.— Ходишь по путям от стрелки к стрелке, в жару, в холод,очищаешь их от снега и пыли, протираешь, ухаживаешь, а кто-то будет гнуть...— Маша с кем угодно готова вступить в бой.— Что я ее боюсь?»— подумала она о жене Остапчука, взяла чайник и пошла на кухню.

Жена Остапчука неожиданно встретила ее приветливо.

— Ставь чайник на мой примус, Куликова.

— Я не Куликова, а Шеина,— поправила сбита с толку Маша.

— Мы привыкли, что твои фамилии Куликова. Так и говорим.

Какой-то огонек не то насмешки, не то жалости поймала Маша в глазах у соседки. Ей стало не по себе.

— Раз вышла замуж, значит, Шеина. По его фамилии.

— Теперь считают и по-другому,— многозначительно заметила соседка.

Сердце у Маши упало. «Знает что-то...»— подумала она. Дожидаясь страшного известия, она медлила около своего примуса.

— А ты вроде пополнила?

— Юбка у меня широкая... полнит...

— Твой в поездке?

— В поездке.

— А-а.

«Знает»,— подумала Маша.

Соседка поджала губы и сказала ласково:

— Ты не подумай, что раз ты против нашего семейства, так и я против вашего. И в характере у меня этого нет. Я как соседка. У твоего мужика сегодня было столкновение, говорят, невредимый остался, а вот паровоз... Аккурат какому-то поезду в хвост врезался...

— Шутишь, тетя Дуня? — спросила Маша и против своей воли усмехнулась.

— Шутить перед судом будете, аварийщики! — крикнула Остапчук. — Смеется... Это тебе не чужих мужей на смех поднимать...

Ошеломленная, Маша пошла, как лунатик, к себе в комнату. Остапчук крикнула вслед:

— Примус потуши! Некому тут за вами следить...

Маша все еще не понимала, что случилось. То думала вдруг она, что Колю зарезало, то боялась суда, то надеялась, что Остапчук все наговорила со злости.

Она пошла на станцию.

Идти было тяжело: замирало сердце, и ребенок толкал ее в левый бок, как будто двигал ножкой.

На станции Маша смело вошла в кабинет к начальнику. Для нее все теперь были равны. У начальника сидел вчерашний оратор. Он сразу узнал Машу и сказал:

— А, здравствуйте, товарищ Куликова! Вот видите, вчера мы только говорили об аварийщиках, а сегодня машинист Шеин сделал отвратительное происшествие... Хорошо, что сам остался живой. — Начальник многозначительно закашлял, приезжий посмотрел на него недоумевая. — А? Что? — и снова обернулся к Маше: — Мы на комиссии разберем этот случай и обсудим. Заострим вопрос.

— Не буду я ничего делать, — закричала Маша, заплавав, — не надо мне вашей комиссии...

И, сердясь на себя за слезы, за вчерашнее выступление, сердясь на Колю, который захотел, чтобы она посещала собрания, выбежала за дверь. Казалось, что Колюно происшествие — это наказание за то, что выскочила вчера ругать Остапчука. «Вчера я его, а сегодня кого... Колю? На Остапчука руку подняла и на Колю поднимать? Вот ведь зовут уже меня на комиссию, чтоб гавкала на людей. Увидели, что умею...»

Она шла по путям сама не своя. Многие уже слышали о происшествии, спрашивали ее с сочувствием, из любопытства, а один человек с насмешкой сказал:

— Ты смотри, Куликова, запишись в прения заранее. Говорят, соберут специальное собрание обсуждать твоего муженька.

— И запишусь, если надо будет! — отругнулась Маша.

— Против мужа выступишь? — недоверчиво спросил табельщик.

— Надо будет, так выступлю! — дерзко ответила Маша, сама пугаясь своих слов.

С мужем она встретилась только к вечеру. Он пришел домой, как будто после долгого пьянства, — пожелтевший, с затуманенными глазами. Его томила жажда. Он пил воду стакан за стаканом, спросил поесть, попытался пошутить с Машей.

Если бы он пожаловался, Маше стало бы легче. Она могла бы отвести душу, пожалеть его, приласкать.

Но Коля храбрился, и Машу разбирало зло.

— Как это случилось? — спросила она.

— Как бы ни случилось, а факт имеется. Подай, Маша, попить.

Маша поставила воду, стукнув чашкой о стол.

— Это где было, в поле или на станции?

— На станции.

— Может, тебе стрелочник неправильную путь сделал?

Муж нехотя сказал:

— Все равно отвечаю. Там не стрелочник, а девчонка. Ее и в расчет никто не возьмет...

— Загляделся на девчонку? — дрожащим голосом спросила жена.

— Эх, Маша, Маша... — с тоской сказал муж. — Опять! Ты мне ее покажи, эту стрелочницу, я ее не признаю. Не видел я ее. Слышал только, люди говорили, что плачет девчонка. Я, Маша, не об себе думаю, а о тебе. Придется ведь отбывать срок, не простят.

— Не простят, думаешь?

— Нет, любка-голубка. Не пропадешь здесь одна, дождешься?

— Дождусь.

Маша слушала, что говорит муж, и клялась, что дождется его, но она не верила, что кто-нибудь может их разлучить.

Первые дни повсюду на станции шумели про происшествие, а потом все утихло. Колю с товарных поездов сняли, он сидел дома. Маша собрала все справки, какие сохранились, и берегла их для суда, чтобы доказать, как Коля везде хорошо работал. Она уверена была, что эти справки и их ребенок, который должен родиться, защитят Колю от суда.

Коля скучал. Маша скрепя сердце гнала его из дому, чтоб пошел с товарищами погулять или выпить стопочку. Сама она после работы так уставала, что ноги отказывались носить ее потяжелевшее тело.

Наступила осень. Маша куталась в большой платок, чтоб не видно было, какая она толстая, но все говорили, что Куликова скоро уйдет в декрет, надо на ее место готовить кого-нибудь другого.

Куликову жалели.

Родные считали, что ребенок родится некстати, что Маша пропадет без мужа, и поэтому Маша с особенной жалостью думала о ребенке.

Выпал снег, а суда все не было. Колю стали пускать на маневровые поезда, а однажды даже послали в дальний рейс. Старший машинист пояснил, тяжело вздыхая:

— И не полагается, да что делать? С кадрами у нас плоховато. Гляди только, Шеин, не подведи, будь уж там поаккуратнее...

Коля повеселел. Все чаще знакомые говорили, что нечего беспокоиться, — кто же будет теперь, через столько месяцев, судить человека? Маша тоже успокоилась. Она думала только о родах. Мать, сестра и невестка опекали ее, как маленькую, заходили к ней трижды в день, давали разные советы. Кто наказывал лежать побольше, кто, наоборот, ходить, кто — пить молоко, кто — не есть мяса. Шили распашонки, подрубали пеленки. В суматохе этой совсем позабылась Колина авария.

Когда Маша вернулась из больницы с дочкой, она узнала, что мужа осудили на два года. Она хотела заголосить, закричать, но Коля сидел за столом такой черный и страшный, что она онемела. По случаю родов жены его должны были отправить только через месяц. Маша тормозила его, умоляла: «Пиши заявление, хлопочи!», но Коля пал духом, притих, никуда не хотел ходить, все дни проводил около жены и дочки.

Казалось, никогда не были они так счастливы, как в

этот месяц, когда вели счет каждой минуте, каждому часу. Коля расколол все дрова, починил все столы и стулья, замазал щели, чтобы не лазили мыши,— только бы жене полегче пришлось без него. Он продал золотые часы, полученные в премию еще в первую пятилетку, новый костюм, пальто и положил вырученные деньги в сберкассау на Машино имя.

Остапчук приторговывал у него патефон с пластинками, но Коля сказал, что патефон нужен, может, ребенка будет забавлять музыка.

Провожали Колю всей семьей, с выпивкой, со слезами, как в новобранцы. Маша весь вечер сидела с ним, не разлучаясь, на стол подавала мать. Гости вели себя прилично, сдержанно, не выражая сочувствия. Только когда Коля встал и поклонился всем, говоря: «Оставляю жену, дочку, не покидайте их, добрые люди», поднялся плач.

Громче всех голосила Машина шепелявая сестра, которая любила поусердствовать и в веселье и в беде. Пусть все видят, какой она преданный человек. С визгом кидалась она целовать Колю.

Машу замертво уложили на кровать, Коля обнялся с тещей, хотел что-то сказать, не смог, поднял крашеный сундучок — и ушел на два года.

Гости, сложив на коленях руки, долго сидели у Машиной кровати. Но стало поздно. Первой, вздохнув, поднялась невестка. Дома ее ждали дети. Потом встала со своего места Машина мать. Она работала уборщицей в депо и заступала на ночную смену.

Ребенка положили рядом с Машей, чтоб она не чувствовала себя такой одинокой.

Маша слышала, как уходили родственники, но ей было все безразлично. Заплакал ребенок тонким, жалобным голоском. Надо было перепеленать его, накормить. Надо было встать с кровати, умыться, подобрать волосы.

Кончился срок декретного отпуска, и Маша вернулась на работу. Она и всегда была тихая, но такой молчаливой и серьезной ее никто раньше не видал. Зима выдалась снежная, ветреная. Пути и стрелки заносило снегом. В больших валенках, в полушубке, в платке брела Маша от стрелки к стрелке, тщательно очищая их от снега, скалывая лед. Она не боялась ни стужи, ни ветра. «Может быть, там, где Коля,— думала она,— еще холоднее». Письма от Коли получала не часто,— он отбывал заклю-

чение в трудовых лагерях, на севере. Там разрабатывали лес. Коля писал, что живется ему не плохо, кормят сытно, работает на механической пиле. «Здесь кругом тишина и красота, белки прыгают по деревьям, но у меня одна забота — это ты, Маша. Насчет женщин не беспокойся, женщины содержатся отдельно от нас, совершенно на других командировках. Хотя все равно я бы себя помнил...»

Маша вздыхала над письмами, и ей было горько, что ее считают такой ревливой дурой и утешают, как малого ребенка.

«Нет, не от чужой женщины пришла беда,— думала она,— а совсем от другого, я его завлекала и на курсы не пускала, морочила ему голову. Теперь добилась своего...»

Маша считала себя одну во всем виноватой. Если бы не она, Коля шел бы на работу с ясной головой, не был бы рассеянный. Разлуку она воспринимала как наказание, что не понимала жизни и не умела беречь счастье.

Она давно сломила свой строптивый характер, не грубила больше бригадиру, не ссорилась с невесткой и с сестрой, не спорила с другими стрелочниками, если просили ее поменяться сменами.

Жилось Маше трудно. Она мало спала, нянчась с ребенком, уходя на работу, оставляла ребенка у матери или невестки. Хотя они охотно нянчили ребенка, Маше больно было сознавать, что она у всех одалживается. И дома, когда она хотела сварить себе кашу или суп, приходилось занимать у соседок то луковицу, то соль или пяток картофелин,— не было времени добежать до магазина.

Жена Остапчука, которая была теперь ответственной уполномоченной по общежитию, часто и нудно корила Машу за то, что будто она в свое дежурство не подмела кухню, не вытерла пол за собой, когда стирала пеленки.

Маша отмалчивалась. Она чувствовала себя такой беззащитной, что даже не обижалась.

Каково же было ее удивление, когда ее на путях разыскал тот человек из районного управления, по фамилии Толмачов, и спросил, почему она не работает в комиссии.

— Я приехал и сразу спросил про вас, как вы и где. Говорят, она отбилась от общественной работы. Почему?

— Муж у меня отбывает...— ответила Маша, испод-

лобья разглядывая звездочки на воротнике у Толмачова. «Сколько надо учиться, чтобы выслужить себе столько», — подумала она.

Она знала, что как только Толмачов вспомнит, что аварийщик Шеин — это ее муж, так и перестанет приставать к ней. Но Толмачов сказал:

— Он — одно, а вы — другое. Вы на своей работе не знаете замечаний.

— Замечаний мне не было, — подтвердила Маша.

— А раз не было, — подхватил Толмачов, — значит, вы самостоятельный человек на производстве, за своего мужа не отвечаете.

— От мужа я не отказываюсь, — ответила Маша, задетая за живое. — Лучше вы меня на комиссию не зовите, от мужа я все равно не откажусь.

— И не надо отказываться. Почему надо отказываться? Вот что, Куликова, на путях разговаривать неудобно. Приходи сегодня в клуб, поговорим. Придешь?

— Ладно. Если можно будет, приду ненадолго.

Вечером Маша пошла в клуб.

Она долго думала, надеть ли ей розовую кофточку, не осудят ли ее люди? Но кофточку все же надела и даже вздохнула перед зеркалом, заметив, какое бледное у нее теперь лицо.

В клубе она долго не могла найти Толмачова. Ходила без толку из комнаты в комнату и ругала себя, зачем пришла. «Разве у него одно только дело со мной? Он и забыл, что велел прийти...» Потом Толмачов вышел из какой-то боковой двери и сказал приветливо:

— А, товарищ Куликова! А у нас было совещание, я задержался. Надо где-нибудь найти местечко посидеть.

Толмачов повел Машу в буфет, они сели за столик, им принесли ситро и два пирожных. Маша горела со стыда и обиды. Она низко наклонилась над своим стаканом. Идя в клуб, она надеялась, что Толмачов посоветует, как вызволить Колю, а он позвал ее, польстившись на то, что она живет одна, без мужа. И теперь она сидит, выставленная на позор, чтобы все видели, как дешево стоит женская любовь и верность.

Маша грубо сказала:

— Мне тут долго сидеть нельзя. У меня ребенок.

Толмачов надкусил пирожное.

— Может, вас удивляет, товарищ Куликова, что я так активно вмешиваюсь в ваши дела? Но у меня к вам симпатия — женщин еще не много у нас на транспорте. Я про вас расспрашивал у бригадира и у других работников. Может, вы пойдете на курсы составителей?

Маша ответила, как бы извиняясь:

— На курсы я бы хотела, но мне нельзя. У меня ребенок совсем еще маленький. Спасибо вам.

— Жаль,— ответил Толмачов.— Но как только ребенок станет постарше, мы вас определим на курсы. Имейте это в виду.

Маша съела свое пирожное и пошла домой, думая о том, что на свете живет много хороших людей.

Веселое оживление клуба, пирожные, которых она давно не ела, вызвали у Маши воспоминание о тех временах, когда они еще были с Колей женихом и невестой. Тогда они часто ходили в клуб, смотрели кинокартины и постановки и даже иногда танцевали. Теперь судьба разлучила их с Колей. Но Маше не было грустно, она верила, что дождется возвращения мужа. Ребенок будет уже большой, когда Коля вернется, будет ходить и смеяться, будет лепетать «папа», «мама», «баба» и еще какие-нибудь немудреные детские слова. Маша часто думала о дне Колиного возвращения. Вот он входит в комнату, обросший бородой, с сундучком. Девочка испуганно смотрит на незнакомого дядю, а Маша говорит: «Олечка, это папа...» Стол накрыт, как в праздник. Коля умывается, садится за стол и молчит. Потом говорит одно только слово: «Маша!» И этим словом благодарит ее за все: за посылки, за то, что ребенка вырастила, за то, что себя сберегла. И может быть, Маша скажет: «А я, Коля, учусь теперь на курсах. Ты не против?»

Дома Маша вытащила из сундучка мужнины книжки и долго рассматривала их одну за другой. Книжки были трудные и неинтересные, по паровозному делу и по политграмоте. Маша вздохнула, выбрала самую трудную и стала читать. Чтоб не терять времени, она и Олю баюкала, читая вслух. Потом надоело ей это бесполезное занятие, и она снова сложила книги в сундук.

Коля прислал письмо, что у них проложили узкоколейку, он работает теперь по специальности, водит старенький паровозик по лесной чаще. На паровозике работать приятно — любимое дело, и, главное, не будет отры-

ваться от своей специальности. «Еще есть у нас учеба, и я учусь. Читаю книги, газеты и др.».

Маша не поняла, что означает «и др.». Ей хотелось знать: может, Коля делает что-нибудь такое, до чего она здесь не додумалась? Она спросила у людей. Ничего особенного в этом «и др.», оказывается, не было.

Заболел ребенок.

Маша совсем выбилась из сил. Докторша из поликлиники дала освобождение от работы, дни и ночи проводила она над кроваткой девочки. Маленькая надрывно плакала, и ни лекарства, ни компрессы, ни ласки матери не могли ее успокоить.

Шел седьмой день болезни, а улучшения все не было.

Вечером забежала на часок мать, и Маша прилегла немного. Но тонкий, на одной ноте, детский плач не дал ей уснуть. Она лежала и думала, что не может, не может этого быть, чтобы ребенок умер. Для чего же тогда были все страдания и муки? Ребенок, как нитка, привязывал ее к жизни. Не надо ей ничего, если не будет Олечки. Она взлелеяла мечту, как вырастит девочку, как купит ей первые ботиночки, как вынесет ее летом на зеленый луг за станцией, в хорошеньком платье, перешитом из своей кофточки. Что же ей останется в жизни без девочки? Работа да сон, длинные дни ожидания?

Маша вздыхала и ворочалась на постели. Старуха тоже вздыхала, болея сердцем за дочь и за внучку. В десять часов она сказала:

— Вставай, Маша. Я пойду...

Она разогрела кашу и насильно заставила Машу поесть.

— И вы кушайте, мама.

Они сидели вдвоем за столом. А из глаз их на зеленую клеенку падали крупные слезы.

Мать ушла. Маша перепеленала девочку, взбила подушечки, на которых дитя лежало, и девочка немного затихла.

Резкий мартовский ветер заглушал все шумы на улице. Как будто никого на свете больше не было — только Маша и девочка.

Теперь, когда нельзя было спать, сон, как нарочно, наваливался на Машу, томил ее тело, наливая свинцом руки и плечи. Чтобы не спать, она раскрыла книгу и строч-

ку за строчкой читала, принуждая себя, как будто делала тяжелую работу.

Было уже поздно, когда кто-то постучал в дверь. Пришла докторша, красная от мороза и ветра.

— Я шла мимо и решила, дай зайду,— сказала она.— Как наша маленькая пациентка?

Согревшись, докторша постояла у кровати, поправила одеяльце. Маша ждала, что докторша достанет трубочку и выслушает ребенка, но докторша сказала:

— Кажется, засыпает.

И на цыпочках отошла от кровати.

— Это вы читаете?— спросила она, перелистывая книгу.

— Так, чтоб не спать...

— Почему же только чтоб не спать?

— Трудно очень... Неинтересно.

Докторша стала расспрашивать Машу о ее жизни. А потом, увлекшись, рассказала и о себе. Выходило, что она рассказывает нарочно, чтобы подбодрить Машу,— и у докторши, как и у Маши, рано умер отец, и докторша, как и Маша, жила у чужих людей в няньках, но потом она пошла на фабрику, оттуда на рабфак и в институт.

— А теперь, как видите, я интеллигентный человек, стою на своих ногах. Профессия моя полезна людям.

— Вы замужем?— спросила Маша.

— Нет, не пришлось,— сказала докторша,— сначала училась, не до этого было, а потом... Годы прошли. Взять, например, наш поселок. Инженеры, те как-то женятся на москвичках, а кто попроще, мне не пара. Совершенно другой культурный уровень и интересы. Поедешь летом на курорт, похочешь, похочешь, а серьезного ничего...

— Не скучно вам?

— Конечно, скучновато. Но в работе как-то не замечаешь. Я человек веселый. Племянница у меня воспитывается... Нет, я не жалуюсь.

— А мне скучно одной,— созналась Маша,— дни считаю, его жду...

Закричала девочка таким необычным криком, что и докторша и мать встрепенулись.

Маша смутно припоминала потом, как прошла ночь. Кипятили воду, клали горячие бутылки под подушки. Голые по локоть, полные руки докторши мелькали над кроватью. Маша больше не надеялась. Сухими глазами

смотрела она, как страдает ребенок, и ничего не могла сделать, чтоб принять его муки на себя.

Всю ночь докторша не отходила от ребенка.

Утром Маша взяла ребенка на руки и сидела с ним, пока не поверила, что мертвый. Мать застала ее лежащей на кровати не то в обмороке, не то в глубоком сне с мертвым ребенком на руках.

Теперь нечем было вернуть Машу к жизни, нельзя было говорить ей: «У тебя ребенок, живи для него...» Мать внушала ей: «Плачь». Она не слушалась, не плакала. На похоронах громче всех голосила Машина сестра, и встречные прохожие думали, что она и есть мать ребенка.

Когда на могилке насыпали холмик, вышел вперед Машин бригадир с каким-то предметом, завернутым в бумагу. Он долго разворачивал бумагу, осуждающе покачивал головой, как бы сердясь не то на свою неловкость, не то на тщательность упаковки, пока не освободил металлический венок.

— Это твоему ребенку, товарищ Куликова, от стрелочников, — сказал он.

— Спасибо, дядя Вася...

Маша взяла венок и положила его на холмик, расправила ленты. Ее утешало, что у девочки такая красивая могилка.

Она не сопротивлялась, когда брат и бригадир взяли ее под руки и подняли с могилы. Безропотно пошла она с ними с кладбища.

Все женщины просили ее заплакать, но Маша отрицательно качала головой. Слез не было. Она дошла до своего дома, остановилась и сказала невестке:

— Феня, не хочется мне домой. Лучше я у вас посижу.

Так и пошло, что она редко бывала дома: то сидела у родных, то работала сверхурочно.

На работе ее ценили, к ней прикрепляли новичков, чтобы она учила. Дядя Вася говорил, что он доверяет ей почти как самому себе. Она выручала, если его вызывали в контору или когда он засиживался в дежурке у машинистов.

Толмачов не появлялся больше на станции, но иногда к Маше подходили люди из мееткома и говорили, что он спрашивал про нее и передавал привет.

Маша понимала, что Толмачов ждет, когда она вспо-

мнит свое слово относительно учения, но голова так устала от горьких мыслей, что она не могла и думать о курсах.

Никакие перемены в жизни теперь не прельщали ее. Она и Колю перестала ждать. Жена Остапчука, пользуясь тем, что Маша редко бывает дома, вселила к ней в комнату своего женатого племянника. Маша стала было протестовать, но Остапчук закричала на все общежитие:

— И с детьми и с мужьями живут по две семьи в комнате. А эта одна. Может, и не вернется твой арестант. Скажи спасибо, что тебя не гоним. Муж — троцкист, а она еще ломается...

— Какой же он троцкист, он аварийщик, — сказала Маша.

Она не пошла никуда жаловаться. Станным казалось теперь, в ее одиночестве, хлопотать о комнате. Но молодожены так дружно жили, что измученной Маше невольно было на это смотреть. Все вспоминалось ей свое счастье.

Молодожены не обижали ее, не ссорились с ней, но Маша чувствовала, что мешает им. К себе домой она приходила, как в гости. А родня надоела. Она вспомнила предложение Толмачова о курсах и написала ему в район письмо. Сразу же ей прислали путевку.

Курсы были близко, на соседней станции, но Маше казалось, что она уехала далеко от дома. Среди чужих, незнакомых людей жилось легче. Можно было забыться.

Машу определили в группу составителей поездов, выдали книжки, тетрадки и карандаши. В общежитии курсов в одной комнате с ней жили две славные девушки-украинки. С ними Маша ходила в столовую обедать и проводила все свободное время. Они пробовали вместе готовиться к занятиям, но из этого ничего не вышло. Украинки знали больше, чем Маша, и торопили ее.

Первые недели Маша считалась отстающей. Но потом она перестала волноваться и робеть, стала внимательнее слушать учителей, и дела пошли успешнее.

Машу все любили: и учителя и курсанты, — такая она была серьезная и славненькая — курносая, беленькая. На курсах Маша как будто отогрелась, оттаяла, даже научилась у соседок петь украинские песни.

Толмачов обрадовался, найдя в ней такую перемену.

— Я вам давно советовал — выходите из своей скорлупы, — сказал он. — Нельзя жить в отрыве от коллектива.

Всегда, когда Маша слушала Толмачова, она думала о том, что вот он и умный и хороший, а не знает, какая трудная настоящая жизнь. Но получалось, что не она, а он был прав. Она не могла понять, как не надоеет ему разъезжать все время со станции на станцию, всем интересоваться, про все помнить. А дом? А жена?

Она спросила:

— Вы, наверно, и дома никогда не живете?

— Редко, — вздохнул Толмачов.

— Скучает без вас жена?

— Она тоже всегда в разъездах. Такой же инструктор, как и я. То ее нет, то меня...

— А не боитесь? — спросила Маша и помедлила. — Не боитесь, что, может, она кого повстречает или вы повстречаете?..

— От судьбы не уйдешь, — сказал Толмачов, подумав. — Если полюблю кого-нибудь, признаюсь жене по-честному. Только этого не случится, лучше моей жены нет.

— Ой ли! — сказала Маша и засмеялась.

Она рада была, что у Толмачова какая-то особенная жена и живут они как-то по-особенному. Значит, не все живут так, как ее сестра и невестка.

Как она сама будет теперь жить с мужем, Маша не знала. Но в одном она была уверена: все у них теперь изменится.

На будущее она смотрела спокойно, и больше не было у нее мысли, что жизнь ее кончена.

Весной был экзамен.

День выдался солнечный, почти жаркий. Курсантки наломали зеленых веток и убрали ими портреты на стенах класса. На столе в двух стаканах стояли подснежники. Учителя пришли на экзамен торжественные, в белых брюках, в белых туфлях, с цветами в петлицах.

Маша отвечала однойю из первых. Она довольна была, что вопросы попались трудные, хотелось показать свои знания.

Учителя пожали ей руку.

Маша вышла из тесного помещения курсов на улицу. Станция, которую она еще недавно считала чужой, стала

теперь родной, своей. Маша пошла по путям, на которых еще поблескивали непросохшие лужицы. На сортировочной горке распускали состав. Красные вагоны, испещренные меловыми надписями, разбегались по рельсам. Маневровый паровоз увозил их за собой. Рослый человек в плаще, суетясь, отдавал распоряжения. Это был составитель.

Наблюдая за ним со стороны, Маша самонадеянно думала, что легко справится с этой работой.

Вечером заведующий собрал курсантов и произнес перед ними речь. При свете магния всех сфотографировали. Потом была самодеятельность. Украинки пели, сцепщик с Ленинской дороги рассказывал смешные истории, стрелочник из Москвы-товарной плясал гопака.

Маша отбивала ладонями такт и веселилась, как и все.

Всю ночь никто не ложился спать, укладывали свои корзинки, обменивались адресами.

Курносая Галя, кровать которой стояла в общежитии рядом с Машиной, сказала на прощание:

— Смотри, серденько, не тоскуй. Наплюй на все... Э, жизнь короткая...

— Я теперь буду веселая, — обещала Маша.

Но сдержать обещание было нелегко.

Первые слезы пролила она на могилке у дочери, куда побежала сразу после своего приезда: Металлический венок потемнел, ленты выцвели. Маша накопила зеленого дерну и обложила холмик, попробовала вычистить венок песком. Долго сидеть у могилки не могла, надо было спешить на работу.

Начальник, к которому она явилась, встретил ее сухо и сказал, что даст ей испытательный срок. Составитель Ющенко пойдет с сегодняшнего дня в отпуск, она будет его заменять.

Маша пошла в парк.

Дежурный, у которого болел зуб, сказал с огорчением:

— Пришла бы ты, Куликова, завтра. Ты человек неопытный, а я, видишь, сегодня сам не свой. Скажу тебе какую-нибудь грубость. С Ющенковым мы договоримся, он сегодня еще поработает...

— Нет, Иван Христофорович, я заступлю сегодня, — взмолилась Маша, — я такой сон видела, что мне заступать.

— Ну, заступай, Куликова, только не обижайся!

Дежурный вручил Куликовой график подхода поездов и объяснил коротко, какое на путях положение. Маша хотела записать в блокнот, как советовали на курсах, но дежурный сказал:

— Некогда тут записывать. Запомнить надо.

Маша послушно спрятала блокнот.

— Иван Христофорович,— сказала она,— так я пойду расчищать пути.

— Главное для нас — это гнать побольше вагонов со станции. Понятно? Ты должна смотреть, соображать... — Дежурный, охнув, взялся за щеку и с таким видом покачал головой, как будто вообще сомневался, нужны ли человеку зубы. — Состав подошел, ты налетай, смотри, где легче, хватай, формируй, отправляй. Понятно?

— А остальные вагоны будут простаивать?

— Про то другая смена будет думать. Понятно? Наше дело — выполнить план.

— Нет, Иван Христофорович,— сказала Маша,— нас учили не так... Если работать, как вы говорите, так у нас вагоны будут простаивать в тупиках. Как вы скажете?

— Я скажу одно: у меня на смену есть план, ты мне его выполняй,— дежурный уклонился от прямого ответа.

— Ладно, выполняю,— обещала Маша.

И пошла к своей бригаде.

Первые распоряжения она отдала нетвердым голосом; все время посматривала, не смеются ли над ней.

Смена, как нарочно, выдалась трудная.

С утра работы было мало, и бригада роптала, что не будет никакой выработки, а с двенадцати часов один за другим стали подходить составы.

Дежурный по парку торопил Машу. Бригада — сцепщики, башмачники, метчики с любопытством смотрели на новую начальницу. Сцепщики были люди постарше, посерьезнее. Маша запомнила их имена и отчества, чем и расположила их к себе. Но грубые, лихие парни, кидające под колеса пудовый башмак, не прочь были пошутить с тоненькой Машей. С ними разговаривать надо было строго и резко, пусть забудут, что перед ними женщина. Наука эта далась Маше не сразу. В тупичках, между вагонами, она давала волю своему отчаянию.

«Не справлюсь,— думала она,— ни за что не справлюсь».

Казалось, что все нарочно медлят, что маневровые машинисты, издеваясь над ней, без толку ездят с пути на путь, что дежурный нарочно дает ей неправильные сведения. А она должна метаться от вагона к вагону, выбиваться из сил и терпеть насмешки. Даже дядя Вася, стрелочник, который знал ее много лет, сказал недружелюбно:

— Ты, Куликова, больно высоко прыгнула. Будешь жалованье не меньше меня получать.

— Ну и что же? — сказала Маша. — Что заработаю, то и получу.

Она и не заметила, как кончилась смена. Зашла в контору и села на лавку передохнуть. Иван Христофорович забежал туда сдавать сведения. Увидев Машу, он сказал:

— Ничего, справилась. Скажи спасибо...

— Спасибо, — машинально сказала Маша.

Подошел начальник и, улыбнувшись совсем не так, как утром, а ласково, спросил:

— Тяжеловато пришлось в первый день, а?

— Ничего...

— Самостоятельная женщина. Нажимает... — похвалил начальник.

Вокруг начальника собрались мужчины — дежурные, машинисты, кладовщики. Маше неудобно было сидеть вместе с ними, мешать их свободному разговору. Она ушла, дошла до своего дома, пообедала и снова вернулась в парк. Интересно было посмотреть, как работает другая смена.

Составитель Глушков догадался, зачем она пришла, и сказал:

— Пришла — так не стой, как в гостях. Ходи за мной и слушай.

Маша смотрела на Глушкова и завидовала его спокойствию. Все спорилось у него.

— Волнение, оно не помогает, — ответил Глушков на ее вопрос. — Волноваться — это вы, женщины, мастера. У меня дома жена, три девочки, теща и бабушка. Мне ваше женское волнение вот где сидит... — Глушков показал на шею. — Если хочешь работать, так ты эти волнения брось. На голову надейся, на мозги...

Прошла неделя, и Маша припомнила слова Глушкова. Она работала спокойно, споро, втянулась в работу.

Часто бывает в жизни, что несчастья приходят к человеку сразу, одно за другим, но зато если пойдет полоса удачи, так только радуйся. На станции как будто впервые увидели Машу Куликову. Только и разговоров было что про первую женщину-составителя. О ней вспоминали на всех собраниях, в торжественные дни.

Маша знала это и гордилась собой.

Родственники не узнавали Машу. Она так осмелела, что даже сама Остапчук стала разговаривать с ней заискивая.

Маша заявила молодоженам, что она против них ничего не имеет, но комната принадлежит ей, пусть они себе ищут другую.

Остапчук встретила Машу в коридоре.

— Это правда, Машенька,— спросила она,— будто ты замуж собираешься?

— Правда,— ответила Маша, желая пошутить.

— Говорят, большой пост занимает? — спросила Остапчук, бегая глазами по новым Машиным туфлям.

— Большущий...

— К нему, наверное, жить переедешь? Так зачем же тебе комнатка? Я вот женщина серая, невоспитанная, и то у меня от нашего общежития голова болит. А где тебе...

— Перееду или не перееду, а чтоб комнату освободили. Я к начальнику станции пойду, если что...

Так много сил появилось у Маши, что она могла теперь постоять за себя. Она и про Колю узнала, как и кому можно подать ходатайство. Тоска по мужу с новой силой охватила ее. Теперь, когда ее уважали, хотелось разделить свое счастье с любимым человеком. У нее появились деньги, она была молода, но незачем ей заводить обновки, не для кого наряжаться. В кино и то она редко ходила — когда собиралась вся семья: мать, брат, невестка, сестра и зять.

Молодожены не выезжали из комнаты. Маша стосковалась по семейному уюту. Не терпелось выбелить стены в комнате, постлать новое одеяло и скатерть, повесить занавески. Все желания, которые она приглушала в себе целый год, пробудились. Она не могла больше жить так, как жила. Хотелось петь и плясать, ходить в гости, самой звать к себе гостей. А кто она была? Ни вдова, ни девушка, ни жена. С молодыми мужчинами нельзя было

знаться, со старыми — неинтересно. Разговоры с родственниками были будничные, простые — про очереди, про топливо на зиму, про невестку.

Она сходила несколько раз к докторше. Но докторша редко бывала дома, а племянница еще совсем девчонка.

Маша жила в поселке много лет, всех железнодорожников знала с детства, знала их жен и детей, их характеры, их слабости, — не было на станции человека, так казалось ей, кто понимал жизнь больше, чем она сама.

По выходным дням она сидела у себя в комнате и подбирала на гитаре, которую давно уже не держала в руках, песни, что певала когда-то. Она даже выдумала сама мелодию, которая ей очень нравилась, и жалела, что не может найти к этой мелодии подходящих слов. Мимо общежития часто проходили знакомые молодые женщины, Машины сверстницы, но пережитое отдалило Машу от них. Если бы она пошла с ними, то, пожалуй, молчала бы как пень. Веселее и интереснее ей было разговаривать с мужчинами, но все составители и диспетчеры были женатые, по выходным дням у них свои семейные дела. На могилу дочери Маша теперь ходила редко — холмик земли не мог заменить ей живое дитя.

В конце лета, когда стали желтеть обожженные зноем листья, составителей срочно вызвали к начальнику станции на совещание. Торжественный начальник сказал, что все они читают газеты и знают хозяйственное положение, знают, какая идет борьба за хлеб; картина вырисовывается такая, что через станцию будет проходить поездов в три раза больше, чем в обычное время.

— Вы, конечно, понимаете, — сказал начальник, — что каждая наша ошибка, каждое промедление будет отражаться на ходе уборки и осеннего сева, на наших грандиозных успехах. Это все равно что фронт. Продумайте каждый свой метод работы, что сделать и как сделать... Оставаясь на месте, мы, железнодорожники, как бы участвуем в замечательных победах нашего народа. Дисциплина должна быть военная... Провозгласим «ура» в честь нашей родины!

Составители дружно прокричали «ура». Когда вышли из конторы, Глушков сказал Маше:

— «Ура», конечно, дело хорошее. Но надо фактами оправдать,— это будет наше «ура».

Все были взбудоражены. Станция не знала еще такого напряжения. Поезда шли и шли. Везли комбайны, жатки, зерно. Железнодорожники забыли, что такое сме-на, что такое день и ночь.

Маша только теперь по-настоящему почувствовала каждого человека в своей бригаде. И умом и сердцем чуяла, на кого надо прикрикнуть, кому сказать доброе слово, кого похвалить. Сама она не знала усталости. Вагоны стали для нее живыми существами — то добрыми, то злыми. Ей надо было все их подчинить себе, чтоб разбегались по путям по ее указке, как звуки в гитаре, не медля, не опаздывая.

Не было никакой хитрости в ее работе. Она изучила все пути и подходы к станции, все посты, соображала, как группировать вагоны, чтобы маневровые паровозы не возили их без толку по путям.

Составы уходили. Маша подолгу смотрела им вслед, мечтала о городах, мимо которых они пойдут, о дальних краях, где никогда не бывала...

Когда пора горячей работы прошла, Маше стало скучно. Она привыкла к тому, чтоб все кипело вокруг.

На станции отметили Машину работу. Ее выбрали на слет стахановцев дороги. Там она выступила и, чуть кокетничая своей скромностью, поделилась опытом работы.

Когда Маша спускалась с трибуны, она увидела в зале Толмачова. Он стоял в проходе и разговаривал с каким-то мужчиной.

«Пусть он первый подойдет ко мне»,— решила Маша.

Ее окружили новые знакомые, и она, смеясь, прошла с ними в фойе, будто не заметив Толмачова. Она нарочно медлила уходить, все еще надеясь, что он подойдет к ней. Но Толмачов не шел.

«Ну и не надо,— думала Маша,— я теперь не кто-нибудь, могу найти человека и поинтереснее...»

Она жила в гостинице, в одном номере с женщиной-машинистом, известной на всех дорогах. Маша при ней не смела гордиться. Панкратьева относилась к Маше любовно и покровительственно. Когда Маша пришла, у Панкратьевой сидела в гостях артистка, с которой она

где-то познакомилась летом, и они смеясь говорили про какого-то Сергея Ивановича.

Маша села в сторонке и сделала вид, что читает газету. Артистка скоро ушла, и тогда Панкратьева спросила:

— Ты, Маша, что, больная?

— У меня голова болит...

— Я и смотрю, ты вроде не в себе.

Панкратьева подошла ближе и стала рассказывать про артистку, как в нее влюбляются все мужчины. Маша ахала и удивлялась.

— Какой это секрет женщины знают? — спросила она. — Другая хорошенькая, да никто за ней не ходит, а некоторые...

— Никакого секрета нет, — сказала Панкратьева авторитетно, — но есть женщина, у которой голова занята делом, а есть женщина, у которой только любовь на уме. Мужчины это чувствуют.

— Интересно все-таки, когда за тобой ухаживают, — робко сказала Маша.

— Ничего интересного нет...

— Зачем вы так говорите, тетя Наташа? — подсадила Маша. — Конечно, интересно.

Обе, обиженные, замолчали.

Потом Панкратьева сказала:

— Я тебя за молодость извиняю. Я на тебя не обижаюсь. Интересно так интересно. Каждому — свое. Идем лучше ужинать, пока не поздно.

Они спустились вниз, в ресторан. Панкратьева шла широким шагом уверенного в себе человека, а Маша смущалась. Позолота на стенах, цветы на столиках, оркестр, официанты в грязно-белых куртках — все казалось таким чужим и роскошным.

Они сели за столик. Маша аккуратно натянула юбку на колени и оглянулась по сторонам. Недалеко сидела артистка в голубом платье с каким-то мужчиной. За всеми столами сидели или одни мужчины, или мужчины с женщинами. Маше стало неловко, что они пришли одни.

Облокотившись, Панкратьева слушала музыку. Маша смотрела на ее немолодое лицо, желая догадаться, о чем она думает. Но музыка умолкла. Панкратьева очнулась и постучала ножом о тарелку.

Подошел официант. Панкратьева заказала ужин и спросила у Маши:

— Выпьем по стопочке?

— Я непьющая, тетя Наташа.

— От головной боли это хорошо. Принесите две стопочки, мне побольше, а ей маленькую.

— Сто грамм и двести? — спросил официант ухмыляясь и побежал, изгибаясь, между столиками.

— Не люблю я их, лодырей, — сказала Панкратьева про официанта.

Принесли ужин. От теплой пищи и вина, которое Маша пригубила, стало веселее. «Не подошел — и не надо», — думала она. И вспомнила тот вечер в буфете, когда она сидела с Толмачовым и, робея, пила колючее сидро... Теперь она в городе, в ресторане... И характер совсем переменялся...

— Ты меня слушай, Маша, — Панкратьева тронула ее за руку. — Я тебе рассказываю, а ты вся не тут...

Панкратьева рассказывала про свою молодость в деревне. Она раскраснелась. Джаз опять заиграл, по залу двинулись танцующие пары. Панкратьева старалась заглушить шум и пропеть Маше деревенскую песню. Но Маше интереснее было смотреть на танцующих, на красивые женские платья, на туфли, на такие тоненькие чулки, что ноги в них казались голыми. И вдруг Маша увидела Толмачова: он сидел в углу, спиной к залу, и ел, наклонившись над тарелкой.

Музыка стихла. В зале слышался только голос Панкратьевой, тянувшей заунывную песню. Все посмотрели в ее сторону улыбаясь. Маша заметила, что Толмачов увидел ее.

К столику, как на коньках, подлетел официант и сказал Панкратьевой:

— Гражданка, пить у нас не разрешается...

Она отмахнулась от него рукой, потом сказала:

— А того, братец, не понимаешь, что это песня настоящая, душевная.

Улыбающийся Толмачов подошел к столу, взял Панкратьеву за руку.

— Ты что это, лекцию читаешь, Наталья Петровна? — сказал он.

— Объясняю, — сказала Панкратьева, засмеявшись. — Я хотела Куликовой нашу деревенскую песню спеть, а

вот товарищ...— она кивнула на официанта,— не велит... Да и правду сказать, чего я тут распелась, не дома ведь.— Панкратьева посмотрела на официанта и улыбнулась.

Тот смахнул салфеткой крошки со стола и ушел.

Толмачов подождал, когда железнодорожницы окончили ужин, и они все вместе вышли из ресторана. Панкратьева пошла спать, а Толмачов и Маша зашли посидеть в гостиную.

В большой комнате никого не было. На столе лежали старые газеты. Маша села на стул и смотрела, как Толмачов перекладывает газеты. Она чего-то ждала. Толмачов спросил, не отрываясь от газетного листа:

— Как вы теперь живете, Маша?

Он никогда не называл ее раньше по имени, но Маша не обратила на это внимания. Она не знала, что отвечать ему. Смотрит сам в газету и спрашивает небрежно, как будто она не человек.

— Я сегодня днем заметил, что вы меня избегаете,— снова сказал Толмачов и посмотрел на Машу внимательно.— Чем это объяснить?

— Не знаю,— сказала Маша.— А почему вы сами ко мне не подошли?

— Я был занят,— объяснил Толмачов.

Он отодвинул от себя газеты и стал расспрашивать, как она живет. Маша доверчиво рассказала все — и про то, как работает, и про людей, и про молодых людей, которых никак не может выселить, и про мужа. Только про скуку свою она ничего не сказала. Но Толмачов догадался, что она что-то утаила от него.

— Вы мне расскажите главное, какое у вас настроение,— попросил он.

Маша призналась, что скучает. Она и сама не знает, как так получилось, ведь она многого добилась. Наверное, она неблагодарный человек, которому все мало. Она рассказала, что, когда на станции были напряженные дни, вот тогда ей было весело. Жалко было уходить домой. Осталась бы, и всем распоряжалась, и все бы делала по своему.

— Вам надо еще учиться,— сказал Толмачов,— и по специальности и по общеобразовательным. У нас есть курсы без отрыва от производства. Вы способная, вы можете стать дежурным по станции.

— Дежурным я смогу,— сказала Маша,— я уже при-

смотрелась к этой работе. А по общеобразовательным мне трудно. Я только три класса окончила, и то... когда это было?

— Тем более надо учиться.

— Ну, поучусь, а тогда? Если скучно будет, так опять учиться?

— Да, опять. Жизнь есть движение вперед.

Маша не совсем понимала, для чего ей надо всегда учиться, но она верила Толмачову.

— Хорошо,— послушно сказала она,— я запишусь на курсы.

Тогда Толмачов спросил:

— Вы вспоминали про меня, Маша?

— Вспоминала,— честно сказала Маша.

— И я про вас никогда не забывал... только не захотел вас тревожить.

Толмачов поспешно встал, как будто пожалел о сказанном, и стал смотреть на часы. Маша тоже встала и собралась идти. Толмачов сказал:

— Поверьте мне, что, когда я заинтересовался вашей судьбой, тогда еще ничего такого не было...

Маша пришла в номер и, не зажигая света, легла в постель. Сейчас она не завидовала женщинам, в которых влюбляются мужчины... Внимание Толмачова, достойного и серьезного человека, и льстило ей и пугало ее.

Она ворочалась на постели, пока Панкратьева не услышала, что она не спит, и не позвала ее к себе. Маша легла рядом с Панкратьевой и рассказала все, что было у нее на душе. Они погоревали вдвоем о Коле и решили, что Маша должна дожидаться его возвращения, а там видно будет.

— Нет, все равно я от него не уйду,— сказала Маша твердо,— для меня нет лучше человека, чем он...

Слет стахановцев кончился, Маша уехала домой. Она была теперь бодрее, чем раньше. Молодожены наконец-то освободили комнату. Скучать не было времени. Маша выполнила все, что обещала Толмачову в городе,— поступила на курсы дежурных и в школу для взрослых. Мать удивлялась, зачем она это делает, зачем так перегружает себя. Маша резко отвечала, что так надо. Теперь она сама была убеждена в этом.

Маша завела себе аккуратные тетрадки по всем предметам и на всех надписала: «М. Куликова». Дочка бра-

та, двенадцатилетняя школьница, приходила к ней, и они вдвоем, племянница и тетка, готовили уроки. Маше удивительно было, что она могла жить раньше и не знать, сколько интересных вещей и понятий существует в мире. Прежняя жизнь казалась норой, в которой они с Колей сидели.

Зимой Маша подала заявление в партию. Ее приняли. На собрании выступали старые железнодорожники и хвалили Куликову, которую помнили еще девочкой.

А вскоре вернулся Коля. Его освободили досрочно. Он приехал домой без предупреждения. Маша вернулась из школы и застала его в комнате: он сидел на корточках и починял перекладинку от стола. Что-то подступило Маше к горлу, но она не заплакала, а засмеялась. В комнате сразу стало светло и просторно, как будто Коля никуда не уезжал.

Скоро в комнату набились знакомые и родственники, принесли закусок, вина. Стало шумно. Коля, немного похудевший, интересно рассказывал про места, где бывал. Машина сестра попробовала всхлипнуть, но на нее прикрикнули. Она замолчала, обиженно поджав губы.

Жена Остапчука, втершаяся в компанию, сказала Коле:

— А мы тут без вас тоже интересно жили. Ваша Маша теперь первый человек на станции. Как вы только с ней совладаете...

— Ты, Николай, не вздумай Маше поперек пути становиться,— сказала невестка и подперла кулаками бока.

Коля засмеялся и нежно посмотрел на Машу. Он гордился женой.

Маша весь вечер сидела, уцепившись за Колин рукав. На стол подавала мать.



Витю решили на суд не брать. А Костя сказа́л, что все равно придет: не маленький...

— А то большой?..—слабо возразила мать.—Большой? Опять ведь принес двойку...

— Какое же это доказательство...— Костя так выразительно посмотрел на мать серыми живыми глазами, что Нюся умолкла, отвернувшись, не стала попрекать.

Она низко опустила голову и, машинально продолжая расчесывать и туго закалывать на затылке волосы, подумала про себя: «Нет, не поднять тебе больше головы, Нюся. Опозорилась перед всеми».

Но странно, никого она так не стыдилась, как Костю. По совести говоря, только его одного и стыдилась.

Может, потому, что работницы в швейном ателье, начальство в комбинате и даже следователь не столько срамили и укоряли ее, сколько удивлялись ее простоте.

Леонтий Иванович из комбината, так тот прямо сказал:

— Ну что же ты, Козлова, не призналась мне раньше? Оформили бы эту твою сумму в рассрочку и выплатила бы, не позоря систему. И так на нас вешают ярлыки... А то дождалась ревизии, умница, и теперь в акте указано, что растрата... Эх, Нюся, Нюся...—вздыхнул Леонтий Иванович,—подвела ты меня, Анна Петровна, подвела своего руководителя...

Нюся только руками развела:

— Я отвечу, Леонтий Иванович. Я виновата, и я отвечаю...

— Ответишь! А кого в райком тягать будут — тебя или меня? Соображать надо...

— Ой, я совсем не хитрая, Леонтий Иванович... — И Нюся подняла на начальника серые, как у сына, большие глаза.

И тот спросил шепотом, почти жалобно:

— И что ты в нем, Нюся, нашла, в этом закройщике? Парень как парень, самый обыкновенный. А ты такой слыла недотрогой...

— Он тут ни при чем... — это Нюся как отрубилась. — Он не виноват, виновата я... одна я виновата...

— Выгораживаешь, значит?

И следователь тоже очень хотел впутать Валерика, или, как он выражался, ее сожителя, в дело о растрате, но Нюся и следователю твердо говорила: «Нет и нет, я виновата, я и отвечу. Что же, выходит, я покупала любовь за деньги? Он честный, он такой наивный, и не наводите вы на него тень, прошу я вас...»

Следователь был молодой, чистехонкий, щеголевато одетый в мягкий шерстяной джемпер и дешевенький серый крапчатый пиджачок, в белую рубашку с галстуком. Очень вежливый, со здоровым румянцем во всю щеку, он не раздражался, не гневался, не кричал на Нюсю. Но ей казалось, что он не сможет ее понять, презирует ее. Она для него и не человек, а так... ну как кошка или щенок...

Наверное, он и знакомым девушкам уже не раз рассказывал, что, мол, только подумайте, какие в наш век атома еще бывают потешные истории: заведующая швейным ателье, более сорока лет, из себя ничего особенного, влюбилась в закройщика, в мальчишку, ему только двадцать шесть, бачки у него, водила его по ресторанам и растратила казенные деньги. Семьсот рублей, или, по-старому, семь тысяч. А у самой два сына — одному девять, а другому пятнадцать годков, и, представьте, от разных отцов и оба раза в незарегистрированном браке. Ничего себе картинка? Моральный облик? А девушки, тоже чистенькие, хорошо одетые, с детства хорошо кормленные, образованные, посмеивались и возмущались.

Нюся не испытывала к следователю неприязни. Может, будь она на его месте, тоже не смогла бы понять, что за особа эта заведующая ателье с ее необыкновенной любовью... Нюсю даже удивляло, что следователь не подлавливает, не старается закопать поглубже, а, напротив,

как бы старается выгородить. Но все-таки не сомневалась, что он относится к ней с брезгливостью и равняет себя мысленно с Валериком — разве пошел бы на связь с женщиной старше себя, матерью двоих детей?..

Она осмелела однажды и сказала следователю:

— А жизнь совсем не такая, как вы думаете... не такая, одним словом, как в книгах...

Но следователь не понял. И прищурился недоуменно:

— В каких книгах? Каких авторов вы имеете в виду? Ремарка, Хемингуэя или Антонину Коптяеву?

Нюся, конечно, читала «Товарищ Анну» Коптяевой и этого самого Ремарка, которого девчонки в ателье рвали одна у другой из рук. Но не решалась вступать в спор, побоялась обозлить следователя. И ответила не прямо, не на вопрос:

— Раз виновата, значит, виновата... Такая судьба...

И вдруг догадалась, что следователь не смеется над ней. Он огорчен. Жалеет ее. Выдвигает и задвигает ящики стола, поправляет галстук. И в глазах его так и светится досада.

— Подпишите протокол допроса... — стараясь выглядеть строгим, велел он.

Она подписалась, тщательно и аккуратно выписывая каждую букву своей фамилии.

— Мне можно идти?..

— Да, пока... До суда вы свободны...

До суда она прожила как во сне, все думала — проснется, а ничего страшного нет, почудилось. Сдавала дела в ателье, чинила сыновьям одежду, переписала сберкнижку, где лежало заветных 83 рубля, на Костю. Валерик ни разу не пришел, сама она встречи с ним не искала, но ждала его каждый вечер, даже выходила постоять к воротам — может, стесняется позвонить в квартиру. Но он так и не пришел...

Она увидела его уже в суде, когда допрашивали свидетелей.

В суде Нюсе никогда не приходилось бывать. Не случалось. Но в театре она видела пьесу, где арестанток выводили в халатах и белых платочках. Пьеса была из дореволюционной жизни, но Нюсе все мерещилось, что и она будет сидеть на скамье подсудимых тоже в суконном халате и белом платке. Но пока что все обращались с ней вежливо и никто не заставлял сменить синенькую жакет-

ку на арестантский халат. Она несколько приободрилась.

В зале она не оглядывалась, но знала, чувствовала, что там собрались полюбопытствовать не только знакомые работницы из ателье, но и из других пошивочных мастерских их системы. Небось с нетерпением ждут, как все будет происходить. И соседки по квартире здесь, и ей даже казалось, что она слышит, как тяжело дышит Костя... Она мысленно осудила его, что не сел сзади, не затаился. Ребенок еще, а гордый, а злой как волчонок, горло за нее готов перегрызть. И снова сердце ее наполнилось любовью и благодарностью к сыну.

За что же он так ее ценит, если подумать? Не видел мальчик ни сладкого куска, ни особой ласки. Витю маленького она жалела больше, а Костю держала строго...

Ее допрашивали недолго, она ничего не отрицала, на все отвечала торопливо: «Да, да, я это сделала, да, я виновата, так оно и было...»

Судьиха, тоже как и следователь, попалась молодая, с широко посаженными голубыми глазами, простодушная, затейливо причесанная, и Нюсе было очень неловко отвечать на ее вопросы, признаваться, что потеряла голову из-за парня, которого была намного старше. И судьихе было вроде неловко, она тоже не знала, как называть Валерика, колебалась, сначала сказала «ваш сожитель», а потом смутилась и стала говорить «ваш друг» и «этот человек».

Народных заседателей было двое, оба пожилые. Один, молчаливый, только вздыхал и мягко кивал головой. И Нюсе думалось, что если кто пожалеет ее, так именно вот этот пожилой худощавый седой человек, не очень тщательно выбритый. Зато второй, кругленький, на вид добродушный, как будто нарочно взялся доносить ее.

— Так, так,— спрашивал он, захлебываясь.— Значит, жировали-пировали, а когда не хватало денежек, запускали лапу в государственную кассу?

И Нюся, малиновая от смущения, должна была подтверждать — да, жировала-пировала, запускала лапу. Худенькие ее руки мяли платочек.

— Как же можно прогулять такие денежки?— удивлялся дотошный заседатель.— Всякие там небось люля-кебабы заказывали? А?

Нюся, стыдясь опять-таки того, что все это слышит

Костя, но не смея уклониться от ответа, тихонько призналась:

— Себе я брала бифштекс по-деревенски...

— Что, что? Громче!

— Бифштекс по-деревенски...

То ли ей показалось, то ли по залу прошел смешок.

Судыха что-то тихо заметила заседателю, может, объяснила, что такие вопросы не имеют отношения к делу.

Нюся долго надеялась, что у нее спросят главное — как она раньше жила и как все это получилось, она думала, что всю свою жизнь расскажет, объяснит... И все поймут — и судьи, и знакомые люди в зале, — не простят ее, нет, а поймут, как и что было...

Но она упустила время.

По просьбе прокурора уже читали акт ревизии, написанный скучными словами, даже и слов-то было мало, а все цифры, рубли и копейки. Кругленький заседатель с удовлетворением, как песню, слушал акт, таращил глаза и высоко поднимал брови, молчаливый чертил карандашом по бумаге, а судыха сидела пригорюнившись, как будто недоумевая — как же это в мире, где все должно быть прекрасно и хорошо устроено, есть еще много зла... И ей, такой молодой, такой красивой, надо с этим злом бороться...

Нюсе вспомнились те дни, когда шли выборы народного судьи, и эта женщина приходила к избирателям знакомиться, рассказывать свою биографию. Нюся сидела в первом ряду, громче всех аплодировала, и судыха, чуть смущаясь, часто смотрела на Нюсю, как бы ища у нее поддержки, а Нюся улыбалась, подбадривала улыбкой: «Давай, давай, не теряйся, держи голову выше...»

И тогда еще, на собрании, Нюся обратила внимание на руки судыхи. Все-таки ладони широкие, красноватые — видимо, сама стирает свои белые кружевные блузочки, а может, и полы моет дома, такая же трудящаяся женщина с семейными заботами, как и все. А вот выучилась, вышла в люди, значит, имела характер и настойчивость. «Молодец», — думала тогда Нюся.

А сегодня стеснялась посмотреть судье в глаза, неловко было, что той приходится копаться в ее не очень

то хороших делах. Как же ей, такой интересной, гордой, понять Нюсины обстоятельства?

В первую минуту Нюся подумала: может, судья вспомнит ее лицо, потом догадалась, что это невозможно. Мало ли избирателей в районе? Тысячи. Разве запомнишь?

А все-таки судьях внимательно, с сердечностью посмотрела на Нюсю, но нет, не узнала, тут же отвернулась, встряхнула головой, как будто отогнала что-то, и, подняв руки, поправила пышные, блестящие как шелк волосы.

А у Нюси, даже когда она была девочкой, волосики были тонкие, негустые. Тогда ей очень хотелось отрастить косы, но мать не соглашалась и стригла ее покороче, чтобы поменьше было возни.

Иногда по праздникам мать торопливо цепляла дочери на самую макушку бант. Сохранился снимок — тощенькая испуганная девчонка, кругло остриженные волосы, бант, длиннущее платье и большие ботинки. Мода мать не признавала.

Когда Нюся стала старше, девочки научили ее накручивать мокрые волосы на бумажные жгутики, чтобы лежали волнами. К тому времени мать умерла, и некому было следить, чтобы Нюся не франтила.

Впрочем, и тогда ей не очень-то удавалось франтить.

Работать пошла рано, в швейную, сидела по полторы смены с иголкой в руках, тихая и старательная. Школу бросила — война. Шили солдатское белье, гимнастерки. Материал грубый, жесткий, пальцы все исколотые...

Нюся думала об этом беспорядочно, одно пятно воспоминаний наплывало на другое, перемешивалось, расплывалось. А какие у нее всегда были хорошие характеристики, сколько грамот! Никто бы из сидящих в зале не поверил, если бы она показала...

Ничего она не признавала в ту пору, кроме работы. Подружки хоть и рассказывали уже про мальчишек и хвалились полученными записочками, а все еще иногда по старой памяти доставали припрятанных кукол, чтобы поиграть. А она, Нюся, глядела на них как на маленьких, с горьким превосходством — была самостоятельная, работала, варила щи и укладывала спать подвыпившего отца, не позволяла ему слишком куражиться. Нюся продолжала ходить на комсомольские собрания в свой быв-

ший класс, не откреплялась, не порывала связи со школой, надеялась, может, доучится, когда с фронта вернется брат. Перестала ходить, когда исключили ее из комсомола. А исключили за то, что понесла в церковь освятить кулич. Она не сумела объяснить толком, что кулич не ее, из деревни приехала бабка, мамина мама, потерявшая на войне шестерых сыновей. Старуха боялась, что ее затолкают в незнакомой церкви, а ей — старой — хотелось освятить куличик из темного теста и поелать на фронт сыну, любимому, летчику. И Нюся не смогла отказать. А комсомольцы осудили, что такая безыдейная — не она бабке привила свою идеологию, а подпала под бабкину, отсталую.

Нюся только сказала в свое оправдание:

— Ну как я могла? Я-то знала, что уже давно похоронка пришла, только скрывают от бабушки. Как же я могла ей отказать?

Нет, не умела она себя защищать.

После смерти отца отдала все его вещи — хороший костюм, ботинки, часы, пальто с меховым воротником — той женщине, что приходила по субботам в гости к отцу.

Соседки внушали:

— Ты что, слепая? Ты что, не видела? В бане, бывало, намоется, напарится — и сюда, к вам! Ты что думаешь, они тут газетку, что ли, читали? Впотьмах-то?

— Меня это не касается, — ответила Нюся. — Она говорит, что отец обещал. Мне-то зачем его костюмы?..

Опростоволосилась она и тогда, когда, полюбив Костиного отца, сошлась с ним. Он вернулся с войны израненный, с застуженными ногами, одинокий. В войну семья его затерялась где-то в Смоленской области. Сергей заходил к Нюсе по-соседски — слушать радио, пить чай. Жаловался на скуку и читал вслух интересные книги. Рассказывал про политику. Вспоминал про бои. Политикой Нюся очень интересовалась, ведь на работе репродуктор висел у нее чуть не над головой, и всю смену, пока шила, она слушала, что происходит в мире. В школе она неплохо училась по географии, это ей очень потом пригодилось. Она сама переставляла флажки на большой карте и растолковывала работницам сводку. И потом, когда Сергей рассказывал, где воевал, то не мог не восхищаться, как она дельно и впопад поддерживает с ним разговор.

— Нет, Нюсенька,— говорил он.— С такой золотой головкой, как у тебя, грех не закончить образование. Ведь живем не где-нибудь на Западе, у нас все дороги открыты...

И оба мечтали, что Нюся обязательно будет учиться.

А там они полюбили друг дружку. Сергей перестал жаловаться на судьбу, перестал вздыхать и все чаще и жарче обнимал Нюсю, а она доверчиво клала ему голову на грудь, где громко и неровно стучало его подорванное на войне сердце.

Нюся любила открыто, преданно, бесхитростно.

Но тут нашлась семья Сергея, и жена его, некрасивая, злая, приехала из деревни, узнала все, что произошло. Она приходила к Нюсе в квартиру, усаживалась на кухне и громко кричала, что у нее малые дети, а муж, мерзавец, путается с другой. «Другая» — это была Нюся. Все соседки собирались на кухне и отпаивали водой с валерьянкой жену Сергея, все жалели ее, а не Нюсю, и наконец Сергей сдался. Сказал, что «да, у жены есть на него моральные права, она и так настрадалась в эвакуации». И больше не упоминал о том, что Нюсе нужно получить образование. Только сокрушался, что жена нервная и ей неприятно жить в одном дворе с Нюсей. Очень расстраивается...

И Сергей завербовался в Сибирь на большое строительство, увез семью.

Без него уже родился Костик. И соседки, как по команде, переметнулись на Нюсину сторону и ругали ее, бестолковую, что не пожалела собственного ребенка и отпустила от себя Сергея. Теперь ребенок будет расти без отца...

— Что же делать?— с болью сказала Нюся.— Что же теперь делать...

...Вызвали давать показания Леонтия Ивановича. Нюся и на него посмотрела виновато — вот, мол, сколько из-за меня неприятностей... Но Леонтий Иванович, весь красный, стоял испуганный, тянулся, как перед генералом армии, руки держал по швам, грудь выпячивал, чтобы виднее были боевые ордена, и отвечал по-военному:

— Так точно... ориентировочно это так...

Судье, видимо, хотелось, чтобы Леонтий Иванович по-

казывал в Нюсину пользу. Она, как казалось Нюсе, очень ловко ставила наводящие вопросы, чем окончательно сбивала тугодума с толку.

— Все равно мы должны беречь каждую государственную копейку. Такую политику руководство бытового комбината проводило четко. Я сам давал команду...

— Скажите, свидетель, подсудимая раньше работала в том же ателье рядовой швеей? — спросила судья, хотя прекрасно знала это из дела, лежавшего перед ней на столе в тоненькой папке.

— Точно так. Нюся, то есть Козлова, работает в нашей системе давно. Тихая всегда была, исполнительная... Бригадиром ее еще до меня назначили, потом уже при мне стала старшей по смене... Справлялась, это точно. — Леонтий Иванович побагровел, платком вытер пот с шеи и признался: — Ну, мы и выдвинули ее заведующей...

— Кто это «мы»? — строго спросил придирчивый заседатель. — Говорите уж прямо — я... а то «мы»...

А молчаливый заинтересовался, вертя своим карандашиком, велась ли среди швейников массовая работа.

— В каком это смысле? — Леонтий Иванович был озадачен.

— Значит, вы выдвинули человека, допустили к материальным ценностям, ну а кругозор, политическая закалка и тому подобное — этому вы не придавали значения...

— Ну что вы! — Леонтий Иванович облегченно вздохнул. — И лекции, и доклады — все было. Выезжали летом в лес, массовика приглашали. Диспут проводили о моральном облике. Но тут... Тут такой случай... — Он запутался. — Разве учесть...

— Все-таки вы несете ответственность за свои кадры, — снова вмешался кругленький заседатель. — Как же так? Людьюми надо руководить...

Леонтий Иванович собрал свое мужество, перестал вертеть головой и вытирать шею.

— Если говорить по совести, то Козлова работала с душой. Ни в чем таком она раньше не замечалась...

— Она ведь, кажется, дважды одиночка, — ехидно заметил кругленький заседатель, хмыкнул. И сразу же прибавил сурово: — Удивляюсь вашей нетребовательности...

...Во время перерыва Костик пробрался к матери. Никто его не гнал, мать сама сказала, страшась, что после перерыва будут допрашивать Валерика:

— Шел бы ты, Костенька, домой. Там Витя один, голодный. Да и ты проголодался, наверно?

— А ты?

— У меня совсем аппетита нет.— И Нюся спросила у сына, как у единственного друга, на которого могла положиться:— Плохое мое дело, Костик, а?

— Судыха-то ничего,—серьезно сказал Костик,— а дядька, что слева сидит, тот уж... так и подкусывает...

— Все равно,—обреченно проговорила мать.— Раз виновата, так виновата. Тут уж никто не спасет...— И проговорила фразу, которая томила ее весь день:— Обездолила я вас, совсем обездолила...

— Да брось ты, мама,—грубовато остановил ее Костик.— Заладила... Никого ты не обездолила...

— Прости меня, Костя, за весь этот стыд. Прости...

— Брось ты, мама,—опять сказал Костик. Он знал, что ее тревожит. И вдруг спросил, покраснев, стесняясь, глядя куда-то вбок:— Мама, ты тогда за этого... ну, за Витькиного отца не вышла почему? Ты меня пожалела? За меня испугалась? Да?

— Нет, сынок, он нехороший был, ну его...— И опять стала просить:— Люби Витю. Не требуй с него слишком строго. Он еще маленький. И все-таки брат тебе... Ладно, Костик?

Нюся заискивающе заглянула сыну в глаза. Костя нахмурился:

— Я же сказал. А раз сказал — все. Завязано...

...Еще раньше чем Витя появился в доме, Костик возненавидел его отца. Тот приходил ласковый, лысоватый, приносил цветные карандаши или книжечку, гладил Костика по растрепанным волосам, одергивал на нем рубашечку и журчал, вкрадчивый как кот соседки тети Дуни:

— Ребенок не может сам себя понимать, не может знать свои обстоятельства. А женщина вместо воспитания дает одни только ласки... Ребенок же, тем более мальчуган, требует, извините, ремня для обуздания своей фантазии. Тогда из него вырастет полезный и разумный

гражданин, член общества...— И, обнимая Костю за плечики, спрашивал нежно, как будто конфетку предлагал:— Ремешок повесим над кроватью, верно? И тогда будет у нас порядок, острстка будет, как положено в семье. Я и сам сирота, жил у отчима, зря я обижать не буду. Но ребенок должен знать страх...

— Он мальчик хороший, умный, он будет слушаться, да, Костя?— торопливо спрашивала мать, стараясь улыбаться.— Зачем же, вешать ремешок, срамиться перед соседями?

— А соседи что, на луне живут?— благодушно говорил Петр Филимонович.— В моей квартире одно бабье с детворой, вдовы... то одна, то другая просит сынишку постегать...Я уж отказываться стал, что я им, палач? Исполнитель? Распустили, а я стегай... Нет, я лучше возьмусь за одного, душу положу, а сделаю человеком... Своего-то я не поленюсь похлестать, укажу на его ошибки... Верно?— и ласково заглядывал Косте в глаза. А Нюсе, если стояла рядом, он клал руку на спину, где под прозрачной тканью кофточки, как на аккордеоне, выпукло выделялись на лифчике пуговики. Мать, к удивлению Кости, густо вспыхивала.

Иногда гость говорил:

— Иди, Костя, погуляй, подумай, какой у нас будет конспект жизни...

— Только не припоздняйся...— тревожилась мать.

А однажды он прибежал с улицы, шмыгнул в дверь. Свет не был зажжен, и в темноте мать говорила тихо и печально, он не сразу понял кому:

— Боюсь, не буду я тебе соответствовать, Петя. Я бесхитростная, непрактичная, а ты человек серьезный. Может, лучше нам не связывать свою судьбу...

Костик в страхе слушал, как рассуждает Петр Филимонович.

— Да, хотелось бы найти женщину веселую, горячую, чтобы в руках у нее кипело, в глазенках огонь сверкал... Но сердцу не прикажешь, очень ты мне понравилась, Нюся. Однако я поставлю свои условия,— деловито произнес Петр Филимонович.— Если носки порванные — это я на первых порах прощу, не в носках счастье, я себе и сам заштопаю. Но равнодушие к себе — это ни в коем случае. Меня надо встречать с улыбочкой, для этого я женюсь. Человек я самолюбивый...

— Изработанная я, издерганная, вспылчивая...— не то жаловалась, не то оправдывалась Нюся.— С детских лет тружусь...— Она перешла на «вы».— Нет, уж лучше вы обдумайте, Петр Филимонович, обдумайте, тогда уж решайте...

— Ладно, я еще похожу, испытаю тебя...

— Что ж испытывать, я ведь не на службу наниматься,— недовольно ответила Нюся.

А потом жаловалась на кухне тете Дуне:

— Хоть он и ваш знакомый, тетя Дуня, и с вашего производства, но какой-то он старорежимный. Как нафталином пересыпанный, честное слово...

— Он и на войне воевал,— обиделась тетя Дуня,— и у нас в типографии не на последнем счету...

— Не знаю,— отозвалась Нюся.— Не знаю и не знаю... Что он за такой принц, чтобы испытывать меня... ну его...

И, веселея, Костик подслушивал дальше, как тетя Дуня говорила, поглаживая по спине своего ленивого жирного кота.

— Ледащие теперь бабы стали, как я погляжу...— говорила она.— И-их, какие мы-то смолоду были — огонь... А вы на книжках да собраниях весь жар растеряли... Мужчину завлечь не умеете...

— Жар растеряли, а ум приобрели,— стала сердиться Нюся. Но все-таки попыталась объяснить:— Разве мне мужчина нужен? Мне хотелось, чтобы отец у Костики был, чтобы хозяин в доме был, человек... Тяжко все-таки одной, Дуня. И поделиться не с кем...

Костя сказал после, когда пришли к себе в комнату:

— Мам, ты ее не слушай, тетю Дуню. Ты не глупее ее...

— С чего это мне глупее ее быть?— храбрилась Нюся.— Другое дело, что она хитрая, хитрее меня... я вот даже пособия на тебя не выхлопотала, не сумела... а ей каждый месяц за мужа носят...

Петр Филимонович исчез. Костя нарадоваться не мог. Обижался даже, что мать иногда плачет.

— Ну, чего ты плачешь об нем?

— Да не об нем я плачу, ну его, от своей глупости плачу.

Потом родился Витька. И Костя не сразу понял, что Петр Филимонович Витькин отец, а когда ребята во дворе объяснили, то очень испугался, как бы Петр Фи-

лимонович снова не появился, воспользовавшись тем, что у него теперь есть свой сын. Но, к Костиному удовольствию, Петр Филимонович передал через тетю Дуню, что просит теперь на него не надеяться, надо было регистрироваться, когда он предлагал, а теперь — поздно...

Тетя Дуня не порицала Петра Филимоновича, но все же советовала Нюсе сходить к нему на производство и припугнуть.

— Да зачем он мне? — храбро сказала Нюся. — Где нас двое, там и третий прокормится — правда, Костик?

— Угу, — не очень-то понимая, о чем идет речь, подтвердил Костя.

И они довольно хорошо зажили втроем. В первые месяцы даже незаметно было, что прибавился еще один едок. Сосал да сосал себе мамкино молоко. Костик и гулять с ним ходил, и соску подавал, лишь бы только мамка не позвала на подмогу Петра Филимоновича. А потом, конечно, стало труднее. Мама во всем Витю оправдывала:

— Костик, он такой еще маленький, не сердись ты на него.

— Я-то не сержусь, только ты не думай, он ловкий. Хитрый.

— А ты ему пример показывай, учи его, он и не будет хитрым. Воспитанием всего можно добиться.

— Мам, только мы его стегать не будем, ладно? Все-таки жалко, мы его и так воспитаем...

И правда, Костик никогда не бил брата, не обижал. Но все посматривал с подозрением, особенно когда Витя ластился к матери, — не похож ли тот на своего отца, не лукавит ли. Одергивал:

— Говори просто, не мурлычь... Прямо говори...

Как общественный обвинитель выступила старая кладовщица тетя Надя, сутулая женщина с большой грудью и отечными ногами. Она долго и старательно читала по бумажке свою речь, осуждала поступок заведующей, призывала к честности и бдительности, но споткнулась, стала перекладывать листки, пока совсем их не перепутала. И тогда заговорила по-человечески, просто, хотя и не так складно:

— Конечно, мы ее жалеем, жалеем, хотя и не оправ-

дываем. Но и его, Валерку, не хвалим... Так пусть его лучше уберут от нас — работать нам с ним совершенно неинтересно... Отказываемся... А ведь как жаль Нюсю, — говорила она, — славная была и простая. Мы редко когда ее Анной Петровной звали, все больше Нюсей, по старой привычке. Вся ее жизнь ведь на наших глазах шла. Только-только, можно сказать, на ноги стала. Ведь без мужа, одна детей растила. Мальчишки ведь, сорванцы, на них все пылает... Ей на себя всегда не хватало. «Поверите, — говорит, — тетя Надя, впервые себе туфли модельные купила и чулки капрон». Только на свое горе начала она модничать... — И вдруг тетя Надя вошла в раж. — Я так понимаю, — сказала она, — равноправие! Это значит равные права у мужчин и у женщин, и ответ равный. А все-таки, выходит, права-то равные, а ответ не равный... Мужикам все привилегии, как и было, а слезы — бабам. Не годится так... Но не думай, Анна Петровна, — она строго посмотрела на Нюсю, — что я тебя оправдываю. И никто тебя не оправдывает...

...Туфли!

Это верно, что не было у нее никогда модельных туфель. Откуда?

Это ведь так только говорится — много ли ребенку надо? Много ли, не много, а и хлеба белого, и молока, и масла надо купить для ребенка, а не маргарина. И конфетку ребенок просит, и флажок на Первое мая, и заводной автомобильчик...

Конечно, это большая подмога, что дети ходили в детский сад, но ведь все равно и вечером покормить надо, и в воскресенье, а то и вовсе: объявят карантин — и держи тогда ребенка дома целую неделю, а то и две.

Потом пошла школа — учебники, форма, пеналы, карандаши.

Конечно, ни она, ни дети оборванными не ходили, все-таки она швея, иглой владела, сама могла и сшить, и перелицевать, и починить. А как хотелось иногда самой одеться пошикарнее. Молодые девчонки в ателье диво как наряжались!

Конечно, им не приходилось себе ни в чем отказывать, им еще и родители помогали.

А Нюсе приходилось.

Зато как радовалась любой мелочи!

Приемник себе купила вместо репродуктора, ватное одеяло, глубокие тарелки с цветочками.

Соседка, все та же тетя Дуня, не одобряла, а Нюся стояла на своем.

— Должна я давать детям развитие? Они в детском садике привыкают к порядку, а я их из мисок буду кормить? Нет, тетя Дуня, я живу для них...

— Рано, рано обет на себя наложила,— говорила тетя Дуня.— Отвергла хорошего человека, а зря...

— Он нехороший, тетя Дуня...

— Он? Ну, жди, может, певец или министр какой к тебе посватается. Ветер у тебя в голове. Ветер. Вот что...

Немножко «ветра», конечно, было. Нюся охотно смеялась и играла с детьми, бегала с ними в кино на утренние дешевые сеансы и потом долго обсуждала с Костином фильмы, Витя еще мало что понимал. А иногда, когда Витя рисовал картинки, она и себе брала листочек и малевала березку, дорогу, домик на опушке.

Из «Огонька» вырезала и повесила на стенке портреты.

Сказала сыну:

— Как хочется, чтобы было красиво...

— У нас и так красиво,— мрачно отозвался Костя.— Чего еще надо...

— Глупенький...— Нюся смеялась.— Вот вырастешь, Костик, станешь инженером, тогда все будем покупать, не пожалеешь для нас?

Всему она умела радоваться.

Премию получит — счастлива. Книжку интересную достанет — ночь не будет спать. Костика на школьном собрании похвалят — сама не своя от гордости. Только Костика хвалили редко: дерзкий... А Витю в детском садике часто хвалили, говорили: «Очень ласковый ребенок».

— Вот и ты бы, Костик, поласковее был с людьми,— советовала Нюся.

— Зачем это?

— А как же? Людей надо любить.

— Подлизываться я не стану.

— Глупенький, а кто тебе велит подлизываться? Разве я подлизываюсь?

Нет, они хорошо втроем жили, дружно. Нюся любила своих детей и гордилась ими. И в ателье любили и

жалели Нюсиных ребят — она приводила их туда на елку или на праздничный вечер.

А одна мастерица, немолодая уже, подкрашенная, носившая, как стало модно, темные очки от солнца и янтарные бусы на худой поблекшей шее, призналась ей как-то, когда они, идя с работы, остановились, чтобы выпить на улице газировки:

— Говорят, мне хорошо. Зарабатываю. А в чем моя радость? Одна как перст. Площадь у меня маленькая, в подвале, а в первую очередь переселяют тех, кто с детьми. Вдвойне наказывают! Будь у меня ребенок, мне бы и в подвале солнце светило. А как на субботник ехать или на уборку в колхоз, так опять же: «Поезжай, Свиридова, мол, ты одна, без семьи...» А что мне, сладко, если я без семьи? Где мне взять мужа, мои женихи на войне остались...

— Трудно все-таки с детьми, — возразила Нюся, больше из деликатности. — Все им, все им, о себе некогда подумать.

— Зато ты их видишь, деточек своих, а я что? Одинокие слезы? Нет, ты счастливая, Нюся, ты очень счастливая...

— Это точно... — Нюся не стала спорить. Задумалась. — Только вы не поверите, все еще иногда мерещится, что будет и у меня что-то еще в жизни интересное... Чего только не перемечаешь, пока сидишь над шитьем...

— Ты и так многого добилась, уже старшая по смене... начальник тебя отличает...

— Этого я не отрицаю, — гордо сказала Нюся. — На работе я очень стараюсь...

Когда дети чуть подросли, она смогла поступить на курсы при комбинате и училась там очень успешно. Хорошо училась. Учителя говорили: «У вас очень хорошая основа. Как это вы, Козлова, ухитрились не перезабыть то, что знали?» — «Все радио, — поясняла Нюся. — Слушаешь — и все узнаешь. А еще я читаю, в кино хожу». — «Да, искусство облагораживает». — «И как агитатор я над собой работаю — может, и это мне кругозор дает? Нас очень понятно и толково инструктируют...»

Когда ее назначили заведующей ателье, она ничуть не загордилась. Даже испугалась немного. Все-таки большая ответственность. Шить стали из добротных и дорогих материалов, клиенты пошли разборчивые, требова-

тельные. И все только одно кричали: «Вкус! Вкус! Хороший вкус!» Она ходила на лекции в Дом моделей, чтобы узнать, что же это такое «умение хорошо и со вкусом одеваться». И когда возвращалась домой, переполненная впечатлениями, и на кухне громко и возбужденно рассказывала жилищкам, какие намечаются фасоны на будущий сезон, женщины заискивающе просили: «Нюся, а Нюсенька, выкройку не принесешь ли?» А тетя Дуня сказала ей однажды, как всегда держа на руках и милую своего кота:

— Вот, Нюсенька, он,—она имела в виду Петра Филимоновича,—он думал, что ты к нему придешь, поклонись, а надо было ему самому тебе поклониться. Встретила я его, совсем облысел.

— Не интересный он мне вовсе,—сказала Нюся.— И раньше был неинтересный, а теперь так уж вовсе...

— Да, ты совсем другая стала, смелая...—сказала тетя Дуня. И кот, выгнув спину, стал вытягивать лапы и щуриться, как будто тоже признавал, что Нюся стала смелая.

— Да, у меня теперь все по-другому пошло...

Нюся очень довольна была своей новой жизнью, очень дорожила ею.

Как-то она пришла к Леонтию Ивановичу в комбинат, доложить о своей работе, рассказать, какие она замечательные занавески повесила в ателье и цветы в вазонах всюду расставила. И только хотела перейти к главной цели своего прихода, попросить, чтоб дали больший выбор фурнитуры — разных там пряжек, пуговиц и крючков, как Леонтий Иванович, начальственно оглядев ее, не то посоветовал, не то приказал:

— Козлова, ты бы принарядилась сама, что ли... Все-таки марка, заказчики...

Нюся коротко ответила:

— Хорошо, я это учту...

И вот тогда-то справила она себе зеленый костюмчик, блузку, завилась, купила модельные туфли и шелковые чулки...

Всего этого, как понимала Нюся, суд не знал. Не мог знать. Суду было видно из документов, приобретенных к делу, что подсудимая растратила казенные деньги, посещая рестораны вместе со своим дружкой. Была она старше этого своего кавалера, иными словами, содержа-

ла его. Случай, в общем, интереса для криминалистов не представляющий. Картина личной жизни Козловой была им ясна... Они-то думали, что эта женщина живет только для своего удовольствия. «А что они могут подумать другое? — считала Нюся. Ведь если бы они размышляли по-другому, то разве прибавили бы к ее мукам еще одну, невыносимую, разве вызвали бы на потеху публике, присутствующей в зале, свидетелем Валерика? А они постановили, учитывая общественное мнение и интересы рассматриваемого судебного дела, вызвать его и допросить. — Зачем это? — в отчаянии думала Нюся. — И Костик его увидит... Да и сам Валерик. Еще растеряется, бедный, станет брать вину на себя. Зачем это и к чему?..»

...А ведь все началось с того дня, как по совету Леонтия Ивановича она пришла на работу завитая, в новом костюмчике, в туфлях на высоких каблуках.

Валерик, он уже несколько месяцев работал у них закройщиком, сразу же заметил:

— Анна Петровна, у вас сегодня праздник?

Валерик этот был ей очень симпатичен своей особой вежливостью. Никогда не приходил на работу выпивши или после пьянки, как это случалось с другими портными, был в меру приятно приветлив, не приставал к девушкам, не грубил заказчикам, не рассказывал анекдотов. Но никакой не сухарь, не молокосос — здоровый, рослый парень с косыми бачками, как наклеивают себе артисты, когда поют в «Евгении Онегине».

Когда она приходила в ателье и видела Валерика, то сразу веселела, сама не понимая, что именно встреча с ним и является причиной этого ее отличного настроения. По долгу службы она часто подзывала Валерика к своему столу и обсуждала с ним принятые заказы, а если бывала долго занята с кем другим, то Валерик сам заглядывал к ней, обижался, что давно его не зовут.

Она как с ума сошла с этим Валериком.

— Хорошие у нас молодые кадры, — расхваливала Нюся Валерика. И его звали «любимчиком Анны Петровны», ничего не подозревая. И сама Нюся ничего не подозревала. Конечно, Валерик уже был не мальчик, а мужчина, но она внушала себе, что относится к нему, как к мальчику.

И когда Валерик спросил, праздник ли у нее сегодня, ответила в шутку:

— Да, день рождения...

— Приглашайте на пирог...

Нюсе не хотелось звать Валерика домой, неловко было, что у нее такие большие парни. Она сказала:

— Хорошо, приглашаю тебя в ресторан.

Когда она произносила эти слова, то сама не думала, что всерьез. Сказала — и все. Но чем ближе было к концу смены, тем сильнее ей хотелось действительно посидеть где-нибудь вдвоем с Валериком, узнать, есть ли у него девушка, понять его. Настроение у нее было замечательное, все хвалили ее костюм и прическу, удивлялись, она ли это, и ей стало казаться, что и правда сегодня праздник, особенный день...

И она сказала Валерию негромко:

— Я не шучу. Не знаю только, куда идти. И имей в виду, я пригласила, я плачу...

Они условились встретиться около ресторана «Заря».

Валерик пришел в темном костюме, с галстуком бабочкой.

Когда вошли в ресторан, она чуть не потеряла сознания от волнения. Но Валерик твердо, как мужчина, как кавалер, держал ее за локоть. Только спросил учтиво:

— Не угодно ли в дамскую комнату?

— Зачем? — не поняла Нюся.

— Ну, поправить волосы, попудриться...

— Нет, не надо...

Ей хотелось скорее дойти до столика, сесть, прийти в себя. Валерик выбрал место, загороженное занавесками, как кабины для примерки в их ателье. Нюся села на плюшевый диванчик. Солнце еще не зашло, и в луче столбиком золотилась пыль. Нижняя половина стен уже тонула в сумерках. Свет был неверный, зыбкий, и все вместе взятое — углом составленные диванчики, скатерть с чуть заметным пятном от красного вина, рюмки и приборы, букет искусственных цветов — понравилось ей.

— Красиво, — сказала Нюся.

— Ничего, — согласился Валерик. — Но все-таки ресторан второго разряда. В «Арагви» или в «Метрополе», там в сто раз лучше...

Нюся засмеялась:

— Там не про наш карман...

Вошел официант, смахнул со стола, хотя на столе было чисто, и протянул меню.

— Выбирай, Валерик.

— Нет, нет, Анна Петровна, выбирайте первая, вы дама...

Перед ней мелькали названия, она не могла их ни прочесть толком, ни выговорить. Попалось только одно знакомое слово. Она ткнула пальцем:

— Вот это... По-деревенски...

— Бифштекс по-деревенски один,— записал официант.— Прикажете закуску? Селедочку, осетрину с хреном, салатик? Будете пить белую? Сухое вино? Нарзан?

Нюся засмеялась:

— Валерик, ты выпьешь? Я рюмочку белого, пожалуй, выпью...— И отдала ему меню:— Выбирай, выбирай, не стесняйся... Ты парень молодой, у тебя и аппетит должен быть хороший...

Все то же непривычное ощущение приподнятости, отчаянности не покидало ее, она все пыталась держать себя как взрослая женщина, которая привела знакомого парнишку в ресторан, чтобы покормить его. Но с каждой секундой положение менялось, менялись их отношения. Валерик, снимая с нее жакетку, надолго задержал свои руки на ее плечах, даже сказал:

— Прекрасная у вас фигура, Анна Петровна.

— Что ты, Валерик, какая там фигура. Когда-то была, это верно...

Но Валерик посмотрел на нее оценивающе, как будто мерку снимал...

— Этот ваш жакет прямой, а я бы вам сделал в талию. На вас все можно хорошо сшить...

— Что ж, завтра оформим заказ...

— Если бы мы жили в Древней Греции, греки сделали бы с вас статую и поставили в парке, чтобы все любовались на вашу фигуру.

Она захохотала:

— Ох заливаешь, Валерик, ох заливаешь. Смотри, узнаю, что ты заказчикам такое болтаешь...

Нюся выпила белого вина, но опьянела не от вина, а от счастья, раскраснелась, оживилась:

— Валерик, ты в кого-нибудь влюблен? Скажи. Разве мало у нас хороших девчонок. Вот Лена Трошина, например...

— Вы сами знаете, в кого я влюблен...

— В Тоню Кукушкину, да?

Вошел официант с подносом. Ловко все раздвинул, разобрал, расставил. Перед Нюсей оказалась большая тарелка с огромным куском жареного мяса, обложенного салатом и ломтиками румяного картофеля, поверх мяса золотисто переливался и шипел только что вынутый из масла лук.

— Не знала я, что в деревне такое готовят,— просто-душно сказала Нюся.

— Разве что до коллективизации,— пошутил официант.

Но Нюся оборвала его:

— Кто честно работает, тому в колхозе хорошо...

Официант ушел, но перебитый им разговор уже не удалось возобновить. Не спрашивать же снова: «Ты в кого-нибудь влюблен?»

Запах мяса раздражил ее аппетит. Она накинулась на еду.

Конечно, она довольно часто, почти ежедневно покупала мясо, но из экономии варила суп или щи, а если жарила котлеты, то клала в них побольше булки. Такого вкусного блюда ей никогда не приходилось пробовать. Валерик ел лениво.

— Ты что это?— сказала Нюся строго, как будто Костюку или Вите.— Ты не ковыряйся, ешь...

— Я дома перекусил...

— Ты с мамашей живешь?

С огромным интересом Нюся узнавала все подробности из жизни Валерика, жадно расспрашивала про мать. Живут вдвоем с овдовевшей матерью, живут неплохо. В армии Валерик отслужил, но и в армии работал в пошивочных мастерских, не отрывался от профессии. Мать собирает деньги на ремонт дома, дом у них свой, в Измайлове, окна прямо в парк, лучше другой дачи... Нюся понимала, что деньги у Валерика водятся, заказчицы всегда совали закройщику пятерку-другую, чтобы лучше скроил, но, как заведующая, она не могла об этом его спрашивать. Деньги, «металл», как он говорил, Валерик отдавал матери, а мать уже от себя покупала ему костюмы и ботинки, недавно достала югославский плащ необыкновенной красоты.

— Вот женишься,— дрогнувшим голосом сказала Нюся,— пойдут нелады между женой и матерью...

— Я не женюсь...

Оказалось, что современные девушки Валерику не по душе — слишком свободно себя держат. Товарищей у него мало, школьные все разбрелись, кто в шоферы, кто в институте или на заводе, а один даже поехал на целину по собственному желанию. В портные никто не пошел.

— Ну, а среди наших разве нет достойных ребят?

— Меня интересует иной культурный уровень.

Нюся задумалась:

— Это неплохо, что тебя тянет к культуре...

Опустив подбородок на сложенные руки, она с упоением слушала, как Валерик проговаривает ей нараспев слова из разных песен. И все просила:

— Спой, спой еще.

А он гладил ей руки, гладил пальцы и не столько говорил, сколько намекал взглядами и вздохами, как она ему нравится.

— Что ты, Валерик?— невесело засмеялась Нюся.— Да ведь у меня дети.

И со стыдом подумала: «Поужинали ли мальчики, разогрели ли себе пшеничную кашу?»

Когда официант принес вазу с фруктами, Валерик выбрал два румяных яблока и сказал деликатно:

— Возьмите для своих малышей...

И Нюся не стала поправлять его, что, мол, не малыши они; Костя, так тот совсем большой.

— А ты для своей мамы возьми...

Какой это был замечательный вечер.

Они вышли из ресторана непоздно. Когда официант принес счет, Нюся не сразу поняла, что это за сумма. Она даже не знала, что можно столько заплатить за один ужин. Конечно, виду не подавала и, когда Валерик неуверенно полез в карман, решительно отстранила его руку. Только рада была, что хватило, чтоб расплатиться.

Было тепло, почки на деревьях набухли, в киосках продавали нарциссы и увядшую мимозу, пахло весной. Луна, как огромный неразбитый желток, лежала на темном небе, на машинах горели красные огоньки, Валерик держал ее под руку. И напевал, напевал...

Когда она вошла в дом, дети спали. Костик оставил ей на столе кастрюлю с кашей и чистую тарелку. Она рас-

трогалась, но сразу же забыла об этом, разделась в темноте и долго не могла уснуть. Вспоминала все, что говорил Валерик, и грустно улыбалась. А все-таки провела рукой по бедрам, по ногам — да, он правду говорил: нестарая еще она...

И вот он стоит перед судом, Валерик. Стоит прямо, смотрит ясно, головы не клонит. На вопросы отвечает вежливо, внимательно слушает, прежде чем ответить.

Нюся с волнением всматривается в любимые черты. Похудел, бедный, побледнел. Она с трудом улавливает общий смысл того, что спрашивает суд, что говорит Валерий. А сердце у нее бьется тревожно и громко, все заглушая.

— Вы ходили по ресторанам с подсудимой?

— Почему не пойти, если приглашают? — поводит плечом Валерик. На нем темный костюм, знакомый Нюсе, а рубашка и галстук новые. И причесан он по-другому. Бачек нет, сбрил.

— Но обычно приглашает и платит мужчина.

И он тоже приглашал, в долгу не оставался. И платил. Вот счета, случайно завалялись в кармане пиджака.

Кругленький заседатель долго, с помощью Валерика, выяснял даты и названия ресторанов, потом, надев очки, посмотрел счета, кивнул головой:

— Факт. Вы не отрицаете, подсудимая?

Кровь прихлынула к лицу Нюси. Она дрожащей рукой взяла счета, тупо вглядывалась. С кем же это он был, кому заказывал, как и она, бифштекс? Она хорошо знала, помнила, что не ходили никогда в такой ресторан, все их встречи она наперечет помнила.

Она и сегодня сгорала в том же пламени, что зажглось, когда они в первый раз ужинали в «Заре». Вот так же любила его — рост, чуть заметную кривизну ног, уверенность в себе, деликатность. Она понимала, что Валерик стесняется взглянуть на нее, и сочувствовала ему и жалела его.

И страдала за него.

И все-таки думала: с кем же это он проводил время в ресторане? А она, где же была в тот вечер? Никак не могла вспомнить. Может, он просто взял счета у товарища? А может... Было ведь как-то, что она ждала его, а Валерик сказался больным. Обманул?

Дня она не могла прожить без него. Как мучилась по воскресеньям, по праздникам, в эти дни ему нельзя было уйти из дому, не позволяла мать.

То они задерживались в ателье, чтобы перекинуться шуткой, ласковым словом, то целовались в кино, то стояли в обнимку в чужих парадных. Но ей этого было мало, и ему, она знала, тоже мало. Когда дети уехали в пионерский лагерь, Валерик ходил к ней почти каждый вечер. В квартире было пусто, все разъехались. Только мурлыкал и пугал их тети Дунин кот, оставленный Нюсе на попечение. Валерик приходил, пили по-семейному чай и ужинали, но в одиннадцать он уходил, чтобы не заругалась мать... А ей хотелось, чтобы он остался до утра, заснул рядом с ней, как муж...

Однажды, когда его мамаша уехала к сестре, Нюся сама заночевала у Валерика в Измайлове, детям сказала, что в ателье срочный переучет.

У Валерика ей очень понравилось, домик чистенько прибран, обстановка богатая.

— А что, если мамаша вдруг вернется?— с кокетством спросила Нюся.

— Ну и что? Она ничего не скажет, если это надо для моего здоровья...

Нюся словно споткнулась:

— Что для твоего здоровья?

Валерик успокоил ее:

— Чтобы я не нервничал и не переживал...

— Может, тут прибраться у тебя?— спросила Нюся.— Может, тебе носки постирать? Или рубашку? Не стесняйся...— Так ей хотелось, чтобы было по-домашнему, так хотелось перетрогать все рубашки Валерика, уложить их по-своему.

Он был такой ласковый, такой жадный до ее любви, что Нюся на все была готова для Валерика. Бегала с ним как девчонка и на бокс и в театр. Иногда казалось, что она моложе Валерика — так радостно она все воспринимала, всему удивлялась. Она даже не подозревала раньше, что существует так много развлечений, чем очень сместила своего кавалера.

— Ты какая-то несовременная,— удивлялся Валерик.— Ты где живешь? В отсталом колхозе?

Нюся на эти насмешки не обижалась. Она вообще на Валерика никогда не обижалась, все делала, как он хо-

тел. Покупала путевки на пароход, только бы провести с ним денек, в рестораны с ним ходила, в кино, ни в чем ему не перечила, особенно когда почувствовала, что он стал охладевать. Ну, не охладевать, скажем, но он больше, чем она, остерегался, что их увидят знакомые, таился, старался бывать там, где сотрудников из их ателье не встретишь...

Теперь Нюсе всегда не хватало денег. Она стала пудриться, чтобы выглядеть моложе, сменила платочек на шляпку, приколотла брошку. Дом она почти забросила, запустила и даже как-то в сердцах ударила Витю по руке, когда он разбил чашку, и крикнула:

— Объели вы меня, начисто объели!..

Костя посмотрел на нее хмуро, Витьке велел не реветь, а сам предложил:

— Мам, у нас многие ребята уходят работать...

Нюся опомнилась:

— Что ты, Костик? К чему это? А учеба?

— А учеба вечером...

— Нет, сынок, это я так сказала, не обращай внимания... извини меня...

Костя посмотрел на нее исподлобья. Она опустила глаза. И даже зажмурилась: как будто на краю пропасти стояла и боялась сорваться.

А все-таки она была счастлива: смеялась, пела, часто просила Витю:

— Сынка, прочти стишок про природу, про колокольчики, цветики степные. Это и мы учили когда-то... — и качала головой. — Красиво, ох как красиво...

— Чего ж ты тогда плачешь? — как-то спросил Костик.

— Когда?

— Ночью плакала, я слышал...

— Может, со сна...

Разговаривать, откровенничать с Костей, как делала когда-то, Нюся теперь избегала — боялась выдать себя. А он чуял что-то неблагополучное, следил за ней, даже иногда ждал на улице, смотрел, с кем идет.

— Ты что, Костик, не спишь? — удивлялась мать.

— А ты что так поздно?

— На работе была...

— Не было тебя там, я ходил... Во всех окнах темно...

— Что ты, Костик. Я на складе сидела, там глухая дверь.

Она понимала, что надо обрывать отношения с Валерием, но сделать этого не могла. Все крепче и крепче любила его. Даже пошутила как-то:

— И что ты такой молодой, Валерик? Будь ты постарше, я бы охотно пошла за тебя замуж...

Валерик захохотал.

— Ты что смеешься?— рассердилась Нюся.

— Просто так...

Она не настаивала, знала, что Валерик легко пойдет на ссору. И чтобы замять, сгладить разговор, предложила:

— Пойдем в парк культуры, пива выпьем...

— Ну что ж...— нехотя соглашался Валерик.

— А может, на концерт пойдем?

— Нет, лучше туда.

Нюся давно уже запуталась в денежных делах, истратила подотчетные суммы, надеяться ей было не на что, она как чуда ждала — может, выиграет по займу, но выиграла всего один раз, и то двадцать рублей. Пустяк по сравнению с тем, сколько ей нужно было, чтобы выпутаться.

Она думала о своей беде денно и нощно, все замечали, как она похудела, а Костик не раз будил ее ночью, говорил, что кричит и плачет со сна.

Один Валерик ничего не хотел замечать...

Она так измучилась, извелась, что даже рада была, когда пришла ревизия. Какой ни конец, а все-таки конец...

— Как же понять ваше поведение? Что это было с вашей стороны? Любовь? Увлечение? Корысть?

Голос судьи звучал враждебно.

Валерик очень обиделся.

— Таким низким я себя не считаю,— сказал он.— А любовь? Вы же сами понимаете, товарищи судьи, настоящей любви тут не могло быть, увлечение... все-таки, все-таки...— Он мельком, бегло взглянул на скамью подсудимых, где, съжившись, сидела Нюся.— Все-таки мне всего двадцать семь... а она... Одним словом, все это уже в прошлом, все это уже увядшие цветы... а я собираюсь жениться и создать прочную семью...

— Ах, подлец!— громко сказала в зале тетя Надя.— Ах, шкура!..

Судьях постукала карандашом о графин.

...Когда суд удалился на совещание, Нюся сидела одна в почти пустой, тускло окрашенной комнатке, на жесткой деревянной скамье. Она бессильно свесила руки. Стыд, боль, отчаяние, ревность и снова стыд с такой силой жгли ее, что казалось, все выгорит в душе, останутся только уголь и пепел... Перед глазами ее мелькали ресторанные счета, припасенные Валериком для того, чтобы выгородить себя, оправдать.

Нюся вспомнила, как шли они как-то с Валериком по улице и она, смеясь, рассказала, что ребята просят к празднику мяч. Он оживился: ну да, ну да, надо купить. Вот смотри, какие в витрине мячи, размером с большущую голову, голубовато-синие, как морская волна. Давай покупай, не скупись.

— Что ты?— засмеялась Нюся.— Это же для маленьких, для девочек. А им нужен футбольный, голы забивать...

Валерик захохотал. И сказал: ну, ладно, он совсем упустил, что ребята такие большие, но у него дома есть первоклассный мяч, желтый с кожаной шнуровкой, почти без царапин. Он принесет, подарит...

И Нюся обрадовалась — какой он добрый.

Но он так и не подарил. Все говорил, что разыщет и принесет, и не принес...

Он вообще часто обещал и не делал. Сам возмущался:

«Что у меня за короткая память? Надо витамин «С» принимать, что ли?»

А вот про счета из ресторана не забыл. Захватил с собой, когда шел в суд.

Нюся снова видела безвольную жалкую улыбку Валерика, вспомнила готовность, с которой он предал ее, высмеял их отношения. И все ужасное, что с ней произошло, — то, что она брала из кассы деньги и не могла их выплатить, то, что запустила отчетность и теперь сама уже не знала, в чем виновата, а в чем не виновата, не знала, какие ошибки допустила по халатности, а какие сознательно, — все соединилось для нее в одном этом названии из ресторанного счета: «бифштекс по-деревен.». Слова эти как молоточки стучали у нее в мозгу. Их не могла заглушить тихая музыка, шуршавшая в репродукторе, как шуршит ветерок в осенней листве.

В комнате около стола сидели милиционер и защитник. Защитника Нюся не нанимала, не хотела зря пере-

водить деньги, защитник был от суда. И Нюсе казалось, что он уже и не интересуется приговором,— так спешно просматривал, то и дело моргая и протирая пенсне, следующее дело, которое должны были разбирать после Нюсиного.

Стали передавать «Последние известия», дневной выпуск. Все трое стали прислушиваться. По радио говорили про сельское хозяйство. Выступил председатель колхоза, рассказал, какие у них успехи, сколько вырастили гусей и уток.

— Может, и моим ребятам не так тяжело без меня придется,— вдруг громко сказала Нюся.

Защитник не понял, кому она это говорит, поднял глаза и снова опустил их в бумаги. А милиционер, сидевший у стола и подтягивающий голенища сапог, отозвался сердито:

— Хорошая мать о ребятах раньше бы подумала...

— И не знала я, что такое получится... чтоб так себя уронить...— стала оправдываться Нюся.— Так хотелось праздника...— И залилась слезами.— Обездолила я ребят, обездолила...

Милиционер только и сказал:

— Ну и народ вы, бабы, одно название, что народ... сами же нарушаете...

И опять занялся своими сапогами. Он то сгибал в колене правую ногу и вытягивал левую, то снова любовался правым носком. Сапоги и правда были хорошо сшиты.

Защитник кончил читать, снял очки, громко щелкнул портфелем, пряча документы и справки. И оба они, защитник с милиционером, не обращая внимания на Нюсю, словно она сделана из того же куска дерева, что и скамейка, на которой сидела, стали рассуждать, что, мол, еще не известно, как отнесется суд, усмотрит ли злой умысел. А может, учреждение возьмет на поруки. Милиционер возразил, что на поруки вряд ли, кампания брать на поруки уже прошла. Если государство будет каждого оправдывать или отдавать на поруки, так все растащат.

Защитник нахмурил брови.

— Данный случай, при желании, можно трактовать как служебную халатность,— заметил он. И сказал, что вообще, по его многолетним наблюдениям, женщины гораздо больше придают значения любви, чем мужчины...

— Что верно, то верно...— почти согласился милиционер.— А все-таки голову терять нельзя.

В дверях показался Костик, принес батон. Молча он сел рядом с матерью.

— Ты с тетей Дуней не ссорься, сынок, человек она невредный. Она вам и сготовит и постирает. Я просила...

— Да проживем мы, не бойся. Я на работу устроюсь.

— Куда это?

— На завод.

— Ну и правильно. В торговлю не иди, не надо...

— А я и не пойду...

Нюся хотела объяснить ему, что надо быть настоящим человеком, настоящим мужчиной, но не могла найти подходящих слов. Только посоветовала:

— Ты подстригись, ты эти космы не запускай, как теперь модно...

Милиционер не стерпел, строго сказал Косте:

— Шел бы ты, малый, в зал, не полагается тут...

— Иди, Костик, раз нельзя. Ты помни, Костик, по-ласковее будь... люби людей, братика не обижай...

В комнате стало тихо. Защитник ушел в буфет, милиционер тоже соскучился, захотел поглядеть, что делается в коридоре. Нюся осталась совсем одна. Она ждала, когда же ее позовут в зал. Но судьи не выходили, видимо, спорили, какой вынести приговор.

Она отломала кусок батона, оставленного Костей, и стала медленно есть.

ПОЛКОВОЙ УЧИТЕЛЬ



Маленький учитель, разговаривая с командиром полка, заслонялся от солнца рукой. Всадник смотрел на него вниз, как с башни. Конь был огромный. Под золотой шерстью играли мускулы. Конь перебирал длинными ногами. Он придвинул морду к самому плечу учителя и, скосив карий озорной глаз, тронул его ухо влажными ноздрями.

— Пошел вон! — отшатнувшись, испуганно крикнул Матвей Борисович.

Командир полка засмеялся и натянул поводья. Подняв голову, конь заржал. Матвей Борисович тоже засмеялся и осторожно протянул усеянную веснушками руку к шее коня.

Одурающе пахла хвоя. Небо было высокое, чистое, аквамаринового цвета. За стволами сосен белели палатки. У коновязи стучали копытами лошади.

— Вот, видите сами, — сказал командир полка, — вам будет трудно в полевых условиях.

— Нет, — возразил учитель и резким движением руки, как линейкой, подчеркнул свое «нет».

— Удобств мы вам создать не можем, — продолжал командир, почесывая переносицу, — строительство не закончено, жить придется в палатке.

— Меня это не страшит, — строго заметил учитель, — меня страшит, что люди думают, будто летом надо заниматься лишь одной боевой подготовкой, а общеобразовательными предметами — нет.

— Люди так не думают, — недовольно отозвался командир полка, понимая, что камешек брошен в его ого-

род.— Но считать, что летом люди свободны, не приходится.

— Я так не считаю,— ответил Матвей Борисович,— но учитель должен быть там, где его ученики. Если часть в лагерях, то я должен быть здесь. Согласно приказу наркома. Вы же помните приказ!

— Ну ладно, оставайтесь в лагерях,— нехотя сказал командир.— Только будет трудно. Предупреждаю... Кони вот,— усмехнулся он.— На стрельбы сегодня едем.

Матвей Борисович круто повернулся и хотел по-военному щелкнуть каблуками, но споткнулся и чуть не упал. Рассердившись и забыв про устав, он побежал своей обычной походкой через луг,— маленький и смешной, в чистенькой вышитой рубаше, с палкой в руках.

Он был обижен.

Еще вчера, когда он заявил дома, что намерен провести лето в лагерях с военной частью, где он был старшим полковым учителем, жена сказала:

— Фантазия.

Сын смолчал, а дочь заметила:

— При твоём здоровье, папа...

Матвей Борисович с горячностью стал объяснять ей, что должен ехать,— когда полк стоял на зимних квартирах, он хорошо наладил индивидуальные занятия с командирами, нельзя их прерывать.

— Ты напрасно беспокоишься о моем здоровье,— сказал Матвей Борисович.— Я человек крепкой закалки. О, когда-то я был видным парнем. Был крепкий, белый как сахар! — Он беспомощно посмотрел на всех, как бы ища поддержки.— Вы думаете, нет? Я был действительно видным парнем.

Жена сказала нетерпеливо:

— Ну, хорошо. Ну, ты был белый как сахар. И что из этого? — И прибавила уверенно, как человек, который все знает и все понимает: — Очень им нужна летом математика...

— Это же... феноменально,— закричал Матвей Борисович. Он досадовал на жену за то, что в делах практических она всегда оказывалась более дальновидной. Он посылал родственникам деньги, делясь последним, они обижались, что мало. Он начинал выводить на чистую воду заведующего школой, кончалось тем, что его самого увольняли.

И даже тут, в мире совершенно других интересов и дел, Матвей Борисович чувствовал ее правоту.

Ему не были здесь рады. Командир полка не хотел отдавать ему время своих людей.

Молоденькая жена капитана Кононенко, которую он встретил, сказала ему, не в силах скрыть своего огорчения:

— Ой, товарищ учитель, и вы здесь!

— Да, я здесь,— воинственно ответил учитель,— и больше того, капитан будет каждый день заниматься от шести до семи.— Ему вдруг жаль стало эту симпатичную женщину, и он добавил ласково: — Зато капитан осенью сдаст экзамен в академию, и вы поедете с ним в Москву.

Подошла жена старшего лейтенанта Королева, немолодая уже, с крашеными волосами и крупным измятым лицом. Матвей Борисович не любил ее. Он насторожился. Та действительно сказала:

— Что ты с ним объясняешься, Тося, он кроме своих задачек ничего в свете не знает, а что ты видишь своего мужа четыре часа в сутки — он не понимает.

Матвей Борисович оскорбился, но сдержался. Дал себе слово, что будет сдержанным и настойчивым. Он выполняет свои обязанности, и никто не имеет права ему мешать.

Матвей Борисович не намеревался отступать.

Весь день бродил он по огромному лагерю, был в конюшне, на полигоне, в ленинских уголках-верандах среди деревьев, где стояли сколоченные из свежих досок скамьи и столы. Там он должен был проводить занятия с красноармейцами.

После выпитого за обедом пива, которое он считал напитком не вкусным и не полезным и выпил только для того, чтобы ничем не отличаться от остальных мужчин, шумно радовавшихся тому, что в столовую наконец-то привезли пиво, Матвей Борисович был особенно решителен. «И на стрельбы поеду,— думал он,— обязательно!»

Он знал, что может и не ехать, может спокойно провести ночь в палатке, которую ему отвели, и утром, проснувшись от шороха веток над брезентом, смотреть, как под узловатыми сочленениями корней копошатся муравьи.

Но решил ехать.

Решил стерпеть все — усталость и ноющую боль в печени, недоверчивое отношение командира полка и невежливые, обидные шуточки жены старшего лейтенанта Королева.

Он с вызовом смотрел в розовое, предвечернее небо. В реке купались красноармейцы. Они яростно колотили ногами по тихой воде.

Матвей Борисович решил тоже искупаться. Он аккуратно сложил на берегу свое белье, посидел немного, чтобы остыть, смочил себе подмышки, как делал когда-то его отец, входя в воду, и ринулся в реку с такой решительностью, словно это был океан, бурный и безбрежный.

* * *

Да, это было похоже на океан.

После тесной и жаркой спальни, где его кровать стояла тридцать лет рядом с кроватью жены, которая стонала и плакала во сне, после маленькой комнатки-кабинета, набитой пыльными книгами, где лежала в футляре его скрипка, а на стене висел портрет Бетховена — мощное, вопрошающее лицо — и фотография матери, тихой старухи в черном платке, заправленном за уши, — после однообразной жизни, наполненной несбывшимися мечтами, ссорами с начальством, заботами о хлебе насущном, — приятно заночевать в лесу, слушать ночные шорохи, шелест берез, чуть белеющих в темноте, видеть над собой неясную россыпь мелких звезд в затуманенном небе, почесываться от укусов комаров, настойчиво высвистывающих какой-то звук, напоминающий «си» на последней, самой высокой октаве скрипичного диапазона.

Матвей Борисович сидел у костра.

Штабные командиры, ждущие рассвета, заснули тут же на земле, подсунув под голову полевые сумки.

Матвей Борисович подбрасывал в огонь еловые ветки, костер жарко вспыхивал, потом пламя утихало, горящие ветки обугливались и покрывались пеплом.

Перед этим старый учитель долго ходил по лесу, смотрел, как устанавливают на огневой позиции орудия, как тянут связисты провод через сырой от ночной росы луг. Окоп для командного пункта батареи еще только рыли, а уже телефонист припал к трубке, в углублении тускло

горела «летучая мышь», подле которой работал вычислитель. Командир батареи старший лейтенант Бабченко отдавал распоряжения. Матвей Борисович мало что понимал в этой суете. Но он волновался, он был возбужден. Мужчины делали свое мужское дело — учились воевать, — и он был с ними.

Никогда еще Матвей Борисович не ходил ночью по лесу, не копал землю, не дышал полной грудью. Он хотел стать артистом, а только иногда играл на скрипке, интересовался высшей математикой, а преподавал детям арифметику, — он не сделал открытий, не написал научных статей, он всего только составил подробный решебник задач.

Все это открылось ему сейчас, под томительный и тревожный комариный стон.

Вся его деятельность, которой он раньше гордился — выступления на учительских совещаниях и работа в методическом кабинете наглядного пособия, — казалась ему теперь мелкой и никчемной.

Разве это была жизнь? Он искал для себя отдушины в том, что запирался вечером в кабинете и читал умные книги. Это возвышало его в собственных глазах. Читал все, что печаталось в журналах и газетах, — это давало ему право считать себя передовым человеком. Он не пил, не курил, не изменял жене. Молодые учителя уважали его. Он гордился этим. Ему не было скучно, так был всегда занят.

И все это было не то! Нет...

Его пригласили заниматься с группой командиров, срочно подготовить их к экзаменам в военную академию. Он был смущен. Пошел на первый урок с опаской, ему казалось, что не сумеет найти общий язык с военными людьми, он — такой маленький, и они — широкогрудые, в начищенных сапогах. Но командиры вели себя почтительно. Уважали знания, были точны и исполнительны.

Матвей Борисович осмелел. Он стал гордиться тем, что работает в армии. Кто он? Обыкновенный учитель. А перед ним сидят капитаны и старшие лейтенанты. Каждый из них командует людьми. Значит, фактически перед Матвеем Борисовичем сидели целые подразделения.

Он стал полковым учителем. Принес клятвенную присягу. Он разрабатывал свой метод обучения малограмотных красноармейцев. Консультировал учителей из других

воинских частей. Ссорился с командиром полка из-за количества часов для занятий так же, как когда-то с заведующим наробразом.

Он жаловался на «своих лейтенантов», если они пропускали уроки, ходил на дом к «своим капитанам». На него сердились командирские жены. Но учитель был непреклонен. Между собой ученики называли его «въедливым стариком», но побаивались и любили.

Все это возвышало Матвея Борисовича в собственных глазах.

Но никогда еще так ясно учитель не ощущал перемены, происшедшей в его жизни, как в эту ночь. Смотрел на огонь, то вспыхивающий, то замирающий, и был счастлив от сознания, что его не сморила усталость, что он бодрствует у костра. Собирает под соснами ветки и шишки и подбрасывает в огонь. А штабисты спят...

У Матвея Борисовича сладостно замирало сердце.

Огромное небо над лесом, темное перед рассветом, предутренний холод, настойчивый крик ночной птицы — все волновало его. Он не мог больше сидеть на месте, должен был двигаться, преисполненный жизненных сил. И снова пошел в поле. На командном пункте, привалившись к насыпи, стоял Бабченко. Плащ, накинутый на плечи, топорщился, как горб. Бабченко смотрел вдаль на темный лес. Фонарь бросал тусклые отблески на его испачканные глиной сапоги.

— Как дела? — спросил Матвей Борисович, интересуясь подготовкой к стрельбам, но лейтенант не понял его и сказал:

— Очевидно, Матвей Борисович, в условии была ошибка. Не получается задача по ответу, я уже два раза решал.

— Удивительное дело, — раздраженно отозвался учитель, — я преподаю тридцать лет. И тридцать лет я слышу одно и то же. Очевидно, в условии ошибка. Или, очевидно, в ответе ошибка. Идемте к свету, давайте решать при мне. — Он вытащил из бездонного своего кармана задачник. — А ну... я вам докажу, что ошибки нет.

Бабченко послушно опустил на корточки. Матвей Борисович ходил вокруг него, припрыгивая, заглядывая в задачник через плечо.

— Ну, вот видите, вышла! — сказал он с удовлетворением.

Начинало светать. Побледнело небо. На дереве, проснувшись, завопили птицы.

— Не поделили чего-то, ссорятся,— сказал Бабченко, прислушиваясь к птичьему гомону.

— Нормальная семейная жизнь, а? — поддержал его Матвей Борисович, желая сгладить впечатление от своей резкости.

И вдруг лейтенант спросил:

— Соня вам ничего не говорила?

— Соня? — переспросил Матвей Борисович, не понимая, почему лейтенант спрашивает о его дочери.

— Мы с Соней решили пожениться...— сказал Бабченко,— осенью, когда я вернусь из лагерей.

— Осенью,— повторил растерянный Матвей Борисович.

Скромная, маленькая Соня, застенчивая учительница, которая иногда по просьбе отца приходила в часть на занятия по русскому языку, та самая Соня, которая просила купить ей новые туфли?

Матвей Борисович топтался на месте, но лейтенант, деловито посмотрев на часы и красноватое от восходящего солнца небо, спросил:

— Вы на командном пункте батареи останетесь или в штаб пойдете? Пора.

— Я пройду в штаб,— сказал Матвей Борисович и ушел.

Было уже совсем светло. Над лугом стоял легкий пар — начало пригревать солнце. В траве мелькали желтенькие цветочки, будто кто-то прошел здесь, закуривая, и одну за другой бросил на землю зажженные спички. На опушке стояла молодая тонкая береза. Ветерок раскачивал ее шелковистые ветви, и Матвей Борисович вспомнил Соню, когда она была маленькой, в белом платье с оборками, в желтых ботиночках, с бантом в распущенных выющихся волосах. В день ее рождения приходили в гости дети, и Соня, стоя на стуле, красная от волнения, читала в нос стихи. Такая же худенькая, такая же беленькая, как береза. Теперь Соня уйдет к чужому человеку, а он останется дома. Сына Матвей Борисович любил меньше, чем дочь,— сын был педантичный, самоуверенный и полнокровный.

На пригорке собралось командование части. Матвею Борисовичу дали огромный бинокль, он приложил его к

глазам, осмотрелся кругом, на зеленые купы деревьев: темные — хвойные и светлые — лиственные, на поляны, проезжие дороги, поля.

Матвей Борисович и не разобрал, как подали команду, и услышал только гул разорвавшегося снаряда. Он вздрогнул и оглянулся по сторонам. Никто не заметил его испуга. На стеклах бинокля были нанесены деления, казалось, что сломанные деревья валятся на эти черточки, как на изгородь.

Медленно оседала поднятая взрывом земля.

Командиры одобрительно перешептывались.

— Это чья батарея? — спросил учитель.

— Старшего лейтенанта Бабченко.

Орудия грохотали. Горизонт заволокло дымом.

А вокруг шелестела душистая трава, метались пестрые бабочки, скрипел под ногами песок. По небу торопливо шли встрепанные облака.

Когда стрельбы кончились и командиры собрались на разбор учений, Матвей Борисович тоже встал в сторонке и слушал, как командир полка благодарил Бабченко за отличную стрельбу. Матвей Борисович благосклонно посмотрел на человека, который должен войти в его семью. Бабченко выслушал похвалу не конфузясь, прямо и спокойно глядя в глаза командиру полка.

Это удивило Матвея Борисовича. Ему казалось, что молодой человек должен быть более скромным.

Когда все стали расходиться по своим подразделениям, Матвей Борисович отозвал лейтенанта и сказал умоляюще:

— Я вас прошу об одном. Подумайте... Многие считают теперь, что любовь и брак — это разные вещи. А когда становишься старше, тогда понимаешь, какое это благо — любовь. Если вы хотите жениться, то сто раз подумайте и проверьте — любите ли вы ее. — Матвей Борисович посмотрел строго в озадаченное лицо лейтенанта и почти крикнул: — Можете мне верить, я знаю, что я говорю!

* * *

После стрельб в жизни Матвея Борисовича наступил перелом. Он сам не узнавал себя. Прежние интересы отступили куда-то на задний план. Он как будто успокоил-

ся, перестал суетиться. С его лица сошли морщины. Это заметил даже командир полка.

— Э, да вы у нас расцвели,— сказал он.

— Сосна,— неопределенно ответил учитель. И широко вдохнул в себя напоенный хвоей воздух.

— У нас как на курорте,— сказал командир,— сосна, сухо. Жаль только, моря нет.— Он вздохнул.— Ну ничего, осенью дадим вам путевочку, поедете к морю.

Все уже привыкли к учителю, к тому, что он неутомимо, как мышь, снует целый день по огромной территории лагеря. По вечерам он играл на скрипке в своей палатке. Вокруг под соснами собирались слушатели, они сидели на земле, обхватив руками колени. Матвей Борисович не видел их. Он, отбивая такт ногой, смотрел в небо, маленький и вдохновенный.

Дома он никогда столько не играл; жене его игра мешала спать.

Она говорила:

— Матвей, мы тебе верим на слово.

И бесцеремонно убирала скрипку.

В воскресенье приехала дочь,— она была рассеянна и нетерпелива, недолго просидела с отцом, провела ладонью по его редким волосам, как будто погладила из вежливости чужую кошку, и ушла к Бабченко. Матвей Борисович встретил их потом в столовой. Бабченко был молчалив, а Соня много и неестественно смеялась, как смеются неловкие девушки, поверившие наконец, что их полюбили.

Приезд дочери не обрадовал Матвея Борисовича.

Это была не его Соня, с которой он привык спорить о статьях и решать математические задачи-головоломки.

Его удивляло, что Соня похорошела — розовый румянец украсил ее бледное лицо с большими глазами. «Любовь,— думал Матвей Борисович,— она его любит...»

Соня сняла какую-то пушинку с рукава Бабченко, и Матвей Борисович вспомнил, как ее мать сняла первую пушинку с его рукава, и он надеялся тогда, что полюбит ее, ее женскую заботливость и нежные руки. Он все боялся, что Бабченко не любит Соню, не понимает ее, не знает, какие у нее математические способности.

Матвей Борисович все порывался заговорить с Бабченко об этом, но тот почти не бывал в лагере, проводил учения в поле. Он загорел и почернел, по многу часов не

слезал с коня. Он аккуратно учился — то в три часа ночи, то в одиннадцать часов утра, но был всегда сосредоточен и сдержан. Деликатный Матвей Борисович не мог с ним заговорить о Соне.

В лагере все много работали. Часто толковали о войне, о международной ситуации, прикидывали, надолго ли затишье; разговаривая, посматривали на запад, как будто там, за лесом, на границе, что-то могли разглядеть. Матвей Борисович азартно спорил о политике с ветеринарным врачом, за обедом в столовой они строили гипотезы о будущих военных действиях и чертили ложками на дне тарелки планы операций, как два стратега. Командиры подходили иногда к их столу, с уважением прислушивались к разговору и покачивали головами с таким видом, будто эта премудрость была им недоступна, их дело маленькое — не рассуждать, а сражаться.

Командиров занимали стрельбы, лошади, марши, меткость попадания, новый строевой шаг. Они добивались полной взаимозаменяемости номеров в оружейном расчете. Ко всему этому Матвей Борисович относился более равнодушно, так как война представлялась ему поединком дипломатов и генералов.

Все чаще, приходя к командирам заниматься, он заставлял только жен, — мужья задерживались в поле, на полигоне. Королева жила в одной квартире с Кононенко. Ее красный халат, распахнутый на груди, напоминал Матвею Борисовичу халаты жены — засаленные и яркие. Она открывала дверь, прищурясь, смотрела на учителя и резко говорила:

— А его нету дома... Не знаю, когда будет...

— Я к товарищу Кононенко, я не к вам, — конфузливо говорил Матвей Борисович и осторожно протискивался в дверь, стараясь не коснуться ее тяжелого бедра.

— И капитана нет, — кричала вслед Королева, но он не слушал.

Тоня Кононенко, милая и растрепанная, опечаленная, как всегда, когда мужа не было рядом, откладывала в сторону книгу — она постоянно читала книги о любви — и говорила доверительно:

— Володя еще с утра ушел. И нет его. Так одиноко...

Она рада бывала Матвею Борисовичу, как гостю, усаживала его и начинала расспрашивать. Ей было скучно одной. Вопросы она задавала неожиданные, то из астро-

номии, то из географии, то советовалась, можно ли бензином свести пятно с нового платья,— ей казалось, что учитель должен все знать. Матвей Борисович отвечал пунктуально, с ненужными подробностями и даже пытался сам сводить пятна — он хорошо знал химию. Молодость Тони Кононенко и ее любовь к мужу трогали и умиляли Матвея Борисовича.

Оба они, и Тоня и ее муж, были высокие и красивые — Матвей Борисович питал слабость к красивым людям. Иногда огромный капитан при нем брал на руки жену и легко, как девочку, носил по комнате. Матвей Борисович краснел и отворачивался, начиная бормотать что-то и торопиться, но капитан уже ставил Тоню на пол, садился за стол и говорил:

— Внимание... Приступили к занятиям. Тоня, тишина! Тоня утихала, садилась на диван.

Капитан решал задачи, и, когда учитель невзначай взглядывал на диван, он видел немигающие серые глаза. Тоня смотрела на мужа.

И Матвей Борисович мечтал иногда о том, чтобы его полюбила молоденькая девушка или женщина. Он думал об этом и волновался. Теперь, когда он знал, как быстро проходит жизнь, он мог бы оценить любовь. Сердце его билось сильнее. Нет, не низменные желания волновали, — ему хотелось поэзии, нежности, шелеста светлого платья. «Доктор Паскаль у Золя, — думал он, — химик Менделеев, его полюбила подруга дочери — гимназистка...» Но он не был ни Паскалем, ни знаменитым химиком. Кто он? Провинциальный учитель в провинциальном картузе, в смешных очках, пиликающий на скрипке. Во всем их городе вряд ли найдется одна девочка, которой не он открыл тайну, что семью восемь пятьдесят шесть.

Лето стояло пышное, высоко поднялись на лугах ароматные травы. К запаху меда и полыни, висевшему над лагерем, примешивался аромат хвои.

Как никогда, казалось Матвею Борисовичу, хороши были вечера и звезды, дрожащие в небе. Матвей Борисович совсем мало спал, мешали комары. Бессонница гнала его от сосны к сосне, он бродил, как лунатик, по белым песчаным дорожкам, облитым лунным светом. Торжественно и красиво было вокруг — ряды белых палаток меж деревьями, шаги часового, далекий лай собаки, неистовый блеск звезд в синем небе. Матвей Борисович томился от

тишины, от полноты чувств... Он даже тревожился — что же это случилось? Почему он так полюбил жизнь? Он, который раньше часто мечтал о смерти и боялся насморка, теперь купался каждое утро в реке, не думал о простуде и страстно хотел жить. Он посоветовался с ветеринарным врачом, но тот, занятый своими лошадьми, сказал:

— Ну и очень хорошо. Чего вы нервничаете? Желудок в порядке?

— Вы так считаете?

И Матвей Борисович успокоился. Но бессонница по-прежнему томила его.

* * *

И в эту ночь он тоже почти не спал. С вечера играл на скрипке, потом задремал на койке и проснулся в два часа ночи. Он задыхался, во рту было сухо, сердце колотилось. И долго не мог понять, где он.

Матвей Борисович вышел из палатки, луна еще стояла в небе, но уже светало. Летние ночи короткие. Он постоял под сосной, потом пошел по дорожке.

В конюшне беспокойно ржали кони, предутренние видения томили их. Под крышами амбаров ворковали голуби. Огромная рыжая кошка глядела на них с гребня крыши. Она судорожно зевала, шуря свои узкие, хитрые глаза, и, пружиня большое сытое тело, вытягивала вперед лапы. Кошек Матвей Борисович не любил и даже раздражался, когда при нем ласкали это глупое, хищное животное. Вид кошки, подстерегающей голубей, был неприятен ему, он хотел прогнать кошку, но крыша была высокая.

Медленно начиналось утро. С дерева слетела птица, ринулась в траву, потом снова взлетела. И небо, и воздух были одного цвета — сиренево-синего. Синева была плотная, густая, весомая. Матвей Борисович прошел через луг. Ноги его стали мокрыми от росы. Мокрая штанина холодила ногу, носок завернулся. Он нагнулся, чтобы подвернуть носок. На земле лежал тонкий выжухшийся стебель повилики, усыпанный брызгами росы.

В небе гудели самолеты.

Они летели так высоко, что увидеть их Матвей Борисович не мог, только прерывистый гул доносился до земли.

Матвей Борисович посмотрел вверх, но за облаками ничего не было видно. Он пошел дальше, к реке. Песок на берегу был еще влажный. Матвей Борисович тщательно сгреб в сторону верхний слой, внизу песок был сухой и теплый. Он сел и, рассеянно пересыпая меж пальцев камешки, смотрел на тихие заросли за рекой. Камыш стоял неподвижно. Было уже часа четыре.

Где-то далеко что-то протяжно ухнуло, чуть зашелетели на деревьях ветки.

«Гром,— подумал Матвей Борисович, но небо было ясное, ни единой тучи. А что-то рвалось за лесом, по земле катился гул.— Это стрельбы»,— подумал снова Матвей Борисович.

Он долго еще сидел на берегу. Взошло солнце, и сразу стало тепло и весело, засверкала вода. На обратном пути уже было жарко, пришлось снять пальто. От бессонной ночи слегка гудело в голове, и Матвей Борисович не сразу понял, что происходит в лагере. Выводили лошадей, вытаскивали орудия. Бегали люди. Проскакал на своем золотом коне командир полка. Матвей Борисович крикнул ему: «Доброе утро!» Но тот не ответил. Учитель пошел к своей палатке, но палатки уже не было, торчали только колышки и меж ними стоял чемодан.

И опять в небе запели самолеты, они шли теперь низко, и Матвей Борисович долго не мог понять, почему самолеты вызывают в нем такую тревогу. И вдруг его мозг пронзило, что самолеты были черного цвета. Они шли неторопливо, не строем, как будто подталкивали друг дружку, и отвратительно выли. Советские моторы шумели по-иному.

Это была война.

Матвей Борисович ощутил вдруг слабость в коленях и сел на свой чемодан с вышитыми на чехле красными петухами. Но сидеть не мог. Он побежал туда, где были люди, и узнал, что немецкие самолеты перелетели границу и бомбили город. Больше никто ничего не знал. Матвей Борисович путался у всех под ногами, всем мешал. Он беспомощно оглядывался по сторонам, ища себе дела. Все работали, один он...

Он остановил наконец командира полка, и тот сказал ему, что часть выступает к границе, а женщины и учитель будут отвезены в город.

— Почему же,— возразил Матвей Борисович,— почему в город? Я с вами...

Но командир полка закричал на него страшным голосом, и учитель присмирел. Он вспомнил, что надо прибрать классное имущество, и побежал по ленинским уголкам отшпиливать таблицы и карты. Когда он вернулся, неся, как дрова, охапку свернутых в трубки карт, заведенный грузовик рычал уже, вздрагивая от нетерпения. Заплаканные женщины таскали в огромный кузов свои корзинки. Тоня Кононенко прижималась к мужу, он отрывал от себя ее тонкие руки, но она снова цеплялась и, перебирая ремни на его гимнастерке, твердила:

— Володя, Володя, родной!

Королева с медицинской сумкой через плечо и в сапогах оттащила ее от капитана и, почти подняв на руках, перебросила через борт грузовика. Матвей Борисович топтался у машины. Королева закричала:

— Скорей! — и подтолкнула его к колесу, чтоб ему удобнее было занести ногу.

Машина тронулась. Учитель неловко ткнулся в чьи-то колени. Королева кричала вслед:

— Детей, детей в первую очередь соберите! Детей!

Она оставалась с частью.

Машина шла по ровной проселочной дороге. Густые сосны смыкали наверху свои ветки, но откуда-то сбоку проникали солнечные лучи и устилали лес желтыми, веселыми пятнами. Женщины подпрыгивали на своих корзинках, и все это — и лес и летние платья в цветочках — все были в пестром — так похоже было на обычные поездки в город со случайной машиной, что Матвею Борисовичу казалось, будто у него помутился разум. Машина выехала из леса на шоссе, и уже здесь все переменилось, по скользкому асфальту шли колонны — грузовики с пехотой, танки, прожекторные установки, орудия. Все это непрерывным потоком текло к границе.

Шоссе повернуло к городу, в лицо ударил ветер, и вдруг явственно запахло гарью. Рядом с шоссе шла трамвайная линия, звеня, прошел трамвай с разбитыми окнами. Над городом стоял дым. С проселочных дорог сворачивали на шоссе первые подводы с беженцами из пограничных сел, — мычали усталые коровы, привязанные к телегам, пронзительно кричал поросенок.

Горело предместье, какие-то боковые улочки, оттуда,

как из печки, обдавало жаром. Ухватившись за борт грузовика, Матвей Борисович старался увидеть, что горит, но грузовик подбрасывало, он ничего не мог разобрать — только видел цепи милиционеров, пожарные машины, корыта, кровати и подушки, сваленные на мостовой.

На площади перед аптекой зияла огромная воронка. Асфальт разворотило. Дом, в котором помещалась аптека, был разбит, дерево, стекло, камень — все беспорядочно перемешалось, и только там, где был второй этаж, держалась на чем-то полка с белыми аптекарскими пузырьками. Людей на улице было много, они толпились у репродукторов, в магазинах, заглядывали в воронки. У телеграфа стояла длинная очередь, во все концы страны шли телеграммы родственникам.

Матвея Борисовича вдруг охватила боязнь за свою семью. Он не думал раньше о них, ему не приходило в голову, что они могут быть убиты или ранены. Лишь теперь, когда он увидел следы разрушения и пожарища, ему стало страшно. Он заторопился домой.

Жена постарела, осунулась, как будто обломились в ней какие-то пружины и все в ней — тело, мысли и самоуверенность, — как тесто, поползло в разные стороны. Она заплакала, увидев мужа, и бросилась к нему, ища поддержки. Она ждала объяснения от него, ведь он прочел столько книг, что же это такое — бросать бомбы в мирных людей?

— Все еще спали, — твердила она, — я даже на базар еще не собиралась.

Она особенно упирала на то, что город бомбили в такой ранний час, как будто в этом состояло главное преступление немцев.

Сын, с побледневшими и от этого, казалось, отекавшими щеками, говорил:

— Это вероломство! Это коварство! Они нас обманули, я так и знал...

Он говорил сердито, даже с каким-то тайным злорадством, как будто он все предвидел, и если бы с ним посоветовались, то он мог бы предупредить события. И мать вторила ему:

— Захар всегда это говорил. Ты помнишь, Матвей?

Но Матвеем Борисовичу уже становилось тягостно с ними, и он спросил, оглядываясь по сторонам:

— А где Соня?

— Она лежит. Ей нездоровится.

Матвей Борисович прошел к дочери. Она лежала, закутавшись в платок, заплаканная и некрасивая, и рассматривала огромными глазами свои худые руки. Она вздрогнула, увидев отца, и, даже не обрадовавшись ему, не поняв, что это именно он, а поняв лишь одно, что он приехал оттуда, где остался Бабченко, спросила:

— Ты видел Колю?

— Видел, — нехотя ответил отец.

— Он передал мне что-нибудь?

— Нет, — сказал Матвей Борисович.

Соня помолчала и опять стала рассматривать свои пальцы. Потом она сказала:

— Я беременна, папа.

— Бог с тобой, что ты такое говоришь, — конфузясь, ответил отец, еще не понимая значения того, что сказала дочь, и вдруг увидел, как дрогнули брови на некрасивом лице. Дочь тяжело дышала, как будто набиралась сил, чтоб заплакать. — Ну и что же? — сказал отец, стараясь улыбнуться. — Очень хорошо. Тем лучше.

— Что же в этом хорошего? — спросила дочь, тоскливо кривя губы. — Что же хорошего? — еще раз спросила она. — Он уехал и даже ничего мне не передал...

В комнату вошла мать и сразу вступила в разговор, так что понятно стало — она подслушивала за дверью. Но никто не обратил на это внимания.

— Я тебя прошу, я тебя умоляю, — торопливо говорила она, обращаясь к дочери. — Теперь не время иметь детей. Он может не вернуться, кто знает... Вы не записывались. Может быть, придется уезжать отсюда. Куда ты поедешь с животом... У меня есть знакомый доктор...

Мать разговаривала с дочерью как женщина с женщиной, она деловито прикидывала все «за» и «против». Это было омерзительно. А «он» — это был Бабченко. Матвей Борисович вспомнил лейтенанта, черного, с запекшимися губами, лейтенант смотрел на запад, глаза его были жесткими и злыми, руки сжаты в кулаки, и про этого человека говорили «он». Матвей Борисович попытался протестовать, но жена закричала на него. Он чувствовал себя в этом доме как муха в паутине, он увязал, он задыхался... Он ушел из дому туда, на улицу, где были люди.

По радио передавали первые сводки.

Последняя надежда на то, что все минет, как дурной сон, исчезла. Это была война.

Несколько дней Матвей Борисович провел как в чаду. Он все суетился, дежурил в домоуправлении, рыл траншей-бомбоубежища, сидел на совещаниях. Но ночам были воздушные тревоги, светили прожекторы, били зенитные орудия. Пять или шесть бомб упало на город. Уже были жертвы, убитые и раненые. К утру все стихало, измученные люди вылезали из подвалов и траншей, веря, что это больше повториться не может. Но приходила ночь, и все повторялось сначала.

Матвей Борисович забыл о дочери.

Жена сказала ему виновато:

— Сонечка такая слабенькая... Не совсем удачно. Ей пришлось обратиться в больницу.

Матвей Борисович хотел затопать ногами и закричать на жену. Он только сейчас понял, что произошло, но голос прервался. Он всхлипнул. Он шел в больницу, ссутулившись, ему было стыдно, ему казалось, что все знают о его позоре.

Соня лежала на больничной кровати, измученная и жалкая.

— Зачем ты это сделала? — спросил отец. — Как мы ему посмотрим в глаза?

— Сам виноват, — упрямо сказала дочь. Эти слова, видно, были ее железной опорой, она цеплялась за них.

— Срам, — сказал отец. Это слово всегда произносила его покойная мать, когда он воровал сливы в соседском саду или не хотел молиться. И оттого, что отец, никогда не говоривший с детьми сердито, произнес это слово, Соня заплакала.

— Папа, это страшно... это так страшно... — твердила она. — Хуже этого нет на свете...

Матвей Борисович не понимал, что говорила дочь, но ее страх и волнение передавались ему, он тоже плакал.

А в коридоре стонали раненые. Их везли с границы. Бегали врачи и сестры, сбиваясь с ног.

— Я как собака, — сказала Соня, — я никому не нужна. Там люди с фронта, а я?..

И она опять заплакала.

Матвей Борисович ушел из палаты вечером, когда Соня уснула. В коридоре было полутемно, стояли крова-

ти, он пробирался меж ними и вдруг увидел Королеву. Руки, голова его были забинтованы.

Матвей Борисович вышел на крыльцо. Луна светила, и ее ровный блеск лежал на холодных каменных ступенях крыльца. Все окна в больнице были тщательно занавешены. И так странно было оставить все виденное в палатах и коридорах за тяжелой дверью, а здесь — луна, деревья и тишина. На крыльце сидела женщина. Она не думала о том, как сидит, ноги ее были раскорячены, спина согнута. Так сидят плотники после тяжелой работы. Матвей Борисович узнал Королеву.

— Мадам Королева, — сказал он, — какое несчастье...

— Он выживет, он здоровый, крепкий человек... я в него верю... — Королева сказала это как будто спокойно, но вдруг добавила: — Вы не знаете, что за человек Королев. Этого никто не знает, кроме меня... От его батальона осталось несколько человек... Он один держал их два часа... я ведь все видела в бинокль...

— Вы не слышали... как Бабченко? — спросил Матвей Борисович ненатуральным голосом.

— Убит...

— Этого не может быть...

— Ребенок вы, что ли? — грубо закричала Королева. — Не понимаете, что такое война? Ну, ладно, — хрипло сказала она, — они за все заплатят, эти сволочи, за все!..

Она долго сидела, раскачиваясь и бормоча такие крепкие ругательства, что Матвей Борисович испугался, не помешалась ли она. Или он сам сошел с ума. Потом Королева умолкла и вдруг заговорила тихим, звенящим от нежности голосом, как будто это была не она, а совсем другая женщина:

— Как он меня любил когда-то, мой муж... Я интересная была, косы, шея как у лебедя... Мое чувство к нему не переменялось, нет. Ну, а его ко мне, этого я не знаю...

— О чем вы думаете в такое время, даже странно и дико слушать... — упрекнул Матвей Борисович, не понимая, как он передаст дочери, что Бабченко убит. — Любит — не любит. Был бы только жив...

— Был бы жив, это конечно, — согласилась Королева. Но потом, как будто передумав, прибавила: — Нет... Когда все полетело к чертовой матери... Я хочу знать, зачем я жила, с кем жила? Любит ли? Ничего мне теперь, кроме правды, не нужно.

В городе завывала сирена, оповещающая о тревоге.

— Опять,— сказала Королева и встала.

В больнице никто не спал, больных переносили в подвал. По коридору прошел высокий, седой доктор, крича:

— Еще с вечера нужно было всех перенести! С вечера! Заблаговременно!

Старшая сестра виновато твердила:

— Но в подвале сыро... Я надеялась..

Где-то далеко разорвалась бомба, зазвенели стекла, захлопали двери. Больные выползали из палат, держась за стены. Плакали разбуженные дети. Раненый красноармеец с обвязанной головой закричал на всю больницу:

— Тихо! Порядочек! Передавай детей по цепи!

Матвей Борисович взвалил на руки легкую Соню, но и эта ноша была тяжела для него. Он спотыкался. Он нес дочь на руках осторожно, как носил часами в детстве, когда она не спала, мучимая детскими страхами, а мать кричала, что это капризы, ее нужно заставить спать. Он чувствовал, как дорого ему это костлявое, осиротевшее тело. Подумал о ребенке, чей отец был вчера убит. Только теперь, пробираясь с Соней среди толкавших его людей в темный подвал, обливаясь потом, натыкаясь на стены,— он понял, что ни ребенка, ни Бабченко больше не будет.

Матвей Борисович положил Соню на солому. Она молчала. Отец пожал ее руку и сказал, не зная, что сказать:

— Он замечательный человек, Бабченко.

— Да, Коля замечательный человек...

Зенитки били густо, одна за другой, было нестерпимо трудно усидеть в темноте. Матвей Борисович пошел наверх. По коридору еще носили больных. Королева вела рослого красноармейца, он опирался на нее всем телом, почти падал, она несла его, покрикивая:

— Крепче держись, Соколов, крепче!

Матвей Борисович знал Соколова, это был его ученик.

— Обопритесь на меня, Соколов,— сказал он и подставил плечо.

Он не помнил потом, сколько раз прошел с Королевой по палатам, она командовала, он подчинялся. Из операционной вышел доктор, руки его были в крови, лицо воспалено. Он давно не спал. Доктор прислонился к косяку двери и неловко, стараясь не испачкать папиросу кровью, закурил.

— Как Королев? — спросила жена тревожно.

Королев лежал в операционной.

— Плохо,— ответил доктор. И повторил: — Плохо!

— Он крепкий, он здоровый,— поспешно сказала жена. И, взяв доктора за руку, пыталась объяснить ему: — Он два часа один их сдерживал.

Доктор посмотрел на нее понимающими глазами, бросил окурки и вернулся в операционную. Он отчетливо сказал:

— Давайте следующего!

Королева припала к двери, чтобы быть ближе к мужу. Матвей Борисович потянул ее за рукав, она оттолкнула его.

Матвей Борисович снова вышел на крыльцо. Темнота, стоны, звенящее от взрывов стекло, грохот,— он не мог больше это выносить, должен был увидеть небо.

Оно висело над миром, огромное и голубое. Матвей Борисович поднял к нему руки, но душа его была пуста. В городе пылало зарево. Больница была на окраине, в огромном саду. Столетние дубы и вязы недвижимо стояли в темноте. Вдруг воздух заколебался, как в грозу, что-то толкнуло Матвея Борисовича в грудь, ослепило его, и он упал. Золотой конь командира полка проскакал над ним.

Он очнулся. Уже светало. Было очень тихо, только шелестели листья на сломанном дереве. Он слабо шевельнул рукой. На одежде его, на руках, в волосах — везде была земля. Он лежал на траве.

Он не был ранен. Его оглушило.

Бомба упала где-то здесь, неподалеку.

Матвей Борисович встал.

Корпус больницы был невредим. Он нашел свою дочь, она все еще лежала в темноте, на соломе.

Сняющая Королева крикнула ему, пробегая по коридору:

— Он будет жить, уверяю вас! Я увезу его сегодня куда-нибудь подальше. В тыл...

«В тыл,— подумал учитель,— в тыл... а мы что, разве мы фронт?»

Какими смешными казались ему теперь разговоры с ветеринарным врачом в столовой, планы, которые они чертили, военные доктрины, которые они выдвигали. А как раскачивались тогда старые сосны под раскрытыми окнами, как пахли лесом необструганные дощатые стены, как

проходили по столовой командиры и бережно, чтобы не расплескать, несли из буфета кружки с пивом. Он уехал из лагеря, смятый событиями, ему казалось, что он ничего и никого не видел, но теперь он все вспомнил. Он вспомнил, как садились люди на коней, гневные и молчаливые. Бабченко наклонился и поправил под седлом потник. Командир полка сдерживал коня, пропуская мимо себя полк. Он туго натянул поводья. Конь поднял морду. По шелковым ногам, как зыбь, скатывалось сверкание солнца.

Командир полка убит. Бабченко убит. Королев ранен. Война казалась когда-то Матвею Борисовичу грубым делом.

Он с чистой совестью освободился в молодости от мобилизации в армию — хотел служить искусству, быть скрипачом. Никто из его знакомых не воевал. Он не рад был, когда в гражданскую останавливались в его квартире на недолгий постой войска, он не любил шум, запах махорки. Это мешало ему читать. Он доволен был, когда квартира освобождалась.

А теперь он видел, как ушли родные ему люди для того, чтоб умереть. Он добивался права называться их учителем, долго выяснял, кто он — полковой учитель или старший полковой учитель. Это слово «старший» очень занимало его. А все — и понятие «старший», и обиды, и плохая квартира, которую он все время хотел переменить, чтобы было больше места для его книг, — все это пустяки по сравнению с тем страшным, что происходило. Зверь занес над ним лапу. Так что же делать — взять рогатину и пойти на зверя?

Он не мог долго размышлять, нужно было пойти домой, нужно было взять из больницы дочь, — он пошел. Но неотступно думал теперь о словах Королевой. Он понимал, что она права, — теперь надо знать правду о себе и других. Час страшного испытания пришел.

Центр города горел, пожарища дымились, около них копошились люди, спасая свой скarb. Тротуары во многих местах разворотило, асфальт так нагрелся, что нельзя было пройти. Матвей Борисович пошел по тихим, немощеным улочкам, с покосившимися домами, где он жил в детстве. Но и здесь полыхали пожары. Где-то в огне пищали котятa. Матвей Борисович узнал тот дом, где жил мальчиком, потому что на улице, у ворот, рос дуб. Жен-

щины и дети шли по дороге, навьюченные узлами. Матвей Борисович знал этих женщин, они учились у него когда-то, знал их детей. Это был его родной город.

Он пришел к себе домой. Дом уцелел. Жена сказала:

— Надо уезжать... немец близко.

— Я не уеду...

— Папа, все уезжают...— сказал сын.— Есть распоряжение...

Жена и сын складывали вещи, совещались. Матвей Борисович ничего не понимал.

Почему он должен уйти из своего города, где учительствовал тридцать лет, из дома, где родились его дети, со своей земли? Он помнил, как пахнет эта земля, жирная, черная земля, как светят звезды в его небе. Он не мог уйти. Стоял посреди маленького кабинета, уставленного полками, и смотрел на любимые книги, которые собирал всю жизнь. Он не был дома два месяца. Книги запылились, без него никто не брал их в руки. На полу стоял его чемодан в чехле, расшитом петухами, лежал футляр со скрипкой. Он потянулся к скрипке, но передумал и махнул рукой.

Жена громко сказала в столовой:

— Скрипку надо взять, она пригодится.

— Я не поеду,— закричал Матвей Борисович,— дайте мне умереть там, где я хочу.

Жена, ломая руки, стала умолять пожалеть ее: куда она поедет одна? Ему вдруг стало жаль ее. Он вспомнил ее молодой, с тугими щеками. Она сняла пушинку с его рукава. Она рожала ему детей. Вон там, в спальне, рожала она, крича от боли.

Он сдался.

Достал подводу и поехал за Соней. Они долго сидели на вокзале, дожидаясь очереди на посадку в вагоны, налетели самолеты и обстреляли вокзал. Потом начальник милиции узнал Матвея Борисовича и сказал с упреком:

— Вы же знаете, товарищ учитель, интеллигенцию мы эвакуируем в первую очередь.

Жена не преминула вставить:

— Он никогда не пользуется своими правами. Он давно мог получить квартиру в новом доме, уверяю вас...

Начальник посмотрел на нее удивленно.

Ее мысли шли еще по привычному кругу.

Люди лезли в вагоны, втаскивали мешки, кричали.

По дороге поезд обстреливали, состав останавливался. Пассажиры убегали в лес. Потом машинист давал гудок, и все собирались. Едкая летняя пыль забивалась во все поры, пахло потом и горем. Мужья потеряли жен, матери — детей. На станциях вдоль вагонов бегала женщина, надрывно крича:

— Леня, ой, боже мой! Леня!

Одни говорили, что Леня ее сын... другие, что муж... А навстречу все шли воинские эшелоны и красноармейцы.

Дыхание войны уже не чувствовалось. Кое-где убирали спелый хлеб. На полустанках продавали масло. На беженцев смотрели с любопытством и страхом, — они врывались в мирную жизнь, грязные, потные, в шубах, как вестники страшной, невыносимой беды.

Матвей Борисович, сидя на своей котомке, послушно ел, когда ему давали поесть, стоял в очереди за кипятком, когда его посылали, но все это он делал механически, не понимая, что делает. Он ничего не жалел, он не страдал от неудобств, он не боялся будущего. Как в бреду вспоминал ту ночь у костра, в лесу, когда переломилась его жизнь, когда так близко от него была правда.

И не мог смириться с тем, что каждый поворот колес удаляет его от места, где остались его ученики, они дерутся, гибнут, а он...

Мысли его были как морской прибор — однообразный, тревожный и неотвратимый.

А жизнь в эшелоне уже входила в свою колею. Как в большой корзине, все уминалось и перетряхивалось, сжималось, находило свои новые места.

Жена говорила с гордостью, как купец, расхваливающий свой товар:

— Мы же семья военнослужащего. Ее муж командир. Она беременна, — и показывала на дочь.

А поезд все шел и шел.

Вагон мотало по рельсам.

Уже создавался свой особенный быт. Народ называл их военкуируемыми. Их то жалели, то ругали, делились с ними последним и жадно прятали от них еду.

Сын утратил свою обычную флегму, бойко бегал за кипятком и папиросами, аккуратно делил хлеб, выгодно обменивал полотенца на сало.

Жена все время вспоминала имущество, которое она оставила. И во всем вагоне негде спрятаться было от ее

голоса, когда она хвалила свои простыни и плюшевые одеяла.

Дочь лежала пластом, не пила и не ела.

Вид Матвея-Борисовича был страшен и отвратителен. Бороденка его стала серой, обвисла рубаха. Он ни с кем не разговаривал.

Наконец он не выдержал. Он сошел на станции и пошел туда, где за косогором желтели поля и мельница выставляла на запад, как руку, черное, неподвижное крыло.

Матвей Борисович слышал, как слабо, словно по обязанности, кричала жена:

— Он сошел с ума, верните его, верните!

Он не оглядывался и все шел и шел, размахивая палкой.

МЕТОД ИНДУКЦИИ



В войну командировочный фонд редакции был небогат, нам редко удавалось ездить в дальние гарнизоны. Чаще отправлялись рабочим поездом в запасные полки, расквартированные недалеко от города.

Такое путешествие предстояло и на этот раз.

Давая задание написать очерк об образцовом командире батареи, секретарь редакции строго предупредил:

— Только, пожалуйста, без восходов и закатов. И покороче, умоляю... самую суть, опыт...

А я и сама бы догадалась, что нельзя злоупотреблять описанием среднеазиатской природы. Формат газеты военного округа был сокращен из-за нехватки бумаги чуть ли не вчетверо.

В ту пору сотрудники редакции как бы делились на две категории — военнослужащих и вольнонаемных. Военнослужащие носили форму, имели воинские звания, ходили на строевые занятия, в любой день ждали отправки на фронт, во фронтовые газеты. Вольнонаемные, большей частью приезжие, «эвакуированные», были как бы на втором плане и занимались не главным, а информацией, маленькими фельетонами, коротенькими рецензиями на кинокартины, литературной консультацией — одним словом, четвертой полосой.

Задание написать очерк для отдела боевой подготовки — о, это была большая честь. В отделе мне посоветовали:

— Возьмите лейтенанта Самарина. В его подразделении нет ни взысканий, ни замечаний. Кроме того, Самарин активный корреспондент.

— Еще бы, я вам его и сосватала,— не без гордости вспомнила я.

А познакомились мы так...

Я сидела за правкой заметок в своем закуточке, отгороженном от узкого коридора. В редакции было тихо. Смеркалось. Потемнел ствол дерева, заслоняющего окно,— солнце переместилось пониже. И как-то сразу стало грустно.

Кто знает, отчего и как приходит к человеку тоска? Вероятно, и на это есть свои законы. Когда-нибудь их откроют, как открыли радио и электричество. Ведь и они существовали, когда никто о них еще и не подозревал.

Как бы там ни было, но тоска навалилась невыносимая. Шел уже второй год, как я жила в эвакуации с ребенком, матерью и свекровью, оторванная от привычного уклада жизни, от мужа, от работы, от своего дома. Дом был далеко, где-то на другом континенте. Письма приходили редко, непонятные как ребусы... Они шли так долго, что отвечать, что-либо выяснять было бессмысленно — все равно что стучать кулаком в каменную стену. Обида наслаивалась на обиду, недоразумение на недоразумение.

По сравнению с Москвой — с бомбежками, с близостью фронта, с недоеданием — все, чем жили мы, казалось очень мелким — все эти хлопоты о керосине или ордерах на саксаул и на уголь. Наш бивуачный быт утомлял и унижал, не хватало подушек, простынь, кастрюль, вилок...

Но ведь так было и вчера, и позавчера. Почему же я затосковала сегодня, почему именно сегодня так остро почувствовала себя слабой и беззащитной!..

Неужели из-за злосчастной коврижки?

Был канун праздника, и военнослужащим разнесли продовольственные пакеты. Расщедрился наш шеф — зав издательством, невысокий человек в галифе и сером пиджаке, никогда не снимавший кепки. Таким он и запомнился мне — в кепке и калошах поверх сапог, хотя вряд ли в среднеазиатскую жару он всегда носил калоши.

Итак, военнослужащие получили пакеты и давно уже ушли домой очень довольные, с деланно серьезным выражением лица, и унесли подарки, тщательно замаскированные старыми газетами. Журналисты-военнослужащие всегда чувствовали себя неловко, когда их в чем-нибудь

отличали от нас. Нам, вольнонаемным, пакетов, видимо, не полагалось... А мне так хотелось вернуться домой не с пустыми руками.

Не знаю, как это случилось, но я положила голову на стол и тихонько заплакала. Можно было подумать, что именно все, чего мне не хватало в жизни в те дни, воплотилось в этой выданной к празднику медовой коврижке, напоминавшей, кстати, о меде только коричневым цветом. Но я принесла бы эту несладкую коврижку своему мальчику, увидела, как блеснут искорки интереса в его глазах, услышала похвалу бабушек. В те суровые дни 1942 года я была главой семьи.

И вот, когда я постыдно оплакивала эту коврижку, свою «второсортность», свое одиночество, на пороге появился маленький белобрысый военный. Он был в аккуратной, выжженной здешним жгучим, въедливым солнцем, много раз стиранной гимнастерке, туго подпоясанный, с мальчишеским хохолком светлых волос на затылке.

— Разрешите обратиться? — вполне серьезно спросил он.

Я прикрыла слезы ладонью. Но вошедший ничего не заметил, он тоже был смущен.

Стараясь скрыть это смущение, он сказал бодро:

— Тут я стишки к вам присылал, продергиваю, так сказать, Гитлера и его вассалов. Хотелось знать результат...

— Ваша фамилия?

— Самарин...

Я достала толстую папку и нашла рукопись. Стихи были очень плохие. Самарин слушал меня не мигая, добросовестно стараясь понять свои ошибки. К сожалению, дело было не в частностях, — ну просто это и не похоже было на стихи...

Я старалась говорить мягко:

— Вы человек пишущий. Почему бы вам не связаться с нашим отделом боевой подготовки? Поделиться опытом?

— Это можно, — согласился Самарин и посмотрел куда-то в сторону. — Газета дает нам руководство в повседневной жизни...

Он выражался витиевато, книжно, но тон был искренний и правдивый.

Уходя, Самарин мужественно пошутил:

— Значит, стихи больше не присылать? Не надо?

— Присылайте, пожалуйста. Только уж не обижайтесь...

Самарин удивился:

— Как можно обижаться?.. Такой привычки у меня нет.

Я подписала ему пропуск и попросила:

— Так обязательно, обязательно пишите для отдела боевой подготовки. Ведь вы кадровик?

Самарин помрачнел:

— Я как эта самая Данаида, что таскает решетом воду. Подготовил для фронта четыре маршевых роты, а сам остаюсь здесь... Тут не только стихи сочинять, тут слезами начнешь плакать...

Больше он в редакцию не приезжал, во всяком случае ко мне не заходил. И стихов не присылал. Однако с отделом боевой подготовки Самарин действительно связался, раза два или три мы печатали его толковые материалы об опыте обучения солдат артиллерийской стрельбе.

Когда я вышла из пригородного поезда, откуда до расположения части надо было пройти километра полтора, то первый, кого я увидела, был Самарин. Конечно, это был он — маленький, чистенький, как воробушек, с хохолком на затылке. Но Самарин почему-то отвел глаза в сторону.

С ним шла женщина — молодая, белокурая, беременная, с лицом в желтых пятнах, в пестром широком платье из узбекского шелка. Самарин был нагружен основательно. Он вел женщину и тащил сумки, чемоданчик, даже большой эмалированный таз.

Незадолго перед тем в Красной Армии ввели офицерские звания и по гарнизону был отдан приказ о соблюдении офицерского достоинства. Среди прочих «запрещается» был пункт, что офицерам нельзя носить тюки, мешки и авоськи. Может, по этой именно причине Самарин не хотел, чтобы его увидели.

Ну что ж... Я пошла по дороге одна.

Начальник штаба, щеголеватый, с красивыми выпуклыми глазами, долго разглядывал мое редакционное удостоверение, потом сказал не то с сожалением, не то с укоризной:

— На фото вы моложе...

— Это довоенный снимок...

— А-а...

Он понимающе вздохнул, как будто «до войны» — это было в прошлом столетии. Потом вынул зеленую расческу, причесался, деловито спрятал расческу в кармашек и представился:

— Капитан Жолудев. Намерены здесь пожить? Хм, с жильем у нас катастрофа. Ведь дислоцируемся, можно сказать, прямо на песке. Как виноградные лозы... — Видимо, он уже не раз повторял эту остроту. — Впрочем, пока вы в политотделе утрясете с Кривошеиным кандидатуру вашего героя, я что-нибудь соображу...

Хоть я и не в первый раз приезжала в воинскую часть, но так и не научилась преодолевать чувство неловкости. Журналист предпочитает вообще оставаться неузнанным, держаться незаметно. Но как можно остаться неузнанной, незамеченной, когда вокруг сотни солдат и офицеров и среди них ты одна женщина... В лучшем случае в санчасти еще бывает медсестра или машинистка в штабе... Но к ним уже все привыкли, на них никто не оглядывается.

С тем же чувством неловкости вошла я в политотдел, где сидел майор Кривошеин, немолодой уже, очень симпатичный, в накинутой на плечи телогрейке, и с удовольствием пил из жестяной кружки чай. Он не стал смотреть удостоверение, несколько не удивился моему приезду и сразу спросил:

— Кок-чай уважаете? Прекрасная штука. Вышел ночью без ватника — и вот простыл..., чаем только и спасаюсь.

Я порылась в сумочке:

— Хотите аспирину?

— Нет, не признаю.

Кривошеин со вздохом отставил кружку, от которой шло живительное тепло, передернул плечами, поправил телогрейку и перешел к делу:

— Значит, про Самарина хотите писать? Ну что ж? Офицер честный, смелый, прекрасный товарищ, хороший коммунист, командир без пятнышка. Устраивает? — Он засмеялся: — Родом с Кавказа, кажется, из пастухов...

И крикнул в соседнюю комнату:

— Жолудев! Самарин у нас из пастухов, что ли?

— Из пастухов, — чуть высокомерно ответил начштаба и появился на пороге. Он картинно прислонился к прито-

локе, достал портсигар, постучал по деревянной крышке папиросой.

— Одна беда,— продолжал посмеиваться Кривошеин,— рапортами нас замучил, на фронт просится. Жолудев, не дай соврать — сколько раз Самарин рапорта подавал?

— Раз восемь,— все тем же, чуть высокомерным тоном отозвался Жолудев. Изящные голубоватые кольца дыма полетели по комнате.— 'Я уж ему сказал: «Слушай, Самарин, ты что, боишься, на фронте все ордена раздают, на твою долю не останется?..»

Кривошеин недовольно сдвинул брови:

— Ну, это тоже не разговор, хочет-то ведь он от чистого сердца.— И прибавил с оттенком грусти: — Все мы через эти настроения прошли. Когда первый маршевый батальон без меня уехал, я совсем духом пал. Отчего? Да почему? Почему это я недостоин?..

— Однако командир полка наложил какую резолюцию на рапорте?..— Жолудев посмотрел на меня многозначительно.— Разъяснить лейтенанту Самарину важность подготовки резервов для фронта...

— Разъяснение разъяснением, а душа душой...— Кривошеин позвал вестового: — Живой ногой слетай за лейтенантом Самариным!

— Есть слетаты!

— Ну, выполняй, дуй...

Прошло несколько минут, прежде чем появился Самарин с мокрым хохолком на затылке.

— Вот он, наш красавец,— по-домашнему весело сказал Кривошеин, как только Самарин доложил, что явился по его вызову.— Примите к сведению, не пьет, не курит, пока что холост.

Я удивилась:

— Холост? А я подумала, вы встречали сегодня жену. Я ведь вас видела, товарищ Самарин, на станции.

Самарин вдруг вспыхнул. И Жолудев почему-то побагровел.

Я почувствовала, что совершила бестактность. Но, не зная, как спасти положение, опять сказала не то:

— Наши мужчины из редакции, офицеры, тоже переживают. Не идти же рядом с женой и смотреть, как она тащит сумки из распределителя. А ваша спутница так

много привезла. И чемодан. И этот замечательный белый таз...

— Надо полагать, что лейтенант сопровождал мою жену и тащил ее вещи,— насмешливо сказал Жолудев.

— Так точно, капитан,— хотя Самарин рапортовал, как положено по уставу, в тоне его зазвучал вызов.— Я нес вещи вашей жены, поскольку ее никто не встретил.

— Что же вы хотели, лейтенант, чтобы я понес таз и прочие дамские шmutки? — Жолудев пожал плечами.— Удивляюсь, как вас не заметил комендантский патруль...

— Ну и что? Я бы дал надлежащие объяснения.

— Ваше отношение к слабому полу делает вам честь. Удивляюсь, что Люся не сумела оценить вашу преданность раньше.

В словах капитана таился такой ядовитый намек, что у Самарина запылали кончики ушей. Нет, дело тут вовсе не в нарушении приказа. И по тому, как морщился Кривошеин, ясно было, что и он это понимает и что ему, как и мне, мучительна эта сцена.

Самарин круто повернулся к Кривошеину:

— Вы меня вызывали?

— Ну, садись, садись, отдыхай,— добродушно сказал Кривошеин.

Самарин сел.

Но Жолудев все еще не успокоился:

— Лейтенант!

Самарин вскочил.

— Слушай, лейтенант,— небрежно заговорил Жолудев, испытывая явное удовлетворение от того, что Самарин обязан перед ним «тянуться»,— тут вот корреспондентка приехала. Так в твоём палаццо имеется закрытая терраска, может, окажешь гостеприимство?

— Слушаюсь, товарищ капитан.— Самарин смотрел мимо Жолудева, на меня.— Только как бы вам не было шумно. Плац рядом.

— Это пустяки. Если только вас не обременит...— попыталась вставить я.

— Им нужен покой, тишина, условия для умственной работы.

Жолудев бесцеремонно остановил Самарина:

— Ну, ладно, ладно. Так я распоряжусь насчет койки.

И, сделав легкий поклон в мою сторону, Жолудев удалился.

Кривошеин облегченно вздохнул:

— Петухи, настоящие петухи в Испании. Или это бой быков в Испании, а?.. Так вот,— не дожидаясь ответа, строго сказал он,— поскольку товарищ прибыла из газеты, а пропаганда опыта — наше общее дело, то ты того... не скромничай и отвечай на все вопросы.

— Говорят, ваше подразделение не имеет ни взысканий, ни замечаний,— вмешалась я.

— Факт,— подтвердил Кривошеин.— Дисциплина у него высокая.

— Вот именно сейчас я опасуюсь,— таинственно крутанул головой Самарин, как бы высвобождая шею из воротника,— опасуюсь, что положение может в корне измениться: принимаю новое пополнение.

Кривошеин дипломатично поправил его:

— Опасения — это еще не реальный факт. А на сегодняшний день твое подразделение лучшее в полку.

От комнатки Самарина меня отделяла тонкая перегородка с окном. Я отлично слышала его шаги, вздохи, щелканье выключателя, даже тихий разговор с собачонкой, вертевшейся под дверью, выходившей, как во многих азиатских летних постройках, прямо во двор. Самарин оделял собаку кусками, что-то ласково бормотал, посвистывал, только выговорил за то, что снова вся извалялась в пыли.

Крытая терраска, тесная и душная, напоминала запыленную стеклянную банку. Мутные окна припорошило песком. Я вынула полотенце, поставила на столик карточку сына, спрятала под подушку маленького зайца, которого он велел мне взять с собой в дорогу. Достала карандаши и бумагу.

На новом месте мне не спалось.

Сквозь голые, с набухшими почками ветки тополя смотрела на меня яркая звезда. Блеск холодный, далекий, зеленоватый. Будто в душу она мне глядела, эта ледяная звезда...

Глядела, а что видела?

Может, волнение? Всегда страшно, даже когда заметишь собираешься писать. А тут очерк... Ведь совестно перед

людьми, у которых отнимаешь время. Или горькое недоумение, к которому нельзя привыкнуть, разглядела звезда? Идет огромная война, а ты, которой всегда верилось, что будешь там, где происходит самое для страны главное, ты живешь где-то далеко-далеко, в глубоком тылу, и только жадно слушаешь сводки.

Материальные лишения, работа в тыловой газете, в подшефном госпитале — это так немного, чтобы успокоить совесть. А семью покинуть невозможно. Вот и сейчас, хотя они ночуют под мирным небом, под прочной крышей, гнетет тревога. Как там мой мальчик? Проспит ли спокойно до утра, не проснется ли, не заплачет?

И последняя мысль, перед тем как задремать, — застану ли я, когда вернусь, письмо из Москвы? Выслан ли вызов? Как тяжело в такое грозное время жить врозь. Меняешься чуть ли не с каждым часом, становишься старше, мужественнее, может, даже мудрее. Открываешь в себе все новое и новое. Как будто идешь дальней, трудной дорогой и не знаешь — выведет ли тебя эта дорога снова к дому, к старым отношениям, и будешь ли ты сама такой, как прежде? И спутник твой, останется ли он таким, как был когда-то? Ведь и он идет по трудной дороге, когда день равен месяцу, а месяц — году...

Я встала, едва рассвело, с трудом распахнула разбухшую раму. Благодатной широкой струей потек на терраску свежий воздух...

Над огромным двором висело туманное небо, видны были казармы, домишко штаба и политотдела, вещевого склад, столовая. Под «грибом» стоял часовой. Из конюшни вывели смирную сивую лошадь, впрягли в фургон — видимо, собрались в пекарню за хлебом. Лошадь меланхолично, как старая балерина, перебирала ногами.

На деревянном щите висела наша газета.

У забора кучкой, на сундучках и чемоданах, поживаясь от утреннего холодка, сидели бойцы, с любопытством оглядываясь по сторонам. Это, видимо, и есть новое пополнение.

Слышно, как за перегородкой встал Самарин, скрипнул сапогами, звякнул пряжкой ремня.

Кто-то постучал к нему в дверь, вошел. Говорили шепотом, чтобы не разбудить меня. Потом я расслышала, что это какой-то Горлов пришел прощаться, уезжает на фронт.

— Я твое нетерпение понимаю,— сказал Самарин с нескрываемой завистью.— Ну, бывай, Горлов...

Послышался троекратный звук поцелуя.

Потом сдавленным голосом Горлов попросил:

— Жена моя здесь остается с ребятишками. Совсем глупая баба. Разрешите ей обратиться к вам в случае чего...

— Сделаю все, что в моих силах, не сомневайся...— Самарин посоветовал: — Ты там, на фронте, песню, шутку не забывай. Шутка раззадоривает бойца... Пиши, какие увидишь недостатки в нашем обучении.

Через окно я увидела, как Самарин вышел провожать плечистого, румяного Горлова, как долго смотрел ему вслед, каким хмурым взглядом оценивал бойцов у забора, как кого-то подозревал движением руки.

Подбежал молоденький кудрявый младший командир, и оба вошли в дом.

Вот этот кудрявый Черенков и будет замещать Горлова. Черенков говорит чуть не плача, что он не справится, разве может он справиться после такого опытного человека, как Горлов...

— А я говорю — справитесь,— настаивает Самарин.— С любыми вопросами можете обращаться ко мне шесть дней и шесть ночей подряд, на седьмой будете действовать самостоятельно...

Может, Жолудев и хотел насолить Самарину, поселив меня по соседству и переложив на него все заботы, но мне тем самым он оказал неоценимую услугу. Интересно все-таки, что за отношения между этими двумя офицерами? Из-за чего у них вражда? Из-за жены Жолудева, это ясно!

За стенкой становится тихо. Только один или два раза глубоко вздыхает Самарин. Мне не хочется его окликать.

Мимо окна проходит грузный Кривошейн в стеганке и стучится в дверь к Самарину. И Самарин сразу же, как будто ждал, перед кем излить душу, повторил фразу, которую уже говорил мне когда-то в редакции:

— Я как эта самая Данаида, что носила решетом воду. Встречаю и провожаю — и снова открываю объятия...

— Это ты про новое пополнение? Опять загадками говоришь?

— Загадка украшает жизнь. Вот я читал одну книгу... Кривошейна в настоящую минуту ни загадки, ни кни-

ги не интересуют. Он требует какие-то списки, листает их, кряхтит, обсуждает. Но Самарин, потолковав о списках, снова жалуется:

— Мне никогда не везло. Что другим само в руки дается, то я зарабатываю горбом. Разве это справедливо? Вот проводил Горлова. Совесть не позволила задержать. Парень ценный, такие на фронте нужны.

— Кого вместо него ставишь?

— Черенкова Володю. Ценю его за любознательность и стремление к новому. Надо только ему выработать самостоятельность.

— Кипяток есть? — спрашивает Кривошеин и жалуется: — Что-то меня опять трясет. Журналистка завтракала?

— Спит, — поясняет Самарин. — Устала с дороги, спит...

— Столовую не закроют? Не проспит?

— Неудобно, — почти шепчет Самарин. — В первый же день — и в столовую. Я тут кое-что приготовил.

— А к нам нового лейтенанта прислали, — громко говорит Кривошеин. — Из училища. В штабе видел.

— Из училища — это хорошо! — радуется Самарин. — Свежий человек, свежие мысли... — И опять переходит к излюбленной теме: — А я? Ни образования, ни серьезной подготовки. К офицерству теперь предъявляются высокие требования.

Кривошеин не отвечает. Он грохочет кружкой — видимо, снова наливает чай. Потом спрашивает:

— Ты для чего этот портрет держишь?

— Подарили, вот и держу.

— Нетактично. На нервах у мужа играешь.

— Какие еще у него нервы! — бормочет Самарин.

— Доиграешься, — остерегает Кривошеин. — Смотри, лейтенант!

Хлопает дверь. Кривошеин уходит. Скрипит кровать — видимо, Самарин сел или лег на койку.

Из окна мне видно, как Кривошеин медлит на пороге, сердито мотая головой, потом идет по двору, подходит к бойцам, разговаривает, закуривает, смеется. Его кисет с табаком переходит из рук в руки. Потом Кривошеин уходит.

Новых бойцов выстраивают для утренней поверки. Суетится и бегают Черенков. Бойцы волнуются. Затем по-

является Самарин, в начищенных сапогах, весь в ремнях, важный как генерал.

О чем он думает, разглядывая разношерстную толпу? Я стараюсь смотреть на пополнение глазами Самарина. Нет, это не погодки, как бывало до войны, не рослые, отобранные один в одного парни. Призывают сразу разные возрасты, война требует солдат. Кто они, откуда? Вот этот тщетно и конфузливо старается втянуть под ремень круглый живот. Наверное, служащий, человек сидячей жизни. Или этот красавец с озорными глазами, полный уверенности, что он нигде и никогда не пропадет. Или тот, до того растерянный и удивленный, что не может понять, где «право» и где «лево», как ему это ни втолковывает Черенков. Подавленный своей непонятливостью, солдат улыбается детской улыбкой. Или вот тот великан с могучими плечами. С такими долго мучаются старшины, подбирая по росту обмундирование. Или этот хилый, сонный, с торчащими ушами. Да, всех их надо в короткий срок сделать солдатами, научить держать винтовки, стрелять из орудия, окапываться, маршировать, переползать, маскироваться, наматывать портянки, чтобы ноги не стирались до крови на марше.

А Самарин все смотрит и смотрит. Так изучает учитель ребятишек, пришедших впервые в класс. Так вглядывается художник в эскизы, приступая к картине. Так перечитывает записные книжки писатель, садясь за повесть. Так знакомится парторг с членами организации.

Вот Самарин бросил окурок и с решительным видом вышел вперед. Младшие командиры уже подравняли строй, подали лейтенанту списки.

— Белацкий! Лобков! Кисель! Кто Кисель?

— Мы,— степенно ответил голубоглазый человек, тот самый, что по-детски улыбался.

— Кисель есть, очень хорошо, теперь надо ложку,— негромко пошутил Самарин. Смешок прошел по рядам.— Флегонтьев!.. Кто Флегонтьев?

— Ну, я...— небрежно ответил молодой, с безучастным выражением лица мужчина.

Самарин внимательно вскинул глаза. Что-то, должно быть, не нравилось ему в этом развалистом парне с толстой шеей. Он строго заметил:

— Как стоите перед командиром? Станьте ровно! Яцына!

Бойкий, с нагловатыми глазами, скуластый, подбористый человек весело отозвался:

— Тут я!

Переключка окончена. Самарин говорит:

— Товарищи новые бойцы! Наша батарея не имела по сегодняшний день взысканий и замечаний, находится на отличном счету в части, хотя состав батареи менялся, обученные нами артиллерийские расчеты отбывали на фронт. Но тот, кто оставался, понимал свой долг, учил новоприбывших, не жалея сил. Репутацией дорожил. Мы и вас призываем к тому же. Помните, товарищи бойцы: в нашем подразделении не было и не должно быть плохих солдат...

Подожли командиры орудий, и Самарин стал с ними советоваться, кого из старых бойцов, оставшихся на батарее, прикрепить к новичкам. Лобков шустрый, этот сам потребует своего, с ним беспокойства не будет. Кисель слишком тих, надо его соединить с бойким человеком. А вот Флегонтьев... Пусть за Флегонтьевым последит командир орудия Черенков. Лично...

И Самарин многозначительно поднял палец.

Черенков вздохнул и, откозыряв, помотал головой. На лице его отразилось отчаяние.

Самарин привык ко мне, перестал стесняться, реже произносил витиеватые фразы. Я и в столовую ходила вместе с ним и на полигон. И теперь вот сижу рядом, читаем газеты. Он изучает сводку и положение на фронтах, очень интересуется, пишут ли что-нибудь про артиллерию и артиллеристов, нельзя ли «позаимствовать» фронтовой опыт. Видно, что самый вид газетного листа ему приятен, нравится даже запах типографской краски. Когда он рассматривал снимки и обдумывал сводку, глаза его заволокло дымкой, он прищурился и смотрел вдаль, словно забыл, где находится.

Потом очнулся и аккуратно сложил газетный лист.

Я невольно спросила:

— А романы, художественную прозу вы любите?

— Конечно! — Он удивился. Но, стесняясь признать, что читает для собственного удовольствия, прибавил: — Даже любовный роман и тот помогает лучше понять психику бойца.

Он долго думал о чем-то, искося взглядывал на меня и наконец спросил в свою очередь:

— А вы, извините, романов не писали?

— Нет, что вы...

— Хотелось бы увидеть человека, написавшего роман.

— Зачем?

— Ну, так. Просто пожать руку. Человек делает такое благородное дело, такое полезное!

— А вы? Вы разве не делаете?

— Кто? Я? У меня ведь совсем никакого образования. Вот на фронте все отдают...— Он хлопнул по газетному листу.— Жизнь отдают, а мы прохлаждаемся...

Ни тени рисовки не было в его словах.

— Прохлаждаетесь? Вы?

Я развела руками.

Работает как черт, обугливается в среднеазиатском пекле, исхаживает в рыжих от пыли сапогах десятки километров в день, ползает по глине на брюхе, обучая бойцов, готовит для фронта артиллерийские расчеты в предельно сжатые сроки — и это называется «прохлаждаемся»!..

Самарин как будто понял мои мысли:

— Мне легко, я ведь работаю с людьми по особому методу.

— По какому это?

— Называется метод индукции,— таинственно сказал он. Щеки его зарумянились, глаза заблестели.

— Индукции? — переспросила я.

— Ну да. В воспитании бойца надо идти от частного к общему, надо подводить человека к цели на примере его собственной жизни... Вам понятно? Это и есть метод индукции.

Тот же плац, тот же часовой под «грибом», то же небо... И только тополь у стены неузнаваемо изменился. За несколько часов короткой весенней ночи огромная тайная работа природы закончилась, почки лопнули, словно их разорвали поодиночке, и из серо-коричневой жесткой и клейкой оболочки показались скатанные, как шинели, в зеленый тугой сверток молодые листья.

За стенкой было тихо. Самарин спал.

Значит, и мне не надо еще вставать. Хорошо, что можно полежать, подумать...

Я уже многое знала о Самарине.

До войны, когда полк жил мирной обычной жизнью, то есть был постоянный командный состав, летом выезжали в лагеря, осенью проводили инспекторские стрельбы, зимой устраивали семейные вечеринки и танцевали в Доме Красной Армии,— в те давние времена Самарина очень любили в полку за отзывчивость и доброту, у него даже было прозвище «Сберкасса. Тайна душевных вкладов обеспечена». С Самариным советовались, ему поверяли свои секреты и невзгоды не только товарищи-сослуживцы, но их жены и сестры, их дети. У него брали деньги без отдачи, перехватывали до получки. Смеялись, что бездомные собаки со всей округи как-то узнают его адрес. Летом в палатке Самарина всегда оказывались то черепаха, то галка с подбитым крылом, то котенок.

На вечеринках именно Самарин крутил ручку патефона, менял пластинки и помогал хозяйке вносить самовар. Именно ему приходилось после танцев провожать на край военного городка самую некрасивую девицу, которую некому было проводить, хотя поговаривали, что ему нравится машинистка Люся.

Самарину же доставались самые трудные задания от командира батальона и неудобные, дальние полигоны для занятий.

Всем он был нужен, всем необходим, незаменим.

Когда в части появился Жолудев — это было еще до войны,— Самарин сразу же сдружился с ним, восхищаясь щеголеватостью, остроумием и находчивостью нового командира.

Через месяц-другой Жолудев внезапно женился на Люсе. Огорчило ли это Самарина, никто не знал,— во всяком случае, он на свадьбе присутствовал и даже подарил молодым огромную, как поле, зеленую скатерть. Но дружба с Жолудевым как-то расклеилась,— может, потому, что Жолудев пришелся по душе начальству и быстро продвигался, а Самарин так и остался командиром батареи.

С началом войны жизнь в части круто переменялась, довоенные отношения и традиции забылись, потеряли свое значение.

Да и мало кто из «стариков» остался в полку. Уехали

на фронт, на формирование новых дивизий. Многие погибли в боях...

Кое-что о Самарине тепло и ласково рассказал Кривошеин. Но он знал это с чужих слов или из личного дела. Сам он был новым человеком в части, до войны работал мастером на мясокомбинате. Жолудев на мои расспросы отвечал снисходительно, чуть насмешливо. Даже пожимал плечами, удивляясь, что меня интересуют такие пустяки. В его освещении Самарин выглядел недалеким, простоватым. То, что восхищало Кривошеина, Жолудеву казалось смешным. Про скатерть, про свадьбу Люси, про вечеринки сообщила мне сестра из медчасти, немолодая, деятельная женщина. Она, шепелявя, говорила намеками, не прямо:

— Люся работала машинисткой в штабе... Еще до войны... Она лучше всех знает Самарина... Вообще в части только, кажется, и остались из старых — это Люся, Жолудев и Самарин... Надо же, чтоб именно эти трое остались...

Нет, с Люсей надо обязательно встретиться.

Конечно, это не имеет отношения к теме очерка. Психологические подробности газете не нужны. Надо рассказать о трудовом опыте Самарина, о том, как он готовит резервы для фронта. Все остальное, и история с Люсей в том числе, это и есть «восходы и закаты», о которых меня предупреждал секретарь редакции.

А все-таки я выберу время и поговорю с Люсей.

За стеной закрипела кровать. Самарин проснулся.

Когда мы вышли с ним, он посмотрел на тополь, побобовался, как он нежно зазеленел. И сказал:

— Значит, скоро-лето. Начнется пекло...

Мы прошли через двор, обсуждая сегодняшнюю сводку. Вышли из ворот, окаймленных колючей проволокой. Перед нами простиралось голое пространство тускло-желтой земли. Будто нарисованные китайской тушью на старом пергаменте, торчали редкие темные голые деревья, серые развалины глиняных хибар. Под деревом у дороги сидели на корточках две узбечки — старая, темная и корявая, как дерево, и молодая, в ярком платье, смугло-розовая, с алмазными глазами под длинными ресницами.

Женщины продавали всякую всячину — семечки, тоненькие спицы зеленого лука, кислое молоко.

— Селям алейкум, — сказал Самарин, проходя.

Старуха радостно закивала в ответ, молодая потупилась, закрылась отлитой из бронзы узкой ладонью.

Солнце разогнало туман, показалась далекая извилистая линия пологих горных вершин.

— Это мне напоминает Кавказский хребет,— сказал Самарин.— Но тот более величавый...

Лейтенант стал вспоминать долгие ночи в седле, горные узкие тропы, по которым ходил подростком. Учетчиком по животноводству, с папкой «Мюзик» под мышкой, бродил он от табуна к табуну, подсчитывая поголовье. Прибавил себе года, чтобы взяли на службу в финотдел. По ночам в горах было холодно и страшно от шорохов, вскриков, шумов. То камни скатывались с угрюмым рокотом в ущелье, то кричали ночные птицы, то выл, рыдал голодный шакал. Самарин полностью испытал тягостное чувство одиночества, безлюдья, молчания.

Когда случалось подходить к костру, пастухи неприветливо смотрели на его папку. И он молча сидел с ними у огня, вдыхая запах горячей баранины.

Призванный в армию, Самарин ошалел от счастья: люди, люди... Все время он был на людях, с людьми!.. Отслужив срок, остался в армии пожизненно.

— И никогда не жалели об этом?— спросила я.

Самарин ответил задумчиво:

— Ну что вы! Нисколько.

По небу быстро двигались облака.

— Вот так по узкой дороге бегут овцы, когда испугаются,— сказал Самарин,— какая-то клубящаяся масса серой шерсти.

Я спросила:

— Вы тогда рассердились на меня зимой, ну, за стихи?

— Что ж сердиться на правду?— Он замедлил шаги.— Чувствуешь очень красиво, даже в горле сжимает. А на бумаге оказывается просто ерунда...

И он робко и виновато посмотрел на меня.

Облака рассеялись, теперь все сверкало, сияло, золотилось. Впереди виднелся огромный пустырь, где проводились занятия, изборозженный ходами сообщений, брустверами, ячейками, оползшими и недавно вырытыми окопами разного профиля.

Пройдет всего несколько недель, и жара сделает свое дело. Всю эту молодую, едва наметившуюся листву и

траву, упорно лезущую из песка, из трещин и расселин, обожжет зноем. Но сейчас листья еще были невесомыми, легкими, не имели плоти. И цвет был не летний, не темно-зеленый, а нежный, светлый; кроны еще не сливались в сплошную массу, а трепетали, как прозрачная ткань, сквозь которую просвечивало весеннее небо.

Кое-где в траве уже вспыхивал, как яркий огонек, дикий красный тюльпан, занесенный ветром с гор.

Сегодня отрабатывали противотанковую оборону. Самарин сейчас же убежал проверять, правильно ли командиры орудий выбрали позиции.

Бойцы в желтых от глины ботинках, навалившись и покрикивая друг на друга, тащили пушку по размокшей от ливня земле.

То подпирая плечом, то надсадно крича, суетился среди молодых солдат Черенков, весь красный, взволнованный, хорошенький, как переодетая девушка.

Я узнала кое-кого из солдат. Вот Кисель, вот Лобков, вот толстый солдат со странной фамилией Обух.

Я немножко гордилась своей профессиональной памятью. Но зато хорошо знала и слабость — теперь начну думать о каждом из этих людей, меня захватит и взволнует различие характеров и судеб каждого, а окажется, что все эти очень важные для меня подробности совсем не важны для дела, ради которого я приехала.

Мне, например, очень многое сказала мелочь: бойцы, тащившие на пригорок пушку, тащившие с трудом, выбиваясь из сил, все-таки обминули цветок. Обминули, не сговариваясь.

Кисель, голубоглазый, добрый солдат, вытер пот со лба и, оглянувшись вокруг, сказал:

— Красота какая!.. Теплынь, а дома еще снег в поле лежит...

— Другая широта, другой меридиан,— авторитетно отозвался Лобков.

Рядом со мной появился Самарин. Вид у него был веселый, пилотка сидела на самой макушке. Он сказал, довольный, не сомневаясь, что я пойму:

— Черенков-то, Черенков, а? Молодчина! Местность хорошо просматривается, танкам не удастся подойти скрытно.

Он пресерьезно объяснял мне, что танки и самоходки противника могут появиться только из-за тех вон лачуг.

справа или из котловинки, откуда выехал сейчас на сером вислоухом ишачке мальчишка в тубетейке.

Сияя кирпичным румянцем, мальчишка подъехал ближе к нам, пяля глаза на пушку. Кроткий ишачок осторожно тянул плюшевые губы к тоненьким иголочкам травы.

Кисель улыбнулся своей мягкой улыбкой и сказал любовно мальчику:

— Ишь ты! Не боишься пушки, герой?

— Разговорчики, разговорчики!— отрывисто бросил Черенков, косо оглядываясь на Самарина.

Но Самарин молчал. Это он вырабатывал «самостоятельность» в Черенкове. Еще вчера с вечера он придирчиво отработывал с ним и с командирами остальных орудий «тему занятия» и теперь предоставлял им полную творческую инициативу.

Когда мы с Самариным обошли участки, где занимались другие орудийные расчеты, и снова вернулись к Черенкову, бойцы окапывались.

Взлетали комья земли, блестели лопаты.

— Не вижу маскировки,— прозвучало первое замечание Самарина.

— Не успели, товарищ лейтенант,— краснея от досады на свою забывчивость, оправдывался Черенков.

— Как это не успели? Противник не станет вас дожидаться. Он ударит из-за укрытия— вот оттуда— и разнесет батарею раньше, чем вы успеете произвести выстрел.

— Вот это верно!— вырвалось у Лобкова.

Кисель от удивления развел руками.

Флегонтьев, боец, которому Самарин сделал замечание уже при первом знакомстве, стоя по колени в окопчике, медленно пересыпал с руки на руку горсть земли.

— Что мешкаете?— спросил Самарин.— Знаете, какая глубина положена по уставу?

Флегонтьев нехотя разжал пальцы, выбросил слипшиеся, влажные комки.

— В нашем крае совсем другая почва— чернозем.— Он поплевал на ладони и лениво взялся за лопату.

— Вы находитесь в обороне.— Голос Самарина набирал резкость, твердел.— Каждая минута дорога. Надо готовиться к встрече противника: разведка донесла, что вражеские танки близко.

Флегонтьев ухмыльнулся. На его крупном красном лице с маленькими заплывшими глазками было написано недоумение.

— Какой же противник, кругом чистый полигон! Учеба! — пробормотал он.

— На учебе все должно быть как в настоящем бою. Иначе вы не научитесь воевать, — строго сказал Самарин и отошел.

Лобков, разгоряченный, азартный, точно выполняя указания Черенкова, наводил оружие. Самарин остановился, посмотрел, что-то поправил, объяснил. Потом вскользь спросил:

— С завода?

— С завода, товарищ лейтенант. Токарь.

— Оно и видно. Рабочего сразу видно

Когда мы отошли, Самарин сказал мне доверительно:

— Этот ничего. А вот Флегонтьев — нет, не нравится.

— Почему? — спросила я, хотя Флегонтьев и мне не нравился.

— Тусклый глаз, — лаконично ответил Самарин. — И вот этот еще... — Он чуть вздохнул и сдвинул свои белесые брови, присматриваясь к Яцыне.

Я тоже стала приглядываться, припоминать.

Верткий, исполнительный, даже услужливый, он, как нарочно, старался попасть на глаза Самарину и выказать свое усердие. Больше всех суетился, когда перетаскивали пушку, но не толкал сам, а все забегал сбоку и спереди, смотрел под колеса, кричал и подбодрял. Ноздри его узкого хрящеватого носа трепетали. Команду Яцына понимал с полуслова, шуткам смеялся громче всех, но похоже было, что он не слышит ни команды, ни шуток, а особым чутьем угадывает, как и что делать. Узковатый в плечах, он все же не производил впечатления слабого человека, скорее выносливого и ловкого. Что в нем плохого заметил Самарин?

Когда командир подошел к наблюдателю — худощавенькому пареньку во взмокшей на спине гимнастерке, с таким восхищением и ужасом напряженно смотревшему в огромный бинокль, будто из котловины вот-вот и вправду появятся танки, — паренек вытянулся и со счастливым придыханием, с удовольствием доложил, что боец такой-то ведет наблюдение за передвижением противника,

Самарин жестом показал, что вытягиваться во весь рост не надо, его могут обнаружить.

— Учащийся?— спросил он, беря из рук наблюдателя бинокль и поднося к глазам.

— Так точно!— Боец снова сделал попытку вытянуться, и снова Самарин жестом остановил его.— Так точно... Учился на первом курсе техникума.

Самарин кивнул.

И опять пошел по полигону, то пригибаясь, то перебегая от дерева к дереву, показывая бойцам, что если он от них требует точного выполнения законов боя, то и сам не позволяет себе никаких вольностей и поблажек.

Обух, тяжело и неловко ложась выпирающим животом на черенок лопаты, устраивал себе окопчик. Он сконфуженно посмеивался над своей нерасторопностью и даже слегка пожимал плечами.

Самарин отнесся к нему сочувственно.

— Тяжело с непривычки?

— Пока не жалуюсь...— принял молодежавый вид пожилой солдат.

— Покажите руки...

Ладони у Обуха кровоточили, мокли раздавленные черенком лопаты водяные пузыри.

Самарин недовольно покачал головой и, взяв из рук Обуха лопату, стал показывать, как ее надо держать.

— На гражданке кем были?

— Главным бухгалтером. Годовые балансы сдавал в срок, не спал ночей, но вот... чемодан...— Он похлопал себя по животу, но испугался, не слишком ли вольно себя держит, и опустил руки.

Самарин дипломатично сделал вид, что не расслышал. Обух спросил торопливо:

— А что сегодня в газетах? Сводка какая?

Самарин выразительно поднял брови.

— Все то же...— сказал он.— Все то же. В тринадцать ноль-ноль будет политинформация.

Политинформацию проводил Кривошеин. У меня гудели от ходьбы ноги, и я уселась чуть в стороне от собравшихся в кружок бойцов.

Кривошеин рассказал, что делается на фронте, показал карту, посоветовал выделить агитаторов. Выделили Лобкова. Чуть краснея, Самарин достал из кармана сло-

женную прямоугольником, стершуюся на сгибах газету и протянул Лобкову.

— Вот в газетке есть факт про героя-артиллериста.

Лобков читал хорошо, внятно, и Самарин снова заволновался так, будто это кто-то близкий ему лично, родной остался один на один со своим оружием перед немецким танком. И мне снова показалось, что не тихий, огромный пустырь в предгорьях Средней Азии видит Самарин, а изрытое воронками поле боя.

— Поклянемся быть такими, как этот артиллерист! — пылко сказал Самарин, когда Лобков сложил газету.

— Артиллерист умирает, но не сдается, — добавил Кривошеин и полез в кисет за табачком.

Случайно я посмотрела на Флегонтьева. Он отвернулся — не то задумался, не то просто скучал.

Когда часа через два, обойдя другие позиции, мы с Самариным снова пришли к Черенкову, Флегонтьев уже совсем скис и обмяк, пот заливал его одутловатое лицо.

— Ну что, не нравится? — спросил Самарин.

— Кидаем землю с места на место. А к чему? Польза какая?

— Балованный ты, — иронически заметил Черенков и посмотрел на Самарина, ища одобрения.

— Верно, балованный, — неожиданно согласился с ним Флегонтьев, — я ведь очень хорошо жил. Домик свой, огород. Помидоры с кулак величиной выращивал, жинка на базаре продавала...

— О барышах подумаешь после войны, — сухо заметил Самарин.

— Какие же теперь барыши! — вяло согласился Флегонтьев. — Только бы живыми остаться, вот и вся выгода.

Самарин задумчиво сказал, когда мы вместе с Черенковым отошли в сторонку:

— Да, без метода индукции здесь не обойтись. Флегонтьева надо вести от частного к общему. Он же цели, идеи не видит.

— Может, он еще обомнется... — Черенков попробовал было взять Флегонтьева под защиту, но тут же сердито добавил: — Да что ему обминаться? Здоровый, крепкий, как боров... Лодырь он — и все. — Юное лицо Черенкова

выразило крайнюю степень негодования. Самарин промолчал.

Солнце скрылось, и сразу же выпал туман, стало холодно и сыро. Заволокло серой пеленой далекие горы, туман заполнил котловинку, откуда могли показаться тапки, залил снятым молоком ходы сообщения, ячейки, окопы.

Бойцы с нетерпением ждали, когда кончатся занятия. Давно стихли разговоры, шутки.

Наконец Черенков приказал строиться.

Люди подравнивались молча, молча вытирали пот со лба, зябко поводили плечами.

— А ну командуй песню! — приказал Самарин Черенкову. — Песня веселит.

Меня разбудили громкие голоса.

Как только я доплелась с полигона, то повалилась на койку и задремала. Даже позабыла задернуть занавеской окно, выходящее из комнаты Самарина на мою терраску, и оно выделялось теперь ярко освещенным квадратом.

Самарин сидел на табуретке в гимнастерке без пояса, вымытый, и держал в замершей руке раскрытую книгу. Спина его была неестественно напряжена.

В дверях, натянуто улыбаясь, стоял начштаба Жолудев и какой-то немолодой младший лейтенант с седыми висками. Жолудев был несколько смущен.

— Да, палаццо не очень роскошное, — говорил он, с легким пренебрежением оглядывая комнатку с узкой, застланной шершавым одеялом кроватью. — А все-таки принимай, друг, гостя. Новый товарищ. Поселить пока нигде... — Он показал бровью на мою террасу. — После переселим...

— Нет, я что же... Я не против... Я рад... — поспешно ответил Самарин, застегивая ворот гимнастерки. Он не смотрел в лицо Жолудеву, отводил глаза. Как будто врал он, а не Жолудев. Даже я понимала, что тот пальцем о палец не ударил, чтобы устроить нового лейтенанта в другом месте.

— Время военное, об удобствах думать не приходится... — Жолудев не договорил. Вытянув шею, он старался рассмотреть темный снимок в деревянной рамочке, сло-

явший на тумбочке.— Сохраняешь? — спросил он, стараясь вложить в эти слова как можно больше равнодушия.

— Так точно, сохраняю...

Мгновение они смотрели в лицо друг другу, потом Жолудев начальственно спросил:

— Ну что, достал новые погоны?

— Нет, ездил в военторг, еще не поступили.

— Эх, ты! — пренебрежительно укорил Жолудев.— Тогда лучше не попадайся «первому» на глаза.— Ловко, любясь этой своей ловкостью, он откозырял, шелкнул каблуками, бросил на ходу приезжему лейтенанту:— Пока! — И только у самой двери задержался, еще раз оглянулся и сказал:— Устарелый снимок...

Самарин проводил его до порога, закрыл дверь, вынул из кармана кисет и вежливо осведомился:

— Надеюсь, вы курящий? А то я ведь курю.

Только теперь тот представился:

— Абрамов.

«Абрамов? Неужели это Абрамов?..»

Высокий, чуть сутулый младший лейтенант в новенькой, топорщившейся, только что со склада, военной форме, в фуражке с черным артиллерийским околышем, он все еще казался мне незнакомым. Но эта стеснительная, чуть растерянная улыбка...

— Да вы садитесь. Я прикажу внести койку, — сказал Самарин.

Абрамов все еще стоял, как на вокзале, не выпуская из рук чемоданчика.

— Как-то я не думал, что попаду из училища в тыл. Я на фронт просился.

— На фронт!.. Еще погрееетесь в Средней Азии, раньше чем попадете на фронт.

Абрамов разглядывал скромную обстановку, гитару над кроватью, стопочку уставов на полке, зеркальце, шинель на крючке. Взгляд его остановился на портрете, стоявшем на тумбочке.

— Это ваша жена?

Самарин покраснел:

— Нет, не жена. Я одинокий...

— И я одинокий.— Абрамов неловко пожал плечами.— Вернее, вдовец.

Внесли койку. Абрамов вынул из чемоданчика две-три

книги, альбом с фотографиями, стопку носовых платков, бритву, мыльницу.

— И давно овдовели?

— Нет, недавно...

— А-а...— посочувствовал Самарин.— Дети есть?

— Девочки. Две... Пришлось их с бабушкой к родне отправить. Хотя сам-то я здешний. В городе у меня квартира.— Он показал на темный проем окна, за которым чернели деревья, как будто мог отсюда увидеть свою квартиру.— Я в газете работал.

Самарин встрепнулся.

— О, вот как!— сказал он с уважением.— Абрамов? Абрамов — это я знаю, из газеты. А у нас тут рядом тоже корреспондент живет. Женщина...

— Кто же это? Интересно...

Я поправила волосы, всунула голову в окно и поздоровалась:

— Так это вы, лейтенант Абрамов?

— А это вы женщина-корреспондент?

— Я.

— Вы не забыли? Меня зовут Александр.

— Вы тезка моего сына. Разве я могу это забыть?

Когда я поступила здесь, в Средней Азии, на работу, девчонки из регистратуры, жалуясь на строгую дисциплину при новом секретаре редакции, прожужжали мне уши рассказами, как было хорошо и вольготно раньше.

«Абрамов был совсем не такой. Добрый, культурный, писал фельетоны как бог. И вообще романтик... После смерти жены ушел из газеты в журнал, чтобы по вечерам быть дома. Он сам укладывает спать дочек. И ни за кем не ухаживает...»

Однажды Абрамов привел к нам в редакцию на елку свою младшую девочку в алой плюшевой шубке, в красном капоре, с тоненькими-тоненькими ножками. Девочка недоверчиво смотрела на людей, жалась к отцу и уж никак не могла затмить моего сына...

Потом в редакции всех взволновало, что Абрамов поссорился с начальством и остался без работы. А значит, и без продовольственных карточек. Без карточек тогда было хоть пропадай! Негде поесть, разве только какую-ни-

будь требуху на Алайском базаре. И то за большие деньги!

Теперь Абрамов заходил чаще, и все наши ругали его, считая гордецом, который никак не хочет похлопотать за себя. Товарищи считали, что это он сломался после смерти жены.

Я как-то позвала его в гости, у нас все-таки было полегче с едой, мне хотелось, чтобы он пообедал с нами. Но он обедать не стал, дичился, разговаривал только с одним Сашей. Бабушки смотрели на него и на меня неодобрительно, каждая сидела на своей кровати, сложив на коленях руки, и выжидала, когда он уйдет. Какой уж тут мог получиться разговор!

Провожая его, я все-таки сказала:

— Саша, надо бороться. Нельзя же так...

— Зачем? Я хочу только одного — в армию.

И вот он лейтенант. Младший лейтенант.

Абрамов сказал:

— Читал ваш новогодний рассказ в газете. Даже похвастал в училище, что знаком.

— Ругали?

— Нет, почему. Сюжет, конечно, условный, новогодний, но зато пейзаж, сосны настоящие...

— Это потому, что сосны я видела, а писать о войне, сидя в тылу, трудно. — И спросила: — Как ваши девочки?

Абрамов молча выложил на стол две карточки. Я тоже бросила козырный туз — Сашу в пушистом свитере, с очаровательными ямочками, с черной кошкой на руках.

Мы все трое молча смотрели на снимки.

— Люблю детей, — сказал Самарин.

Я невольно скосила глаз на портрет той самой белокурой Люси, которую он встречал на вокзале. Почему она вышла за Жолудева, а не за него?

Перехватив мой взгляд, Самарин смутился:

— Это память, вместе служили.

Позже мы вышли немного погулять.

Луна пробилась сквозь поток облаков, и сразу смутно обозначились ряды уходящих вдаль палаток, выступы стен, «грибы», щиты для газет — и все это, отбрасывая тени, исчертило плац путаницей светлых и черных угловатых пятен, придающих пейзажу таинственный облик.

Высокие одинокие тополя, казалось, вытянули своими глубокими корнями все соки из этой небогатой, черствой земли. Тени простирались наискось, будто на лагерь упали срубленные деревья. А там, где из лопнувших почек упрямо лезли веселые жгутики листьев, тонкие ветки, освещенные луной, плели замысловатую, непрочную, хрупкую вязь.

— Да, человек предполагает...— сказал Абрамов. И пожал плечами: — Не надеялся я встретить эту весну в Средней Азии...

Самарин зашептал, временами сбиваясь на доверительное «ты»:

— Зато приобретешь опыт. Технику ты знаешь, грамотный, теперь осваивай преподавание. Хочешь стать настоящим командиром — изучай людей. Состав разный: один боец горячий, другой нервный, третий хладнокровный. Который совершенно нервный — на того сразу не наседайте, дайте остыть, потом подойдите снова. Вникайте, что у бойца на душе.

Облака разошлись, луна стала ярче. Поднимаясь, она отвоевывала у темноты землю. Как огромный серебряный поднос с чернью древнего узора, открылся простор степи с редкими купами деревьев и низкого кустарника, с громадами горных цепей, с чертой горизонта.

Самарин в рассеянности несколько раз потянул потухший окурок, потом бросил и сказал, затапывая его каблуком:

— Душа — это все. Без души и любви настоящей не бывает, верно я говорю?..

Абрамов усмехнулся, кривя угол рта.

— Ведь должна быть у человека хоть раз в жизни настоящая любовь! Правда, должна?— опять спросил Самарин.

— У меня была.— И вдруг молчаливый Абрамов заговорил с горячностью, с болью:— Я даже не понимал раньше, какая у меня жена... Одержимая, настойчивая... Не поверите, цветы у нее в палисаднике и те росли лучше, чем у соседей... а училась как... она в пединституте училась. Днем позвонила мне на работу: «Саша, я заболела, вызывай скорее врача». А я даже с работы не мог уйти, мы номер делали. Через два дня — все, конец... Не уберег. Не смог спасти.

— А дети?— сразу же спросил Самарин.

Абрамов зябко передернул сутулыми плечами:

— Дети? Я жене дал слово никогда не оставлять детей, жить, как при ней. И жили бы, но война...

— Детей очень жалко, — сказал Самарин.

— Что делать? Не мы одни.

Уже потом, со своей терраски, я слышала, как за стеной Абрамов, взбивая тощую подушку, сказал:

— Когда я получил назначение, то заезжал по дороге к девочкам на три часа, от поезда до поезда. Маленькая уцепилась за мой рукав и молчит. Хоть бы плакала или жаловалась, а то дрожит и молчит...

— На все один ответ, — почти выкрикнул Самарин. — Надо, надо бить Гитлера! На все ответ один. Надо его, мерзавца, бить!

Я слышала, как он мерил шагами тесное пространство комнаты, потом шаги стихли, и он сказал проникновенно:

— Однако, на мой взгляд, политработа бы вам больше подошла.

— Э, нет! — обиделся Абрамов. — Воевать — так в строю. — И добавил: — Вы не думайте, что я слюняй. Это я сегодня раскис. А в училище я был веселый, даже в самодеятельности участвовал.

Вскоре Самарин погасил свет, в комнате стихло. И вдруг он сказал:

— Меня давно уже никто по имени не называл. Все по фамилии — Самарин или лейтенант. А чтобы Колей — нет, никто...

— А эта вот, что на портрете, Люся... разве не называла?

— Люся? А вы ее знаете?

— Все-таки тесно на земном шаре, — сказал Абрамов. — Случайно знаю... Мать ее в нашем доме живет. Если Люся такая же, как девочкой была...

— А что? Разве плохая?

— Не то чтобы плохая, а какая-то нетерпеливая. Конфету дашь — смотрит, у кого лучшая. В книжке сразу хочет знать, хороший ли конец. Взрослой я ее уже почти не встречал, так что ничего сказать не могу, но мать хвалилась, что Люся замуж вышла, кажется, за полковника...

— За капитана, — поправил Самарин. И сказал горячо: — Из Люси хороший человек получился бы, замеча-

тельный, но характер у нее уступчивый, мягкий, она...— Он вдруг замолчал, оборвав на полуслове, и только преддожил:— Пора спать, вы ведь с дороги...

Люся встретила меня удивленно:

— Вы к Жолудеву? Он в штабе.

Я придумала причину — будто распоролся шов на юбке, а у нее, мне сказали, есть швейная машина.

Она неловко посторонилась и впустила меня в большую комнату, щедро расписанную букетами роз. В Средней Азии это принято.

Потом я сказала, что пишу о Самарине для газеты и хотела бы ее кое о чем расспросить.

Она испугалась:

— Но почему меня?

— Из старожилов полка почти никого не осталось.

— Это верно.

Бархатное одеяло на кровати, накрахмаленный до жесткости тюль на окнах, подогнанные один к одному, тесно-тесно цветы в баночке — все это настраивало меня против Люси. И сама она держалась странно, смущенно.

Как только я заговаривала о Самарине, она начинала нервничать, словно не знала, как заглушить давнее беспокойство. Но я ее не жалела.

— Вы старые друзья?

— Ну конечно, поскольку я работала в полку.

— И только?

— Ну, проводили время вместе, — как бы уступила мне Люся. — Он ведь такой чудак. Он очень добрый... Он все готов отдать людям...

— Так это ведь хорошо!

— Для людей хорошо, а для него... — Люся пожала плечами: — У него никогда лишней рубашки не будет.

Она взяла со стола кусок полотна и стала аккуратно подрубать — видимо, готовила пеленки. Потом сказала совершенно неожиданно:

— Вам бы понравилось, если бы над вашим ухажером смеялись? А над ним все смеялись. Шурик меня прямо у него из-под носа увел, а он ничего не замечал, считал его своим другом.

Она ожесточенно вспоминала «глупые выходки» Са-

марина, как будто хотела доказать и себе и мне, что поступила правильно, выбрав в мужа Жолудева.

Она сказала не без гордости:

— Шурик очень недоволен, что Самарин мое фото на столе держит. Но при чем здесь я? Я же не прошу. И на вокзале он меня встречает. Вот вы сами видели...

К ее беленькой детской мордочке, к кудряшкам так не шли тяжелый живот, пятна на лбу, распухшие губы.

— А вам он никогда не нравился?

— Что уж теперь толковать, теперь уж это все равно...— Она сложила пеленку, разгладила рубец и спросила:— А у вас есть дети?

— Сын...

— Очень это страшно? Вы боялись?

— Все боятся.

Она открыла комод, вытащила стопку распашонок, свивальников, пеленок — все вышитое, все обвязанное цветными нитками.

— Ваш сын на кого похож? Я бы хотела — на Шурика. Правда, он интересный?

Она как-то неуверенно предложила мне чаю, поставила на стол пиалы и варенье. Поколебавшись, вытащила еще вазочку с орехами и щипцы.

Мы стали колоть орехи.

Когда вошел Жолудев, то первое, что он сделал, это нагнулся и поднял скорлупку, свалившуюся со стола на пол. Люся вскочила, начала прибираться. Жолудеву, видно, очень хотелось знать, что я здесь делаю, но он не спросил, только осведомился:

— Подвигается ваша работа? Нашли героическое в нашем Самарине?

— Нашла. Завтра я уезжаю.— Я усмехнулась:— Сможете поселить к Самарину нового жильца...

Он тоже засмеялся — видимо, над безропотностью Самарина.

Наступила та неприятная пауза, когда всем хочется поскорее расстаться и никто не знает, как бы это половчее сделать. Я в таких случаях всегда теряюсь — чем больше хочу уйти, тем дольше сижу.

— Поужинайте с нами,— пригласил Жолудев. И посмотрел на часы.

Не зная, что сказать, я вспомнила:

— Да, этот новый командир, Абрамов. Оказывается, он сосед вашей мамы, Люся. Вы его помните, да?

— Он здесь? Ой, что вы!..— Люся заволновалась.— Я к ним книги всегда бегала брать. Какая у него хорошая жена была, вы бы знали! Она умерла. Шурик, надо его пригласить, да?

Жолудев посмотрел на меня и ответил специально для меня:

— Принципиально не нахожу возможным путать служебные и личные отношения. Мало ли кто был твоим соседом! Здесь он младший лейтенант.

Люся сникла.

— Я у них книги всегда брала,— опять зачем-то сказала она.— И «Хижину дяди Тома», и Толстого, и Фадеева...

Ужинать я не стала, но с любопытством смотрела, как вертелась Люся, подавая мужу еду, как он морщился, как требовал то соли, то красного перца, то спичку — поковырять в зубах.

Но когда Люся захотела выйти меня проводить, накинув платок на плечи, он вдруг забеспокоился, что холодно, и стал настаивать, чтобы она надела новое коверкотовое пальто. Он даже распахнул дверцы шкафа, чтобы я увидела, как у нее много платьев.

Мы вышли на крыльцо, она дошла со мной до калитки и остановилась.

— Я вернусь. Может, Шурику что понадобится... Он без меня ничего не найдет.— Она вдруг спросила:— Неужели это возможно... что Самарин... что он все еще...

— Любит вас?

— Мы когда встречаемся, то я все смеюсь, шучу, держу себя как когда-то. Только с ним и держу себя как когда-то...— с болью сказала она.— А так я переменилась, я совсем другая стала, не такая смелая.— Она оглянулась и шепотом, как будто ее мог услышать в доме муж, добавила:— Я иногда думаю, а какая бы я стала, если бы за Самарина вышла?.. Ну, ничего, появится ребенок — все забудется... А может, умру родами, тогда никому не обидно...

Она пошла к дому. Пальто зацепилось за калитку, она с силой рванула полу, позабыв, должно быть, что это новое пальто.

...Так я и не знала, что записать в тетрадь о Люсе, не знала, что о ней думать. И Абрамову не могла объяснить, какое же Люся произвела на меня впечатление.

— Неужели такая загадочная натура?— удивился он.

— Иногда мне кажется, что все натуры загадочные...

— Очевидно, вы никогда не играли в шахматы... просто есть большое количество комбинаций.

Я попыталась отшутиться:

— Будь я богом, всех женщин сделала бы счастливыми...

— Но у каждого свое представление о счастье...

— Все-таки — когда тебя уважают, когда ты остаешься сама собой. Она как побитая собачонка, эта Люся, и радуется, что есть хозяин...

Абрамов стоял у окна, я сидела за столом в их комнате. И так странно было, что я, у черта в турках, в Средней Азии, в резервном полку, в чужой комнате, обсуждаю чужие любовные дела.

Абрамов еще что-то говорил, усмехаясь, я даже не слушала. Тогда он спросил:

— Значит, Люся окончательно вам не понравилась?

— Совсем не то. Просто мне еще больше понравился Самарин.

— Почему, хотел бы я знать?

— Потому, что с ним даже эта Люся была бы другой... не знаю, понятно это?

— Мне понятно...

Мы снова заговорили о газете, и чем больше и искреннее Абрамов говорил, как он рад, что оказался в полку, а не в редакции, тем больше я чувствовала, как он любит газетную работу, редакционную атмосферу, суету, гранки, спешку — все то, что не особенно любила я. Даже в информации, в репортаже он находил свою прелесть. И возмущался, что областная газета верстается хуже, чем было при нем.

— Почему же вы не попросились в газету?

— В тыл?!

— Можно во фронтовую...

— Потому что сейчас не время искать дело по вкусу. Надо выбирать то, что опаснее...

Можно было сказать, что гораздо правильнее делать то, что ты можешь сделать лучше других, быть там, где

ты полезнее. Но я понимала, что Абрамова мне сейчас не переспорить.

Передо мной все еще стояла Люся, я все еще видела, как она бежит от калитки, иступленно дергает полу пальто. Нет, она не забыла Самарина. И не забудет. И чем дольше будет жить с Жолудевым, чем больше будет цепляться за него и гордиться его внешностью и успехами, тем нежнее будет вспоминать Самарина с его белесыми бровями, скромностью и щедрой душой.

Я так расчувствовалась, что, когда Самарин вошел, шелкнул выключателем и спросил: «Что же вы сидите в темноте? Сейчас будем чай пить...» — ответила:

— Там, где вы, всегда свет... и тепло... и чай... — И почти огорошила его: — Можно пожать вам за это руку?

Он покорно протянул руку, чуть побледнел и сказал торжественно, верный себе:

— Это рукопожатие я рассматриваю как символ дружбы...

Хотя совсем недавно я сделала на редакционной «летучке» сообщение «Что такое очерк», сочинение мое о Самарине не получилось. Давил материал. На «летучке» я утверждала, что надо умело отбирать детали, именно те, что работают на основную идею очерка, теперь мне жаль было расстаться даже с самой пустяковой, мелкой подробностью. А их было слишком много.

Но задание есть задание. И очерк я написала.

Секретаря редакции насторожило прежде всего название.

— Позвольте, — тыча карандашом в мою рукопись, недовольно спрашивал он, — в чем же метод? Что это еще за индукция?

— Это метод исследования от частного к общему...

Секретарь покраснел. Он был молод и очень самолюбив. Широкие брови поднялись над его круглыми глазами как две арки:

— Я спрашиваю, в чем состоит метод вашего Самарина...

— Но я же пишу об этом. Его воспитательный метод состоит в любовном, правдивом подходе к людям.

— Здравсте, я ваша тетя! — сорвался секретарь. Но сразу же заявил официально: — Это метод нашей партии,

и я не вижу причины для возвеличивания какого-то отдельного Самарина...

Я держалась так кротко лишь потому, что не знала, как же ответить на вопрос. Действительно, а в чем сущность, в чем особенность самаринского метода?

— Придется поехать еще раз и доработать. Материал в общем интересный, поучительный. Он что, на самом деле такой хороший парень, этот Самарин?

Как только наш секретарь забывал, что в военной газете надо держаться строго и соблюдать субординацию, он становился простым и симпатичным. Тем не менее я не рискнула сказать, что не хочу ехать. Со дня на день я дожидалась вызова в Москву.

Предстояло немало трудного: достать билеты, уложиться, продать ненужные хозяйственные вещи, которыми мы здесь обзавелись. На семейном совете мы решили обязательно сменить шерстяной отрез на муку и рис. Все-таки страшно вато с ребенком в голодной Москве.

Меня терзали сомнения — не рано ли мы едем?

А ехать надо. Тоска по Москве, по дому очень сильна. Просто невыносимо больше ждать.

А все-таки мне очень хотелось, чтобы материал про Самарина напечатали. Тем более что в работе редакции наступило оживление. Назначен новый заведующий отделом боевой подготовки, майор, раненный под Москвой. И принят литсотрудником еще один фронтовик-красноармеец, выписавшийся из госпиталя, бывший московский критик. В отделе мне обещают полное содействие — если надо, то целую полосу, со снимками, с рисунками. «Только скорее, скорее давайте свой очерк!»

Однако обстоятельства сложились так, что я попала в полк, где служил Самарин, не скоро.

Стояла жаркая, уже летняя погода. С рассвета небо заливало огнем, и некуда было спрятать глаза от нестерпимого солнечного блеска. Все пошло в буйный рост — и травы, и цветы, и листва. Деревья надели мохнатые шапки, солнце не пробивало их, и тени ложились на землю темными кругами.

Подразделение Самарина было на занятиях. Кривошеин сказал мне, что теперь работают еще больше, чем раньше, так как в связи с напряженной обстановкой на фронте сроки обучения могут сократиться.

Я пошла на полигон. Да, отголоски жарких сражений

докатывались и сюда, на эти пустыри, стоило только взглянуть на обуглившихся солдат, на их задубевшие гимнастерки. И Самарин был совсем другой — загорелый, с пересохшими губами.

А Черенкова я едва узнала — так он возмужал.

Каким далеким казался тот день, когда бойцы вышли впервые на этот полигон и на орудие смотрели с уважительной опаской, как на слона в зоопарке. Теперь это были слаженные оружейные расчеты — наводчики, заряжающие, правильные, замковые, подносчики снарядов, номера первые, вторые, третьи...

Толковый и расторопный Лобков уже стал прекрасным наводчиком. Да и весь расчет подобрался крепкий...

Самарина понимали с полуслова. Он неуклонно добивался точности и быстроты в движениях.

— Не только быстрота, — а она решает в бою, — мы должны иметь полную взаимозаменяемость номеров, — толковал он мне. — Скажем, замковый должен заменить в нужную минуту наводчика, наводчик — заряжающего. Вам понятно?

Лобков прислушался, прищурил карие озорные глаза:

— Охота все же бить врага на практике, а не в теории...

— Вы его бьете пока своей учебой...

Похудевший Обух тихонько наклонился к Самарину и сказал:

— Как вам нравится на сегодня боевая обстановка?

Пока они обсуждали напечатанные в газетах последнее выступление Черчилля в палате общин и статью Ильи Эренбурга, я прислушивалась к разговорам солдат. Были минуты перекура. Худощавенький студент техникума собирал заметки для «боевого листка». Лобков, лежа на животе, писал письмо. Увлеченный, он крикнул студенту:

— Слушай, как там дальше? «Жди меня, и я вернусь...»

— «Только очень жди», — подсказал тот. — Ты своей дивчине пишешь?

Лобков ненатуральным голосом ответил:

— Не-е, это я сестренке письмо сочиняю. Она у нас любит лирику...

Флегонтьев сидел один в сторонке, набирал табачок из красной жестяной коробочки, смотрел на горы.

— Красиво, правда?— спросила я.

— Глаза б мои на эту глину не глядели!— ответил Флегонтьев.

— Но почему? Здесь растут виноград, урюк... земля щедрая...

К нам приблизился Самарин.

— Это не земля, это солнце щедрое,— ответил Флегонтьев.— Моей бы земле да такой согрел! Большие доходы можно иметь.

Самарина, видно, покорило, что Флегонтьев сказал «доходы», а не «урожай».

— Противник глубоко зашел на нашу землю, близко от твоей родины бои идут, а ты о доходе беспокоишься?

Флегонтьев, как рыба, открыл рот. Беспокойство мелькнуло в его глубоко посаженных глазах:

— Так неужели ж пустят немца в наши края?

— Ты что ж, не знаешь, где бои идут? Газеты-то вам читают?

— Газеты читают,— ответил Флегонтьев растерянно.— Газеты-то нам читают...

Неподалеку от Флегонтьева сидел, нахохлившись, Яцына. Он задумался и не сразу заметил, что подошел командир. Что-то кошачье, хищное было в его прищуренных глазах, в быстроте, с которой он выдергивал из земли и разрывал в пальцах жесткие травинки. Спohватившись, он вытащил из кармана коробку папирос.

— Угощайтесь, товарищ лейтенант,— предложил он. И на молчаливый вопрос командира ответил:— Мамаша посылку прислала.

Самарин взял папиросу.

— О чем это вы тут мечтаете?

— На фронт бы... Раз воевать, так воевать...

Самарин покачал головой:

— Для фронта нужна подготовка...

— Скука здесь,— пожаловался Яцына. И засмеялся:— На фронте, говорят, сто граммов в день дают, все веселее...

Самарин неодобрительно покачал головой.

Мы уже далеко отошли от Яцыны, а Самарин все еще держал двумя пальцами роскошный «Казбек» и не закуривал. Вид у него был сумрачный, задумчивый.

Но я все-таки рассказала, что в очерке понадобились

переделки — необходимо точнее объяснить, в чем состоит метод.

— Подводит меня мой метод, — насупился Самарин. — Тот же вот Флегонтьев... Я по методу иду. Хочу, чтобы у него мозги сработали — от его собственного населенного пункта до понимания всей войны. Но что-то он не воспринимает... И вообще, — сказал он, — впереди туманная перспектива... На фронте теперь новая техника, наши учебные пушечки по сравнению с ней — одна забава.

Он расспросил меня о домашних делах, но слушал без обычного интереса. Только усмехнулся, когда я рассказала, как Саша наговорил стишок:

Вот сегодня наконец
К нам вчера пришел отец.

— Я уже просил Абрамова хоть кое-что мне объяснить из высшей математики, — невпопад сказал Самарин. — Новая техника требует сложных вычислений...

Он вдруг заметил у себя в руке папиросу, с неудовольствием посмотрел на нее и спрятал. А вскоре Яцына подлетел еще раз с раскрытой коробкой.

— Добрая же у вас мамаша, — почему-то яростно ответил Самарин. И от папиросы наотрез отказался.

Самарин перенес вещи Абрамова в комнату, а я снова поместилась на терраске. Как будто все встало на свои места.

А все-таки я права: не стоит приезжать еще раз на то же место. Ибо, как говорит философ, нельзя дважды вступить в один и тот же поток. Мы все немного изменились...

Абрамова я видела мельком. Он был утомлен, издерган. Мешковатый и сутулый, он напоминал запаленную от непосильной натуги крестьянскую костлявую лошадь. Самарин сказал мне:

— Трудно ему. Навыка нет. Но ничего, добивается неплохих показателей...

Мы надеялись все втроем посидеть хоть часок вечером: ведь я приехала ненадолго.

Но вечером, когда мы вернулись с полигона, явился Жолудев. Он, должно быть, не знал или забыл, что я тут же, за стенкой, что окно на террасу открыто.

Уселся, закурил, угостил Самарина табачком, за что-

то, как всегда, поругал военторг, который, как это повелось на фронте, называл иванторгом. Потом, вероятно решив, что почва подготовлена, ткнул окурок в пепельницу и добродушно сказал:

— Слушай, чудака ты, честное слово. У тебя сапожник служит, мастер первого класса.— Он помолчал, выжидая, как будет реагировать Самарин, но тот не отзывался. Жолудев продолжал уже деловито:— Ты его на полигон гоняешь, а я хотел, чтобы он Люсе туфли сшил... И Мария Евдокимовна благодарна была бы...

— Тогда пусть командир части мне прикажет официально... поскольку его жена,— краснея, сказал Самарин.

— Официально такие вещи не делаются...

Самарин упрямо молчал.

Жолудев критически посмотрел на неказистые брезентовые сапоги Самарина, потом перевел взгляд на свои, шегольские, сверкающие:

— Вот погляди, он мне сшил... Картинка...— и, как танцовщица, поставил ногу на носок.

— Мне и в этих хорошо, не так жарко...

— Глупый ты, Николай,— вдруг сказал Жолудев, даже с каким-то оттенком участия.— Ну, будешь ходить босиком, кому от этого польза?

И вдруг Самарин взорвался:

— А знаешь... знаете ли вы, товарищ капитан, что по роте пополз нехороший слушок? Яцына хвастался, что он, мол, нигде не пропадет, у него и здесь защита, и на фронт его не пошлют.

— Брехня, таких обещаний никто ему не давал, и он не такой дурень, чтобы хвастать.

— Этот Яцына написал домой письмо и обронил, а ребята прочли. И будут судить его своим солдатским судом, как мерзавца, по кодексу солдатской чести...

Он почти кричал. Жолудев встал. Самарин тоже.

— Не горячитесь, товарищ лейтенант,— посоветовал начштаба.

— Есть не горячиться!

Стараясь казаться спокойным, Жолудев опять вытащил курево. Самарин молча чиркнул спичкой. Жолудев обвел взглядом комнату и удовлетворенно сказал:

— А портрет ты все-таки убрал? Давно пора было.

— Так ведь лето, солнце, выгорит.

— Но все-таки убрал?

— Убрал...

— То-то же...

И Жолудев неторопливо, как будто победа осталась за ним, вышел.

А назавтра, на закате, состоялся товарищеский суд. Вынесли из ленинского уголка стол, покрыли красной скатертью. Кисель занял председательское место.

Яцына держался вызывающе: письма, мол, не писал и не думал писать, командиры знают, сколько раз он на фронт просился.

— Вот лейтенант знает... Помните, товарищ лейтенант?.. И вот дамочка из газеты слышала...

Но Самарин молчал.

— Мою приверженность все знают,— уже чуть растерялся Яцына.— Я на заем подписался больше всех. Другой кто-то сочинил письмо, а я виноват?

И тут вдруг выступил вперед солидный Обух.

— Это верно, что Яцына больше всех подписался на заем,— сказал он. И не спеша развернул подписной лист:— Это ваша подпись?

— Моя!— Яцына повеселел:— Лично моя.

— Тогда обратите внимание, что под письмом та же подпись.

Подписной лист пошел по рядам. Поднялся смех.

— Его рука, факт...

— Такого плута мать сыра земля исправит...

— Птица опытная!

— Братики!— Яцына перешел на жалобный тон:— Как же так, братики? Вы же меня знаете! Разве я отказываю когда закурить? Или сахарку?

— А с чего тебе отказывать?— жестко сказал Кисель, и его добрые голубые глаза вдруг потемнели.— Ты мне сапоги починил — краюху хлеба с меня взял, не постыдился со своего брата солдата брать, а хлеб сменял у узбечки на черешню. И на махорку менял. Так или нет? Твоя махорка дешевая, это не наша солдатская пайка...

Яцына окончательно растерялся.

— Братики!— зашептал он, обращаясь то к одному, то к другому.— Я искуплю, я свою промашку искуплю на фронте... слово даю...

— Легкое твое слово,— гневно сказал Лобков.— Ты делом докажи, а не слезами. Москва слезам не верит...

...К Кривошеину мы явились некстати: к нему приехали в гости жена с сыном. Но он не отпустил нас. Счастливым, немного растерянным, в полосатой куртке от пижамы, он усадил нас за стол, покрытый чистой газетой. Стояла миска с пшенной кашей, сдобренной хлопковым маслом, — ужин из столовой — и хорошо поджаренная, с отблесками золота баранина, которую привезла Кривошеину жена. Сама она, такая же степенная, как муж, белая, дородная, уже немолодая, держалась незаметно и только как-то очень вовремя подвигала ближе помидоры или предлагала соль. А сын, черный, худой, верткий, изнемогал от любопытства, от желания вмешаться в разговор.

Кривошеин сиял, выглядел помолодевшим. Лихорадка его прошла, о болезни напоминали только набрякшие мешки под глазами, да на губах виднелись запекшиеся корочки от болячек.

Конечно, говорили о суде.

— Острая форма политической работы. Действительная, — похваливал Кривошеин, аккуратно разминая тусклой ложкой кашу. — Бойцы всегда более сурово судят, чем командир...

— Так что же, не верить людям? — кипятился Самарин.

— Верить надо, — возразил Кривошеин. — Надо только вглубь смотреть, в корень... И воспитывать надо... — Он повернулся ко мне: — Вот я даже про себя скажу... Я до войны общественной работой мало интересовался. А война мне всю душу перетряхнула. Я в армии вырос на три головы.

— Разве я этого Яцыну не учил, не воспитывал?! — с горечью сказал Самарин. — Я болею за каждого бойца, переживаю вместе с ним...

— Болеть и переживать — мало. Воспитание — это совокупность многих средств... Что, мать? — спросил Кривошеин у жены. — Много тебе муки с Дмитрием? Применяешь строгость?

Жена усмехнулась:

— У него уже барышня есть, а ты — строгость...

— Да ну? Ну, извини, сынок...

Кривошеин любовно смотрел на жену, на угловатого сына, засопевшего от неудовольствия, и ласково тронул рукой его стриженую голову. Общий разговор стих.

— Митя, а на Ивана Васильевича похоронку прислали...

— Давно?— Кривошеин помрачнел. И пояснил нам:— Хороший человек, начальник цеха. Крупный специалист...

— Анна Ивановна к сестре уехала. Не захотела жить одна...

— Да,— Кривошеин побарабанил пальцами по столу.— Да... Что, мать, те липы, что в городском саду на субботнике сажали, растут? Как раз перед войной субботник был... Иван Васильевич рядом со мной копал...

— Липы большие стали, густые...— Жене хотелось порадовать Кривошеина.— Крыша, я тебе писала, так я починила, совсем не течет... А ты вот про малярию не писал мне, скрыл... Как не совестно!..

Кривошеин как будто извинился перед нами:

— Никак про свое домашнее не переговорим...

А мы сидели как замороженные, смотрели, как счастливы эти трое — мать, отец и сын... Самарин слушал с интересом, с любопытством. Абрамов, как на картину, смотрел, чуть кривя угол рта, на изработанные большие руки жены Кривошеина, бережно и ловко, чтобы не ронять крошки, нарезавшей клейкий, ноздреватый хлеб.

Ну как я могла сомневаться, нужно ли ехать домой? Конечно, нужно. Как угодно, лишь бы дома...

Я снова стала прислушиваться к разговору, когда Дмитрий, сын Кривошеина, истомившись от нетерпения, сказал, округляя глаза:

— Папа, а мы взятку дали...

Мать неодобрительно глянула на него, но он уже не мог остановиться. Видно, привык, что отец отвечает на все вопросы, разрешает все недоумения. Да, дали взятку, потому что не могли иначе попасть в поезд. Бутылку водки дали проводнику. И вообще много неправды есть, даже спекуляции... Мать нехотя соглашалась с ним, а Кривошеин, не перебивая, только восклицал: «Ух, ты! Ну и дела!» Потом снова потрепал сына по голове, похвалил, что все подмечает.

— Ну, а трубы дымят?— спросил он.

— Какие трубы?

— Заводы работают?

— Ого, еще как!— сказал Дмитрий.

— Ну ничего, пока, сынок, заводские трубы дымят,

все, значит, хорошо...— И спросил у жены:— Мать, ты еще петь не разучилась? Может, споем, а?

Самарин хотел сбежать за своей гитарой, но в эту минуту явился вестовой из штаба и позвал его к Жолудеву.

— Ну, будет баня,— мрачняя, сказал Самарин и начал собираться.— Жолудев мне этого суда не простит...

— А ты воздействуй на него по методу индукции,— ехидно посоветовал Кривошеин. Самарин насупился.— Ну, ничего, сходи, послушай. А потом мы и его самого на партбюро послушаем...

Мы посидели еще немного у Кривошеина и ушли к себе дожидаться возвращения Самарина. Абрамов нервничал, поминутно смотрел на часы и наконец сказал с сердцем:

— А наш бедный Коля все еще стоит навывтяжку перед этой сволочью Жолудевым!

Я усмехнулась. И спросила словами Кривошеина:

— Но трубы дымят?

Абрамов промолчал.

— Но липы растут?

Я не могла бы толком объяснить, почему этот час, что мы провели в семье у Кривошеина, казался мне очень важным и нужным.

Тут вернулся Самарин. Вернулся красный, сердитый, молча бросил на стол планшет, молча сел на табуретку у стола.

— Влетело? — участливо спросил Абрамов.

— По первое число. Оказывается, он этого Яцыну обещал отчислить к какому-то интенданту в окружные мастерские. А я им всю музыку испортил. Командир части таких шуток не любит, он всю позолоту с Жолудева сдерет, если дознается... Тем более, он Марию Евдокимовну приплел...— Самарин с сердцем встал, отодвинул ногой табуретку.— Противно, ей-богу!

— Напиши рапорт командиру части,— посоветовал Абрамов.

— Неохота связываться,— ответил Самарин, отходя к окну.— У Жолудева жена беременная, скоро родить должна... Для нее это лишнее переживание...

Он стиснул голову руками.

Когда Абрамов ушел, Самарин вдруг сказал:

— Вы, конечно, давно догадались. Я за этой девуш-

кой, за Люсей, которая потом за Жолудева вышла, ухаживал когда-то. Она мне даже карточку подарила, целовалась со мной, клялась... Но предпочла его... Да как? Сказала в самую последнюю минуту. Впрочем, он мужчина красивый...

— Для витрины в парикмахерской он бы весьма подошел...

Самарин удовлетворенно засмеялся:

— Теперь вы поймете всю затруднительность моего положения...

Тогда я спросила прямо:

— А почему вы спрятали ее снимок?

— Так,— ответил Самарин.— Просто так... Раз это было все ненастоящее, то и не надо... лучше совсем не надо... Это была слабость с моей стороны...— Он откашлялся.— Вы вот домой собираетесь. Рады небось?

— И рада. И страшно...

— Почему?

— Много воды утекло за эти годы...

Самарин задумался:

— Но у вас же сын...

— Ну и что? Сын и жена не одно и то же...

Самарин искренне удивился:

— Это же великое дело — семья. Я вот навещал жену Горлова. Работает на заводе, содержит детей, а в комнате чистота, занавески, картины.

— Вы прелесть, Самарин. Если бы дело было только в картинках...

Мы неторопливо шли по лагерю. Самарин проверял караульные посты. Около орудия как ни в чем не бывало, положив голову на ствол, как на подушку, сладко спал Флегонтьев. Самарин потрогал его за плечо, Флегонтьев пробормотал во сне «чего?». И сразу же вскочил, протирая глаза, испуганный яростью, с которой Самарин рванул у него из рук винтовку.

— Вы... вы...— сказал он, задыхаясь.— Вы... получите пять суток гауптвахты.

— Я даже испугалась. Такого Самарина я еще не видала.

— Ну, что вы так? Ну, не надо...— Я тронула его за локоть,

— А честь батарей?..— спросил он.— Батарея не имела взысканий и замечаний... Потом суд и это еще...

Теперь я поняла, почему он так расстроен.

— А может, не стоит?.. Это же случайность... Ну, задремал...

Меня остановил властный, непреклонный жест:

— Кривить душой я не буду...

Утром он вышел к бойцам печальный.

— Вот, товарищи,— сказал он тихо.— Результат нашего с вами труда сведен на нет. Мы держали знамя. А что такое знамя? Древко и полотнище? Нет, это символ нашей чести... Флегонтьев выбил знамя из наших рук... Что ж... замазывать и его и свои недостатки мы не станем.

Флегонтьев крикнул, будто дрова колот.

Самарин, глядя прямо ему в лицо с ненавистью и злобой, сказал:

— Спите, нарушаете правила караульной службы, не поняли до конца, что это значит, не усвоили, что противник занял ваш родной город. Сводку слушаете? — И добавил гневно: — А что она вам? Что вам родной город, народ?! Вам бы только сберечь свою шкуру...

Флегонтьев молчал. Рот его судорожно дергался. Он тянулся перед командиром, как будто хотел сорваться с места.

— Что тянетесь? Не птица, не взлетите...— сердито бросил Самарин.

И, видимо, сознавая, что изменяет своим правилам и разговаривает слишком резко, круто повернувшись, пошел по пустырю, по выжженной зноем траве.

Флегонтьев, грузно топоча, побежал за ним.

— Что? — спросил Самарин на ходу, не останавливаясь.— Что?

— У меня там жена, сынишка, старики. Неужели я не понимаю?..— Флегонтьев как-то сразу осунулся, румянец сошел с его лица, загар стал виднее. В глазах появилось выражение растерянности.— Город наш богатый, древний, церкви старинные, заводы... Как же так? Разве я не понимаю?..

— Вот,— ответил Самарин, сдерживаясь. И бросил ему: — Вот, только сейчас от своего горького факта ты пришел к общим выводам...

Флегонтьев бормотал, спеша за ним:

— Товарищ лейтенант, походайтесь, пусть меня на фронт отправят... Я...— И он потряс кулаками.

— Нет, товарищ Флегонтьев,— твердо сказал Самарин.— Такого бойца я на фронт не пошлю...

— Горит у меня вот здесь,— сказал Флегонтьев, показывая рукой на сердце.

— Не могу,— ответил Самарин.— У меня у самого сейчас...— И он махнул рукой.— Вам этого не понять...

О том, что у него на сердце, он рассказал бойцам в час политинформации. Вынул конверт с казенной печатью, утер слезы с глаз.

— Товарищи бойцы,— опять сказал он и показал письмо.— Старые солдаты помнят сержанта Петра Горлова, какой это был весельчак, какой справедливый, как отлично вел стрельбу по целям! Я давал ему рекомендацию в партию, я знаю всю его трудовую биографию, всю анкету, все его мысли... Вот по этой земле он ходил, товарищи, по этому песочку... Тут недалеко живет его жена с детишками... А сейчас он пал смертью храбрых.

— Горлов! Я ж у него служил! — вырвалось у Черенкова, и он ударил пилоткой по коленям.

Самарин медленно обвел присутствующих взглядом. Как будто в душу каждому посмотрел.

— Кстати, товарищ Флегонтьев,— сказал он.— Горлов пал в боях за вашу область. Защищал ваши родные места...

Вечером мы в последний раз собрались за столом у Самарина. Он раздобыл где-то бутылку водки и зеленые огурцы. Кривошеин принес кусок жареной баранины.

Мы выпили за то, чтоб всем нам еще раз встретиться.

Кривошеин и Самарин только что вернулись от жены Горлова, отнесли ей денег, сахару, мыла. Вернулись оглохшие от ее слез и крика, печальные, задумчивые.

Разговор не завязывался, и мы скоро разошлись.

Я уезжала рано утром, но Самарин еще раньше ушел на полигон. На подоконнике лежал его подарок — черешни, привязанные к палочке, и красный карандаш для Саши.

— После войны мы вас разыщем с Самариным,— шутил Абрамов, прощаясь со мной.— Приедем к вам под Москву, в гости...

— Приезжайте. У нас там хорошо. Сосны...

— Книг, наверное, много...

Я пожала плечами. Как знать, что там сохранилось, в моем доме?

— А дадут увольнительную, я попрощаться приеду, зайду в редакцию. Только вряд ли... — Он усмехнулся. — Пройдите мимо, передайте поклон моим окнам, Шевченковская, 32... — И он, быстро пожав мне руку, ушел.

Саша хотел все везти в Москву к папе — поломанные игрушки, книжки, чужую кошку Феньку, арыки с водой и среднеазиатскую «млуну», которая, как огромный шар, висела по вечерам над нашим домом.

Он один в семье был беспечен и весел. Взрослые с ног сбивались в предотъездной суете.

Из редакции меня пока не отпускали, я продолжала работать.

И, как всегда в последние дни, все казалось теперь хорошим, даже лучше, чем было на самом деле, и как-то жалко было оставлять красивый город, где по главной улице иногда проходили среди автомобилей караваны строптивых и гордых верблюдов, звеневших колокольчиками, где напротив военной академии маленькие узбекки с бесчисленными тоненькими косичками продавали горные цветы, и юные офицеры, выбегая в перерыве между занятиями, покупали букетики для своих девушек, приходивших к ним на свидания. Я привязалась к редакции — к журналистам, корректорам, машинисткам, к продавцу Мише из нашего закрытого магазина. Наш замкнутый редактор незадолго перед тем усыновил мальчика из детского дома. Майор, воевавший под Москвой, отыскал и выписал семью и даже достал для старшей дочери по какому-то особому ордеру красные туфли. Приехал в отпуск парень из дивизионной газеты — возмужавший, с гвардейскими усиками — и рассказал, как погиб, выходя из окружения, прекрасный человек Костя Седов, подаривший мне перед отъездом на фронт «Гамлета» на английском языке. Ослабела и заболела наша старенькая машинистка; я ходила к ней прощаться куда-то на окраину, и она долго смотрела на меня добрыми, полными слез глазами.

Я возвращалась домой, в Москву, но и здесь теперь оставался дом, а главное — люди, с которыми работала...

Все сместилось — прочность и ясность теперь оставались здесь, а то, что впереди, было неясно... И все-таки я считала дни до отъезда.

Как-то — я дежурила по номеру и задержалась позже обычного — в редакцию мне позвонил Самарин. Его было плохо слышно, но я все-таки разобрала, что маршевая рота опять ушла без него, уехали Кривошеин и Абрамов.

— Я... мы тоже вот-вот уезжаем...

Это «вот-вот» длилось еще довольно долго. Уже приближалась осень, солнце высушило зелень, опалило тополя, посаженные вдоль арыков. И я часто думала, что и полигон, куда я ходила с Самариным, уже пожелтел, на пушках покорежилась и полопалась краска, земля расстрескалась, пересохла канавка, где текла пенистая желтая вода.

А под тенистым деревом узбечки давно уже продают не черешню, а виноград; виноград созрел... А Самарин все так же шагает мимо них, учит новых солдат, тоскует, фантазирует, мечтает...

Мне жаль было, что не придется больше встретиться и никогда я не увижу снова Самарина с его белесым хохолком, отзывчивым сердцем, с его верой в добро и преданность «методу индукции».

Накануне отъезда я прошла по Шевченковской улице, поклонилась окнам Абрамова, как обещала, а потом, гонимая любопытством, вошла в дом.

Соседка Абрамова, коренастая, с чуточку выпученными глазами, пряча руки под передником, охотно ввела меня в комнатку, где на стене висел портрет веселой, с упрыжвенными бровями женщины.

— Это такая пара была, такая пара, — прочувствованно говорила она. — На зависть всему двору... всему городу на зависть... Когда он овдовел, я, бывало, скажу, просто испытываю его: «Не убивайте себя, вы еще встретите другую»... Слушать не хотел. И никто к нему не ходил, никто у него не оставался... — В комнате были свалены вещи со всей квартиры — книги, старые куклы, потертые стулья, диван. — Да, разорилось гнездо, — сетовала соседка. — Особо хороших вещей у них не было, бедновато жили, а все-таки... Квартиру заняли беженцы, или, извините, эвакуированные. А они — как? Они все просят... дай, дай... Корыто дай, уголь дай, чайник дай... — Она спохватилась: — Вы меня извините...

— Ну что вы! — Я и не думала возмущаться или обижаться. — Для того чтобы делиться, надо быть очень щедрым...

— Щедрым?! Глупым надо быть, вот как я... я все раздавала, ни с чем не посчиталась...

Почему-то я спросила, уверенная, что не ошиблась:

— А Люся уже родила?

— Откуда вы знаете Люсю? Может, хотите ее видеть? Она здесь, у меня...

Но я сказала, что очень тороплюсь. Женщина проводила меня до калитки и словоохотливо выложила, что очень рада за Люсю, муж заботливый, славный, все делает для семьи. И тащит в дом, а не из дому, не пьет...

— Одно только горе, что военный, но теперь все на войне. Зато хороший паек...

Я зачем-то спросила:

— А Самарина вы знали?

— Это ухажера Люсиного? Ну, знала, приезжал не раз... — Она скривилась, поморщилась и, забыв, как только сейчас закрывала глаза, восхищаясь необыкновенной любовью Абрамовых, заключила: — Шурик гораздо солиднее, разве можно сравнить...

— Конечно, — ответила я, — их и не стоит сравнивать...

Что-то в моем тоне уязвило Люсину маму, она открыла рот в удивлении, потом снова закрыла. И сказала, как бы подводя итог разговору:

— Значит, беженцы начинают уезжать? Очень хорошо, очень хорошо. Счастливо вам доехать. Беженцы уедут, у нас опять подешевеет рис...

В поезде мы уселись на свою полку, заваленную узлами, растерянные, испуганные, ошеломленные. Саша держался тихо, серьезно.

В вагоне были почти одни военные, они громко хлопали дверьми, зычно переговаривались. И вдруг подошел Самарин.

— А я звонил с вокзала в редакцию, — сияя, говорил он, — сказали: «Нет, уже не работает». Ну, думаю, все, не увидимся. И вдруг сюрприз...

— Сбылось наконец-то ваше желание, едете на фронт...

— Сбылось, еду, — таинственно, как будто боялся, что услышат и помешают, шепнул Самарин.

— Опять рапорт подавали?

Он почти беззвучно ответил, расплываясь в счастливой улыбке:

— Подавал...

— Как я рада, что вижу вас!..

Я была утомлена сборами, измучена. Почему-то волнуясь, почти в слезах, я все ему выложила: да, решила, едем домой. Рассказала, как мучилась с билетами, как насилу достала грузовик, как не принимали багаж, и я боялась, что мы опоздаем. Самарин тоже рассказал, как собирался в дорогу, сдавал казенное имущество и ключ от комнаты.

— Вещи отнес к жене Горлова. Да и вещей, собственно, гитара, светлый костюм — как-то сшил, когда ездил на юг, коричневые полуботинки.

— У вас что, и родных никаких нет?..

— Я ведь сирота, у тетки воспитывался, тетка умерла...— И Самарин бодро прибавил: — У меня весь полк родня. Два часа ходил прощался...— Но как ни храбрился он, а голос звучал уныло.— Может, оно и к лучшему, я никого не оставил, и меня никто не ждет... Обидно только, что никто не узнает, вернется Самарин с войны или нет...

Я даже растерялась. Что говорить? Как утешить? Какие тут могут помочь слова? И чтобы отвлечь его, спросила:

— А как Флегонтьев?

— Порядок, полный порядок...— Распространяться Самарин не стал.

А в вагоне, как назло, только и слышны были разговоры о семьях, о женщинах — женах, невестах, сестрах. Военные охотно вынимали бумажники и планшеты, доставали фотографии, завернутые в желтый или зеленый целлофан, волнуясь показывали друг другу.

— Познакомился я с одной блондинкой...

— Жена ушла из Минска пешком, я ее разыскал только недавно...

— Сынишка меня небось забыл. Совсем кроха был... Жена пишет...

— Она такая изнеженная, а теперь, представьте, на танковом заводе...

— Рыжих я не признаю — они коварные, рыжие...

Я замечала, как внимательно, с жадностью прислушивается Самарин к этим разговорам. Он подолгу лежал на верхней полке, ни с кем не заводил знакомства. И со

мной разговаривал мало. Только на больших станциях, где поезд стоял долго, брал Сашу и уходил с ним гулять, за что я была ему очень благодарна. Испуганный непривычной обстановкой, Саша не отпускал меня ни на шаг от себя, даже во сне держал своей ручонкой мою руку.

За окнами плыла пустыня, мелкими волнами катился песок, а на песке, как тени, чернели изогнутые сучья сухого саксаула. На станциях женщины в пестрых юбках и плюшевых безрукавках продавали пахучие дыни. Ночи были прохладные, свежие, и всю ночь катилась вслед за поездом большая луна, освещая спящих людей в вагоне, беспокойно бормочущих во сне, и как будто выгравированный резкими штрихами на светлом серебре корявый саксаул. Как странно было, что этот саксаул мы получали по ордерам и топили им печи!

Я спала мало, тревожно и всегда, когда открывала глаза, видела, что и Самарин не спит, смотрит в окно.

Днем крыша в вагоне накалялась — все снимали гимнастерки, оставались в майках, на станциях обливались водой, пили горячий чай, который будто бы помогает от жары. На зубах навязчиво хрустел песок.

А Самарин все сидел наверху нахохлившись.

Соседи заметили, что он скушает.

— Бросьте грустные думы, лейтенант, — сказал, стоя в проходе между полками, коренастый капитан с красивыми белыми зубами. — Спускайтесь вниз, здесь у нас колбаса и все, что к ней полагается...

— Спасибо, что-то не хочется.

— Водочки не хочется? Или вы больны, лейтенант?

— Спасибо, здоров...

— Расстался, наверно, с такой красоткой, что ему и водочка не мила, — сказал кто-то внизу. — Слышь, лейтенант, посиди в компании, авось легче на жизнь глянешь.

Самарин не стал ломаться, спустился, сел, выпил, посмеивался, когда шутили о его «красотке», но все равно грустил.

Он пил и мрачнел. И ночью, мрачный, спал плохо, ругал духоту, опять смотрел в окно. Уже чаще стали попадаться деревья, прошумела под мостом речонка — еще узенькая, мелкая, а все же русская речонка... Гуще стала зелень на полях, встал на далеком горизонте лес. Но все еще было пусто, однообразно и жарко...

Утром я проснулась от толчка. Саша играл с бабуш-

кой. Пассажиры уже давно встали, пили чай, завтракали, морщась допивали вчерашнюю, согревшуюся водку, освобождали бутылки и флажки, готовясь к осаде буфетов и ларьков на больших станциях.

Поезд остановился на полустанке.

Самарин спрыгнул с полки, вышел размяться. Я тоже взяла бутылку для молока и вышла. Поезд стоял в «чистом поле» — темноло только небольшое железнодорожное строение да прилепившаяся к нему хатенка, окруженная садиком.

В садике на стуле сидела цветущая женщина в желтом сарафане и желтой косынке на выгоревших волосах. Вытянув босые ноги в стоптанных туфлях и сложив руки на высокой груди, она отдыхала, греясь на солнце, и только иногда лениво крутила ручку патефона. Патефон стоял рядом, на табуретке. На земле валялся брошенный тяжелый кетмень.

На звуки музыки прибежали военные даже из самых дальних вагонов, прибежали с чайниками в руках, с бутылками, с краяхами хлеба для обмена.

Послышались шутки, смех.

Тут же стоял повеселевший Самарин.

Он шутил, шумел, как и все, и, как будто магнитом притянутый, неотрывно смотрел на женщину в сарафане. Кто она? Откуда? Каким ветром занесло такую красоту в эти скучные края?

А женщина смеялась, отвечала на шутки и заигрывания, позволяла любоваться собой — босыми полными ногами, голыми руками и плечами, выгоревшими волосами.

Самарин, ужасно волнуясь, бледнея, наклонился и тихо спросил:

— В этой глуши музыка, наверное, единственное ваше развлечение?

Женщина улыбнулась:

— Я не для себя... Я эти пластинки наизусть знаю...

Около поезда появилась старуха с молоком, и военные, гремя чайниками, побежали к ней. Но я стояла на месте с пустой бутылкой, не могла отойти.

Паровоз уже пускал пары.

— А для кого же вы играете? — спросил Самарин.

Женщина подняла одно плечо, как бы извиняясь.

— Поезд идет на фронт, вот я вам и играю...

— А вы? Вы? Вы кто? — задыхаясь, спрашивал Сама-

рин. Его ослепили солнце, желтый песок, сарафан и блеск глаз женщины.

— Я эвакуированная. Работаю тут. У меня дома очень хорошие пластинки остались... прекрасные пластинки.

— А муж? На фронте, да?

— Ничего я не знаю...— ответила женщина, что-то в голосе ее дрогнуло, но она улыбнулась.— Все равно надо жить,— сказала она.— Правда? Надо жить...

— Да, да,— прошептал Самарин, поглядывая то на паровоз, то на женщину и на садик за ее спиной.

Взгляд у него стал такой напряженный, что женщина перестала улыбаться. Игла крутилась на одном и том же месте пластинки, повторяя одни и те же слова.

— Идите в вагон, опоздаете...— сказала женщина растерянно.

— Успею...— Самарин решил: — Я один... совершенно один... Можно мне написать вам?..

Она испугалась:

— Не надо, что вы! Не надо...

— Не сердитесь, только не сердитесь. Скажите мне, как вас зовут?

Я инстинктивно подвинулась ближе к вагону, но глаз не могла оторвать от этой женщины, такой красивой, что ей даже прихорашиваться, наряжаться не надо.

У женщины не сходила с лица испуганная, счастливая усмешка.

Веселый капитан, держась за поручни, крикнул, стоя в тамбуре:

— Отстанете, лейтенант!

Колеса медленно застучали. Женщина вскинула руки, обняла Самарина и поцеловала.

— Счастливый вам путь! — сказала она.— Спасибо...

Самарин побежал за вагоном, легко вскочил на подножку. Диск патефона все еще вертелся...

Паровоз дернулся в сторону, скрылся желтый сарафан, дерево, полустанок.

Самарин вошел в вагон.

Капитан кричал, что надо выпить за «победителя сердца», но другие держали пари, что это лейтенант встретил старую знакомую. Самарина трясли, хлопали по плечам, спрашивали. Он улыбался, ничего не отвечая, ничего не понимая. Наконец его оставили в покое,

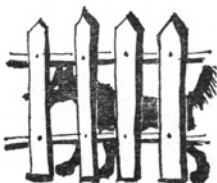
Только капитан сказал обиженно:

— А ты уши развесил, лейтенант? Ты поверил? Она ведь рыжая...

— Верю! Надо верить! — Самарин залез на свою полку и отвернулся к стене.

Никто в вагоне не понял, что он сказал. Никто, кроме меня... А мне почему-то тоже хотелось верить, что Самарин еще встретится когда-нибудь со своей красавицей. Скучный голос благоразумия подсказывал, что так не бывает и не может быть, но другой голос, беспечный, молодой, безрассудный, спрашивал: «А почему? Почему не бывает? Разве Самарин не прав? Надо верить в человека, и тогда все будет хорошо...»

И чем больше я думала, тем спокойнее становилось у меня на душе...



Когда мы поженились, Кирилл сказал, что на первомайские торжества мы обязательно поедem в Москву, к нему домой.

— Вот увидишь, какая у меня родня... Мама, сестренка... а уж брат — это, ну, это просто первоклассный хлопец...

Кирилл очень расхваливал брата. Великолепный токарь — раз, замечательный плясун — два. Играет на балалайке и на гитаре — три, чинит часы, ездит на мотоцикле и конструирует приемники — четыре, пять и шесть. А седьмое — Петя так отличался на вечерах самодеятельности, что его пригласили в танцевальную группу знаменитого ансамбля песни и пляски. И теперь он артист. «Естественно, при моем складе ума, — признался как-то Кирилл в минуту откровенности, — такое увлечение танцевальным искусством мало мне понятно, но, видно, у парня такая звезда...»

Кирилл так гордился своей семьей, что я с трудом подавляла ревнивое чувство досады: я тоже очень любила своих родителей. И братьев нежно любила. А какие чудеса я могла про них рассказать? Да никаких. Просто они были очень хорошими людьми. И все.

По правде говоря, я охотнее поехала бы в гости к ним. Похвастала бы своим молодым красивым мужем. Но спорить с Кириллом мне не хотелось. Было так интересно и ново уступать ему, даже немножко подчиняться... Я старалась заранее расположиться и к Вале, и к Петру, и к свекрови Антонине Ивановне, хотя, если по-честному, мне

это не совсем удавалось. Хотелось, чтобы Кирилл ценил меня одну и только меня считал замечательным человеком. Я была уже тогда архитектором и строила кинотеатр в нашем новом городе.

Я вышла из самолета в Москве ошавевшая, возбужденная, радостно удивленная тем, как за несколько часов мы пересекли все эти сотни километров, промчались над лесами и реками, которые Кирилл узнавал и называл, проверяя заодно мои познания в географии. Я всему радовалась — кипящей неразберихе облаков и золотой подсветке солнца, завтраку, который на ярком пластмассовом подносике подала курносая стюардесса, зеленому дерну летнего поля, московскому мороженому со вмерзшими в шоколад орешками, стеклу и бетону аэровокзала.

Мы ехали на пузатом автобусе, потом на метро. И вот они — кварталы новых больших домов, отделанные ярким пластиком магазины, детские сады, школы, знакомые и привычные глазу, такие же примерно и мы брали типовые проекты и только у себя в мастерской «привязывали» — так это называется на нашем языке — к местности. И среди всех этих громадин, среди всего этого несколько стандартизованного великолепия Кирилл отыскал спрятавшийся за деревьями маленький деревянный домик. Милый уютный домик, двор, калитка, деревенская скамеечка у калитки, все такое славное, покосившееся, как будто нарисованное детской рукой. Даже свирепую собачью морду с острыми ушами на дощечке, прибитой к забору, похоже, рисовал ребенок.

— Это и есть твой дом?

Кирилл покосился на меня опасно:

— Когда-то это был большой дом, честное слово, — сказал он с обидой. — Даже странно....

Но дом мне очень нравился. И я горячо сказала:

— Все равно я выбрала бы этот... у него есть лицо...

— Какое еще лицо?

— Симпатичное лицо, в морщинках... — дурачилась я.

— Лицо-то у него есть. Факт. А вот крыша, я вижу, прохудилась, — озабоченно заметил Кирилл.

И толкнул калитку.

— А собака? — спросила я.

Но Кирилл не услышал. Он побежал через двор, как мальчик, и забарабанил в дверь.

Дворик был пустой, чистый, поросший какой-то про-

стой травкой. По траве бродили куры. Когда калитка хлопнула и затопал бежавший Кирилл, куры шарахнулись и сердито закудахтали, залопотали, как будто обиделись, что их оторвали от дела.

Дома оказалась одна Антонина Ивановна.

Она встретила меня спокойно, без суеты, достойно. И это было правильно, на мой взгляд. Как будто она говорила всем своим видом: «Приглядимся, присмотримся, деточка, одна к другой, а там и полюбим, может, одна другую, что ж заранее...» Но смотрела она на меня ласково и открыто.

Меня удивило, как преобразился самоуверенный Кирилл. Он ходил за матерью, тыкался ей в плечо, трогал ее, послушно садился, вставал, отвечал, показывал новый костюм и рубашки, даже грамоту, полученную на работе, показал. И Антонина Ивановна внимательно вчитывалась в грамоту, как вчитывалась, наверное, в школьный табель с отметками.

И еще я заметила, как хочется Кириллу, чтобы я понравилась матери. Он и меня хвалил, и моими успехами хвастал, и даже сказал, что я хорошая хозяйка.

Антонина Ивановна слушала молча, не приходя в восторг, словно экзаменовала. И я больше всего боялась, чтобы она не подумала, будто я хочу показаться лучше, чем есть. Я боялась, конечно, не из скромности, нет. От гордости. Неужели для Кирилла так уж важно, понравлюсь я его родным или нет?

И Валя и Петр были на работе. Антонина Ивановна работала в ночную. Она рассказала, что Петя ушел из ансамбля. Все ходил да ходил на репетиции, а жалованье маленькое, сольных номеров не давали — совсем похудел и обносился парень. Ведь он на заводе хорошо получал... Вот и решил — чего зря ноги отбивать-то? Ушел из ансамбля, поступил в джаз, теперь самостоятельный артист и приносит домой немалую копейку.

Кирилл нахмурился, но через минуту стал бодро говорить, что Петя малый башковитый, ему виднее, так ли, этак ли, а он себе пробьет дорогу в жизни. О Вале, послушав жалобы матери, он отзывался более сдержанно, но все-таки заметил, что хотя у девочки и нет полного образования и роза ветров в голове, но зато есть характер

и воля к победе. Кирилл любил такие книжные слова. Это у него осталось с тех пор, как он редактировал студенческий бюллетень. Пожалуй, сказал он задумчиво, надо забрать Валю к нам, уж он-то, не сомневайтесь, выбьет из нее дурь. А матери надо выходить на пенсию, пора...

Антонина Ивановна промолчала.

Мы разузнали, где работает. Петр, и поехали туда.

Джаз выступал в кинотеатре перед каждым сеансом. Когда мы сели на свои места, я почувствовала, что все же устала с дороги. А Кирилл был свеж, бодр и полон нетерпения.

На эстраду вышли люди в черных смокингах, с музыкальными инструментами. Все как один были брюнеты и только самый молодой и румяный выделялся белесыми волосами. Ну, я сразу догадалась, что это Петр.

— Ты только посмотри, как держится, сукин сын, — зашептал Кирилл. — Настоящий лорд...

Музыканты загремели стульями. Высокий, со скошенным набок ртом, объявил, какой сейчас будет исполнен блюз. Название я не расслышала, но публика зааплодировала. Музыканты сразу же стали улыбаться, как будто игра доставляла им огромное удовольствие. Особенно добросовестно веселился Петр. Он подпрыгнул на стуле, бренча на своем банджо и отбивая такт ногами, обутыми в блестящие ботинки. Толстый лысый барабанщик перегнулся к Петру и, как будто исподтишка, шаловливо провел своей палочкой по струнам Петиного инструмента, и по ухмылке, осветившей лицо Петра, я готова была поручиться, что выходка барабанщика кажется ему остроумной. Он скакал на стуле, как на коне, только конь стоял на одном месте.

Играли хорошо, слаженно, чисто, и Кирилл нашел в себе силы сказать:

— Вот она, культура, столица. Перед началом сеанса имеешь возможность послушать легкую музыку.

Он горячо аплодировал. Мне было приятно, что у моего мужа такие гулкие, огромные ладоши. Я была безумно влюблена в Кирилла.

Когда объявили сольное выступление Петра, Кирилл насторожился. Петр положил свой инструмент и вышел вперед. Номер назывался «Ритмический танец». Кирилл

восхищался братом, но мне пляска Петра совсем не понравилась. Плясал-то он хорошо, но был странный контраст между его серьезным бесстрастным лицом, крахмальным воротничком с бантиком и быстрыми легкими ногами. Ногами он выделял чудеса. Бессмысленность этой пляски, с руками, прижатыми к бокам, неприятно поразила меня. Но мне не хотелось огорчать Кирилла.

И я пробормотала:

— Очень мило...

— Виртуоз...— неопределенно произнес Кирилл.

Петр пришел домой вскоре после того, как вернулись мы. Он бурно кинулся на грудь Кириллу. В обыкновенном пиджаке он выглядел гораздо лучше. Приятнее. Его очень украшали высокий лоб и волосы, но глаза, взгляд был не особенно умный. Так мне показалось. Братья сели за стол и, хохоча, хмыкая, начали бесконечный разговор о знакомых ребятах и домашних делах. Они решили завтра же починить забор во дворе.

Антонина Ивановна сидела во главе стола, кормила сыновей и только изредка вставляла короткие замечания. Я примостилась на диване, подремывала и слушала. Мне нравилось, что мой муж и его брат такие простые, слабые мастеровые люди. Как горячо обсуждали они, стоят ли перекладывать крышу на доме или только положить заплаты в тех местах, где ржавчина съела железо. У моих родителей никогда не было своего домика, они вечно переезжали с места на место, и я позавидовала Кириллу, их, родному гнезду, и решила, что как только мы с ним станем на ноги, так сейчас же построим себе дачку. На берегу озера. Может быть, во мне и здесь говорила ревность, я хотела, чтобы у нас с Кириллом был свой дом.

И вот пришла Валя.

Она влетела в комнату, цокая каблучками, и сразу же уставилась на меня. Даже «Кирка приехал!» она воскликнула, не отрывая от меня глаз. Она была подвижная и суетливая, гибкая, и я никак не могла ее разглядеть, только заметила, что на ней много украшений — бусы, серьги, на руке часы с блестящей браслеткой. Разговаривала она быстро, как будто захлебывалась словами, и вскрикивала: «Смешно!», «Не смешно!», «Мне это не нра», что должно было, вероятно, означать: «Мне это не нравится».

Кирилл обращался с сестрой как с маленькой, смотрел ей в рот, смеялся на эти ее «нра» и «не нра», а мне даже грустно стало — такой она мне показалась вульгарной.

Правда, Валя была хорошенькая. Очень даже хорошенькая.

Валя работала кондукторшей в троллейбусе, а подрабатывала на кинофабрике, где участвовала в массовках. Она очень хотела показать мне, что не всякого берут сниматься в массовке, нужны данные, и то опускала глаза, то распахивала их во всю ширь и хлопала ресницами. Она, мол, могла бы попасть в эпизод, то есть получить как бы маленькую роль, образ, но один ее добрый приятель из их парка, некий Сенечка, настаивает, чтобы она поступила на курсы водителей. Ей эта работа «нра».

Это так прекрасно, так интересно, она наблюдает чудный типаж, курсируя на линии по улице Горького, например летчиков из академии Жуковского. Многие заметили ее, привыкли и даже здороваются.

Потом, резко захохотав, Валя вспомнила, как высадила из троллейбуса пьяного, а он ругал ее душой.

Антонина Ивановна тоже как будто вначале любовалась дочерью и смеялась вместе со всеми, но потом вспомнила:

— Тсс... не галди так... — и показала на меня.

И еще Валя стала вспоминать, кто при встречах расспрашивает ее про Кирилла, кто женился и кто вышел замуж. И что-то недоговаривала. Антонина Ивановна собралась на фабрику и, уходя, еще раз сказала Вале, чтобы много не болтала.

Я всех стесняла.

Когда мы легли спать, Кирилл вздохнул:

— Изменились ребята. Совсем взрослые и самостоятельные. Они тебе не понравились?

— Понравились, очень понравились, но что можно увидеть за одну встречу?.. — Я поцеловала Кирилла: — Ты так похож на свою маму... такие же брови...

Я чувствовала, что перемена, происшедшая с братом и сестрой, была Кириллу не по душе. И хотела его успокоить.

Мы спали в столовой. Я долго не могла заснуть на новом месте, все хотела представить себе, каким был Кирилл в детстве, в отрочестве, как он тут жил раньше, в этом доме, еще до того как узнал меня. Потом так крепко заснула, что встала позже всех.

Кирилл с Петей уже работали во дворе, оттуда слышался их смех. Антонина Ивановна, утомленная, пила чай на кухне. За столом, напротив нее, сидел немолодой взъерошенный мужичонка с жидкой бородой. Это оказался дядя Кирилла, Тимофей Иванович. Он поцеловал меня прямо в губы, обдав стойким запахом махорки и водки, и ухмыльнулся. Я растерялась. А он рассматривал меня бесцеремонно, щурил то правый, то левый глаз, как будто торговал живность на базаре. На полу стояли набитые ветками мешки и корзины, и вся кухня была полна запахом черемухи.

— Привез вот черемуху продавать, — кивнула Антонина Ивановна на брата. — У них вся деревня в цвету...

— Вот и приехали бы с Кирюшей погостить, почаевать к нам, — вежливо сказал дядя. — У нас ее целые леса, черемухи...

— Спасибо, но мы так ненадолго... вряд ли хватит времени...

— А у кого его хватает, времени-то, — философствовал Тимофей Иванович, ничуть не огорченный моим отказом. — Стоишь на улице с цветом, с черемухой то есть, до того удивительно... Мужчины бегут, бабы бегут. В одной руке у нее сумка, на другой ребенок сидит, а сама — чешет. Куда, думаешь, бежит? Все дела, дела... А от природы не уйти, нет... Бежать-то бежит, а запах почует, остановится, купит ветку. Не может человек на одном бензине существовать...

Антонина Ивановна поддакивала ему с таким видом, будто он говорит нечто очень умное и важное для познания мира, но когда брат, собрав свой товар, ушел, сказала неодобрительно:

— Потому только и пускаю в дом, что брат. А так спекулянт. — И осудила: — Другой бы подарил невестке букет. Жалко ему, что ли. Добро какое, ветки... Нет, все унес...

— Ну что вы, какие пустяки... да я и не люблю черемуху...

Свекровь сразу же успокоилась.

— А что ее любить...— сказала она, зевая.— От нее только голова болит.

Я вышла во двор. Забор был уже починен. Кирилл и Петр кололи в сарае дрова. Я хотела помочь им складывать поленья, но Кирилл заявил, что обойдется без меня, а вот если я хочу, как специалист высокого класса, осмотреть сарай снаружи, то за это весь род Скворцовых будет мне весьма признателен. Я осмотрела стенки сарая, а заодно уже и дома. Потом я вернулась к мужчинам и сказала, что к дому свободно можно пристроить еще одну комнату или застекленную террасу. Петр очень обрадовался.

— Жениться собираешься? — спросил Кирилл.

— Да не то чтобы...— Петр замялся.

Сегодня он нравился мне гораздо больше, чем вчера. Веселый, оживленный. И работал ловко. Видно было, что любит тяжелую физическую работу на свежем воздухе, и как-то обидно было думать, что вечером он опять будет подпрыгивать на стуле и играть на дурацком банджо,

Днем мы с Кириллом ходили по Москве, а вечером, когда все сошлись, оказалось, что закуплено много угощения. Принесли мы с Кириллом, принес Петр, приготовила мать, и даже дядя Тимофей Иванович купил бутылку дешевого портвейна и вытащил из своего мешка кусок сала. Петр побежал за угол в аптеку и оттуда по телефону стал созывать гостей. Приехали повидаться с Кириллом родственники, пришли знакомые Петра по заводу, соседи, явилась Валя с подругой Сашей и двумя кавалерами — Сенечкой из троллейбусного парка и застенчивым студентом Митькиным. Кирилл чувствовал себя среди гостей как рыба в воде. Болтал, острил, шутил. Я помогала Антонине Ивановне на кухне. Валя сидела со своей компанией на диване и радостно командовала: «Домохозяйки, эй, вы! Не нарушайте график движения! Галя, мама! Винегрет! Это мне нра, это мне очень пра...» Сенечка не то стонал, не то хихикал, так ему по вкусу были Валины шутки, а Митькин конфузился.

Сели ужинать.

Кирилл подмигнул мне, и мы выпили с ним вдвоем, незаметно, за все то дорогое, что соединило наши судьбы. После этого я повеселела. Все-таки я боялась, как бы

Кирилл не позабыл обо мне, увлеченный своей родней. Рядом со мной сидела Саша, милая и скромная девушка, и мне приятно было, что она останавливала Валю. Все много ели и много пили и наперебой расхваливали капусту и соленые огурцы. Городские дяди и тетки, всякие двоюродные и троюродные говорили, что Тоня, то есть Антонина Ивановна, знает секрет, как сохранить огурцы твердыми и хрусткими до самой весны и что это и есть лучшая закуска к водке. Антонина Ивановна скромничала, жаловалась, что в эту зиму огурцы ей не удались. Нет, нет, не удались, не успокаивайте, мол. А гости хвалили и вежливо, культурно расспрашивали, как у нас с Кириллом на новостройке со снабжением, обеспечивают ли жильем и высокая ли у нас производительность труда. Желали нам счастья, здоровых деток и долгой любви. Напоминали, что семья — это ячейка, кирпичик, из которых построено государство. Все шло чин чинком, но деревенский дядя, Тимофей Иванович, все мрачнел и мрачнел. И когда подали консервы из крабов, стал отплевываться и смеяться над нерусской едой, в которой нет ни остроты, ни вкуса. Петр пытался остановить дядю, но тот был уже пьян. Он почему-то обращался ко мне и кричал:

— Крабов кушаете, интеллигенты! Господами стали! На деревню надеетесь! Не будет вас кормить деревня-то! Сами стали господами! — он хлопал себя по боковым карманам, где у него лежали вырученные деньги. — За черемуху, за траву, рублевки платите! Тьфу!

Кирилл нахмурился:

— А ну, дядя, закругляйся...

— Я что? Я ничего... — трезвым голосом сказал Тимофей Иванович. И хихикнул. Радовался, что высказал то, что думает о горожанах.

Антонина Ивановна совсем расстроилась.

— Только потому и пускаю в дом, что своя кровь, — говорила она, наклоняясь то вправо, то влево к тем, кто сидел рядом. — И вот за свою же хлеб-соль имеешь неприятности...

Ее утешали.

Однако порядок за столом уже был нарушен. Стали спорить между собой студент и Сенечка. Одна из теток сказала, что пора и по домам — поздно, мол. А Кирилл, весь побагровевший, что с ним случалось очень редко, посоветовал ехидно Петру:

— Ты сильнее налегай на закуску, Петя. На такую скачку на стуле много сил уходит... Потеряешь здоровье! Петр обиделся.

Он посидел еще немного, потом вышел в сени. Я заметила это и пошла за ним. Петр стоял, прислонившись к притолоке, и плакал.

— Петя, не надо...

Он не отвечал. Я взяла его под руку:

— Ну, не обижайтесь... Кирилл пошутил...

Мы стояли так долго, пока в сени не вышел Кирилл. Он спросил у меня грубо:

— Утешаешь, утешительница? Жалко стало?

— Петя обиделся на тебя, а я объясняю ему, что ты пошутил...

— Кто пошутил?— шепотом спросил Кирилл, но шепот у него был такой густой, будто он кричал.— Уехал, оставил людей, а вернулся — кого застал? Брат был человек как человек, имел перспективу, мог учиться. Ногами крутит? У сестры — ерунда в голове. Дядьку — сволочь — в дом пускают...— Кирилл опять обращался ко мне:— А ты утешаешь. Подлеца надо по морде бить, а ты жалеешь? Сантименты разводишь?

Плакал не только Петр. Заплакала и я. Никогда не разговаривал со мной Кирилл таким тоном. И за что? За то, что я пожалела его родного брата.

Кирилл распорядился:

— Иди в дом, простудишься!

Но вместо этого я рванула наружную дверь и выбежала в темный двор. Я была возмущена и несчастна, обняла руками ствол дерева и плакала, прижавшись щекой к гладкой коре.

А в доме догорало веселье. Крутились пластинки, стучали каблуки.

Какое мне было до всего этого дело: до Петра, до Вали, до пьяного дяди? Я, что ли, заставила Петра уйти с завода? Я продрогла, всхлипывая под деревом, а Кирилл все не приходил за мной, как будто его не беспокоило, что я стою здесь одна в легком платье. «Эгонист,— думала я,— эгонист, эгонист... повез меня смотреть свою замечательную родню, а теперь!..»

Скрипнула дверь. Я теснее обхватила ствол не только для того, чтобы муж увидел, как я страдаю, я на самом

деле очень страдала. Но это не был Кирилл. Пришел Петр, принес мне пальто.

— Петя, миленький, почему вы ушли с завода?

— Все советовали, все говорили, что так будет лучше.

— Вам нравится в джазе?

— Нет,— ответил Петр понуро.— Только как же мне теперь быть? Они меня там в ансамбле с речами принимали, вот, мол, рабочий с производства, от станка. Ну, а потом забыли вроде... А в джазе весело... публика, аплодисменты...

— Вы привыкнете к аплодисментам, к огням и к шуму, а дальше что?— сказала я, как будто уже все это пережила сама — и успех, и аплодисменты.— Ваши пляски ничего не дают ни уму, ни сердцу...

И стала признаваться ему, какое получаю удовлетворение от своей работы и как я люблю Кирилла. И как Кирилл рассказывал мне про свою семью. Я вспомнила даже стружку, которую Петр снимал, обтачивая деталь, и Петр подтвердил, что действительно иногда собиралось по несколько человек смотреть, как он берет последнюю стружку.

Но предостерег:

— Только вы не думайте... просто у нас завод небольшой... совсем даже маленький завод, это не то что большой гигант, где современные станки. Но зато работа экспериментальная, нешаблонная. У нас не массовое производство...

Я заставила Петра выложить все о себе и снова сказала, что в джазе для него нет никакой перспективы, никакого будущего.

— Вы испортите себе сердце, у вас же никакой школы. В крайнем случае возвращайтесь в ансамбль, там вас будут учить...

В это время из дому стали выходить гости, и нам пришлось подойти к ним прощаться. Я вернулась в дом. Дядя спал на кухне, на раскладушке. Мы убрали со стола, перемыли посуду, сунули остатки пищи в холодильник, и я легла в постель, не сказав ни единого слова Кириллу, как будто его вовсе не было в квартире. Я слышала, как он разговаривал с матерью и сестрой. Голоса долетали до меня через стенку. Потом Кирилл пришел ко мне, обнял и стал просить извинения. А я, конечно, снова заплакала, но это уже были легкие слезы.

— Я им дал дрозда, и матери и сестре... Петр — мужчина, в конце концов — это его личное дело.

— Я говорила с Петром, по-моему, он вернется на завод. Он очень хороший парень.

— Все они хорошие, пока маленькие,— проворчал Кирилл,— а потом теряют голову. Глаз с них нельзя спускать.

На следующее утро, хотя уже наступило Первое мая, все встали невеселые. Антонина Ивановна ходила заплаканная, но все же твердо заявила Кириллу, что нечего было при гостях затевать скандал.

— Я вас воспитала одна, без вашего отца,— сказала она с достоинством,— голодом вы у меня не сидели, в грязном не ходили. А теперь при отцовой родне как ты меня выставляешь? Выносишь наши семейные дела на улицу...

Кирилл смутился, но попробовал сказать, что теперь нет семейных дел, все дела общественные. И свалил на дядьку:

— Все этот прекрасный дядя, тунеядец...

Антонина Ивановна была непреклонна:

— Брата я не хвалю, а все же добро помню. Кто мне в войну картошку возил? Он. И масло постное возил. А если хочешь знать, Тимофей на войне избаловался, пришел контуженый с фронта, все ему и подносили стопочку. Зяб он все после контузии, дрожал... вот и согревался... А ты,— сказала она Кириллу строго,— все советуешь, советуешь — «на пенсию, на пенсию». А не спросил: «Мать, а когда ты себе последнее пальто справила?» Говоришь только красиво...

— Мам,— совсем убитый, по-детски сказал Кирилл,— ты думаешь, я не понимаю. Но мы будем вам помогать, у нас с Галиной это давно решено...

— Ну что ж, спасибо Галине...— Антонина Ивановна сказала это с горечью. Не только я ревновала мужа к его семье, но и Антонина Ивановна ревновала сына ко мне. Кирилл этого не уловил.

Он повеселел. И стал целовать мать, и шутить с Петром, и шлепать пробежавшую по комнате Валу. Валя то-ропилась, наряжалась, собиралась на демонстрацию.

— Вот это мне нра,— пела она, поправляя перед зеркалом прическу.— Не люблю, когда постные физиономии...

После майских дней мы стали собираться. И у меня было странное чувство, словно я уезжаю совсем не такая, как приехала. Теперь это была и моя родня. Я вошла в их жизнь, а они в мою. Даже дядя Тимофей Иванович теперь был и моим дядей, и дом этот был уже немножко моим домом. И забор был моим, и куры, и собака...

Тут я вспомнила:

— А где же ваша собака?

— Нету у нас собаки...

— А дощечка на калитке?

Антонина Ивановна засмеялась:

— Так, для авторитета висит... Джерька подохла, мы не стали нового пса заводить... И выпустить некуда, кругом застроилось, было-то ведь поле... Да и то сказать, что у нас охранять, какие капиталы?.. Дети выросли, играть собаке не с кем...

Даже подохшая Джерька была теперь моей. А главное, я, я, свободолюбивая и независимая, принадлежала уже не только Кириллу, но и его родне. И это меня несколько озадачивало.

Конечно, я не такая дура, чтобы не понимать, как знакомо мое состояние растерянности всем молодым женам. В Советском Союзе, в странах народной демократии и даже в капиталистических странах, прибавил бы Кирилл, стараясь рассмешить меня, если бы знал, что я чувствую. Но он этого не знал. А мне было грустно...

Как бывает немного грустно, когда проходят праздники и надо снова идти на работу. Эти первые месяцы, когда мы с Кириллом стали жить вместе, когда мы всецело принадлежали друг другу и всецело были поглощены собой, миновали. Кроме любви вступали в силу законы дружбы, родства, долга. Я старалась утешить себя тем, что родные, знакомые и соседи были у Кирилла раньше, еще до того, как мы встретились; что его чувства к ним, его связи и отношения с людьми уже тогда существовали как часть его жизни. Полюбив Кирилла, я полюбила все стороны его существования, всю его жизнь. Так же как я принесла в наш общий дом чудакво родителей

лей и смешливых близнецов-братьев, свое детство, свою черную кошку Мушку и портрет Анны Ахматовой. И первые секреты, и первые влюбленности, и воспоминания, и верность подруге, которой я и по сей день пишу длинные письма на Южный Сахалин.

А все-таки, все-таки что-то изменилось, и эта перемена давалась мне нелегко. Наконец Кирилл почувствовал это.

— Галина, — забеспокоился он, — что случилось? Ты стала очень серьезная...

— Старею, — лихо ответила я.

Кирилл погрозил пальцем:

— Не смей...

Но я только пожала плечами.

В день отъезда все окончательно помирились и примирились.

— Смотри, Кирилл, я уже человек старый, ненадежный, — сказала мать. — Хоть у тебя теперь своя семья, но ты брата и сестру не забывай, ты у них старший...

— Да что вы, мама? Как можно? — вскинулся Кирилл.

— И вы, Галя, деточка, тоже их не забывайте...

Все-таки она признала меня.

Мы обнялись и поцеловались.

Валя до того расстроилась, что заревела. А Петр совсем притих и все старался угодить, услужить Кириллу. Он сам потащил на остановку наш чемодан, а чемодан был очень тяжелый, потому что Кирилл набил его своими книгами. Антонина Ивановна молча смотрела, когда он их собирал и укладывал. Всем понятно было, что у Кирилла теперь есть другой дом и его книги должны стоять там...

Я рада была, что мы едем к себе, возвращаемся к своему укладу жизни, к своей работе и своим друзьям, волейболу в обеденный перерыв и купаньям на озере по воскресеньям, представляла себе, как мы расставим книги на полках; и тут же где-то возникала во мне смутная тревога — неужели и наш ребенок, когда родится и вырастет, тоже соберет как-нибудь свои книги и уйдет от нас?..

В КОМАНДИРОВКЕ



Уже перед самым отходом поезда Куш вспомнила, что не взяла папку с выписками из личного дела Пелехатого. Она досадливо повела плечами, но ничего не сказала спутнику. Ефимочкин, худощавый, узкогрудый, в очках, в кургузой курточке, походил скорее на серьезного мальчика-шахматиста, чем на солидного работника треста. Он долго устраивался на своей полке, потом достал из чемодана книгу, комнатные туфли и уселся.

Поезд медленно плыл вдоль перрона. В последнюю минуту в купе вбежал мужчина в кожаном пальто, в руках — огромный портфель с застежкой «молния». Он плюхнулся на диван, отдышался и бодро сказал:

— Ну, тронулись-двинулись! Чуть не опоздал... А-а, старые знакомые!..

Фамилию этого человека Куш позабыла, но она помнила, что он работал у них в тресте и уволился вскоре после того, как она туда поступила. Но фамилию назвал Ефимочкин:

— Кривцов! Откуда? Куда?

— В Балашихинск. А вы? Какое совпадение! — И Кривцов жизнерадостно захохотал.

Куш вышла в коридор к окну.

Простирались по-сумеречному печальные, прихваченные заморозками поля Подмосковья. Сады уже облетели, облиняли, утратили пеструю осеннюю красу. Все отцвело, опало, буграми лежала на огородах развороченная земля, валялись веревки увядшей картофельной ботвы.

Пейзаж был унылый, как будто в природе остались только две краски — черная и серая, но он не нагонял

тоски. Куш было весело и хорошо. И даже мысль о забытой папке не могла испортить ей настроение.

Командировка радовала ее.

Поезд бежал все быстрее. Темнело. Тьма проглатывала поселки, колодцы, дачные платформы, палисадники. В далеких домиках зажглись редкие, одинокие огоньки. Ели подступили к железнодорожной насыпи, вытягивая свои мохнатые лапы...

В купе Ефимочкин расспрашивал Кривцова:

— Что же вы теперь делаете?

— А что делать бедному крестьянину? Ха-ха-ха... Читаю лекции. От Общества по распространению... Меня всегда тянуло к теории. Вы же помните...

Ефимочкин нерешительно подтвердил:

— Ну да...— И спросил:— Но что это вам дает как экономисту?

— Что? Это же ясно, как разжеванный апельсин. Кругозор, наблюдения... И заработок неплохой. А вы зачем в Балашихинск? Позвольте, Балашихинск — это же вотчина Николая Павловича Викторова...

— Была. И может быть, скоро опять будет...

— Это же прекрасный мужик, Викторoв!

Куш не увидела, а скорее почувствовала, как Кривцов глазами и движением бровей показал на нее, и Ефимочкин, отзываясь на его немой вопрос, ответил:

— Вот с Александрой Александровной Куш, нашим инспектором по кадрам, едем на его бывшую фабрику.

— Кто же теперь директор?

— Некто Пелехатый...

— Пелехатый? Не слыхал, не знаю.

Ефимочкин пожаловался:

— Будь он неладен, этот Пелехатый! Я собирался идти сегодня на «Плоды просвещения». Билеты купил...

— Что ж, нельзя было отложить поездку? Такая срочность?— беспечно спросил Кривцов.— Не сгорела бы ваша балашихинская фабрика за одни сутки... Да и вообще... Подумаешь, какое грандиозное предприятие! Какое уж там значение имеет эта продукция в общем плане треста!

— Да, фабрика маленькая, невзрачная, а вот подите, Викторoв рвется обратно...

— Ну, он известный энтузиаст... Если бы не он, никто бы и не знал про эту балашихинскую фабрику.

«Он прав,— подумала Куш, прижимаясь лбом к холодному стеклу и наблюдая, как над вершинами сосен появляется бледный молодой месяц.— Он прав, этот Кривцов. Продукция балашихинской фабрики действительно занимает очень малое место, или, как принято говорить, имеет малый удельный вес в общем плане треста. Верно, если бы не Николай Павлович, никто бы и не вспомнил об этой фабрике».

Она с удовольствием слушала, как хвалят Викторова.

Куш мало с кем дружила в тресте. Среди сослуживцев она слыла сухой и замкнутой. Она не без гордости замечала, что ее даже побаиваются,— хотя какое же она начальство? Если приходилось заглянуть во время перерыва в буфет, прекращался хохот и шутивное ухаживание за молоденькими машинистками и никто не задерживался там после звонка. Если ей нужна была справка, сотрудницы переставали улыбаться и переговариваться между собой, принимали деловой, озабоченный вид. Ну и что ж? У нее не было ни времени, ни охоты на болтовню и пересуды.

Исключение Куш делала только для Викторова. Из всех директоров предприятий, приезжающих в трест, она отличала его одного.

Викторов нравился ей своей простотой, даже грубоватостью, прямоотой, энергией. Как будто степной ветер врывался в душные коридоры треста, когда появлялся этот шумный, веселый, напористый директор фабрики. Всем говорил «ты», всех называл по имени, всех угощал сливами и яблоками из своего сада. Он хвалился: «У меня жена — мичуринец. Снимает богатый урожай...»

Старые сотрудницы говорили, что раньше он был просто неотразим. Теперь чуть потолстел, огрубело лицо, поредели русые, мелко вьющиеся волосы. Но еще и теперь он выглядел молодцом — пышущий здоровьем, с богатырскими плечами, беспечный, веселый, щедрый.

Когда «балашихинский патриот» приезжал и в коридоре раздавался его зычный голос, Куш с нетерпением ждала, что он войдет в ее узкую комнатку, заставленную шкафами и ящиками с карточками. Он обязательно приходил, приносил ей яблочко и говорил: «Самое лучшее для вас, Шурочка... пardon... извиняюсь, Александра Александровна».

Он шутил, балагурил, хохотал.

Но сотрудники не давали ему посидеть с ней, теребили его, звали, торопили. Он всем был нужен.

Викторов частенько поругивал начальство за то, что оно недостаточно поворачивается лицом к производству, но, странное дело, начальство все же любило его.

Если надо было докладывать в главке и на доклад вызывали с мест директоров больших предприятий, управляющий обычно включал в список и руководителя маленькой балашихинской фабрики. «Давай, давай! — подбадривали Викторова на совещании. — Послушаем голос из провинции. Интересно». Викторов, лукаво щурясь, почесывал затылок. «Что ж, но поймите в виду — я буду критиковать невзирая на лица!» Управляющий слушал его пересыпанную шуточками и прибаутками критику, кричал, поднимал брови, крутил головой, как бы говоря: «Ну и дает, чертяка, ну и дает!..»

Викторов часто бывал в тресте — то на совещаниях, то на слетах. Его включали в бригады по изучению опыта передовых предприятий или в комиссии по обследованию. Он безропотно соглашался. Только изредка забегал в плановый отдел, просил: «Братцы, какие там сведения с фабрики? Что там у меня? Не жизнь, а карусель. Закружился с вашими чертовыми обследованиями. Вы уж меня не режьте».

Интересы своего предприятия Николай Павлович отстаивал страстно, с пылом. Ему не «завышали» план, охотно «подбрасывали» в конце квартала лимиты и фонды, а уж сырье он всегда добывал в полном ассортименте.

Викторова жалели. Жалели, что талант такого хозяйственника попусту гибнет на маленькой и старой фабричке с допотопным оборудованием, и очень обрадовались, когда стало известно, что его решено перебросить на большую фабрику, оснащенную современной техникой, одну из лучших в системе треста.

Но сам Викторов почему-то не обрадовался. «Эх, неохота мне из Балашихинска уезжать! Ой, до чего неохота! Вдруг еще не справлюсь на новом месте?» Это он сказал управляющему. Тот усмехнулся: «Скромность, она, конечно, украшает, но...» — «И Глафира моя может не захотеть. Это же надо знать, какая упрямая женщина!»

Управляющий захохотал: «У всех есть свои Глафиры. Ничего, Николай Павлович, не робей. Посоветуй лучше,

кого можно выдвинуть на твое место. Кто с тобой работал? Пелехатый?»

Вот тогда Куш впервые обратила внимание на эту фамилию — Пелехатый.

...Поезд, замедляя ход, приближался к станции. По стеклу замелькали золотые отблески огней.

Ефимочкин позвал:

— Что это вы уединились, Александра Александровна? Давайте пить чай.

Куш вошла в купе.

Кривцов, искоса поглядывая на нее, на мгновение умолк, стараясь казаться серьезным. Он еще не знал, как будет держать себя Куш: так же, как в отделе кадров, неприступно и сухо, или как-то по-другому. Но Куш посмотрела на него благодушно и даже милостиво, спросила, как бы укоряя:

— Значит, бросили нашу систему?

— Да, вышел на океанские просторы.

Кривцов оживился, улыбнулся. На лице его, где странно сочеталась девичья нежность с синевою быстро растущей жесткой бороды, обозначились ямочки.

— Я ведь поссорился с шефом, вы знаете... Вдрызг. Не хотел меня отпускать. Но я... откровенно говоря, натура у меня широкая, в аппарате мне тесно.

Добродушное самодовольство, горделивое сознание собственной значительности, сквозившее в каждой черте Кривцова, мешали ему оставаться спокойным, незаметным. И когда поезд пошел, он снова сказал свое любимое: «Ну, тронулись-двинулись. Что остается делать бедному крестьянину? Надо закусить». Самодовольство выступало из каждой поры его существа, как выступал нежный, прозрачный жир на розовой семге, которую он достал из промасленной бумаги.

Куш тоже взяла из сумочки свои завернутые в целлофан бутерброды с тусклой копченой колбасой, купленные на вокзале. Ефимочкин аккуратно разложил на салфетке взятую из дома снедь, стал разрезать хлеб на тонкие, ровные ломтики.

Он смущенно угощал:

— Прошу вас... тут котлетки свежие..., пирожки..., пожалуйста...

Куш спросила у Кривцова:

— О чем же вы читаете лекции?

— Переключился на моральные темы... Но разработаны они у меня оригинально, не шаблонно... Я не люблю, когда все ясно, как разжеванный апельсин... Я ставлю перед собой задачу...

Вид у него вдруг стал озабоченный, напряженный, он быстро встал, перевесил на другой крючок пальто — подальше от разложенной еды, повернул его подкладкой наружу, любовно огладил мех на пыжиковой шапке и даже потрогал зачем-то «молнию» на портфеле.

— У меня склонность к обобщениям... Это мой конек... «Хобби», как говорят англичане.

Какая-то мысль осенила его, он стукнул себя по лбу и выхватил из карманчика автоматическую ручку.

— Это надо записать. Идея! Это же замечательный факт, новое явление в психологии советского человека: привязанность к своему месту работы. Колоссально! Я приведу этот пример в своей лекции, честное слово!

— Он даже похудел, Николай Павлович, на новом месте, так болел душой за Балашихинск, — рассказывал Ефимочкин. — Чудак! Писал, звонил, телеграфировал, жаловался. Ко всем приставал: «Думаете, моя Глафира переехала? И не собирается даже! Живу на холостяцком положении». Обращался к управляющему, но тот...

— Шеф не любит отменять собственные приказы, о нет! — подтвердил Кривцов. — Если сказал — все!

— Вот именно, — подтвердил Ефимочкин. — Но тут уж Макаров, начальник планового отдела, помог... подлил масла в огонь: подсунил сводку именно в ту минуту, когда управляющий сильно не в духе вернулся из главка.

Куш не нравился этот разговор. Она лучше других была осведомлена, что произошло в кабинете управляющего. Управляющий согласился с Макаровым потому, что остро встал вопрос о выполнении плана всеми предприятиями без исключения, и потому еще, что повысились требования к качеству и ассортименту.

Устало почесывая затылок, управляющий сказал: «Надо заняться этими маленькими фабричками, будь они прокляты!» — и устался на жирно подчеркнутые красным карандашом показатели балашихинской фабрики...

«Так Виктор же слезами плачет, просится назад. — Макаров взмахнул руками и всей своей угловатой фигурой сделал движение, будто хочет взлететь. — При Викторе фабрика гремела. А при Пелехатом, вы меня извини-

те...» — «Ну что ж, я не возражаю. Надо это предприятие поднимать. — Управляющий вдруг внимательно посмотрел на Куш и распорядился: — Вот вы и поезжайте, товарищ Куш. До каких пор, понимаете, будем терпеть? Надо снимать этого прекрасного Пелехатого. Надо на его примере научить других уважать государственную дисциплину. Возьмите с собой инженера — и с богом!»

Куш даже растерялась. Снимать директора должен был, по сути дела, заместитель управляющего, ну, в крайнем случае, главный инженер. Пусть даже маленького директора, плохого... И то, что управляющий поручил это ей, было признаком доверия и уважения. Ей не могло не льстить такое серьезное, ответственное поручение.

Конечно, она могла бы рассказать обо всем этом больше, чем Ефимочкин, если бы считала уместным обсуждать деловые вопросы в вагоне с посторонним человеком.

Ефимочкин заметил ее нахмуренные брови и попытался изменить тему разговора, но Кривцов пел как соловей, ничего не видя вокруг:

— Ну, а Пелехатый? Как же я его не помню? Старый, молодой?

— Пожилой, пожалуй даже старый, — после некоторого колебания ответил Ефимочкин. — Он был недавно в тресте, но впечатления ни на кого не произвел. Молчит, слушает, не возражает, обещает выправить положение... Как будто там можно выправить положение без дополнительных капиталовложений! В общем, не чета Викторову. — Он покосился на Куш. — Можно сказать, серый человек.

— Так это же ясно, как апельсин, — с апломбом сказал Кривцов. — На современном этапе хозяйственник должен иметь ярко выраженное лицо. Директор, который не выдвигает проблем, не поднимает вопросов, — это не руководитель, не фигура. Это наш вчерашний день. О, у меня нюх на людей! Ведь Викторова я открыл... Вот с ним можно делать дела. Он откликается на каждое мероприятие, чуткий, как мембрана... Я Викторова буквально продвигал, буквально тащил...

Куш сухо заметила:

— Викторов не из тех работников, которых надо тащить.

Ей почему-то вспомнилось, как она вышла из кабинета, получив распоряжение ехать в Балашихинск, и в ко-

ридоре увидела Викторова. Как мальчишка, которому обещан билет в цирк и он не верит своему счастью, Николай Павлович спросил шепотом, беря ее под руку и хитро щуря узкие голубые глаза: «Ну как? Выходит дело, живем?— И попросил, тесно прижимая локоть:— Вы уж там не делайте слишком строгих выводов. А? Я ведь вашу непримиримость знаю... Все-таки он симпатичный старик, Пелехатый. Останется при мне, как и раньше, заместителем, со мной он еще потянет». И засмеялся так заразительно-громко, что Куш не могла не улыбнуться.

Она вспомнила, как он в порыве чувств прижал ее локоть и по спине ее пробежал холодок... Уже захрапел на верхней полке Кривцов, стих Ефимочкин — до этого он долго, как мышонок, шуршал в своем углу жестким одеялом, а она все не спала.

В жизни ее было мало радостей. Командировка, да еще такая ответственная, явилась для нее большим событием. Что-то новое, интересное вошло в ее жизнь. Она была честолюбива, служебный успех окрылил ее. У нее ведь не было сейчас других интересов...

После войны муж не вернулся в семью, остался с вертлявой медсестрой, которую встретил на фронте. Куш глубоко затаила обиду, никогда не жаловалась на свое одиночество, одна растила детей.

Соседка по квартире, веселая блондинка с двойным подбородком, не раз укоряла ее: «На вашем месте я бы уже давно вышла замуж... У вас фигура хорошая. Вы занимаете определенное положение, у вас две комнаты...» Куш отшучивалась, делая вид, что она довольна своей жизнью: «Я не гонюсь за новым ярмом. И, кроме того, за мной никто не ухаживает». — «Ухаживайте сами, разве теперь ждут, пока мужчина начнет ухаживать!»

Куш с соседкой не дружила, считала ее мещанкой. И с детьми у нее не было особой близости. Она воспитывала их строго, приучала к труду. Дети ее выросли в детском саду, потом стали ходить в школу, летом уезжали в пионерский лагерь.

Работала она много, и если не успевала управиться до шести, то засиживалась в тресте допоздна, перечитывала, изучала личные дела сотрудников, отмечала прохождение по службе, наклеивала выписки из приказов. Она

отлично знала все повышения в должности и переводы, благодарности и «на вид». У Куш была своя особая система учета, которой она гордилась, сложные картотеки, списки, карточки; и на любой запрос из любого учреждения Куш могла ответить немедленно, лишь заглянув в свои ящики с алфавитом.

Иногда ей и во сне мерещился шорох бумаг, она искала утерянную справку. Летом за городом, поехав навестить в пионерский лагерь дочь, она шла задумавшись, услышала шелест листьев и испугалась: показалось, что это ветер сдувает со стола разбросанные документы. Тогда ей сделалось и смешно, и грустно, и немного тревожно... Неужели вся ее жизнь пройдет среди бумаг? Неужели не будет у нее живого дела? Радости? Счастья?

Сегодня ей смутно верилось, что наступил перелом.

Куш ворочалась на своей постели. Тонкий матрац сползал с полированной полки. Но дома у нее был тоже тощий, жесткий матрац. Она не привыкла заботиться о своих удобствах...

Просто не хочется спать. Так всегда: пока живешь обычным распорядком, все хорошо, а вошел в поезд, замелькали за окнами вагона елки и березы — и ты уже одинокий бродяга, забывший обо всем на свете, ты хочешь счастья, неожиданных приключений. Она и на курорты старалась из-за этого не ездить. Что там делать одной? Гулять по дорожкам, любоваться на горы, слушать рассказы соседок про своих мужей? Сама она уже давно поставила крест на личном счастье. Считала, что оно невозможно, совершенно невозможно. Поздно...

Но сегодня... Сегодня ей подумалось: «Ну а если возможно? Если не поздно?» Она чувствовала себя такой молодой и полной сил...

Если бы сотрудники не уводили Викторова из ее комнаты, если бы она хоть раз встретилась с ним вне мрачных стен треста! Какой он всегда бросал на нее взгляд! Нежный, полный значения... Просто она не разрешала себе угадывать значение этого взгляда.

Озноб пробежал по ее спине.

И вдруг под стук колес, под неясное, тревожное, как лунный свет, мерцание синей лампочки Куш пришла в голову мысль — ошеломительная, горячая, как мольба, неожиданная, как открытие: если ей суждено еще раз испытать любовь, то... пусть это будет такой человек, как

Викторов. Викторов ей нравился. Она не хотела признаваться в этом себе самой, ни за что не хотела, но он ей нравился...

От небольшого пустынного двора, официально именуемого фабричной территорией, веяло чем-то домашним и милым. Первый снег, выпавший ночью, совершил чудеса. Припорошил закопченные крыши на приземистых фабричных корпусах, стоящих в глубине; бархатной каймой лег на забор, на трубы, на карнизы окон, выступы стен; опушил ветки тонких рябинок с рдеющими сморщенными ягодами. Снегом замело огромную, как башня, поленницу дров у конторы, скамейку у входа, где примостилась забежавшая откуда-то кошка. Даже неподвижные облака на низком небе казались вылепленными из снега.

Необычайная для городского уха тишина распростерлась над фабрикой, над прилегающими улицами, над огородами и полями, начинавшимися за забором. В механическом отделении работал двигатель, и похоже было, что вздыхает и беспокойно ворочается в стойле гигантская корова.

— Я выросла в провинции,— сказала Куш с волнением,— мне это так напоминает детство — тишина, близна... Ну и отчаянной же девчонкой я была! С братьями голубей гоняла...

— О! — уважительно произнес Ефимочкин.

Они вошли в низкое, темное помещение. В углу жарко пылала печь, из ее открытой дверцы выбивались красные отсветы, придавая всему теплый, радостный колорит, как на старинной картине. Посредине помещения, около тускло поблескивающего металлическими частями разобранного пресса, сутились, переругиваясь и споря, несколько рабочих в промасленных спецовках. Из-под станка торчали ноги в подшитых валенках; переносная лампа, стоявшая на полу, освещала их белым, ослепительным светом.

Ефимочкин взгляделся и, не найдя Пелехатого, спросил:

— Скажите, будьте любезны, директор ушел?

Его не сразу услышали в шуме голосов, потом кто-то, вытирая пот со лба, переспросил:

— Вам директора?

И наконец снизу, откуда торчали ноги в валенках, раздался голос:

— Тут я. А в чем дело? Кто меня спрашивает?

Озадаченный Ефимочкин, как птица, наклонил голову набок.

— Товарищ Пелехатый, где вы там? Здравствуйте! Это Ефимочкин. Из треста.

— Ефимочкин? Очень, очень приятно...

Пожилой человек, кряхтя, вылез из-под машины и начал вытирать паклей руки. Ефимочкин не сразу признал Пелехатого. Здесь он выглядел моложе, коренастее, энергичнее. И глаза у него ярко и весело играли.

— Мы у себя небольшую модернизацию затеяли,— бодро заговорил Пелехатый,— укорачиваем путь движения продукции... увеличиваем число ударов штампа. Да вот... эксцентрик немного закапризничал. Кстати прибыли, товарищ инженер. Ой как кстати! Мы у вас проконсультируемся.— Пелехатый повернул голову и вдруг заметил в полутьме Куш.— А-а... Комиссия, значит, приехала...— Тень прошла по его лицу, но он усмехнулся.— Торопились, хотели кое-какие новшества у себя ввести, а то беда: оборудование старое, заплата на заплате.

Директор старался говорить спокойно, естественно, но складка на лбу сделалась глубже, воодушевление и даже нежность, с которыми он поминал эксцентрик, пропали, голос звучал глухо, а руки все медленнее и медленнее перебирали паклю. Он повторил, словно думая о чем-то совершенно другом:

— Да, заплата на заплате...

Ефимочкин обиделся. Он оглянулся на Куш, надеясь, что она вступится за честь треста. Но Куш молчала. Тогда с легким оттенком неуверенности в голосе инженер ответил:

— Однако... насколько я осведомлен, заявок на оборудование вы не подавали.

— Не подавали, нет,— согласился Пелехатый. И опять усмехнулся.— Хотели еще кое-что выжать из старого. Использовать внутренние ресурсы.

Все молчали. Слесари и механики с любопытством смотрели на приезжего инженера. Куш почудилось что-то недоброе в их настороженном любопытстве. И задорный вид Ефимочкина ей не понравился. Она вмешалась:

— Мы пока познакомимся с документацией. Вы не возражаете?

— Что ж... — Пелехатый попросил механика: — Леша, будь добр, проводи. Скажи Верочке, чтобы открыла мой кабинет.

Они вышли из цеха. Первое впечатление нетронутого зимнего царства уже развеялось. Во дворе гудел грузовик, выбрасывая из выхлопной трубы струйки синего ядовитого дыма. Хрупкую белизну снега избороздили глубокие колеи от колес.

Механик Леша, рослый красивый парень в матросской тельняшке, видневшейся из-под спецовки, с открытой, несмотря на мороз, шеей, догнал их и спросил:

— Тут Николай Павлович приезжал. Виктор. Так говорил — вроде хотят дать нам кое-какое оборудование... Обещано будто...

Куш удивилась:

— Разве Виктор приезжал? Когда это?

— Только-только уехал. Супруга у него здесь... ну, и на фабрику заходил. — Он прибавил с иронией: — Со скучился, говорит...

Поднялись по ступенькам крыльца, вошли в контору. Верочка, молоденькая девушка в красной вязаной кофточке, с чернильными пятнами на руках, встретила приезжих с нескрываемым детским интересом.

Она засуетилась, забегала, открыла дверь в кабинет — тесноватую комнату с письменным столом и еще одним, узким, для заседаний, с холодным, неудобным, обитым дерматином диваном. Обычный кабинет руководителя небольшого предприятия — с диаграммами, групповыми снимками и образцами продукции в шкафах.

Куш сказала Ефимочкину:

— Ну, что же вы? Устраивайтесь. Вы займетесь техническими вопросами, я — организационными...

Они уселись за столы.

В кабинет входили люди: начальник заготовительного цеха, завскладом, старший мастер, бухгалтер. Верочка вносила и выносила груды отчетов и дел. Не показывался только Пелехатый.

Было уже под вечер, когда Ефимочкин отважился пошутить:

— Неужели мы так и останемся без обеда сегодня?

Куш пожала плечами. Обычно заботу о так называе-

мом бытовом устройстве командированных берет на себя директор. Но Пелехатый забыл о них.

В эту минуту дверь открылась, и вошла свежая с холода, румяная женщина с крупным носом и высоким начесом темных волос надо лбом. Она была в платке и мужском пальто, накинута на плечи.

— Что же это такое, люди дорогие?— сказала она, поворачиваясь то к Ефимочкину, то к Куш и протягивая к ним растопыренные, униженные перстнями пальцы.— А ну, по-простому, по-советскому... складывайте бумажки, и пойдем обедать... Как же так?— играя глазами, говорила она.— Сослуживцы моего Николая Павловича — и не хотят зайти до нашей хаты. Так, товарищи, не годится... У меня же все свое — и гуси, и картошка, и огурцы, и наливка. Николай Павлович на развод подаст, если узнает, что я вас не накормила. Я Пелехатого еще утром предупредила, что вы обедаете у меня.

Ефимочкин галантно поклонился, но Куш отказалась:

— Нет, мы не можем.

Ефимочкин постарался смягчить:

— Очень жаль, но у нас срочные дела.

— Да разве их можно переделать за один день? Все равно нельзя. Я ведь по-простому, без церемоний...— Женщина прекрасно понимала, что все зависит от Куш, и обращалась теперь только к ней:— Где же вы пообедаете с дороги? Рабочая столовка уже закрыта, в ресторане у нас очереди, невкусно, пьяные. Разве там место для такой серьезной сотрудницы, как вы? И ночевать останетесь, у нас все удобства, телефон. С Москвой можете переговорить.

Она то улыбалась, поблескивая золотыми зубами, то скромно поджимала губы. Круглые, как вишни, глаза искрились. Она сдернула с вешалки пальто, готовая силой напялить его на плечи упрямой Куш, потом, опомнившись, повесила обратно.

Ефимочкин не знал, куда деваться от смущения.

— Вы нас извините... кажется, Глафира...

— Семеновна,— подсказала женщина.— Ну что ж!— вздохнула она.— Напишу Николаю Павловичу, что вы побрезговали моим борщом...

— Мы пойдем сейчас в город,— перебила ее Куш.

— Пешком?— удивилась Глафира Семеновна.— Да что вы?— И взялась за трубку решительным движением

человека, привыкшего распоряжаться.— Ньюша,— уже другим тоном, властным и жестким, сказала она в телефон.— Ньюша, дай конный двор. Конный? Петров? Слушай, Петров, запряги сейчас же в пролетку Буланчика и подъезжай к конторе.— Она опять заулыбалась.— У нас здесь просто, без бюрократизма.

Куш и от пролетки отказалась. Ефимочкин слегка пожал плечами, но смолчал. Глафира Семеновна проводила их до ворот, постояла немного и с горечью сказала:

— Разве при Николае Павловиче так было? Теперь все запущено, все кое-как... Вон, глядите, на заборе краска облезла... Вахтер ворон ловит...— И, как будто ей больно было на все это смотреть, отвернулась. Оттянув угол подкрашенного рта, посмеиваясь над собственной слабостью, она прибавила:— Коля мне всегда говорит: «Тебе-то что за дело? Ты-то здесь при чем?» И может, верно — при чем здесь я?

...Когда они уже шли по плохо освещенным улицам окраины, Ефимочкин сказал:

— Странно все-таки, что Пелехатый не зашел... Хорошо еще, что жена Викторова догадалась о нас позаботиться.

— Хитрая женщина эта жена Викторова,— вдруг резко ответила Куш.— Можно только удивляться...— Она не договорила и ускорила шаг.

Ефимочкин был голоден и зол. Зол на Куш, на Пелехатого, которого почему-то надо снимать с работы, на эту унылую улицу с редкими фонарями и редкими прохожими, на ветер, забиравшийся в рукава пальто, на то, что не попал на «Плоды просвещения» и не знал, кому отдала жена второй билет. Он был ревнив.

— Какая же хитрость? Скорее простодушие.

— Много же вы понимаете в людях! — насмешливо, почти презрительно сказала Куш.

Ефимочкина взорвало.

— В женщинах, представьте, я кое-что понимаю! — вскинув подбородок, высокомерно заявил он.— И если хотите знать, она не меньшая «балашихинская патриотка», чем сам Николай Павлович.

— Сравнили! — иронически сказала Куш.

Ефимочкин сразу остыл. И пробормотал:

— Конечно, я не утверждаю... Но мне кажется...

В центре, на освещенном квартале между аптекой и

кино, где толпились гуляющие, уже висели большие рукописные афиши, извещавшие о лекции Кривцова. Ефимочкин уважительно поднял кверху короткие брови.

Они вошли в ресторан при гостинице. Народу было мало, официанты, утомленные дневной сутолокой, лениво, с безразличным видом передвигались по залу. За стеклянной перегородкой щелкала на счетах кассирша. Время обедов уже кончилось, начиналась пора ужинов. На невысокой эстраде сидели, пересмеиваясь, музыканты. Отдыхали. Только один, молодой, с большой шевелюрой, тихо наигрывал нежную мелодию, всматриваясь в ноты, лежавшие на пюпитре. Он раскачивался и резко вскидывал голову. На стене металась огромная кудлатая тень...

Куш редко слушала музыку, плохо знала ее, но простые, печальные мелодии волновали ее до слез. И сегодня ей, усталой, иззябшей, вдруг под негромкий шепот скрипки, полный жалоб на обманутые надежды, примерещился осенний пейзаж. То ли желтые деревья в саду, то ли река... Она вспомнила, как еще девочкой до поздней осени, почти до заморозков, бегала на реку, смотрела, сидя на берегу, на темную, холодную воду. Шелестел пожелтевший камыш. Коричневый плюш на камышинках, такой нарядный летом, осенью полинял и облез, как на жакетке, которую ей перешили из бабушкиного салопчика. Из-под коротких рукавов высывались ее исцарапанные красные руки. Ветер гнал по берегу листья из редкой роши, что тянулась вдоль берега. Листья глухо шуршали на вытопанной земле. Выгибая белые шеи, шипели и гоготали тяжелые гуси, выщипывали последние травинки. Что ей нравилось тогда на берегу, чего она ждала там часами? Какого чуда? Пришло ли оно, это чудо, сбылось ли?..

— Не знаю.— Она покачала головой.

— Что вы сказали? — спросил Ефимочкин.

— Я? Музыка хорошая...

Ефимочкин казался несколько удивленным.

— Вы любите музыку?

Куш поколебалась, стараясь быть честной.

— Люблю...

Скрипач увлекся, заиграл громче. Музыканты перестали болтать, слушали. Перестала щелкать костяшками кассирша.

Куш машинально сгребала ножом крошки на скатерти.

Замер последний томительный звук скрипки, вспыхнула люстра под потолком, озаряя позолоту на стенах, и бодрый, оживленный Кривцов влетел в зал, как будто только дожидался этой минуты. Он весь сиял. Сверкали золотые зубы, глаза, очки, шелковый яркий галстук. Он радостно бросился к столику, за которым обедали Куш и Ефимочкин. В зале, точно это Кривцов внес оживление, задвигали стульями, заговорили, засмеялись. В оркестре настроили инструменты.

Кривцов с подкупающей искренностью расспрашивал:

— Ну как, друзья? Как ваши дела? Тронулись-двинулись? В горькоме были? Нет? Председатель горсовета здесь мировой мужик, мы с ним подружились. Вдрызг. А каким оказался этот ваш Пелехатый? Как вы его нашли?

Ефимочкин засмеялся:

— Нашли в весьма непрезентабельном виде — лежал в старых валенках под станком.

— Шутите?

— Нет, не шутим, — подтвердила Куш.

Кривцов сделал серьезное, полное сочувствия лицо.

— Но это же злая карикатура на руководство...

Он поманил к себе официанта, привычным жестом ткнул в меню, показал что-то на пальцах, и оживившийся официант, наклонив голову набок, резво побежал в буфет.

— Обязанность директора не в том, чтобы чинить и всякое такое. Это ясно, как разжеванный апельсин. Искусство руководить, между прочим, в том и состоит...

— Нет, не скажите, — вдруг перебил его Ефимочкин. — Я сам наблюдал, что на маленьких предприятиях очень уважают директора, который умеет показать, как надо сделать...

— Ну что вы! — уже смеялся Кривцов. — Рабочие никогда не простят директору такого стиля работы... это же ясно...

— Как разжеванный апельсин? — сорвалось у Куш. — А откуда вы знаете? Почему расписываетесь за рабочих? Вы ведь не рабочий.

Кривцов так удивился, что даже не обиделся. Он только пошлепал губами и сказал вежливо:

— Есть такая французская пословица: «Для того чтобы сварить хороший суп, повару не нужно самому влезать в кастрюлю». Я читаю газеты, товарищ Куш, я изучаю и обобщаю. Это же ясно, как...— последнее слово он проглотил.

Он сказал это назидательно и вместе с тем так мягко, искренне, что Куш смутилась. Ну что она могла возразить? В тресте тоже считали Пелехатого плохим руководителем...

Когда утром Ефимочкин зашел за Куш, чтобы идти на фабрику, она сказала ему в своей обычной, несколько резкой манере:

— Позвоните, пожалуйста, Пелехатому, скажите, что нам надо встретиться. Мы приехали сюда не развлекаться и не обижаться друг на друга. Пусть потрудится нас обождавать.

Деловито и строго разглядывая себя в зеркало, Куш стала надевать меховую шапочку. Ефимочкин долго крутил ручку телефона. Наконец ему ответили. И у него вдруг стало такое странное выражение лица, что Куш, увидев его отражение в зеркале, испугалась:

— Что? Что такое?

— Непонятное что-то...— пролепетал Ефимочкин.

Куш вырвала у него из рук трубку.

— Что?— Она тоже растерялась.— Я сейчас... Мы сейчас придем...

Она постояла, раздумывая, побарабанила по столу, потом обвела Ефимочкина странным, остановившимся взглядом и сказала:

— У Пелехатого был сердечный припадок... он умер...

— Позвольте, но как же так?— пробормотал Ефимочкин.

— Что «как же так»?

— Но как же так?.. Мы из-за него приехали, и вдруг...— Он едва понимал, что говорит, так был подавлен.

С горестным видом поплелся он вслед за Куш. Шнурок на ушанке развязался, и один наушник болтался, придавая Ефимочкину сходство с виноватым, обиженным щенком.

Весь вид Ефимочкина выражал молчаливый упрек,

протест. Он досадовал, что поездка обернулась таким неожиданным, странным образом.

— Я был однажды в театре, и там во время второго акта умер артист, игравший главную роль...

— Пелехатый не артист...

Ефимочкин обиженно пожал плечами.

— Все уговаривали меня ехать в Балашихинск, уверяли, что командировка легкая. И вот пожалуйста...

Куш резко оборвала его:

— Будет вам... хныканьем не поможешь.

На фабрике заплаканная Верочка рассказала, что Пелехатый был болен уже давно, сердце у него больное, а он не берег себя, не лечился, не отдыхал.

Она по-детски терла кулачками глаза и заливалась слезами.

В кабинете было сумрачно, холодно. Расстроенная уборщица не протопила печь. В углу белела охапка березовых дров.

В конторе толпились посетители. Грузчики требовали денег, заседали на старичка бухгалтера. Унылый долговязый человек в шапке фасона «гоголь», стоя около Верочки, негодовал, как будто Верочка была в чем-то виновата:

— Но позвольте, девушка! Как мне теперь быть? Нам этот заказ вот как нужен! — и он привычным, равнодушным движением резал себя пальцем по горлу. — Тем и славился ваш Пелехатый, что слово его было закон!

— Пелехатый, Пелехатый! — плаксиво повторила Верочка. — Нет больше Пелехатого.

— Но как же мне быть? Нет, вы мне скажите, девушка: как мне теперь быть?

Бухгалтер возмутился:

— Произошла трагедия. Можете вы это понять? У меня чеки в банк не подписаны, с грузчиками не могу расплатиться... Умер человек. Понимаете вы это?

Бригадир грузчиков, рослый парень в твердом, как жесть, плаще, надетом поверх ватника, забормотал простуженным, хриплым голосом:

— Разве же мы не понимаем? Петра Иваныча жалко, это да, а деньги за фабрикой не пропадут...

Он мигнул своим ребятам, и они пошли, гремя плащами, к выходу. Бригадир только спросил:

— Хоронить когда, в воскресенье будете?

Верочка заплакала, потом утерла глаза, попудрилась и подошла к двери кабинета.

— Вам дать вчерашнюю сводку?

— Давайте,— ответила Куш.

Ефимочкин пожал плечами:

— Человек умер, а фабричный механизм продолжает вертеться как ни в чем не бывало...

— Но, дорогой товарищ Ефимочкин,— с иронией посмотрела на него Куш,— ведь фабрика продолжает давать продукцию, десятки людей работают. С этим нельзя не считаться...

Она сказала, что надо пойти на квартиру к покойному. Ефимочкин со вздохом согласился. Вышли из ворот, свернули направо, прошли мимо новенького директорского коттеджа с яркой крышей, где жила Глафира Семеновна. Во дворе металась на цепи огромная овчарка. Показался «стандартный дом» — большое двухэтажное здание барачного типа.

Дом был густо заселен, на окнах висели занавески разных цветов и узоров. Между рамами на белой вате красовались желтые кленовые листья, бессмертники, мелко нарезанные пестрые бумажки.

Квартира Пелехатого находилась на первом этаже.

Во дворе, на утопанном снегу, на крыльце, в кухне толпились соседи, с любопытством и страхом заглядывали в комнату. У притолоки, привалившись, стоял механик Леша и нервно, жадно курил в рукав. Он поднял глаза на вошедших, но ничего не сказал, бросил окуроч, затоптал его каблуком и с тем же сухим и злым блеском в глазах вошел в дом.

Еще в сенях пахло теплом, квашенной с тмином капустой, цветами. Широкая, большая комната казалась темной из-за вазонов, кадок, деревянных ящиков. Даже с потолка свисали подвешенные на крюках горшки с вьющимися растениями. Повсюду в беспорядке стояли сдвинутые с мест кресла и стулья с высокими спинками, покрытые белыми чехлами. Полки над письменным столом были забиты вспухшими книгами. На столе навалом лежали слесарные инструменты.

У стены сидели, пригорюнившись, две худенькие старушки, плечистый мужчина в брезентовой куртке, старичок вахтер, дежуривший вчера в проходной. Леша стоял

посреди комнаты, широко расставив ноги, как будто под ним качалась палуба корабля, а корабль несло и несло куда-то в бушующее море. И все они — и Леша, и старушки, и вахтер, и плечистый мужчина — с жадностью смотрели в одну точку, туда, в глубь квартиры, где на диване лежал человек с закрытыми глазами.

На Пелехатом был черный праздничный костюм с чуть потускневшим от времени орденом боевого Красного Знамени на лацкане узкого пиджака.

Куш вспомнила, что в этом пиджаке, но только без ордена Пелехатый приезжал в трест, где произвел невыгодное впечатление. Но сейчас лицо директора выглядело задумчивую строгость, почти суровость. Меж бровей залегла гневная складка, словно Пелехатый хотел что-то сказать, потребовать. И ей странным показалось, что его большие руки так неподвижно сложены на груди, большие, сильные руки с потемневшими от табака и машинного масла пальцами.

У нее вдруг защемило сердце от жалости к тому простому дядьке в валенках, что еще только вчера жил, дышал, лежал у пресса, работал, ругался, создавал.

У нее не было ни страха перед покойником, ни желания все смягчить и приукрасить перед лицом смерти. Она выросла в простой рабочей семье, где к смерти относятся как к естественному закону природы, просто. Но эта смерть была так случайна, так нелепа...

С затуманенным взглядом, как будто она смотрела сквозь окно, залитое дождем, Куш подошла к женщине, в которой угадала жену Пелехатого.

— Вот,— сказала вдова, стараясь не плакать.— Вот... не пожилось ему, голубчику...

Она сидела на краешке глубокого кресла, полная, уже немолодая, с седеющими волосами, зашпиленными на макушке, и вертела в руках пакет, густо заклеенный марками.

— Задание вот пришло из заочного... а выполнять его некому...

Она посмотрела на Куш, словно надеясь, что та может изменить совершившееся, вмешаться, понять всю несообразность того, что произошло.

И в эту минуту, хлопнув дверью, сбивая пестрые половики, в комнате появилась Глафира Семеновна. Задышав, она спросила:

— Почему же меня не разбудили? Ведь я же ничего не знала. Ах, дорогая Ольга Сергеевна, голубка моя! Это наше общее горе. Николай Павлович так любил работать с вашим Пелехатым...

— Теперь уже придется... одному ему...— вздохнула вдова.

Глафира Семеновна заморгала густыми ресницами, из блестящих глаз, как горошины, посыпались крупные слезы. Нос набух и покраснел.

— Такое несчастье!— ломала она пальцы.— Я не покину вас. Гроб заказали? Надо достать оркестр. Я сейчас позвоню. Мне не откажут.

Куш осторожно напомнила:

— Ведь есть похоронная комиссия.

— Ой, везде нужен свой глаз!— воскликнула Глафира Семеновна.— Вы не знаете наших работников. Могут напутать, недоглядеть.

Леша круто повернулся и вышел из комнаты.

Куш с раздражением следила, как Глафира Семеновна непрестанно двигалась, говорила, советовала, утешала, переставляла цветы, передвигала стулья, задерживала и отдергивала занавески. Мелькали рукава ее платья, стучали каблук. Глафира Семеновна накапала из пузырька в рюмку и заставила Ольгу Сергеевну выпить валерьяновых капель, потом, подумав, взяла из буфета вторую рюмочку и накапала этого лекарства себе.

Куш шепнула Ефимочкину, что пора идти. Глафира Семеновна проворно пошла за ними и деловито зашептала:

— Может, вызвать Николая Павловича?

— Для чего?

Глафира Семеновна посмотрела на Куш, как на дурачка.

— Ведь есть же принципиальное согласие управляющего трестом... вы, я надеюсь, в курсе...

Куш с силой толкнула наружную дверь и чуть не налетела на Лешу. Он неподвижно стоял на крыльце, взгляд его блуждал где-то над двором с его сарайчиком, над крышами соседних домиков, там, где сердито бежали по серому небу белесые облака.

Пелехатого хоронили в морозный ясный день. Ярко синело небо, вызолоченное солнцем. Солнце слепило глаза. Пылали холодные металлические инструменты оркестра. Сверкали сосульки на обледеневших деревьях. Пламенели сугробы.

Гроб несли на полотенцах, грузовик с бортами, обтянутыми красной и черной материей, медленно плыл позади процессии.

Громко рыдала большая труба. Медные тарелки рассыпали стекляшки печальных звуков.

Колыхались венки из бумажных роз и лилий. Ветер отгибал и загибал края гигантских лепестков, и, когда стихала музыка, становился слышен их жесткий тревожный шелест. Две девочки-ученицы с испуганными и торжественными лицами высоко держали портрет в траурной рамке, с которого глядел моложавый мужчина, мало напоминавший Пелехатого.

За гробом шло множество народу. Мастера, грузчики, слесари, монтеры, шоферы терялись в густой женской толпе. Старые работницы, одетые в теплые шали, в пальто с меховыми воротниками, в валенки и блестящие калоши, шли как попало, не в такт, не под музыку, вели с собой детей и внуков. Многие плакали, шумно сморкаясь в большие платки, вздыхали, всхлипывали. Молодые шагали, схватившись под руку, рядами, все в ярких шляпках, в пестрых шерстяных носках, надетых для тепла поверх тоненьких чулок.

Рядом с Куц очутился Леша. Он только что сменился у гроба и все еще шел без шапки. К взмокшему лбу прилипли густые русые пряди. Он тяжело и часто дышал.

Этот молодой парень со злыми глазами заинтересовал Куц с той минуты, когда он с чуть уловимой иронией отозвался о Викторове. Как будто он знал что-то очень важное, очень нужное для всех, очень значительное. Она ни разу не разговаривала с ним, но чувствовала на себе при каждой встрече его недобрый взгляд. На что он сердится? Чего хочет? Какая связь между его злостью, их приездом, Викторовым, Пелехатым?

— Видимо, рабочие любили директора,— сказала она.— Вон сколько народу провожает.

— Народ Петра Ивановича знал, уважал,— сердито сдвигая красивые брови, произнес Леша.— Может, где его и не знали, не уважали, а мы...

— Где же это его не уважали и не знали?— спросила Куш, глядя прямо в недобрые, ястребиные глаза механика.— В тресте, что ли?

— А хоть бы и там...— Леша встряхнул головой и надел на затылок кубанку.— Николай Павлович ведь прямо сказал, что Пелехатый в тресте негоден. Над затеями его смеялся, говорил: «Лучше я нового оборудования добьюсь». И Глафира Семеновна очень смеялась.— Уже не вызов, не враждебность, а горечь и боль звучали в его голосе.— Конечно, Пелехатый виду не подал, работу не кинул... Он самостоятельный, твердый был человек...

— А при чем здесь самостоятельность?— не поняла Куш.

— А при том...— И, наклонившись к ней, Леша шепнул:— За спиной у Пелехатого спокойно жилось. Николай Павлович это учитывал. Пелехатый тянул воз, а он пыль началству в глаза пускал... Вот как было.

Куш возмутилась:

— Ну, это несправедливо!

— Может, и несправедливо,— насмешливо согласился Леша.— Зато правда. И люди эту правду видят...

Дорога вела уже через открытое поле. Простор до самого горизонта был завален сугробами, в выемках и впадинах распластались угловатые лиловые тени.

Показалось кладбище, высокие выщербленные кирпичные столбы ворот, маленькая часовня с давно не крашенными куполами, железная ограда.

Председатель фабкома взволнованно и громко, срывающимся голосом закричал, как на собрании:

— Товарищи! Мы опускаем в могилу... Это был чуткий, преданный делу рабочего класса, золотой человек...

Спотыкаясь и увязая в сугробах, все стали проталкиваться ближе к могиле. Куш прислонилась к решетке, над которой раскинулось странное черное дерево с обрубленными, торчащими, как распростертые руки, ветвями. Глаза у нее слезились от белизны и блеска, ноги устали от долгой и медленной ходьбы. Из головы не выходил разговор с Лешей. Ее возмущали эта открытая злоба, это недоброжелательство по отношению к Виктору. Возмущали и тревожили одновременно. Чего они не поделили, Виктор и Леша, какая может быть между ними вражда? Леша — рядовой механик. Виктор — директор, хозяйственник.

Она приоткрыла глаза, обвела взглядом кладбище. У могилы, покрывая своим плачем тихие всхлипывания вдовы, рыдала, прижимая к красному носу платок, Глафира Семеновна.

Куш с раздражением отвернулась от нее.

На дальней аллейке она заметила Ефимочкина. Он нервно ходил взад-вперед.

Снегом замело все тропинки и холмики, запорошило кусты. Как будто кто-то неутомимый и рьяный старался все скрыть, все уравнять перед лицом смерти. Но нет. Над могилами верующих темнели кресты, у неверующих высились столбики со звездочками наверху, над могилой летчика краснел пропеллер. И надписи на памятниках были разные: и от неутешного сына, и от убитого горем мужа, и от коллектива товарищей. Каждый человек, уходя из жизни, оставлял после себя свой собственный, неповторимый след.

«Какой же след оставил ты, Петр Иванович? Что привело по твоему следу всех этих людей на далекое от города кладбище в морозный день? Доброта твоя, простота? Легкий, удобный для всех характер?»

Куш поглядела вдаль, на белый простор поля, и увидела на дороге легковую машину, мчавшуюся на большой скорости к кладбищу. У выщербленных кирпичных ворот машина остановилась. Выскочил человек в меховой куртке и быстро пошел, почти побежал к могиле.

Стоявшая неподалеку молодая женщина в пуховой косынке, с нежными серыми глазами на обветренном лице сказала:

— Ой, это же Филатов! А мы думали — не приедет, загордился...

— Какой Филатов? — спросила Куш.

Женщина в пуховой косынке посмотрела на нее не без удивления.

— У нас один Филатов. Из горкома... — И пояснила: — Тоже бывший наш, фабричный. Он Петра Ивановича хорошо знал... А кто его не знал, Пелехатого? Хороший был человек... — Она утерла слезы концом платка. — Развѣ ж раньше, до него, были такие условия для рабочих, такие ясли, такой детский сад? Сравнения нет... — Она покосилась на Глафиру Семеновну. — Николай Павлович, тот тоже не сказать чтоб гордый, Забывчивый только. По-

обещает и не делает. А у Петра Ивановича обещание было твердое. Он уважал людей...

Филатов стоял теперь рядом с председателем фабкома. Солнце зашло. Сразу стало холоднее, подул ветер. Филатов говорил тихо, и Александре Александровне трудно было разобрать его слова, уносимые ветром. До нее долетело:

— Это был настоящий человек, товарищи! Настоящий коммунист...

Стали забрасывать землей могильную яму. Куш вместе со всеми кинула горсть мерзлой земли. Застучали лопаты.

Народ стал расходиться.

Куш подошла к Филатову и представилась. Он не сразу оторвался от своих дум, не сразу понял, кто она. Потом вспомнил:

— А-а, слышал, что вы приехали. Будем с вами ругаться, с вашим трестом. Не помогаете вы нашей фабрике, не помогаете...

Злясь на себя, на тех, кто послал ее в Балашихинск, Куш пробормотала:

— Вот... хотели как раз заняться...

Филатов все еще смотрел на свежий холмик рыжей глинистой земли.

— Ведь это учитель мой был, мой мастер. Он мне и рекомендацию в партию давал... Хорошо, что успел проститься... — Филатов наклонился, расправил ленту на венке. Потом сказал Куш: — Я сейчас обратно в район, дня через два вернусь... Прошу вас зайти в горком. Надо основательно потолковать...

Куш отошла. Она видела, как Филатов бережно взял под руку Ольгу Сергеевну и повел ее к своей машине. Глафира Семеновна поддерживала вдову с другой стороны.

Сумерки сгустились. В небе вспыхивали и быстро потухали краски заката. Стемнело. И только у самого края горизонта догорало розовое зарево.

— Кажется, я приморозил уши, — сказал Ефимочкин, подходя. — Только этого еще не хватало...

Они шли, изредка перебрасываясь незначительными фразами. Стало очень холодно, грустно, неприютно, как будто они затерялись вдвоем в заснеженной степи. Куш

даже обрадовалась, когда из темноты вынырнул и зашагал рядом с ними мрачный, молчаливый Леша.

В городе, когда они проходили мимо киоска «Пиво и воды», Леша, с сомнением глядя на Ефимочкина, неожиданно предложил:

— Ну, товарищ инженер, выпьем, что ли, за помин души хорошего человека?

Они вошли в маленькое помещение, сели за столик, покрытый темной клеенкой. Толстая буфетчица подала им графинчик, хлеб, огурцы, сыр.

Куц почувствовала, как тепло от рюмки водки растеклось по всему телу. Ефимочкин с ожесточением тер уши.

Леша, сверкая дерзкими, горячими глазами, убежденно говорил:

— Это правильно сказал Филатов. Пелехатый красивых слов не любил. Не знал их. Он молча работал. Зато с душой. И механизмы и живое существо понимал и чувствовал. Он сверху не лакировал, вглубь смотрел...— Виной ли была тельняшка с яркими синими полосками, или открытая шея, или якорек, вытатуированный на левой руке, но снова показалось, что под Лешей не пол, а палуба и самому ему не страшны ни штормы, ни бури, ни морские ветры. Он зашептал горячо, проникновенно, взволнованно, хватая собеседника за руки, заглядывая в глаза: — Умер, это я понимаю... Каждому свой век, тут никто не виноват... Но ты не глуши его дело, ты делу не дай умереть. А Николай Павлович заглушит, он легкую жизнь любит...

— Почему вы такого мнения о Николае Павловиче? — в упор спросила Куц.— Что он вам сделал плохого?

— Мне? — Леша горделиво улыбнулся.— А что он мне может сделать? — И он медленно процедил сквозь зубы: — Я вам одно скажу: вы еще вспомните нашего Пелехатого, когда фабрика начнет перевыполнять план. Это его труд. Это он обеспечил...

Куц встала и, недовольная собой, недовольная тем, что, поддавшись порыву, очутилась за этим столиком, покрытым мокрой клеенкой, сделала резкое движение рукой, как будто подвела черту.

Они пошли домой.

На перекрестке Леша попрощался.

В гостинице, в коридоре, отпирая дверь в свой номер,

Куш, прищурившись, вдруг гневно спросила Ефимочкина:

— Интересно, что бы на все это сказал ваш мудрец Кривцов, какие бы он сделал обобщения из всех этих фактов? Ведь ему все ясно, у него на все есть готовый ответ.

Ефимочкин растерянно мялся, снимал и надевал очки, подбирая слова. И наконец спросил:

— Александра Александровна, ведь, в сущности, можно так понять, что наша миссия закончена?

— Почему же?

— Ну как почему? Потому что какой же смысл теперь,— он сделал ударение на этом слове «теперь»,— в нашем обследовании?

Куш нахмурилась.

— Мы приехали проверять работу фабрики, а не расчищать путь для нового директора.

— Вы так думаете?

Ефимочкин уставился на груды дел, лежавших на столе. Он долго смотрел на них, словно впервые видел столько бумаг, испещренных цифрами. Затем вдруг сорвался с места, осененный внезапной догадкой.

— Я пойду в цех... Надо все-таки узнать — наладилось ли там с эксцентриком?

И с решительным видом, точно собираясь на дрейфующую льдину, в район Северного полюса, Ефимочкин нахлобучил шапку и вышел.

Куш в замешательстве посмотрела ему вслед. Почему она сказала «путь для нового директора»? Разве она забыла фамилию Николая Павловича? Разве она так вот, на веру, приняла слова Лещи?

Она зябко передернула плечами, с сердцем отодвинула от себя мертвые, пропыленные бумаги, которые собиралась прочитать, встала, прошла по комнате, посмотрела в окно.

Седенький бухгалтер в шапке и полосатом кашне, без пальто, смешно подпрыгивая, размахивая руками, бежал из склада в контору. За ним неторопливо шли могучие, как монументы, грузчики. Даже складки на их негнущихся плащах казались отлитыми из бронзы. Молоденькая девушка в короткой юбке, с шелковыми коленками, свер-

кающими над резиновыми ботиками, вышла из цеха с какой-то накладной в руке. Негнущиеся плащи, как по команде, остановились, обмякли, захохотали. Девушка высокомерно вскинула подбородок.

Куш живо вспомнила, как приятно было побежать с поручением от мастера в контору или на склад, выскочить из темного цеха на свежий и морозный воздух, увидеть синее небо, разбежаться и прокатиться по ледяной дорожке, широко расставив для равновесия руки...

Кажется, еще недавно была она девчонкой, у которой все впереди...

Тогда не надо было размышлять о Викторове, о словах Леши, о делах. А теперь надо. «Что же ты, товарищ Куш Александра Александровна, все-таки думаешь по этому вопросу? Как решила на все реагировать? Ответ! Личное дело Викторова ты наизусть помнишь, как к нему относятся в тресте — знаешь, знаешь, какой он прямой, энергичный, преданный своей фабрике... И достаточно, выходит, одного слова подвыпившего парня, чтобы ты все это забыла, чтобы ты стала сомневаться. — В чем сомневаться? Она так явственно ощутила рядом с собой Викторова, что вздрогнула... Как он весело и ласково смеялся, брал ее руку в свою: «Шурочка, пардон... извиняюсь, Александра Александровна». Милый, открытый, простой, так непохожий на многих из эти горожан с большой печенью, равнодушием и столичными манерами. Ей не нравились мужчины из треста... — Ну а такие, как Виктор, лучше? — вдруг спросила она себя. И возразила слабым голосом: — Почему — такие? Разве Викторовых много? Ведь он один...»

Она не смогла найти ответа на свои вопросы, понимала, что не найдет его и в этих вызывающих у нее теперь приступ ненависти папках с бумагами, и подумала: «Надо было пойти на фабрику, в столовую, в детский сад, поговорить с работницами. В общем, побывать всюду, где обычно бывал Пелехатый... Может быть, там нашла бы ответ на свои недоумения».

С Ефимочкиным они встретились, когда уже стемнело. Он вернулся из цеха измазанный машинным маслом и мазутом, в чужой спецовке, мешковато болтавшейся на плечах. Палец на правой руке был обмотан носовым плат-

ком, щека оцарапана. Но выглядел Ефимочкин необычайно бодро, почти воинственно.

— Представьте, мы все-таки нашли причину неполадки,— гордо сказал он.— Этот Леша.— очень и очень неглупый парень...

Когда, усталые, они шли в гостиницу, Ефимочкин все еще был взбудоражен. Размахивая руками, он говорил и говорил.

Было ветрено. Деревья, как пленники, томились за решетчатыми загородками. Жалобно скрипели, раскачиваясь, стволы, шумели черные, голые ветки, пронизанные металлическим, холодным лунным светом.

— Жизнь коротка,— философствовал Ефимочкин.— Пора это понять. Пора расправить крылья. Что я? Засел в тресте, оторвался от производства, закопался в бумагах.— Он сказал почти шепотом: — Какое это наслаждение — прикасаться к металлу, вдыхать жизнь в остановившийся агрегат! О, это великолепное ощущение! — Он восторгался: — Какие чудеса может делать инженер даже на такой вот маленькой фабрике, как балашихинская! Я поражен, как оригинально разработал Пелехатый реконструкцию потока. Он максимально использовал все возможности, ускорил движение подающего полотна на вспомогательном конвейере, добился прямопоточности... Это очень остроумно.

Куш перебила его:

— Остроумно? Это мало сказать. Сегодня мне стало известно, что он не только разработал — он обсудил проект со всеми рабочими, он каждого рабочего сделал участником проекта, и поэтому не только Леша готов был за него в огонь и в воду, но и многие другие.— И она невольно повторила слова женщины в пуховой косынке, услышанные на кладбище: — Он уважал людей.

— Да, это был прекрасный человек, этот Пелехатый! — пылко согласился Ефимочкин.— Он проявил самостоятельность, я бы даже сказал — творчество...

— А когда мы пытаемся передвинуть человека из аппарата на производство, бог мой, какие вопли иной раз поднимаются!..

— Да, да! — с горячностью согласился Ефимочкин.— Цепляемся за мелочи, теряем квалификацию, превращаемся в канцеляристов... Сила инерции велика. Я был смелым человеком когда-то, даже дерзким... Женился, потом

боялся потерять комнату в ведомственном доме... обзавелся вещами...

Куш невольно сказала, думая совсем о другом:

— Вещи привязывают человека к месту, люди цепляются за вещи, за стены, за клочок земли, за сад... Я ненавижу мещанство в любом его проявлении. Мещанин все сметет с пути ради собственного благополучия.

Ефимочкин уныло согласился: да, имущество, вещи лишают человека легкости.

Он снова притих, присмирел и все чаще искоса взглядывал на Куш, как будто хотел что-то сказать и не решался.

Она шла быстро, засунув руки в карманы пальто, глядя прямо перед собой. И вдруг остановилась.

На пузатой тумбе висела афиша. Кривцов читал очередную лекцию.

— Подумайте только! — сказала Куш удивленно. — Кривцов все еще здесь. А я думала — целая вечность прошла с тех пор... — Она не договорила. И спросила: — Интересно — приводит ли он в пример Викторова как образец нового, советского человека?

Горечь в ее голосе поразила Ефимочкина. Он сказал осторожно:

— Да, как-то странно... Я уважаю Николая Павловича. Но... ведь Пелехатый не был снят, приказ еще не подписан, а Николай Павлович уже приезжал в Балашихинск, ходил по цехам, распоряжался... И жена его... Она как-то вызывающе себя держит. При всем моем рыцарском отношении к женщинам, я не могу все-таки...

Куш ничего не ответила.

Они пошли дальше, и снова Ефимочкин с тревогой взглядывал на нее, желая что-то сказать. Наконец он решился и пробормотал:

— Я вас прошу... хотя мое желание перейти на производство искреннее... но надо еще подумать, посоветоваться... взвесить...

— Я не собираюсь ловить вас на слове, — отрезала Куш и больше не возвращалась к этой теме.

И вообще она больше ничем не интересовалась, кроме работы. Тоненькая ниточка симпатии, связавшая ее и Ефимочкина в эти тяжелые, полные переживаний дни, внезапно оборвалась.

Ефимочкин робел, отмалчивался, вздыхал, всячески

хотел, чтобы Куш забыла о последнем разговоре. Она держалась отчужденно, сухо, тщательно проверяла все данные обследования, все материалы, она изводила Ефимочкина придирами.

— Вот вы тоже, как и ваш прекрасный Леша, считаете, что фабрика скоро будет на подъеме. А каким образом? Чем это можно доказать? Благодаря модернизации станков? Хорошо! А почему мы раньше не подсчитали производительности действующего оборудования? А где мы были? Почему мы этого не запланировали? Не учли? В чем же тогда наше руководство? О чем наш производственный отдел думал? Интересует нас полное использование резервов производства или не интересует? К нам разве не относятся решения партии?

Ефимочкин только хватался руками за голову.

— Это ведь не моя личная вина. Я не начальник отдела...

Он пытался объяснять ей, доказывать. Но она не слушала.

Она и с Глафирой Семеновной не стала объясняться.

Та явилась на фабрику озабоченная. Растерянность сквозила в каждом ее слове. Под глазами набрякли мешки, углы яркого рта обвисли. Говорила она почти искренне:

— Я даже не знаю, стоит ли Николаю Павловичу теперь сюда переезжать. Конечно, жаль сада, но сад и на другом месте вырастет... Может, и там, на той фабрике, он еще сработается. Что же теперь за смысл?.. — Она спохватилась: — Коля любил Пелехатого. Ему теперь будет тяжело.

Она шарила глазами по столу, по бумагам, хотела что-то разведать, уловить, понять.

Ефимочкин сидел, уткнув нос в бумаги, но, когда Глафира Семеновна ушла, не выдержал:

— Разве вопрос о назначении Николая Павловича вы не считаете окончательно решенным?

— Эти вопросы решаю не я.

Пораженный, Ефимочкин смотрел на нее в упор. Куш хорошо понимала, о чем он думает. Она думала о том же. Они оба ясно представляли себе деловую обстановку треста: коридоры, перегородки, комнаты, полные табачного дыма, гула голосов, стука арифмометров и пишущих машинок, телефонных звонков и шелеста бумаг; вспомнили

прочные связи и твердую репутацию Викторова, упрямство начальника планового отдела, самолюбие управляющего, который терпеть не мог отменять собственные решения и вообще не любил менять без крайней надобности что бы то ни было в привычном ходе трестовской машины.

И всему этому Куш, обыкновенный инспектор по кадрам, собиралась пойти наперекор.

Ефимочкин в сомнении покачал головой. И только проормотал:

— Да, памятная будет командировочка. Эх, Пелехатый, Пелехатый!..

Испытующие взгляды Ефимочкина сердили Куш. Она одергивала рукава ненового жакета, поправляла воротничок белой блузки, приглаживала гладко зачесанные волосы, хмурила лоб. По лбу пробегали легкие морщинки, выражение темно-серых глаз становилось еще упрямее.

И вдруг в Балашихинск приехал Викторов. Он явился в конце дня в контору, растормошил всех, и не успела Куш опомниться, как она была уже в пальто и Викторов вел их с Ефимочкиным к себе домой.

— Не выдавайте меня начальству,— просил он,— приехал самовольно, когда узнал, какая тут случилась беда. Глафира мне сообщила. Поверите, переживал, будто отца родного похоронил...

Куш жадно ловила каждое его слово. Тяжесть начинала спадать с ее души. Туман рассеивался. Рука ее лежала на твердой руке Викторова, она шла, повинаясь его воле, он поворачивал ее вправо, влево, вталкивал через калитку, помогал подняться на крыльцо.

Она едва успела разглядеть двор, яблони, укутанные по самую крону снегом, коридор, переднюю с зеркалом.

За накрытым столом уже сидел, хохоча, Кривцов. Викторов извинился:

— Глафира моя оплошала. Ничего не приготовила... Все плачет и плачет...

Глафира взмахнула рукой, как крылом. Она бесшумно сновала по комнате, заглядывала мужу в глаза.

Хотя хозяин и извинился, но угощение было отличное: соленья и маринады, пышные пироги, жареная курятина.

Куш сидела прямая, напряженная. Ей неприятно было в этой столовой с бесчисленными вышивками, кружками «напейся и не облейся». Кусок не шел в горло. Если бы не ласковые, полные заботы взгляды Николая Павловича, она бы убежала. Он вдруг повернулся к ней и спросил:

— Вы что-то осунулись у нас в Балашихинске. Устали?

— Устала? Нет, не устала...

Она с завистью смотрела, как спокоен уже Ефимочкин — пьет наливку, хвалит пироги, спорит с Кривцовым. Викторов тоже спорил, но все время оглядывался на Куш, внимательно смотрел на нее, потом тихо спросил, будто приласкал:

— Что, Александра Александровна? Что, моя милая,хватила горя в нашем Балашихинске?

Куш вспыхнула, порозовела. Впервые она видела Викторова в домашней обстановке, за столом. В комнате было жарко, он сидел без пиджака, в вышитой украинской рубашке.

Заговорили о Пелехатом. Кривцов заявил:

— В наш век технического прогресса вряд ли это такое уж большое достижение — модернизация старых станков. Как ты считаешь, Николай Павлович?

Куш с нетерпением ждала ответа. Но Викторов, как нарочно, медлил.

— Что ж, — сказал он неохотно, — свой эффект это, конечно, дает...

— Сам же ты ему присоветовал, — вставила Глафира Семеновна.

— Глафира! — укоризненно произнес Викторов и поглядел на Куш, как бы извиняясь за бестактность жены.

— Что «Глафира»? Я тридцать пять лет Глафира.

Кривцов, блистая эрудицией, посыпал словами: «моральный износ станков», «амортизация», «экономический эффект», перемежая их своими обычными «вдрызг», «ясно, как разжеванный апельсин», «тронулись-двинулись». Куш казалось, что он набит этими словами и фразами, как пирог начинкой, и она была благодарна Викторovu, когда тот с комической мольбой поднял руки:

— Избавь нас от своей политэкономии, Аркадий Петрович! Умучил.

— Без теории хозяйственник теперь ничто... это же

ясно... без экономических познаний... Ваше здоровье, Глафира Семеновна!.. Что делать бедному крестьянину без науки?..

— Однако модернизация станков, полное использование мощности старого оборудования — это тоже один из пунктов нашей программы, — сказал Ефимочкин.

— Особенно когда начальники из треста не дают нового. — И Викторов захохотал.

Что-то было в его смехе грубое, ненатуральное. И Куш спросила, сузив глаза:

— Вы ведь, кажется, говорили здесь в прошлый приезд, что добьетесь нового?

Николай Павлович не успел ничего ответить. Глафира Семеновна воскликнула:

— Это Леша, это Лешкины слова!.. Он уже и на партбюро выступал...

— А ты откуда знаешь? — неодобрительно спросил Викторов.

— Есть же здесь люди, которые тебя ценят. Которые знают тебя.

— Ох, женщины, женщины! — покачал головой Викторов.

Он опять налил всем вина, стал угощать, потом как бы невзначай спросил у жены:

— Значит, это Алексей болтает? Чудак!

Глафира Семеновна подседа ближе к Александре Александровне и негромко сказала ей:

— Если бы вы посмотрели личное дело этого Лешки: выговор на выговоре... а отец у него был...

Викторов лениво остановил жену:

— Прекрати, Глафира!

— Что, я права голоса не имею? Мне обидно, когда мальчишка подкапывается под тебя, подрывает твой авторитет, критикует.

— Критика всегда полезна.

Как будто два голоса пели этот сложный дуэт — один шел вверх, другой вниз, в басы, потом они соединялись где-то на невидимой глазу нотной строчке. И Александре Александровне показалось, что перед ней искусно разыгрывается комедия, а она сидит в зрительном зале одна.

Ефимочкин оторвался от спора с Кривцовым и заметил:

— Николай Павлович сам любит покритиковать. Он умеет задать перцу... Вы помните, Аркадий Петрович?

— Еще бы! Он расшибал вдрызг...

Куш тоже помнила, с каким успехом выступал всегда Виктор. «Ну и дает, ну и дает!..» — говорили про него с восхищением.

А что он «давал»? Кого он задел по-настоящему, глубоко? На что рискнул? С кем испортил отношения? Щекотал нервы начальству — вот что он делал...

Куш побледнела. Румянец отхлынул от ее впалых щек, взгляд стал суровым. Такая сила гнева проступила в ее лице, что Виктор заметил это. И его взгляд стал жестче. Он перестал ухмыляться, круто нагнул голову, как будто хотел боднуть. Шея его налилась кровью.

— Петр Иванович развел здесь либерализм, — пошел он напролом, — расплодил болтунов, развел панибратство. Алексей — механик хороший, не спорю, но зато и склочник первой руки. А я склочников не люблю. Демагогия мне не нужна, меня, слава аллаху, и без демагогии знают...

— Почему же вы считаете Лешу демагогом? Наоборот, он человек дела, — сказала Куш, стараясь говорить спокойно, но это ей плохо удавалось.

Виктор насмешливо повел бровью.

— Что это вы растаяли, Александра Александровна? На чью удочку поймались? — И снова посмотрел на нее тяжелым взглядом, в котором сквозило пренебрежение. — Ну, умер Пелехатый, ну, жаль его. Но не истерику же разводить. Работать надо, а не плакать. От чего вы тут в умиление пришли, не знаю. Я этот проект модернизации когда-то начинал, потом бросил... старик подхватил... Если вернусь на эту фабрику, посмотрю этот проект еще раз. Но, может, я и не вернусь. А если уж вернусь, я вам покажу, что я с этим проектом сделаю!

— О! — захохотал Кривцов. — На Николая Павловича можно положиться. Балашихинская фабрика на весь Союз прогремит. Он это сумеет сделать!

— Даже без вашей помощи? — грубо спросила Куш.

— А при чем здесь я? — обиделся Кривцов.

Ефимочкин стал делать умоляющие знаки: мол, неудобно в гостях...

Расстроенная хозяйка наливала чай. Куш, сославшись на головную боль, собралась уходить.

Ее никто не удерживал, мужчины решили засесть за преферанс.

Викторов проводил ее в сени.

Они стояли в полутьме. Фонарь, горевший на улице, бросал странные отсветы через замороженные стекла. Смутно белела украинская рубаша хозяина. В сенях было тесно. Александра Александровна чувствовала у своего плеча теплое плечо Викторова.

— Мы с вами погорячились, Шурочка, поспорили. А о чем нам спорить? Что делить? Дело-то у нас одно... Всем нам Петр Иванович своей кончиной голову с плеч снял. Бросил бы я этот Балашихинск, гори он огнем!.. Любил я старика, ругался с ним, но любил. А как было не ругаться? Чудак ведь он, оригинал... не понимал современных методов хозяйствования.

С усилением Александра Александровна сбросила с себя чары этого молодецкого, ласкового, бесшабашного голо-са, оторвалась от плеча, пышущего здоровым теплом, и вышла на улицу. Снова ее обволокло паутиной, опутало. Как ей хотелось верить, что все это так и есть, как объясняет Николай Павлович, что все это — правда... И может быть, когда он приедет в трест, он, как и раньше, будет заходить в ее комнату, он не обидится на ее подозрительность и горячность. Он поймет... он поверит...

Но она-то не могла больше верить. Хотела бы, да не могла. Она должна была знать... узнать... Ну, а узнает, что тогда?

Ей стало страшно.

Она очутилась на заснеженной улице совсем одна. Прохожих не было. За забором гроыхала тяжелой цепью собака.

В облаках, как лодка в море, нырял месяц. Ей вдруг вспомнилось, как вел ее сюда Николай Павлович, поворачивая вправо, влево, в калитку, на крыльцо. Как будто посторонняя сила вела ее...

Она пошла по улице, дошла до стандартного дома и, сама не зная, зачем это делает, постучалась к вдове Пелехатого.

Та еще не спала.

С неприбранными седыми волосами, в домашнем капоте, осунувшаяся, она выглядела совсем старухой. И, как будто не в лад случившемуся, в квартире упорно держался домовитый запах цветов и тмина.

Сели на диван.

От чая Куш отказалась:

— Я пила у Викторовых. Николай Павлович приехал.

— Глафира Семеновна умеет угощать,— просто сказала Ольга Сергеевна.— А что Николай Павлович приехал, я знаю, заходил он... посидел у меня, посочувствовал... тетрадки Петра Ивановича себе на память взял...

— Какие тетрадки?

— Да всякие. Петр Иванович любил мечтать. Все, что намечтает, в тетрадь записывает. Как производство наладить, кого из людей выдвинуть...

Куш спросила прямо:

— Скажите: а Петр Иванович любил Николая Павловича?

— Он его ценил,— ответила вдова. И отвернулась.

— А вы?— еще резче спросила Куш.

— Я?— Вдова задумалась, как бы не зная, сказать или не сказать всю правду.— Нет, я не любила и не люблю.

— Почему?

— Не люблю — и все. Он только для себя пользу ищет.— Ольга Сергеевна долго молчала и все гладила ребро дивана.— Петр Иванович одного хотел — успеть закончить, что задумал. «А там, говорит, мне все равно, кто директором будет. Может, еще и Филатов меня в обиду не даст». Да вот не успел, голубчик, работу закончить.— Видимо, ей не хотелось говорить об этом.— А Николая Павловича он всегда ценил, помогал ему, учил...— Она заулыбалась вдруг, просияла.— Он ведь сразу к нам после института приехал, худенький был, голодный. У нас здесь и жил. И с Глашей у нас познакомился. Это он потом оперился, солидным стал. Ну, у него диплом. Так и вышло, что он директор. Петр Иванович за этим не гнался, нет. А все же, когда Николай Павлович уехал, Петр Иванович прямо признался: «Теперь мне никто руки связывать не будет, теперь я осуществлю, что хотел».

— А почему Николай Павлович захотел назад вернуться?

Вдова ответила кратко:

— Тут было кому работать за него — это раз. А другое — что гнездо уже свито. Глафира Семеновна — мастерица гнезда вить... Она любую соломинку в ход пустит...

Куш все еще сидела, не снимая пальто, уверяя, что она на минутку. Ей тяжело было смотреть на прибранный пустой письменный стол. Инструмент был спрятан, книги лежали ровными рядами. Ольга Сергеевна к чему-то прислушивалась по привычке, как будто ждала мужа с работы... Лицо у нее было простое, открытое, хорошее. На подоконнике сидел кот, мыл лапой мордочку. Узорчатые листья отбрасывали тени на чисто побеленные стены.

Надо было уходить — и не хотелось. Хотелось еще посидеть здесь, набраться тепла, сил, надышаться этим воздухом, как путнику, которому предстоит полная борьба и трудностей дорога...



Я из окна видела, как торопятся пассажиры: моряк, женщина с цветами и мальчик. Женщина бежала, роняя на перрон белые ромашки, останавливалась, чтобы подобрать, и снова, хохоча, роняла... Моряк за руку втащил ее в вагон.

Они вошли в купе.

Женщина, обессиленная, села на лавку, чтобы отдышаться. Моряк забросил чемоданы наверх, вытер пальцы и ласково взъерошил белесые волосы мальчика.

— Ну, твое счастье, сын... опоздали бы — и... прощай, Крым!

— Но ведь успели...— Женщина лукаво покосилась на меня: — Вы представляете, мчимся, как безумные, остаются минуты, вдруг надпись: «Выхода нет». Хотели поворачивать, а я думаю: ну вот, как это «нет выхода», почему? И прошли... и все-таки успели...

— Но так задержаться, покупая ромашки...— пожал плечами моряк.

— У нас на севере нет таких крупных...

— Теперь-то мы едем не на север, на юг...

— Я сто лет не видала таких ромашек...

Радист уже крутил пластинки. Поезд под звуки бра-вурной музыки весело устремился к югу, и так же весело, под музыку, относил к северу семафоры и пакгаузы, новые огромные дома, дачные платформы, освещенные косыми лучами заката, палисадники и поля. Чуть заслонившись рукой, женщина с не меньшим интересом, чем мальчик, смотрела в окно. Потом спросила, не поворачивая головы:

— Слава, а мы ничего не растеряли, ты проверил?

Моряк только усмехнулся. И посоветовал:

— Ты все-таки поставь в воду цветы. Увянут...

Как бы удивляясь своей забывчивости, женщина посмотрела на меня, широко раскрыв глаза. И глаза эти, упорный взгляд и высокий лоб показались мне очень знакомыми. Где-то я эту женщину раньше встречала. Но где? Когда?

Она нашла банку, принесла воды и поставила ромашки. Потом задумалась, притихла, села и тщательно стала складывать снятый с шеи пестрый прозрачный платочек.

И тут я крикнула:

— Наташа?!

Она долго смотрела с недоумением, даже с испугом. Потом сказала мужу растерянно:

— Святослав, клянусь... Эта женщина из редакции. Ее голос...

Моряк сдержанно поклонился. Гораздо больше заинтересовался непонятной сценой мальчик. Он теребил мать за рукав и шепотом спрашивал:

— Кто это? Ма, ну кто это?

— Это... я тебе рассказывала. Она мне в госпиталь письмо принесла от папы. Ну, помнишь теперь?..

В годы войны я работала в Средней Азии, в газете военного округа. В редакционной почте добрую треть составляли стихи. И лирические, любовные, и частушки, клеймящие клику Гитлера. Так среди других попало ко мне стихотворение курсанта Ивановского, посвященное Наташе М., участнице обороны Севастополя. Неумело зарифмованные строчки привлекали искренностью и теплотой. Автор писал, что М. ослепла после контузии. И, слепая, с маленьким ребенком на руках, поехала в Среднюю Азию в госпиталь лечиться. В какой именно — он не знает. Но если стихи опубликуют в газете, может быть, она прочтет и откликнется!

Как быть? Как напечатать в нашей серьезной газете такое несовершенно произведение? Мнения сотрудников разделились. Многие были решительно против. Только кое-кто считал, что ради такого случая можно немножко поступиться качеством. Последнее слово оставалось за главным редактором.

Я пошла к нему не очень охотно: вряд ли главный редактор разжалобится. Он очень любил поэзию и к стихам был всегда требователен.

Так и вышло.

— Но... — редактор снял очки. У него были красные, утомленные глаза. Пунктуальный и очень внимательный, он по многу раз прочитывал весь материал: рукописи, гранки, даже оттиски полос. — Но помочь человеку надо. В нашей республике дислоцированы самые большие госпитали. Попробуйте... Впрочем, я вижу, вы и сами загорелись...

«Загорелась» не я одна, вся редакция интересовалась Наташей М. Даже наша старенькая сутулая машинистка Радзинская, как только я заходила в машинное бюро, спрашивала:

— Ну как, нашли?! У этого курсанта такая хорошая душа, такое сердце... — И опускала руки на машинку, как на клавиши рояля. — Не все понимают, как тяжело одиночество, болезни...

Она спохватывалась, обрывала разговор и начинала стучать своими узловатыми пальцами, сначала неровно, спотыкаясь, потом все тверже и быстрее. Мы знали, что старуха старается не показывать свою немощь, боясь увольнения. Ведь каждый день приходят наниматься бойкие машинистки, эвакуированные из больших городов. Радзинская уже не могла сделать столько ударов в минуту, как они. И с ревностью следила, как старшая машинистка отдаёт перепечатывать передовые статьи, военные сводки и вообще все важные оперативные материалы другим, а ей, самой старой сотруднице, достается только несрочная, второстепенная работа.

Стихи и письма, конечно, попадали к Радзинской. Снимая для меня копии, она живо интересовалась содержанием писем и говорила, когда мы иногда оставались вдвоем:

— Я рада, когда корреспондентам отвечают как своим знакомым, тепло... Я люблю людей... Вы не поверите: прихожу на вокзал, читаю эти приколотые записки: «такой-то разыскивает семью» или «такая-то не знает, где ее дети». И плачу... Боже мой, ну как всем помочь? Чем? Что в моих силах? Но когда я напоминаю, что надо поскорее реагировать на письма, на жалобы трудящихся, некоторые наши сотрудники... не все, конечно, я не буду

называть фамилии, вы и сами знаете... пожимают плечами: мол, какое мне дело... Как какое мне дело? Я работаю в нашей газете со дня ее основания и горжусь этим... Прошу вас — не останавливайтесь ни перед чем, найдите Наташу... Может, ей дорого это письмо...

Время шло, а мы все искали, запрашивали, наводили справки. Потом я уехала в командировку в артиллерийскую часть и только когда вернулась, узнала, что, по счастливому стечению обстоятельств, Наташа М. лечится в нашем городе.

Когда я пошла к ней в госпиталь, была уже весна.

Я редко видела улицы в дневные часы. Разве что в выходной день. А на окраине в старом городе бывала еще реже. Путь туда был нескорый — и на трамвае и пешком.

Впрочем, самое название «старый город» произносилось скорее по привычке, разве только то, что национальный колорит — и в одежде и в архитектуре — проступал здесь более отчетливо. И контрасты между современным и старым были резче, чем в центре.

На плоских кровлях глиняных домов, как и в прошлом столетии, пламенели алые маки. Сады гнулись под тяжестью цветения. Персики и миндаль выплескивали из-за дувалов на дорогу потоки розовых и кремовых веток.

Но узкие кривые переулки, как ручейки в реку, впадали в широкую асфальтированную улицу, где звенел и гроыхал трамвай. Тут же мохнатые ослики покорно тащили тяжелые тележки с кладью, а верблюды бережно и торжественно, как хрупкие драгоценные вазы, проносили над головами прохожих надменные, недобрые морды.

И толпа была пестрая; бесшумно скользили старые узбечки, накинув на голову серые одеяния с широкими рукавами, отороченными черной тесьмой. Стучали деревянными подметками сухопарые горожанки из Вильнюса и Риги в спортивных жакетах и одесситки с крутыми бедрами и разбросанными по спине жесткими локонами. Старые ленивые мужчины в полосатых халатах, толпившиеся у чайханы, смотрели на них восхищенно и чуть презрительно. Тут же шныряли мальчишки в трусах, продавали поштучно леденцы и папиросы.

У заводской проходной дожидались рабочие — женщины в спецовках и подростки-ремесленники. В войну

этот заводик превратился в большое предприятие. Я постояла, посмотрела, как идет через проходную вторая смена.

Да, город изменился за то недолгое время с начала войны, что я здесь жила. Когда мы приехали, это был совсем мирный, красивый, ленивый, сытый, благополучный город, с рынком, заваленным яблоками и помидорами, тушами жирной баранины и рисом, с закрытыми наглухо двориками, с решетками на окнах, чтобы можно было спать, не опасаясь воров, с тенистыми высокими деревьями и мелодично журчащими арыками. Теперь город выглядел беднее. Опустили полки в магазинах, наполнились шумом дворы: всюду вселились эвакуированные, одни очень неряшливые, оборванные, другие нарядные — кому в чем довелось уехать из дома. Даже сюда, в «старый» город, за глиняные дувалы, проникли приезжие.

Город стал шумным, деловым, тесным. Расширились предприятия, учебные заведения, открылись госпитали.

Как геолог по напластованиям земли может прочесть то, что складывалось веками, так и по виду толпы, по одежде, по выражению лиц можно было многое узнать и о каждом отдельном человеке, который шел мне навстречу, и обо всех сразу — такой след на все наложила война...

Старуха с потным, довольным лицом, несущая из распределителя авоську с сахарной свеклой, женщина в порванных сандалетах, бегущая за почтальоном, безногий нищий в скверике...

Четырехэтажное здание школы, переоборудованное под госпиталь, высилось как гора. Я как-то была там зимой и долго тогда плутала среди тупичков и улочек, ища вход. Теперь я шла смело...

Старшая сестра Лидия Васильевна проводила меня по коридору. Она работала до войны в Киеве в одной поликлинике с моей мамой и все еще относилась ко мне, как к подростку, — даже гордилась, что я такая дельная, прихожу по заданию редакции.

В палате за столом сидели четыре женщины в больничных стираных халатах, одна совсем молоденькая. Она складывала салфетки из марли.

— Вот, Наташа, к вам пришли, — торжественно сказала сестра.

Молодая женщина подняла глаза: большие, голубые...

...Когда там, в Севастополе, муж, узнав о несчастье, прибежал в госпиталь, он тоже твердил:

— Но ведь у тебя глаза такие, как были: чистые, голубые... Как же ты не видишь? Наташ, а Наташ? Что же это, а?

Она слышала, что муж плачет, почувствовала, как капнула на руку слеза, но не видела... Не видела больше ни катакомб, где размещен госпиталь, ни раненых в окровавленных повязках, не видела стула, полотенца, стакана. Не видела Гришиного лица...

Она провела пальцем по впалым щекам мужа, по острым скулам: «Ой, как похудел!..»

— А тебе ведь скоро родить,— сказал Гриша.

— Еще не скоро...

— Что с маленьким будет? — Гриша застонал.— С тобой что будет?

— Ну, пожалуйста... не хнычь... Что со всем народом, то и со мной...

Цепляясь за Гришин рукав, она пошла его провожать. Шла медленно, стараясь угадать, вспомнить, где повороты. По движению воздуха, по тому, как свежая струя коснулась лица и зашевелила прядь волос, догадалась, что выход из штольни близко.

— Все-таки ориентироваться я, пожалуй, смогу,— сказала Наташа с облегчением.— Я попривыкну и смогу хотя бы обеды раненым разносить... или воду... надо же что-то делать...

— Ты свое дело сделала, лучше не надо,— горько упрекнул Гриша.

— Ну, так хотелось поглядеть на город, на солнышко... Пошла за бинтами, а как раз обстрел...— И вповороту вздохнула. Ведь муж с первого дня, как узнал о беременности, просил ее уехать. А она упрямилась: «Думаешь, легко пуститься в дорогу? Куда я поеду? К маме? Украина уже оккупирована. А тут все свои, ты. Все-таки я не одна...»

Первые наступления на Севастополь были отбиты, на фронте как будто наступило затишье, и ей казалось, что все обойдется...

Но положение день ото дня становилось серьезнее. Уже не недели, а месяцы прошли с того дня, как Севастополь отрезали с суши. Наташу давно откомандировали из роты в госпиталь, устроенный в штольнях, где до вой-

ны были склады шампанского. Там, все считали, и легче и безопаснее. Она работала санитаркой. С Гришей они виделись редко, и она не признавалась ему, что еле волочит ноги. Трудно стало подниматься с места, наклоняться, подолгу стоять. Тошнило от запаха йодоформа, от духоты.

Раненых все везли и везли, а отправлять их на Большую землю, даже самых тяжелых, удавалось редко, не всегда к городу пробивались корабли.

Бывало, что хирурги сутками стояли у операционных столов. Не хватало медикаментов, не успевали таскать воду. А если не было воды, главный хирург Федор Федорович орал на санитарок так, что они тряслись от страха. Наташа уже не могла так споро работать. И очень стыдилась этого. Готова была взяться за любое поручение, лишь бы выйти наружу, на свежий воздух, там ее не так мучило.

Что толку было объяснять это Грише? Она спросила:

— А на батарее что? Ребята меня помнят? Немцы как?

— Напирают отчаянно...

Гул канонады стал не таким слитным, как слышалось под землей, на глубине. При каждом взрыве все вокруг сотрясало, со стен и сверху с шуршанием сползал песок и мелкие камушки. Запах гари щекотал горло, но даже сквозь гарь проникал аромат цветущих деревьев.

— Помнишь, как мы пели романс про акацию?..— спросила Наташа, стараясь хоть еще на минуточку задержать мужа.

Он судорожно обнял ее. Даже не целовал, просто крепко-крепко держал.

Она уцепилась, ухватила за него:

— Ты еще придешь, Гриша? Ты обязательно придешь, обещаешь...

— Ну пока, прощай...

И он пошел, побежал.

Наташа стояла у входа, держась за стенку. Голова кружилась. Там, наверху севастьяпольское багровое небо, под ногами желтая скалистая земля. По этой земле в последний раз ползла она, перетаскивая на плащ-палатке бинты, когда попала под обстрел. Ползла там, где еще недавно гуляла под руку со своим Гришей, где любова-

лась тенистыми улицами Севастополя, обсаженными акациями и каштанами, со светлыми особняками, с нарядными балкончиками, выкрашенными в зеленую и голубую краску. Возле такого особнячка, обезображенного маскировкой, ее и подобрали, оглушенную.

Она тогда не сразу догадалась, что потеряла зрение, все терла и терла глаза, думала, что запоршило.

И сейчас, стоя у выхода, она тянулась туда, откуда шло солнечное тепло, где был дневной свет, надеялась, что вдруг при дневном свете что-нибудь увидит. Сделает еще и еще одно усилие — и прозреет... Мимо пробежали санитары, задевали ее, проносили носилки с ранеными. А перед глазами все равно было темно. Держась за стенки, шаря перед собой, она побрела обратно, неуверенно переставляя ноги. В боковом отсеке стонал раненый:

— Сестрица, сестрица, пить!

По привычке она ринулась на зов, больно ударилась плечом о каменный выступ, метнулась в сторону и потеряла дорогу, не зная, куда идти.

— Эй,— спросила она хрипло.— Эй, кто это тут просил пить?

Вытянув вперед руки, нащупывая стены, она пошла на голос, на стон, нашла бачок и кружку, зачерпнула воды. Раненый сказал что-то обидное, чего это, мол, так долго копается, на ходу спит, что ли? Но она не обиделась, так рада была, что не расплескала воду. И опять пошла, стучаясь о стены, к себе.

Ушибленное плечо ныло, но она лежала на нарах довольная, что одна нашла обратный путь. Лежала и слушала, как тихонько шевелится и толкается ребенок. «Под сердцем», как пишут в книгах.

Боясь неосторожным движением помешать ребеночку ворочаться и стучаться, она притихла, замерла и только блаженно улыбалась.

Подошла сестра-хозяйка и сказала удивленно:

— Может, это к лучшему, твоя беспечность... Другая бы с ума сошла, а ты улыбаешься... Вот поешь каши, я принесла...

...Обо всем этом я узнала не сразу, нет. Это после нескольких встреч, когда знакомство стало более близким, а о многом рассказала не она, а соседки по палате, лечащий врач, сестра Лидия Васильевна, раненые Вася и Яша.

Когда начались схватки, врачи забрали Наташу поближе к операционной. Марья Андреевна сказала ей:

— Не бойся, я буду с тобой... И не очень ори, не распускай себя. Кругом мужчины, многие в тяжелом состоянии...

Наташа только спрашивала:

— Уже утро? Еще день? Долго еще?

Подбегали другие докторши, и шушукались с Марьей Андреевной, и гладили Наташу по голове, и стирали ей пот со лба. И Наташа просила их не уходить. И Марья Андреевна пусть не уходит...

Но когда она узнала по голосу главного хирурга, то испугалась.

Спросила, измученная:

— Марья Андреевна, это я умираю, да?

— Почему умираешь, роды идут нормально.

— А Федора Федоровича почему позвали? Это я умираю, да?

— Он сам пришел, никто не звал.

Она вскрикивала от боли, и, стесняясь своего крика, стискивала зубы, и хватала кого-то за руки, смутно сообщая, что это же сам Федор Федорович.

Когда все кончилось, и стало тихо, и только где-то рядом жалобно заплакал ребеночек, Марья Андреевна возвестила как о чуде:

— Девочка, нормальная, прекрасная девочка.

— Моя... девочка? — переспросила Наташа.

— А чья же? Не говори глупостей...

Все вокруг засмеялись. И это было очень странно: в госпитале давно уже перестали смеяться.

Наташа позвала:

— Федор Федорович, вы меня извините... вам из-за меня пришлось... Спасибо, Федор Федорович...

— Это тебе спасибо... Среди всего этого бессмысленного ужаса — и родился человек!..

— Да, да,— согласилась Наташа, не очень-то понимая, о чем говорит главный хирург, но счастливая тем, что он не сердится и не ругается, как обычно, тем, что самое страшное уже миновало. И спросила задумчиво: — Неужели мы с ней погибнем после таких мук? Ни за что...

Марья Андреевна напустилась на нее:

— Какие глупости, кто тебе даст погибнуть? Дура!

Не смей так думать... У тебя теперь одна забота — набраться сил...

Наташа засыпала и просыпалась, вспоминая, что у нее есть ребенок, и холодела от ужаса, что ребенок мог потеряться, пока она спала. Теперь она не думала ни о войне, ни о том, что она беспомощная, в штольне под землей, в осажденном городе, где идут бои. Не думала о Грише, который давно уже не приходил, может быть, убит. Не думала даже о своей слепоте. Только ребенок занимал ее мысли, только девочка, только страх за нее...

Когда она раньше представляла себе ребенка, то почему-то забывала, что он будет совсем маленьким: видела девочку с кудрявыми светлыми волосиками, с бантом, в синих туфельках. Бант бывал иногда голубым, иногда белым, огромным, воздушным. Но башмачки она всегда хотела синие...

То, что лежало сейчас рядом с ней, было такое крошечное, хрупкое, беззащитное, такое невыразимо теплое и прекрасное, что позабылось все — и бант и туфли... Не думалось даже о том, какими торжественными были бы эти первые дни после рождения ребенка там, дома, на Украине. Гриша дежурил бы с цветами у родильного дома, как это делал муж ее двоюродной сестры, мама приготовила бы для внучки кроватку и коляску и все украсила бы розовыми лентами.

Здесь, в штольне, не было ни лент, ни цветов, ни мамы, ни Гриши. Но около нар звучали все время возбужденные голоса:

— Поздравляю тебя!

Ей дарили для новорожденной мыло, карандаши, кисты, куски полотна и марли, кто-то даже принес и положил кружевную блузку. Чьи-то руки подносили ей миску с борщом и кружку с чаем, пеленали ребенка и подавали ей тугой живой сверток.

Осторожно прикасалась Наташа губами к теплому личику, дотрагивалась щекой до мягкой, нежной, как лепесток цветка, щеки. Осмелев, развернула ребенка, погладила руки, ноги, пересчитала пальчики, маленькие-маленькие... И осторожно, боясь что-нибудь не так сделать, снова завернула.

А если подходил кто-нибудь знакомый, торопливо спрашивала:

— А какого цвета глазки, похожи на Гришины? А волосы? А уши не очень большие?

Тут же в штольне, в подземном госпитале, политрук написал девочке свидетельство о рождении.

— Грише хотелось назвать ее Майей...

Политрук отозвался простуженным, сильным голосом:

— Что ж, Майя так Майя. Прекрасное имя. Так и напишем. Ну, поздравляю тебя от имени командования...— Он пожал Наташе руку и уже просто, буднично и ласково прибавил: — Ты не робей, не падай духом. При первой возможности мы тебя эвакуируем. Но знай — надеяться ты должна на себя одну, все зависит только от тебя. Ребенку ты теперь и отец, и мать, и бабушка, и родина! Поняла свою задачу — не вешать головы?..

— Поняла,— твердо, хотя и невесело ответила Наташа. И как будто проснувшись, очнувшись от сна. Спросила: — А как на передовой?

— Держимся,— ответил политрук. И пошутил: — Родила бы парня, был бы еще один вояка... Держимся,— повторил он.— Сказали бы нам с тобой двести дней назад, что все еще здесь будем, мы бы не поверили.

Когда к бухте пробился лидер «Ташкент» и появилась возможность вывезти тяжелораненых, Наташу решили отправить с ними.

— Собирай вещички, поедешь на Большую землю,— сказал политрук.

Она испугалась. Даже зубы от страха застучали, задрожали руки. А Гриша? Ведь Гриша так и не видел дочку? И как же она, куда? Вы только не забудьте сказать Грише, что я в Пятигорске у тетки, пусть он там меня ищет... Я там буду его ждать...

Твердые нары в штольне у сырой, скользкой стены давно уже стали ее домом. И ей тяжело и боязно было покидать этот дом...

Хотя наверху было по-летнему жарко, на Наташу надели шинель и сапоги, повесили ей за спину вещевой мешок. Она сидела среди сутолоки, крепко прижимала к себе ребенка, замученная, затурканная, зацелованная, и все ждала, что придет Гриша, вырвется с батареей приститься. Но Гриша так и не пришел...

Несколько раз подбегала Марья Андреевна, строго давала советы не пить нигде сырой воды, не держать ребенка на солнцепеке.

— А как только попадешь на Большую землю, сразу же обратись в детскую консультацию, бери для ребенка прикорм и витамины. Запомнишь?

Наташа механически кивала головой: да, да, запомню.

Пока добирались до пристани, пока погружались на корабль, она все еще надеялась, все еще просила санитаров не проглядеть мужа. На пристани, как ей сказали, толпился народ, из города вывозили стариков и детей. Где-то разорвался снаряд, волны с шумом ударили в корабль. Кто-то пригнул Наташу к палубе, прикрыл ее собой. Она только спросила беспомощно:

— Что, что?

— Это фриц прислал нам прощальный привет, — уже весело ответили ей. — Ничего, сестрица, не бойся, снаряд упал в море.

Застучали машины, дрогнула палуба, мягко зашлепала вода.

Наташа еще раз спросила:

— Ребята, там на пристани... не видите... Такой высокий, рыжеватый.

— Э, милка, тут не то что рыжеватого, тут и красного не распознаешь — все прокоптилось, все в дыму...

Она больше ничего не спрашивала, сидела молча. Иногда впадала в забытие, так была слаба, иногда, вострепнувшись, вслушивалась в разговоры.

Какая-то женщина, чуть не плача, внушала внуку:

— Ленечка, ты вглядывайся в берега, вглядывайся... Тут твоя родина, тут папка воюет.

А Леня нетерпеливо спрашивал свое:

— Бабушка, это крейсер? Или линкор? Крейсер лучше, да?

— Лучше, лучше, милоч, лишь бы доплыл...

И тут же рядом спорили: один клялся, что знаменитую панораму «Оборона Севастополя» везут на этом же корабле, другие говорили, что не может быть, давно небось увезли...

— Как же увезли? Полотно ветхое, боялись порвать. Не надеялись, что будут бомбить, не объект ведь... А они, сволочи, пикировали прямо на панораму... Ну, народ кинулся спасать, спасли...

— Вы точно знаете, что спасли? — спросила Наташа. — Это ведь замечательное произведение.

...Когда они с Гришей приехали в Крым, то сразу же пришли смотреть панораму, и Гриша сказал придирчиво:

— Ну, сейчас я проверю, хорошо ли ты учила историю... Рассказывай, что тебе известно об обороне Севастополя... Это какой адмирал?

— Нахимов,— засмеялась Наташа.— Почему ты обо мне такого плохого мнения?..

— Вовсе не плохого, но тебя еще нужно воспитывать и воспитывать...

— Так не люблю, когда меня воспитывают...

А Гриша все равно «воспитывал», приучал ее читать газеты и обсуждать международное положение и обижался, когда она слушала его невнимательно. И она обещала, что, когда кончится их путешествие по Крыму и они вернутся домой, то она будет все-все делать, как он хочет, и станет очень серьезной... Но домой они уже не попали, сразу же, как началась война, побежали в военкомат, и Гришу взяли в армию, а она определилась санитаркой в его часть... Дважды он выправлял ей документы для отъезда, а она обманывала его и оставалась...

Горькие слезы закапали из глаз, но Наташа вытерла слезы. Теперь она не имела права плакать... Только бы добраться до Пятигорска, где живет Гришина тетка, только бы не потерять, не простудить, не уморить Майку...

Еще с Гришей они мечтали съездить к тетке в Пятигорск, чтобы побродить по лермонтовским местам. Гриша бывал там не раз, и в горы ходил на место лермонтовской дуэли, и памятник видел... Но Наташе хотелось раньше съездить в Крым, пожить где-нибудь вдвоем с Гришей... Не сразу к тетке, не сразу становиться взрослой, «замужней». Она и к Грише еще не привыкла, стеснялась брать у него деньги, стеснялась своего аппетита, стеснялась того, что плачет в кино... А Гришу очень тянуло в Пятигорск. Он был сиротой, вырос у тетки и очень ее любил. И он клялся, что на вершине горы прочтет Наташе наизусть всего «Демона». Она заупрямилась: нет, раньше в Крым. По совести говоря, ей ужасно нравилось, что Гриша в конце концов уступает. У мамы она не смела так капризничать... И у Гришиной тетки, он сам это говорил, тоже не покапризничаешь. Очень уж властный и крутой характер...

Теперь ей было все равно, какой характер у тетки: больше-то ехать некуда...

Санитары, сопровождавшие раненых до Новороссийска, нашли Наташе попутчиков до Пятигорска. Но у попутчиков тоже были вещи, были дети, они мало чем могли помочь Наташе... Одна рука у нее всегда была занята ребенком, другую она держала перед собой полусогнутой, оберегала девочку от ушибов. Сама Наташа вся была в синяках, в ссадинах: то налетала боком на что-нибудь, то ударялась плечом. А сзади оттягивал спину тяжелый рюкзак. Ей было бы легче ходить с палкой, но тогда она не могла бы загораживать рукой Майю. Политрук в госпитале был прав — она могла надеяться только на себя, на свою ловкость, на терпение.

Пока ехали до Пятигорска, она чувствовала себя менее беспомощной. Твердо шла по прямой. Шаг делала осторожно, чтобы не упасть, хотя все-таки часто спотыкалась и только чудом удерживалась на ногах. Труднее стало, когда вышли из вагона. Она покорно выслушивала упреки своих попутчиков, мол, задерживает, и торопилась, чтобы поспеть за ними...

Ее довели до главной улицы. Потом ее проводили незнакомые девчонки. И они тоже торопились уйти, ведь мать послала их в очередь за хлебом. Когда дошли до ворот, Наташа их отпустила.

Наконец-то добралась! Доехала!

И долго не могла взять в толк, что говорит дворник. «Как это тетки нет в городе? А где же она?»

Подвыпивший дворник, дыша перегаром сивухи, втолковывал ей:

— Тыфу! Что ж тут не понять? Уехала. Ивакуировалась. Куда? Мне она не докладывалась... Барахлишко все растащили, а книжки, хочешь, бери, полное собрание всех сочинений. Нет, не захотела твоя тетенька с немцами сустренуться, не ндравятся ей немцы, нежная она...

— А разве немцы так близко?

Дворник, икая и философствуя, повел ее по гористым улицам Пятигорска к теткиным знакомым. Сердобольные старушеницы, две сестры — учительницы музыки, оставили ее пока у себя. Они вымыли девочку и помогли вымыться Наташе, ужасаясь и восхищаясь тем, что Наташа — с самого фронта, из осажденного Севастополя. Обе наперебой давали советы: то поскорее уезжать, пока

еще ходят поезда, то потребовать с помощью милиции вещи у дворника и вселиться в теткину квартиру. Учительницы пошли с Наташей в военкомат, но там они никого не застали: все были на строительстве оборонительных рубежей. А когда возвращались, на улице заговорил репродуктор, передавая сводку. «По приказу Верховного командования Красной Армии 3 июля советские войска оставили город Севастополь,— скорбно говорил диктор.— В течение 250 дней героический советский народ с беспрецедентным мужеством и стойкостью...» Но дальше Наташа не стала слушать, руки так ослабели, что чуть не выронила ребенка.

Старухи с трудом довели ее домой.

Все мерещились Наташе севастопольские белые особняки и скалы, Камышовая бухта, Инкерман, корабли на рейде, Графская пристань. Она подолгу неподвижно сидела на шаткой деревянной веранде, прислонившись к растрескавшейся горячей стене. Пугалась, вздрагивала, приходила в себя, только если брали у нее из рук ребенка... Много раз думала о том, чтобы покончить с собой... Ну, как жить в постоянной темноте, в полной беспомощности. И все-таки жила... А когда немцы подошли к Пятигорску, она, стиснув зубы, взяла ребенка, снова надела шинель и ушла пешком из города вместе с другими жильцами дома. В пути ее подобрала на грузовик красноармейцы.

Она горько сказала, не зная, кто ее слушает, не надеясь даже, что кто-нибудь ее услышит. Себе сказала:

— А в домике Лермонтова я так и не побывала...

Кто-то из солдат все же услышал и отозвался сочувственно:

— Ехали бы через город, может, и повидали бы музей. У меня открытка такая была... А на шоссе-то? Только горы и видно...— И продекламировал молодым ломким голосом: — «Как-то раз перед толпою соплеменных гор...»

— Это и мы в школе заучивали...— Теперь уже третий вмешался в разговор.— Я помню... «У Казбека с Шат-горою был великий спор»... С Эльбрусом, значит... Мечтал ли я когда, что буду оборонять тот Эльбрус...

— А мне очень нравилось: «...дубовый листок оторвался от ветки родимой,— сказала Наташа,— и в степь укатился, жестокою бурей гонимый. Засох и увял он от холода, зноя и горя...»

Солдат постарше, совсем, видимо, пожилой, рассердился, закричал на них:

— Эй вы, мелкота, видно, мало вас жареный петух клевал, что вы еще песенки разные вспоминаете!.. Не по амуниции амбиция, так вас и так... Вот перережет он танками шоссе, тогда запоете...— Может, кто-то дернул его за рукав и остановил, он закашлялся и прибавил уже без злобы: — Ладно, девка, не робей. Кого это ты нагуляла — парня или девчонку?

— Девчонку, — ответила Наташа. — Только я не нагуляла, у нее отец в Севастополе...

— У меня этих малышей полна изба осталась... — вздохнул солдат, — и свои и сына... Не разберешь, где чьи, все курносые... — И миролюбиво предложил: — Давай поддержи наследницу, а ты сосни... Не бойся, я умелый, я их всегда нянчил...

— Знает, как с бабами обходиться, — поддразнили его. — Не то что мы, чурбаны... Отдыхай, сестренка, пока обстрела нет... пока тихо...

Она дремала и сквозь дрему слушала, как спорят между собой солдаты — куда ей ехать? Где безопаснее? Где теплее? И горестное чувство тревоги, что так мало осталось путей, какими можно выбраться из этого пекла, сменялось благодарностью к незнакомым солдатам, что заботятся о ней, дорожат ее маленькой жизнью.

Солдаты разговаривали громко, не стесняясь. И вообще люди разговаривали теперь с ней и о ней громко, как будто она не только ослепла, но и оглохла.

— Глупенькая еще, молодая. Пропадет...

— Они, женщины, живучие, как кошки...

— Свет не без добрых людей...

— Добрые люди и сами теперь по карточке триста граммов получают...

— Война войной, а дитя родилось...

— Естественная вещь, а как же?

— Это подумать надо, севастопольское дитя...

— Подаваться ей надо в Среднюю Азию, одно решение, ни валенок у ней, ни одежды... — Кто-то потолкал ее в плечо: — Девка, валенки у тебя есть?

Наташе даже смешно стало:

— Ну что вы? Откуда же?

— Тогда само собой, что в Среднюю Азию, плов кушать...

— Как бы только Адольф в тот казан с пловом перцу не подсыпал. До Кавказа уже, сволочь, дошел...

Ее пересадили на другой грузовик, привезли на железнодорожную станцию, усадили в поезд, и там уже другие люди снова толкали, ругали, пугали и обнадеживали ее, носили ей кипяток и сухари, уступали место, выкуривали махорку, которой ее снабдили на шоссе солдаты.

Она не успевала привыкнуть к одним голосам, к шершавым рукам, запомнить людей, как они исчезали, а взамен приходили другие и снова спрашивали, кто она. Неужели из Севастополя? Как выжила, как выбралась, куда, бедолашная, едет?

Она устала, измучилась.

Истратив последние деньги, порастеряв половину вещей из рюкзака, приехала она в Баку. Приехала туда, куда пришел поезд.

Уже давно опустел тесно набитый людьми и вещами вагон, а она все сидела на лавке, боялась выходить...

Проводник помог ей вынести вещи.

Она выбралась на вокзальную площадь. Пахло потом, нефтью, жареными пирожками. Шум незнакомого города катился к ее ногам, она стояла и слушала, как слушают прибор...

Двое суток просидела она на вокзале, пока не кончился хлеб. Надо было снова выходить на раскаленную, как сковородка, площадь. Сапсг прохудился, мостовая обжигала ногу.

Она чуть не угодила под трамвай. Вагоновожатый, успевший затормозить, ругал ее как умел. Он кричал:

— Где твои глаза, дура! Слепая, что ли? Идет и не смотрит!.. Не думает о ребенке...

У Наташи так колотилось сердце, что она не могла двинуться, села на тротуар.

Собралась толпа. Женщины визжали, что надо принести воды. Мужчины отвечали, что не в глотке воды спасение, гибель Гитлера — вот что может всех спасти...

Наташе помогли встать, стряхнули с нее пыль, поправили лямки мешка. Она никак не могла понять, куда же ей идти, к кому обратиться, пока, привлеченный шумом, не пришел постовой милиционер. Он кричал еще громче, чем вагоновожатый.

— Совсем бестолковый женщина!— вопил он возмущенно.— Иди бюро по размещению эвакуированных, требуй... Ты же герой-женщина, имеешь маленький ребенок...— Милиционер пронзительно засвистел, остановил машину и заорал на шофера:— Вези эту женщину, куда я сказал... Ничего, твой директор подождет, твой директор пока еще ни с кем не воевал, кроме своей тещи. И ты не воевал, толстый морда, а этот женщина воевал...

Когда машина тронулась, Наташа все-таки сказала во имя справедливости:

— Я не с винтовкой в руках воевала, я была санитаркой...

Но слова эти не заинтересовали шофера. Он чертыхался и ворчал, что все теперь начальники, все распоряжаются, командуют и требуют одного: что ты сделал для фронта? Работай для фронта хоть двадцать пять часов в сутки, тебя не считают человеком, раз ты в тылу... А у него пробиты легкие осколком, он демобилизованный... И вообще у него от природы, с детства, круглое лицо...

Машину мягко покачивало, и Наташе мечталось, что дорога будет длиться долго, так долго, что она отдохнет и подремлет, но завизжали тормоза, хлопнула дверца. Приехали.

Шофер тоже посоветовал ей на прощание;

— Дама, послушайте, шагайте на них с песней, смелее...

Почему-то после воплей милиционера Наташа и правда чувствовала себя смелее: ведь она не попрошайка, не нищенка, требует, что полагается...

Она вошла в подъезд.

Опять ей говорили: «Этажом выше», «Вторая дверь направо», «Не сюда». Опять она искала и ударялась о стены и о колонны, об острые углы письменных столов. А когда нашла нужного ей уполномоченного, то услышала:

— Город не резиновый... жилья предоставить не можем...

— Но я... я из Севастополя...

— Документы, душка моя, документы давай...

— Документы? У меня?

— На слово не верим никому...

Она так ясно представила себе этого человека, его равнодушное лицо, его короткие пальцы, его выпирающий над ремнем живот, что затряслась от ярости.

— Вы в брезентовых сапогах?— вдруг зло спросила она.— На рубашке мелкие пуговицы? Черные? Да?

— Откуда знаешь, говоришь, совсем слепая... зачем врешь?

Она нащупала на столе тяжелое пресс-папье, схватила его.

Уполномоченный забормотал:

— Нетерпеливая очень, душка моя. Нервная. Поправляться надо: Фрукты кушать. Здоровье беречь...— И выписал ей продовольственные карточки и ордер на жилье.

Уже стоя в дверях, Наташа сказала:

— Таких, как вы, не уважают на фронте...

Уполномоченный искренне огорчился:

— Какие грубости говоришь! Все для тебя сделал, на риск для тебя пошел... Нехорошо, душка моя...

Когда она вышла с ордером, как раз сменилась с дежурства девушка-вахтер, она и довела Наташу до квартиры.

Наташа вошла сумрачная, распаленная, готовая сражаться за свое право вселиться под чужую крышу. Но хозяйка, жена бурового мастера, встретила ее ласково. Подталкивая Наташу то к буфету, то к тахте, она водила ее по комнате и хвалилась, что муж ее, Дадаш-ага,— очень уважаемый в городе человек...

— Вот тут вы будете спать. Он большой человек, знатный нефтяник, его бы не стали тревожить и отнимать залу... здесь у нас посуда, пиалы, стаканы, пожалуйста, пользуйтесь... Мы отдали комнату добровольно, подумать только, какие беды терпят люди от этой проклятой войны!

Несколько недель Наташа жила как бездумное растение, радовалась тишине, покою. Радовалась тому, что можно ходить без сапог, босиком по прохладному полу. И не в гимнастерке, а в легком платьишке, которое Сурайя-ханум перешила ей из своего халата... И главное, можно было без конца разговаривать о ребенке. Сурайя-ханум подробно описала ей, какая у нее девочка, какие волосики, какие кулачки... как Майя улыбается...

Ощупывая ребенка, Наташа замечала, как девочка выросла, как окрепло ее тельце, даже складочки на руках появились.

И к самой Наташе вернулись силы. Она стирала пеленки, мыла полы. Изучила дорогу к магазину, магазин был недалеко, на углу. Сурайя-ханум водила ее несколь-

ко раз в поликлинику и к частному доктору-глазнику, но доктора ничего не обещали.

«Неужели так будет вечно,— с ужасом думала Наташа,— есть, пить, спать, и все... А работать, зарабатывать кто будет?»

Часто она включала радио, слушала передачи. Как будто и не было такого города Севастополя, да и Пятигорск больше никогда не упоминали...

Сурайя-ханум удивлялась, что Наташа так интересуется политикой. Совсем это не женское дело. И соседки, которые приходили в гости, знали о войне только то, что касалось их кровно,— кому пришло письмо с фронта, кого ранило.

Наташа чувствовала себя самой старой, умудренной опытом среди шумливых, щедрых, беспечных, как дети, и добрых, как дети, подружек Сурайи-ханум. Ей было скучно с ними...

Наташа охотно поговорила бы с хозяином дома, обсудила с ним военное положение, расспросила, как работают на нефтепромыслах, ведь нефть для армии — все! Но Дадаш-ага как будто избегал ее.

Наташа простодушно спросила у Сурайи-ханум:

— Дадаш-ага недолюбливает меня, а за что?

— Ой, что ты, недолюбливает... Просто не принято разговаривать порядочному мужчине с чужой молодой женщиной...

— С какой молодой женщиной? — не поняла Наташа. — Ах, со мной? — Она удивилась: — Неужели такой передовой человек считается со всякими глупостями?!

Хозяйка ответила несколько сухохвато:

— В приличном обществе люди считаются с обычаями.

Больше Наташа не пыталась заговорить с хозяином дома, довольствовалась женским обществом. А женщины говорили про одно и то же: про детей, про роды, про мужей, вспоминали свои свадьбы, свадебные подарки. И у нее спрашивали: а как было с Гришей? Да никак, просто пошли в загс — и все. А кольцо? Разве Гриша не подарил ей кольцо с камнем? Ну, а свадебный пир? Пекут сладости, нанимают на целый день извозчика, ездят по знакомым, развозят пахлаву и зовут на свадьбу. Но ведь Гриша работал в райкоме комсомола. Ну и что? Обычай есть обычай... Обычаи надо уважать...

Наташа как будто в другой мир попала, хотя и в мире этом тоже не слишком спокойно жилось. Хозяйка говорила, что на набережной стоят зенитки: ведь там, за морем, Турция. И в магазинах по карточкам не очень-то густо выдавали продукты. Наташа подолгу стояла в очередях. Да она пропала бы, если бы с ней не делилась хозяйка. А Сурайю-ханум выручали родственники. Родственники у нее были повсюду — на складах, на базе, в закрытом распределителе. И еще из деревни ей привозили брынзу, мед и баранину.

— Если вас послушать, Сурайя-ханум, то главное в жизни — это родственники, — как-то сказала Наташа.

— А как же? А кто же еще?..

— Ну, товарищи... друзья...

— Родная кровь — это все-таки родная кровь...

Наташа тогда спросила:

— А я? Я ведь вам чужая...

— Почему это ты мне чужая? — Сурайя-ханум обиделась. — Ты хочешь все очень быстро делать. Подумай, моя мать, и моя бабушка, и мои тети — все они еще закрывали лицо от людей... А я хожу со своим мужем в оперный театр. Нельзя так торопиться, как ты...

Наташа не понимала ее.

— Зачем тогда жить, если не торопиться...

— Не случись с тобой несчастье, ты бы была дважды Героем Советского Союза, клянусь честью... — уверяла хозяйка.

— Никакое несчастье не может помешать человеку стать героем, — в запальчивости ответила Наташа. И сама испугалась своих слов. Есть ведь несчастья, против которых человек бессилен...

Своим добрым сердцем хозяйка чуяла, что творится на душе у Наташи, отвлекала ее как могла. То предлагала покушать, то выпить чаю, то, когда видела, что она совсем затосковала, клала ей на колени ребенка.

А однажды сказала таинственно, что Дадаш-ага узнал через больших начальников, будто в Средней Азии есть такой доктор, что слепых делает зрячими... Пусть Наташа оставит ребенка у них и едет лечиться...

Но Наташа не могла расстаться с девочкой. Только это слабенькое, как пламя свечки, дыхание жизни и держало ее на земле...

А тронуться снова в путь? Покинуть взбалмошную, но

добрую Сурайю-ханум и дом, ставший ей родным? Ведь поездка дальняя — морем, потом по железной дороге. И спасет ли ее доктор? Вернется ли зрение? Ведь ей работать надо, кормиться, кормить девочку... Ее волновала надежда, пусть смутная, пусть неясная, — увидеть маленькую Майю, вдруг открыть глаза и увидеть...

Она решила ехать. Снова надела шинель, рюкзак, как его на фронте называли, «сидор», взяла на руки Майю...

Попасть на пароход было трудно. Пассажиры подолгу томились на берегу, на горячем песке, как на биваке. Наташа устроилась тут же. Иногда весь берег вскакивал, бежал с криками. Наташа тоже вскакивала, тоже пыталась бежать вместе со всеми, но не знала куда, теряла направление. Только слышала, как вдали на рейде гудит пароход. Мимо нее неслась толпа. Ее отталкивали...

Так маялась она однажды ночью, измученная, настороженная, и тревожно прислушивалась. Кто-то сел рядом, грызя не то яблоко, не то огурец. Она протянула руку, загораживая девочку, и коснулась солдатского сукна.

— Ты кто? Боец?

— Вроде того...

— А почему же ты здесь, в тылу?

— Еду на артиллерийские курсы. Я не один, нас группа...

Когда началась посадка, курсант подозвал товарищей, и на руках они внесли Наташу на пароход, разостлали на палубе шинели, уложили ее. Кругом все вповалку спали, храпели, стонали, даже соленый морской ветер не мог заглушить запаха пота и усталых, давно не мытых тел.

Шумели волны, стучали о стальные листы обшивки. Наташа крепче прижимала к себе ребенка.

Курсант накинул ей на плечи свою телогрейку.

— Континентальный климат: днем как в печке, а ночью холодно...

— Тебя как зовут? — спросила Наташа.

— Слава. Святослав то есть... А... вас?

Чиркнула спичка, слабый огонек приятно согрел Наташину щеку. Должно быть, Святослав разглядывал ее лицо.

— Что? Красивая? — засмеялась Наташа. — Нравлюсь?

— Красивая, — серьезно ответил Святослав. — Симпатичная...

Пароход сильно качало.

— Это буря? — обеспокоилась Наташа и пошарила рукой, укрывая девочку. — Неужели будет буря?

— Какая же это буря? Разве здесь может быть буря? Вот на Черном море штормы, это да...

— А звезды есть на небе?

— Звезды здесь крупные, с кулак... И вообще очень красиво. Люблю, когда красиво...

— Чудак ты! — сказала Наташа. — Ты еще, наверное, не был в огне, — горько усмехнулась она. — Ты только книжки читал, да? Вот обожжет... узнаешь жизнь, перестанешь искать красоту...

Святослав виновато произнес:

— Конечно, я еще не был в огне. Тянут с нашим выпуском...

— Увидишь, как люди гибнут... как умирают на твоих руках...

Святослав произнес шепотом, как бы извиняясь:

— Я в красоту верю...

Наташа достала из мешка лепешку, отломил кусок Святославу. Они сидели рядом, ели, болтали, будто школьники на перемене в классе. Со Святославом ей почему-то было легко. Может быть, потому, что он как бы не замечал ее тяжелого особого положения, а воспринимал ее такой, какой она была раньше, до войны, до своей беды. И Наташа впервые за долгое время вспомнила прошлое и заговорила о нем — и о Грише и о маме... Порванная нить ее жизни как бы восстанавливалась. Она спросила:

— Ты играл когда-нибудь в драмкружке? Я играла. И, представь себе, даже играла слепую. Все училась ходить с закрытыми глазами...

Больше она ничего не сказала, он и так понял. Она по его молчанию знала, что он все понял.

— А собака у тебя была?

— Мать не разрешала держать собаку...

— Мне тоже не разрешала, но я все равно принесла щенка, она уступила...

— Наверное, ты была с характером, да? — спросил Святослав.

— Как тебе сказать? Я любила настоять на своем... Я и не думала, что буду когда-нибудь вот так, в таком положении... — Она потрогала руками грязную палубу. — Летчицей хотела стать или полярницей... Одним словом, к испытаниям себя не готовила, а к празднику... Носила красное, как у цыганки, платье и воображала, что я какая-то необыкновенная... А ты?

— Я был как все, — ответил Святослав. — Скорее, я даже был робкий мальчик. Слунтяй, одним словом...

— Ну, этого бы я не сказала... — удивилась Наташа. — Ты хорошо учился?

— Хорошо, — несколько смущенно ответил Святослав.

— Я училась плохо, — с гордостью сказала Наташа. — Я могла, но я не хотела учиться хорошо... Мой муж, — очень тихо сказала она, — ругал меня за это...

— Он был старше тебя? — тоже тихо спросил Святослав.

— Ну да, на четыре года...

Да, они познакомились с Гришей в день Парижской коммуны, она делала доклад на вечере. Он пришел от райкома комсомола послушать. Такой важный, серьезный; в гимнастерке, в полосатом кашне. Сказал удивленно:

— У тебя был очень интересный доклад. Сколько тебе лет? Ты сама составляла тезисы?

— Сама, а кто же?

Назавтра она встретила его, случайно конечно. Они пошли по главной улице, свернули направо, перешли по мостику через реку в мокрый, заснеженный, с голыми черными деревьями парк.

— Ты из-за меня получишь завтра плохие отметки, — тревожился Гриша. — Ты не приготовишься к занятиям.

— Неважно.

— Мне уже говорили, что ты не очень хорошо учишься.

— А зачем же расспрашивать обо мне?

— Хотел все про тебя знать.

— Я не скрываю, мне неинтересно учиться на «пятерки». Зачем?

— Неверно, знания — основа всего...

— Закочу и буду отличницей. Но я не хочу...

— А если я попрошу?

Она не ответила ни да, ни нет, просто кивнула головой.

— А какие у тебя планы на будущее?

— У меня? Может быть, уеду на зимовку.

Никуда она не уехала, ни в какую Арктику. Кончила школу на «отлично», как требовал Гриша, поступила в техникум, и они поженились. Всю зиму копили деньги, чтобы поехать в Крым, к морю. Собрались и поехали, и началась война...

Снова заговорил Святослав:

— Не отчаивайтесь, Наташа... Вы еще будете счастливы... Вся жизнь впереди... Пусть только кончится война...

— Мое счастье позади...

— Есть легенда о двух половинках кольца... Или двух половинках ореха... Например, если я владею половинкой и еще кто-то другой и мы встретимся, то...

— Я свою половинку уже находила...— сказала Наташа.

— Это ничего не значит. И еще раз можно найти.

Наташа отрицательно покачала головой:

— Людей миллиарды, а встретить надо одного...

— А я верю,— упрямо сказал Святослав.— Я верю...

Пока плыли на пароходе до Красноводска, Святослав и его товарищи нянчились с Майей, чем могли помогали Наташе. Потом всей компанией усадили ее в вагон. На прощание Святослав сунул ей узелок.

— Тут портянки новые, ты не обижайся... может, вместо пеленок... и табак... с табаком нигде не пропадешь, можно сменять на молоко. Табак дороже денег... А это тебе лично. Цветок. Спрячь на память...

Она нашла руками его шею, обхватила и заплакала:

— Спасибо...

Поезд тронулся. И уже другие люди — командиры, красноармейцы, ехавшие с фронта и на фронт, какие-то пожилые женщины, девушка-студентка, два инженера, командированных с завода,— возились с Майей и принесли Наташе кипяток и щи. Студентка рассказывала про свой институт, где учатся почти только девушки, ребята все на фронте. Инженеры говорили про свой завод, эва-

куированный в Среднюю Азию, теперь их вызвали почему-то в центр, они ломали голову: для чего? И так удивительно было, что где-то за Наташиной слепотой идет полная событий, бурная жизнь, что в тылу учатся, работают, ездят в командировки, даже женятся. И еще сильнее, еще острее Наташе хотелось вылечиться. В вагоне было душно, пыльно, из пустыни летел скрипящий на зубах песок. Томила жажда, и страх, и надежда, и тоска... Опять менялись около Наташи люди, она различала их только по голосам, встречала, чтобы забыть...

Не скоро достигла она земли обетованной, не скоро попала в госпиталь. И чем больше мытарствовалась, тем больше уповала на то, что знаменитый доктор как только посмотрит ее глаза, так сразу поможет прозреть. Должен ведь быть предел человеческому терпению! Надо только толково объяснить все, рассказать про Майю, вспомнить, как все произошло.

Когда она ждала приема, то с раздражением слушала, как долго и медленно волшебник моет руки и разговаривает со своей помощницей. Он даже засмеялся чему-то. Ей хотелось сказать: «Будь вы в моем положении, то поторопились бы...» Но она боялась рассердить его. Потом немолодые, холеные, чисто-чисто промытые руки коснулись ее лица, ее век, и она успокоилась. Такое доверие внушали эти руки, эти умные, требовательные пальцы. Профессор продиктовал кому-то:

— Атрофия зрительного нерва правого и левого глаза травматического происхождения. Острота зрения правого глаза равна нулю, левого при неправильной проекции света... Вас контузило около года назад, да?

— Да, уже почти год,— волнуясь, ответила Наташа, сама удивляясь, что это страшное состояние длится уже почти год.— Но я не могла попасть к вам раньше, я...

Ассистентка, перебивая ее, спросила у профессора:

— Пересадка?

— Да, да, пересадка. Двадцать инъекций... Давайте следующего...

Наташа настойчиво, торопливо спросила:

— Но я буду видеть? У меня ребенок, у меня...

Ассистентка обняла ее за плечи и, чуть подталкивая к выходу, сказала:

— Девушка, если вам не поможет профессор, значит, вам не поможет никто...

— Извините, но я работала в госпитале... Я немного разбираюсь... Вы сказали: острота зрения ноль...

— Голубчик,— мягко сказал профессор.— Если вы медработник, то поговорим как коллега с коллегой. У постели больного не следует опускать руки. Пессимизм бесплоден, и не ему принадлежит будущее...

Опять прозвучал резкий женский голос:

— Я ведь вам сказала, девушка, благодарите судьбу, что попали к профессору... Он разработал новый метод лечения...

Профессор остановил ее:

— Не преувеличивайте, голубчик. Конечно, оптимизм принес моей школе немало радости. Но... рядом всегда должна идти, как старшая сестра, спокойная, уравновешенная критика. Мой метод не панацея, а я не бог...

— Нет, вы бог, бог... Это я сто раз говорила и скажу в сто первый.— И будничным, деловым голосом вызвала: — Следующий...

Лидия Васильевна, та самая, что привела меня к Наташе, рассказала, как умерла Майя.

— Что это было за горе, за переживание, я вам и передать не могу! Я сама мать, я понимаю. Девочка жила в-яслях, каждый день мы приносили ее в палату. Как старшая сестра, я не имела права так делать, но я закрывала глаза на этот факт. Конечно, ребенок — жертва войны. Эту смерть тоже надо поставить в счет Гитлеру. Плакали все — и больные и персонал. Но как сказать несчастной матери?

Первый день мы ее обманули, будто идет дождь. На завтра придумали туман. А что делать на третий?

Мы вошли в палату. Вдруг она говорит:

«Не скрывайте от меня правду. Майя заболела?» Санитарка Дуся отвечает: «Нет, нет...»

И вдруг Наташа села на кровати, смотрит на нас — мы знаем, что она нас не видит, но все равно трясемся, как будто она нам в душу смотрит,— и говорит: «Как вам не стыдно, женщины, может, я ваших братьев перевязывала или из огня выносила, а вы меня обманываете...» А у меня сын Коля на фронте, ноги у меня затряслись даже. Невестка моя Оленька — она тоже сестрой работала — побледнела, как бумага, слова не может вы-

молвить. Я понимаю — я старшая сестра, я не имею права молчать. Бормочу: «Бывает... Бывает... что и у родной матери ребенок от дизентерий умирает, не только в яслях»... Она даже не вскрикнула, сказала: «Ну, все...» — и отвернулась к стенке...

Ясно одно — она не останется жить, покончит с собой. Просто выберет удобный момент, ощупью доберется до открытого окна и спрыгнет...

Как будто огонек погас, светивший ей в конце длинного темного коридора. На этот свет она шла — через муки, босиком по битому стеклу, по острым камням. А теперь не для чего идти, цели нет.

Впервые за месяцы испытаний почувствовала Наташа усталость. Такую усталость, такую страшную пустоту... «Ну, все», — больше ей нечего было сказать. У нее только и хватало сил, чтобы отвернуться к стенке.

Она будет лежать и ждать. А там, как только выберется удобный момент, встанет...

Но весь день в палате толклись люди.

Приходил агитатор, читал вслух газету, рассказывал о положении на фронтах. Потом явились гости из мужской палаты — Вася с Яшей. Вася был общим любимцем. Пел, сочинял стихи, им гордился весь госпиталь. Он был необычайно жизнерадостен, забывалось, что у него ампутированы кисти обеих рук, поврежден глаз.

Яша бродил за ним, как тень. Слепой, глухой. Чтобы он услышал, приходилось кричать ему в самое ухо.

В палате сразу же стало шумно, как они вошли.

— Вася, прочти что-нибудь, — просила пожилая больная, докторша с военного корабля. — Что-нибудь лирическое, задушевное...

— Я теперь увлечен сценарием, — отвечал Вася. И кричал Яше в ухо: — Яша, они не верят, что я пишу сценарий... Честное слово, правда. Две пары, необыкновенная любовь, цветы, лето. Бац — война. Довожу до нашей победы...

— Но ведь мы еще не победили? — спросила докторша озадаченно.

И опять Вася кричал в ухо Яше:

— Яша, они говорят, что конец сценария должен быть другой...

— Должна быть победа,— не соглашался Яша.— Ты прав, Вася...

Наташу раздражало, что в палате шумят и болтают, смеются, и особенно раздражал ее Вася. «Ему двадцать лет, а жизнь окончена. Без рук, плохо видит... Чему же он радуется, не понимаю...»

Она старалась не слушать, как остальные женщины в палате наперебой хвалят Васю, его характер и энергию, и даже этот его еще не написанный сценарий.

— Вася сказал, что в клубе будет вечер с танцами,— восторгалась Демидова.— А если он сказал, значит, факт.

Но потом случилось новое событие, и все позабыли про Васю с его сценарием.

Прибежала санитарка Дуся и сообщила новость. За слепым лейтенантом с третьего этажа приехала невеста. Красавица, дочь генерала. Мать будто на коленях стояла, умоляла девушку не губить себя, не связываться со слепым, но девушка написала на фронт отцу. И вот она приехала...

— В черном шелковом платье, прическа модная, интересная... Он гордился сначала, отвергал ее. «Поставим на прошлом крест, я не желаю тебя связывать». А потом как схватил за руку, так до сих пор держит...— Дуся всхлипнула и неожиданно сказала: — Я знаю, про меня болтают, будто я с больными живу. Брехня... А хоть бы и правда, так есть такие несчастные, что сердце разрывается...

Все по очереди бегали смотреть на дочь генерала. И Демидова, вернувшись, разочарованно заявила:

— Вовсе не такая интересная. Просто хорошо одета...

— Глупости вы говорите, Демидова! — рассердилась докторша.— У нее прекрасное лицо, лицо настоящего человека...

— Я ведь ничего плохого не сказала. Но наряд очень красит...

Докторша не стала ее даже слушать. Она долго говорила сама о том, что есть высокий человеческий долг,— это прекрасно, когда его выполняют. Есть долг перед другом, перед коллективом, перед страной, наконец... Если девушка любила лейтенанта, то не за одни глаза, надо думать? Пусть слепой, пусть израненный, а душа-то у него все та же?!

— Так-то, конечно, так... — не вполне уверенно подтвердила Демидова. — Но все-таки...

Наташа лежала безучастная, молчала. Ждала только, когда стихнут голоса, когда уснут...

Но вечером явилась медсестра и заявила, что в дежурке очень жарко, она посидит у них.

— Вы, девушки, не возражаете? — Она без умолку тархтела про своего сына Колюню, про невестку Олечку, про академика, который очень требователен и не хочет считаться с тем, что война и надо идти в работе на некоторые уступки, про пайки, про топливо, про цены на рынке, про невесту лейтенанта.

Когда часы пробили одиннадцать, она, не меняя интонации, воскликнула:

— А ну спать, женщины, спать! Ни слова больше... Я тут поработаю у вас за столом... Буду заполнять карточки...

И ночью, сколько раз ни поднимала Наташа голову, она слышала скрип пера и шелест бумаги. Лидия Васильевна заполняла истории болезни. Несколько раз она подходила к Наташе, наклонялась к ней и прислушивалась, спит ли.

Утром Наташа сказала:

— Лидия Васильевна, дайте мне какую-нибудь работу. С ума можно сойти.

Ей принесли марлю, она стала делать салфеточки для перевязочной. Так и просиживала целые дни — все складывала и складывала нарезанную марлю...

Профессор упрекнул Наташу:

— Голубушка, вы мне совсем не помогаете. Вы не стараетесь выздороветь...

Она виновато улыбнулась, но сразу же улыбка стерлась с лица, и на нем снова проступило выражение безразличия. «Я вас ни о чем не прошу, ни в чем не обвиняю. Какая вам разница, выздоровлю я или нет? Место в госпитале зря занимаю? Ну, уж право на койку я заслужила...»

— Сделайте над собой усилие, — уговаривал профессор.

— Она не ест, не спит, не разговаривает ни с кем. Разве так можно? — вдруг нарушив торжественный ри-

туал профессорского обхода, сказала Наташина соседка по палате, докторша с военного корабля.

Профессор поднял густую, косматую бровь.

— Ну? — И обратился к Наташе: — Нет, голубчик... Так нельзя... Нельзя...

Наташа молчала.

Если бы она могла выразить то, что чувствовала в эту минуту, то закричала бы от обиды. Она как песчинка, которую взметнул и уносит ветер. А она не хочет быть песчинкой... Она человек. Верните моего мужа, верните мою девочку, и тогда я захочу выздороветь, захочу жить. Я прижмусь к Гришину плечу, выплачу слезы, что комком застряли в горле, и тогда я снова захочу увидеть севастопольскую луну, и берег моря, и бухту... и прозрачных медуз в воде... и цветущие акации на улицах, и моряков в бескозырках...

— Вы уже различаете огонек папиросы в темноте, — это большой успех...

Наташа возражала молча. «Я не могу больше искать случайный огонек папиросы и сомневаться, может быть, он мне чудится только, потому что я страстно хочу его увидеть — этот маленький, как пятнышко, огонек...»

— У вас налицо объективные признаки улучшения...

Она сдалась:

— Хорошо, я буду больше двигаться...

— Вот и прекрасно, чудесно...

И торжественное шествие — профессор и все сопровождающие его на обходе врачи и сестры — двинулось дальше.

В госпитале в тот вечер выступали артисты, давали концерт. Потом артистов повели кормить — такой уж был порядок, что после выступления артистов угощали ужином, — и пока скрипач и бледная чтица, с голыми руками, в вечернем платье, охотно ели картошку с мясной подливкой, в зале начались танцы.

Вася носился по всему зданию, всюду поспевал. Он и к Наташе в палату забежал, позвал:

— Пойдем танцевать, принцесса... А хочешь, познакомлю с артистами.

— Я тебя не понимаю и никогда не пойму, — сказала Наташа зло. — Ну что ты все веселишься?

— А по-твоему, лучше плакать?

— Не знаю — что, только не смеяться, не веселиться... Неужели тебе все равно, как жить, лишь бы только жить?

И вдруг Вася заорал на нее:

— Повесить нос и хныкать? Людям душу бередить — смотрите, какой я несчастный... Я выше этого, слышишь? Да, я живой, я живу, и я счастлив. Что я, себе дела не найду? Не прокормлю себя? Что я, один такой?

Наташа опомнилась:

— Вася, не обижайся. Вася, я не то хотела, пойми...

— Все понял. Эгоистка...

И он убежал...

Дверь осталась открытой. Слышно стало, как наверху, в зале, играет музыка. В палату влетели будоражающие знакомые звуки вальса. Наташа потуже затянула пояс на халате, поправила волосы.

По коридору кто-то одиноко ходил. Наташа прислушалась к шагам. Кто же это?

— Это ты, Яков? Пойдем в зал...

Но Яша взял ее за руку и стал жаловаться на свои беды, и ей неловко было выдернуть руку и оставить его одного.

Они стали ходить рядом.

— Рифмы! Они говорят одно и то же — рифмы! — жаловался Яша. — Во мне много слов. Гудят, гудят, как пчелы. А что за слова, к чему, рифмы или не рифмы — не знаю... Васька счастливый, у него талант. — Они дошли до конца длинного коридора, где почти уже не слышен был вальс, и повернули обратно. — Отсюда меня скоро выпишут, но не могут решить — куда. Хотят достать мне место в доме инвалидов. Если бы не глухота, я бы учился на баяне. А так что? Не представляю себе...

Наташа сказала:

— Я знаю одну пьесу, там слепые делают щетки...

— Щетки? Это идея...

С тяжелым сердцем вернулась Наташа в палату. На нее напал страх — а что, если зрение не вернется?

Нет, она будет видеть, ведь профессор сказал, что есть объективные признаки улучшения: ей не кажется, она действительно различает во тьме горящую папиросу. Пройдет время — и она снова начнет видеть. Увидит стопочку Гришиных записок, что сохранились на дне «сидора», увидит небо, сама прочтет газету. Фильмы увидит,

буханку хлеба, пальцы профессора, ветки на деревьях, верблюдов, лужи на дорогах...

Она вспомнила все, что ей хотелось увидеть. И вдруг растерянно подумала: «Но девочку... дочку я не смогу увидеть. И вспомнить не смогу: я не знала ее лица...»

Сколько раз уже терзал ее сон — она теряла ребенка среди других детей и не могла узнать... Бежала за дочерью по дороге, дочь ускользала из рук, лицо расплывалось, неясное, как лист бумаги, и только на песке оставались следы маленьких ножек... Потом и они исчезали...

«Даже следов нет,— подумала Наташа с болью,— даже следов...» И снова ей стало безразлично — жить или умереть...

Когда я принесла Наташе письмо, в палате сразу же появились Вася и Яша. С обоими я была знакома. Вася часто ходил к нам в редакцию, несколько его стихотворений, свежих, талантливых, мы уже печатали. И Яшу я знала. Он тоже как-то писал нам, должно быть по совету Васи, просил проконсультировать. И зимой в большой холодной комнате я кричала ему в ухо, как в бездну, что стихотворную речь от прозаической отличает размер, рифмы, ритм, музыкальность. Кричала, а сама дрожала от холода и сострадания. Он выслушивал, морщился:

— Что? Что? Как вы сказали — рифмы? А у меня?

Оба они уселись рядом с Наташей. Она складывала салфеточки, худенькая, в сером халате, со спущенными, как у школьницы, косичками.

Вася взял у меня из рук письмо.

— От какого-то Святослава...

— От кого? — переспросила Наташа. — Кто же это? — И вдруг она вспомнила: — Ой, мы вместе плыли по Каспию... Читай...

— Стихотворение посвящается защитнице Севастополя Наташе... — И Вася начал читать.

— Правда, хорошее стихотворение? — сказала Наташа потрясенно.

Вася задумался:

— Форма все-таки слабовата.

— А зачем мне форма? — Наташа словно обиделась и спрятала пьесу в карман. — Много ты понимаешь...

Демидова зашевелила острым носиком и с завистью спросила:

— Интересный он? Какой он из себя?
— Я не знаю...— растерялась Наташа.
— Надо полагать, что интересный человек,— веско сказала докторша.— А ну, прочтите еще раз...

Наташа протянула мне листок.

Я стала читать. Святослав напоминал Наташе ее боевое прошлое, друзей, которые ее помнят. Он верил, что Севастополь снова будет советским городом и что свободный Севастополь не забудет Наташу.

Щеки у Наташи зарумянились. Докторша сказала:

— После таких слов ощущаешь, что не только в твоём сердце живет каждый боец, которого ты перевязывала, но и ты жива в сердце каждого бойца...

Демидова опять сказала невпопад:

— Вокруг столько молодых девушек, а он...

— Так рассуждать нельзя,— поморщилась докторша.— Что значит вокруг...

— Для него не имело значения, что я не вижу,— тихо сказала Наташа.— Он и внимания на это не обратил.— И нараспев повторила строчку из стихотворения: — Как он пишет? «Поверь, отомстим мы проклятым, тебя не забудем, мой друг...»

Вскоре я стала собираться из эвакуации домой, и у меня уже не было времени ходить в госпиталь к Наташе. Я оформляла документы на въезд в Москву, выполняла последние задания редакции, улаживала свои хозяйственные дела.

Единственное, что я успела,— это навестить Радзинскую. Она давно уже болела, и на ее место взяли новую машинистку...

У себя дома среди громоздкой потертой мебели, вышитых подушечек, пыльных книг и высоких фикусов она казалась более старой, чем в редакции. Седые неприбранные волосы космами падали на худые щеки.

Она показала мне свои фотографии. Было грустно и удивительно смотреть на девочку с куклой, юную гимназистку, скромную даму с розой в руках. Старость безжалостно стерла свежие краски и покрыла кожу сетью морщин, а все-таки ее можно было узнать.

— Вот что время делает с человеком,— без горечи сказала она.— А кажется, что жизнь началась только вчера...— Она вытащила из альбома прелестное изобра-

жение молодой барышни с тонким профилем, в длинной юбке и кофточке с буфами.— Вот это я, когда стала самостоятельной, изучила ундервуд и поступила на службу... Тогда это был смелый шаг... Если хотите, возьмите на память...

Я сразу же спрятала карточку в сумку.

— Может, когда взглянете, вспомните, что жила старая чудачка, желавшая людям добра...

Мне пришлось подробно рассказать, как я пришла к Наташе, как читала ей письмо, как она захотела послушать стихотворение Святослава во второй раз и как рассердилась на Васю, когда тот сказал, что форма слабовата...

— Но встретятся ли они? Вы уже послали Ивановскому адрес?

Я все-таки спросила:

— Вы были замужем?

Она внимательно посмотрела на меня.

— Замужем? Вы хотите спросить, любила ли я? Да, любила...

— Вам трудно жить одной...— посочувствовала я.

— Трудно? У меня на редкость хорошие соседи...—

Она сцепила и расцепила милые, узловатые, усыпанные коричневыми пятнышками пальцы и призналась: — Знаете; я много подчинялась в жизни, уступала... А теперь живу по своему вкусу, имею собственное мнение, на все смотрю собственными глазами. Это тоже чего-нибудь да стоит... Так кто же будет вести литературную консультацию вместо вас? Только бы не Н. (она назвала фамилию). Он такой резкий...

Она заставила меня выпить чаю и съесть коричневый, сваренный в мутном хлопковом масле пирожок. Немало сил надо было потратить в то время; чтобы раздобыть пирожки. Должно быть, кто-нибудь принес ей гостинца. Пирожок одиноко лежал на тарелочке, пересоший, сморщенный.

Когда я прощалась, старуха попросила:

— Черкните, как доехали, хорошо? Я буду беспокоиться, такая дальняя дорога. И, пожалуйста, если что-нибудь узнаете о Наташе... Обещаете?

Но я несколько лет сама ничего не знала о ее судьбе. Запросила Лидию Васильевну, но та тоже вернулась домой и ничего сообщить не могла. Помнила только, что из

госпиталя Наташа выписалась. Уже после войны в медицинской библиотеке я наткнулась на книгу профессора, лечившего Наташу, и бегло перелистала страницы. Да, он упоминал о ней, приводил историю болезни. Результаты оказались хорошие, зрение восстановилось, хотя, конечно, не полностью.

Сообщить об этом Радзинской я не смогла: товарищи из редакции давно уже написали мне, что она умерла.

И вот столько лет спустя мы встретились с Наташей в поезде.

Конечно, я не могла при Святославе, при мальчике расспрашивать Наташу так подробно, как мне хотелось бы. Пришлось довольствоваться тем, что она сказала сама:

— Что было после того, как мы с вами виделись? Еще тысяча и одна ночь была. Зрение стало улучшаться, я осталась работать при госпитале и лечилась. Припадки отчаяния у меня продолжались, но я себя утешала: «Люди тебя помнят, протягивают тебе руку помощи... Цени это...»

Мне, конечно, хотелось, чтобы Святослав участвовал в освобождении Севастополя, но он туда не попал, воевал на Карело-Финском, потом попал во флот. Мы переписывались, он даже заезжал ко мне, когда ехал на фронт. Ну, а встретились уже после войны... Он чуть не погиб, лез в самые страшные места, окаянный...

Святослав хмурил брови, чувствовал себя неловко. А Наташа не скрывала, что счастлива.

— Живем, работаем. Наконец-то выбрались, едем в отпуск, в Крым...

Мальчик похвалился:

— Мама мне покажет все, где она когда-то была...

— Интересно, неужели в тех штольнях снова шампанское? — задумчиво сказала Наташа.

— Ну и хорошо, если опять шампанское, очень даже хорошо, — отозвался Святослав.

Это он впервые вступил в разговор. Наташа догадалась, что я заметила это, и сказала:

— Когда мы познакомились, там, на Каспии, он более разговорчивый был... фантазировал, мечтал. А теперь слова не добьешься, видно, север так на него действует...

— Или то, что ты болтаешь за двоих... — пошутил Святослав.

— Это верно,— согласилась Наташа.— Я тоже пере-
менилась. Как будто во второй раз живу.— Она тронула
меня за плечо: — Вы мне напомнили прошлое. Я вам так
благодарна...

— А Вася теперь детский писатель,— сказала я.—
Женился. Мальчик у него. Купил «Победу», представьте,
сам сидит за рулем...

Наташа не удивилась.

— Ну я знала, что этот не потонет,— сказала она жи-
во.— Очень уж он радовался, что жив остался, любил
жизнь... Пусть бы сыну моему книжку прислал, раз дет-
ский писатель. Вы скажите ему, если не забыл, конечно...
Но вряд ли он меня забыл... Напомните глазной госпи-
таль, глухого Яшу. Он обязательно вспомнит. Может, он
про Яшу что-нибудь знает...

И она машинально начала складывать платочек, как
складывала когда-то марлевые салфеточки.

— А профессор умер, я в газете читала...— сказала
она.— Жаль, какой был человек! Про Лидию Васильевну
ничего не знаете?..

— Давно ничего не слыхала. Сын, я знаю, с войны
вернулся, и невестка вернулась...

— Да, след потерять легко,— опять сказала Ната-
ша.— Это ведь чудо, что мы со Святославом нашли друг
друга... что вы принесли письмо...

Она поежилась, как будто ей страшно стало от мыс-
ли, что, не дойди тогда письмо Святослава, вся ее жизнь
сложилась бы по-другому.

Я вышла в коридор. Мимо поезда бежали осенние бе-
резовые рощи, полные золота и багрянца. Из купе вышел
мальчик и стал рядом со мной, держась за ремни, при-
крепленные к окну. Он был взволнован. Серые глаза
блестели.

— Тот...— сказал он.— Ну, мамин первый муж... Гри-
ша. Он ведь погиб в Севастополе... Вы не знали? У нас
дома висит его портрет...

Он что-то еще спрашивал, но мне вспомнилась Рад-
зинская. Я уже неясно представляла себе покрытое мор-
щинами лицо. И когда думала о ней, то видела милый
тонкий профиль девушки в кофточке с буфами, изучив-
шей ундервуд и верившей, что люди должны быть доб-
рыми. Как знать, если бы не ее настойчивость, может, мы
и не довели бы до конца розыски Наташи М.

МОЛОДАЯ ДУША



В сосновом лесу, почти рядом с военным строительством, стояла дача инженера Латышева. По воду солдаты ходили на участок к соседям, у колодца затевали разговор с сыном инженера, мальчишкой лет пяти. Иногда жена инженера, черноволосая серьезная женщина, просила наколоть дров или починить ступеньку у крыльца. Солдаты охотно брались за поделки, желая приработать что-нибудь к своему солдатскому пайку, главным образом на выпивку,—строительному батальону армейские сто граммов не полагались. Да и так, и без денег, интересно было посмотреть, как живут гражданские люди...

Но Макар Острекин относился к соседям с особым интересом. Оба они, и Острекин и Латышев, оказались земляками, оба из Сибири.

Уже не раз, возвращаясь из города после работы, инженер, завидев Острекина, угощал его папирсой, сам закуривал солдатской махорки и, слегка морщась от ее густого духу, звал:

— Ты бы, Макар Сергенч, зашел к нам чайку попить. Про свои края поговорим. Уж очень ты ломучий, я гляжу, не упросишь тебя...

— Так ведь времени никак не выберешь,—отнекивался Острекин.—Служба...

Он стеснялся сказать, что побаивается жены инженера. Сам Латышев ему понятен, хороших сибирских людей сын, сразу видно, что за человек—весь наружи. А она вроде и простая и не гордая, а все-таки...

И Острекин под всякими предложениями отказывался.

Но сверху, со свежих золотистых стропил, откуда хорошо виден был небольшой дом с террасой, заросшая травой площадка перед домом, грядки, он всегда, как только откладывал топор, чтобы закурить, с интересом и удовольствием разглядывал это мирное гнездо.

Сам он давно не получал писем из дому, не знал, что там и как, чем живут, здоровы ли. Может, уже и второго сына призвали, может, уже и отправили на фронт. Подошел ведь и его возраст.

За годы войны Острекин везде побывал — и на передовых, и в тылу, и в госпитале, и теперь здесь на строительстве, в Подмоскowie. Еще говорят, перебросят их скоро на восстановление в веселый город Одессу, на самом берегу синего моря.

Но казалось, нет на свете места милее, чем родной рудник. Там его уважали, администрация за него держалась обеими руками, под первые мобилизации он не попал, броня была. А когда подошел немец к самой Москве и множество сибиряков двинулось на защиту столицы, управляющий сказал Острекину: так, мол, и так, Макар Сергеевич, не имею права больше задерживать. Такие люди, как вы, везде на первом счету.

Где, интересно, теперь этот управляющий? Писала жена еще в прошлом году, что и его призвали.

Много, много воды утекло с прошлого года...

И так захотелось Острекину поговорить про родную Сибирь, такая тоска по родному краю его вдруг разобрала, что однажды в субботу вечером он не выдержал и пошел к инженеру в гости.

Долго шаркал он на террасе, очищая подошвы разношенных армейских ботинок, облепленных желтой глиной. Потом медленно, как бы нехотя, немного досадуя на себя, вышел из темноты в ярко освещенную комнату и нерешительно остановился на пороге, шуря маленькие усталые глаза. Полинявшая пилотка тесно сидела на стриженной седеющей голове, потертая шинель была подомашнему небрежно накинута на плечи.

Жена инженера, сидя у стола, шила куски яркой, усыпанной горошками материи.

— Ах, это вы, товарищ Острекин? — сказала она приветливо. — Заходите, заходите, очень, очень рада, что наконец-то зашли. Садитесь... Как раз к чаю...

Но Острекин все так же неподвижно стоял на пороге, как будто не слыша любезных слов. Он чуть хмуро спросил:

— Может, отдыхает хозяин?.. Так я ведь и в другой раз могу...

Женщина чуть усмехнулась. И позвала мужа:

— Леня, иди скорее, Макар Сергеевич пришел. Он со мной и разговаривать не хочет...

Острекина даже в жар бросило. Но тут вышел, протирая глаза, веселый Латышев. Видно, вздремнул после обеда. К удовольствию Острекина, хозяйка в разговор не вступала, молча собрала посуду, приготовила чай и опять села. Занялась шитьем. Иголка мелькала в ее руках, подцепляя белые горошки, как бусы.

— Нет, по делу-то если сказать, разве же тут жизнь? — чуть шурясь, снисходительно говорил Острекин. — Один только шум... Разве здешнее, допустим, масло с сибирским сравнишь? Или, тем более, мясо? Я уж про реки и про лес не буду говорить. Разве это лес?.. У нас за два метра вглубь не видать, а тут от сосны до сосны хоть пляши, просторно...

— Да, это верно. Возразить нельзя. Подмосковные леса в последнее время сильно вырубали, — согласно кивал головой инженер. — А уж теперь, в войну, и говорить нечего.

— Ну, а наши сибирские разве вырубил? Не вырубишь сроду, никогда...

И оба наперебой стали хвалить Сибирь, могучую ее тайгу, быструю Ангару, даже морозы, крепкие, но безветренные, рыбу омуль, людей с золотыми руками и твердым, как камень, словом.

Острекин так увлекся, что заявил, будто в Сибири и озорства-то в помине нет. Но инженер, мельком взглянув на жену и заметив ее улыбку, сам усмехнулся и сказал, что это уж земляк, пожалуй, чуть перехватил. Озорства и в Сибири немало. И где его нет?

Острекину стало неловко. И, то ли заметив его смущение и желая смягчить свои насмешливые слова, хозяин стал объяснять жене, как ему приятна вся эта беседа с земляком и как приятен даже вид земляка. Вот эта бурая шея, и доброе лицо в морщинах, и руки со сбитыми ногтями напоминают ему покойного отца и просто воскрешают картины детства. Он сейчас смутно припоми-

нает, как торжественно у них дома пили по воскресеньям чай, как, бывало, отец сидел за столом чуть пригнувшись и, наслаждаясь отдыхом, прихлебывал, держа на растопыренной ладони блюдце.

И Латышев тоже пригнулся, оперся локтями о стол, подул на чай.

— Самоварчик шумит-шумит...— вспомнил он с сожалением.— Ведь совсем другой вкус, когда чай из самовара...

Жена отложила на минуту шитье.

— Самовар и у нас есть, а трубы нету... Вот вы не поверите,— обратилась она к солдату,— нигде нельзя купить самоварную трубу...

— Трубу я вам сделаю. Это точно. Куска жести, что ли, не найду? Пустяшное дело самовар вздуть. Шишек полон лес...

Но инженер запротестовал:

— Какие тут самовары? Это ведь жена к слову... Иногда по двое суток домой не прихожу... А теперь она еще заладила — хочу да хочу опять на работу...

— Куда им,— заметил Острекин,— им за мальчишкой надо смотреть...

— Но я всю жизнь на заводе работала,— сказала, розовея, хозяйка.— Это я теперь надомницей стала, платья для фабрики шью. Невыносимо. Вот только откроют детский садик — и пойду... Извелась я...

Она застеснялась своей вспышки и стала придвигать еду ближе к гостю.

Угощение было скромное, но по военному времени — Острекин это понимал — не в каждом доме можно было найти и такое. Он с охотой ел белый хлеб, холодные картофельные оладьи и даже отведал конфетку, осторожно сняв ее со стеклянной красивой тарелочки загрубевшими желтыми пальцами.

Инженер намазывал хлеб маслом, но Острекин намазывать не стал, постеснялся. Хотелось ему расспросить, какой паек инженер получает, хватает ли сахару, но он не решался завести такой обыденный, простой разговор. И даже когда инженер спросил: как же кормят здесь на строительстве, подходяще? — ответил сдержанно:

— По третьей категории... Известно, не фронтовики. Там, на фронте то есть, мы все ели, коли возможность была... И гречневую кашу, и консервы, и масло,

Хозяйка налила Острекину вторую чашку крепкого душистого чая. А чашка красивая, в мелких ярких цветах. Острекин выпил с удовольствием. Но от третьей отказался решительно:

— Спасибо. Хватит...

И даже чашку опрокинул вверх дном.

Он обошел с хозяином дом, осмотрел печи, полы, щели, из которых непременно будет дуть зимой, и все приговаривал:

— Кабы мне тут подоле пожить, кабы не переводили, все бы я вам наладил, печи переложил...

— Вы и это умеете, Макар Сергееч? — спросила с уважением хозяйка, остановившись у притолки.

— А как же? Я и печник, и каменщик, и плотник. Сибирь такая страна, все надо уметь... — Хоть он отвечал на вопрос хозяйки, но все равно смотрел на Латышева и обращался к нему: — Поверите, я когда из госпиталя после излечения опять в часть пришел, так меня даже заведующим пекарней назначили. Вся мука, весь хлеб на моей ответственности. Только никак мне нельзя было в полку оставаться, комиссия признала нестроевым, так что нельзя было в полку. Интендант и так и этак вертел, солидный такой мужчина, а сделать ничего не мог...

Опять вернулись в столовую, сели.

Ярко горела под абажуром электрическая лампа. Дверь на террасу была открыта. За открытой дверью шумели деревья. Хозяйка наполнила миску горячей водой и задумчиво стала перемывать посуду.

Инженер с солдатом закурили. Кольца легкого дыма, все расширяясь, поплыли над столом.

— Самая бы пора уток пострелять, на охоту съездить, да не до этого... — сказал Латышев. — Все работа, работа... Иногда ночью приедешь домой, а то — чаще всего — в цеху и заночуешь... Какие уж тут утки...

— На уток мы очень просто раньше охотились, — отозвался Острекин. — Стоит, к примеру, в поле стог пшеницы. Мы этот стог обкопаем глубокой канавкой, канавку ветками закидаем. Птицы идут зерно клевать — и туда... Утром штук восемнадцать — двадцать возьмешь... Десять — это уж обязательно...

В соседней комнате заплакал ребенок. Мать ушла к нему. Без нее Острекину стало как-то проще, вольготнее. Он даже припомнил соленую сказку, что слышал еще в

первую мировую войну. Посмеялись. Потом Острекин перегнулся через стол и спросил с живым интересом:

— А как считаете? Будет нынешней зимой конец войны или еще потянем, погодим?

— Как сказать...— немного затруднился инженер.— На мой взгляд, международное положение позволяет сейчас на многое надеяться.— И он стал с увлечением излагать свою точку зрения.

Острекин задумчиво кивал головой. Потом пожаловался:

— В полку жили — каждый день политинформация была. А тут...

Вернулась, убаюкав сына, хозяйка. Лицо у нее было теперь сонное, видно, и сама чуть не уснула.

— Успокоился? — спросил инженер.

— Заснул, — кивнула жена, улыбаясь и щурясь на свет.— Это он во сне заплакал. Испугался чего-то и заплакал. Глаза закрыты, а спрашивает: «Мама, скоро утро, который час?»

— Занятный ваш мальчишка, — вежливо заметил гость, впервые взглянув на хозяйку.— Мы все его подымаем к строительству: «Саша, иди расскажи что-нибудь...» Он как начнет... да так толково, по порядку...

— Воет...— улыбнулась мать.— Все на фронт да с фронта ездит.

— Время такое. Только про фронт и слышит ребенок. Мало веселого покамест на свете...

Так приятно было Острекину в этой просторной светлой комнате, за семейным столом, так стало у него на душе тепло и хорошо, что он сказал, не зная, как выразить это свое душевное состояние:

— Вот кончится война, отпустят вчистую, я вам все тут налажу. Таких делов наделаем, только держись, — полный капитальный ремонт всему фундаменту...

— А может, ты, Макар Сергеевич, и вовсе в наших краях останешься, — пошутил инженер.— Поставил бы себе дом на нашем участке. Участок у нас большой, живи полным хозяином. После войны хорошая жизнь будет...

— А жена? — спросил Острекин.— Ее тоже спросить надо, как она. Небось она у меня теперь по новому указу серебряную медаль получила, ребят-то пятеро. Всех вырастила, воспитала...

— Как хорошо, когда много детей,— сказала жена инженера.

Острекин посмотрел на нее благосклонно.

Когда он стал собираться, хозяин и хозяйка вышли проводить его на террасу.

Высоко в небе стояла луна. Лунный свет заливал все прогалины в лесу, обступавшем домик, и ступени, и концы сена между деревьями.

— Сено-то как хорошо пахнет,— сказала жена инженера.— А месяц, месяц... Так бы и шла и шла, пока не вздетела бы...

Муж ласково положил руку ей на плечо, тесно прижал к себе.

Острекин деликатно отвернулся.

Неподвижно стояли высокие прямые ели. Их ровные стволы, мохнатые лапы ветвей, низкая поросль кустарника, заглохшие дорожки у дома, грядки с помидорами, брошенные грабли, тачка, груда кирпичей — все казалось нарисованным черным по серебру.

В малиннике нерешительно пощелкал соловей.

— До войны у нас и розы цвели и сирень. А теперь все запущено, заросло, заглохло,— с сожалением сказала женщина.— Мы с заводом на Урале были, вот только этой весной вернулись...

— Без хозяина, что ж, известное дело,— подтвердил Острекин, с грустью думая, что, может быть, и у него дома все так же покосилось и запустело.

— Пойдем погуляем,— предложил Латышев жене.— Уж очень ночь хорошая...

Острекин вздохнул и стал прощаться.

По тропке, мимо колодца, прошел он к себе на строительство. Играли под луной желтые, свежееоструганные доски. В бараке, где ночевали солдаты из строительного батальона, было душно, темно. Все уже спали, только ворочаясь и стонал во сне конопатый плотник-украинец.

Острекин выкурил папироску у дверей, снова вздохнул, аккуратно разложил на сене свою шинельку и лег.

Сон, однако, не приходил. Солдат припоминал все подробности разговора в гостях.

«Нет, не умели мы дома чисто жить, как вот люди умеют,— думал он, вспоминая пестрые чашки, стеклянные тарелочки, вазу с цветами на столе у Латышевых.— Хозяйство мое, можно сказать, не бедное — корова, ого-

род, заработок немалый был... И мясо ели и пироги, а вот такого обзаведения не имели, нет... И хорошее другой раз ели, да не заметно его было — все миски да плошки, а тут, у людей, каждую конфету видать, каждая играет на свету...»

И ему стало досадно, что он все собирался да так и не собрался купить перед войной радиоприемник. И еще досаднее было на жену. Высокая, красивая, нигде не стыдно такую показать, а зачесывалась гладенько, волосок к волоску, хорошую одежду берегла в сундуке, годами носила одну и ту же юбку. «Вот убили бы меня, к примеру, — думалось солдату, — зачем тогда ей все эти наряды? Нет, что есть у тебя, носи, не жалея. Живи, а не копти небо. Жизнь, она проходит, не ждет. Нет... — И вдруг понял в тоске, что не о сундуках печалится, не о том, что моль тряпки съест. Не это его беспокоит... — Может, я здесь на сене сплю и подушка у меня сеном набитая, а жена там другого нашла? — Может, для него она наряжается, ничего не жалеет, — уже с болью и гневом думал он. — Может, я вернусь израненный, седой, а место мое уже занято, ребята кого-то другого папкой зовут? Старшие — нет, не забудут отца, а вот младшая... — Трех годочков ей не было, когда он уходил на войну... — Что с нее спросишь? Да и с жены что спросишь? Оставил с ребятishками на руках. Что ж я ей, капитал, что ли, приберегу, чтоб спрашивать ответа, как жила? Своим трудом жила, своим и умом руководствовалась...»

Украинец заплакал во сне, заскрежетал зубами.

Острекин на нем сорвал досаду, растолкал его и грубо спросил:

— Ты что, Геббельса, что ли, во сне увидел? Людям спать не даешь!

Украинец спросонок сел на топчане, почесал грудь, раскрыл удивленные глаза.

— Это у меня после контузии, — пояснил он. — Душно мне... Никак мне теперь невозможно в лесу жить, бо я плутал после контузии долго в лесу, путь шукал... через это и антипатия к лесу...

Он слез с топчана, потянулся и кряхтя побрел в угол к кадке с водой.

Луна уже добралась и до этого закутка, осветила его и весело заиграла на ведре, на жестяной кружке.

Где-то неподалеку, за узенькой речкой, в одном из

ближних дворов, высокий женский голос, печалась и жалуясь, тянул песню. Голос был красивый, грудной, песня то замирала на низких тонах, то снова взлетала высоко-высоко...

— От неугомонные бабы,—неодобрительно сказал Острекин.— Не спится им... поют...

— Так это же Зойка, вдова,—оживившись, пояснил украинец.— У нее мужа под Вязьмой убило...— И зачем-то добавил, помолчав: — И годов-то ей всего тридцать, ну тридцать два... Фасонистая баба... Хорошая такая, в сарафане...

Беспокойный шелест пробежал по соснам и елям, будто кто-то невидимый в темноте толкал, трогал деревья и, уронив нечаянно шишку на землю, сам пугался шума и затихал. Потом снова тянулся не то рукой, не то лапой к ветвям, начинал будоражить, будить, тревожить.

О стекло билась большая ночная бабочка, она рвалась на волю, словно и ее томила духота.

— Э, буду спать,—решительно сказал украинец.— Ну его к бису...

Он лег и закрылся с головой,

А Острекин не мог прогнать тоску, она, как паутиной, цепко оплела его душу.

Припомнилось ситцевое пестрое теплое одеяло, которым дома укрывались с женой, и как под воскресенье она мыла и себе и ребятишкам головы и долго убирала потом свои черные длинные косы. И так захотелось Острекину хоть часок посидеть в своем доме, со своей семьей.

«Я ведь уже не молодой,—думал он в свое оправдание,— не проворный. Домой даже медали не привезу, потерял...»

Когда отправляли его на телеге в медсанбат, он дорогой все спрашивал санитаря: «Погляди-ка, медаль при мне?» Тот даже осердился: мол, куда она денется, твоя медаль, даже взял своей рукой его беспомощную руку и потрогал ею медаль. Медаль была на месте, на груди. А потом вдруг попали под бомбежку, Острекина ранило вторично. В себя пришел он уже в полевом госпитале,—ни гимнастерки, ни медали не было.

«И перед ребятишками похвалиться нечем будет»,—скорбно думал он. Боевая страда теперь его закончилась. Теперь он в строительном батальоне, как был на граж-

данке плотником и печником, так и сейчас. Одна слава только, что военный, носит шинельку третьего срока. Числится на военном строительстве. А что это за военное строительство: работают пять плотников да два с половиной каменщика...

Украинец уже спал, похрапывая, а Острекина все жгли мысли о доме, о медали, о войне, о будущей жизни. «Нету во мне теперь прежней силы. Изработался. Износился. Служил честно, а награды не получил. Жена может обидеться. Скажет: «Как же так, Макар?»»

Медаль. А разве это порядок, что он две войны отмахал на ногах пешим порядком, а сынок выучился отцовскими заботами и теперь офицер? Лейтенант! Не обидно это,— он даже улыбнулся от удовольствия,— тянуться перед Николашкой, спрашивать у сына: «Позвольте обратиться к вашей мамаше, к моей, так сказать, жене...»

Инженер укорял его сегодня, почему не послал домой телеграмму с новым адресом, давно бы имел ответ. «Не имеем мы этой сноровки — телеграммы слать. Одно слово — барсуки!»

Барсуки — и все...

Он пошевелил руками и ногами, во всем теле чувствовались следы ушибов и ран. И, утешая себя, он придумывал ответ жене: «Я всю жизнь горб гнул, понятно? Я всегда работал весело, на совесть, не ленился. Можешь ты это в соображение взять?»

Да и то еще не конец, может, еще переосвидетельствуют и пошлют на передовые.

И хотелось этого Острекину, и боязно было. Опасался — трудно будет. «Окопную жизнь я бы выдержал, терпением бы взял. А вот марши? Тут молодые ноги требуются. В наступлении на одном месте не сидят, нет. Вперед рвутся. А может, и она там не спит, думает,— томился солдат.— Плакивает меня, а я живой...» И уже, чуть веселея, мечтал, как придет и скажет, посмеиваясь: «Рано, рано вы Макара Острекина похоронили. Живой я, всюду побывал, всего повидал и явился в ваше распоряжение. Подавайте мне теперь на стол домашние харчи...»

И он так ясно представил себе жену, дом, ребят, пышный белый хлеб только что из печки, горячие щи, что чуть не заплакал.

Короткая летняя ночь была уже на исходе, Острекин

устал от дум. В последний раз проплыли перед глазами картины милой семейной жизни, и опять вспомнилась почему-то жена инженера, как стояла она сегодня, доверчиво прижавшись к плечу мужа, и смотрела на месяц.

Не доводилось Острекину стоять, обнявшись с женой, на улице и любоваться луной. В такой поздний час они уже, бывало, спали. А вот до свадьбы, еще когда гуляли только, тогда и на реке до самого рассвета просиживали, и на лавочке у ворот, и в клубе переглядывались друг с дружкой, вспыхивая и краснея. Когда поженились, тут уж другое пошло — заботы, хозяйство, труд. Да и не к чему было на реку или там в рощу ходить, от людских взглядов прятаться — слава богу, жили по закону, как муж с женой.

Но теперь он с радостью вспоминал те давние времена до свадьбы, и игры, и шутки, и любезности, и сватовство, и то, как подарил ей дорогие бусы. Румяная она тогда была, красивая, ловкая...

Молодая вдова на соседнем дворе все еще пела, зазывала счастье в свой осиротевший дом.

Острекину стало невмоготу. Он встал, оделся, вышел на траву, под прохладное звездное небо. Смутно белела тропка к соседнему участку. Он подошел к колодцу. Луна высветлила стены дома, добела отмыла ступеньки на крыльце. На скамеечке, под сосной, сидела жена инженера.

— Поссорились, — сказала она, подняв на солдата заплаканные глаза. — Но поймите, Макар Сергееч, мы же вместе учились, я такой же инженер...

Острекин потупился, не знал, что говорить.

— Оно конечно, — кашлянул он. — Оно конечно, ремесло человека на земле держит... С ремеслом человек и в пустыне не пропадет...

Он и сам не знал, как это вышло, но оказалось, что он тоже сидит на скамеечке и сердечно, как ни с кем никогда не говорил, рассказывает про свою семью, про свои огорчения и дела. Рассказывает без стеснения, без сдержанности, с которой беседовал сегодня с Латышевым. Как будто сам с собой говорит.

— Пожилой я вроде стал, ноги ноют... не сплю...

— На отдых вам пора...

— Где уж тут отдыхать, хозяйство поднимать придется... — Он как будто испугался, что она не поймет. —

По всей стране хозяйство поднимать придется... Ну, и свое, это само собой...— Он усмехнулся, сам удивляясь тому, что лезет в голову всякая блажь.— Вот не поверите, такое иной раз взбредет... Все тужу, жена как бы меня не забыла...

— Ой, что вы? Да как это можно забыть?..

И так убежденно, так проникновенно она это сказала, что у Острекина отлегло от души. Он снял и снова надел свою пилотку. И даже подмигнул:

— Ну ничего, я теперь полсвета прошел, нагляделся, где какие печи, какое устройство... К себе вернусь, на новый лад буду складывать...

Тоска его прошла, пропала, развеялась. И когда он пришел к себе и снова улегся на свой топчан, то все мечтал о том, как, вернувшись домой, будет сидеть на лавочке у ворот с женой и рассказывать ей, чего повидал, чему научился, о чем страдал. И смерти в глаза глядел, и для чего живет на белом свете человек, думал, и как дорога ему родная земля, родная белая береза, почувствовал...

Мысли были смутные, обрывочные, но он все старался собрать их как ниточки, связать в единую крепкую нить, что объединяла его и с плотником-украинцем, и с милой женой и детками, и с сотнями солдат, каких повидал в полку и в госпиталях, и с этой славной черноволосой женщиной, женой инженера. И ему хотелось, чтобы у сына-лейтенанта была такая же жена...

Лунный свет померк. Потемнело. Потом радостно зашвистали птицы, скользнул по стене теплый солнечный луч.

Позевывая и бормоча, стали просыпаться солдаты, закуривали, пили воду из кадки.

При утреннем свете и кадка и кружка больше не казались серебряными.

Солдаты развели огонь, стали варить кашу. Кто-то сбегал в лес, набрал сыроежек, и их положили для вкуса в котелок.

Острекин ел молча, в беседу не вступал.

Солнце поднялось, дали сигнал к работе, и весело, как будто дятлы, застучали топоры.

Со стропил Острекин видел, как жена Латышева стирает около колодца белье. В тапочках на босу ногу, в козыночке, была она такая славная, домашняя, усталая,

что он не мог взять в толк, почему так стеснялся ее раньше. «Хорошая, работающая женщина»,— с умилением думал он и все поглядывал на колодец.

Украинец перехватил его взгляд. Он тоже смотрел туда, на дачу, где жили гражданские люди, и спросил с интересом:

— Ты чего у них был вчера, заказ какой взял или так?

— Просто в гости позвали,— не без гордости ответил Острекин.— Мы ведь земляки...

— Ваши сибиряки дружно живут,— с завистью сказал украинец,— не так, як другие. Песни спивают хором, а сало каждый свое ест...

Острекин не ответил. Не любил он разговаривать во время работы.

Пообедали.

Приехал грузовик с бревнами. Солдаты спустились с лесов разгружать бревна. Шофер привез Острекину приказ возвращаться в батальон.

— Так что сматывай удочки и езжай со мной,— сказал шофер.— Двадцать минут тебе на сборы.

— А я думал, забыли про меня, ненужный стал...— пошутил Острекин.

— Как же ненужный,— сказал украинец,— без тебя, видать, министр никак не может обойтись...

— А что,— отшутился Острекин,— может, и не может. Может, я нужный ему... Умелый человек всем нужен...

Он засуетился. Имущество как будто немудреное, однако надо собрать в деревянный сундучок и ложку, и котелок, и инструмент, за который расписывался.

Стремглав добежал он до соседней дачи, за руку попрощался с инженером и его женой.

— Как же так? — сказала, удивляясь, жена инженера.— Вчера еще ничего не знали, и вдруг уезжать...

— Наше дело маленькое. Получил приказ — выполняй,— пояснил Острекин.— Война. И мы — на войне.

— Подпоясанный вы, смотрите, совсем молодой,— снова сказала женщина.— Правда, Леня, Макар Сергеич совсем еще бравый...

— Солдат. Душа молодая,— засмеялся Острекин.

Инженер достал пачку папирос.

— Бери на прощание, земляк. Эх, жаль, мало мы с тобой поговорили...

— Не пришлось,— тоже с сожалением сказал Острекин.— И трубу, жаль, я вам не сделал...

Он живо вернулся к грузовику. Шофер, куривший около кабинки, уже с решительным видом затоптал каблуком окурки и уселся за баранку. Острекин поставил свой сундучок в кузов и ловко, навалившись животом, перекинулся через борт.

Грузовик, подпрыгивая на ухабах, покатился к воротам. Острекин, улыбаясь, махнул инженеру рукой. Ему было приятно, что есть кому помахать рукой на прощание. Совсем, сказать бы, чужие люди, а вот по́ди ж ты, как сроднились... Та вдова, что пела ночью, шла с полными ведрами от родника. Издали был виден ее желтый, как пламя, сарафан, смуглые плечи и руки. Услышав шум мотора, женщина посторонилась, подняла глаза и, узнав Острекина, крикнула ему что-то, верно, пожелала удачи в пути...

Острекину стало совсем весело, он поднялся с сундучка, выпрямил плечи и тоже крикнул, лихо подмигивая: мол, и ты оставайся счастливо, будь, голубка, здорова, не кашляй.

Грузовик уже гроыхал через мост, а вдова все еще смотрела вслед.

Острекину это было приятно. И то, что мотает его в грузовике, и обдувает ветром вспотевший лоб, и отлетают по обе стороны дороги дома, палисадники, колодцы и телеграфные столбы,— все было приятно. Где-то в огромной армейской машине понадобился именно он, солдат Макар Острекин, командиры отдали специальный приказ, писарь выстукал его на машинке указательным пальцем,— и вот он едет, верный своему солдатскому долгу, едет делать нужное дело...

СОДЕРЖАНИЕ

Повести

Банка варенья	7
Мой дядя — изобретатель	76
Старая тетрадь в клетку	134

Рассказы

Страус	209
Четыре кофточки	252
Что вы! Он давно умер!	270
Маша	289
Слева, где сердце	317
Куликова	338
Бифштекс по-деревенски	366
Полковой учитель	396
Метод индукции	419
Родня	472
В командировке	486
По пути в Севастополь	524
Молодая душа	561

Юфит Матильда Иосифовна

СЛЕВА, ГДЕ СЕРДЦЕ

М., «Советский писатель», 1975, 576 стр.
План выпуска 1975 г., № 114

Художник *Б. В. Ардов*

Редактор *В. Д. Острогорская*

Худож. редактор *В. В. Медведев*

Техн. редактор *Т. С. Казовская*

Корректор *И. Ф. Сологуб*

Сдано в набор 4/IX 1974 г. Подписано к печати 8/1 1975 г. А02206. Бумага 84×108¹/₃₂, № 2. Печ. л. 18 (30,24). Уч.-изд. л. 30,85. Тираж 100 000 экз. Заказ № 692. Цена 1 р. 03 к. Издательство «Советский писатель». Москва Г-69, ул. Воровского, 11. Тульская типография «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109

